Г. САМАРОВ

ОД БЕЛЫМ ОРЛОМ

Под белым орлом
Грегор Самаров

Аннотация
Под белым орлом
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX

XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
ЭПИЛОГ

Аннотация

Увлекательный исторический роман, построенный на оригинальной завязке судеб трёх европейских государств — Польши, Пруссии и России. Действие происходит в Польше, порабощённой императрицей России Екатериной Великой. Мастерски закрученный сюжет позволяет читателю проникнуть в дух эпохи, когда каждая из двух великих держав — Пруссия и Россия стремилась стать могущественнейшей в Европе. И все эти события раскрываются автором на фоне политических и любовных интриг, скандалов, унизительного притворства и хитросплетений, в которых задействованы люди с именем, известные политики. Затеянная ими вокруг Польши игра преследует одну-единственную цель — добраться до высоты, до сияющей вершины.

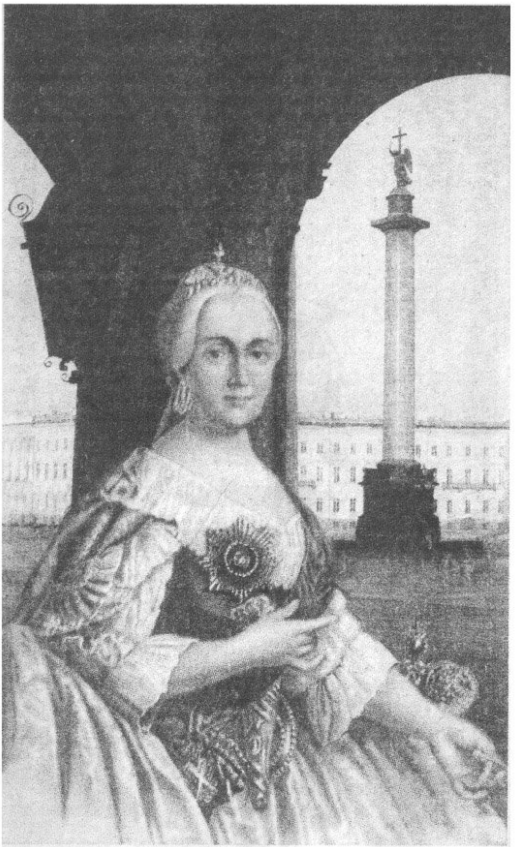
Дочитываешь роман до последней страницы и в очередной раз убеждаешься, что переход от блестящих высот к гибельной пропасти слишком незначителен, что все троны мира приобретаются силой ума, властью зо-

лота и кровью народа.

Под белым орлом



исторический
роман



Г. САМАРОВ

ПОД БЕЛЫМ ОРЛОМ



I

Солнце ясного весеннего дня 1781 года взошло над лесистыми возвышенностями Сансуси[1] и позолотило своими первыми лучами нежную, свежую зелень молодой листвы на верхушках деревьев, как и крылья исторической ветряной мельницы, возвышающейся над простым и вместе с тем величественным королевским дворцом в виде священного символа, который в государстве Гогенцоллернов означал собою во все времена право и закон, господствующие над властью повелителей.

Внизу, в долине, клубился белесоватый туман и повсюду в окрестных деревнях только что обнаруживалось там и сям пробуждение человеческого

---

[1] Примечания: 1

Один из дворцов в Потсдаме, второй резиденции Прусского королевства, в 20 верстах от Берлина. Сансуси служил постоянной резиденцией для Фридриха Великого.

труда; лишь высоко вверху, в королевском приюте повелителя Фридриха Великого, которому удивлялся и пред которым трепетал мир, господствовала уже расторопная, но такая тихая суетливость, которая везде окружает средоточие власти и могущества.

В конюшнях шла работа; лакеи бегали взад и вперёд; ординарцы стояли наготове, чтобы сесть верхом на лошадей и везти приказы, которые из этого уединения на лесистой возвышенности, подобно электрическим искрам, приводили в движение громадную государственную машину в Берлине.

Глубочайшая тишина царила ещё в той стороне дворца, где раскинулся сад; тихо, не говоря ни слова, бродили садовники взад и вперёд, чтобы гладко уравнять тонкий песок, обрызгать водою померанцевые деревья и расставить как можно эффектнее редкие распустившиеся за ночь цветы.

Во дворце также всё было тихо вблизи королевского помещения. Пред спальней короля стоял камер-лакей, позади него много других слуг. Все держались неподвижно, навытяжку, и ни одно слово не сходило с их уст, потому что даже самое тихое дуновение превратилось бы в громкий

шум в этой глубокой тишине.

Но вот стенные часы в прихожей медленно пробили четыре. В тот же момент камер-лакей вздрогнул; сильно нажав дверную ручку, на которой ещё раньше лежала его рука, он отворил дверной замок и вошёл в спальню, куда задёрнутые оконные занавесы не пропускали ещё утреннего света.

Твёрдыми шагами подошёл этот человек к камину, где ловко и проворно зажёг приготовленные дрова, так что через несколько мгновений в нём с треском вспыхнуло яркое пламя. После того он отдёрнул оконные занавесы, так что ворвавшийся дневной свет перемешался с весёлыми отблесками каминного огня, и подошёл наконец к большой кровати под балдахином; тут, вытянувшись в струнку, он воскликнул громким тоном военного доклада:

— Четыре часа. Что изволите приказать, ваше величество?

За пологом кровати раздался вздох и послышался несколько гнусавый голос короля, который с досадой сказал:

— Хорошо, Мюллер; ступай вон и приходи через полчаса обратно!

В ту же минуту маленькая левретка желтовато-

серого цвета выглянула из-под одеяла короля и с рычаньем оскалила острые зубы.

— Не уйду, как угодно вашему величеству, — отрывисто и строго ответил камердинер. — Вы, ваше величество, приказали разбудить себя в четыре часа и сильно разгневаетесь, если я теперь выйду вон. Ничего не поможет! Вы, ваше величество, должны вставать, и чем быстрее примете вы это решение, тем легче будет вам его исполнить.

— Ты прав, — ответил король, приподнимаясь с подушек, — долг есть властная необходимость, которая ещё неумолимее для короля, чем для подданных. Тише, Арсиноя, тише, — сказал он, гладя голову левретки, — ведь это — Мюллер, твой добрый друг, и он исполняет свою обязанность. — Быстрым, почти юношеским движением король сел на постели, сбросил ночной колпак и протёр себе глаза. — Боже мой, — произнёс он, вздыхая, — будь я членом военного совета, я мог бы спокойно выспаться; теперь же я должен бодрствовать за других, а между тем люди так часто завидуют королю.

Камер-лакей Мюллер подал ему шёлковые чулки, высокие, не смазанные ваксою красноватые кожаные сапоги и брюки чёрного бархата.

Фридрих обулся и оделся без посторонней помо-

щи, после чего подошёл к затопленному камину и стал с удовольствием греться у разгоревшегося огня, тогда как маленькая левретка спрыгнула с кровати и, зябко вздрагивая, легла у ног короля.

Лакей подал ему доходивший до колен халат из тяжёлой шёлковой материи синего цвета с богатой серебряной вышивкой, и король несколько минут стоял против огня, потирая руки.

Стоя таким образом, сгорбившись, с недовольной миной, он очень мало напоминал достигший огромной популярности образ великого повелителя и полководца; его жидкие седые волосы свешивались гладкими прядями с висков; на глазах ещё лежал мутный покров насильственно прерванного сна. Монарх, который твёрдою рукою управлял своим государством посредством тысячекратно разветвлявшихся нитей и к словам которого с робкой почтительностью прислушивалась вся Европа, являлся здесь лишь дряхлым старцем, который, недовольно вздыхая, нёс бремя жизни, клонившейся к закату.

Лакей распахнул окно. Нагретый солнцем, напоенный весенними ароматами воздух проник в комнату и быстро разбудил в тщедушном, почти детски-нежном теле короля никогда не угасавшую юношескую силу духа и воли. Его большие

глаза широко раскрылись и как будто отражали в своих удивлённых взорах утренний свет солнца, восходившего над природой. Его поблекшие, утомлённые черты оживились; осанка сделалась эластичнее. Он приблизился на несколько шагов к окну и промолвил:

— Как слаб этот футляр человеческого духа, в который мы запрятаны во время нашего земного поприща! Насколько прекраснее и величавее его природа, которой мы, по нашему мнению, повелеваем и которая однако с каждым днём молодеет, одеваясь новой свежестью. Наш дух должен быть сильнее бренной оболочки, в которую он всегда заключён; ведь он есть дуновение Того таинственного Существа, Которое оживляет природу, Которому мы должны со временем отдать его обратно чистым и незапятнанным земным прахом. Я хочу быть достойным до конца драгоценного дара, называемого жизнью; я хочу жить, а жить значит трудиться и исполнять свою обязанность. Вот тайна вечной юности. — Он обратился к двери и воскликнул громким голосом: — сюда!

В спальню тотчас вошёл дежурный камер-гусар и подал своему государю большой запечатанный конверт с письмами, которые, судя по печатям

с гербами, пришли от дворян и обыкновенно пересылались Фридриху государственными советниками нераспечатанными. Вслед за камер-гусаром в комнату вскочило шесть хорошеньких левреток, компаньонов любимой собаки короля Арсинои; их впускали сюда лишь после пробуждения его величества.

Фридрих сел на стул посреди комнаты и положил письма возле себя на стол, на котором стоял маленький золотой письменный прибор.

Камер-лакей подошёл к королю, распустил его длинные волосы и заплёл их в косу, причём тщательно и с большою ловкостью следил за каждым движением головы Фридриха, пока тот прочитывал одно за другим полученные письма, от времени до времени бормоча вполголоса про себя отрывистые замечания и порою делая краткие пометки на полях:

— Коса готова, — отрывисто и по-военному доложил камер-лакей.

Король докончил чтение остальных писем, после чего встал; камер-лакей поднёс ему серебряный таз с водою и Фридрих вымыл лицо и руки, причём в знак отменнохорошего расположения духа брызнул в лицо лакея несколько капель воды концами своих пальцев.

— Ты исполнил свою обязанность, Мюллер, не обратив внимания на моё ворчание и принудив-таки меня встать. Во всём, что я сделаю сегодня поутру полезного и доброго, ты будешь участником. Ступай туда к камину, там положено кое-что для тебя; я знаю, тебе это может понадобиться; ведь ты был таким дураком, что навязал себе на шею жену и детей.

На камине лежал свёрток червонцев.

Неожиданно получив такой щедрый подарок, слуга вздрогнул от радостного волнения, но высказал лишь в немногих словах свою благодарность; он знал, что король не любил пространных речей и прерывал их всегда саркастическим тоном и порою весьма немилостиво; лишь в его голосе звучала радость по поводу королевского подарка, и глаза Фридриха заблестели ярче, когда он прочёл в честных чертах верного слуги искреннюю признательность, которой он так часто не находил у людей.

— Хорош тот день, — тихо промолвил про себя король, — который начинается радостью, доставленной доброму человеку; как прекрасно было бы осчастливить всех! Но где же оно, пресловутое всемогущество королей?

Лакей между тем напудрил накладку из чёрных

волос и подал королю, который надел её себе на голову, после чего нахлобучил на самый лоб шляпу с белым генеральским пером, предварительно слегка вытертую лакеем шёлковым платком.

По знаку Фридриха, камер-гусар, неподвижно стоявший теперь у дверей комнаты, принёс рапорт из Берлина об иностранных делах, переданный ему адъютантом лейб-гвардии в прихожей.

Король пробежал глазами полученные документы и положил их к прочим бумагам, которые тотчас были унесены в смежную королевскую канцелярию. Немного спустя он подошёл к камину и потребовал у камердинера форму.

Фридрих надел жёлтый жилет, поношенный синий мундир и тотчас отправился в свой кабинет; там стоял уже для него кофе; он быстро выпил несколько чашек этого напитка с белым перцем.

Камер-лакей поставил пред каждой из собак по тарелке молока с только что испечённым белым хлебом. Любимица короля Арсиноя вспрыгнула на стол, и государь кормил её из своих рук, нежно поглаживая от времени до времени голову изящного животного.

— Как прекрасно бывало прежде! — промол-

вил он, подходя к порогу террасы и любуясь природой, уже сиявшей в полном блеске дня. — Именно в этот час брал я в былое время свою флейту и окунался душою в волны гармонии, чтобы укрепить себя для всех диссонансов, какие приносит день. Но и это миновало; мой беззубый рот не может больше будить звуки своим дыханием; одна радость за другою покидает нас на одиноком, покатом пути старости! Но, конечно, так лучше: мы трусливо цеплялись бы за жизнь, если бы нам было суждено покидать её во всей красе расцвета; теперь же мы легко сбрасываем её с себя, как бремя, которое становится тяжелее с каждым днём.

Король позвонил в золотой колокольчик.

— Пусть войдёт государственный советник Штельтер! — приказал он, и позванный тотчас явился.

Этот высокий, сухопарый мужчина с изящным, умным, но болезненно-утомлённым лицом был одет, согласно строго предписанному правилу для государственных советников, в придворный костюм из чёрного шёлка; на боку у него виднелась шпага; в руке он держал шляпу, а под мышкой портфель.

Вошедший отвесил королю церемониальный и

несколько натянутый поклон, потом подошёл к маленькой конторке для писанья стоя, развернул на ней свои бумаги и положил шляпу возле себя на пол.

— Ну, как поживаешь, Штельтер? — приветливо осведомился государь. — Как твоё здоровье? Неужели ты всё ещё собираешься бросить службу и внутренне зол на меня за то, что я не согласен дать тебе отставку?

— Как могло бы, — возразил несколько сухим, утомлённым голосом Штельтер, — найти себе место в моей груди иное чувство, кроме любви и благодарности к моему всемилостивейшему королю? Вашему величеству принадлежит моя жизнь, но, правда, моё здоровье страшно плохо; тело отказывается повиноваться; когда же я подумаю о жене, то иногда мне хочется сложить с себя почётное, но также и весьма тяжёлое бремя государственной службы, чтобы сохранить себя для своих близких.

— Оставь в стороне свою жену! — саркастическим тоном сказал король, — женщинам не годится знать все; это я уже говорил тебе раньше, а служба поддерживает телесную бодрость, если только относиться к ней с охотой и любовью, что я замечаю на самом себе. У меня иногда является

искушение распрячься, однако же я должен оставаться в своём ярме. Терпение и рвение — вот две превосходные вещи, с помощью которых можно достичь многого. Итак, оставайся-ка у меня на службе; ведь, служа мне, ты служишь своему отечеству, а это — высочайшее призвание человека; больше этого и я не в силах сделать.

Штельтер молча поклонился и начал докладывать одно за другим поступившие к нему дела.

Сжато, ясно и обстоятельно излагал он содержание различных бумаг, всесторонне освещая заключавшиеся в них вопросы и приводя относившиеся сюда статьи закона без всякого многословия, но вместе с тем вполне исчерпывая предмет. Тем не менее король часто вставлял в его речь свои вопросы, требовал дословного прочтения отдельных мест в разбираемых актах и тут же ставил свою резолюцию, которую Штельтер записывал на полях документа, чтобы потом прочесть её изложение королю, собственные слова которого требовалось, по возможности, вставлять в текст.

После того Фридрих дал ему письма, просмотренные им раньше поутру, и сообщил свои распоряжения относительно этой корреспонденции.

Штельтер собирался уже запереть свой портфель, когда государь взял со своего письменного стола довольно толстую тетрадь, бегло перелистал её и затем положил на конторку государственного советника.

— Вот тут, — сказал он, — министр финансов фон Герне прислал мне донесение насчёт компании торгового мореплавания; я весьма недоволен его отчётом; в нём нет ясности, я не вижу status quo фонда этой компании, а господин министр кажется мне ужасно легкомысленным. Я говорил ему ещё раньше, что если так пойдёт дальше, то мы не можем больше оставаться добрыми друзьями; однако же он принялся опять за свои глупости. Общество торгового мореплавания основано с тою целью, чтобы взять в руки торговые сношения с Польшей и содействовать притоку денег в Пруссию; об этом должен позаботиться господин министр. Но вместо того он ведёт переговоры с польским правительством насчёт денежных операций, не сказав мне о том предварительно ни слова; это — не что иное, как легкомыслие, потому что какую гарантию могут дать ему поляки? Если в Польше вспыхнет война, то там неминуемо последует банкротство. Они хотят учредить в Варшаве ломбард и желают вос-

пользоваться для этого доходами с моей морской торговли, но компания торгового мореплавания не должна мешаться в это дело, так как с Польши взятки гладки. Правда, министр пишет здесь, что если мы угодим полякам, то они отвлекут свою торговлю от Данцига и обратят её к нам; но это — совсем легкомысленный проект и совершенно излишний; торговлю у жителей Данцига можно отбить и так, для этого мы не нуждаемся в содействии поляков; стоит нам только разумно взяться за дело и как следует торговать деревом и зерновым хлебом, доставлять побольше сырых продуктов и привозить французское вино и прочее, что требуется полякам, так чтобы они могли находить у нас и получать из наших рук все нужные им товары. Вот настоящее средство отвлечь от Данцига торговлю и привлечь её к нам; об этом следует подумать министру и изощряться в достижении этой цели. Но завязывать переговоры с иностранными дворами по собственному почину — это не его дело; я совершенно серьёзно запрещаю ему пускаться далее в подобные затеи.

Король говорил быстро и оживлённо, и с такою же быстротою летало по бумаге перо государственного советника, не желавшего пропустить ни единого слова.

— Так, — произнёс Фридрих, после того как Штельтер дописал последние строки, — всё это следует сообщить господину фон Герне в виде моего ответа на его донесение, но ясно, точно и без околичностей, чтобы он не мог отговориться непониманием того, что я хотел сказать. И ему должно быть в точности известно, что я на него рассержусь, если он на будущее время станет увлекаться такими легкомысленными проектами; напиши ему о том совершенно ясно, понимаешь? и представь мне завтра поутру эту резолюцию.

— Слушаю, Ваше величество, — сказал Штельтер.

Он положил донесение и свою заметку в портфель, и так как король не говорил больше ничего, но задумчиво прохаживался взад и вперёд по комнате, то советник взял свою шляпу и после глубокого поклона удалился, пятясь задом к дверям.

— Итак ревень и терпение! — крикнул ему король, приветливо кивнув головою. — Я знаю это по собственному опыту. Да не давай своей жене соваться в служебные дела!

Только что Штельтер успел выйти, как камерлакей доложил:

— Секретарь посольства Менкен ожидает приказаний вашего величества!

Фридрих кивнул в знак согласия, и непосредственно затем в комнату вошёл ещё молодой человек также в костюме из чёрного шёлка, подобно Штельтеру, и после почтительного поклона королю остановился поблизости двери.

Вошедший был мужчина лет за тридцать, стройный и высокий; его открытое, ясное лицо и светлый взор его глаз обнаруживали некоторое смущение при виде монарха, но в них не было заметно ни малейшей пугливой робости или страха. Некоторые из собак с лаем кинулись на него, но Арсиноя обнюхала незнакомца и, приветливо махая хвостиком, стала ласкаться к нему.

Фридрих проницательно посмотрел на этого нового человека своими большими глазами; он, казалось, вглядывался в каждую черту его лица и хотел проникнуть в самую глубь его души.

Секретарь посольства Менкен спокойно выдержал взгляд короля, не потупляя взора, причём, слегка нагнувшись, гладил голову тянувшейся к нему левретки.

— Ты — секретарь посольства Менкен? — спросил наконец Фридрих. — До сих пор ты состоял при моём посольстве в Стокгольме? Граф фон

Герцберг хвалил мне тебя как дельного и ловкого малого.

— Его превосходительство граф фон Герцберг, — ответил Менкен звучным, приятным голосом, какой особенно любил Фридрих, — пожалуй, отозвался обо мне чересчур благосклонно, но я сознаю, что по крайней мере прилагал все старания к тому, чтобы своим усердием заслужить столь благосклонный отзыв.

— Арсиноя ласкается к тебе, — проговорил улыбаясь король, — это доказывает, что ты — порядочный человек. Собаки — благодарные и честные животные; они умеют отличить дурного человека от хорошего, а люди часто не в состоянии сделать это.

— Я люблю собак, ваше величество, — заметил тоже с улыбкой Менкен, — и постоянно удивляюсь их инстинкту, позволяющему им распознавать врагов и друзей своего хозяина. Но надеюсь, что при первой возможности мне удастся доказать вашему величеству, что все мои силы, моя жизнь принадлежат моему королю, и вашему величеству не придётся прибегать к инстинкту умного животного, для того чтобы убедиться в моей верности и преданности вам.

Фридрих наклонил несколько раз голову, что

делал всегда, когда одобрял что-нибудь, затем вынул из кармана золотую табакерку, украшенную драгоценными камнями, и, взяв из неё щепотку табака, сунул её себе в нос.

— Мне нужен советник для иностранных дел, — продолжал король, пряча табакерку в карман, — и вот поэтому Герцберг рекомендовал мне тебя. Но понимаешь ли ты, что это за пост?

— У меня, правда, не имеется полного представления об этой должности, — ответил Менкен, — но мне совершенно ясно, что пост кабинетного советника по иностранным делам чрезвычайно ответственен. Преданность и любовь к королю и отечеству никогда не позволят мне забыть об этой ответственности; но в силах ли я занять такой высокий пост — судить не берусь.

Король ходил взад и вперёд по комнате и при последних словах своего собеседника остановился пред ним.

— Понимаешь ли ты, что ты обязан быть машиной? — спросил Фридрих. — Это не должно поражать тебя! Управлять государством может лишь один, а так как я — король, то эта обязанность лежит исключительно на мне. Все остальные лица — лишь орудие в моих руках, мои слуги, точно так же, как я сам — слуга Пруссии. Но мой совет-

ник должен быть всё же мыслящей машиной. Он обязан понимать меня и вкладывать мои мысли и желания в центр государственной машины. Затем он должен принадлежать всецело одному мне. Понимаешь ты это?

— Каждый слуга вашего величества всеми своими силами, всеми помыслами обязан служить вам и только вам, ваше величество! — ответил Менкен.

— Это — лишь фразы, — возразил король, неодобрительно покачав головой. — Я не желал бы слышать подобные фразы из уст своего будущего советника. Граф Герцберг рекомендовал мне тебя, а граф — великий дипломат, верный слуга, который так же храбро боролся за наши права пером, как я — шпагой. Граф был твоим начальником; понятно, что ты любишь и почитаешь графа, но я требую, чтобы с того момента, как ты займёшь свой пост, для тебя ни один человек не имел никакого значения. Ты не должен никого слушать, ни с кем считаться, никому ничего не говорить и не выслушивать ничьих советов. Ты должен жить лишь моими мыслями.

— Я прекрасно понимаю вас, ваше величество, — заметил Менкен, — и даю вам слово честного человека, что сочту для себя самой величайшей

честью служить верой и правдой вашему величеству до тех пор, пока вы сами этого пожелаете.

— Ну, если ты понимаешь меня, то это очень хорошо, — приветливо проговорил король, — а если ты сдержишь своё слово, то это будет ещё лучше как для меня, так и для тебя. Я уже говорил, что ты должен быть машиной, но машиной мыслящей. Мои кабинетные советники по внутренним делам обязаны знать лишь ту отрасль дела, над которой в данный момент работают. Они знают лишь то, что я им приказываю, не входя в рассмотрение сути дела; от них требуется лишь точность, исполнительность и здравый смысл. Должность советника по иностранным делам гораздо сложнее; он должен быть человеком образованным, понимать законы истории. Он должен знать, что международные отношения — очень трудная область, в особенности для такого государства, как Пруссия, занявшая, несмотря на тяжёлые условия, такое положение, которому многие завидуют...

— И которая стремится подняться ещё выше, — оживлённо подхватил Менкен. — Пруссия должна идти всё вперёд и вперёд, чтобы не спуститься с той высоты, на которую её поднял великий король.

— Да, да, ты прав, — согласился король, приветливо кивнув головой, — но только для этого нужны спокойствие и осторожность. Эти два качества приобретаются только с годами, и ты овладеешь ими лишь тогда, когда твои волосы станут седыми. С императором Иосифом я нахожусь в довольно хороших отношениях, но он не принадлежит к числу тех людей, на которых можно положиться. К тому же он мне не может простить Силезию. Несмотря на любезные письма, которые он мне посылает, я убеждён, что если меня пристукнет беда, то в Австрии у нас окажется открытый враг.

— Совершенно верно, ваше величество, — воскликнул Менкен. — Хотя императорская корона находится в руках дома Габсбургов, но он уже не имеет никаких прав на господство в Германии. Наш прусский король является ему достойным соперником, и такое положение вещей не может долго продолжаться. Никто не в состоянии служить двум богам, и Германия меньше всего; Германии предназначено управлять всем миром, чего она и достигнет, когда соединятся вместе все немецкие княжества. В Пруссии живёт германский дух, и вы, ваше величество, соединили воедино весь германский народ. Императорская

корона, потерявшая теперь своё значение и существующая лишь по традиции, будет скоро низвергнута. Германский народ создаст новую корону и поднесёт её прусскому королю, который признается первым в Германии и составляет национальную гордость.

Фридрих почти с грустью взглянул на оживлённое лицо молодого человека и слегка ударил его рукой по плечу.

— Ты ещё молод, ещё очень молод, — проговорил король, — то, что ты говоришь здесь, никто не должен слышать. Мировая история измеряет своё движение столетиями, а мы, воображающие в молодости, что делаем историю, через десятки лет превращаемся в прах.

— Тем не менее, ваше величество, — возразил Менкен, — во время нашего короткого существования мы вносим известный вклад в историю и по тому, что происходит в настоящем и было в прошедшем, мы можем нарисовать картину будущего. Мы в состоянии видеть зияющую пропасть или высоту положения, ожидающие будущие поколения людей. Я вижу во Франции, ваше величество, пропасть, в которую провалится всё блестящее государство; что же касается Пруссии, то мне ясно видна могучая, гордая гер-

манская империя, скипетр и корона которой предназначены Провидением августейшему дому Гогенцоллернов.

— Я не так храбр, как ты, и не решаюсь вмешиваться в будущие планы Провидения, — с благосклонной улыбкой заметил король, — но считаю своей обязанностью пред своим народом и страной сделать всё возможное, чтобы занять первенствующее место в Германии, когда для этого наступит надлежащий момент. Если нечто подобное свершится в истории, то твой внук окажется верным слугой моего наследника в великом деле объединения германских народов. Ты должен будешь озаботиться, чтобы в твоей семье сохранились твои взгляды на предстоящую задачу германской империи. А в настоящее время ты будешь служить мне и постараешься очистить вместе со мной широкое поле деятельности для наших потомков. Я вижу, что ты понимаешь меня, и это очень приятно мне; если ты будешь служить лишь мне, не озираясь направо и налево, то я буду доволен тобою. Только советую тебе очень остерегаться, — прибавил король с повелительным жестом руки, — советую тебе остерегаться чужеземных дипломатов, которые, может быть, станут обращаться к тебе.

— Ваше величество, прошу вас верить, что я знаю свои обязанности и намереваюсь исполнять их добросовестно, — сказал Менкен. — Пока я сам был дипломатом, я, конечно, не мог не иметь общений с членами других посольств...

— Знаю, знаю — ласково перебил его король. — Мне известно, что ты очень ловко узнавал от них всё то, что нам полезно было знать; ты понимаешь, как это делается, и не проговоришься сам пред посторонними. Сидя в Стокгольме, ты следил так же внимательно за моей внешней политикой, как горячо мечтал о будущем величии германской империи. Тебе известно, что наше внимание обращено на Восток. Центр тяжести составляет Россия, на которую мы и должны опереться. Императрица Екатерина не любит меня, — прибавил Фридрих с саркастической улыбкой, — но она — умная женщина и понимает, откуда может получить поддержку. Она не сделает такой глупости, какую сделала императрица Елизавета, и не соединится с моими врагами, хотя император Иосиф употребляет все силы к тому, чтобы расположить русскую императрицу в свою пользу. Екатерина хочет пробраться в Константинополь и понимает, что ей этого не достичь без моего согласия. Обстоятельства так складываются, что мы

должны быть с ней добрыми друзьями, но такими друзьями, которым не следует класть пальца в рот. А тут ещё эта несчастная Польша, находящаяся между республикой и монархией и служащая для французов воспламеняющейся искрой, которую они хотят перебросить на Восток! Такое положение вещей не может долго продолжаться; скоро наступит конец; мы должны следить за тем, чтобы он не прошёл для нас бесполезно и чтобы русские не слишком близко подошли к нам; ввиду этого необходимо знать совершенно точно о том, что происходит в Петербурге. Англичане заняты своими колониями; французы поглощены внутренними беспорядками; вся суть в России, за которой нужно тщательно следить. Нам необходимо сохранять хорошие отношения с представителями настоящего и будущего: с императрицей и великим князем цесаревичем.

— Я вполне понимаю вас, ваше величество, — проговорил Менкен. — Ещё будучи в Стокгольме, я вменил себе в обязанность не упускать из вида того, что происходит в Петербурге, и, может быть, мне оттуда было даже виднее, чем сидя у самой Невы.

— Следовательно, в твоих руках находятся все нити, и я вижу, что ты понимаешь меня, — заме-

тил король. — Теперь ты отправишься к графу Герцбергу и сообщишь ему, что я назначаю рекомендованного им человека своим советником по иностранным делам. Я отдам приказ, чтобы все бумаги по этому вопросу препровождались к тебе, и с завтрашнего дня ты вступишь в исполнение своих обязанностей.

Король сделал знак рукой, что его новый советник может удалиться.

Лицо Менкена сияло от радости и удовольствия, но он удержался от обычных слов благодарности. Верное и усердное исполнение долга имело для короля единственное значение; только таким образом ему можно было доказать свою благодарность.

Менкен молча низко поклонился и вышел из комнаты.

Фридрих взял большую палку с золотым набалдашником, украшенным блестящими камнями, и прошёл через стеклянную дверь на террасу. Арсиноя с весёлым лаем побежала вперёд. Несколько минут король стоял на террасе, вдыхая свежий весенний воздух, затем медленно спустился вниз и направился к оранжереям, доставлявшим круглый год к столу короля фрукты и овощи.

По временам он останавливался на дороге,

вступая в разговор с садовниками, работавшими в саду. Наконец он подошёл близко к оранжерее, в которой двери были открыты настежь, ввиду тёплой погоды.

Среди глубокой тишины, царившей вокруг, король вдруг услышал слова военной команды, сопровождаемые бранью. Производило впечатление, что где-то, в непосредственной близости, обучают рекрутов.

Несколько секунд Фридрих молча прислушивался, затем, позвав собаку, которая было побежала вперёд, тихо и осторожно пошёл по гравию дорожки в оранжерею.

Странная картина представилась его глазам. В пространстве между двумя рядами шпалер фруктовых деревьев с редкими плодами стояли четыре дряхлых старика в военных мундирах, держа в руках палки, наподобие ружей. Стройный молодой человек, лет семнадцати или восемнадцати, в форме королевского пажа, с шапочкой на напудренной голове и саблей на боку, громко командовал:

— Шагом марш!

Старички двинулись вперёд и неверными шагами направились к стене оранжереи. Командир тем временем наклонился к дереву и сорвал

несколько фиг.

Брови короля гневно сдвинулись; он больше всего любил именно эти фрукты, которые предназначались исключительно для его употребления; четыре инвалида были специально приставлены охранять оранжерею от непрошенных посетителей. Но в следующее же мгновение лицо короля приняло весёлое выражение, хотя он грозно вскрикнул:

— Пирш, чёрт возьми, что ты там делаешь?

Паж вздрогнул и быстро повернул к королю своё прекрасное, свежее лицо с тёмными глазами, в которых сверкала дерзкая отвага. На одну минуту страх овладел молодым человеком, но затем быстро исчез и, давясь фигой, которую он только что положил в рот, он пошёл навстречу королю, держа в руках свою шапочку.

— Что прикажете, ваше величество? — воскликнул он. — Я производил обучение этих инвалидов и даю слово, что они настолько мало понимают военное дело, что недостойны быть сторожами королевской оранжереи.

Инвалиды дошли до стены и, услышав голос короля, обернулись, не ожидая команды. Но старики так вошли во вкус военных упражнений, что позабыли, что в их руках не ружья, а простые

палки, и отдали честь королю этими палками.

Вид несчастных стариков был очень смешон, но паж с невозмутимой серьёзностью смотрел на них, как начальник на своих подчинённых.

Король не мог не улыбнуться; желая скрыть эту улыбку, он наклонился к собаке и погладил её.

— Пирш! ты — большой мошенник, — проговорил король, выпрямляясь и принимая строгий вид. — Я запрещаю тебе впредь производить подобные штуки. Понимаешь, что я говорю?

— Слушаю-с, ваше величество! — ответил паж, не моргнув глазом.

— Мне пришла в голову мысль дать тебе поручение, — сказал король после некоторого размышления, — иди за мной!

— Разрешите, ваше величество, скомандовать инвалидам: «вольно!», иначе они простоят в таком виде целую вечность, а какой-нибудь бессовестный вор проберётся тем временем в оранжерею и стащит фрукты вашего королевского величества.

— Ты неподражаем! — смеясь воскликнул король. — Вольно! — крикнул он сам инвалидам. — Смотрите, чтобы впредь не было у вас никаких военных упражнений без моего личного приказа! — прибавил он.

Старые солдаты с удивлением остановились на месте.

Король вышел, а за ним почтительно последовал паж.

— Пирш! Ты поедешь в Берлин, — проговорил Фридрих, — и скажешь от моего имени графу Герцбергу, что Менкен назначается моим советником. Все дела по международным вопросам должны с сегодняшнего дня препровождаться ему.

— Слушаю-с, ваше величество! — ответил паж.

Король, задумавшись о чём-то, шёл впереди, а так как он не сделал обычного знака, чтобы Пирш удалился, то юноша следовал за ним.

— Ведь ты, кажется, принят в доме министра фон Герне? — спросил Фридрих после нескольких минут молчания.

Яркая краска залила щёки юноши.

— Честь имею доложить вашему величеству, — ответил он, — что его превосходительство господин министр был другом моего покойного отца и всегда относился ко мне с родственным участием.

— В таком случае я даю тебе отпуск, чтобы ты имел время навестить министра! — проговорил король.

— Вы слишком милостивы ко мне, ваше величество, — радостно воскликнул паж, — позвольте принести вам свою почтительнейшую благодарность.

— Ты должен там хорошенько осмотреться и вслушаться в то, что говорят, — продолжал Фридрих, пронизывающим взглядом окидывая юношу. — Мне сообщили, что несколько искателей приключений польского происхождения приехали под чужими именами в Берлин, будто бы для торговых дел. Министр фон Герне несколько неосторожен и может поверить этим проходимцам, что повлечёт неприятные последствия. Мне хотелось бы предостеречь его. Так как у тебя острое зрение и острый слух, то ты хорошо понаблюдай и, если встретишь там подобного господина, сообщи мне о его присутствии. Только ты должен быть осторожен и скромен, — прибавил король, грозя пальцем. — Если ты исполнишь всё так, как я приказываю, то я прощу тебе на этот раз кражу фиг из оранжереи.

— Я могу быть нем, как могила, если вы, ваше величество, требуете этого, — ответил паж, к которому вернулась его обычная уверенность. — Больше никаких приказаний не будет?

— Нет, — ответил Фридрих. — Возьми лошадь

из моей конюшни и живо убирайся отсюда.

Паж отдал честь и полетел как ветер.

Через четверть часа он мчался на самой лучшей лошади, какая только имелась на конюшне Сансуси, по дороге в Берлин.

«Славный малый, — подумал король, провожая взглядом своего пажа, — он храбр, полон жизни и огня. Из него выйдет дельный человек, если он только не попадёт в руки женщин. Нужно будет отправить его на службу к какому-нибудь строгому начальнику; для роли пажа он уж слишком стар. Мне всегда доставляло удовольствие воспитывать молодых людей и следить за их развитием. Мне не придётся видеть плоды, которые принесёт этот молодой побег, взлелеянный мною. Что делать! Нужно и для моего наследника приготовить таких же слуг, каких я желал иметь для себя».

Король дошёл до своего дворца; его вывел из раздумья топот лошадиных копыт, раздавшихся непосредственно за ним. Он обернулся и увидел прекрасного коня, которого конюх водил за повод взад и вперёд пред террасой.

Лошадь приблизилась к королю и, ласкаясь, положила голову к нему на плечо.

— А Кондэ, мой приятель! — воскликнул Фри-

дрих, и в его строгих глазах промелькнуло мягкое, почти нежное выражение. — Как поживаешь?

Лошадь наклонилась к Арсиное, которая приветствовала её лёгким дружеским лаем. Казалось, что животные желают друг другу доброго утра. Затем Кондэ поднял голову и начал обнюхивать карманы короля.

— Ах, ты уже знаешь, что для тебя кое-что приготовлено! — засмеялся Фридрих. — Ты немного эгоистичен, хотя, конечно, гораздо меньше, чем люди.

Он сунул руку в карман, достал несколько кусков сахара и протянул их лошади.

Вошедший лакей доложил, что подполковник фон Гетц ждёт приказаний его величества.

— Меня призывают обязанности, — с лёгким вздохом проговорил король, быстро направляясь ко дворцу, где его ожидал адъютант.

Кондэ, отпущенный конюхом, вошёл вслед за своим хозяином в зал. Кусок паркета треснул под тяжестью лошадиных копыт.

Со страхом топталось красивое животное на месте, протягивая голову к королю, как бы прося у него помощи. Лакеи поспешили к испорченному полу, а фон Гетц, высокий мужчина, лет сорока, поглаживал встревоженную лошадь.

— Испорчена только одна доска, ваше величество, её легко можно заменить другой, — сказал один из лакеев.

— Болван! — невольно вырвалось у короля, — какое мне дело до пола, который можно поправить? Меня беспокоит, не повредил ли себе ногу бедный Кондэ.

Фон Гетц осмотрел ногу лошади и уверил короля, что она совершенно здорова.

В дверях показался конюх.

Фридрих сам осторожно вывел Кондэ из зала, приказал оседлать коня и затем повёл подполковника фон Гетца в свою комнату для принятия ежедневного доклада о военных нуждах.

После доклада король приказал подать Кондэ.

— Ты можешь ехать со мною! — сказал он подполковнику Гетцу, — я хочу совершить прогулку верхом по парку и затем произвести смотр гвардейскому батальону в Потсдаме.

Пред наружным подъездом дворца стоял Кондэ в сбруе из синего бархата, богато вышитого серебром. Конь встретил короля радостным ржанием. Рядом с ним стояли дежурные генерал-адъютант и флигель-адъютант и в некотором отдалении два рейткнехта. Левретка была передана на попечение камер-лакеев, и король помчался галопом.

II

Рабочий кабинет Фридриха Герне, государственного канцлера, военного министра и начальника генеральной директории, во дворце торгового мореплавания в Берлине, представлял собою большую комнату с огромными окнами, своими обстановкой и убранством представлявшую собою и рабочее помещение заваленного делами государственного деятеля, и жилище любящего искусство светского человека.

Близ окна стоял огромный письменный стол, весь покрытый письменными принадлежностями и бумагами и окружённый полками со свёрнутыми в трубки планами, документами и счётными книгами; дорогие картины итальянских и голландских мастеров украшали стены; на чёрных постаментах были расставлены античные мраморные бюсты, выгодно выделявшиеся на фоне пурпурово-красных драпировок. Прямо против письменного стола находился дивно прекрасной работы бюст Юлия Цезаря, и посредине противоположной стены висела копия знаменитой картины Пезна, изображав-

шей короля Фридриха Великого со шляпою в руках и считавшейся самым лучшим и самым похожим портретом великого короля. Возле второго окна, в раму которого была вставлена старинная живопись на стекле, изображавшая св. Георгия Победоносца, поражающего дракона, стоял широкий и удобный диван, покрытый тёмно-красными шёлковыми подушками и окружённый цветущими экзотическими растениями и пальмами. Возле этого дивана виднелся изящный шкаф для маленькой библиотеки, тщательный подбор которой соединил в себе все благороднейшие произведения ума всех времён и всех народов, начиная с бессмертных творений Гомера и кончая гениальными сочинениями Вольтера. На маленьком мозаичном столике лежала раскрытая записная книжка с карандашом, доказывавшая, что обитатель этой комнаты имеет обыкновение излагать мысли, возбуждаемые в нём чтением, и сохранять плод своей умственной работы. На свободном пространстве между картинами висели оружие различных эпох, а также японские и китайские редкости, привезённые капитанами компании торгового мореплавания из их путешествий и в то время имевшие весьма высокую ценность.

В этой комнате, бывшей и деловым кабинетом, и будуаром, и почти музеем в одно и то же время, в простом деревянном кресле с Камышевой плетёнкой сидел пред своим письменным столом министр Герне. Ему было в то время лет пятьдесят; его высокая и необыкновенно стройная фигура уже начинала немного полнеть, но всё же ещё не потеряла из-за этого своей грациозности и изящества. Его умное лицо, с тонкими чертами, сохранило свой здоровый, цветущий румянец и великолепно подходило к тщательно напудренным и взбитым волосам, равно как и к чёрному бархатному костюму, в котором был министр и на котором резко выделялся белый восьмиконечный крест Иоаннитского ордена. Тёмные глаза под красиво изогнутыми бровями этого человека, напоминавшего своим в высшей степени важным видом высокого вельможу версальского двора, почти ежеминутно меняли своё выражение; их взор был то испытующе проникновенен, то мечтательно задумчив, и, благодаря этому разнообразию выражения этих глаз, казалось, что они придают какой-то своеобразный нюанс каждому слову, произносимому министром.

Пред Герне стоял его личный секретарь Акст, очень худощавый человек лет тридцати или со-

рока, но благодаря серому, вялому лицу с острым носом и торчащими скулами казавшийся много старше. Секретарь держался слегка согбенно, и вся его фигура носила почти ту же окраску, как и вечно одинаково спокойное лицо, в котором только губы едва заметно двигались при разговоре. Весь его костюм был серого цвета, и его тёмно-русые волосы, слегка и небрежно напудренные, казались такими же серыми, как и его костюм, и лицо; все его движения были строго размерены, и вся его жизнь, казалось, сосредоточилась в его глазах, острый проницательный взор которых также почти не имел своего собственного выражения, но с необычайною подвижностью следил за каждым движением говорившего с ним и, как казалось, был в состоянии видеть сразу во всех направлениях.

— Итак, вы думаете, дорогой Акст, что этот Серра мог бы быть полезен нам, то есть что он ловок и умеет молчать? — сказал Герне, перелистывая лежавшие пред ним бумаги.

— Я считаю его ловким, ваше превосходительство, — ответил Акст своим сухим, немного глухим голосом, резкие ударения которого тем не менее делали понятным каждое произнесённое слово. — Впрочем, с ним нужно быть

осторожным. Он был купцом в Генуе, благодаря различным несчастным обстоятельствам обанкротился и был рекомендован нашим послом Кейтом графу Герцбергу, который, в свою очередь, основываясь на тех же коммерческих познаниях Кейта, рекомендовал его вам, ваше превосходительство, предоставляя на ваше усмотрение зачислить его в ваше ведомство. Я беседовал с ним, как вы приказали мне, и убедился, что он во всяком случае отлично знает коммерцию и свет и действительно имеет связи со многими значительными влиятельными лицами; он показывал мне письмо графа Виельгорского, облечённого доверием государственного канцлера в Вене, и из него следует, что там ведут с ним переговоры относительно учреждения торговой компании и что граф Виельгорский дарит его своим доверием.

— Торговая компания в Вене! — воскликнул Герне, — это было бы великолепно... Если нам удастся устроить ломбардное общество в Варшаве и вместе с тем вступить в связь с торговой компанией в Вене, то мы получим отличную возможность постоянно учитывать свои векселя и легко утроим и учетверим свой кредит, благодаря чему к нашим услугам постоянно будут средства,

в которых мы так часто нуждаемся и которые, к сожалению, часто тщетно разыскиваем. Вам известно, что я должен заплатить восемьдесят три тысячи талеров за купленные мною имения в Польше — «Белая Слево» и «Вышек»; векселя, выданные мною за них, приняты варшавским комитетом компании торгового мореплавания, и я плачу за них шесть процентов; в сущности это — моё личное дело, но я купил эти поместья в Польше с одною лишь целью, чтобы укрепить своё влияние в Польше и для того, чтобы, как неоднократно приказывал король, достигнуть исключительной привилегии торговли с Польшею для компании торгового мореплавания.

— Но ведь вы, ваше превосходительство, одолжили из фонда компании двести тысяч талеров разным польским магнатам.

Министр окинул секретаря проницательным взором и затем небрежно сказал:

— Совершенно верно, мы нуждаемся во влиятельных польских магнатах, чтобы сосредоточить всю торговлю в своих руках и побороть конкуренцию Данцига. Это — отличное помещение денег, которые принесут компании обильную пользу, но, разумеется, сейчас ложатся бременем на её кредит. Итак, если мы сумеем, благодаря

венской торговой компании и ломбарду в Варшаве, организовать постоянный обширный кредит со взаимным учётом векселей, то мы выйдем из настоящего затруднительного положения и будем в состоянии укрепить своё влияние в Польше, не отягощая имеющихся к нашим услугам средств. Итак, если этот генуэзец Серра может быть полезен нам в этом отношении, то, пожалуй, можно попробовать использовать его услуги... Не переговорите ли вы с ним относительно этого и о его отправлении в Варшаву с целью завести там переговоры об учреждении ломбардной компании?

Акст покачал головой и сказал:

— Этот Серра кажется мне честолюбивым; он ничего не будет делать, если будет считать себя простым агентом; наоборот, он приложит всю свою ловкость и все свои силы, если будет в состоянии льстить себя мыслью о том, что пользуется доверием вашего превосходительства. Так как Виельгорский не останавливается пред тем, чтобы вступать с ним в сношения, то лучше всего будет, если вы, ваше превосходительство, лично примете его.

— Граф Виельгорский, — задумчиво произнёс Герне, — не государственный канцлер, не

австрийский министр и не несёт никакой ответственности. Вы знаете, дорогой Акст, что все подобные переговоры необходимо вести в высшей степени скрытно; король не терпит их, и это возлагает на меня большую ответственность. Конечно, по достижении великих целей он примирится со средствами, которые были необходимы для этого, — прибавил он, и взор его глаз своеобразно просветлел.

— Поэтому, ваше превосходительство, не следует допускать, чтобы Серра видел цель, — сказал Акст, и его глаза заблистали и забегали так, как будто он желал убедиться, что за какой-либо занавесью или за каким-либо предметом меблировки не скрывается кто-нибудь, подслушивающий их.

— Прежде всего нельзя будет давать ему ничего написанного в руки, чтобы каждую минуту, если он станет нескромным, можно было отречься от него... Прислушиваться же следует ко всему, и на это ведь не может разгневаться и его величество король.

— Вы правы, — сказал Герне, — приведите ко мне этого Серра.

— Он ждёт в передней, — ответил Акст.

Герне встал и несколько раз прошёлся по комнате, как бы приводя в порядок свои мысли.

— Смелей! — сказал он затем, — смелей!., это необходимо... большая ставка может быть выиграна лишь при крупном риске! Строитель большого здания бессилен без помощников. Клянусь Богом, никогда ещё слуга не доставлял своему королю такого подарка, какой я готовлю своему великому повелителю!.. Введите Серра сюда и оставьте нас одних! — приказал он.

Акст немного удивлённо посмотрел на министра, но молча повиновался и через несколько минут ввёл в кабинет высокого, стройного человека в чёрном костюме, после чего несколько нерешительно удалился, окинув неприязненным взглядом вошедшего.

Этот человек был лет сорока, с ловкими манерами и движениями; его изжелта-бледное лицо обнаруживало в нём южное происхождение, и даже густой слой пудры не мог совершенно скрыть чёрные, как вороново крыло, волосы. Черты его лица и взор тёмно-карих глаз при первом взгляде на него производили впечатление искреннего прямодушия. Но, ближе присматриваясь к этому лицу, казалось, что его плотно сжатые, тонкие губы были созданы лишь для того, чтобы задерживать всякое необдуманное слово, и по временам его глаза задёргивались тенью, как бы

окутывавшей его последние мысли.

Серра с непринуждённым изяществом поклонился министру и почтительно стал ждать его обращения.

Герне минуту пытливо разглядывал его; по-видимому, он остался доволен впечатлением, произведённым гостем, и вежливо, но всё же холодно-снисходительным тоном сказал:

— Граф Герцберг рекомендовал мне вас, и мне будет очень приятно, если ваши услуги могут быть полезны нам. Вы прибыли из Вены и имеете сообщить мне, как передал мне мой секретарь, о проекте, которым там очень заняты и который мог бы представлять интерес также и для меня.

— Совершенно верно, ваше превосходительство, — сказал Серра с немного резким акцентом, но на совершенно чистом немецком языке, — дело заключается в учреждении торговой компании с подобными же целями, как и у находящейся под управлением вашего превосходительства компания торгового мореплавания, а именно с целью развития торговли с Польшей.

— Следовательно, конкуренция? — спросил Герне.

— Нисколько, ваше превосходительство, — ответил Серра, — предметы, которые вывозит

в Польшу Вена, не конкурируют с предметами вашей торговли. Вена интересуется турецким табаком, венгерским вином и другими продуктами Юга и Востока; для вас интересны французские и английские продукты. Следовательно, обе компании могут вполне идти рука об руку, дополнять и поддерживать друг друга в своих делах, что будет выгодно для той и другой сторон и даст обеим возможность взаимно укрепить свой кредит и благодаря этому увеличить находящиеся в их распоряжении средства.

Герне слегка наклонил голову; он ещё не отвечал ни слова и выжидательно смотрел на Серра.

— Я слышал в Вене, — продолжал последний, — что и Варшаве намереваются учредить ломбардную компанию для польского правительства, и мне кажется, что это вполне благоприятствует той мысли, которую я имел честь развить пред вашим превосходительством. Если основываемое в Вене общество, равно как и компания торгового мореплавания, учреждённая в Пруссии, примут самое широкое участие в варшавской ломбардной компании в форме займа, который всюду добивается устроить себе Польша, то эти три важных и влиятельных финансовых учреждения будут в состоянии располагать огромными сред-

ствами и чрезвычайно обширным кредитом и будут господами в финансовом и торговом мире Востока.

— Совершенно верно, совершенно верно, — сказал Герне, — это могло бы быть осуществимо, но наши средства несколько ограничены и не могут быть обращены на внешние спекуляции и займы.

Серра, пожав плечами, возразил:

— Кто намеревается держаться в узких рамках, тот никогда не достигнет большого. В предприятии, которое здесь устраивается, речь идёт лишь о том, чтобы забросить семя, которое скоро и непосредственно принесёт богатейшую жатву. За каждые сто тысяч талеров, которые вы на время предоставите к услугам ломбардного общества польского правительства, ваш кредит, благодаря дисконту в Варшаве и Вене, учетверится и даже упятерится, и вы будете в состоянии во всякое время располагать значительно большими средствами, чем теперь, для расширения своих торговых оборотов; доходы будут расти в математической прогрессии; незначительная теперь, в сравнении с другими большими немецкими коммерческими предприятиями, компания торгового мореплавания сделается первоклассною

финансовою силою, и вы легко посадите на мель данцигскую компанию, что, как мне известно, является особенным желанием его величества короля.

Герне окинул пытливым взором посетителя, так свободно и непринуждённо говорившего о том, что составляло в Берлине государственную тайну.

— Вы уже говорили с кем-нибудь здесь об этом? — быстро спросил он.

— Ни слова, ваше превосходительство, — возразил Серра, — я только вчера прибыл сюда и передал графу Герцбергу рекомендательное письмо господина Кейта, а граф через своего секретаря велел направить меня к вашему превосходительству. Моё замечание относительно Данцига естественно вытекает из наблюдения и оценки обстоятельств. Если компания торгового мореплавания намеревается, как коммерческое предприятие, стать чем-либо значительным, то ей необходимо подорвать жизненные силы данцигской компании; из меркантильных расчётов вытекают политические, а такое общество, как компания торгового мореплавания, не может не преследовать и политических целей. Поэтому правовое или моральное обладание Данцигом

для прусского королевства является необходимостью, которая не может быть непризнанной ни великим королём, ни его просвещёнными слугами.

— У вас проницательный взор, — улыбаясь сказал Герне.

— Для хорошего коммерсанта это необходимо, — возразил Серра, — так как успех торговли связан с ходом политики. Купец может, благодаря политическому шагу, нажить миллионы, а умелым руководством финансами и торговлей государственный деятель часто может достигнуть больших успехов, чем выигранной битвой.

— И вы думаете, что в своих планах вы в состоянии предложить подобные выгоды?

— Такому человеку, как вы, ваше превосходительство, едва ли нужно распространяться об этом, — с тонкой усмешкой произнёс Серра. — Вашему превосходительству лучше, чем мне, известно, что польское королевство представляет собою буфер против угрожающего могущества России, если её западным соседям удастся приобрести и удержать там господствующее влияние; ведь Польша может быть для Австрии и Пруссии опасной лишь тогда, когда она будет, как это было и раньше, под влиянием Франции или когда, как

это грозит опасностью теперь, она вынуждена будет отдаться в руки русских.

— Совершенно верно, совершенно верно, — оживлённо воскликнул Герне, всё с более напряжённым вниманием прислушиваясь к словам посетителя и всё более оставляя свою боязливую сдержанность, — совершенно верно... ну, что же дальше?

— Вашему превосходительству известно лучше, чем мне, — продолжал Серра, — что денежные знаки в Польше являются пружиною для всех личных и политических отношений; ни у кого там нет денег, шкатулка короля Станислава так же пуста, как государственная казна и кошельки магнатов; всё там продажно, и великая, умная Екатерина щедро покупала голоса и, если понадобится, щедро купит и шпаги. Вот, ваше превосходительство, — продолжал он, в то время как Герне оживлённо кивал в знак согласия, — если ломбардная компания в Варшаве при помощи вашей и государственного канцлера в Вене превратится в жизненное и значительное финансовое предприятие, то она станет центральным кредитным пунктом в Польше как для правительства, так и для магнатов. Не придётся уже больше выпрашивать милости из Петербур-

га, и те, в чьей власти будет весь кредит, вместе с тем явятся и истинными господами в Польше.

— А чем будет обеспечен этот кредит? — спросил Герне.

— Очень просто, — ответил Серра, — широко раскинувшимися коронными имениями, огромными поместьями магнатов и имениями мелкой шляхты.

— Всё это мало значит, — сказал Герне, — там хозяйство слишком плохо и не гарантирует никаких доходов, а наступит война — и все обеспечения будут потеряны.

— Денежная сила, — возразил Серра, — в руках которой в качестве залога скоро будут все коронные и дворянские поместья в Польше, не только может предотвратить всякую войну, которая ей неугодна, но и более того — в состоянии привести в порядок административное управление, улучшить хозяйство и поднять Польшу на такую степень расцвета, какая неведома ей уже в течение целых столетий; она может сделать жизнеспособною эту страну и всякий раз по своему желанию влиять на выборы короля. Благодаря финансовому могуществу Вены и Берлина, Польша в будущем станет для Австрии и Пруссии сильным буфером, который, несмотря

на теперешние раздоры, выстоит против России. Таким образом планы всемирного господства, созданные императрицей Екатериной, будут вернее разрушены правильным пользованием всемогущим капиталом, чем тяжёлою и обильной жертвами войною.

— Я принуждён сказать вам комплимент, — сказал Герне после минутного размышления, — вы ясно и определённо провидите события, и в том, что вы сказали, я нахожу много такого, что согласуется с моими собственными идеями. Но с подобными вещами нужно обходиться в высшей степени осторожно; прежде чем говорить, нужно видеть и слышать; прежде чем давать, нужно иметь обеспечение.

— Я вполне понимаю, ваше превосходительство, — ответил Серра, — что по отношению к чужестранцу...

— Это касается не вашей особы, — прервал его Герне, — я склонен доверять вам... Речь идёт о самом предмете и о тех, которые будут способствовать выполнению нашего плана; они не должны знать, что будут прикованы золотою цепью к повиновению.

— А если они и будут знать, — сказал Серра, пожимая плечами, — то они всё-таки позволят

надеть на себя золотые цепи.

— Всё равно, — сказал фон Герне, — удаются только те дела, которые решаются втайне, поэтому я надеюсь, что вы сохраните это дело в строжайшем секрете.

— Неужели допустимо, — возразил Серра, — чтобы я с ребяческой неосторожностью разрушил план, выполнением которого я надеюсь вернуть своё счастье?

— Вы потерпели неудачу в своём отечестве? — заметил фон Герне.

— Тяжкие удары судьбы поразили меня, ваше превосходительство; в борьбе с несчастьем я употребил всё, что в силах человеческих, но здание, потребовавшее многолетнего труда, рухнуло... Господин фон Кейт, которому я имел счастье оказать услугу, рекомендовал меня сюда, и если план, только что изложенный мною, удастся, то, я надеюсь, вы, ваше превосходительство, равно как и граф Виельгорский и государственный канцлер в Вене, не откажетесь дать мне положение, при котором я мог бы служить большому делу и вместе с тем работать для себя лично.

— Каждый труд должен быть вознаграждён по достоинству, — сказал Герне, — я лично умею ценить услугу людей ловких и скрытных. В на-

стоящее время я могу приступить к этому делу лишь с крайней осторожностью. В Петербурге дорого дали бы за то, чтобы узнать наш план, — прибавил он вскользь, глядя при этом острым, испытующим взором, — там охотно помешали бы ему, так как его выполнение означало бы уничтожение русского влияния.

— На русской службе, ваше превосходительство, — возразил Серра, — переход от блестящих высот к гибельной пропасти слишком незначителен, поэтому не стоит рисковать ради единичного случая подкупа; к тому же продать дело, когда я честным путём могу добиться не только больших выгод, но и почётного положения, было бы величайшей глупостью с моей стороны, на какую вы, ваше превосходительство, наверное не считаете меня способным.

— Однако вы понимаете с полуслова, — улыбаясь сказал Герне, — и открыто говорите о вещах, о которых принято умалчивать; это свидетельствует в пользу вашего ума и собственного достоинства. Итак, приступайте к делу!

— А что прикажете мне делать, ваше превосходительство? — спросил Серра.

Фон Герне, задумчиво разглядывая брюссельские кружева на своих манжетах, сказал:

— Прежде всего необходимо узнать в точности, как предполагается организовать в Варшаве ломбардное общество; какая сумма потребуется, чтобы положить основание и начать дело; какое обеспечение предполагается дать и какие обязательства взять на себя. Всё это — такие вопросы, о которых нельзя писать; письмо может попасть в чужие руки и погубить не только дело, но и людей; кроме того, на бумаге легче солгать, буквы имеют физиономии, по которой можно прочесть, говорится ли правда, или ложь. Вас я считаю человеком, который разберётся и за ложью сумеет отыскать правду.

— Я надеюсь, — сказал Серра потупляясь, — что доверие ко мне вашего превосходительства и в этом отношении найдёт полное оправдание.

— Отлично, — сказал министр, — в таком случае поезжайте в Варшаву и разузнайте там всё, что требуется. Возвращайтесь, по возможности, с готовым планом и точными данными, для того чтобы я мог судить, что необходимо и возможно предпринять. Более подробную инструкцию я не могу вам дать; вы сами знаете, в чём дело, и, чем подробнее будет ваше донесение, тем выше будет и ваша заслуга.

— А к кому должен я обратиться? — спросил

Серра. — Мне понадобится какое-нибудь удостоверение от вашего превосходительства, для того чтобы заручиться доверием и получить доступ туда, где я мог бы наблюдать и разузнавать.

— В этом-то и заключается главное затруднение, — сказал фон Герне, — в деле, которое нас интересует главным образом, вы не должны проявлять деятельную роль, и мне было бы желательно, чтобы вы, будучи в Варшаве, не поддерживали никаких сношений с Веной, так как это могло бы навлечь на вас подозрение. В столице Польши находится много ловких русских шпионов; вы должны явиться в Варшаву под каким-нибудь предлогом, ясным для всего мира и притом лишённым всякого общественного интереса.

— Совершенно верно, и я жду приказаний вашего превосходительства!

Фон Герне помолчал некоторое время, как бы колеблясь в нерешительности, затем сказал:

— Я приобрёл несколько имений в Польше и, желая расширить свои владения, веду переговоры относительно покупки поместья «Кроточин», принадлежащего графу Станиславу Потоцкому, главнокомандующему артиллерией. Переговоры были приостановлены на некоторое время; те-

перь я желаю снова возобновить их и даю вам на то полномочия.

— Понимаю, — сказал Серра.

— Граф является одним из самых влиятельных людей в Польше, — продолжал фон Герне, — и его дело будет — открыть вам все дальнейшие пути.

— Значит, с ним я могу говорить откровенно?

— Несомненно, — ответил фон Герне, — но только от своего имени, пока только от своего имени.

— Само собою разумеется. От имени вашего превосходительства я буду только вести переговоры о покупке поместья «Кроточин», а так как вы доверяете мне такое важное личное дело, то граф не станет сомневаться, что и во всех других отношениях я осведомлён относительно идей вашего превосходительства.

— С вами беседовать — одно удовольствие, — сказал фон Герне, любезно кивая головой, затем взял лист бумаги, написал несколько строк и прочитал их внимательно слушавшему Серра: — «Поручаю и уполномачиваю господина Жана Баптиста Серра вести от моего имени переговоры с главнокомандующим, графом Станиславом Потоцким, относительно покупки имения «Кроточин» и прошу графа верить упомянутому Серра во всём, что он будет говорить от моего имени»...

Этого достаточно?

— Вполне, — ответил Серра.

— Вас поймут, — сказал фон Герне, прикладывая к бумаге свою печать, — и вас познакомят со всеми теми лицами, которые могли бы быть полезны вам при выполнении данного вам поручения.

Серра встал и хотел откланяться.

— Мне внезапно пришло в голову, — сказал фон Герне с таким видом, как будто ему только что блеснула неожиданная мысль, — что при этом удобном случае вы могли бы исполнить ещё одно поручение.

— Я весь к вашим услугам, ваше превосходительство!

— Я должен графу Потоцкому ещё восемьдесят три тысячи талеров за прежнюю покупку имений, — продолжал фон Герне, — я дам вам вексель на эту сумму, так как в Польше почта малонадёжна.

— Ответственность за такую значительную сумму будет тяготить меня, ваше превосходительство! — испуганно сказал Серра.

— Будьте покойны, это — векселя компании торгового мореплавания, и они приобретают действительность лишь после того, как будут

акцептованы варшавской конторой общества. Я отдам соответственное распоряжение в контору и извещу об этом графа. Произведя такой платёж, вы приобретёте у него тем большее доверие; а в конторе вас примут за агента компании, явившегося по торговым делам. Таким образом истинная причина вашего присутствия в Варшаве будет вдвойне замаскирована.

Серра взглянул на министра с удивлением. В его глазах что-то блеснуло.

— Всё же, это — частное дело вашего превосходительства? — сказал он.

— Конечно, — ответил фон Герне, потупившись пред пытливым взором Серра, — я веду дела с компанией торгового мореплавания и отдал своё имущество туда на управление, вот мои счета. Однако я не желаю, чтобы в варшавской конторе знали об употреблении этих денег. Среди бесчисленных служащих и писцов там могут быть русские шпионы; поэтому будет лучше, если и там вы будете известны как торговый агент компании; это отвлечёт от вас внимание и даст вам большую свободу действий.

Серра помолчал минуту; казалось, торопливое объяснение министра не волне удовлетворило его; однако он поклонился и сказал:

— Я буду действовать в точности по указаниям вашего превосходительства.

— Вот вам доверенность, — сказал фон Герне поднимаясь, — мой секретарь Акст передаст вам векселя, о которых я вам говорил, и позаботится о том, чтобы ваш паспорт был визирован. Нужны вам деньги?

— Мои средства почти истощены, ваше превосходительство!

Фон Герне открыл выдвижной ящик своего письменного стола и передал ему запечатанный свёрток.

— Здесь сто золотых, — сказал он, — на первое время этого хватит; если же вам понадобятся деньги, обратитесь в контору общества торгового мореплавания; я велю, на всякий случай, открыть там для вас кредит. Ну, поезжайте с Богом и привозите поскорее подробные, хорошие сведения, но только устно, понимаете, устно; об этом деле не должно быть ни одного письменного слова. Кстати, — сказал он вдруг, — увидите вы графа Герцберга пред вашим отъездом?

— Следовало бы поблагодарить графа за его милостивую рекомендацию, — сказал Серра, — но если это не угодно вашему превосходительству, то я попрошу извиниться пред графом за меня!

— Нет, нет, — сказал фон Герне, — просите у графа аудиенции; он рекомендовал мне вас, и вы обязаны известить его. Скажите, что я, на основании его рекомендации, посылаю вас в Польшу по делам компании торгового мореплавания; больше ничего не говорите, понимаете. Ничего не упоминайте о моих частных делах с графом Потоцким; ничего о тех мыслях и планах, о которых мы с вами говорили. О таких делах завзятые дипломаты не должны знать раньше времени, — прибавил он, дружески улыбаясь. — Граф Герцберг нашёл бы, пожалуй, что я слишком преждевременно и поспешно оказываю вам такое доверие.

— Вы правы; и нам, купцам, приходится иногда вести политику; для нас, быть может, наилучшая политика в мирное время.

— Итак, для графа Герцберга вы просто едете по делам общества торгового мореплавания; тогда он со спокойной совестью может сказать, что ничего не знает о ваших делах в Варшаве.

— Я это понимаю, — произнёс Серра, — и буду в точности поступать по указанию нашего превосходительства.

Фон Герне кивнул головой в знак прощания.

Итальянец вышел.

— Я затеял большую игру, — сказал министр, прижимая руку по лбу, — я ставлю на карту моё положение, жизнь, честь, всё, что приобретено долгими годами труда. Король недоволен; большого труда стоит скрывать от него пути, которыми я иду к намеченной мною цели; если он, раньше времени узнает, что я сделал и что должен продолжать делать, он осудит меня, быть может, без 7всякого снисхождения. Разве не рискованно, — продолжал он, слегка содрогаясь, — что я так много доверяю этому иностранцу, которого совсем не знаю? Но как же достигнуть великого, если быть разборчивым в средствах! Самому нельзя быть везде, нужно прибегать к орудиям и уметь направлять их так, чтобы они никогда не послужили во вред, и никогда не давать им в руки настоящего ключа для разгадки тайны. Этот Серра ничего не знает; он будет думать, что проводит свои планы или планы князя Кауница, а между тем он будет работать для меня. А всё же я не могу побороть страх; всё же я чувствую себя пред королём почти преступником, между тем как жертвую всем своим существованием, чтобы добыть для него самое высшее! Быть может, лучше было бы не затевать этой большой игры, а ограничиться скромным кругом деятель-

ности, как то делают другие, честолюбие которых не идёт далее механического выполнения данного приказания. Но нет, нет! — воскликнул он, с пылающим взором протягивая руку, — я рискнул и хочу довести эту игру до конца, если бы даже пришлось погибнуть! Возврата нет; для меня может быть только победа или гибель. Ставка высокая; она для меня — всё, что я имею в жизни. Но награда стоит этой ставки. Никогда ещё ни один слуга не сделал своему господину такого подарка, какой я хочу сделать своему королю. Я хочу подарить ему корону. Правда, она находится на краю гибели, но на голове короля Пруссии она заблистает ярким алмазом, дух Гогенцоллернов поддержит её, прусское непобедимое оружие защитит её. Рядом славных битв и потоками крови приобретена Силезия, поставившая Пруссию в ряды великих держав; я же хочу без армии, одною лишь силою ума и властью золота завоевать Польское королевство и положить его к ногам моего короля. Моё имя перейдёт в потомство и будет красоваться в блеске славы Фридриха наравне с великими полководцами. Итак, вперёд! прочь все сомнения и страхи! Герои старины никогда не завладели бы Капитолием, если бы с Тарпейской скалы со страхом смотрели в пропасть.

Вошёл Акст.

— В моём кабинете граф Потоцкий, — сказал он, — и просит аудиенции у вашего превосходительства.

Фон Герне вздрогнул и испуганно посмотрел по сторонам.

— Ради Бога, Акст, — сказал он глухим голосом, — не называйте этого имени! я знаю только господина Балевского, который здесь по делам дровяной торговли и предлагает компании торгового мореплавания заключить договор о поставке.

— Простите, ваше превосходительство, — сказал Акст, — он значится у меня также под этим именем, и я сам называю его этим именем у меня в кабинете, но здесь, в комнате вашего превосходительства, никто не может подслушать.

— Послушайте, любезный Акст, — сказал Герне, кладя руку на плечо своего секретаря, — невидимые духи могут быть сокрыты повсюду — в воздухе, в стенах, в мебели и в портьерах; они подслушивают тайны; непонятным образом разносят их и нашёптывают их в уши тех, для кого они менее всего предназначены; над нашей мыслью эти злые духи не властны, но каждое слово, произнесённое нами, принадлежит им, если

бы мы произнесли его даже в пустыне. Недаром предостерегает нас старая пословица, что «стены имеют уши». Поэтому остерегайтесь произносить это имя, которое знаем только мы с вами, которое никогда не должно быть изображено на бумаге и никогда не должно произноситься ничьими устами. Вам я могу доверять, но никому больше на свете.

Радостный луч блеснул на мгновение в глазах секретаря.

— Кому же и доверять вам, ваше превосходительство, если не мне, которого вы подняли из ничтожества, у которого нет семьи, нет родных, нет друзей, который живёт одним чувством благодарности к своему благодетелю?!

— Я знаю, добрейший Акст, я знаю, — сказал фон Герне, — но именно потому, что я доверяю вам, вы никому не должны доверять, даже стенам и воздуху. Ну, идите и пришлите ко мне агента Балевского!

— А Серра? — спросил Акст.

— Я посылаю его в Варшаву. Приготовьте векселя, о которых я вам говорил; он возьмёт их с собою.

— Такую сумму вы доверяете иностранцу? — спросил Акст почти испуганно. — Вы, ваше

превосходительство, кажется, считаете его более надёжным, чем стены и воздух?

— С векселями он ничего не может сделать, — сказал фон Герне, — они приобретут ценность лишь тогда, когда будут акцептованы варшавской конторой; что же касается всего прочего, то Серра будет действовать там за своею личною ответственностью.

Акст покачал головой, но ничего не сказал больше и открыл двери в кабинет, находившийся рядом с рабочей комнатой министра и имевший выход в канцелярию.

— Войдите, господин Балевский, — сказал он коротким деловым тоном, — его превосходительство изволит принять вас.

Он скрылся за портьерой, а в рабочий кабинет министра вошёл высокий, стройный молодой человек лет около тридцати.

На нём был простой костюм из серого сукна, как в то время носили зажиточные мещане и купцы; но, несмотря на скромную одежду, вся его фигура производила впечатление необычайного благородства; более элегантным, благородным и гордым не мог бы казаться ни один кавалер в салонах блестящего двора. У него был высокий открытый лоб; под смело очерченными бровя-

ми блестели большие, выразительные глаза; красивой формы нос напоминал клюв хищной птицы и ноздри породистой лошади; верхнюю губу его красивого рта покрывали чёрные усики, не вполне соответствовавшие его мещанскому костюму; в линиях рта выражалась гордая твёрдость и вместе с тем почти женская нежность. Волосы были причёсаны и напудрены согласно существующей моде, но свободно ложились природными локонами и отливали естественным блеском.

Когда дверь в переднюю закрылась, фон Герне пошёл навстречу с изысканной вежливостью и подал руку обер-маршалу Литвы, графу Игнатию Потоцкому, вошедшему к нему в кабинет под именем торгового агента Балевского.

— Я только что занимался нашим делом, граф, или, вернее, господин Балевский, — прибавил он, — ведь вы мне позволите называть вас этим именем? Я только что бранил моего секретаря за то, что он назвал другое имя, которое не должно быть здесь произнесено.

— Вы правы, совершенно правы, — произнёс граф, опускаясь на диван рядом с министром. — Впрочем, — прибавил он улыбаясь, — я имею право на это имя по названию моего маленького

имения «Балево». Ну, а что вы сделали? — спросил он затем.

— Я послал своего агента в Варшаву; он должен привезти мне подробные сведения о ломбардном обществе, которое должно явиться средоточием нашей деятельности.

— А вы уверены в этом человеке? — спросил граф.

— Он — итальянец, рекомендован нашим посланником, был в Вене и привёз от графа Виельгорского план совместной поддержки варшавского ломбарда.

— Из Вены, от графа Виельгорского? — в испуге воскликнул Потоцкий. — Но это невозможно, это равносильно разрушению нашего плана в самом корне!

— Не думаю, — сказал фон Герне, — это — единственный путь, чтобы сделать нашу тайну непроницаемой. Мой агент, думая, что преследует свой план и действует для князя Кауница, в сущности работает для меня. Таким образом устраняется всякое подозрение, мы же свободно можем наблюдать и начать действовать, когда настанет момент.

— Я вполне подчиняюсь вашему усмотрению и вашей опытности, — сказал Потоцкий, — но

должен сознаться, что одинаково боюсь как австрийского, так и русского влияния; обе эти державы ничего не принесут нам, кроме несчастья; только примкнув к Пруссии, моё бедное отечество, перенёсшее столько невзгод и унижений, могло бы надеяться на лучшее светлое будущее.

— Я согласен, — сказал фон Герне, — но присоединение к Пруссии может иметь значение только тогда, если обе короны соединятся на одной голове.

— Это так, — сказал граф Потоцкий торжественным тоном, — этой великой цели посвящены все силы моей жизни! Моё бедное отечество сделало большой промах, избрав короля Августа, который ничего не мог дать нам, а только желал приобрести внешний блеск для своего курфюршества. Но если польскую корону будет носить король Пруссии, то он придаст нам жизненной силы и его могущество послужит фундаментом к восстановлению нашего государственного строя. Прусский дух создаст из нашего храброго народа непобедимую армию; прусские порядки, свобода и справедливость проникнут в нашу жизнь и на ниве освобождённого народа произрастут неизмеримые богатства, а обычаи и нравы, со-

ответствующие духу нашего народа, сохранятся. Король Пруссии достаточно могуществен, чтобы управлять нами, сохраняя нашу самобытность, и если царствующий дом Гогенцоллернов станет в Польше наследственным, то приобретёт себе верных подданных как по эту, так и по ту сторону Вислы.

— Вы знаете, что я вполне присоединяюсь к вашему мнению, — сказал фон Герне, — однако возможно ли ввести в Польше протестантскую династию?

— Почему нет? — сказал граф Потоцкий. — Протестантизм пользуется у нас широким распространением и даже католическая лига вступала в союз с диссидентами, когда дело шло о том, чтобы восстать против слабого правительства. Почему бы им вместе не подчиняться сильной и славной верховной власти? Разве же Пруссия не имеет много католических подданных и разве католическая Силезия не предана прусской короне, несмотря на то, что прошло немного времени с её завоевания? Наконец ведь даже сам король защищает иезуитов против папы! Неужели ваше просвещённое правительство стало бы оскорблять в Польше права католической церкви? Взгляните на Австрию, как там

различные национальности соединяются в общей привязанности к царствующему дому. Разве не венгры спасли королеву Марию Терезию? Поверьте мне, король Пруссии и Польши будет могущественнейшим монархом в Европе; он подчинит своей воле Австрию и Россию. Быть может, — прибавил Потоцкий с мечтательным видом, — над соединёнными главами чёрного и белого орлов в новом блеске будет возвышаться римская императорская корона, которая в наше время является лишь церемониальной декорацией на главе лотарингских Габсбургов.

— Вы рисуете широкое и великое будущее, — сказал фон Герне. — В моей душе таятся те же мысли и я счастлив, что вы их разделяете, а не считаете только мечтой.

— Для людей, которые имеют мужество желать и действовать, — сказал Потоцкий, — не существует мечтаний. — Твёрдой волей каждая мечта осуществляется в действительности.

— Но нас только двое, — сказал фон Герне, — а судьба вашего отечества зависит от тысяч.

— Но эти тысячи, — заметил Потоцкий, — подчиняются воле единичных личностей, а эти личности, — прибавил он со вздохом, — подчиняются всесильной власти золота.

— Я уже говорил вам, что мы можем овладеть всеми голосами, если удовлетворим потребности каждого в отдельности.

— Вы желали иметь список; я составил его и против каждого имени пометил сумму, необходимую для приобретения голоса. Вот это — ссуды, которые должны быть выданы под векселя, гарантированные владениями должников. Правда, это — гарантия слабая, но со временем, когда при новом управлении возрастут работоспособность народа и ценность наших земель, долги могут быть покрыты с лихвою. Моего имени нет в этом списке, господин министр, — сказал он, гордо подняв голову, — и я сожалею, что в нём значатся многие почтеннейшие имена; но многие неповинны в том и терпят за грехи своих отцов.

Фон Герне взял бумагу, которую граф вынул из кармана, и стал читать её. Его рука слегка дрожала, но ни один мускул его лица не дрогнул и он сказал совершенно спокойным тоном:

— Это составляет четыреста тысяч талеров. Я представлю их вам наличными деньгами и надеюсь вместе с тем, что мой агент закончит с вашим двоюродным братом, графом Станиславом Феликсом, переговоры относительно покупки «Кроточина», чем граф также будет выведен из

затруднительного положения.

— Суммы очень значительны, — заметил Потоцкий, — но я уверен, что его величество король не найдёт их превышающими ту великую цель, какая этим достигается для него и для его дома.

— Для таких целей нет слишком высокой цены, — ответил фон Герне в некотором смущении. — Но я прошу вас, граф, даже в самом интимном кружке не упоминайте в этом деле имени короля; я один, понимаете ли, я один веду эту игру и беру на себя всю ответственность за последствия.

— Я вполне понимаю, — ответил граф, — бывают дела, в которых настоящее действующее лицо остаётся сокрытым, а верный слуга принимает на себя ответственность за своего господина.

Фон Герне вздохнул.

Снова задрожала его рука, когда он сложил бумагу и спрятал в свой карман.

— А здесь, — сказал Потоцкий, улыбаясь и подавая другую бумагу, — торговый договор, который я, как агент фирмы Ворзацкого в Варшаве, имею заключить с вашей компанией по делам дровяной торговли.

— Мой секретарь уладит это дело, — сказал фон Герне, также улыбаясь и кладя на стол развёрнутую бумагу, — фирма Ворзацкого останется

довольна своим агентом.

Потоцкий помолчал одно мгновение:

— Мы говорили о государственных и торговых делах, — сказал он затем, — и я надеюсь, что как те, так и другие приведут к удачным результатам; теперь же я попрошу разрешения поговорить о деле, которое касается лично меня и которое, я в том вполне уверен, приведёт к счастью.

Фон Герне казался несколько удивлённым, но сказал предупредительным тоном:

— Вы знаете, что я весь к вашим услугам.

— К сожалению, — продолжал Потоцкий, несколько покраснев, — это дело не так легко уладить, как прочие дела, и, кроме вашей готовности идти навстречу моим желаниям, необходимо ещё высшее соизволение, от которого всё зависит.

— Высшее соизволение? — переспросил фон Герне, с испугом глядя в лицо графа.

— Высшее по крайней мере для меня, так как от него зависит счастье моей жизни. Я имел честь познакомиться в вашем доме с вашей племянницей Марией; моё сердце воспылало страстью, на которую я не считал себя способным в моём возрасте. Полного земного счастья я могу достигнуть только тогда, если Мария отдаст мне своё сердце и руку. Я чуть ли не вдвое старше её, но

тем крепче и надёжнее опора, которую я могу предложить ей в жизни...

Фон Герне с минуту смотрел на графа с глубоким удивлением, а затем облегчённо вздохнул, как бы сбросив с себя огромную тяжесть. Судя по вступительным словам, он понял, что высшее соизволение, которого требовал граф, могло относиться только к королю.

— Ваши намерения, граф, — сказал он, — представляют честь для моей племянницы, и я уверен...

Граф сделал отрицательный жест рукою и сказал:

— Кто может быть уверен в сердце женщины! Не от вашего решения зависит моё счастье. Если Мария отдаст мне свою руку по принуждению или уговорами, я никогда не найду с нею счастья. Любовь должна быть свободна, как свет и воздух, как всё благородное, что нисходит с небес на землю. У вас я только прошу разрешения предложить руку Марии, а от неё будет зависеть решение моей судьбы. Я не богат, но и не принадлежу к тем из моих соотечественников, которых бедность сделала подневольными. Когда настанут лучшие времена для моего отечества, ценность моих владений возрастёт втрое и вчетверо, а моё

происхождение вам известно...

— Породниться с благородным домом Потоцких было бы честью даже для державных лиц, — поспешно заметил фон Герне.

— Значит, вы разрешаете мне сделать предложение? — спросил граф.

— Я счастлив и горжусь этим, — ответил фон Герне, пожимая руку графа.

— Однако я прошу вас не говорить об этом ни слова с Марией, — сказал Потоцкий, — я сам хочу попытаться завоевать её сердце, и если она не может подарить мне свою любовь, то я пойду одиноко по жизненному пути и мы никогда больше не станем говорить об этом.

— Как вы желаете, — произнёс фон Герне. — Я надеюсь, что вы окажете мне честь и отобедаете с нами и сегодня, как в предыдущие дни. Никому не может показаться странным, что я гостеприимно принимаю у себя в доме посредника по важным делам общества торгового мореплавания. У меня есть ещё некоторые дела, поэтому разрешите проводить вас к моей племяннице и предоставить вас её обществу до обеда.

— Благодарю вас, вы предупредили моё желание, — сказал граф, поднимаясь и следуя за фон Герне через особый коридор, ведший во внутрен-

ние покои дома.

III

Паж фон Пирш прибыл в Берлин на взмыленной лошади. Он подскакал к департаменту иностранных дел и передал графу Герцбергу приказ короля относительно советника Менкена. Затем он сдал свою лошадь в королевские конюшни и пошёл в департамент морской торговли, где, по роскошной лестнице с железными перилами художественной работы, поднялся в частную квартиру министра, во второй этаж.

Первый этаж обширного делового помещения соединялся особым боковым ходом с кабинетом министра и личной канцелярией. Дежурный лакей сказал, что министр занят, и спросил, доложить ли о нём сейчас же его превосходительству.

Пирш отклонил это самым решительным образом и спросил, можно ли видеть барышню.

Через несколько минут лакей вернулся обратно и повёл пажа сквозь ряд великолепных приёмных зал в помещение, расположенное со стороны сада; через широко раскрытые окна в него свободно вливался весенний воздух, а сол-

нечные лучи, проникая сквозь могучие кроны вековых лип, бросали свои колеблющиеся отблески в комнату, меблированную в своеобразном, немного строгом, но всё же уютном и необычайно изящно-художественном стиле той эпохи. Обои из светло-зелёного шёлка своими нежными тонами прекрасно гармонировали с обивкой белых лакированных и богато позолоченных диванов, кресел и стульев, всюду составлявших восхитительные и уютные уголки; красивые картины кисти Ватто, заключённые в медальоны и художественно воспроизводившие прелестные пастушеские сценки в жанре этого художника, украшали стены; на потолке амуры плыли среди золотистых облаков и казалось, словно каждый из них грозил оттуда своим натянутым луком; артистически исполненные дорогие фигуры и группы из мейсенского и севрского фарфора стояли на этажерках между роскошными растениями и благоухающими цветами; венецианские зеркала отражали и увеличивали всё это великолепие, а прекрасной работы паркет не уступал им в своём блеске.

В одном из углов виделись красивые маленькие клавесины из розового дерева, богато украшенные золотом и перламутром; вблизи роскошного

камина, где горел огонь не столько для согревания свежего весеннего воздуха, сколько для услаждения взора видом горящего пламени, был устроен восхитительный маленький, необыкновенно уютный уголок; диван, подходящий к меблировке комнаты, но у спинки обложенный турецкими подушками, был окружён ширмой, на белом шёлке которой виднелись разноцветные вышитые фигуры амуров, карликов, цветов и листьев; ширма была поставлена таким образом, что защищала от потока воздуха, стремившегося из окна. Пред диваном был постлан ковёр из отборных соболиных шкурок, а возле стоял прибор для пялец из чёрного дерева с инкрустацией, с одной из тех удивительных по искусству работ, которыми славились знатные дамы того времени. С другой стороны на золочёном шесте с перекладиной сидел красивый зелёный попугай, считавшийся в тогдашнее время необычайной редкостью. Тонкий аромат духов наполнял помещение, казавшееся убежищем юности, красоты и жизнерадостности.

Но вся эта обстановка, несмотря на всю свою привлекательность, оживлялась и получала смысл только благодаря присутствию миловидной хозяйки собранной здесь роскоши, о которой

в наш материальный век едва ли можно составить себе понятие.

На диване, откинувшись на мягкие подушки, сидела Мария фон Герне, рано осиротевшая дочь двоюродного брата министра; последний воспитывал её в своём доме, как собственную дочь.

Ей было около семнадцати лет, и вся она представляла собою существо, преисполненное такой нежности и свежести, какое мы едва ли могли бы встретить теперь, быть может, уже потому, что наши тяжеловесные туалеты не дают к этому подходящей обстановки. Благородное, тонкое, детское и всё же серьёзное, умное личико своей чистотой и воздушностью напоминало мейсенские фарфоровые фигуры, соединяя здоровую свежесть с идеальной прозрачностью слоновой кости. Большие глаза отливали голубоватым блеском, а из-под лёгкого слоя пудры светились золотистые, роскошно вьющиеся волосы. Венецианская цепь обхватывала тонкую шею, а на белоснежной груди сверкал рубиновый крест. Хорошенькая фигура молодой девушки ещё ярче выделялась во всей своей прелести, благодаря платью из лёгкого белого шёлка с затканными розами и фиалками, которое придавало ей вид гения весны; её ножки, обутые в шёлковые почти

прозрачные чулки и атласные башмаки с красными каблуками, покоились на собольем ковре.

Казалось, что это почти волшебно прекрасное и полное жизни существо должно взмахнуть розовыми крыльями и улететь в страну солнечных лучей и весеннего расцвета. И всё же на лице очаровательной девушки виднелись следы печального раздумья.

Она отбросила то рукоделье, которым она только что занималась. Её стройные руки лежали на коленях, розовые пальчики были слегка сложены, большие глаза смотрели на пылающее пламя камина, хотя их взор, казалось, был занят другими, более далёкими картинами.

Попугай, привезённый капитаном одного торгового судна, очевидно был недоволен, что его хозяйка, любимцем которой он считал себя, обращала на него так мало внимания. Он беспокойно ходил взад и вперёд по своей перекладине, повторял различные слова на иностранном языке, а затем подражал голосу горничной, причём повторял отдельные выражения, обыкновенно произносившиеся во время совершения туалета молодой хозяйки. Но всего этого было недостаточно, чтобы вывести молодую девушку из её раздумья. Совсем печально опустив голову, птица

как бы, в свою очередь, углубилась в размышления. Наконец она закричала своим своеобразным горловым звуком, но вполне отчётливо и понятно: «Игнатий!»

Мария быстро встрепенулась, словно это было волшебное слово, которое размышлявшая птица вдруг нашла. Яркая краска выступила на её щеках; своими большими глазами она испуганно взглянула на попугая и сделала движение рукой, точно хотела заставить его замолчать. Но птица стала махать крыльями и стремиться к своей хозяйке.

Молодая девушка встала и протянула ей свою руку и птица села на неё. Мария стала ласкать попугая, причём тот с нежностью прижимался головой к её плечу.

— О чём ты говоришь, милый Лорито? — сказала она, — ведь ты не так часто слышал от меня это имя, представляющее собою мечту, о которой я не смею, не хочу думать и которое всё-таки постоянно вспоминается. Здесь, среди этой однообразной жизни, — продолжала она после некоторого раздумья, — мне казалось, словно предо мной раскрылся удивительно привлекательный сказочный мир, когда тот иностранец рассказывал, о своих путешествиях, о разнообразной жизни

в польских замках, о ярких картинах Востока и о великолепии Италии. Его зовут Игнатием, он иногда говорил об этом среди своих рассказов, и вот почему это имя осталось у меня в памяти; оно осталось для меня как бы формой, как бы отзвуком всего того, что производило на меня такое сильное впечатление, и больше ничего. Ты никогда не должен называть это имя, Лорито, ты не должен о нём говорить, когда я в твоём присутствии погружаюсь в мечты.

Попугай словно понял её слова; он замахал крыльями и стал произносить всевозможные иностранные и немецкие слова, но ни разу не повторил запрещённого имени.

Вошёл лакей и доложил, что барон фон Пирш просит принять его.

— Просите, просите! — живо воскликнула Мария, — это внесёт немного разнообразия в печальную, однотонную жизнь, которая целыми днями тяготит меня.

Лакей открыл дверь.

Паж фон Пирш вошёл в комнату. Мария поспешила ему навстречу, и, протянув руку, сердечно сказала:

— Здравствуй, милый Фриц! Мы так давно не виделись! Когда ты приходишь, я всё ещё думаю,

что мы — дети и что мы сейчас начнём играть, как тогда, в те прекрасные прошедшие времена, когда для нашего счастья надо было так мало, когда детская и сад составляли весь наш мир, который мы по своему желанию населяли великанами, карликами, колдуньями и феями, так что у нас никогда не было недостатка в обществе и мы никогда не испытывали скуки.

Фриц фон Пирш посмотрел на молодую девушку восхищенными глазами, затем сделал необыкновенно изящный поклон и галантно поднёс к губам протянутую ему руку.

Но в этот момент попугай растопырил свои перья, стал злобно махать крыльями и пытался схватить пажа своим клювом.

— Фу, какая невежливая птица! — заметил паж полусердито, полушутя. — Говорят, что инстинкт животных заставляет их отгадывать и разделять чувства и настроение своих хозяев. Если бы это была правда, я мог бы сомневаться, что моё посещение приятно тебе.

— Какой ты глупый, Фриц! — со смехом промолвила Мария, — ведь ты знаешь, какие мы хорошие друзья и как я всегда рада видеть тебя, когда ты получаешь разрешение навестить нас. Птица, — продолжала она с ещё более искренним

смехом, — испугалась того, что ты отдал мне такой торжественный поклон и так церемонно поцеловал мне руку, а это на самом деле было очень комично для двух таких хороших друзей и товарищей по играм, какими мы были и останемся навсегда.

Лицо Пирша стало ещё серьёзнее, только недовольство в его чертах сменилось грустным выражением.

— Хорошими друзьями мы останемся, если Богу угодно, — заметил он, — но мы уже более не товарищи по играм. Годы быстро идут и быстро меняют всё. Хорошо ли это, или дурно, — я этого не знаю; для одного всё складывается удачно, для другого — нет, но таковы условия жизни, которые мы не можем изменить.

— Каким торжественным тоном говоришь ты, Фриц! — сказала Мария, всё ещё смеясь, — я просто не узнаю тебя. Пойдём, сядь возле меня, — продолжала она, ставя попугая на его место и садясь на свой диван, — да отбрось свою серьёзную мину, которая пугает меня. Поболтаем, как в прежнее время, обо всём, что придёт нам в голову, или расскажи мне что-нибудь о вашей придворной жизни в Сансуси, о которой слышно всё менее, чем старше становится король.

— Об этом можно рассказать очень мало, — заметил Пирш, пожимая плечами. — Что может происходить при дворе, где никогда не появляется ни одной дамы, где видишь только военных, угрюмых старых генералов, учёных и философов, бесконечно более скучных, чем придворные шуты, которыми забавлялись предшественники нашего всемилостивейшего короля; нашему брату не остаётся ничего другого, как в порыве отчаяния выкинуть какую-нибудь безрассудную шалость, над которой король, быть может, посмеётся, если счастье улыбнётся нам, но за которую он точно так же может засадить в Шпандау, если он будет в дурном настроении.

— И я уверена, — весело заметила Мария, — что Фриц Пирш при таких забавных проделках пажей всегда находится впереди и нисколько не боится быть отправленным в Шпандау.

Пирш вздохнул.

— Быть может, это было бы развлечением, как и всякое другое, — сказал он, — но то, в чём я признался тебе, совсем серьёзно. Меня действительно огорчает жизнь, которую я веду; время, идущее так быстро, всё более отделяет меня от милых воспоминаний о счастливом прошлом и даёт мне крайне мало надежд на будущее, ко-

торое для меня, да, для меня одного, не обещает никаких перемен.

— Для тебя ли одного, Фриц? — спросила Мария, пододвигая к себе пяльцы и снова принимаясь за работу. — Время бежит равномерно для нас всех, да, течёт настолько быстро, что нам хотелось бы задержать его, когда мы довольны и счастливы, и медленно, когда мы чего-нибудь ждём и на что-нибудь надеемся, и всего медленнее, — добавила она со вздохом, — когда мы скучаем и не знаем, на что мы должны надеяться и вообще можем ли мы на что-нибудь надеяться.

— Нет, нет, Мария, — сказал Пирш, — время не одинаково бежит для всех, оно имеет любимцев и пасынков. Посмотри на нас обоих! Мы были совершенно равны, когда были детьми, я даже имел некоторое преимущество пред тобой, так как был старше и сильнее, чем ты...

— Но во всяком случае не более рассудителен! — заметила Мария, поддразнивая своего друга детства.

— Тем не менее я всегда умел дать совет в затруднительных положениях во время наших игр. Ты звала меня на помощь, когда нуждалась в ней, когда надо было сделать что-либо запрещённое или избежать наказания при помощи находчи-

вого оправдания.

— Да, да, — со смехом воскликнула Мария, — в оправданиях у тебя никогда не было недостатка! О, как часто мы проводили воспитателя и строгую гувернантку!..

— А теперь, — продолжал Пирш, которого весёлый смех молодой девушки не был в состоянии отвлечь от мрачных мыслей, — всё пошло по-иному. Ты стала знатной особой. В сущности, я даже не должен называть тебя Марией и говорить с тобой на «ты». Эта мысль и промелькнула у меня, когда я отдал тебе почтительный поклон и поцеловал твою руку, за что отвратительная птица хотела укусить меня.

— Доброму Лорито, — быстро возразила Мария, — это показалось таким же комичным, как и мне; почему же нам не быть на «ты» и не называть друг друга «Фриц» и «Мария», когда мы выросли вместе, как брат и сестра, и на всю жизнь останемся ими? мне, по крайней мере, ты никогда не будешь чужим, Фриц; я всегда буду любить тебя, как брата.

Она сердечно протянула ему руку; юноша горячо поцеловал её, причём Мария не мешала ему, а птица снова злобно замахала крыльями, пытаясь достать Пирша своим клювом.

— Брат и сестра... — со вздохом произнёс он, — это действительно прекрасно, но... — Он печально покачал головой, а затем продолжал: — и всё-таки время далеко, очень далеко разъединило нас. Ты стала важною дамою; знатные кавалеры почтительно кланяются тебе, офицеры и придворные ухаживают за тобою...

Мария весело засмеялась, а потом, вздыхая, сказала:

— Неужели к этому представлялся случай на трёх или четырёх балах и собраниях, на которых я присутствовала в первый раз во время прошлогоднего карнавала?

— Ты сожалеешь о том? — почти запальчиво спросил Фриц.

— Можно ли сожалеть о чём-нибудь, чего не знаешь? — небрежно возразила Мария.

— Всё равно! — не унимался Пирш, — во всяком случае ты — важная, знатная дама, занимающая известное положение в свете и стоишь особенно высоко потому, что исполняешь роль полновластной хозяйки в доме своего дяди. А что такое я? Маленький, ничтожный паж, над которым порою смеётся король, которым он забавляется, как своими левретками, который должен стоять навытяжку пред каждым корнетом; одним словом,

я — ничто, нет, даже менее, чем ничто, так как ничто составляет по крайней мере пробел, который замечают; меня же не замечает никто. Никого не интересует, тут ли я, или нет, и это в том возрасте, когда я чувствую в себе силу совершить нечто и совершить более, чем многие вельможные и надменные господа; в том возрасте, в котором Александр Македонский собирался завоевать мир, а великий Алкивиад ставил свои прихоти законом для афинян.

Мария опять звонко засмеялась и сказала:

— Оставь в покое древних греков! они не могут идти в сравнение с нашим временем. Уж не плакать ли мне о том, что я — не Юнона и не Минерва и не могу носиться на облаках по воздуху? Однако, — задушевно продолжала она почти с миной мудрой страсти, — на что тебе собственно жаловаться? Вспомни, что ведь и великий король, наполняющий теперь своей славой мир, находился когда-то в твоём возрасте. Разве он не был также ничто под суровою рукою своего отца? Между тем ведь это не помешало ему сделаться великим и могущественным героем?

— Он родился, чтобы быть королём, — воскликнул Пирш, — будущее не могло ускользнуть от него.

— А почему твоё будущее должно уйти от тебя? — с жаром продолжала Мария. — Каждый человек носит в себе свою будущность, и тебе она улыбается гораздо приветливее, чем многим другим; ты состоишь на службе короля, он благоволит к тебе; скоро ты выйдешь в офицеры и...

— И стану школить рекрутов, — с горькой насмешкой подхватил Пирш, — стану размахивать капральной палкой в том возрасте, когда Александр украшал лаврами свой жезл полководца.

— Оставь в покое своего Александра! — с досадой воскликнула молодая девушка, — разве великий Зейдлиц, разве Цитен, разве все герои нашего короля не обучали сначала рекрут? а ведь это не помешало им потом выигрывать сражения, обессмертившие их имена? Неужели стыд или несчастье следовать по пути, пройденному ими?

— Я не сделал ещё и первого шага по нему, — с досадой возразил Пирш, — а если королю придёт такая блажь, то он может заставить меня пробегать ещё десять лет в мундире пажа. Видишь ли, Мария, вот что печалит меня; если бы я хоть начал свою карьеру, то, конечно, почувствовал бы себя храбрее; если бы твой дядюшка согласился замолвить за меня словечко, то это несомненно принесло бы мне кое-какую пользу. Когда же я

сам заговариваю об этом с королём, то он смеётся и спешит отделаться от меня шуткой, над которой я обязан смеяться по долгу службы, тогда как моё сердце возмущается, а желчь отравляет мне кровь. Переговори со своим дядей; напоминай ему почаще, чтобы он сделал для меня что-нибудь; тогда он не позабудет обо мне, и король, пожалуй, серьёзно отнесётся к этому, если вельможный министр намекнёт ему, что я — больше не ребёнок.

— От всей души готова я угодить тебе, Фриц, — сказала Мария, протягивая ему руку. — О, я была бы рада отплатить тебе за маленькие услуги, которые ты оказывал мне, чтобы избавить меня от наказания моего наставника и моей гувернантки, когда мы были ещё детьми!

Пирш крепко держал её руку.

— Когда мы были ещё детьми, — вздыхая промолвил он и так искренне, с такою теплотою заглянул в глаза молодой девушки, что она невольно потупилась в лёгком замешательстве, — да, в то время я был счастлив, если мог помочь тебе и защитить тебя; в таких случаях у меня всегда являлась изобретательность, я придумывал всякие уловки и находил в себе мужество идти наперекор строгому наставнику. Но если

я действительно поступлю на службу, которая вначале так узка и мелочна, то где почерпнуть мне храбрости, чтобы взобраться на крутые высоты, на которых, наконец, так поздно манят к себе славные подвиги? В старинные времена это было легче, — продолжал он с блестящими глазами, — рыцари проходили ещё более трудными, утомительными и тернистыми путями, но их вдохновляло служение дамам, которые обещали им сладостные награды за победу; нося в сердце образ своей дамы, с её именем на устах, эти герои преодолевали все трудности, чтобы всё-таки стремиться вперёд, на светлую высоту.

— Ну, — с улыбкой сказала Мария, — тогда выбери себе даму, как делали это старинные рыцари, но берегись, чтобы романтика не сделалась смешною; ведь наше время перестало понимать старинное рыцарство.

— Истинное рыцарство бессмертно, — воскликнул Пирш, удерживая руку молодой девушки, которую та хотела отнять, и прибавил, — а моя дама выбрана. У меня, пожалуй, даже нет выбора, потому что на моей уединённой службе я не вижу никаких дам. Но из моих воспоминаний мне светит её образ, просветлённый сиянием настоящего; прекраснее и достойнее я не мог бы

найти, если бы даже все дамы королевства были предоставлены мне на выбор. Моя дама выбрана. Кто же и мог быть ею, кроме дорогой подруги моего детства, кроме моей единственной милой, чудной Марии!

Рука молодой девушки дрожала в его руке. Она в смущении потупилась и с минуту молча смотрела в пол. Но потом она взглянула на юношу с весёлой, непринуждённой миной и, смеясь, сказала:

— Подобную честь я, конечно, не смею отвергнуть; поэтому я позволю тебе носить мои цвета, ведь рыцари Круглого Стола прославили своих дам; берегись, однако, — задорно прибавила она, — чтобы потомство не превратило меня со временем в Дульсинею Тобосскую.

Он не обратил внимания на это поддразнивание и пылко воскликнул:

— Мария! дамы старинных времён не только позволяли своим рыцарям носить их цвета, но сулили им также великолепнейшую награду, какую может только предоставить земля — чудную награду в виде своей любви! Когда рыцарь бился за лавры, то он знал, что и самая дивная роза вплетётся в венок его славы! Братом и сестрой, сказала ты, должны мы оставаться всю свою жизнь. Но

это невозможно, — нет, это невозможно! Это годилось для детей, но теперь я не могу быть твоим братом; не так любит брат свою сестру, как я люблю тебя! Если ты обещаешь мне рыцарскую благодарность, которой жаждет моё сердце, то я согласен переносить все! Я готов взять на себя неволю и унижение службы, я готов рисковать жизнью за каждый отдельный лавровый листок, чтобы сплести венец, в котором должна найти место душистая роза самого сладостного счастья. Мария, хочешь ли ты этого? хочешь ли ты удостоить меня такой награды? Ради тебя я способен на всё, без тебя же — ни на что; ради тебя я сделался бы великим, подобно Зейдлицу и Цитену, без тебя же я, как бродячее вино, разорву узы, которые связывают и парализуют мою силу и мою волю. Скажи «да», Мария! Человеческая жизнь зависит в этот миг от одного слова с твоих уст!

С этими словами он склонился к ногам своей подруги детства.

Мария резко отдёрнула свою руку, вскочила с места и смотрела на него в каком-то ужасе, то краснея, то бледнея. Однако её растерянность продолжалась одно мгновение, потом её разобрал громкий смех и она сказала:

— У тебя это выходит великолепно, Фриц; со-

вершенно так же торжественно и педантично объяснялись, пожалуй, старинные рыцари со своими дамами, пред тем как выступать против драконов и великанов. Право же, это превосходно; ты не можешь себе представить, какой у тебя смешной вид. Но в первую минуту ты в самом деле испугал меня.

С безграничным удивлением смотрел на неё Пирш снизу вверх, потом его брови сдвинулись с явной досадой и он сказал тоном упрёка:

— Но я говорю серьёзно, Мария. Не насмехайся, это действительно вполне серьёзно! Ведь мне давно уже известно, что я люблю тебя и не могу отказаться от тебя; потому что мне так грустно, что я всё ещё остаюсь маленьким, незначительным пажом, тогда как ты сделалась важной дамой. О, скажи мне только, что ты любишь меня взаимно, что ты хочешь быть моей! Ведь мы ещё так молоды и можем обождать... О, тогда я буду счастлив, тогда я готов легко и радостно взбираться на крутую вершину и, клянусь Богом, тебе не придётся никогда краснеть за своего рыцаря.

Мария продолжала смеяться, но уже только одними губами: её испуганные взоры прочли в глазах юноши, что его слова бьют ключом из глубины сердца. Она прижала руку к своей вол-

нующейся груди и голосом, которому напрасно старалась придать шутливый тон, сказала:

— Ну, довольно глупостей, Фриц, встань скорее! Вдруг кто-нибудь войдёт? Что могут о нас подумать?

Опасению, которое она высказала, боязливо оглядываясь на дверь, было суждено тотчас подтвердиться, потому что в тот же миг двери распахнулись, вошёл лакей и, посмотрев с величайшим удивлением на обоих молодых людей, представлявших в эту минуту сюжет для прелестной жанровой картины, доложил о визите графа Потоцкого.

Мария в сильнейшем замешательстве наклонилась к пажу, но тот даже в это мгновение не потерял присутствия духа и свойственной ему смелой уверенности. Он спокойно поднялся, совершенно естественным движением вытащил иглу из вышивания и подал её молодой девушке.

— Вот ваша игла, — сказал он, — она запряталась в мехе ковра.

Потом, пока Мария дрожа снова втыкала иглу в материю, натянутую на пяльцах, Пирш обернулся к дверям, чтобы приветствовать министра, который в этот момент переступил порог в сопровождении графа Потоцкого.

— Ах, ты тут, Фриц! — сказал фон Герне, приветливо протягивая Пиршу руку, между тем как Потоцкий почтительно раскланялся с Марией, стоявшей потупившись у своих пялец. — Ты давно не бывал у нас! Позвольте, господин фон Балевский, — продолжал он потом, — представить вам здесь сына моего друга, который рос у меня в доме, почти как родной; барон Фриц фон Пирш, паж его величества короля, а вместе с тем квинтэссенция смелости и шаловливости.

Пирш рассматривал строптивыми глазами невзрачно одетого и вместе с тем важного незнакомца. Форма представления, которая характеризовала его пред этим так гордо смотревшим господином почти как ребёнка, совсем не понравилась ему и возбудила вновь в его груди все чувства, которые он только что изливал пред своей подругой. Он ответил кратко и по-военному на вежливый, но холодно-снисходительный поклон графа, который, со своей стороны, был также не особенно обрадован, найдя здесь смелого, красивого пажа с глазу на глаз с молоденькой девушкой.

— Господин фон Балевский, — продолжал министр, — окажет нам честь откушать с нами. Мне нужно только покончить некоторые неотложные

работы, и потому я предоставляю тебе, милая Мария, составить нашему гостю компанию до обеда.

Племянница молча поклонилась.

Пирш, недоверчиво наблюдавший за нею, подметил, что она по-прежнему стояла потупившись и несколько раз менялась в лице. Он приписал это разыгравшейся между ними сцене и внутренне радовался её замешательству, которое доказывало ему, что девушка как будто отнеслась наконец серьёзно к его словам.

— Также и для тебя, — сказал фон Герне, обращаясь к Пиршу, — у меня есть занятие до обеденного времени, и оно, я думаю, доставит тебе удовольствие. Ведь ты свободен?

— Его величество дал мне отпуск на неопределённое время.

— Ну, так вот, — продолжал министр, — у меня новая лошадь в конюшне, то великолепное животное, приобретением которого я обязан вашему любезному посредничеству, господин фон Балевский, скакун благороднейшей польской крови. Сам я ещё не пробовал его, и ты, Фриц, должен произвести это испытание. Прикажи оседлать для себя этого коня и покатайся немного в Тиргартене. Потом ты дашь мне свой отзыв о нём.

Глаза Пирша вспыхнули. Благородный конь составлял для него предмет высочайшего интереса. Во всякое другое время поручение министра, дававшее ему случай покрасоваться верхом пред всем элегантным светом Берлина, доставило бы юноше необычайную радость; но в данную минуту он был крайне огорчён внезапным перерывом своего объяснения с Марией, которое как раз дошло до самого важного и решительного пункта; теперь же трудно было ожидать, чтобы к его продолжению представилась возможность в скором времени. Вдобавок ко всему этот незнакомец, внушавший Пиршу смутное недоверие, должен был остаться на его месте с молодой девушкой.

Досада Фрица ещё усилилась, когда Потоцкий заметил ему наставительным тоном, точно учитель ученику:

— Позволю себе посоветовать вам обращаться с лошадью осторожнее; наши польские лошади пылкого нрава: они повинуются приветливому слову, но не переносят шпор и хлыста.

Безукоризненно-вежливо, но с лёгким насмешливым подёргиванием уголков рта, Пирш поспешно ответил:

— Не беспокойтесь сударь! Паж прусского короля усидит в каждом седле и сумеет управиться с

любою лошадью, немецкой или польской — безразлично.

Он наскоро поклонился и вышел.

Потоцкий с удивлением смотрел ему вслед.

— Настоящий паж! — со смехом сказал фон Герне. — Итак, вы извините меня до обеда; надеюсь, моя племянница позаботится о том, чтобы вам не было скучно.

Он поклонился своему гостю и оставил его наедине с молодой девушкой.

Мария села на диван в своём уютном рабочем уголке и взяла в руки вышиванье, но её пальцы дрожали и ей лишь с трудом удалось снова продеть в иголку нитку, выдернутую Пиршем.

Граф придвинул стул поближе к ней.

Попугай сидел смирно на своей подставке и так серьёзно смотрел на свою молодую госпожу, точно глубоко обдумывал необычайно-важную и удивительную проблему.

Граф устремил пламенные взоры своих тёмных глаз на изящную, грациозную фигуру девушки, а затем, словно погруженный в задумчивость, сказал:

— Чужим приехал я сюда, но как ни кратко показалось мне проведённое здесь время, однако я точно расстаюсь с родиной, покидая Берлин.

— А вы собираетесь уехать отсюда? — спросила Мария, поднимая взор на своего собеседника.

— Да, мне предстоит в скором времени отъезд, — ответил он. — Мои дела здесь покончены и отзывают меня снова дальше.

— Значит, вы опять хотите начать свои странствования по дальним краям, о которых рассказывали мне столько прекрасного?

— Пока ещё нет; теперь я намерен вернуться к себе на родину, в Польшу, а потом, может быть, снова пущусь странствовать по свету. Кто однажды вкусил счастье исследовать человеческий дух в различных народах и отыскивать неисчерпаемую красоту природы в различных поясах земного шара, того всегда будет тянуть вновь к этому наслаждению и тому не усидеть больше в родном углу, в парализующих узах привычки.

— О, я понимаю это! — воскликнула Мария, которая, казалось, совершенно позабыла своё недавнее смущение, как только между нею и графом завязался оживлённый разговор. — Как великолепно, должно быть, иметь возможность свободно блуждать по свету! Я почти готова завидовать вам. Когда вы рассказываете о своих путешествиях, то я кажусь сама себе такой унылой в своём вечном однообразном одиночестве,

точно птица, которую кормят лакомствами в клетке, но которая всё-таки стремится на широкое раздолье природы, чтобы реять по воздуху, рассекая его свободными ударами крыльев.

— А между тем родина так прекрасна, дома так отдыхаешь душой! На родной земле вырастают цветы повседневной жизни и каждый из них имеет значение, дорог до святости. Хорошо выехать в свет со своей родины, но знать при этом, что вернёшься обратно, украсишь свой дом всеми богатствами, встретившимися на твоём пути, и найдёшь в родному углу блаженство покоя и тихого счастья. Но у кого нет дома, тот должен блуждать по свету, как перелётная птица, — с горечью прибавил граф.

— А у вас нет родины, нет своего дома? — с участием спросила молодая девушка.

— Это нельзя сказать; у меня есть имение, дом и усадьба, но всё же нет родного угла. Я очень рано осиротел и мой дом на родине не связан со светлыми воспоминаниями счастливого детства. Я провёл одинокую юность; был воспитан чужими людьми и таким же одиноким остался и теперь. Я люблю своё отечество, готов посвятить ему всю жизнь, но представление о нём не вызывает в моей душе горячего чувства; я не вижу пред

собой уютного домашнего очага, который согрел бы своим теплом моё измученное сердце. Я часто мечтаю о светлом родном угле, который привлекает меня какой-то чарующей силой, но нигде не нахожу его и мечта остаётся мечтой; домашний очаг оказывается для меня воздушным замком. В последнее время свой дом особенно заманчиво рисуется мне, моя мечта увлекает меня сильнее, чем когда бы то ни было, но не знаю, суждено ли ей на этот раз осуществиться. У меня не хватает мужества предложить тот вопрос, который решил бы мою судьбу.

Граф говорил так горячо, так сердечно, что Мария почувствовала трепет во всём теле; она низко опустила голову над работой и слеза повисла на её ресницах, хотя молодая девушка не могла дать себе отчёт, чем она вызвана.

Наступило глубокое молчание.

Попугай наклонился к своей госпоже и произнёс громко ласковым звуком:

— Игнатий!

Мария подняла голову и яркая краска залила её лицо. Широко открытыми глазами, в которых ещё блестели слёзы, смотрела она на птицу.

Граф вскочил с места. Сначала на его лице отразилось безграничное удивление, а затем светлая

радость заиграла на нём, точно солнечный луч.

Попугай ещё несколько раз повторил всё ласковее и нежнее:

— Игнатий, Игнатий, Игнатий!

— Ваша птица произносит моё имя, — проговорил граф дрожащим голосом, — следовательно вы знали, как зовут меня?

— Я не понимаю, откуда попугай научился этому, — пробормотала смущённая Мария. — Вероятно, вы, рассказывая что-нибудь, называли себя этим именем или ваши друзья, обращаясь к вам, произносили его, а попугай услышал и запомнил.

— Попугая не было в комнате во время обеда, — заметил граф, не спуская с молодой девушки горячего взгляда.

— Тогда я ничего не понимаю, не понимаю! — ответила Мария, дрожа и всё более и более смущаясь.

Она со страхом взглянула на графа и, не будучи в состоянии скрыть своё волнение, заплакала частыми слезами, слегка всхлипывая и стыдливо опустив голову на грудь.

— Вы упоминали моё имя, Мария, — глубоко тронутым голосом произнёс граф, — моё несчастное имя, которое никогда не знало любящих уст. Я

слышал его только от своих весёлых товарищей, которые сегодня дружески пожимали мне руки, а назавтра забывали о моём существовании. Вы называли меня и попугай, думая доставить вам удовольствие, затвердил моё имя. Боже, неужели моей мечте суждено осуществиться? Неужели сама судьба ответила мне на вопрос, который я не смел даже предложить?

Мария заплакала ещё сильнее.

Граф стал пред ней на колена и, взяв её руки, которые она почти бессознательно оставила в его руках, воскликнул:

— Господи, я чувствую, что небеса посылают мне неслыханное счастье, и теперь, Мария, я решаюсь предложить вам вопрос, который решит мою участь: хотите ли вы быть ангелом для меня и осуществить страстную мечту всей моей жизни? Хотите ли вы создать для меня семейный очаг, которого я был лишён с самого детства? Странствуя по горам и долинам, лесам и морям, я всё время томился о нём, считая его для себя недостижимым идеалом.

Мария сидела точно скованная; слёзы струились по её щекам, а руки дрожали в руках графа.

— Ответьте мне, Мария, одним единственным словом, — молил граф, — попугай слышал из

ваших уст моё имя, для него это было простым звуком, а мне дало бы величайшее счастье.

Граф прижал руки молодой девушки к своим губам.

Дрожь пробежала по телу Марии, а затем её уста почти непроизвольно, робко и нежно произнесли:

— Игнатий!

Граф вскочил с пола, прижал дрожащую молодую девушку к своей груди и осушил поцелуями слёзы с её чудных глаз, смотревших на него с мечтательным выражением.

Попугай тоже, казалось, радовался происходящей сцене; он встряхивал крылышками и несколько раз повторил то имя, которое только что произнесла его госпожа.

Наконец Мария освободилась из объятий графа. Она в полном изнеможении опустилась на диван и, как бы очнувшись от сна, проговорила:

— Боже, Боже, что я сделала?

— Что ты сделала, моя возлюбленная? — воскликнул граф. — Ты подарила величайшее счастье человеку, измучившемуся, истомившемуся одиночеством. Теперь у меня есть родина, есть дом; я буду с новыми силами бороться за славу и величие своего отечества. Мы будем ездить

с тобой по свету, собирать всё лучшее, что нам встретится на пути, и украсим им наш собственный дом на нашей родине.

— Наш дом! — с сомнением повторила Мария, причём снова слёзы показались на её глазах. — Разве это возможно? Вы не знаете, насколько мой дядя высокомерен, с каким пренебрежением он смотрит на окружающих его людей, хотя по виду со всеми любезен. О, зачем я не скрыла тайны своего сердца? Моему счастью не суждено осуществиться!

— Если бы твой дядя был так горд, как средневековый паладин, моя возлюбленная, — возразил со счастливой улыбкой граф, — ему всё-таки было бы трудно смотреть на меня сверху вниз. Клянусь тебе, моя дорогая, что он с радостью согласится на наш брак и не раздумывая отдаст мне твою руку. Это так же верно, как то, что я стою пред тобой.

Молодая девушка недоверчиво взглянула на него.

— Я не то, чем кажусь, — продолжал граф. — Моё место у самого престола императоров и королей; среди всей знати, окружающей их, я всегда могу быть первым. Благодарю тебя от всей души, моя возлюбленная, что, несмотря на мой скромный вид, ты отдала мне своё сердце.

Ты во мне полюбила только человека, а не его положение, и это обеспечивает мне счастье на всю жизнь. Кто я — не спрашивай лучше. Я не могу и не должен говорить тебе это. В моей тайне заключается нечто великое, святое. Не думай, — прибавил он, заметив выражение укора в её глазах, — что я не доверяю тебе. Я не колеблясь отдал бы свою жизнь в твои руки, но моя тайна важнее даже жизни. Мечтая обо мне — ведь любовь так склонна к мечтательности, — ты могла бы громко произнести моё имя, то имя, которое известно всему свету, и попугай, подслушав его, мог бы сказать его при ком-нибудь и таким образом моя тайна была бы открыта, а это не следует допустить. Поэтому думай, мечтай обо мне лишь, как об Игнатии — человеке, которого ты знаешь и чьё сердце навеки принадлежит тебе. Верь, что будущее принесёт нам счастье; любовь — это вера, а на почве веры вырастает надежда.

С последними словами граф схватил руки Марии и прижал молодую девушку к своей груди.

— Неужели счастье возможно? — улыбаясь сквозь слёзы, спросила Мария. — Да, это должно быть так, раз ты говоришь. Ты не можешь обмануть меня, мой Игнатий! ты знаешь, что я умерла бы, если бы разочаровалась в тебе.

Граф молча крепче прижал к себе Марию и их уста слились в долгом поцелуе.

Затем они сели рядом на диван, держась за руки. В камине горел огонь; яркие солнечные лучи заливали комнату, отражаясь на лицах влюблённых, нашёптывавших друг другу нежные слова. Если бы их спросили потом, о чём они говорили, они не в состоянии были бы дать ответ на этот вопрос. Слова вырывались из самой глубины сердца, подобно чистому горному ручью, текущему из недр земли.

Граф придвинул к дивану клетку попугая и время от времени ласкал умную птицу, нежно повторявшую: «Игнатий, Игнатий!».

Влюблённые всё крепче сжимали руки друг другу и их губы снова слились в горячем поцелуе, передавая старую и вечно новую тайну любви.

Время летело с быстротою молнии, несмотря на то, что оно составляло целую эпоху в жизни молодых людей и должно было оставить воспоминание на долгие годы.

В комнату вошёл фон Герне. При виде влюблённой парочки на его лице не отразилось ни малейшего неудовольствия. С лукавой улыбкой он попросил молодую чету остаться на прежних местах, а сам, взяв стул, сел возле дивана и завёл

какой-то безразличный разговор, во время которого Мария успела совершенно прийти в себя.

Вскоре вернулся и Пирш. Свежий и весёлый вошёл он в комнату. Непривычная свобода и быстрая езда доставляли ему особенное удовольствие, которое ясно светилось в его глазах. Он хвалил ловкость лошади, её послушание, но в его словах чувствовалось и довольство самим собой.

Потоцкий сделал молодому пажу комплимент по поводу его молодецкой езды, что придало юноше ещё лучшее настроение. Метрдотель доложил, что обед подан, и маленькое общество весело отправилось в столовую.

Вначале обеда Пирш был переполнен жизнерадостностью и оживлением; он рассказывал о шаловливых проделках пажей и оригинальном замкнутом образе жизни короля. Министр смеялся, слушая его рассказы, а Потоцкий и Мария молчали. Они не могли говорить о том, чем были наполнены их сердца, а всё остальное не имело для них никакого значения в эти минуты.

Пирш постепенно становился молчаливее. Любовь прозорлива и подозрительна, а потому от ревнивых глаз юноши не ускользнуло, что между Марией и иностранцем существует какое-то отношение. По временам они переглядывались

многозначительными взглядами, причём Мария счастливо улыбалась и, покраснев, потупляла свой взор; по временам их руки встречались как бы случайно, и пажу даже показалось, что они пожимали друг другу руки, опустив их под скатерть. Всё более сдвигались брови юноши; желчь отравляла его горячую кровь, которая бурно приливала к его вискам; он даже потерял свой завидный аппетит и отказывался от самых изысканных блюд.

Граф и Мария были слишком заняты друг другом, чтобы обратить внимание на настроение Пирша; но от министра не укрылось, что паж зорко наблюдает за иностранцем и племянницей, а сам становится молчаливее. Желая улучшить расположение духа юноши, фон Герне ловко вовлёк графа в общий разговор и стал расспрашивать его о разных странах, которые тот посетил во время своего путешествия.

Но рассказ графа ещё усилил недовольство юного пажа, который завидовал иностранцу, видевшему уже так много в своей жизни, тогда как ему самому ещё не удалось нигде побывать. Пирш почувствовал себя крайне маленьким и жалким; разговор, который был у него с Марией до обеда, показался ему теперь совершенно незна-

чительным, почти детским. Чем более угнетено было настроение Пирша, тем сильнее ненавидел он иностранца, унизившего его в глазах Марии своим превосходством во всех отношениях.

Обед кончился. Кофе велели подать в гостиную. Министр ждал вечером гостей, а потому граф поспешил откланяться. К величайшему огорчению пажа, он уловил взгляд Марии, обращённый на графа в то время, когда тот целовал ей руку на прощанье. В этом взгляде выразилось столько любви и нежности, что их не могли бы передать никакие слова.

Пирш не пожелал оставаться вечером в незнакомом обществе и тоже начал прощаться.

— Прощай, Мария, и не забывай того, что я тебе сказал утром, — проговорил он суровым, почти угрожающим тоном.

Он так сильно сжал её руку, что молодая девушка вздрогнула от боли, и быстро спустился с лестницы, обогнав графа. Сев на свежую лошадь, он помчался, что было духу, обратно в Сансуси. Тысячи мыслей проносились в голове юноши во время его безумной скачки, но всё сосредоточивалось вокруг ненавистного поляка с неизвестным именем, осмелившегося поднять взор на Марию, его подругу детства, и найти путь к её сердцу.

Пирш не понимал, как мог министр ничего не заметить.

Он уже хотел вернуться обратно и открыть глаза Герне, но нашёл, что этот поступок был бы недостойным по отношению Марии. Затем он решил прямо направиться к иностранцу, который остановился, как он слышал, в гостинице «Винценти», и с мечом в руках потребовать от него удовлетворения. Но в сущности чем Балевский провинился пред ним, чем оскорбил его? Кроме того разве мог он, юный паж, вызывать на дуэль взрослого мужчину? Наверно тот только рассмеялся бы в ответ на его вызов.

Вдруг Пирш вспомнил о том поручении, которое дал ему король и о чём он совершенно было забыл в своём сердечном горе. Король приказал ему следить за тем, что будут делать и говорить у министра иностранные искатели приключений, бывающие у него в доме. Очевидно, у его величества было какое-то подозрение и, вероятно, этот самый Балевский и был предметом подозрений. Таким образом орудие мести было в руках пажа. Конечно, Пиршу было неприятно играть роль шпиона в доме любимой девушки, было неприятно мстить из-за угла, но он находил оправдание в том, что иностранец хотел похи-

тить то, что для него было дороже всего в жизни. Кроме того, Пирш обязан был исполнить приказ короля, требовавший от него отчёта в том, что он видел и слышал.

Вот и Потсдам показался пред юношей. Он пришпорил лошадь и въехал в парк.

Король отпустил своего чтеца и отправился в кабинет, пред тем как принять маленькое общество, собиравшееся у него каждый вечер.

Пирш нашёл у себя приказ тотчас же явиться к королю по своём возвращении.

Фридрих сидел за письменным столом, просматривая бумаги.

— Ну, что, Пирш, ты уже вернулся? — спросил он, увидев юношу. — Ты долго был в отсутствии.

— Вы, ваше величество, изволили приказать всё осмотреть и послушать, — ответил Пирш, — для этого мне нужно было принять приглашение министра.

— Да, ты прав! — смеясь заметил король. — Но ты кажешься очень разгорячённым. Неужели ты выпил слишком много вина?

— Я так же мало боюсь вина, как и других своих врагов, ваше величество, — возразил Пирш.

— У тебя всегда готов ответ, — смеясь заметил король. — Однако меня интересует вопрос, видел

ли ты там и слышал ли что-нибудь?

— Да, я видел в доме министра одного человека, ваше величество, — ответил юноша, — по фамилии Балевского. Судя по его платью, он занимает невысокое положение, а по его рассказам видно, что он много пространствовал по белу свету. Министр выказывает ему особенное внимание, которого, конечно, не проявил бы по отношению к незначительному польскому дворянину без всякого имени. Из этого я вывел заключение, что этот человек представляет собой не то, чем хочет казаться.

— Я приказал тебе только смотреть и слушать, но не выводить никаких заключений, — заметил король.

— Судя по тому, что я видел и слышал, чужестранец, о котором я говорю, — чрезвычайно дерзкий господин, в чём смею вас уверить, ваше величество, — нисколько не смущаясь, проговорил Пирш.

— А больше ты ничего не видел? — спросил король.

— Нет, ваше величество, — ответил юноша.

— Прекрасно, можешь идти! — сказал король.

Пирш отдал честь, повернулся по-военному на каблуках и отправился в свою комнату, не заходя

на этот раз к другим пажам, как имел обыкновение делать это раньше.

Между тем король собственноручно написал письмо, запечатал его своей печатью и приказал ординарцу немедленно доставить его в Берлин директору полиции.

Отправив письмо, Фридрих вышел к своим гостям, которые успели уже поужинать в ожидании выхода его величества. Такой порядок был установлен раз навсегда в королевском дворце, с тех пор как сам король перестал принимать пищу на ночь.

IV

Варшава, столица Речи Посполитой и резиденция короля, который во главе этого самого странного в истории государства, окружённый всем внешним блеском короны, влачил некоторое подобие мнимо-державного существования, представляла собою в тысяча семьсот восьмидесятых годах далеко не ту картину, какую в настоящее время.

Город начинался от высокого берега Вислы и для своего едва семидесятитысячного населения занимал чересчур огромное пространство. Его улицы были широки, но плохо или и вовсе не вымощены и своим странным и своеобразным видом представляли точную копию всего польского королевства с его кричащими контрастами между богатством и бедностью, между роскошью и нищетою. Костёлы и общественные здания были в высшей степени величественны, дворцы магнатов и высшей шляхты своими размерами и великолепием могли соперничать со старыми особняками французской аристократии в Сен-Жерменском предместье, в Париже,

но превосходили те гордые господские усадьбы древнейших феодалов христианского мира своею расточительною роскошью, соединившею в себе азиатское великолепие с европейскою утончённостью.

На огромных, широких раскрытых дворах стояли запряжённые экипажи, а конюхи, в ожидании знака своего господина, водили верховых лошадей в великолепной сбруе. Лакеи или деловито шмыгали взад и вперёд, или собирались в кучки за праздной болтовнёй. Эта живая и беспрестанно меняющаяся картина казалась ещё пестрее благодаря тому, что слуги больших домов были одеты в разнообразнейшие костюмы — тут были видны и лакеи в галунах, в шёлковых чулках, в ботинках с пряжками и напудренных париках, важно выступавшие на своих высоких каблуках; повара во всём белом, которых польские магнаты выписывали себе из Парижа; рядом с ними крепостные в польской национальной одежде или в удивительнейших фантастических костюмах, явившихся плодом воображения и минутного настроения их господ. Во всех этих костюмах преобладали с безумной расточительностью золото и серебро и дорогие бархатные и шёлковые ткани самых ярких, блестящих цветов. Между

ними расхаживали мелкие шляхтичи, также одетые в различные национальные костюмы или французское платье; эти последние пользовались покровительством магнатов и в качестве шталмейстеров и егерей или вовсе без всякого определённого положения представляли собою их придворный штат; гордые магнаты не прочь были походить на древних римских патрициев и окружать себя своего рода гвардией, по численности которой можно было судить об их богатстве и могуществе.

Между этими большими дворцами, из которых каждый представлял собою блестящий центр кипучей жизни, тянулись огромные пустыри, на которых то там, то сям были видны крохотные избёнки, такие жалкие и заброшенные, какие едва ли сыщешь теперь даже и в самых бедных деревушках.

Пред этими хижинами, кое-где образовывавшими почти маленькие посёлки, двигалось грязное, укутанное в лохмотья население, боязливо разбегавшееся или распростиравшееся ниц при виде проезжавшей мимо раззолоченной кареты или при приближении какого-либо магната, окружённого своей блестящей свитой. Только на некоторых улицах центра города были видны

массивные дома с приветливо блестевшими окнами и маленькими благоустроенными садиками. Это были жилища иностранных купцов и ремесленников, удовлетворявших потребности знатного света и, благодаря беспечности магнатов, с невероятною быстротою обогащавшихся.

В этой столице свободной Речи Посполитой в то время ещё было совершенно особое положение, которое должно было казаться чрезвычайно странным у такой воинственной нации, в прежние годы весьма энергично вмешивавшейся в судьбы народов. Императрица Екатерина II, чтобы оказать поддержку выбранному при её влиянии польскому королю Станиславу Понятовскому в борьбе с его противником, двинула в пределы Польши русскую армию; но и после того как беспорядки уже давно улеглись, императрица всё ещё медлила отозванием своих войск.

Десять тысяч человек русского отборного войска ещё стояли в Польше и были распределены так, что в каждом городе наряду с польским гарнизоном находился и русский. В самой Варшаве была расквартирована тысяча русских солдат. Это число невелико, но если подумать о том, что в Польше в сущности не было армии и что только в случае войны дворянство ополчалось и вы-

ставляло необходимые воинские силы, то станет вполне понятно, что и этого незначительного числа солдат было вполне достаточно, чтобы держать под русским влиянием страну, причём вовсе и не казалось, что она оккупирована.

Каждый караул в Варшаве одновременно занимался и польскими, и русскими солдатами, причём на каждый пост назначалось по двое, так что везде возле польского часового в национальной литовке, стянутой широким кушаком, и в четырёхугольной конфедератке можно было видеть и русского гренадера в его форме прусского образца и в высоком металлическом кивере.

Одним из обширнейших и наиболее блестящим в этом полуазиатском, полуевропейском городе был дворец графа Станислава Потоцкого, который как начальник всей артиллерии был одним из высших сановников в королевстве, а по своему происхождению принадлежал к знатнейшим польским магнатам.

Бесчисленная челядь кишела на огромном дворе дворца, вестовые приходили и уходили, кареты приезжали и уезжали и нигде в другом месте не собиралось так много мелкой шляхты в качестве приживальщиков, как во дворце графа Станислава Потоцкого.

В нижнем этаже бокового флигеля огромного дворца находился обширный зал, причём в нём постоянно были накрыты столы для мелких шляхтичей, которых граф называл своими друзьями, а то и братьями. Здесь на огромном буфете целый день стояли изобильные запасы любимых польских национальных блюд вперемежку с великолепными произведениями французской кухни; тут же помещались погребцы с венгерскими и французскими винами; по всей комнате были расставлены маленькие столы, за каждым из которых могли поместиться от трёх до четырёх человек. Всякий, кто приходил сюда, был желанным гостем. Во всякую пору дня здесь шло бражничанье, как в общедоступном ресторане. Лакеи были готовы прислуживать гостям и повиноваться каждому их знаку, и многие из шляхетной свиты графа Потоцкого постоянно находились здесь, чтобы оказывать гостям почётный приём и заботиться о том, чтобы никто не ушёл отсюда недовольным. По временам появлялся здесь и сам граф Станислав Потоцкий, чтобы приветствовать своих гостей и выпить бокал вина со своими «друзьями и братьями»; его появление каждый раз возбуждало настоящую бурю восторженных криков и с каждым

новым днём число мелких шляхтичей, присоединявшихся к свите гостеприимного графа, всё увеличивалось и увеличивалось.

Среди служащих графа Потоцкого первое место занимал Вацлав Пулаский, дворянин старинного, обедневшего рода; он в сущности не имел определённого положения и как бы выполнял роль главного смотрителя над домашнею челядью. Пулаский пользовался огромным доверием у своего господина, так что его распоряжения исполнялись всею дворнею так же беспрекословно, как бы исходили от самого графа. Пулаский был в армии конфедератов, соединившейся с протестантскими диссидентами, чтобы при поддержке русских сил ещё более ограничить королевский авторитет, а впоследствии удалился под покровительство графа Потоцкого и всем своим знакомым объявлял при всяком удобном случае, что его не занимает более политика.

Пулаский был человек лет сорока; он носил старопольский костюм, шёлковый кафтан с меховою выпушкою, с широким кожаным поясом над бёдрами и с длинными рукавами с разрезом до самого плеча; летом эти рукава откидывались за спину, а зимою застёгивались над камзолом. Жёлтые сапоги по колено с серебряными шпо-

рами и меховая конфедератка, надвинутая на лоб, дополняли его костюм. Последний чрезвычайно шёл к стройной и жилистой фигуре «генерала» Пулаского, как его называли все слуги в доме; его острое, как у хищной птицы, лицо, с чёрными огневыми глазами, выдающимися скулами и короткой, клинообразной бородкой вполне выражало старый сарматский тип и напоминало картины времён великого короля Яна Собесского.

Свежим весенним утром Пулаский сидел в большом «гостином» зале дворца Потоцкого за столом вместе с несколькими шляхтичами, прибывшими из провинции и тотчас же направленными их друзьями в дом Потоцкого. Пулаский внимательно выслушал их нужды и обещал им поддержку и защиту. Пока гости усердно занимались огненным венгерским вином из графских погребов и наслаждались ароматом великолепного медвежьего окорока из лесов Подолии, разговор, как и всегда, вертелся на величавом, чисто княжеском гостеприимстве фельдцейхмейстера и на его пользовавшемся славою патриотизме.

— Да, да, — сказал Пулаский, прерывая восторженные похвалы гостя, — мой благородный

друг и покровитель, граф Станислав Потоцкий, — истинно великий человек; такие люди нужны нам в серьёзное, тяжёлое время; к сожалению, их становится всё меньше и меньше; всё больше подчиняют себе поляков чуждая власть и чужеземные обычаи, и тем дороже должны быть для нас те, у кого ещё сохранилась в душе тёплая искра к нашей старой дорогой родине.

— Но почему же терпят эту чужеземную власть и нравы? — воскликнул гость, осушая бокал венгерского до самого дна, — разве наши отцы поступали бы так? Меня как бы в сердце что-то ударило при виде чужеземных часовых у ворот Варшавы!

Несколько человек поднялись из-за соседних столов и подошли к говорившим; при последних словах гостя послышался одобрительный шёпот.

Пулаский окинул быстрым взором зал и слегка пониженным голосом проговорил:

— Ни слова о политике, мой друг, это не принято в гостеприимной столовой моего высокого покровителя! Не нам, маленьким шляхтичам, заниматься политикой. На сейме мы имеем свой голос, и там наше право обсуждать судьбы нашей страны, но теперь, когда сейм ещё не собран, предоставим политику тем, кто к тому призван,

и к таким людям прежде всего принадлежит наш дорогой граф Станислав; за ним мы последуем, к нему мы примкнём; он всегда познает право и поведёт нас законным путём и, когда наступит великая решительная минута на сеймовом собрании, мы будем знать, что нам делать. Если мы хотим послужить своей родине, то мы будем поступать только так, как поступает граф Станислав, и будем голосовать за то, за что и он голосует! Итак будем преданы ему и будем неустанно трудиться, чтобы ряды его друзей всё умножались, так что, когда наступит время действовать, всё наше отечество последует его руководству.

— Да будет так, пусть будет так! — послышались крики вокруг.

Окружавшая стол толпа всё увеличивалась, зазвенели наполненные вином бокалы, и громкий клик огласил зал:

— Да здравствует граф Станислав, пример для всей польской шляхты, слава и радость отечества!

Пулаский оставил своё место за столом; он не хотел продолжать разговор, после того как тот умело был переведён с опасной почвы на восхваление личности графа Потоцкого, благодаря

чему, если бы обо мне всем и стало известно шпионам, доверием к графу у всех польских партий, которые боролись за будущность Польши, могло лишь увеличиться. Он стал переходить от столика к столику, обмениваясь дружелюбными фразами со всё прибывавшими и прибывавшими гостями, поощряя их к выпивке и чокаясь с ними, причём сам конечно едва касался губами своего бокала.

В то время как в столовом зале нижнего этажа происходило вышеописанное, на конюшенный двор дворца боковыми воротами въехала телега, высоко нагруженная сеном. Крестьянин в холстинной куртке и в надвинутой почти на глаза меховой шапке управлял, сидя в седле, четвёркою низкорослых польских лошадей; двое других сидели на гружёном возу.

Занятые во дворе конюхи едва обратили внимание на эту повозку; ведь во дворец доставлялось очень много всякого рода поставок, и каждый из многочисленной челяди не беспокоился о том, что касалось не его, а другого.

Крестьянин, въехавший с возом сена, сполз с седла и, в то время как двое других спокойно остались сидеть на снопах, подошёл к конюху, чистившему скребницей благородного коня.

Смуглое лицо крестьянина было покрыто большой чёрной бородой, и его меховая круглая шапка была надвинута на проницательно смотревшие глаза и совершенно закрывала лоб.

— Пан, — сказал он конюху, — мы привезли, по приказанию ясновельможного пана Вацлава Пулаского, сено из сараев на лугах Вислы; это — сено последнего урожая прошлого года, лучше его нет, и оно предназначается для любимой лошади высокомилостивого пана графа Станислава Потоцкого; нам приказано явиться к самому пану Вацлаву Пуласкому.

По первых словах крестьянина конюх, по-видимому, намеревался высокомерно спровадить его, но имя всемогущего доверенного графа произвело своё действие. Конюх крикнул другого конюха, праздно стоявшего поблизости, и поручил ему доложить о крестьянине вельможному пану Пуласкому.

Крестьянин смиренно остался стоять возле своего воза; слезли с воза и двое других и начали перешёптываться со своим спутником.

Конюх прошёл внутренним двором в столовый зал и доложил Пуласкому.

— Ах, сено для любимой лошади пана графа, — сказал последний, — об этом нужно мне само-

му позаботиться, так как вельможный пан граф очень ценит это благородное животное.

Он торопливо пожал руку гостям и последовал за конюхом на боковой двор, где при его появлении вся деятельность сразу удвоилась и толкавшиеся без всякого дела конюхи скоро нашли себе работу, или по крайней мере делали вид, что нашли её.

— Ах, вот и вы, — сказал Пулаский крестьянам, когда те подошли к нему и смиренно приложились к поле его литовки, — ну, что, хорошо выбрали сено?

— Оно с лучших лугов, ясновельможный пан, — ответил повозчик, — отлично высушено, так свежо и ароматно, как будто только накануне косили его; такое сено можно задать и королевским коням.

Пулаский взял горсть сена с воза, потёр его между ладонями, поднёс к носу, понюхал и довольно покачал головою.

— Отлично, — проговорил он затем, — отпрягите лошадей и задвиньте телегу вон в тот сарай; необходимо, чтобы вы сами разгрузили фураж для любимой лошади вельможного пана, так чтобы эти вороватые бездельники не растащили половины его. Вы можете оставаться здесь, пока

не покончите со своим делом; за всё, что пропадёт, вы сами ответите предо мною!

Он вытащил ключ из кармана, собственноручно открыл широкие ворота особого фуражного сарая, и тотчас воз с сеном был распряжён под его личным наблюдением и заведён в сарай.

— Поставить лошадей в рабочие конюшни, — приказал Пулаский, — людей покормить здесь, пока они не покончат со своей работой, и, кто позволит себе плохо обращаться с ними, тот будет иметь дело со мною! — Он закрыл сарай, подал ключ повозчику и сказал: — пойдём со мною, я заплачу, что следует. А вы оба подождите здесь! Не очень-то спешите с работой и позаботьтесь о том, чтобы сено было старательно сложено на землю.

С этими словами Пулаский направился боковым входом во дворец. Повозчик последовал за ним. Двух других крестьян челядь, правда, с важной снисходительностью, но, согласно приказу Пулаского, приветливо и внимательно провела в открытый зал, в котором так же, как и на другом дворе для шляхты, были гостеприимно накрыты столы для слуг гостей.

Тминная и можжевеловая водки, хлеб, дымящееся мясо и сало были расставлены в изобилии, и крестьяне с почтительной благодарностью

приналегли на это.

Пулаский прошёл по длинному коридору, по-видимому и не беспокоясь о крестьянине; наконец он открыл дверь и вошёл в уютно обставленную комнату, выходившую окнами на большой двор, так что из неё было видно всё происходившее на нём.

Позади этой комнаты была расположена спальня, и возле неё находилось нечто вроде конторки, в которой на огромном письменном столе лежали всякие акты и книги, относившиеся к управлению домом и имуществом фельдцейхмейстера.

Пулаский вошёл сюда со своим спутником, осторожно закрыл дверь и затем прошёл в соседнюю комнату с явным намерением убедиться в том, что там нет никого, кто мог бы подслушать их.

Затем он вернулся к крестьянину, оставшемуся смиренно стоять возле двери, пожал его руку и сказал:

— Добро пожаловать, друг Косинский! я дважды рад, что вижу вас, так как тот факт, что вы здесь, доказывает мне, что всё подготовлено к тому, чтобы привести в исполнение наш план, успех которого возвратит свободу нашей родине, ставшей игрушкою для чужеземцев.

— Мы готовы, — ответил крестьянин, — остаётся только вам назначить время исполнения!

С этими словами он снял свою меховую шапку, причём обнаружился его высокий, покатый лоб, обрамленный тёмными вьющимися волосами, благодаря чему его лицо получило совершенно иное выражение. Он вздохнул, и его тёмные глаза, беспокойно смотревшие вокруг, приняли мечтательно-печальное выражение.

— Вы говорите это таким тоном, как будто возвещаете о каком-либо несчастье! А между тем моё сердце ликует при мысли об освобождении родины!— почти с укоризной проговорил Пулаский. — Как бы то ни было, прежде всего осушим бокал за успех дела. Мне очень жаль, что я не могу пригласить сюда других моих друзей; я сразу узнал их, несмотря на их шапки и накрашенные лица; ведь, это — Лукавский и Стравинский; но если бы я привёл их сюда с собою, то это бросились бы в глаза и вызвало бы подозрения. Вот потому-то им пришлось остаться со слугами. Что поделаешь! великое дело требует самоотречения. — Он открыл шкаф в стене, вынул из него два хрустальных бокала и наполнил их до самых краёв старым венгерским, крепкий аромат которого наполнил всю комнату. — За добрый успех и за

здоровье верных сынов родины, предлагающих ей свою руку на смелое дело! — воскликнул он.

Он звонко чокнулся и осушил до дна свой бокал.

Косинский едва омочил губы и печально смотрел пред собою.

Пулаский пытливо взглянул на него. Его лицо нахмурилось, но тотчас же снова приняло своё весёлое выражение.

Он усадил своего гостя на кожаную скамью возле себя и сказал:

— Ну, рассказывайте, что вы сделали.

— Всё исполнено так, как мы сочли нужным и как заранее уговорились, — ответил Косинский всё с тою же печальною миною. — Вы поселили меня, Лукавского и Стравинского в графском поместье на берегу Вислы, где мы и живём под видом крестьян, не возбуждая ни в ком подозрений. Мы собрали там в качестве земледельцев тридцать двух крепостных из графских поместий, очень смелых и мужественных людей, которые слепо повинуются нам и не боятся и самого чёрта. Мы обещали им свободу, если они доставят в руки своего господина его врага, тяжело оскорбившего его.

— Отлично! И что же дальше? — спросил Пу-

лаский.

— У нас сильные кони, — продолжал Косинский, — ничто не мешает нам употребить их в дело.

— Я знаю их, — сказал Пулаский, — и заботливо подобрал их; эти животные быстры и выносливы, как будто созданы для быстрой скачки по непроезжей местности, где за ними не угнаться и английскому скакуну.

— Нам недостаёт лишь оружия и платья; мы могли привезти туда только простые куртки; ведь значительная поклажа бросилась бы в глаза на улице и подверглась бы осмотру на таможне.

— Вы будете иметь всё, — сказал Пулаский, — я уже подумал об этом. На эту ночь вы останетесь здесь, я прикажу снести в ваш сарай матрасы, как бы для того, чтобы вы спали на них. В этих матрасах будут для всех вас платья военного покроя, чтобы в необходимых случаях вас принимали за патруль; вместе с тем я прикажу упаковать туда сабли и кинжалы. Когда вы отправитесь в обратный путь, я подарю вам эти матрасы; затем попросите у меня, но, так чтобы все люди слышали это, несколько бочек водки. У меня есть двое надёжных слуг из старой армии конфедератов, вполне преданных мне. Бочонки будут наполне-

ны пистолетами и огнестрельными снарядами, примите это во внимание и позаботьтесь о том, чтобы из-за неосторожного обращения не произошло несчастья.

— А если нас станут обыскивать в воротах? — спросил Косинский.

— Я дам вам с собою слугу в графской ливрее; никто не позволит себе обыскивать повозку фельдцейхмейстера, — отправляющуюся в его имение. Итак, всё идёт великолепно, вскоре мы будем иметь возможность привести смелый план в исполнение. Во всей стране уже подготовлено восстание. Ежедневно мы приобретаем сторонников для нашего дела, во всех провинциях у нас есть свои агенты, и когда престол освободится, то быстро созванный сейм провозгласит королём графа Станислава, а нерешительные и сопротивляющиеся будут увлечены или устранены первой вспышкой национального воодушевления. Правда, по всем местечкам страны коварно размещены десять тысяч русских, но тем самым их сделали бессильными воспрепятствовать общему народному восстанию, и, прежде чем они успеют собраться, они будут сметены его бурным вихрем. У императрицы Екатерины в настоящую минуту нет другой армии, и она будет

остерегаться двинуться вглубь возмущённой страны, на западных границах которой зорко караулят Австрия и Пруссия, будучи наготове, в случае необходимости, с оружием в руках выступить против преобладания России. Приготовлены законопроекты об освобождении крестьян и о сложении с них всех податей; мы сразу приобретём благодарность народа и вместе с тем постоянное войско. А тогда, — сказал он, и его тёмные глаза засверкали, — пусть приходят враги! мы будем защищать свою свободу и свою самостоятельность против всего мира.

Косинский склонил голову и тихо вздохнул.

— Что вы имеете против? — сказал Пулаский почти укоризненно, — что за забота гнетёт вас? Верите мне, всё внимательно подготовлено, успех обеспечен, если только вы смелою рукой нанесёте решительный удар.

— Я охотно верю этому, — сказал Косинский, — но что будет с нами, если всё произойдёт так, как вы говорите? — прибавил он, качая головой. — Не удайся наш план — а это во всяком случае ещё возможно — и нашей жизни конец...

— Неужели, служа святейшему делу, — сурово прервал его Пулаский, — кто-либо из поляков поколеблется пожертвовать своею жизнью ро-

дине?

— Найти достославную смерть на поле сражения, — это совсем не то, что позорно погибнуть под рукою палача, — сказал Косинский, после чего добавил: — а если наш план удастся, то что будет нам наградой?

— Вечная слава, — воскликнул Пулаский, — и неизгладимая благодарность отечества!

— Ах, великие люди легко забывают то, что сделано для них, — возразил Косинский, — и благодарность за корону уже довольно часто бывала роковою для тех, кому были обязаны ею. Позвольте мне быть откровенным, пан, — продолжал он. — Вы знаете, что я нахожусь в опасном положении, что только горячее сердечное влечение побудило меня обещать вам мою службу.

— Разве существует для польского шляхтича более высокое и более святое влечение, чем свобода и слава его родины? — спросил Пулаский.

— Для польского шляхтича! — печально произнёс Косинский, — но я — не польский шляхтич. Вы знаете, что я — сын крепостной и, по закону государства, должен наследовать состояние своей матери. Правда, мой отец подал ей руку пред алтарём в своём замке, в Подолии; он читал её, как супругу, и воспитал меня, как своего сына,

но, когда он умер, явился родственник и взял его имение; я не мог воспрепятствовать этому, так как не мог доказать брак своего отца с моей матерью, иначе обнаружилось бы её происхождение и мне пришлось бы впасть в жалкое и позорное крепостное состояние. Я вынужден был скрываться и радоваться тому, что тот родственник, овладев наследством, не разыскивал меня далее; но каждый день от меня может быть отнято и моё имя, единственное наследие моего отца.

— Вы находитесь под покровительством графа Станислава, — прервал его Пулаский.

— Разве покровительство графа может защитить меня от законов государства?

— Если он будет королём и вступит на престол, освобождённый для него вами, то он сможет даровать вам меч и герб и оградить вас от всяких преследований! — воскликнул Пулаский. — И вам обещано, что это именно будет так.

— Обещано! — повторил Косинский.

— Разве вы сомневаетесь в моём слове? — с угрожающим взором воскликнул Пулаский.

— Нет, — сказал Косинский, — я далёк от этого, но тёмные силы зло шутят над исполнением обещаний, а от этого обещания зависит для меня более чем честь и свобода, с моим именем связано

счастье моей жизни, моя любовь.

— Я так и думал, — сказал Пулаский, — где замешана женщина, там мужчина робеет и трусливо отступает пред смелыми подвигами!

— Не то, пан, совсем не то! — воскликнул Косинский, — о, моя возлюбленная конечно воодушевит меня на всякий великий подвиг, но как я могу надеяться когда бы то ни было добиться её, если грозный меч крепостничества повис над моей головой? Я должен сознаться вам, что люблю Елену Любенскую.

— Дочь старосты? — спросил Пулаский.

— Да, и она тоже любит меня, — ответил Косинский, кивнув головой. — Я познакомился с ней в имении своих друзей. Её отец горд и высокомерен. Бедный шляхтич едва ли будет милостиво принят им, а если бы он заподозрил, в каком я положении, то и совсем была бы потеряна всякая надежда. Поэтому я дал увлечь себя и обещал вам свою руку для исполнения вашего плана; но когда я в уединении подумал об этом, то упал духом. Если удастся всё это, то едва ли Любенский согласится принять своим зятем человека, с которого только милостью короля снято позорное крепостное состояние. Да кроме того, — взволнованно продолжал он, — разве то, на что я обязываюсь,

не является тяжёлым преступлением? Разве король Станислав — не мой законный повелитель, избранный сеймом, согласно законам страны, и разве поднять руку на помазанника не есть непростительная дерзость?

— Он на жалованье у чужеземцев! — воскликнул Пулаский. — Он был возлюбленным русской императрицы, наложившей на нас рабские оковы; он предал нашу нацию и свою собственную корону, которою народ венчал его недостойную главу.

— В таком случае пусть сейм объявит его недостойным короны! А кто же даёт мне право поднять на него свою руку?

— Вы поклялись в церкви Ченстоховской Божией Матери, пред чудотворным образом Пресвятой Непорочной Девы, — со страшной, угрозою в голосе произнёс Пулаский.

— Я знаю это, — мрачно возразил Косинский, — и эта клятва жжёт мою душу; прошу вас, пан, освободите меня от неё! Я покину страну, я поступлю на службу во Францию, там я попытаюсь узаконить своё имя... сделаюсь достойным этого имени; на поле сражения я завоюю себе положение, которое сделает меня достойным своей возлюбленной, или помру и своею смертью до-

буду прекраснейшее право на дворянство, так что все, кто будут носить имя Косинских, будут гордиться тем, что их имя вырезано на моём намогильном камне.

Пулаский готов был вспылить, его глаза метали молнии, его рука судорожно сжимала эфес сабли, но он быстро справился с собою, подавил в себе внезапный приступ гнева, и черты его лица приняли благосклонно-участливое выражение; он схватил руку Косинского и нежным, почти отечески любовным тоном проговорил:

— Послушайте, мой друг! Вы ещё так молоды, и я знаю, что в вашем возрасте любовь мутит рассудок; отрешитесь от таких печальных мыслей, овладевших вами в вашем уединении; подумайте о своей клятве, искупите своё слово смелым подвигом, который принесёт вам свободу и радость; своим честным словом я обещаю вам, что вы займёте высокое место у ступеней трона, путь к которому вы проложите для графа Станислава Потоцкого. Сам король будет вашим сватом у высокомерного старосты Любенского. Конечно, Господь Бог над всеми нами; если Им предопределён неуспех нашего плана, то вы должны умереть, как готовы сделать это на поле сражения во Франции; сражаться вам придётся

и здесь, и там, но здесь вы боретесь не только за свою любовь, но и за родину, а в такой борьбе помогает Сам Бог! Останьтесь верны святому делу и докажите тем самым, что в ваших жилах течёт благородная шляхетская кровь.

— Ваши слова западают глубоко в мою душу, — сказал Косинский. — Вы знаете, пан, как я уважаю вас и как верю вашим словам. Пусть будет так! Я готов исполнить свою клятву, но поклянитесь и вы на распятии, что никогда не забудете обо мне и во имя чести и всего святого приготовите мне место среди шляхтичей освобождённой родины.

Пулаский коснулся концами своих пальцев распятия, поставленного в стенной нише, и сказал:

— Клянусь вам в этом! клянусь, что вы будете вознаграждены за свой подвиг. — Он распростёр руки, прижал Косинского к груди и долго не выпускал его из своих объятий. — Теперь ступайте, мой друг, — продолжал он, — и ждите знака к началу своих действий. Вам теперь не следует долее оставаться здесь. Возьмите вот эти деньги, — сказал он, подавая туго набитый кошелёк Косинскому. — Разделите на глазах у всех один золотой со своими товарищами и будьте готовы завтра ранним утром, пока ещё все во дворце будут спать, отправиться в обратный путь; я

позабочусь о платье и об оружии. — Он ещё раз наполнил бокалы и воскликнул: — за здоровье прекрасной Елены Любенской! За счастье вашей любви! За свободу родины!

На этот раз Косинский звонко чокнулся своим бокалом и осушил его до последней капли.

Пулаский ещё раз обнял его, затем молодой человек снова надвинул на самый лоб свою меховую шапку, принял смиренную, согбенную позу, подобавшую его крестьянскому одеянию, и вернулся, расспрашивая слуг в коридоре о дороге на конюшенный двор; там он нашёл своих товарищей, сильно подвыпивших в кругу челяди и расхваливавших милостивого и щедрого графа Станислава Потоцкого с таким же единодушием, как и те шляхтичи, которые в господских комнатах пили за здоровье своего хозяина токайские и бордосские вина.

После ухода Косинского Пулаский стоял некоторое время, сильно задумавшись.

— Этот молодой человек может сделаться опасным, — проговорил наконец он про себя. — Ведь если найдётся предатель, то все мы погибнем, а с нами и дело нашей родины. Что значит пред этим одна человеческая жизнь?

Погруженный в глубокие размышления, сек-

ретарь прошёлся несколько раз взад и вперёд по комнате.

— Нет, — произнёс он потом, — Косинский собственно не опасен; это — слабая душа; ведь слаб каждый, кто подпадает под власть женской любви вместо того, чтобы забавляться ею в часы досуга; но к предательству он не способен; однако всё же не мешает учредить за ним надзор.

Пулаский дёрнул за ручку звонка.

— Ясновельможный пан изволил уже встать? — спросил он вошедшего крепостного слугу.

— Сейчас приказано подавать завтрак, — ответил тот.

Пулаский собрал некоторые бумаги, сунул их в портфель и направился в покои графа Потоцкого, служившего центром этого суетливого, кипевшего деятельностью мирка слуг, клиентов и вассалов, помещавшегося во дворце.

V

Жилые комнаты графа Станислава Феликса Потоцкого были расположены в обширном дворце со стороны сада. В противоположность беспокойной суете на широких дворах здесь царила глубокая тишина, и разнообразные звуки шумной жизни, доносившиеся с этих дворов и с городских улиц, отдавались здесь глухо, словно долетая издалека, так что тут можно было вообразить себя среди вельского или даже монастырского уединения.

Убранство комнат фельдцейхмейстера заключало в себе всё, что только может представить утончённая французская роскошь в сочетании с расточительной азиатской пышностью. В приёмных залах были собраны художественные произведения живописцев всех школ и эпох, а рядом с ними турецкое, персидское, древне-римское и средневековое оружие необычайной редкости и красоты; с плафонов, украшенных мастерскими картинами, искусной лепкой или драгоценной резьбою по дереву, спускались великолепные люстры из горного хрусталя; персидские ковры

устилали пол, а по ним в роскошном изобилии были раскинуты ещё пушистые шкуры тёмных медведей, тигров и пантер, заглушавшие шаги.

В конце анфилады этих убранных с расточительным великолепием покоев, где обыкновенно сходились на интимных вечерах близкие знакомые графа, помещалась его гостиная, круглая комната, отделённая от сада полукруглой стеклянной стеною, которая составлялась из различных дверей и пропускала сквозь себя яркий свет. Остальные стены этого помещения были сплошь завешаны толстыми коврами, которые спускались также на двери, и когда последние были затворены, то они придавали гостиной совершенно замкнутый вид. Вдоль стен тянулись низкие диваны с подушками, обитые турецкой материей, затканной золотом; множество кресел, также низких, необычайно удобных и обтянутых роскошнейшими тканями, стояло вокруг вперемежку с маленькими столиками, украшенными превосходной мозаикой с богатой инкрустацией из драгоценных камней. В противоположность этому азиатскому убранству на потолке комнаты в мастерском исполнении красовалось изображение рождённой из морской пены богини любви в тот момент, когда она, блистая чувственной

прелестью и вместе с тем неземною грацией, поднимается из морских волн, окружённая нимфами и амурами, которые показываются из воды и спускаются с неба, чтобы окружить поклонением только что родившуюся богиню. Эта картина была написана так живо, её краски были так свежи, а перспектива так воздушна, что казалось, будто восхитительная богиня, подательница земного и олимпийского блаженства, готова спуститься вниз, чтобы одарить обитателей такого великолепного и так заманчиво украшенного покоя упоительным наслаждением жизнью.

Двери, обращённые в сад, стояли настежь, и струившийся в них согретый солнцем утренний воздух смешивался с тонким и сильным ароматом одного из тех благовонных составов, которые таинственным способом в самых сокровенных комнатах восточных сералей изготовляются из ширазских роз, индийского мха и балтийского янтаря.

Часть сада, около пятисот квадратных сажен пространства, была отгорожена тонкой позолоченной проволочной сеткой, густо обвитой ползучими растениями; она представляла с виду вполне естественное заграждение и совершенно скрывала от взоров извне это замкнутое про-

странство, где соединялось всё, что только может создать совершеннейшее садоводство. Редкостные растения всех земных поясов и всех времён года стояли здесь в полном роскошном цвету; серебристые фонтаны и громадные водометы изливались в мраморные бассейны с красивой отделкой; турецкие шатры представляли укромные уголки для отдохновения, а мелкий жёлтый песок, которым была посыпана земля, соперничал в щепетильной опрятности с паркетом самых изящных гостиных. Стенные ковры круглой комнаты были откинуты в двух местах, открывая вход в полутёмную уютную спальню, а по другую сторону — в светлую уборную с ванной, где играли пёстрые отблески солнечного света, проникавшего сюда сквозь разноцветные оконные стёкла. Мраморный бассейн для купанья, куда нужно было спускаться по нескольким ступеням, был окружён нимфами и тритонами; они лили из раковин воду, которой посредством особого механического приспособления можно было каждую минуту придать любую температуру. По верхнему краю этого бассейна были разостланы толстые пушистые ковры, а вокруг него стояли мягкие диваны; одним словом, эта уборная-купальня представляла собою чудо сибаритской роскоши,

соединённой с благородным вкусом, так что сам персидский шах или султан в Стамбуле нашли бы её достойной себя.

Граф Станислав Потоцкий вышел из своей спальни и освежился в ванне тепловатой водою, надушенной тонкими французскими эссенциями; восточные прислужники растёрли его вслед за тем горячими полотенцами, а гардеробные лакеи под руководством камердинера-француза, который в своём шёлковом костюме одним повелительным и властным взором распоряжался лакеями в роскошных ливреях с галунами и фантастически одетыми восточными слугами, занялись его одеванием, и он вышел обратно в круглую гостиную после совершения своего первоначального утреннего туалета.

Графу Станиславу Феликсу было в то время около тридцати семи лет. Его высокая, стройная фигура отличалась благородством форм и важностью манер; он принадлежал к числу тех редких избранных натур, которые подобно кардиналу Ришелье рождены для величия и знатности и обладают свойством до такой степени придавать отпечаток достоинства, грации и изящества всему, что они делают, что даже в своих безумствах и пороках внушают людям восхищение к себе

вместо отвращения и в самых своих заблуждениях служат образцом и примером для тех сфер, где они вращаются.

Благородное, словно выточенное лицо графа со смело изогнутым носом было бледно, а несколько поблекшие, утомлённые черты старили бы его не по годам, если бы большие, пламенные и умные глаза не блестели юношески свежей жизнью. Полные губы, прикрытые длинными усами, улыбались благосклонно и приветливо. Эти губы и эти глаза должны были обладать умением уговаривать, убеждать и внушать доверие; однако в глубине этого обаятельного взора вспыхивало нечто похожее на коварную злобу, заметную конечно лишь тем, которые знали близко Потоцкого, или же отличались весьма зоркой наблюдательностью. Тёмные волосы над его широким лбом были подстрижены под гребёнку. Такая причёска позволяла ему носить польскую меховую шапочку по примеру строго-национальных дворян, которые, согласно старинному обычаю, брили голову, оставляя только на темени торчавший кверху хохол; но в то же время, благодаря этому, он имел возможность, появляясь при дворе, носить французское платье, сообразно господствовавшей здесь моде,

и надевать на коротко остриженные волосы напудренный парик, придававший красивой голове графа, когда она оставалась непокрытою, совершенно оригинальный отпечаток, напоминавший характерные мужские головы времён Генриха III и герцога Гиза.

Граф вышел из своей уборной в высоких из мягкого жёлтого сафьяна сапогах; они доходили по колено, превосходно обрисовывали его стройные, изящные ноги и были обиты у каблуков золотыми пластинками. Сверх сборчатых шаровар из тёмно-красного шёлка, ниспадавших на эти сапоги, на его гибкий стан был надет камзол такой же материи, стянутый изящным кожаным поясом, украшенным драгоценными камнями; дорогое кружево окружало густыми сборками шею графа, и вся его личность представляла собою нечто среднее между воином рыцарского типа и угодливым царедворцем.

При вступлении графа в гостиную лакеи скрылись, ковровые портьеры были спущены, так что всякий след входа исчез; остался только один камердинер пред своим господином, ожидавший его распоряжений.

— Пусть подадут мне завтрак, — приказал граф.

Камердинер поклонился и неслышно выскользнул вон.

Потоцкий вышел через отворенную стеклянную дверь в сад, вытянув руки, расширил грудь и с наслаждением потянул в себя свежее утреннее дыхание природы. Пока он переходил от одного расцветшего цветка к другому, наслаждаясь их ароматом, любуясь игрою красок, лакеи поставили пред широкой оттоманкой в его комнате низкий стол, покрытый всем, что в утреннюю пору может приятно возбуждать вкус, бодрить нервы и сообщить организму силу для напряжённого дневного труда. Разварные медвежьи лапы, французские пастеты, свежие яйца, маленькие бараньи котлеты в папильотках и только что поджаренные ломтики белого хлеба были соблазнительно сгруппированы и окружены хрустальными графинчиками со сверкающими хересом, портвейном и различными водками, которые частью фабриковались в самом Данциге, частью привозились данцигскими виноторговцами из Швеции и Дании. На маленьком столике рядом стоял золотой кофейник с душистым аравийским мокка; на другой стол слуги поставили хрустальную вазу с роскошными фруктами, которые раньше времени достигли полной зрелости,

благодаря искусству плодоводства. Чтобы расставить всё это, потребовалась одна минута.

Лакеи снова исчезли. Камердинер подошёл к порогу садовой террасы, чтобы доложить, что завтрак подан. Граф слегка кивнул головою и, не оборачиваясь, остановился пред исполинским кактусом, покрытым необычайно яркими цветами. Камердинер скользнул обратно в комнату.

Одно мгновение всё оставалось погруженным в тишину. Граф не мог сразу оторваться от разглядывания удивительных цветов безобразного колючего растения.

Тут тихонько откинулся стенной ковёр, закрывавший вход в спальню, и в гостиную вошла женщина, снова задёрнув за собою портьеру.

То было живое воплощение дивной красоты и грации, в котором величавость Юноны сочеталась с соблазнительной прелестью богини любви, смотревшей с потолка. На ней был костюм гречанок: широкие пурпуровые шаровары, ниспадавшие до изящных жёлтых туфелек, белый, шитый серебром бешмет с красным поясом, полуоткрывавший грудь, а на нём пурпурное верхнее одеяние с широкими разрезными рукавами, предоставлявшими полную свободу движений стройной руке восхитительной формы.

Лицо этой женщины, так таинственно вошедшей в покои графа, соединяло в себе благородство классической антики с чувственным пылом женщины Востока; её глаза, вспыхивавшие фосфорическим блеском, могли так же надменно смотреть с гордой высоты, как и обольстительно возбуждать необузданную страсть. Густые, тёмные волосы ниспадали толстыми косами на белоснежную шейку; маленькая красная шапочка прикрывала темя этой странной женщины, которую можно было представить себе королевой и баядеркой, Клеопатрой и Аспазией, причём она оставалась соблазнительной и прелестной, какой бы облик ни придавало ей человеческое воображение.

Красавица дошла до средины комнаты и, выглянув в сад, увидала графа. Затем тихо и неслышно, точно несясь по воздуху, она двинулась к нему, опустила за его спиной свои розовые пальчики в мраморный бассейн фонтана и опрыскала его кристальной водой.

Граф вздрогнул, обернулся, и его взоры восторженно вспыхнули при виде прекрасной гречанки.

Действительно, её образ был достоин восхищения, потому что в данную минуту это чудное

лицо сияло сладостно-влекущими взорами и прелестной улыбкой богини любви.

Граф поспешил ей навстречу и пылко заключил её в объятия.

— Благодарю тебя, моя София, благодарю, — воскликнул он, — что ты пришла ещё раз, чтобы я мог освежиться твоим милым видом для тягостной дневной борьбы, в которой я должен напрягать всю силу воли, всю остроту мышления, всю хитрость притворства; мне необходимо незаметно для людей преодолеть их враждебные козни и стремиться к поставленным себе целям, скрывая эти цели от них, чтобы господствовать над их послушным орудием, пока наконец после этой дневной тяготы наступит желанная, милая ночь, приносящая мне моё счастье. О, — продолжал он, нежно целуя глаза красавицы, — часто уже случалось мне в горькой досаде на все мучения и разочарования света, дневная борьба которого окружает меня, задавать себе вопрос, почему я не удерживаю за собою счастья, которое приносит мне теперь только молчаливая ночь в тёмной безвестности, почему я не сбрасываю с себя мучений и разочарований света и не создаю себе с тобою, моя возлюбленная, земного рая в уединении одного из моих отдалённых поместий

в лесах Подолии!..

Прекрасная София вырвалась из его объятий; её глаза вспыхнули, губы дрогнули почти с насмешливым презрением; Аспазия внезапно превратилась в Клеопатру.

— Какая мысль! — воскликнула она дивным голосом, обладавшим всею металлической звучностью колокола, который то дрожит тихими нотами, то разливается могучими звуковыми волнами, — что за мысль, мой Феликс! Разве возможно счастье в уединении, где нет борьбы за победу и господство, которая одна способна придать прелесть и цену этому земному существованию?

— А любовь, моя София? — спросил Потоцкий, почти обиженный её резким возражением, но опять-таки восхищенный новой красотою, оживившей её обыкновенно спокойные черты. — Разве ты не ставишь ни во что нашей любви?

— Любовь, мой друг, — серьёзно ответила она, покачивая головой, — это сладостное украшение жизни, но не её цель; она не может найти в самой себе пищу и была бы обречена скоро умереть в уединении.

— Значит, ты разлюбила бы меня? — спросил граф, в испуге схватывая её за руку и боязливо

пытаясь прочесть ответ в глазах молодой женщины.

— Да, — подтвердила София, не задумавшись, — да, мой друг, я разлюбила бы тебя в пустынном уединении, обрекающем нас на одиночество! Если уж наши прародители, — сказала она с восхитительной насмешливой улыбкой, — не могли выдержать уединение рая, то насколько менее пришлась бы нам по вкусу подобная жизнь — нам, в чьих жилах в продолжение стольких тысячелетий бродит сок яблока с древа познания! Почему полюбила я тебя, когда ты посетил нас в Петербурге? — спросила чародейка, нежно прижимаясь к графу, когда он печально и с упрёком посмотрел ей в глаза. — Потому, что в тебе я признала мужчину, созданного господствовать над другими! Я думала, что люблю Потёмкина, ты знаешь это; ведь моя жизнь открыта пред светом; но Потёмкин, который так могуществен и воображает себя ещё могущественнее, чем он есть на самом деле, должен склоняться во прах пред той Екатериной, которую можно назвать единственным мужчиной в целой России и которую я ненавижу за это! Прихоть этой женщины может одним мановением её руки низвергнуть его с теперешней высоты в ничтожество. Могу

ли я любить мужчину, который трепещет пред другой женщиной? Кто хочет быть моим господином, тог не должен быть рабом иной. Тебя, мой Феликс, я видела при петербургском дворе стоящим гордо и прямо среди трусливых рабов этой «Северной Семирамиды», как прозвали её льстецы, между которыми Потёмкин занимает первое место, хотя и размахивает бичом над головами остальных. С того мгновения моё сердце стало принадлежать тебе. Хотя ты не был господином над другими, но ты оставался свободным и только свободный мужчина — господин самого себя и женщины, которая его любит. Но ты должен сделаться также господином над другими, и Сам Бог осыпал тебя для этого своими дарами; но ты должен быть господином не над петербургскими рабами, а над гордыми и храбрыми мужчинами в Польше, которые неукротимы и упрямы, как благородный конь, но зато охотно и с радостью будут повиноваться мудрому и смелому хозяину. Ты — мой возлюбленный, потому что ты остался свободным; сделайся тем, на что ты был создан — царственным повелителем над другими, и ты будешь моим богом! Если же тебе вздумается прекратить борьбу за высочайшую и великолепнейшую цель на земле, если ты вздумаешь

удалиться в уединение, чтобы подобно воркующему пастушку тешиться шутливой любовной игрою, тогда, мой друг, ищи себе другую женщину, тогда я разлюблю тебя, потому что тогда ты перестанешь быть господином самого себя, а вскоре спустишься и до положения раба других.

София взглянула на графа влажноблестевшими глазами снизу вверх; Потоцкий горячо поцеловал её пухлые губы и воскликнул:

— Да, ты права, София! ты права, если отдаёшь свою любовь за высочайшую награду; правда, скоро блекнущий цветок срывают на краю дороги, но драгоценный камень нужно добывать в недрах скал, а жемчужину — из глубин моря. Да, я стану бороться ради высшей награды земной жизни, и если достигну её, то твоя любовь должна быть великолепнейшим драгоценным камнем в моей короне! Но далёк и труден этот путь, — прибавил он со вздохом, — и ужасные пропасти зияют по бокам его.

— Кто заглядывает в пропасти, — сказала София, — тот свалится в них от головокружения. Кверху, к цели должен подыматься взор; тогда бездна теряет свою мрачную силу, голова не поддаётся слабости, а сердце — страху. Неужели корона Ягеллонов должна осквернить на го-

лове той коварной женщины? Разве эта корона уже не достаточно запятнана с тех пор, как её носит тот Станислав Август, который некогда был возлюбленным Екатерины — нет, не возлюбленным, а только рабом её сладострастия, а теперь превратился в раба её ненасытного честолюбия? Что значат пред твоим родом эти Понятовские, которые возвеличились только по милости шведов и русских? Подними свою руку, мой возлюбленный, и оттолкни назад этого малодушного слугу женщины, столкни его в ничтожество, из которого он был поднят только прихотью чужеземцев на позор твоего отечества! Сшиби корону с его головы, чтобы в прежнем блеске надеть её на свою собственную голову, предварительно очистив и освятив её вновь! Если трон будет свободен, то для твоей жизни откроется путь к лучезарной цели. И ты бурным натиском, победоносно достигнешь её.

Потоцкий содрогнулся и мрачно сказал:

— Неужели кровь должна обагрить ступени трона и запятнать своим проклятием королевский венец?

— Взгляни вокруг себя, — воскликнула София, — взгляни на все троны мира, разве не обрызганы они кровью врагов и предателей? Неужели вели-

кий, благородный народ, который взирает на тебя как на своего спасителя и избавителя, должен погибнуть из страха пред кровью недостойного, который был сделан королём, благодаря чужеземным козням? Но будь спокоен, мой друг, тебе не придётся проливать эту кровь; проклятие, которого ты боишься, не запятнает твоей победы. Разве Пипин не взошёл на трон франков без кровопролития? разве понадобилось убивать того последнего из Меровингов, чтобы трон, принадлежавший ему по праву наследства, от предков, освободить для смелого героя, поднятого на щит народом? Нет, — сказала она с улыбкой непередаваемого презрения, — ему обрили голову и предоставили его божественному милосердию в одном монастыре. Ну, в Польше также найдутся монастыри и монашеские сутаны, а если тебе понадобится рука, чтобы действовать ножницами, то вот тебе моя; я не отшатнусь в испуге от головы этого Понятовского, которого даже недостойно осквернённое миро не может сделать королём.

Молодая женщина протянула руку, точно была уже готова привести в исполнение приговор над королём, дошедшим до звания простого монаха.

Потоцкий схватил эту розовую, нежную руку, предлагаемую для такого рокового дела, и вос-

кликнул:

— Ты — душа моей души, сердце моего сердца! ты делаешь меня молодым и победоносным... О, только бы я мог разделить с тобою награду за победу и мою корону! — прибавил он с печальным вздохом.

Взоры красавицы вспыхнули зловеще и грозно.

— Если бы ты мог? — спросила она. — А почему бы тебе и не смочь? Кто вздумал бы сковать руку царственного победителя?!

Потоцкий посмотрел на неё с удивлением, почти с испугом.

— Разве поляки, — нерешительно спросил он глухим голосом, — не потребовали бы тогда королевы из царского рода?

Ещё грознее загорелись взоры Софии.

— Из царского рода? — подхватила она. — Смелое мужество и гордый ум — вот что делает властителями, и я кидаю вызов всему миру: пусть кто-либо превзойдёт меня в мужестве и уме! Разве Пётр Великий не возвёл Екатерины на трон, который она спасла ему своим мужеством и умом, хотя эта женщина, по предрассудкам света, вышла из более глубокого ничтожества, чем я!

— А твой муж? — всё ещё нерешительно спро-

сил Потоцкий.

— Мой муж! — воскликнула она, — неужели тот полковник де Витт, тот раб Потёмкина, которому продал меня мой отец и который командует за тридевять земель маленькой крепостью Каменец, никогда не осведомляясь о женщине, носящей его безвестное имя, — в самом деле мой муж? Неужели мой союз с ним действителен пред Богом и пред церковью здешней страны? Неужели папа, именующий себя наместником Христа и держащий в своих руках должность ключаря, признает супружеский союз с протестантом или станет противиться его расторжению, если того потребует польский король? О, друг мой, берегись, чтобы я не сочла тебя мелким и трусливым! берегись отнимать у меня награду, которой я хочу добиться с тобою и для тебя! Меня ты никогда не унизишь до игрушки чьей-нибудь прихоти! Я избрала тебя своим господином, но если королевский венец украсит твою голову, то ничья другая голова не должна подняться возле меня; ненависть и мщение спят в моём сердце рядом с любовью; берегись разбудить злых духов!

Она стояла, гордо выпрямившись; демоны адской бездны, казалось, выглядывали из её глаз, а между тем в своём пылком возбуждении эта

женщина сияла дивной и соблазнительной прелестью; это была настоящая богиня мщения с волшебным поясом Афродиты.

Никогда ещё граф не видал её такою прекрасною. Он преклонил пред нею колено, прижал её руки к своим губам и воскликнул:

— Прости, моя возлюбленная, прости мне, что я мог поколебаться на один миг, мог помыслить один миг о том, чтобы приложить к тебе мерку жалкого, трусливого света, который стоит настолько ниже тебя! Да, ты права: смелый ум и гордое мужество создают государей, и где удалось бы мне найти королеву, способную сравниться с тобою!

— Так поклянись мне, — строго и грозно сказала София, — что ты, став королём, подчинишь себе также и предрассудок жалкого света, что ты разделишь со мною трон, на завоевание которого я влила в тебя мужество и сообщила тебе свой дух! поклонись мне именем Бога, карающего нарушение клятвы! или нет, поклянись мне честью своего имени, поклянись своею жизнью, потому что действительно твоя жизнь не была бы в безопасности на твоём троне, если бы ты нарушил данное мне слово!

— Клянусь тебе, — сказал Потоцкиий, — что

ты должна быть моей королевой! Клянусь Богом, моей честью и моей жизнью!

— Запомни этот час! — торжественно произнесла София. И тотчас же её осанка и выражение лица внезапно переменились; грозная богиня мщения исчезла, её заменила царица любви. Она привлекла к себе графа; заставив его подняться с колен, повисла на его руке, ласкаясь, повела его обратно в комнату и сказала: — я пришла, чтобы позавтракать с тобою, этот утренний час принадлежит ещё нам; день отвлекает тебя от меня к работе, к борьбе, в которой я могу быть с тобою только мысленно; но я чувствую, что мои мысли имеют силу сопровождать тебя повсюду, носиться вокруг тебя, подобно гению-хранителю.

После этого София села на диван, посадила рядом с собою графа и стала грациозно и восхитительно услуживать ему; она лакомилась то тем, то другим; она прикасалась губами к краю его стакана, как изящная птичка; она взяла из его рук свежую землянику, которая благоуханием и пышностью не могла поспорить с её алыми губами; она болтала шутливо и задорно, как шаловливый ребёнок, и когда налила графу в чашечку из мейсенского фарфора душистый кофе, то взяла с подставки над диваном роскошный

чубук из розового дерева с широким янтарным мундштуком, положила на золотисто-коричневый табак маленькую душистую лепёшечку и зажгла трубку, вынув из серебряной жаровни изящными щипчиками раскалённый уголёк.

Запах табачного дыма смешался с дивным ароматом медленно тлеющей лепёшечки, и граф Потоцкий, принимая услуги обворожительной женщины, которая, казалось, дышала одною любовью и преданностью, легко мог составить себе понятие о рае, обещанном Магометом своим правоверным.

Так прошло около получаса; наконец камердинер после трёх сильных ударов в завешанную ковром дверь вошёл в комнату с докладом, что Пулаский желает поговорить с его сиятельством.

Граф вопросительно взглянул на Софию.

— Пусть войдёт, — проговорила она, — этот человек в состоянии помочь советом и делом. Он знает мою тайну, а также и то, что я у тебя, а не в Константинополе. Ведь весь свет думает, что я, в качестве доброй дочери, поехала навестить своего отца! Если бы мы даже не верили Пуласкому, то, уверяю тебя, он всё-таки проник бы в мою тайну.

Потоцкий сделал знак камердинеру впустить

пришедшего, и через несколько минут Пулаский вошёл в комнату. Тщательно закрыв за собой дверь, он вежливо поклонился графу и Софии; в его манере держать себя не было и тени той подобострастности, какая была свойственна в то время многим царедворцам, не считавшим для себя унизительным целовать край платья лицам, стоявшим выше их.

Потоцкий предложил гостю стакан портвейна, к которому гость еле прикоснулся, после чего граф спросил:

— Что скажете, мой друг? Вы всегда приходите ко мне с чем-нибудь хорошим. Даже дурные известия не кажутся ужасными из ваших уст, так как у вас всегда имеется при этом добрый совет, который даёт возможность избежать несчастья.

— На этот раз я прихожу не вестником несчастья, — ответил Пулаский, — а с предложением изменить хорошее на лучшее, для чего потребуется направить острое оружие на противника и верным ударом выиграть победу.

— Вот видите, — весело заметил граф — я знал, что вы пришли с чем-нибудь хорошим. София была права, только что сказав, что вы — мой лучший друг.

Пулаский поклонился и промолвил:

— Их милость видит и чувствует за вас лучше, чем вы сами, потому что они видят в вас не только настоящее, но и будущее, блестящий свет которого хотя скрывается ещё за горизонтом, но лучи которого уже золотят небо. Персы верят, что над головой каждого человека невидимо витает его ангел-хранитель, освещая небесным огнём его путь; вот таким ангелом-хранителем, ваше сиятельство, является для вас их милость.

Потоцкий обнял Софию и, радостно улыбаясь, утвердительно кивнул головой.

Затем Пулаский рассказал коротко, но ясно, всё то, что слышал от Косинского.

— Всё готово, — закончил он свою речь, — нужно только выбрать удачный момент, и этот призрачный король окажется в наших руках, а иноземная власть рассеется, как пыль от ветра. Польская корона украсит единственную голову, достойную носить её, а скипетр попадёт в те руки, которые сумеют победоносно управлять им.

— Вот видишь, мой возлюбленный, — радостно воскликнула София, хлопая в ладоши, — всё то, что я предсказала, оправдывается. Только не следует слишком торопиться; необходимо выждать благоприятный момент, чтобы заряд не пропал даром. Прежде всего нужно узнать, когда и куда

выезжает по вечерам король и имеется ли при этом возле него охрана.

— Он почти всегда ездит без охраны, — заметил Пулаский, — так как считает себя вне опасности под защитой России.

— Ну, мы вырвем его из когтей Екатерины, воображающей себя властительницей Польши, — сказала София. — Нужно каждую минуту быть готовым к действию. Граф должен знать весь распорядок дня Понятовского и иметь точные сведения о каждом его шаге.

— У меня есть во дворце преданный камердинер, — заметил Пулаский, — он будет сообщать мне всё. Там вообще тайны не признаются.

— Следовательно, силки поставлены, — воскликнула София, — будем следить, чтобы в них попала птица!

Снова раздались три удара в дверь. Вошёл слуга и доложил:

— Приехал князь Репнин.

София, вскочив с места, воскликнула:

— Он не должен видеть меня.

— Будь покойна! — сказал Потоцкий с беззаботной улыбкой, — мой дом построен с хитростью лисицы. Для посторонних в нём имеется лишь один вход и выход, но для меня их целая сотня,

и ни один русский шпион не найдёт их. Попроси князя сюда! — прибавил он, обращаясь к камердинеру, а когда последний вышел, то граф поцеловал руку Софии и проговорил: — пойдём в мою спальню; через коридор, который соединяет эту комнату с твоим помещением, не переступала до сих пор ни одна посторонняя нога.

София поспешила скрыться за портьеру, и вслед за этим раздалось три удара в дверь, которая примыкала к парадным комнатам. Слуга открыл обе половинки, а Потоцкий встал с места и пошёл навстречу посланнику императрицы.

VI

Князь Репнин через ряд парадных комнат прошёл в круглую гостиную графа Потоцкого. Этому преданному слуге Екатерины Алексеевны было сорок семь лет, и он уже успел прославиться, как храбрый солдат в войне с турками и как ловкий дипломат при берлинском дворе. На князе был генеральский мундир с орденом Александра Невского. На его лице выражалась та высокомерная вызывающая самоуверенность, которой Екатерина Вторая требовала от всех своих представителей дипломатического корпуса.

В молодости князь Репнин отличался выдающейся красотой, и его многочисленные любовные приключения служили темой бесконечных разговоров при петербургском дворе. Князь до сих пор ещё сохранил стройную юношескую фигуру, и черты его лица носили следы былой красоты, хотя стали резче, острее. Глаза Репнина смотрели холодно и властно, но, несмотря на это и на то, что его волосы поседели, что до некоторой степени скрывалось пудрой, Репнину нельзя было дать его лет и он всё ещё вполне смело мог считаться

красивым мужчиной.

Он вежливо поклонился графу Потоцкому, встретившему его у порога дверей, но во всей его осанке чувствовалось сознание своего превосходства как представителя могущественной монархии, для которой Польша уже казалась одной из отдалённых провинций России. Репнин снял шляпу лишь у порога гостиной и сделал это правой рукой, вследствие чего, как бы случайно, протянул Потоцкому левую руку.

Граф сделал вид, что не замечает высокомерия Репнина, и с непринуждённой, весёлой улыбкой приветствовал его как дорогого, почётного гостя, но совершенно равного себе по положению.

— Сегодня счастливый для меня день, — проговорил Потоцкий, вводя князя в гостиную, — так рано я уже имею удовольствие принимать дорогого гостя. Надеюсь, милый князь, вы мне дадите возможность оказать лично вам какую-нибудь услугу или выполнить какое-нибудь желание императрицы Екатерины Великой, которую моя родина чтит как свою высокую покровительницу.

— Я пришёл к вам и за тем, и за другим, любезный граф, — ответил Репнин, опускаясь на диван, к которому Потоцкий подвинул кресло для себя.

— Я получил от моей всемилостивейшей государыня приказ, который совершенно подтверждает и моё желание. Для выполнения этого дела я особенно рассчитываю на вас, граф.

— Я буду счастлив служить вам, — с выражением живой радости, — ответил Потоцкий, — пожалуйста, распоряжайтесь мной.

— Императрица собирается на этих днях покинуть Петербург, — начал князь Репнин, — чтобы встретиться с императором Иосифом и посмотреть свои владения, так распространившиеся в её царствование на фундаменте, заложенном Петром Великим.

— Вот это прекрасно, — воскликнул Потоцкий с сияющими от радости глазами. — Какая величественная картина: глава Германии рука об руку с августейшей владычицей севера! Какая же сила в Европе может поспорить с этим союзом? Но и в этом союзе, — продолжал граф и, как бы забывшись, в увлечении схватил руку Репнина, — наша всемилостивейшая императрица окажется первой. Её светлый ум и олимпийское спокойствие покорять непостоянного, суетящегося императора. Её воля будет признана от границ Азии до самых Альп. О, мой дорогой князь, это лучше всякой битвы. Ум, взор и уста императрицы одержат

большую победу над врагом, чем все генералы, вооружённые смертоносным оружием.

— Да, это верно, — подтвердил Репнин с горделивой улыбкой на губах. — Обязанность всех слуг императрицы заключается в том, чтобы облегчить ей эту победу. Плоды победы отразятся и на вашей родине, граф, которой наша всемилостивейшая государыня желает навек даровать спокойствие, порядок и мир.

Странный огонёк мелькнул в глазах графа, но быстро исчез, и Потоцкий ещё оживлённее, чем до тех пор, воскликнул:

— Пожалуйста, считайте меня одним из вернейших слуг её величества. Я от всей души благодарен вам, милейший князь, за доверие, оказанное мне. Скажите, что от меня требуется? Вы знаете, что я всегда рад служить государыне.

— В таком случае слушайте дальше, — продолжал Репнин. — Государыня императрица желает принять императора Иосифа в Могилёве.

Потоцкий вздрогнул.

— Как, в Могилёве? На территории Польши? — воскликнул он.

Репнин, строго взглянув на него, возразил:

— Вы забываете, граф, что Могилёв принадлежит теперь России.

— Конечно, конечно, — поспешил согласиться граф Потоцкий, с трудом овладевая собой, — но в могилёвской провинции польское народонаселение, и потому там существуют польские обычаи и нравы.

— Императрица везде имеет право повелевать, и если бы ей даже вздумалось принять своего высокого гостя в Варшаве...

Потоцкий вполне преодолел своё внутреннее волнение; его взор стал спокойным и ясным, а лёгкая тень, появившаяся на его лице, могла быть объяснена его размышлением по поводу ожидающегося важного события.

— Вы знаете, милый князь, — прервал он Репнина, — что в Вене с неудовольствием смотрят на покровительство, оказываемое императрицей моей родине; французские дипломаты неустанно убеждают Австрию в том, что русское владычество в Польше крайне опасно для венского двора. Если при данных условиях императрица примет своего августейшего гостя в старинных польских владениях, среди польского народа, то это может показаться очень неприятной демонстрацией. Вы знаете, как я предан императрице, и потому считаю своим долгом указать, что встреча в Могилёве может вызвать конфликт, которым не

замедлят воспользоваться враги России.

— Вы правы, любезный граф, — холодно и спокойно ответил Репнин, — приём императора в Могилёве будет несомненно демонстрацией, но этого именно и желает её императорское величество.

— Это — желание государыни императрицы? — с изумлением переспросил Потоцкий Неужели она пожелает вызвать неудовольствие императора Иосифа, который может перейти на сторону её противников?

— Этого нечего бояться! — возразил Репнин. — В Вене слишком хорошо знают, что только Россия может удержать габсбургский дом от падения. Борьба между Австрией и Пруссией — лишь вопрос времени, и рано или поздно она снова начнётся. Решительный конец этой борьбы зависит от России; если она заключит союз с Пруссией, то роль Австрии в Германии будет окончена. Таким образом Вена будет достаточно умна, чтобы не рисковать будущим из-за минутной зависти. Во всяком случае, — прибавил он с вызывающим высокомерием, гордо откинув голову назад, — во всяком случае не пристало русской императрице, в особенности если ею является великая и непобедимая Екатерина

Алексеевна, идти окольными, скрытыми путями для достижения своей цели. Это допустимо для слабых, которые хитростью должны скрыть своё бессилие. Русский орёл высоко поднимается над своими врагами, и если он опустится за добычей, то весь свет не в состоянии вырвать её от него. Государыня императрица хочет быть и остаться владычицей Польши. Всё то, что по естественным условиям принадлежит Австрии и Пруссии, т. е. что касается их границ, она великодушно предоставляет им, что уже доказала на деле; но само царство польское, его центр останется под могуществом русского орла. Государыня императрица ни от кого не скрывает своих планов, в том числе и от императора Иосифа. Врагов, идущих против неё, она уничтожит, а друзей, поддерживающих её, конечно, вознаградит. Как видите, любезный граф, — закончил Репнин с обидной улыбкой, — я вполне разделяю ваш взгляд на значение этой встречи, но не могу принять ваше предостережение. Приём в Могилёве — демонстрация, но он и должен быть ею. Однако как ничтожен мир, если он не может подняться на ту высоту, с которой русская императрица взирает на Европу!..

Потоцкий потупился; спокойные, ясные слова князя вызвали в нём дрожь, наминая своей

уверенностью безумство римских цезарей. Вместе с тем он не мог не поражаться действиями удивительной женщины, занявшей с таким достоинством трон Петра Великого.

— Действительно, князь, я должен вам сознаться, что не могу уразуметь точку зрения государыни, — заметил он, — и могу повторить только то, что с удивлением и завистью говорит весь свет: существует на земле лишь одна Екатерина, одна «Северная Семирамида».

— Это сравнение неудачно, — проговорил Репнин, пожимая плечами. — Вольтер забыл, что Семирамида была побеждена в конце концов, а у нас этого никогда не будет. Если приём императора Иосифа в Могилёве будет демонстрацией, то она должна быть грандиозной, торжественной. Государыня должна явиться пред королём не в качестве претендентки на Польшу, а хозяйкой её; поэтому было бы желательно, чтобы представители польской знати, первые люди польского королевства, окружили свою владычицу.

— Следовательно, наш король тоже поедет в Могилёв? — спросил Потоцкий.

— Нет, — ответил Репнин. — Станислав Август Понятовский — друг государыни императрицы, она к нему очень расположена, и потому ей

не хотелось бы, чтобы он играл жалкую роль между двумя царствующими особами. Приглашать государыня никого не будет, так как её приглашение равняется приказанию, и если бы кто-нибудь отказался от него, то это имело бы вид государственного преступления. Тем не менее государыня императрица желает явиться в Могилёв окружённая польским двором; императору Иосифу пришлось бы в таком случае убедиться, что могущество Екатерины Алексеевны в Польше — не насилие, а что сам польский народ признает её и желает существовать под её владычеством, разделяя славу своей монархини. Вы, граф, лучше, чем кто бы то ни было, понимаете необходимость этого исторического требования; вы можете послужить примером для других, оказать на них своё влияние. Ввиду этого государыня приказала мне передать вам, что была бы рада видеть вас в Могилёве и доказать вам там свою благосклонность.

Потоцкий вздрогнул от неожиданности.

— Как, граф? — воскликнул Репнин, от зоркого взгляда которого не укрылось смущение Потоцкого, — вы боитесь? Неужели я ошибся в ваших взглядах, так часто высказываемых вами?

Потоцкий быстро овладел собой, и его лицо

приняло выражение делового раздумья.

— Для меня было бы величайшей радостью, — наконец произнёс он, — видеть лично нашу великую государыню и услышать из её уст милостивые слова, которые служили бы для меня залогом, что и в будущем моё имя займёт достойное место в истории нашего королевства.

— Вы знаете, граф, — сказал Репнин, — что когда государыня возложит на себя польскую корону, то провозгласит вице-королём и наместником того, кто докажет ей свою преданность и верность, то есть, другими словами, будет достоин этого высокого отличия. До сих пор я считал вас, граф, наиболее достойным подобной чести.

— И вы были совершенно правы, князь, если измеряли достоинство преданностью и готовностью служить великой императрице. Моей верности нет границ, — воскликнул Потоцкий.

— Но вы всё-таки колеблетесь? — спросил Репнин.

— Я колеблюсь, так как, к своему величайшему сожалению, не уверен, что буду в состоянии выполнить желание государыни! — ответил граф.

— Разве может быть сомнение в возможности исполнения приказа императрицы? — строго заметил Репнин.

— Вы знаете, милейший князь, — со вздохом возразил Потоцкий, — что я очень мало смыслю в хозяйственных делах. Мои имения приносят всё меньше и меньше доходов, и поэтому я принуждён всё более и более ограничивать себя в денежных средствах. Сидя здесь, я ухитряюсь вести дом соответственно моему положению; здесь я пользуюсь известным кредитом, но всего этого мало, чтобы предстать в должном виде пред государыней и вести там образ жизни, соответствующий моим званию и положению.

— Государыня императрица владеет всеми благами мира, — поспешно заявил Репнин, почти прерывая Потоцкого, — в её руках столько золота, сколько и железа. Верные слуги и друзья государыни никогда не должны предаваться низменным заботам о презренном металле. Больше об этом ни слова! Достаточно вам будет для поездки в Могилёв ста тысяч рублей?

— Вполне, — ответил Потоцкий, и его глаза радостно заблестели, — конечно, если не встретятся какие-нибудь непредвиденные расходы, — прибавили он, немного погодя.

— Я всегда готов удовлетворить ваши финансовые требования, — снова поспешил заявить Репнин. — Через час мой банкир принесёт вам

сто тысяч рублей в голландских дукатах.

— Вы прямо конфузите меня! — пробормотал Потоцкий, пожимая руку князя.

— Между друзьями такая маленькая услуга не имеет значения, а все верные слуги государыни — друзья между собой! — заметил Репнин. — Следовательно, я доложу её величеству, что будущий наместник Польши, окружённый польской знатью, явится в Могилёв, чтобы засвидетельствовать свою преданность русской императрице.

— Не забудьте при этом прибавить, — попросил Потоцкий, снова пожимая руку князя, — что моя благодарность за оказываемую мне царскую милость безгранична и что я буду рад, если мне представится возможность доказать её величеству свою верность и готовность служить ей.

— Не беспокойтесь, эта возможность скоро представится! — таким холодно-высокомерным тоном ответил князь, что Потоцкому с трудом удалось удержать своё негодование.

Репнин, не прощаясь, направился по анфиладе парадных комнат, как будто само собой разумелось, что хозяин дома должен проводить его до передней. Но в предпоследней комнате Потоцкий остановился; здесь собралось несколько шляхти-

чей, состоявших у него на службе.

— Простите, князь, что я не провожу вас дальше, — самым невинным тоном проговорил Потоцкий, — я не совсем одет и потому не хочу выходить в переднюю. Передайте её величеству, — прибавил он тише, обращаясь к удивлённому князю, — что я сейчас же начну хлопотать о том, чтобы блестящая свита окружила государыню в Могилёве.

Потоцкий сделал знак шляхтичам, и те с такой почтительностью проводили посланника русской императрицы к карете, точно он сам был коронованной особой.

Экипаж князя, сопровождаемый скороходами и шталмейстерами, подъехал к подъезду. Среди всех собравшихся на дворе царила глубокая тишина. Все стояли с обнажёнными головами, пока князь Репнин не сел в свою карету, но никто не промолвил ни слова, и в то же время из-за занавесей окон в большой столовой на представителя русской императрицы были направлены десятки мрачных, полных угрозы взоров шляхтичей.

Граф Потоцкий возвращался через ряд парадных комнат в свою гостиную.

«Наместник, вице-король Польши! — думал он, медленно ступая по паркету. — Этой приман-

кой они хотят подкупить польского дворянина, имеющего право носить корону на своей голове. Они думают сыграть со мной ту же игру, которую проделали с бедным ханом Сахимом Гиреем. Они обещали назначить его крымским наместником, а затем столкнули в бездну, когда он оказался лишним им. Нет, для меня эта роль не подходит. Но как тяжело, Боже, переносить высокомерие в ожидании, пока наступит час возмездия! А кто же может поручиться, что мне удастся достичь намеченной цели? — тихо прибавил Потоцкий, входя в свою гостиную. — Всякий умный полководец подготовляет себе достойное отступление на случай неудачи битвы. Я должен поступить так же. Если судьбой предназначено, чтобы Екатерина командовала нами за грехи наших отцов, то, право, лучше быть польским наместником, чем погибнуть в неизвестности. В истории бывали примеры, когда вице-короли становились самостоятельными королями. Эта высокомерная Екатерина любит сравнивать себя со львом и орлом, а, по-моему, она больше похожа на тигрицу и змею. Однако хитрее всех их лисица. Она умеет скрыть свои следы, выслеживая в то же время врага».

Потоцкий поднял голову, и в его глазах про-

мелькнуло такое хитрое выражение, точно он действительно был из лисьей породы и лишь ждал благоприятного момента, чтобы наброситься на неприятеля.

В кабинете граф застал Софию, полулежавшую на диване.

— Послушай, мой друг, — крикнула она Потоцкому, удивлённо остановившемуся на пороге комнаты, — я просила у тебя ножниц, чтобы обрезать королю волосы пред посвящением его в монашеский сан, а теперь прошу ещё достать мне хороший кнут.

— Для чего это? Неужели Станиславу Понятовскому мало того наказания, которое ты придумала? — улыбаясь спросил граф.

— Нет, кнут не для него, — возразила София. — Он предназначается для бессовестного Репнина, которого я собственноручно отстегаю, когда наступит счастливый день, в который корона украсит твою голову.

— Ты, значит, подслушала наш разговор? — испуганно спросил Потоцкий.

— Да, я стояла за портьерой! — спокойно ответила София.

— Боже, какая неосторожность! — воскликнул граф. — Если бы Репнину пришла фантазия при-

поднять портьеру...

— Он не увидел бы меня, — прервала Потоцкого София, насмешливо улыбаясь. — Женщины Востока умеют скользить, как змеи. Я услышала бы его шаги и скрылась бы, прежде чем он успел бы коснуться портьеры. Я готова была поклоняться ему, слыша его гордые речи, но ведь он — не свободный человек, а невольник Потёмкина, невольник Екатерины. Вся кровь прилила к моему лицу от злости и стыда, что он осмеливается таким тоном говорить с тобой, с тобой, которого я признаю своим господином. Поэтому я и прошу кнут, чтобы собственноручно избить этого Репнина и отмстить ему за нанесённое оскорбление.

— Я должен склониться пред ним, пока не наступит момент моей власти, — проговорил Потоцкий. — Я принуждён носить маску, притворяться, пока королевский скипетр не будет в моих руках. Хотя это — очень горькая, очень неприятная необходимость, но и величайшие герои всемирной истории не избежали её. Разве Цезарь и Генрих Четвёртый Французский не побеждали хитростью в такой же мере, как и смелостью? Разве эта самая Екатерина, высокомерно издающая законы для всей Европы, не прибегала к хитрости, унизительному притворству и бесконечному

терпению, чтобы добраться до той высоты, на которой находится в настоящее время?

София вскочила и, как бы заклиная, простёрла руки с восклицанием:

— Высота, высота!.. Она блистает пред нами; но пока мы всё же находимся в тёмной низине. Ни на одно мгновение мы не должны терять из вида сияющую вершину и, в то время как уста будут произносить слова смирения, в душе должна звучать клятва мести! Только ради этой мести я прощаю тебе, что ты склоняешь голову пред рабом императрицы и оскверняешь свои руки её золотом.

— Ну, что же, — сказал, смеясь, Потоцкий, — разве не победа лукавства в том, что враги сами вручают нам для борьбы орудие, которое должно погубить их? Милая София, деньги — могущественная сила, в настоящее время самая могущественная; они помогут нам приобрести армию и оружие, необходимые для достижения великой цели. А у меня недостаёт именно этого орудия; я беден, несмотря на всю эту роскошь, которая окружает меня; мои поместья истощены; в то время как за моим столом пируют тысячи людей, у меня не бывает иногда ни горсти золотых и я должен изыскивать способы, как бы свести

концы с концами! Разве не победа, не счастье, когда мои враги сами предлагают мне орудие?!

— Быть может, это — и счастье, — сказала София, — но победа наступит лишь тогда, когда ты станешь ногами попирать врага. Ты отправляешься в Могилёв?

— Да разве я не должен ехать? — спросил Потоцкий. — Чтобы не возбудить подозрений императрицы, я могу вербовать сторонников, лишь сохраняя вид полнейшей преданности ей.

— Да, ты должен быть там! — сказала София. — Ты прав, а всё же моя душа возмущается, что мы не можем вступить в открытую борьбу с этой гордой императрицей. Терпение тягостно, но тем сладостнее будет месть! Ну, что делать! будем ждать и искусной рукой расставлять сети, в которые должен попасть наш высокомерный враг. Прощай, мой друг! я пришла сюда ещё раз, чтобы внушить тебе мужество и доказать, что не слежу за тобою втайне, а имею к тебе полное доверие.

Она обняла графа и протянула губы для поцелуя; но последний был холоден, почти равнодушен; в этот момент её мысли были далеки от беспечной любовной игры.

Потоцкий, задумчиво смотря ей вслед, произнёс:

— Она права, подстрекая меня для борьбы за высшую цель; только едва ли это требуется, чтобы воодушевить меня на борьбу за обладание короной. Кто пожелал бы быть слугой, если может быть господином! Но она не хочет считаться с тем, что, как победа, так же легко возможна и неудача; она хочет всё поставить на карту, а между тем пи один смертный не может предугадать исход игры. Гибель или победа — это не мой лозунг; для меня важно сохранить в случае неудачи по крайней мере жизнь, полную наслаждений. Даже от Софии мне необходимо скрывать свои пути; своими необузданными порывами она могла бы разрушить все мои хитросплетения. В такое неспокойное, ненадёжное время нужно быть готовым на все; необходимо сохранить дружбу врагов, чтобы использовать её в случае неудачи. Я не хочу выбирать между короной и смертью или изгнанием; в состязании на жизненном пути бывают различные призы; если не удаётся взять первый приз, можно довольствоваться и вторым; но для этого нужно действовать с хитростью лисицы, заметающей свой след, чтобы охотник не мог напасть на него. — Закончив этим свою мысль, граф вошёл в свою спальню и, позвонив камердинера, сказал ему: — я хочу выехать; со-

общи Пуласкому, что я желаю иметь большую свиту, а затем подай мне мой кунтуш[2]!

Камердинер тотчас же отрядил лакея, чтобы передать Пуласкому приказание графа, а сам стал подавать своему господину одеваться. Через правое плечо он одел голубую ленту с орденом Белого Орла и красным крестом, окружённым золотым сиянием; тёмно-синий шёлковый кунтуш, отороченный куньим мехом и золотыми шнурами, он накинул на плечи так, что рукава свободно свешивались вдоль спины. Граф прицепил кривую саблю, эфес и перевязь которой были усыпаны большими великолепными драгоценными камнями; лакеи прикрепили ему золотые шпоры, и наконец на голову он надел тёмно-синюю четырёхугольную шапочку, которая, подобно кунтушу, была оторочена куньим мехом и украшена султаном, прикреплённым алмазной пряжкой.

Граф самодовольно улыбнулся, рассматривая своё изображение в большом венецианском зеркале. И действительно, в этом чрезвычайно красивом фантастическом рыцарском костюме он был так хорош, что трудно было найти муж-

---

[2] Примечания: 2
Национальный польский кафтан.

чину красивее его.

В сопровождении шталмейстеров, егерей и лакеев, ожидавших его в передней, Потоцкий направился к большому подъезду дворца, откуда недавно отбыл князь Репнин. Паж, одетый в польский костюм, держал наготове его любимого коня в богатой сбруе; поодаль стояло около сотни лошадей, назначенных для свиты графа; шляхтичи, шталмейстер и конюхи ожидали своего господина.

Когда граф появился на пороге, головы всех находившихся на широком дворе склонились, причём раздался громкий крик восторга и всюду в окнах и дверях гостиной появились со стаканами в руках многочисленные шляхтичи, которые, громко звеня стаканами, восклицали:

— Да здравствует граф Станислав Феликс, первый шляхтич Польши, верный сын польского отечества!

Граф махнул рукой в знак поклона, погладил своего коня, покрытого тигровою шкурою, и ловко и легко вскочил на его спину. Прекрасный арабский конь, выступая изящным танцующим шагом, понёс своего господина; шляхтичи, шталмейстер, лакеи и свита сели на коней и последовали за ним.

Восторженные крики провожали графа до ворот, а за воротами его встретили новые крики восторга большой толпы народа, которая обыкновенно собиралась у ворот, когда граф выезжал, и сопровождала его, увеличиваясь у каждого угла улицы.

Эти почести, которые народ оказывал своему главнокомандующему, были не совсем бескорыстны, так как двое из его шталмейстеров имели всегда в карманах седла запас серебряных монет, которые они от времени до времени кидали пригоршнями в народ, что вызывало каждый раз новые взрывы восторженных криков.

Весь поезд, во главе которого граф Станислав Феликс ехал по улицам, сдерживая своего горячего коня, представлял величественное зрелище.

Таким образом он доехал до площади пред дворцом, который возвышался непосредственно за мостом через Вислу и был окружён садами, расположенными террасообразно. На этой площади возвышался памятник Сигизмунду III, и от неё в четырёх направлениях шли главные улицы города. Когда граф подъехал, то из всех улиц стали сбегаться, новые народные массы, а также останавливались и многие любопытные из лучших слоёв общества.

Шталмейстеры более щедро бросали здесь деньги и на всей площади раздавались громкие крики: «Да, здравствует Потоцкий! да здравствует наш фельдцейхмейстер!» — что было очень по душе Потоцкому, так как он старался при всяком удобном случае получить это удовлетворение своей гордости пред дворцом бессильного короля.

Пред входом в королевский дворец часовые отдали честь графу, когда он сошёл с коня и стал подходить к главному входу.

Вся его свита осталась снаружи.

Народ не уходил с площади, отчасти для того, чтобы полюбоваться прекрасными лошадьми и блестящими ливреями, а отчасти в ожидании новой раздачи денег.

Потоцкий направился через галерею к покоям короля.

Это был час, когда его величество принимал вельмож, приезжавших к нему на поклон.

Глубокая тишина царила в королевской резиденции. В проходах галерей и покоев стояли на часах королевские уланы, которых, согласно основным законам, Понятовский имел право содержать на свой счёт в количестве до двух тысяч человек. Это были большею часть магометане,

вооружённые саблями и копьями. Они были одеты в зелёные и красные камзолы и такие же широкие, спускавшиеся до сапог шаровары, высокие меховые шапки и широкие белые суконные кафтаны, спускавшиеся до колен. Все эти красивые, с воинственной осанкой люди стояли неподвижно на своих постах.

В залах двигались дежурные лакеи.

Всё дышало величием, блеском и достоинством во дворе короля, который получил свою корону в виде своеобразной ссуды от своих собственных подданных и был в состоянии удерживать её на своей главе только благодаря милости русской царицы. Своей роскошью, великолепием и торжественным церемониалом резиденция польского короля ничем не отличалась от дворов могущественнейших самодержцев Европы, потому что, чем более польское дворянство ограничивало право короля, доведя эти ограничения даже до того, что он даже не имел права жаловать дворянское и другое достоинства, тем более обращалось внимание на внешний почёт, который должен был быть оказываем этой призрачной королевской власти, олицетворявшей в себе достоинство всей нации.

Повсюду почтительно приветствовали графа

Станислава Феликса; часовые отдавали честь своими копьями с чёрными и красными флагами, лакеи кланялись до земли, а пажи у входа в покои короля поспешно открыли пред ним двери в зал для аудиенций.

Этот зал представлял собою большой покой, обставленный с богатой и тяжеловесной роскошью. Единственной декорацией этого зала были четыре чёрные мраморные колонны, на которых стояли бюсты английской королевы Елизаветы, Генриха IV Французского, великого польского короля Яна Собесского и наконец императрицы Екатерины Второй.

Граф Ржевусский, великий коронный маршал, одетый во французский придворный наряд, богато расшитый и украшенный сверкающими драгоценными камнями, стоял вблизи входа в частные апартаменты его величества, завешанного тяжёлой драпировкой, и держал в руке большой жезл с серебряным орлом в короне.

Графу Ржевусскому было около пятидесяти лет; своим торжественным и вместе с тем приветливым и учтивым видом он представлял совершеннейшего придворного сановника, который с одинаковым достоинством мог занять место в Версале, как он его занимал здесь, во

дворце короля — президента этой республики, нередко игнорировавшей его особу.

Вокруг Ржевусского собрались многочисленные польские дворяне, которые тихо переговаривались в ожидании появления короля. Здесь можно было видеть графа Урусского, Коссаковского, архиепископа плоцкого, принцев Понятовских, братьев короля, князя Чарторийского и много других сановников государства и двора.

Почти все они были одеты в богатые французские придворные костюмы; национальный костюм сохранился только у военных сановников, и даже граф Потоцкий, как главнокомандующий артиллерии, носил национальный костюм только тогда, когда показывался официально, желая тем увеличить свою популярность среди мелких дворян и в народе.

Когда он вошёл в аудиенц-зал, он был встречен всеми присутствующими с особенным отличием; сановники дружески пожимали ему руку, более мелкие дворяне низко кланялись ему, и даже сам граф Ржевусский сделал несколько шагов навстречу ему с приветливым поклоном.

В зале шёл оживлённый разговор о встрече императрицы Екатерины с императором Иосифом в Могилёве, о которой только что узнали;

высказывались предположения о значении этой встречи двух могущественных соседей, и, чем более втайне опасались за Польшу, тем более старались открыто указывать на турецкую войну, как на цель этого совещания.

Потоцкий изобразил на своём лице самое естественное выражение удивления и изумления, когда с ним заговорили об этом предмете всеобщего любопытства.

— Я в этом не вижу ничего особенного, — небрежно сказал он. — Император Иосиф путешествует много и охотно, императрица Екатерина гостеприимна и учтива, Могилёв лежит на дороге между Веною и Петербургом; поэтому вполне естественно, что она едет навстречу своему гостю. Она откроет пред наследником римских цезарей весь блеск, чтобы поразить его великолепием северной империи. Мне очень хотелось бы поехать туда, чтобы посмотреть на государя, о котором так много говорят, но который ещё так мало сделал.

— Я ещё не слыхал, что нашего короля пригласили в Могилёв, — сказал почти с упрёком архиепископ плоцкий, высокий, красивый мужчина, которому очень шло фиолетовое одеяние со сверкающим архиепископским крестом.

Потоцкий не успел ответить, как два пажа в красных бархатных кафтанах, отороченных мехом, раздвинули складки портьеры от внутренних покоев и остановились по сторонам двери. Граф Ржевусский трижды громко ударил жезлом и громко возгласил:

— Король!

Непосредственно за этим возгласом в зале появился Станислав Август и, остановившись на мгновение на пороге, ответил приветливым наклонением головы на почтительные поклоны всех собравшихся.

Этому последнему польскому королю было тогда пятьдесят лет. Его судьба была удивительна: та самая женщина, которая в молодости так страстно любила его, что пренебрегала ради него всякой опасностью, и которая дала ему корону, сама же должна была отнять её у него. И теперь ещё черты лица Понятовского носили на себе следы былой красоты, которою он некогда блистал при дворе императрицы Елизаветы Петровны. Черты его лица были выразительны и подвижны, его тёмные глаза глядели иногда остро и проницательно, но большею частью были затянуты дымкою нежной меланхолии. На нём были введённый им при дворе французский костюм из

тёмно-синего бархата, простой, без шитья, большая голубая лента и на груди звезда Белого Орла, а рядом с нею орден св. Андрея Первозванного. Во всей его осанке и движениях было столько очаровательного достоинства и вместе с тем кротости и сердечной доброты, что родившийся на троне властелин не мог бы лучше олицетворить в себе величие королевской власти, как этот королевский представитель республики, избранный своими подданными и ограниченный в своих правах до бессилия, так что высшие сановники имели больше прав и власти, нежели он.

Король прежде всего сердечно и вместе с тем с почтением, подобающим духовному званию, приветствовал своего брата, архиепископа плоцкого, а затем обратился к графу Станиславу Феликсу, низко поклонившемуся ему, и сказал ему с любезнейшей улыбкой:

— Я знал, что застану вас здесь, граф Потоцкий, потому что я слышал топот коней вашей свиты и клики восторга, которыми вас встречают всюду, где вы только показываетесь.

— Моя свита, ваше величество, — произнёс граф Потоцкий, — состоит из дворян, преданных моему дому, а народ приветствует меня потому, это знает меня как верного слугу вашего величе-

ства и отечества.

— Так же, как и я вас знаю за такового, — сказал король, ласково наклоняя голову. — И я счастлив, что народ это понимает. Но, может быть, где-нибудь на это косо посмотрят и начнут опасаться вас.

— Лучше, если боятся, чем презирают, — воскликнул Потоцкий, гордо подняв голову.

Лёгкий шёпот одобрения послышался среди стоявших кругом дворян, а король лишь со вздохом опустил голову.

Будь на его месте Людовик XIV, он за такой ответ даже самого гордого из своих придворных упрятал бы в Бастилию или поразил бы его зловещим словом немилости, которое действовало как моральный смертный приговор. Но окружённый пышностью величия Станислав Август должен был молчать пред произволом своих дворян и стал обходить присутствующих; он каждому сказал несколько приветливых слов и умел самым ласковым образом хотя бы в кратком разговоре коснуться предмета, приятного для собеседника.

Когда он окончил обход, при котором его сопровождал граф Ржевусский, то к нему обратился архиепископ плоцкий:

— Ваше величество! Вы, без сомнения, знаете,

что русская императрица, ваша высокая союзница, встретится в Могилёве с императором Иосифом.

Станислав Август взглянул на брата с удивлением, почти неудовольствием; в его выразительных глазах читался немой грустный вопрос, почему он именно здесь, в присутствии стольких свидетелей, коснулся этого мучительного вопроса.

— Я это знаю, — сказал он коротко, как бы желая скорее отклонить разговор.

Но архиепископ продолжал:

— Граф Потоцкий также намерен отправиться в Могилёв; быть может, было бы хорошо, если бы вы, ваше величество, приветствовали дружески расположенных к вам монархов на границе вашего государства?

На мгновение румянец вспыхнул на благородном лице короля, а затем он сказал:

— Такое путешествие надо тщательно обдумать, и я не в состоянии так скоро принять решение.

Он быстро наклонил голову для поклона и удалился во внутренние покои.

Всё общество с напряжённым вниманием следило за разговором, казавшимся безразличным, однако же касавшимся вопроса, на котором в

данный момент сосредоточивался всеобщий интерес. Всюду говорили шёпотом. Граф Потоцкий обменялся с обер-маршалом несколькими равнодушными словами, как будто весь вопрос ничуть не касался его.

Вдруг из комнаты короля вышел паж и пригласил к его величеству архиепископа плоцкого и графа Потоцкого. Оба тотчас последовали приглашению и вошли в покой, находившийся непосредственно около зала для аудиенций. Эта комната была посвящена королём памяти его предшественников на польском престоле и украшена прекрасно исполненными Баккиарелли портретами всех польских королей, начиная с Болеслава.

Станислав Август сидел в кресле за круглым столом, посреди комнаты, в которой он имел обыкновение проводить совещания. Со стен глядели гордые лица целого ряда польских королей на этого государя, которому было суждено закончить их ряд и который, несмотря на окружавший его внешний блеск величия, был одинаково бессилен как извне, так и внутри государства.

Пригласив обоих вошедших сесть около него, король, обращаясь к брату-архиепископу, заговорил почти робко:

— Ты конечно понимаешь, что я не мог продолжать этот разговор в присутствии многих свидетелей, но здесь я хотел бы попросить графа Потоцкого высказать своё мнение, находит ли он умным и целесообразным, чтобы и я также отправился в Могилёв приветствовать обоих монархов.

— А вы, ваше величество, получили на это приглашение? — спросил Потоцкий.

Король отрицательно покачал головой.

— Ну, тогда, — продолжал граф, — вам и не следует ехать туда и подвергаться там приёму, который, может быть, будет оскорбителен для вас и за который вы не были бы в состоянии отмстить в данный момент.

— Кто же осмелится встретить польского короля не так, как того требует его достоинство? — воскликнул архиепископ. — Каждый польский дворянин восстал бы, чтобы отплатить за такую обиду.

— Вы не должны забывать, ваше преосвященство, — спокойно и учтиво сказал Потоцкий, — что римский император занимает первое место между европейскими государями и что императрица Екатерина, как представительница восточно-римской империи, корону которой

она приняла, равноправна ему. Оба государя достаточно сильны, чтобы поддержать своё первенство, король же польский хотя и без сомнения — более старший монарх, чем русские цари, но — увы! — как вы, ваше величество, так и вся наша Речь Посполитая бессильны в данный момент удержать подобающее положение. Обида, которую вы, ваше величество, будете принуждены молча перенести, конечно возмутит чувства поляков, но я боюсь, как бы это возмущение не обратилось против вашего величества и не сделало вашего положения в стране ещё более тяжёлым. Мне кажется разумнее и достойнее уклониться от подобной обиды.

Станислав Август несколько раз наклонял голову как бы в знак одобрения доводов Потоцкого.

Архиепископ воскликнул:

— Однако надо опасаться, да я почти и уверен, что в Могилёве нашими обоими соседями будут строиться враждебные по отношению Польши планы.

— А если бы и так, — сказал Потоцкий, — то присутствие вашего величества нисколько не изменило бы положения.

— Но всё же, — воскликнул архиепископ, — король никогда не встречался с императрицей с

того момента, когда оба они вступили на престолы. Его появление пробудило бы старую дружбу и личные воспоминания одержали бы победу над враждебной политикой.

Станислав Август только вздохнул, а граф Потоцкий возразил:

— И этого я не думаю. Есть воспоминания, которые постепенно, медленно бледнеют, и позднее свидание совершенно изглаживает их из памяти.

— Вы правы, граф, — сказал король. — Поверь мне, брат, что он прав, и я уверен, что моя поездка в Могилёв была бы только унижением, и притом совершенно бесполезным унижением.

Архиепископ покачал головою, видимо не совсем убеждённый, однако он не настаивал дальше; он знал своего брата, знал его пассивное смирение, которое стало почти его второю натурою и которое трудно было бы побороть, так как он находил поддержку в доводах и авторитете графа Потоцкого. Однако он счёл нужным заметить:

— Но если вы, ваше величество, не поедете в Могилёв, если вас не пригласили туда, то умно ли и подобает ли знатному польскому дворянину, особенно занимающему такое высокое положение,

как граф Станислав Феликс Потоцкий, ехать туда, чтобы приветствовать чуждых властителей?

Король вопросительно посмотрел на Потоцкого, а тот, покручивая свои усы, надменно сказал:

— Всякий совет и мнение высокопреосвященного архиепископа относительно блага и спасения моей души будут для меня чрезвычайно важны и послужат руководством для меня, но в отношении моего долга к вам, ваше величество, и к моему отечеству, равно как в отношении моих взглядов на политику я считаю себя в праве всецело руководствоваться своим собственным мнением. А оно заключается в том, что если на границе Польши встречаются два иноземных государя, которых можно заподозрить во враждебных планах против нашего отечества, то необходимо поручить верному слуге короля и отечества лично следить за ними, придав этому надзору наружный вид вежливости, даже, если хотите, некоторой робкой лести пред соседними державами. Чем дольше мы будем прятаться под этою маскою, тем яснее мы увидим то, что там будет происходить, а кто ясно видит планы своих врагов, тот уже наполовину одержал победу. Несмотря на все уверения в дружбе, император Иосиф всё-таки отправляется в Могилёве с неко-

торым недоверием к Екатерине; мне кажется, что не трудно будет доказать ему, что сильная, самостоятельная Польша была бы ему более выгодной союзницей, чем ненасытная Россия, которая, если только осуществятся её завоевательные планы, прервёт жизненные артерии Австрии в устье Дуная. Я считаю себя довольно дипломатичным и патриотичным для того, чтобы действовать в этом духе и узнать, какие планы будут создаваться в Могилёве, и чтобы постараться разрушить их, если они окажутся враждебными. А потому я убеждён, что вы, ваше величество, одобрите решённый мною план путешествия в Могилёв, где я постараюсь исполнить возложенную на меня задачу, даже, может быть, рискуя показаться страшным льстецом пред русской властью, от которой мы в данный момент всё-таки никак не можем увернуться и которой мы в состоянии противопоставить только ум и хитрость.

— Я думаю, что граф прав, — сказал король, вздохнув как бы с облегчением и, по-видимому, очень довольный тем, что можно покончить прения по поводу такого трудного и мучительного вопроса.

— Граф прав, — сказал архиепископ, опустив мрачный взор, — если...

Он остановился. Король быстро прервал его, сказав:

— Итак, я очень рад вашему решению ехать в Могилёв, граф Потоцкий. Мне будет приятно, если вы найдёте многочисленную свиту, и я поручаю вам передать их величествам императору и императрице мой привет на границе моего государства.

— Благодарю вас, ваше величество, за милостивое одобрение моих доводов и намерений, — произнёс граф, поднимаясь по примеру короля, низко поклонился и, пятясь к двери, вышел из комнаты.

— Не правда ли, брат, он прав? — спросил король неуверенным и почти робким голосом.

— Он прав, — ответил архиепископ, — если он таков, как говорит и хочет казаться, то есть если он — верный слуга и друг короля или, по крайней мере, своего отечества. Но, если, как я опасаюсь, он не таков, если он только ради удовлетворения собственного честолюбия заискивает пред Россией и идёт по тёмному пути заговора, тогда, может быть, он тоже прав, но ты поступаешь неправильно, давая ему полную свободу действий.

— Но что могу я сделать, чтобы предотвратить это? — со вздохом спросил король. — Разве наша

страна не наводнена русскими войсками, разве я не бессилен пред этими упрямыми шляхтичами?

— Существует только одна сила, — серьёзно сказал архиепископ, — которая могла бы освободить тебя от русского насилия и от давления шляхты, в безумном ослеплении идущей неверными шагами навстречу уже надвигающейся гибели; это — сила народа, мой брат! Освободи крестьян, как это начал граф Замойский в своих имениях, и у тебя будет такое войско, которое будет в силах противостоять как русским, так и твоим заносчивым вассалам. Я был в Париже, я видел двор и народ; там уже шевелится дух свободы, и рано или поздно он могущественно расправит свои крылья и, может быть, разрушит трон, если королевская власть не сумеет соединиться с ним. Разреши здесь этот вопрос в пользу короны, сделайся королём крестьян вместо того, чтобы быть рабом шляхты.

Король опять вздохнул; концы его белых, тонких пальцев дрожали как бы от нервного возбуждения, когда он сказал:

— Это — великие, широкие замыслы, об этом я ещё подумаю. Обещаю тебе, что поговорю с Замойским, но на это надо время. Оставь мне

сегодня моё весёлое утро! Будем вместе читать новые оды, которые мне только что прислал Каэтан Вежьерский. Поэзия освобождает от тяжёлых уз, налагаемых на нас службой.

Он взял своего брата под руку и повёл его в свой кабинет.

Последний представлял собою большую четырёхугольную комнату с очень широким окном, занавеси которого были далеко раздвинуты, чтобы дать доступ яркому свету. Комната походила скорее на жилище учёного, нежели короля. Круглые вертящиеся этажерки для книг стояли между удобными креслами, расположенными вокруг большого круглого стола, так что легко можно было достать любую книгу с этажерки. Мягкий ковёр покрывал пол и заглушал шум шагов. На потолке была нарисована чудная картина, изображавшая Аполлона, плывущего на волне и окружённого музами. Аполлон протягивал руку, и прямо из неё ниспускались тоненькие золочёные цепи, поддерживающие люстру с многочисленными свечами. Когда вечером эти свечи горели над столом, то казалось, что сам бог солнца и поэзии проливал свет в учёную комнату короля.

Здесь два раза в неделю король собирал своих

литературных друзей, с которыми работал над тем, чтобы очистить и украсить польский язык и наравне с собственными произведениями сделать доступными польской литературе творения иностранных учёных.

Стены были украшены портретами участников этого кружка. Посредине выделялось одухотворённое лицо графа Игнатия Красицкого, впоследствии архиепископа гнезненского, которого называли королём поэтов того времени и который, будучи епископом в Эрмеланде, был желанным гостем при дворе Фридриха Великого. Рядом висели портреты камергера Трембацкого, воодушевлённого национального певца Урсина Немцевича; переводчика Мильтона Дмоховского, историка Суковецкого, Черноцкого, Ходаковского и многих других.

Когда Станислав Август вошёл в эту комнату, он облегчённо вздохнул; здесь он чувствовал себя освобождённым от мук своего призрачного владычества, здесь он сознавал себя настоящим королём, так как тут он господствовал в кругу благороднейших умов своей страны, которым он поставил условием никогда не говорить ни слова о политике в этом святилище Аполлона и муз.

Как бы обессиленный, он бросился в кресло,

взял со стола раскрытую книгу и своим мягким, звучным голосом принялся читать прелестную, сочинённую по французскому образцу, оду своего особого друга Каэтана Вежъерского.

Его брат опустил голову на грудь, и трудно было сказать, слушает ли он или предаётся своим собственным размышлениям. И действительно, он мог прийти к серьёзным и печальным мыслям, слушая, как этот король в золотой темнице своего безвластия со счастливой улыбкой читал лёгкие благозвучные стихи, не тревожась тем, что на границе государства два могущественных повелителя готовились к встрече, что все патриоты облеклись в траур, что честолюбцы заискивали у чужеземных угнетателей и что вообще взоры всех были обращены в другую сторону, ожидая исполнения своих желаний и надежд только не от этого короля, рука которого была слишком слаба для меча и умела лишь бряцать струнами поэтической лиры.

Шумные крики радости, нёсшиеся с улицы, нарушили тишину, царившую в комнате.

Это было приветствие народа, собравшегося на дворцовый площади, при виде графа Феликса Потоцкого, который в это время садился на лошадь пред главным входом дворца.

На одно мгновение король встрепенулся, его брови мрачно сдвинулись, но затем он спокойно с улыбкой продолжал своё чтение, причём архиепископ, тяжело вздохнув, ещё ниже опустил свою голову.

Казалось, словно несчастный король хотел забыть о том, что изменить он не имел ни власти, ни мужества, ни воли.

VII

На берегах Днепра, в прекрасной плодородной местности, расположен красивый, богатый город Могилёв, который в то время уже насчитывал почти тридцать тысяч жителей и своими многочисленными церквями, древним замком и зданием городской думы, относящимся ещё к семнадцатому столетию, производил весьма величественное и в то же время почтенное впечатление.

Могилёв уже в течение нескольких веков был предметом спора между Россией и Польшей; он был неоднократно завоёвываем, затем разграблен шведами; сожжён Петром Великим и тем не менее, благодаря богатой торговле и трудолюбию своих жителей, после всех нанесённых ему ударов, каждый раз снова восстановлял прежнее благосостояние.

Именно в силу этих частых нападений Могилёв утратил мрачный характер, свойственный многим древним городам, так как, за исключением замка и нескольких церквей, уцелевших от погромов, там всюду встречались уютные, про-

сторные, красивые дома с культивированными садами, свидетельствовавшими как о вкусе, так и о состоятельности жителей.

Могилёв служил очевидным доказательством религиозной веротерпимости, которую императрица Екатерина, в противоположность прежним и последующим правителям России, проявляла всегда и всюду, хотя лично самым строгим образом придерживалась догматов православной церкви.

Могилёв был резиденцией православного и католического архиепископов. Кроме двадцати православных церквей в нём имелось несколько римско-католических, и между ними великолепный Кармелитский собор; здесь существовали также протестантская церковь, несколько синагог и много еврейских молелен, так как большая часть торговли, и в особенности мелочного торга, находилась в руках переселившихся из Польши евреев, нашедших здесь защиту и свободу.

Около конца мая месяца тысяча семьсот восьмидесятого года в обычно спокойном, оживлявшемся только торговлей городе вдруг проявилось необычайное праздничное оживление. Всюду работали мастера, украшая фигурами и различными надписями фронтоны общественных и

частных домов; улицы, бывшие в то время большею частью немощёными, были выравнены и покрыты крупным песком, привезённым с берегов Днепра. Словом, прилагались все усилия, чтобы привести в блестящий праздничный вид и без того красивый город, так как всемогущая самодержица всероссийская назначила на тридцатое мая своё прибытие в Могилёв, где со всей пышностью, подобающей царственной хозяйке и августейшему гостю, должна была состояться встреча государыни с римско-германским императором Иосифом II. Жители древнего города старались превзойти один другого, чтобы сделаться достойными такого отличия, одни — с затаённым недовольством в сердце, другие — с действительной радостной готовностью, так как на самом деле русское войско внесло мир и порядок в местность, подвергавшуюся прежде частым нападениям, и оживлением торговли много способствовало обогащению жителей.

Но особенно лихорадочная деятельность проявлялась в Янчинском дворце, расположенном вблизи города, среди обширного парка с великолепными прудами. В этом дворце должны были остановиться их императорские величества, и помещения обоих были убраны с той расто-

чительной роскошью, которую императрица Екатерина Вторая умела соединять с самым тонким вкусом, превосходя в этом отношении даже Версальский двор.

Длинный ряд повозок доставил из Петербурга всевозможные драгоценные ткани, дорогие картины, статуи, вазы, обои и ковры. Как бы по мановению волшебного жезла все помещения дворца приняли такой блестящий вид, какой был только мыслим при слиянии восточной расточительности с утончённым европейским изяществом. В то же время появились царские садовники и со сказочной быстротой совершенно изменили облик старого парка: были прорублены просеки и проложены новые дорожки, устроены гроты, всюду цвели растения различных стран, позолоченные лодки с пёстрыми вымпелами стояли у наскоро сооружённых пристаней, совершенно готовые для прогулки по озеру; фонтаны высоко били в воздух своими водяными струями, а вековые деревья парка могли бы удивлённо качать своими старыми верхушками при виде всего того, что так мгновенно совершалось у их подножия. Конюшни были расширены быстро сооружёнными пристройками, куда были приведены сотни чистокровных лошадей. Тяже-

ловесные придворные кареты и лёгкие красивые фаэтоны наполняли собой сараи, и весь царский конюшенный штат был установлен здесь с такой точностью, как в Петербурге или Царском Селе. Государыня любила всюду чувствовать себя, как у себя дома; всюду, где бы она ни появлялась, её должен был окружать весь блеск её двора, без всяких недостатков и недочётов; всюду народ должен был удивляться могуществу самодержицы, для которой не существовало невозможного и которая, вступив ногой даже на пустынную землю, превращала эту пустыню в цветущие сады.

С каждым днём увеличивался служащий персонал во дворце. Можно было думать, что здесь царская резиденция находилась уже в течение долгих лет, — до такой степени всё было предусмотрено; государыня требовала, чтобы при её появлении всё было готово; она должна была чувствовать себя везде как дома, и не допускалось ни малейшего отступления от привычек двора.

Постепенно и город наполнялся многочисленными посетителями. В замке, в монастырях, у епископов были приготовлены квартиры для высокопоставленных особ русского двора, сопровождавших государыню, а в городских домах, где только представлялась возможность, устраива-

лись помещения для польских дворян, в большом количестве заявивших о своём приезде; для слуг и лошадей последних были построены бараки на полянке близ города, так как в домах решительно не было больше места.

Уже прибыл фельдцейхмейстер граф Станислав Феликс Потоцкий со свитой, состоявшей из более чем ста шляхтичей и слуг, и выбрал себе помещение у одного из именитых купцов в городе; потом приехал маршал литовский Иосиф Сосновский с почти не менее многочисленной свитой, и ежедневно, почти ежечасно прибывали всё новые представители польского дворянства, так как императрица выразила желание видеть их собравшимися в возможно большом количестве в день её приезда; это желание сделалось известным, и никто не хотел своим отсутствием заслужить немилость могущественной самодержицы, власть которой была почти так же неограничена в Польше, как и в России.

Пока в городе всё поспешнее велись приготовления к блестящему приёму императрицы и её двора, поздним вечером по дороге от Варшавы до Могилёва ехал одинокий всадник. Он переправился через Березину и находился на дороге, пролегавшей по лесистой возвышенности к юго-

западу от Могилёва.

На нём были тёмно-серый дорожный костюм французского покроя и высокие верховые сапоги, а его слегка напудренные волосы покрывала маленькая шляпа.

Несмотря на это простое мещанское платье, вся его фигура заставляла угадывать в нём военного как по выправке, так и по манере управлять своей сильной литовской лошадью, а в особенности по выражению его прекрасного, немного бледного лица с красивыми усами и большими тёмными, светившимися внутренним огнём глазами, которые смотрели то смело и твёрдо, то мягко и печально.

Он доехал до маленькой реки Друеца. Пред мостом, ведшим через неё, пролегала другая дорога по направлению к югу; в этом месте она соединялась с восточной дорогой и, продолжаясь по ту сторону моста, вела к Могилёву.

Всадник на одно мгновение остановил свою лошадь и огляделся кругом, как бы желая ознакомиться с местностью, но затем не поехал через мост к Могилёву, а свернул на широкую дорогу к югу, предварительно убедившись, что пистолеты в порядке, так как надвигалась ночь и на пустынной дороге могла явиться необходимость

в спешном употреблении оружия. Он дал шпоры своему коню и быстрой рысью направился к югу, пока не доехал до крутого поворота, от которого шла узкая тропинка в чащу леса.

Всадник поехал по этой тропинке, часто нагибаясь под нависшими ветвями, и въехал в самую густую часть леса. Сделав едва пятьдесят шагов, он выехал на круглую полянку, на которой стоял простой деревянный дом с хозяйственным садиком; среди ночного мрака сквозь узкое окно маленького домика светилось колеблющееся пламя очага. Вблизи этого жилья находилось небольшое строение, предназначенное, вероятно, для домашних животных и склада хозяйственной утвари. Всё своей чистотой производило приятное впечатление. Простая деревенская скамья и столь стояли возле двери, и всё незатейливое хозяйство, окружённое лесной тишиной, носило отпечаток почти военной строгости и аккуратности.

Всадник соскочил со своей лошади, перекинул поводья через руку, а затем осторожно подошёл к окну. Взглянув через маленькое тусклое окно, он увидел в белой, окрашенной комнате старика, сидевшего на деревянном табурете возле очага; над огнём стоял треножник с котелком для варки

пищи.

На старике был кафтан, отороченный барашком и опоясанный широким кожаным кушаком; на ногах были грубые сапоги, а на голове круглая меховая шапка; его пожилое лицо носило выражение твёрдости, отваги и мужества; под густыми седыми бровями сверкали чёрные глаза; его густая, спускавшаяся на грудь борода была так же седа, как и волосы, выбивавшиеся из-под шапки. Он облокотился о стену и в раздумье смотрел на колеблющийся огонь.

Охотничье ружьё, несколько пистолетов и старая сабля, на вычищенном, ярко блестевшем клинке которой отражалось дрожащее пламя, висели на стенах; большой дубовый стол, несколько стульев и резное распятие составляли всю остальную обстановку этого одинокого жилища.

— Это — он, — сказал всадник, — я не ошибся; его борода стала немного белее, морщины на лбу глубже, но лицо всё ещё то же самое и, вероятно, сердце осталось тем же, как и раньше: верным, как золото, верным до последнего вздоха. Здесь мне нечего бояться измены.

Он отошёл от окна и сильными ударами постучал в дверь.

Через несколько мгновений задвижка изнутри

была отодвинута. Сквозь щель полуоткрытой двери просунулось дуло пистолета, и суровый, угрожающий голос старика спросил:

— Кто там стучит? Кому я понадобился в такой поздний час, когда лес погружается в сон и бодрствуют только хищники?

— Такого приёма я не ожидал, — сказал всадник. — Неужели храбрый Мечислав Бошвин не узнает более своего начальника?

— Моего начальника? — спросил старик сквозь дверную щель, причём его острые глаза испытующим образом оглядывали лошадь, так как всадника, отступившего в сторону пред дулом пистолета, он не мог видеть. — У меня нет начальника. Я — лесничий, на службе у его высокопреосвященства, и мои начальники — священники, которые не бродят здесь по ночам и не носят пистолетов, вложенных в сёдла. Поэтому уходите прочь или честно назовите своё имя и оставьте всякие шутки со старым Мечиславом Бошвином, так как, клянусь Богом, это могло бы очень дурно окончиться для вас!

— Моё имя, — ответил всадник, — Тадеуш Костюшко, и я спрашиваю ещё раз: неужели Мечислав Бошвин более не узнает своего командира?

За дверью послышался своеобразный, полувопросительный, полурадостный и в то же время ворчливосомневающийся и угрожающий звук, затем дверь быстро раскрылась, старик выбежал из дома, повернул всадника в сторону, откуда падали на деревья последние отблески заката, и, приставив к груди незнакомца пистолет, острым взором посмотрел ему в лицо.

— Тадеуш Костюшко? — воскликнул он. — Этого быть не может! И всё же, всё же это лицо, эти глаза, этот голос! — продолжал он дрожащим голосом. — Да, да, это — правда, здесь нет обмана; это — действительно благородный пан Тадеуш Костюшко, мой дорогой, любимый начальник, которого я уже не надеялся видеть на этом свете. О, мой вельможный пан, будьте желанным гостем в бедном домике вашего преданнейшего слуги. Вы приносите в моё жилище благословение Божье и Его святых.

Он бросился на колени, целовал одежду молодого человека и своими грубыми руками с нежностью водил по его сапогам.

— Не надо, не надо этого, мой старый Мечислав! — сказал Костюшко, отступая на шаг назад. — Встань, это хорошо для рабов, но солдат — свободный человек пред своим офицером, а кто был

так верен и мужествен, как ты, тот заслуживает быть моим другом. — Он поднял старика, сердечно пожал его руку, а затем спросил: — могу я остановиться у тебя?

— Остановиться у меня? — воскликнул старик, причём обильные слёзы потекли по его седой бороде. — Как вы можете спрашивать об этом, ясновельможный пан? Всё, что я имею, принадлежит вам, но в своей бедной хижине я ничего не могу предложить вам, что было бы достойно вас, — добавил он, качая головой, — ничего, кроме куска дичины да немного зелени из моего огорода, сухого хлеба, сыра из молока моих коз, а затем медвежью шкуру вместо постели.

— Это — просто роскошь для такого солдата, как я, мой милый Мечислав, — ответил Костюшко. — Немного сена для моей лошади, вероятно, также найдётся в твоём хозяйстве?

— У меня есть великолепное сено, — воскликнул старик, — да кроме того найдётся и овёс в моём амбаре для подкрепления сил вашего коня; случается, что паны, охотясь здесь, нуждаются в корме для своих усталых животных; а это заставляет меня держать запасы. И я рад, что они пригодились для моего дорогого командира. Войдите, пан, в мою хижину и отдохните; я поставлю

вашу лошадь в стойло и сейчас же вернусь к вам, чтобы заняться вашим ужином, насколько позволяет моя бедность.

Он заботливо повёл лошадь в конюшню.

Костюшко вошёл в дом старика и уселся пред огнём.

— Славный Мечислав! — сказал он, задумчиво глядя на огонь. — Я знал, что могу положиться на него. В уединении леса и в хижине бедняков должны ютиться верность и правда, когда весь мир охвачен фальшью и предательством. Да, — сказал он затем со вздохом, — к чему все порывы, размышления и молитвы за несчастное, втоптанное в грязь отечество, когда нет мужей, в груди которых жила бы доблесть, рука которых имела бы силу действовать и сражаться? Я готов к борьбе, даже к смерти, если понадобится, но Бог не открывает поля сражения, и я имею право жить для своего счастья, для своей любви.

Его прекрасные глаза приняли задумчиво-мечтательное выражение; он сидел молча, и его взоры следили за колебаниями горевшего пламени в очаге.

Старик вернулся и сказал:

— Готово! Для вашей лошади сделано всё, теперь я позабочусь о вас. — Затем, приподняв

крышку со стоявшего на треножнике котелка, из которого распространился крепкий, душистый пар, он воскликнул: — суп готов; это — настоящий борщ, при виде которого у каждого настоящего поляка должны течь слюнки, а ведь вы не слишком избалованы едой при дворах высоких особ; он вам непременно понравится и даст новую силу вашему утомлённому телу.

Он принёс две глиняные тарелки и оловянные ложки, положил их пред ароматным борщом, а затем поставил на стол каменную кружку с двумя оловянными кубками, которые наполнил душистой можжевеловой водкой. Потом, склонившись пред распятием, он прочёл краткую молитву и воскликнул:

— Теперь приступим, ясновельможный пан, и да будет на вас благословение Божье! Сегодня — лучший день моей жизни; ведь мне выпало на долю счастье принимать моего дорогого начальника в доме, пожалованном мне на старости лет его преосвященством архиепископом.

Костюшко последовал приглашению, и тот прекрасный аппетит, с которым он съел две тарелки борща, служил лучшим признанием кулинарного искусства старого лесничего.

Последний поднял свой кубок и, робко огляды-

ваясь кругом и понижая голос, сказал:

— А теперь, ясновельможный пан, позвольте чокнуться с вами и выпить первый кубок, как это было в обычае с древности, за славу и процветание Польши и всех её сынов.

Костюшко вздохнул и чокнулся со стариком.

— Где наша отчизна? — сказал он вполголоса. — Поможет ли нам наша здравица сбросить лежащие на ней цепи?

Но несмотря на эти печальные слова, он всё-таки осушил свой кубок, который старик сейчас же снова наполнил.

— Ну, как же ты поживаешь, мой старый Мечислав? — спросил он потом. — Я вижу, тебе живётся недурно, и меня радует, что моя рекомендация архиепископу принесла такие хорошие плоды.

— Мне живётся хорошо, как вы видите, и если каждый старый солдат под конец своей жизни может так пристроиться, то он может быть доволен и благодарить Бога. Разве меня не ожидали несчастье, бедность и даже тюрьма, когда армия конфедератов была разогнана после наших тщетных усилий восстановить старинное право в польском государстве? Вас должен я благодарить, так как при вашей помощи я нашёл убежище в этом лесу, где я с шумящими деревьями леса могу

вести беседу о старых прошлых днях. И всё же моё сердце угнетает то, что я должен жить здесь, на польской земле, под владычеством приверженца москалей, который настолько труслив, что подчиняется господству коварной женщины.

— Наша отчизна не имеет более сынов! — мрачно произнёс Костюшко. — Я был бы счастлив, если бы мог помочь всем, как тебе; поверь мне, тебе здесь лучше и безопаснее, чем там, в несчастной стране, которая всё ещё носит имя Польши и от этого самого ещё более жалка, чем если бы она была русской провинцией.

Оба некоторое время мрачно молчали.

— А что привело вас, пан, в моё убежище? — спросил затем старый Мечислав. — Я полагаю, что вы прибыли сюда не для того, чтобы присягнуть на верность русской императрице, подобно многим знатным панам нашей родины, так как в этом случае вы не стали бы укрываться здесь, в лесной глуши.

— Ты прав, старик, — сказал Костюшко. — Я прибыл сюда не для того, чтобы созерцать блеск и надменную пышность чужеземцев; я последовал призыву своих друзей, а где бы я мог найти более надёжное и лучшее место для встречи с ними, как не в доме моего старого солдата, куда никогда не

проникнет измена? Вся наша Польша наводнена русскими шпионами и — да простит им Бог! — у многих из них в жилах течёт польская кровь. Но здесь мы вне подозрения. Шпионы не верят, — прибавил он с горьким смехом, — что ещё существуют мужественные сердца, способные непосредственно вблизи русской императрицы думать о своём отечестве! Кроме того, мой старый друг, меня приводит сюда ещё одно дело, которое касается лично меня и моего сердца. Но об этом после!.. Ты всё узнаешь; у меня нет тайн от тебя; теперь же, — продолжал он, взглянув на свои часы, — ты должен привести ко мне друзей, которых я жду; ты ничем не рискуешь при этом, так как ведь мы находимся в России и здесь нет русских шпионов.

— Я весь к вашим услугам, — ответил старик, — хотя бы все силы ада преградили мне путь.

— Будь спокоен! — улыбаясь, возразил Костюшко, — тёмные силы преисподней не встретятся на твоём пути!.. Ты должен лишь указать моим друзьям дорогу сюда. Выйди на большой тракт и подожди в том месте, где он пересекается с лесной тропинкой; туда прибудут один за другим трое всадников; ты подойдёшь к ним и спросишь, куда они направляются, — в качестве лесного сто-

рожа ты имеешь право сделать это, не возбуждая подозрения, даже если это будет посторонний человек. Если окажутся те, которых я ожидаю, то они ответят тебе: «Мы ищем одного друга, которому мы должны сообщить известие о его больной матери». Того, кто даст тебе этот ответ, ты отведёшь в чащу леса и попросишь его подождать, пока прибудут остальные; когда же они все соберутся, то ты приведёшь их сюда. Спеши, потому что уже наступает условный час. Я же между тем немного отдохну, так как устал после долгого пути, который уже совершил сегодня.

Не возражая ни слова, старик поднялся с места, принёс из боковой комнаты мохнатую медвежью шкуру и разостлал её возле медленно догоравшего камина, затем повесил через плечо охотничье ружьё и направился в лес, между тем как Костюшко расположился на отдых на своём примитивном ложе.

Большая дорога на Могилёв, оживлённая днём, теперь простиралась безмолвно и пустынно, объятая ночным мраком; звёзды сверкали на небе, но при их слабом свете тени от деревьев казались ещё темнее, а дорога виднелась лишь на небольшом протяжении, выделяясь бледно-серой полосою среди густого мрака.

Мечислав прислонился к суковатому стволу дуба и стал ждать появления путников.

Спустя немного времени, он, прислушиваясь, сделал несколько шагов по направлению к дороге, так как ещё издали услышал лошадиный топот, который постепенно приближался со стороны юга, куда сворачивал большой тракт.

Лесной сторож подошёл вплотную к дороге, намереваясь обратиться с вопросом к всаднику, который, по-видимому, приближался быстрым аллюром, но внезапно остановился и отступил обратно в лес. Теперь, когда шум приблизился, Мечислав явственно различил топот пары лошадей и одновременно стук колёс.

— Чёрт побери, — произнёс он, — этак я впотьмах, чего доброго, мог остановить какого-нибудь мирного путешественника, а может быть, и русского курьера, который легко мог принять меня за разбойника и ответить мне выстрелом из пистолета; хорошо, что у меня достаточно острый слух!

Он снова прислонился к стволу дуба, и его глаза, привыкшие к темноте, различили лёгкий открытый дорожный экипаж, запряжённый двумя сильными почтовыми лошадьми. На козлах помещались почтальон и слуга.

В экипаже сидели двое мужчин, которые громко и оживлённо разговаривали на незнакомом языке.

Старый Мечислав снова несколько приблизился, чтобы поглядеть вслед быстро мчавшемуся экипажу, но в это мгновение почти рядом с собою увидел всадника, который медленным шагом приближался со стороны Могилёва и, сторонясь от проезжих, подъехал к самому краю дороги, причём обернулся в седле и поглядел вслед удалявшемуся экипажу.

Мечислав так близко подошёл к путнику, что его лошадь дрогнула.

Всадник быстро обернулся и схватился за рукоятку пистолета, выглядывавшего из кобуры.

— Куда держите путь? — спросил его Мечислав, снимая меховую шапку.

Услыхав это обращение, всадник снова опустил наполовину извлечённый пистолет и пытался разглядеть в темноте лицо стоящего пред ним человека.

— Куда вы направляетесь, пан? — переспросил его Мечислав. — Будьте покойны! я — сторож этого леса и, если нужно, могу указать вам путь.

Всадник колебался ещё одну минуту, а затем ответил:

— Я ищу дорогу к одному другу, которому должен сообщить известие о его больной матери.

— В таком случае следуйте за мной, так как вы попали на верную дорогу, — ответил Мечислав. — Пан Тадеуш Костюшко уже прибыл и ожидает вас. — Он бережно взял под уздцы лошадь всадника и отвёл её шагов на десять по лесной дорожке. Затем он прибавил: — постойте здесь немного, пока я подожду остальных.

— Они скоро приедут, — заметил всадник.

И действительно со стороны Могилёва уже доносился стук копыт второй лошади, приближавшейся быстрой рысью.

Вскоре показался второй всадник; он приостановил лошадь и пытливо огляделся кругом.

Мечислав заговорил с ним и, получив тот же ответ, провёл его к первому всаднику. Немного погодя показался и третий, который отдал тот же пароль, что и остальные.

— Теперь, вельможные паны, прошу последовать за мною, — сказал Мечислав, — я поведу переднюю лошадь под уздцы. Дорога узка, и вам придётся ехать гусем.

Вскоре он привёл гостей к своему уединённому жилищу, почтительно придержал им стремя, пока они слезали с лошадей, проводил их в свой

дом и затем отвёл лошадей в сарай, где прибрал к стороне дрова и различную утварь, чтобы освободить место животным и задать им овса и сена.

Пока он заботился о лошадях, трое посетителей вошли в комнату, где Костюшко спал на медвежьей шкуре.

Первый из вновь прибывших, лицо которого осветилось огнём горящего очага, был граф Игнатий Потоцкий, который под именем Балевского в доме министра фон Берне возбудил негодование пажа фон Пирша. На нём был простой польский костюм, четырёхугольная шапка прикрывала его ненапудренную голову, а у пояса на кожаной перевязки висела сабля.

Оба его спутника были одеты совершенно так же, как и он, но были моложе его; их свежие юношеские лица с тонкими усиками имели сарматский тип в его благороднейшем проявлении. Один из них глядел смелым и пламенным взором; в его сверкающих глазах выражались вызывающая гордость и мрачная угроза. Другой — тонкий и стройный юноша — казался на вид скромным и застенчивым, как девушка, и в его больших синих глазах блистал огонь поэтического вдохновения.

Звук шагов по кирпичному полу встревожил

лёгкий сон Костюшко. Он вскочил на ноги и воскликнул:

— Добро пожаловать, друзья, добро пожаловать! Я последовал вашему призыву и указал вам это место, так как не думаю, что мы могли где-нибудь лучше, чем здесь, укрыться от неприятельских шпионов. Мы здесь находимся в доме одного моего старого солдата и среди вольного леса, где нет соглядатаев. Но прежде всего позвольте мне приветствовать вас, граф Игнатий Потоцкий, который почти единственный из вельмож государства сохранил патриотические чувства! Привет и тебе, Колонтай, и тебе, Заончек! Вы оба сохранили юношеский пыл, в порыве которого мы когда-то, будучи кадетами, дали священную клятву посвятить свою жизнь родине, да, клятву, — горестно прибавил он, — от которой судьба, повидимому, хочет освободить нас, так как вскоре, вероятно, не будет более нашей дорогой Польши, как самостоятельного государства, и нам останется только оплакивать её на её могиле.

Заончек — юноша с мечтательной взором — тяжело вздохнул, а пылкий Колонтай воскликнул:

— Предоставим женщинам проливать слёзы; мужчины должны сражаться и победить или

умереть!

— Умереть прекрасно, если смертью покупается победа, — серьёзно возразил Потоцкий, — но ещё лучше жить и пользоваться плодами победы в обновлённом отечестве. Чтобы достигнуть этого, друзья мои, необходимо обладать осторожностью и благоразумием, и я осторожно и благоразумно соединил руководящие нити нашего будущего. Я хотел сообщить вам о своих планах, сказать вам, что я сделал для приведения их в исполнение, и для этого пригласил вас сюда, где мы, на глазах у своих врагов, наиболее обеспечены от всякой измены. Пусть нас некоторое время считают отступниками; мы можем перенести это, сознавая, что служим делу родины. Брут также принуждён был прибегать к притворству, а в борьбе со смертельным врагом всякое орудие считается пригодным.

— По-моему, — воскликнул Колонтай, — было бы лучше созвать народ и изгнать врагов из священных пределов нашего отечества! Но, так и быть, пусть совершится всё, что ведёт к цели! Настанет же наконец минута свободного открытого действия, которое приведёт к решительной развязке; а тогда наступит момент действия и для меня. Но, пока вы будете вынуждены идти к цели

тёмными путями, не рассчитывайте на меня, я не сумею сыграть свою роль.

— Народ? — сказал Потоцкий. — Но разве народ, подавленный позорными оковами рабства, не находится в состоянии жалкой приниженности и равнодушного невежества? Разве вы не находите, что мы сначала должны создать народную силу, для того чтобы вызвать её на борьбу?

Прежде чем Колонтай успел ответить, в комнату вошёл Мечислав. Он достал несколько стаканов и наполнил их вином в честь прибывших гостей; затем, увидав, что разговор прекратился при его приходе, он намеревался почтительно удалиться.

Но Костюшко схватил его за руку и воскликнул:

— Вы правы, что для освобождения родины нужно содействие народа. Вы правы, что наш народ, ещё томящийся в оковах рабства, равнодушен к унизительному чужеземному игу. Но ещё существует здоровое ядро населения, из которого может вырасти новое, достойное свободы поколение; это — старые польские солдаты, и здесь пред вами истинный представитель этого народа. Пусть он примет участие в нашем разговоре; он сможет дать нам хороший совет; он лучше всех

укажет нам, насколько мы можем рассчитывать на народную силу и волю.

Присутствующие недоумевающе и вопросительно взглянули друг на друга.

— Это — тайна, — сказал Потоцкий, — от которой зависит будущая судьба истории; одно неосторожное слово...

— Позвольте мне удалиться, пан, — сказал Мечислав, пытаясь освободить руку, которую Костюшко всё ещё крепко держал в своей руке.

Но последний воскликнул:

— Я ручаюсь за него. Так как народ будет сражаться с нами, то он должен также участвовать в нашем совете.

Остальные трое приблизились, молча протянули руку старому Мечиславу и затем расположились на деревянных креслах вокруг стола.

Старик снова раздул на очаге огонь, колеблющийся свет которого один освещал всю комнату, и затем скромно уселся на стул возле огня.

— Выслушайте меня, мои друзья, — начал Игнатий Потоцкий. — Я непоколебимо убеждён, что всё несчастье нашего отечества происходит вследствие печального состояния нашего государственного строя, который лишь в силах противодействовать всякого рода власти, но

бессилен проявить активную деятельность. Мы должны создать или истинную монархию, или истинную республику. Но последнее невозможно именно потому, что народ в настоящее время ещё не подготовлен к восприятию свободы.

— Вы, пан, правы, тысячу раз правы! — воскликнул старый Мечислав. — Я слышал, что есть страны, где народ управляет сам собою, но это немыслимо здесь, так как крестьяне под именем свободы вообразят не что иное, как позволение грабить и опустошать, если они не постепенно, в продолжение долгого ряда лет будут освобождены от рабства, чему уже положил начало благородный граф Замойский.

— Итак, глас народа, — продолжал Игнатий Потоцкий, кивнув старику, — подтверждает моё мнение о непригодности для нас республики. Но, чтобы основать прочную монархию, нам нужно иметь наследственный царствующий дом.

Слушатели затаили дыхание. Колонтай воскликнул:

— Наследственный царствующий дом? Но разве Ян Собесский не составлял гордости и славы отечества? И разве в его царствование Польша не занимала одного из первых мест среди европейских держав?

— За Собесским последовали Станислав Лещинский, Август Третий и наконец Понятовский, игрушка в руках Екатерины, — заметил Потоцкий.

— Зачем же их избирали? — спросил Колонтай.

— В этом вопросе, — ответил Потоцкий, — заключается приговор нашему конституционному строю. Если случайное большинство голосов имеет возможность вложить власть управления в недостойные руки, то гибель государства неминуема.

— А разве не бывают слабые и неспособные наследственные правители? — спросил Колонтай.

— Разумеется, — ответил Потоцкий, — но лучшие силы страны всё-таки всегда будут готовы служить им, так как в лице такого государя воплощается идея отечества, и кроме того, путь к трону недоступен честолюбию. Избранный же король должен быть великим человеком, чтобы совершать великие деяния. Да даже в этом случае ему трудно будет заставить своих подданных забыть, что он когда-то был равным им человеком.

— Мне кажется, что граф Потоцкий прав, — сказал Костюшко. — Только наследственная монархия может призвать к служению все силы

государства, хотя бы во главе его находился слабый правитель. Но как положить начало новому порядку? Где найти род, достойный занять польский престол, не возбуждая зависти в других?

— По моему мнению, царствующая династия не должна быть польского рода, — произнёс Потоцкий, — престол должен перейти к великому монарху, который могуществен и без нас и которому подчинится вся страна.

— К иноземному государю? — воскликнул Колонтай. — Но ведь мы и так находимся под чужеземным игом; ведь тогда нам останется только провозгласить Екатерину королевою Польши.

Потоцкий серьёзно взглянул на него и возразил:

— Вы этого на самом деле не думаете, Колонтай! Мы не должны соединяться с варварскою страной, раз мы стремимся к свету и порядку. По моему глубокому убеждению, есть налицо монарх, род которого будет достойно нести польскую корону на благо нашей родины, который водворит у нас свет и порядок, соединит нас с просвещённой Европой и могущество которого защитит нас от варварского Востока.

— Кто же этот монарх? — спросил Костюшко, затаив дыхание.

— Это — король Пруссии, — ответил Потоцкий, — тот самый, который дал своему народу силу противостоять целому свету и с высоты престола которого сияют правда и справедливость; он обладает силою, которая защитит нас, и мудростью, которая сделает и нас могущественными и свободными и создаст в польском государстве польский народ!

Колонтай задумался с мрачным видом. Костюшко опустил голову на руку. Но Заионček вскочил и воскликнул с пламенным воодушевлением:

— Да, клянусь Богом, граф Потоцкий прав; он высказал мысль, которая и мне не раз приходила в голову в часы уединения. Если мы избирали на престол Генриха Валуа и Августа Саксонского, для того чтобы успокоить честолюбивое брожение в стране, подчинив её монарху из царствующего дома, то тем более мы можем избрать короля Пруссии, престол которого уже окружён славою и который даст нам всё, в чём мы нуждаемся и что он уже даровал своему народу! Да, да! пусть будет так!., в этом наше спасенье.

— Король Фридрих — уже старик, — заметил Колонтай.

— Это ничего не значит, — возразил Потоцкий, — его идеи будут продолжать жить в его потом-

ках и преемниках престола. Могущество Пруссия твёрдо упрочено, и с её помощью и мы приобретём силу противостоять всем своим врагам. Народные силы получат надлежащее развитие и дисциплину в армии, организованной по прусскому образцу, а в военной школе народ созреет для свободы.

— Вы правы, — сказал Костюшко, протягивая через стол руку Потоцкому, — вы правы, и я согласен с вашим мнением. Конечно, грустно, когда великий народ принуждён избирать себе иноземного властителя, но если мы хотим спасти себя и возродиться, то мы должны избрать наиболее достойного и могущественного, который, щедро даровав нам блага своего управления, может рассчитывать на нас как на опору своего престола.

— А что скажешь ты, Мечислав Бошвин? — ласково обратился Костюшко к старику.

Тот покачал головою и заговорил:

— Вы, вельможные паны, не должны спрашивать моё мнение в столь важном деле; нам подобает слушаться и исполнять свою обязанность, когда благородные паны решают, что пригодно для блага отечества. И мы, старые солдаты, исполним свой долг, за это я ручаюсь,

а молодые последуют нашему примеру, когда вы призовёте нас на помощь. Но я сомневаюсь, — робко и нерешительно прибавил он, — чтобы это было возможно и привело к хорошему концу. Если власть России и будет свергнута, всё же Пруссия и Польша искони были врагами и никогда не сольются в один народ. Пруссаки не захотят сделаться поляками, а мы... мы не можем сделаться пруссаками.

— Я тоже так думаю, — воскликнул Колонтай. — Мы не можем сделаться пруссаками! Разве мы не разбили в прах Немецкий орден при Танненбурге? Разве прусские короли не были нашими вассалами?

— Мы не сделаемся пруссаками, — сказал Потоцкий. — Прусский король будет управлять страною согласно основам нашей конституции, но в пределах этой конституции он будет истинным государем, каким не может быть никто из нас. Только с его помощью мы можем сбросить русское иго; ведь сами по себе мы более не в силах подняться.

Колонтай некоторое время хранил молчание.

— Я не буду препятствовать и возражать вам, — сказал он, — так как мы должны быть свободны, во что бы то ни стало, свободны от власти России.

Будущее, — прибавил он вполголоса, — принадлежит Богу и свободной силе каждого народа.

— Но как это должно произойти? — спросил Костюшко. — Каким образом возможно привести подобный план в исполнение?

— Я обсуждал этот план вместе с министром короля Фридриха, фон Герне, который уверен в согласии короля; но последний не может выступить открыто, пока не настанет решительный момент. Что же касается выполнения предприятия, то оно проще, чем кажется. Екатерина, по своему высокомерию, слишком уверена в своей силе и содержит в Польше лишь десять тысяч войска. Да в настоящее время она и не может выслать больше, так как ей угрожает война с Портою. Мы прежде всего должны принудить Понятовского отречься от престола.

— Отречься от престола? — воскликнул Колонтай. — Но разве это — король?

— Да, по праву и закону, и потому трон должен быть освобождён легальным путём, — ответил Потоцкий.

— Ну, это будет не трудно! — произнёс Колонтай с язвительным смехом. — Этот малодушный человек сделает всё, чего мы от него ни потребуем, как только очутится в нашей власти.

— Затем, — продолжал Потоцкий, — надо произвести всеобщее восстание, для того чтобы истребить или изгнать за пределы русских, которые рассеяны по всей стране.

— И это легко исполнимо, — сказал Колонтай.

— После этого, — продолжал Потоцкий, — сейму останется только избрать прусского короля наследственным королём Польши, для того чтобы Фридрих тотчас мог прибыть со своим войском и выступить на защиту государства, которое будет принадлежать ему по праву.

— А выборы? — спросил Костюшко.

— Я привлёк на свою сторону много голосов, — ответил Потоцкий, — хотя, признаюсь с сожалением, лишь при помощи прусского золота. Мой родственник Станислав Феликс также перейдёт на нашу сторону, как я наверное узнал.

— А вы доверяете вашему родственнику? — мрачно спросил Колонтай.

— Я доверяю ему, — ответил Потоцкий, — так как выгода заставляет его примкнуть к нам. У меня в руках средство окончательно расположить его в нашу пользу.

— О, как мы низко, низко пали! — со скрежетом произнёс Колонтай. — Но пусть будет так! Я согласен призвать чёрта, чтобы только освобо-

диться от ига русских. А что нам следует делать? — спросил он вслед затем.

— Выжидать, пока настанет время, — ответил Потоцкий. — Так как я уже держу нити заговора в руках, то согласны ли вы предоставить мне руководительство и быть готовыми по первому моему зову, а до тех пор носить маску притворства?

— Хорошо! — сказал Колонтай, вставая и подавая руку Потоцкому. — Я ваш, располагайте мною всецело!

Прочие также протянули Потоцкому руки.

— Подойди сюда, Мечислав! — сказал Костюшко, дай и ты нам руку для заключения союза, из которого возродится новая жизнь в нашем отечестве.

Старик приблизился и робко и почтительно присоединил свою руку к остальным.

— Итак, решено! — воскликнул Потоцкий. — Понятовский будет устранён, и нашим королём будет Фридрих Прусский!

На минуту наступила тишина. Все чувствовали себя глубоко взволнованными решением, которое эти четыре человека в уединении леса провозгласили, как торжественный приговор, от удачного исполнения которого зависела судьба всей Европы.

— Наполним ещё раз стаканы, — воскликнул Колонтай, — и выпьем за осуществление своего предприятия.

Старый Мечислав налил вина. Оловянные кубки чокнулись и молча были осушены.

— Выслушайте меня! — сказал Костюшко. — Мы заключили союз для великого дела, теперь я прошу вашей помощи лично для меня. Я прибыл сюда, отчаиваясь за судьбу родины; здесь я снова обрёл надежду, но здесь мне предстоит бороться также и за личное счастье.

— Говорите, Тадеуш! — сказал Колонтай, пожимая ему руку. — Я готов служить вам всеми зависящими от меня средствами и, я уверен, остальные друзья также.

— Я люблю, — сказал Костюшко, слегка покраснев и обращаясь к друзьям, которые слушали с напряжённым вниманием, — люблю Людовику Сосновскую.

— Дочь маршала Сосновского? — воскликнул Колонтай. — Бог — Свидетель, она достойна вашей любви! И я желаю вам счастья, если вы покорите её сердце!

— Я покорил её сердце, самое благородное и преданное на земле, — подтвердил Костюшко, после чего мрачно прибавил: — но её отец отказал

мне в её руке в высокомерных и оскорблённых выражениях. Что я такое? Бедный шляхтич, не имеющий ничего, кроме шпаги, в сравнении с ним, маршалом литовским!

— И даже если бы он был сам король, — крикнул старый Мечислав, забывая почтительность пред господами и ударяя кулаком по столу, — клянусь Богом, он и тогда не мог бы в целом свете найти лучшего супруга для своей дочери, чем наш пан Тадеуш.

— И ты оставил безнаказанным такое оскорбление? — воскликнул Колонтай.

— Но разве дочь могла бы сохранить любовь к убийце своего отца? — печально произнёс Костюшко.

— Клянусь Богом, — воскликнул Колонтай, — в таком случае я сам потребую у него удовлетворения.

— Постой, Колонтай! — остановил его Костюшко, — я не ищу мести, но желаю наперекор всему свету добиться счастья и любви. Я слышал, что Сосновский, по желанию императрицы Екатерины, намеревается отдать руку дочери одному из её приближённых; ведь императрица старается привлечь польских вельмож к своему двору, но этого не будет.

— Нет, клянусь небом, этого не будет! — крикнул Колонтай.

— Лучше пусть благородная панна умрёт, — сказал старый Мечислав, — чем допустить, чтобы невеста моего капитана была продана русскому.

— Ну, так вот, — продолжал Костюшко, — Сосновский здесь, вместе со своей дочерью. Здесь должен совершиться постыдный торг. Она наскоро известила меня через верную служанку. Я сообщил ей, что я здесь и что я всё приготовлю для побега и увезу её во Францию, где она найдёт верное убежище и решит, любит ли она меня настолько, чтобы выйти за меня и без благословения отца. Но её отец принуждён будет уступить, когда явится необходимость. Прежде всего я должен спасти Людовику, увезти её в безопасное место, и в этом, друзья мои, вы должны помочь мне! Вам легко будет незаметно увезти Людовику во время одного из больших праздников. Помогите мне заготовить лошадей. Если мы выиграем только два часа времени, прежде чем обнаружится бегство моей невесты, то мы будем спасены.

— Да, да, — воскликнул Мечислав, — панна должна быть спасена, и мой капитан должен быть счастлив, хотя бы это стоило мне жизни.

— Ты, мой старый друг, — сказал Костюшко,

— будешь лишь держать лошадей наготове у городских ворот. Но один из вас, мои друзья, должен взять на себя увести Людовику из зала во время танцев и позаботиться о быстрых лошадях. Я прошу вас, помогите мне завоевать лучшее счастье моей жизни.

— Рассчитывай на меня! — воскликнул Заиончек, с жаром обнимая Костюшко.

— Ты хочешь отправиться во Францию и покинуть отечество? — строго спросил Колонтай.

— Я хочу только отвезти свою Людовику в безопасное место, — ответил Костюшко, прижимая в знак уверения руку к сердцу. — Моя любовь должна одушевить меня на борьбу за родину; Людовика стала бы презирать человека, который ради неё бежит от опасности и покидает священное дело.

— Вы правы, — сказал Потоцкий, — любовь укрепляет и воодушевляет, и, кто носит в сердце благородное чувство любви, тот скорее окажется способным победить или, если нужно, умереть за отечество. Рассчитывайте также и на меня!

Он с чувством пожал руку Костюшко, и его лицо озарилось светлым выражением.

— Прости мне, Тадеуш, что я на миг усомнился в тебе, — сказал Колонтай, — я не знаю любви и

избегаю её, чтобы не стать слабым.

Некоторое время все они ещё сидели, обсуждая план действий.

Потоцкий взял на себя обязанность переговорить обо всём с Людовикой Сосновской. Условились, что Костюшко останется в лесном домике и старый Мечислав будет ежедневно являться в город, чтобы оповещать его о событиях.

Только позднею ночью паны наконец отправились домой.

Старик вывел их на прямую дорогу и, когда вернулся обратно, нашёл своего гостя крепко спавшим на медвежьей шкуре, постланной на очаге.

Чтобы не обеспокоить его, старик тихо вытащил вторую шкуру для себя. Медленно угасал огонь, и ночной ветер шумел в верхушках деревьев, раскачивая их над тихим, уединённым домом.

VIII

Карета, которую встретил на лесной дороге старый Мечислав, когда поджидал там друзей своего гостя, Тадеуша Костюшко, через полчаса быстрой езды уже достигла Могилёва.

Согласно полученному приказанию, почтальон подъехал к Янчинскому дворцу, где ещё шли спешные приготовления, так как на утро следующего дня сюда должна была прибыть императрица, чтобы затем после обеда принять здесь своего высокого гостя.

Ярко горели фонари на дворе дворца и в ближайших аллеях парка. Повсюду виднелись рабочие, спешившие покончить с приготовлениями; лакеи носились взад и вперёд по двору; экипажи всех родов то подъезжали ко дворцу, то уезжали от него, так что простую почтовую карету едва ли заметили, когда она проехала наружными дворцовыми воротами.

Часовой подошёл к дверце кареты, чтобы опросить прибывших, так как был отдан строгий приказ никого не пропускать во двор без точного засвидетельствования личности.

При свете больших фонарей у ворот в карете были видны двое молодых людей. Один из них, перегнувшийся через дверцу кареты, когда к ней подошёл часовой, был во французском дорожном костюме, поверх которого был накинут на одно плечо бархатный плащ; второй, окидывавший пытливым, любопытным взором кипучую жизнь на переполненном дворе, был в сером костюме полувоенного покроя; его продолговатое, узкое лицо с могучим орлиным носом и большими, проницательными, беспокойно сверкавшими глазами могло бы броситься в глаза, если бы вообще кто-либо обратил внимание на иностранцев, прибывших в таком простом и неказистом экипаже.

Часовой не мог понять прибывших. Подошёл лакей и, разобрав из их французской речи по крайней мере то, что они принадлежат к свите римского императора, позвал одного из высших служащих.

Последний окинул чужеземцев испытующим взглядом. По-видимому, он принял их в лучшем случае за низших придворных служащих и потому приветствовал их, хотя и вежливо, но с известной долей важной сдержанности.

— Я — секретарь графа Кобенцля, — сказал

по-французски чужеземец в плаще. — Я со своим спутником выслан вперёд, государь прибудет сюда завтра...

— Отлично, — ответил придворный служащий, — пожалуйте, господа, я сейчас укажу вам ваши комнаты; вам придётся немного потесниться, так как у нас вовсе не много комнат и большинство из них отведено для их величеств и для их важнейших спутников.

Иностранцы оставили карету, их слуга последовал за ними и русский гофмейстер повёл их через двор ко дворцу.

Внутри дворца всё также было освещено. Каждый вечер, пока в нём шли приготовления, всё в нём должно было быть так, как будто императрица и её гость уже были здесь.

— Здесь налево, — сказал гофмейстер, — будет иметь пребывание её величество наша всемилостивейшая императрица Екатерина Алексеевна, а вот там направо — покои вашего августейшего государя.

Он открыл выходившие в аван-зал двери и пригласил обоих прибывших проследовать длинным рядом покоев, роскошно и со вкусом убранных. Возле приёмного зала виднелись маленькая столовая и рабочий кабинет, которые своею

поразительною простотой весьма отличались от предыдущих комнат. Простой письменный стол стоял у окна, выходившего в сад; на нём находились не менее простые письменные принадлежности. На стенах виднелись полки для книг и ландкарты. Над письменным столом висел огромный портрет императрицы Марии Терезии, рядом с ним — такой же портрет во весь рост русской самодержицы.

Когда они вошли в эту комнату, иностранец в сером костюме поражённый остановился.

— Смотрите, — воскликнул он, дотрагиваясь до локтя своего спутника, — совсем как в Вене, в Гофбурге.

Русский гофмейстер улыбнулся.

— Следовательно вы, милостивые государи, узнаете кабинет своего императора? — сказал он. — Наша всемилостивейшая императрица приказала добыть из Вены его описание и сделать всё точно согласно ему; даже все книги, которые обыкновенно читает император, имеются здесь, так что его величество может подумать, что он у себя дома.

— Приходится сознаться, — сказал иностранец, — ваша императрица понимает гостеприимство; это внимание, право, значит много более, чем

весь блеск и великолепие остальных зал.

Они прошли коридором, затем миновали ещё несколько комнат, относительно которых их проводник рассказал, что они предназначены для императорского посла, графа Кобенцля, который выехал на границу встретить своего государя и прибудет сюда вместе с ним.

— Смотрите, мой друг, — улыбаясь, сказал иностранец в сером костюме, — графу Кобенцлю будет недурно. Боюсь, что нам не придётся так блестяще устроиться... Но что поделаешь? нужно уметь приспособляться.

— Я не завидую графу, — возразил другой австриец, — и, весьма вероятно, не захотел бы поменяться с ним жилищами.

Наконец они достигли галереи, из которой лестница вела в верхний этаж.

Когда они поднялись в мансарду, их русский проводник открыл две маленькие, но приветливо и уютно меблированные комнаты.

— Прошу вас, господа, расположиться вот здесь, — сказал он. — Мне очень жаль, что я не могу предоставить вам лучшее помещение. Когда вы придёте со своими патронами в Петербурге, вам дадут лучшие комнаты; там у нас значительно больше помещение. Прошу извинить меня, если

я вас теперь оставлю, так как у нас полные руки дела; завтра, пред прибытием императора, я вас попрошу ещё раз осмотреть со мною его покои и указать мне, всё ли там в порядке. Вы утомились в пути; сию минуту всё, что вам необходимо, будет к вашим услугам.

Он, вежливо поклонившись австрийцам, вышел и тотчас приказал нескольким лакеям прислуживать прибывшим и приготовить им ужин, что и было исполнено с присущей русскому двору удивительною быстротою.

Приезжие едва дотронулись до нескольких поданных им кушаний и затем объявили, что намерены ещё совершить прогулку по городу, чтобы посмотреть на приготовления к приёму императрицы на освещённых улицах.

Один из лакеев предложил им свои услуги.

— Мне пришло в голову, — сказал один из австрийцев, — что я знаком с секретарём графа Станислава Потоцкого; я встречался с ним в Вене, когда он приезжал туда со своим патроном. Скажите, граф здесь?

— Он сегодня приехал, — ответил лакей, понимавший французскую речь и потому и выбранный для услуг чужестранцам. — У графа большая свита с собою; кроме него понаехало ещё много

других польских панов, чтобы выказать своё благоговение пред нашей императрицей.

— Великолепное совпадение! — сказал австриец. — Если вы согласитесь проводить нас до квартиры графа, то я воспользуюсь возможностью приветствовать своего Друга.

— Я к вашим услугам, — сказал лакей, — ещё сегодня я носил к графу Потоцкому письмо от обер-камергера графа Строганова, — с важной миною добавил он.

Лакей вывел обоих иностранцев из дворца, причём никто не обратил даже внимания на них, когда они шли через двор, и они направились по улицам города, повсюду представлявшим чрезвычайно оживлённую картину.

Пред всеми домами были повешены фонари, повсюду рабочие увивали двери гирляндами и венками из листьев и цветов и сооружали триумфальные арки на пути императрицы.

Городские жители стояли в дверях домов, приезжие из свиты польских магнатов и поселяне, прибывшие из окрестностей, чтобы посмотреть на пышные торжества, двигались взад и вперёд по улицам, так что по временам лишь с трудом можно было проложить дорогу сквозь густую толпу.

В начале предместья, у приветливого дома, окружённого садом, лакей остановился.

— Здесь живёт граф Потоцкий, — воскликнул он, — и если ваш друг сопровождает его, то вы легко можете найти его. Прикажете подождать, пока вы изволите вернуться?

— Это излишне, — сказал австриец, — идите обратно, мы сами найдём дорогу.

Они оба вошли в сад и обратились там к слуге с вопросом, нельзя ли поговорить с графом Потоцким.

Слуга пожал плечами и сказал:

— Это едва ли будет возможно; у графа гости, маршал) Сосновский и другие знатные паны; если у вас есть дело до него, приходите завтра утром рано; может быть, вам и удастся улучить минуту, чтобы быть выслушанным до прибытия императрицы.

— Дело не терпит отлагательства и важно для самого графа, — возразил австриец. — Может быть, вам удастся передать записку своему господину?

Он вынул кошелёк из кармана и сунул золотой в руку лакея.

— Постараюсь сделать это, — сказал последний, низко кланяясь, — лейб-егерь графа — мой друг,

а* он может выходить из зала и входить туда во время стола.

Чужеземец набросал при свете фонаря несколько строк на листке, вырванном из записной книжки, своеобразно сложил его и передал его слуге, тотчас же поспешно направившемуся в дом.

Оба иностранца стали расхаживать взад и вперёд по аллеям сада, вполголоса разговаривая и заботливо избегая там и сям собравшихся групп.

Спустя некоторое время, лакей возвратился; его сопровождал лейб-егерь в расшитой золотом ливрее. Он почтительно поклонился обоим иностранцам и сказал:

— Их сиятельство просит вас пожаловать!

Он пошёл впереди и провёл их задним ходом дома прямо в кабинет графа.

Тот из посетителей, который писал записку, вошёл первым. Второй последовал за ним и остановился у дверей довольно тускло освещённой комнаты.

Граф Потоцкий с протянутыми руками поспешил навстречу своим посетителям.

— Как я рад, что снова вижу вас, уважаемый друг! — воскликнул он, — я почти готов был предположить, что кто-нибудь позволил себе

мистификацию, так как мне повсюду говорили, что граф Кобенцль приедет лишь завтра вместе с императором. Как мне благодарить вас за честь, оказанную мне этим посещением! — Он крепко пожал руку своего гостя, а затем продолжал: — у меня собрались гости; вы позволите мне представить вас им?

Чужестранец отступил в сторону и сказал:

— Благодарю вас, дорогой граф, но никто не должен видеть меня, так как, согласно повелению моего августейшего государя, я обязан хранить строжайшее инкогнито; поэтому я прошу вас не произносить вслух моего имени. Здесь не существует графа Кобенцля, а есть лишь простой секретарь; я прибыл к вам, чтобы оказать вам большую честь: меня сопровождает граф Фалькенштейн и разрешает мне представить вас ему.

Он отступил ещё больше в сторону, а его спутник сделал несколько шагов вперёд и теперь вступил в пространство, освещённое фонарём, спускавшимся с потолка комнаты.

Граф Потоцкий несколько секунд неподвижно смотрел в его лицо, затем склонился почти до земли и воскликнул:

— Возможно ли? Вы сами, ваше величество? Как мог я заслужить такую честь, удостоиться

столь милостивого посещения? Ведь условлено, что ваша встреча с императрицей состоится только завтра!

— Тише, тише, дорогой граф! — улыбаясь, ответил император Иосиф, которого граф Потоцкий сразу признал в невидном незнакомце, — не произносите так громко слова «величество»! Здесь есть лишь граф Фалькенштейн, опередивший императора, чтобы немного ориентироваться и посетить своего старого друга, графа Потоцкого.

— Граф Потоцкий вполне сумеет оценить эту честь, — ответил граф с почтительным поклоном, — и просить вас, граф Фалькенштейн, располагать его домом, в котором в настоящую минуту вы являетесь полным хозяином.

— О, нет, дорогой граф, о, нет! — ответил Иосиф, опускаясь в кресло, поданное ему хозяином дома, — я уже расположился здесь со своим посланником в очень удобном и уютном помещении в мансарде Янчинского дворца, где я намерен остаться, пока не прибудет государыня императрица. Меня никто не спросил о том, кто я, поэтому меня легко могут счесть за секретаря, — с улыбкою прибавил он. — Это очень мало подтверждает мнение льстецов, что печать величества блестит у нас на лбу; но это тем приятнее

для меня: ведь без короны на голове всё лучше видно и слышно, а видеть и слышать правду является главною нашею задачей в достижении возможности исполнить наш державный долг.

— Боже мой! — с ужасом воскликнул граф Потоцкий, — вы, ваше величество, живёте — прошу простить, это слово невольно сорвалось у меня с языка! — вы, граф Фалькенштейн, живёте в мансарде Янчинского дворца? Что скажет об этом императрица! Она разгневается на меня, узнав, что я знал об этом и молчал.

— Она не узнает, — сказал Иосиф, — для императрицы меня всё ещё нет здесь, и если вы разрешите мне на миг снова стать императором, то я запрещаю вам изменять моей тайне. Итак, позвольте мне во всяком случае до завтра быть секретарём секретаря и помогите мне, графу Фалькенштейну, немного ориентироваться, чтобы впоследствии иметь возможность дать императору совет, которому последний придаёт большую цену.

— Я могу лишь повиноваться и, обязанный подобным повиновением, буду видеть в своём госте только графа Фалькенштейна! — ответил граф Потоцкий.

Иосиф жестом руки пригласил Потоцкого и

Кобенцля сесть и спросил:

— Ну, что делается у вас, в Польше? Очень бранят нас там за то, что мы немного уменьшили королевство? Моей матери, императрице, было очень тяжело делать это, но что поделаешь? Это было решено в Петербурге и Берлине и нам лишь оставалось подумать о себе при разделе.

Потоцкий пытливо посмотрел на императора, который в самой непринуждённой светской форме давал разговору столь опасное направление; он несколько секунд раздумывал над ответом и затем неуверенно проговорил:

— Вы, ваше величество, поймёте, что потеря значительной области возбуждает огорчение в моих соотечественниках, что здесь и там вспыхивает патриотический гнев и что даже те, кто вынужден необходимостью приносить жертву для спасения самостоятельности, всё же должны оплакивать эту жертву.

— Мне почти сдаётся, что жертва не достигла цели, — сказал Иосиф, устремив на графа взор своих больших, ясных глаз. — Едва ли можно говорить о самостоятельности страны, когда последняя занята чужеземными войсками, и князь Репнин, как мне кажется, пользуется в королевстве польском большей властью, чем король

Станислав Август.

Потоцкий пожал плечами и, видимо, затруднился ответом на это беспощадно-откровенное замечание императора.

— Императрица поддерживает порядок в Польше, для которого наше государственное управление не представляет достаточных гарантий, — наконец, сказал он.

— Вы понимаете, дорогой граф, — продолжал Иосиф, — императрица Екатерина — моя высокая союзница, и я надеюсь, что наш союз будет крепнуть и крепнуть; своим соглашением мы можем покорить мир, но это не мешает слегка следить за соседом и думать и о том времени, когда вследствие изменившихся обстоятельств уже нельзя будет оставаться друзьями. Вы говорите, что ваша конституция не может поддерживать порядок; конечно вы правы; государство без порядка бессильно и ничтожно. Всё же мне не кажется необходимым благодаря тому отдаваться под чуждое господство; мне кажется, что лучше было бы упорядочить неудовлетворительное и опасное государственное устройство. При последнем договоре Россия взяла из польских пограничных областей наименьшую часть, — оживлённо продолжал император, — но такое бескорыстие и

самоограничение было щедро уравновешено тем, что всё остальное королевство почти находится во власти русских. Если положение вещей останется таким, как оно есть, то дело станет только за наименованием, чтобы превратить Польшу в русскую провинцию.

— Вы, ваше величество, пожалуй и правы, — сказал Потоцкий ещё боязливее и ещё сдержаннее, — но как можно будет изменить государственное устройство, ревностно оберегаемое польским дворянством и русскими войсками, и какое государственное устройство было бы уместно?

— Я вижу, дорогой граф, что мы отлично понимаем друг друга, — сказал Иосиф, — что я найду у вас те разъяснения, которых ищу, так как в поставленном вами вопросе во всяком случае вся будущность Польши; вы поймёте, что и я усердно размышлял над этим вопросом. Самостоятельная, сильная и цветущая Польша может быть доброй соседкой для Австрии; ведь нужно помнить о том, что в Вене до сих пор ещё полны благодарности великому Собесскому, оказавшему нам со своим храбрым польским войском рыцарскую помощь в великой беде; равным образом и от России мы можем ждать добрососедских отношений. Но всё

же лучше, когда между двумя великими державами остаётся прочная преграда и когда сильная Польша, которая как я надеюсь, постоянно будет другом Австрии, если она лишь постигает свои истинные интересы, в то же время будет прочным залогом мирных отношений между Австрией и Россией. В этом смысле, дорогой граф, я размышлял о данном вопросе и, как я полагаю, нашёл его разрешение.

— Я не удивляюсь, — сказал Потоцкий, — что высокий ум вашего величества умеет разрешать самые тяжёлые задачи, и мне очень интересно выслушать, как это произойдёт.

— А мне очень хотелось бы слышать ваше мнение относительно найденного мною разрешения задачи, — воскликнул Иосиф, — то есть, я желаю выслушать мнение человека, который лучше всех знает нужды своего отечества и может осуществить на деле мнение, разделяемое им. Королевство с замещением престола путём избрания невозможно в наше время, — оживлённо продолжал император, — выборный король неизбежно станет или бессильной тенью, игрушкой партий и зарубежных сил, или диктатором. В том и другом случае нет места для основанной на правопорядке державы. Отбросьте мысль об

избирательном престоле, создайте наследственную королевскую династию, и Польша снова возродится.

— Где же найти такую династию? — спросил Потоцкий.

— В роде монарха, царствовавшего в Польше и, несмотря на некоторую слабость, сохранившего по себе, как я думаю, хорошую память, — ответил Иосиф. — Изберите одного из принцев саксонского курфюршеского дома наследным польским королём; он всегда найдёт поддержку в германской империи и в Австрии и с ним придётся иначе считаться, чем с графом Понятовским!

— Вы, ваше величество, высказываете мысль, уже возникавшую у многих, а также и у меня, — сказал Потоцкий. — Но каким образом добиться такого избрания? как объединить голоса сейма?

Иосиф положил руку на локоть Потоцкого и сказал:

— Были, времена, дорогой граф, когда над миром господствовало железо, когда рыцарский меч закованного в латы воина решал все великие вопросы судеб народов. Железо утеряло свою силу; теперь миром владеет золото, так как золотом можно купить всё — и порох, и ядра, и людей.

В глазах Потоцкого вспыхнул мимолётный

огонёк.

— Конечно, золото господствует над миром, — сказал он, — но этот могущественный талисман не имеется в нашем распоряжении в Польше.

— Поэтому нужно подумать о том, чтобы создать его, — воскликнул Иосиф, — и средство к тому найти по-видимому не трудно. Ваше правительство учредило в Варшаве ломбардный банк с целью упорядочить финансы и создать прочный центр торговым оборотам.

Потоцкий пожал плечами.

— Банк действительно основан, — сказал он, — но он влачит призрачное существование, которое тоже вскоре угаснет: у него нет ни денег, ни кредита.

— Я готов предложить вам и то, и другое, — сказал Иосиф, — торговая компания в Вене вступит в сношения с вашим банком, будет субсидировать его деньгами и принимать к учёту его векселя. Подобная же готовность имеется налицо, как мне сообщили, и в Берлине. Для Пруссии также должно быть желательно не нуждаться в сильной охране русских границ. Когда ваш ломбардный банк, опираясь на Вену и Берлин, действительно разовьёт плодотворную деятельность; когда он будет в состоянии поставить в зависимость от се-

бя мелких и крупных помещиков, тогда, дорогой граф, будет вполне возможно провести королевские выборы по воле того, кто будет стоять в центре этой финансовой силы и следовательно будет держать в своих руках могучий талисман золота.

— В самом деле это явится путём, которым можно всего достигнуть; клянусь Богом, вы, ваше величество, нашли то, что в Польше так долго тщетно искали, хотя многие подобно мне ломали голову над тем, как бы найти выход из бедственного положения нашей родины.

Выражение искреннего удивления в голосе Потоцкого польстило легко возбудимому тщеславию императора.

— Я нашёл его, — ответил он, — я нашёл его, потому что я — друг Польши и, может быть, таким путём могу осуществить благодарность, которою мой дом обязан благородному Собескому. Итак, если вы считаете правильным моё разрешение вопроса о будущности Польши, если вы хотите явиться основателем новой эры для своего отечества, то воспользуйтесь средствами, которые будут предоставлены для великих целей, согласно вашему указанию, венской торговой компанией совместно с варшавским ломбардом.

Я не сомневаюсь, что вам удастся, с золотым талисманом в руках, избрать саксонского принца Фридриха наследником престола Понятовского, и ваши труды конечно не останутся без благодарности со стороны принца. Государственный канцлер уже подготовит почву для сношений венской торговой компании с варшавским ломбардным банком, и тотчас же будет отдан приказ оплачивать чеки банка и учитывать его векселя.

Потоцкий низко склонил голову, чтобы скрыть торжествующую радость, засиявшую в его лице, и произнёс:

— Я употреблю все силы, чтобы осуществить благодарность вам, ваше величество, за мою родину и дать последней короля, который снова сделает её великой и могущественной.

— А вы, дорогой граф, будете первым после короля или возле короля, — ответил Иосиф. — Варвик, создатель королей, — с улыбкой прибавил он. — Вы будете постоянно вспоминать, что я — ваш благодарный друг. История назовёт вас величайшим благодетелем своего отечества! Граф Кобенцль был прав, когда сказал мне, что в вас я найду единственного в Польше человека, который поймёт мои идеи и будет в состоянии провести их.

— Графу Кобенцлю известны моя любовь к отечеству и моё преклонение пред особой вашего величества, — ответил Потоцкий, отвешивая поклон в сторону австрийского посланника.

— Ну, а теперь я не смею долее отвлекать вас от ваших гостей, которые и так, должно быть, изумлены долгим отсутствием своего хозяина, — сказал император. — Да принесёт этот час обильные плоды в будущем! Едва ли нам удастся ещё поговорить так, чтобы этого не видели; лучше, если мы избегнем этого, чтобы отвлечь подозрения. Итак, согласимся на том, чтобы мой посол в Варшаве совещался с вами при всяком необходимом случае.

— О, нет, ваше величество, — почти испуганно воскликнул Потоцкий, — я желал бы лучше, чтобы ваши повеления поступали ко мне через агентов торговой компании, так как варшавские дипломаты окружены сотнями шпионов.

— Вы правы, — согласился император, — чем выше цель, тем уже и темнее должен быть путь к её достижению. Будьте здоровы! Граф Фалькенштейн расстаётся с графом Потоцким, а завтра римский император будет приветствовать фельдцейхмейстера всей польской артиллерии.

— Вы разрешите проводить вас, ваше величе-

ство? — спросил граф Потоцкий.

— Ни в коем случае, — отклонил его предложение император, — что осталось бы от моего инкогнито и от нашей тайны, если бы граф Феликс Потоцкий оказал такую честь простому секретарю! Я уверен, что сам найду дорогу.

Он торопливо вышел, уводя с собою Кобенцля, и сам закрыл дверь за собою.

Потоцкий улыбнулся.

— Он прав, — сказал он, — золото в наши дни является талисманом, управляющим судьбами людей и народов! К моему прискорбию, мне недоставало чудодейственной силы этого всемогущего металла; теперь она потечёт ко мне со всех сторон. Меня хотят сделать своим орудием, в моих руках сосредоточивают силу, могущую даровать корону. Я желаю обладать этой силой, но, ей Богу, я был бы дураком, если бы возложил корону на чужеземца! У них имеются ядра и штыки, у меня — хитрость оживлять чудодейственную силу золота, и корона будет моей!

Портьеры на дверях спальни слегка зашевелились, но граф не заметил этого. Он постоял ещё с минуту, с тихой улыбкой на губах, с задумчиво опущенной головой, а затем вышел и возвратился к своим гостям, объяснив им своё отсутствие

неотложными делами.

Никто не заподозрил ничего, и весёлое бражничанье ещё некоторое время продолжалось, пока гости не поднялись из-за стола и не перешли в соседнюю комнату, чтобы, по неизменному обычаю польского общества того времени, поиграть в карты.

Потоцкий и литовский маршал Сосновский, человек лет пятидесяти с бледным и хитрым лицом и зорко бегавшими и по временам лукаво вспыхивавшими глазами, стали метать за двумя столами банк. Сосновский выигрывал, Потоцкий же почти с одинаковым постоянством проигрывал. Мелкие шляхтичи, тщетно искавшие счастья за столом Сосновского, переходили к столу Потоцкого и удвоенными ставками быстро возвращали свой проигрыш.

Игра кончилась ранее обыкновенного, так как уже рано утром должна была прибыть императрица.

Гости разошлись, и Потоцкий возвратился к себе в кабинет.

Камердинер подал ему халат. Граф вскоре отпустил его, отдав приказание позаботиться о том, чтобы на следующее утро всё было готово к приёму государыни, а затем опустился в кресло пред

своим письменным столом и погрузился в глубокие размышления, рисовавшие ему блестящие горизонты, к достижению которых он проложил сегодня ещё новую ступень.

В эту минуту портьеры на дверях его спальни медленно раздвинулись, и Потоцкий услышал шум тяжёлых складок.

Он поднял взор и увидел пажа в ливрее его дома, переступившего порог кабинета. Он невольно вздрогнул и резко выговорил мальчику, что тот смел в столь поздний час побеспокоить его.

Но паж не обратил внимания на выговор. Медленными шагами он приблизился к графу и остановился в освещённом лампою пространстве, улыбаясь и скрестив руки на груди.

Потоцкий пристально всмотрелся в мальчика, а затем вскочил, положил руку на его плечо и воскликнул:

— Возможно ли?.. Это — не дьявольское наваждение, обманывающее меня?.. Это — ты, София?

— Да — это я, — ответила красавица-гречанка, которую граф признал под пажеской ливреей.

— Какая дерзость! — вне себя воскликнул граф, — разве я не запретил тебе сопровождать меня!

— Раз навсегда не забывай, мой друг, что моё послушание зависит от моей доброй воли.

— Но это — безумие, это — сумасшедшая дерзость! Как ты могла отважиться отдаться здесь во власть Екатерины и Потёмкина? Если тебя узнают...

— Меня не узнают, — возразила София. — Вот ты же не узнал меня, хотя твой взор много раз замечал меня, когда я скакала на коне в твоей свите. Никто из твоих слуг не знает меня. Итак, какая опасность может угрожать мне?

— Но зачем ты здесь? — мрачно спросил он. — Разве что-нибудь влечёт тебя обратно в Петербург, обратно к Потёмкину?

— Если бы это было так, что помешало бы мне давно сделать это? — сказала София, насмешливо пожимая плечами. — Разве ты властен удержать меня при себе? Зачем я здесь, спрашиваешь ты? Если бы ты знал, как я люблю тебя, то ты не спрашивал бы меня об этом. Я здесь, чтобы видеть и слышать всё за тебя, так как тот только и видит, кто сам невидим, тот лишь и слышит, на кого не обращают внимания. Так как я люблю тебя, то я желаю тебя возвеличить, и потому ни на шаг не отступаю от тебя. Я хочу быть твоим ангелом-хранителем, который воодушевлял бы и ободрял бы тебя, если бы ты потерял мужество, который останавливал бы тебя мудрым предосте-

режением, если бы ты забылся в слепом доверии. Моя любовь прочно держится на том, на ком раз остановится, и я крепко держусь тебя; если бы ты и захотел отдалить меня, то сделал бы это с таким же малым успехом, как и в отношении своей тени. Я верю, я знаю, что моя любовь приносит тебе счастье. Разве к тебе не текут потоки денег отовсюду — и от князя Репнина, и от графа Фалькенштейна?

— Граф Фалькенштейн! — воскликнул Потоцкий. — Ты видела его, ты слышала?

— Я была там, — ответила София, указывая на спальню, — я слышала и довольна тобою, мой друг. Ты был умён. Ты обратишь их в своё орудие, ты используешь их планы. Могу сказать тебе, что я от души посмеялась в своём убежище над графом Фалькенштейном, который хотел бы разыгрывать Фридриха Великого на престоле и который ни более, ни менее, как детски глупый деспот. День кончился, теперь посмеёмся вместе над этой комедией, которая разыгралась сегодня и будет продолжаться и завтра.

Потоцкий мрачно потупился; он не понимал той силы, которая давала этой женщине столько уверенности над ним; она казалась ему чем-то демоническим, преследующим его по пятам. Но

София так задорно-мило смеялась, её глаза смотрели так насмешливо и вместе с тем так влекли к себе, что облака на его лбу исчезли под этим взглядом, и, когда она распростёрла пред ним свои скрещённые пред тем руки, он в горячем порыве страсти привлёк её к своей груди и покрыл её смеющиеся губы жаркими поцелуями.

IX

На следующий день, с самого раннего утра, дома Могилёва украсились роскошными венками, гирляндами свежих цветов и флагами. Улицы посыпали гравием; особенно дорогие флаги вывешивались прямо из окон. Жители города подходили к открытым дверям и с любопытством высовывали головы из окон, чтобы видеть въезд императрицы. Улицы были пусты, так как отряд казаков разгонял толпу, предоставляя зрителям лишь тротуары.

Особенное оживление царило в тех домах, где жила польская аристократия. Согласно положению и богатству каждого из обитателей, приготовлялось большее или меньшее количество лошадей, на которых свита польского магната должна была сопровождать своего господина во время встречи императрицы. Все выезжали далеко за город, чтобы выказать русской монархине свою преданность и тем заручиться её милостями, или же, под видом внешней любезности, желали скрыть внутреннее недовольство, возбуждаемое владычеством чужеземцев в Польше.

Чрезвычайная суета замечалась пред домом графа Феликса Потоцкого; здесь было собрано около сотни роскошно осёдланных лошадей, которых водили взад и вперёд конюхи в ярких, расшитых золотом ливреях. Толпа шляхтичей заняла весь двор и сад, оживлённо беседуя. Свита самого польского короля не могла бы иметь более блестящий вид.

Рядом с квартирой графа Феликса Потоцкого находился дом одного из купцов, в котором остановился граф Степан Сосновский со своей дочерью. Пред этим домом тоже собралась свита, но в менее роскошных костюмах, чем у Потоцкого; количество лошадей тоже было значительно меньше, так как граф Сосновский, несмотря на свои огромные имения, находился в затруднительных обстоятельствах. Неумелое хозяйничанье совершенно уничтожило доходность имений, и ему не удавалось, как Потоцкому, пользовавшемуся огромной популярностью, найти источник какого-нибудь дохода и открыть себе широкий кредит. Ввиду этого Сосновский стремился стать в близкие отношения с русским двором и создать себе новые благоприятные условия для добывания средств; он считался среди поляков послушным орудием русской политики

и потому не пользовался уважением среди своих соотечественников. Феликс Потоцкий, наоборот, несмотря на дружеские отношения с русским посланником в Варшаве, сумел сохранить славу независимого польского патриота.

В одной из комнат нижнего этажа несколько горничных одевали дочь графа Сосновского, графиню Людовику. Это была девушка лет восемнадцати, отличавшаяся необыкновенной красотой, которая особенно бросалась в глаза, так как резко отличалась от господствующего здесь сарматского типа. Людовика обладала золотисто-светлыми волосами; прекрасные, тёмно-синие глаза украшали её лицо, напоминавшее нежностью красок жительниц севера. Но горячая польская кровь текла по её жилам, заставляя по временам загораться её мечтательные синие глаза. На графине были тёмно-синяя амазонка, облегавшая благородные формы стройного тела; на блестящих золотистых волосах красовалась синяя бархатная шапочка, опушённая горностаем. Одна из горничных застёгивала Людовике кушак, состоявший из венецианской золотой цепи.

Едва ли можно было придумать более удачный костюм для молодой девушки, особенно выгод-

но оттенявший её красоту! Если бы Людовика взглянула на себя в зеркало, она должна была бы убедиться, что всюду, куда бы она ни показалась, она вызвала бы восхищение мужчин и зависть женщин. Может быть, эта уверенность заставила бы её улыбнуться, и удовольствие промелькнуло бы в её прекрасных глазах. Но они теперь были потуплены, и молодая девушка не обращала никакого внимания на то, что происходило вокруг неё; её лицо было печально и по временам глубокий вздох вырывался из её груди. Наконец горничные окончили своё дело и упросили молодую госпожу взглянуть на себя в большое зеркало. Людовика посмотрела в толстое стекло, и горькая улыбка показалась на её губах, а в глазах блеснула слеза, точно росинка в нежной чашечке цветка.

В комнату вошёл граф Сосновский. На нём были придворный костюм французского покроя, украшенный орденом Белого Орла, а на голове шляпа с пером.

— Ты готова? — нетерпеливо спросил он дочь, когда горничные удалились. — Скоро надо ехать навстречу императрице. Князь Безбородко уже приехал, чтобы сделать последние распоряжения во дворце. Каждую минуту нужно ждать

пушечного выстрела, который известит нас, что императрица выехала из Оцклова, ближайшего отсюда местечка.

На улице послышался стук лошадиных копыт. Сосновский подошёл к окну и воскликнул:

— Посмотри, вот уже приехал отряд конной гвардии, для почётного караула во дворце. Следовательно, императрица не заставит себя долго ждать.

Действительно, мимо дома проехали к дворцу конногвардейцы. Всё это были красавцы, как на подбор, в синих мундирах с красными воротниками. Их мундиры были так богато расшиты золотом, что едва было видно сукно. На головах красовались серебряные шлемы с двуглавым орлом. Все лошади были одного вороного цвета, без малейшего пятнышка. Они представляли вместе со своими всадниками удивительно красивую картину; знаменитые французские мушкетёры остались бы в тени пред молодцами-конногвардейцами русской императрицы.

Для многих молодых девушек вид конногвардейцев представил бы интересное зрелище, но Сосновская равнодушно отвернулась от окна, к которому её подвёл отец, и проговорила:

— Ты видишь, отец, что я исполнила твоё

приказание: оделась, чтобы ехать навстречу императрице; но ещё раз прошу тебя освободить меня от придворных празднеств; если ты когда-нибудь любил свою дочь, то позволь мне остаться дома. Я не расположена к веселью, право, не расположена.

— Не расположена? — воскликнул Сосновский, причём его лицо покраснело от гнева. — Неужели ты думаешь, что я буду обращать внимание на расположение духа глупого, упрямого ребёнка, когда имеется в виду серьёзное дело? Ты должна приучиться смотреть на жизнь как следует, и думать об обязанностях, налагаемых на каждого члена нашей семьи.

— Может быть, я и глупа, отец, — со слезами возразила графиня, — может быть, глупо повиноваться влечению сердца, посылаемому нам Богом, но ты прекрасно знаешь, что я не упряма. Разве я не повиновалась твоему приказанию? Разве я не пожертвовала своей любовью из-за твоего желания?

— Ты обязана была это сделать! — резко сказал Сосновский. — Какой может быть толк в любви какого-то мелкого шляхтича, который ничего не представляет собою и к тому же беден? Молодость имеет право рассчитывать на прощение,

если сознает своё заблуждение и старается исправиться.

— Моя любовь не была заблуждением, отец, — твёрдо и гордо ответила Людовика. — Нет человека более достойного любви, чем Костюшко. Я решила похоронить своё чувство к нему, подчиняясь твоей воле, но забыть его не могу.

Сосновский пренебрежительно пожал плечами и продолжал смотреть в окно на конногвардейцев.

— И вот потому, что я не могу забыть свою любовь, — продолжала Людовика, — я прошу тебя, отец: оставь меня вдали от шума большого света, дабы я могла в тиши подготовиться к поступлению в монастырь.

— Пусть в монастырь идут те, у которых нет никаких обязанностей на земле; у тебя же существует долг пред своим именем. Ввиду того, что Бог лишил меня сына, на тебе лежит обязанность продолжить наш род.

Молодая девушка вздрогнула и решительно заметила:

— Никогда этого не будет, отец, никогда! Ты знаешь, что моя любовь принадлежит Костюшко. Я буду верна ему до смерти и даже за могилой!

— Я больше не хочу слушать эти глупости!

— сердито воскликнул граф, — слишком много чести было бы для мелкого шляхтича Костюшко жениться на дочери графа Сосновского! Я запрещаю тебе говорить подобные сумасбродства! Моя дочь должна иметь больше гордости и выше ценить свои руку и сердце.

— Так неужели правда, отец, что ты действительно хочешь выбрать для меня мужа, как я слышала от своих горничных, среди вельмож русского двора, среди слуг императрицы Екатерины, которая погубила наше отечество, сделав нас своими подданными? — тревожно спросила Людовика.

Сосновский опасливо оглянулся вокруг, как бы боясь, чтобы кто-нибудь не подслушал слов его дочери, а затем, подойдя к ней, произнёс:

— Моя обязанность заботиться о твоей участи и постараться завести такие связи, которые обеспечили бы нам в будущем положение, достойное нашего прошлого. Свою обязанность я исполнил; слышишь ты это, глупое неблагодарное дитя? Я нашёл для тебя мужа при дворе нашей милостивой покровительницы и будущей польской королевы. Судьба благоприятствовала мне в большей степени, чем я мог рассчитывать, так как сама императрица взялась устроить тебя. У

неё явилась мысль выдать тебя замуж за графа Бобринского.

— За Бобринского? — воскликнула Людовика, смертельно побледнев и прикладывая руку к сердцу, — но ведь я никогда не видела его, не слышала его имени.

— Его имя — одно из первых в России; каждый знает его, но громко не произносит его настоящего имени. Пред графом Бобринским почтительно склоняется весь двор, так как над его головой носится отблеск императорской короны, — ответил Сосновский.

Людовика недоумевающим взором смотрела на отца, не понимая смысла его слов.

— Ах, Боже, — наконец воскликнула она, вздрогнув всем телом, — теперь я припоминаю, что слышала это имя. Говорят, что этот Бобринский — сын...

Она остановилась, смущённо покраснела и потупилась, причём глубокий вздох вырвался из её груди.

— Императрица любит Бобринского с материнской нежностью, — продолжал граф, — этой же нежностью она окружит и его жену. Можешь ли ты представить себе, как велико должно быть счастье занять место дочери в сердце импера-

трицы? Если польская корона украсит голову Екатерины, то муж моей дочери окажется самым первым и достойным человеком в королевстве и конечно он, а не кто-либо другой, будет назначен вице-королём в Варшаве. Вот какую будущность я приготовил тебе! Ты видишь сама, как сильно я забочусь о тебе, хотя ты с детским упрямством отворачиваешься от моей отцовской любви.

Граф обнял плечи дочери и прижал её к своей груди, но Людовика быстро освободилась из его объятий и с блестящим от гнева глазами воскликнула:

— За такую заботу ты ждёшь благодарности? Такое будущее ты считаешь достойным нашего имени, отец? Человека, который не может смело назвать имя матери, ты считаешь достойнее благородного польского дворянина, в жилах которого течёт чистая кровь его предков? Ты хотел бы, чтобы твоя дочь на своём жизненном пути пошла рядом с чужеземцем, осмеливающимся командовать нашим порабощённым отечеством? Нет, отец, за такую заботу я не могу благодарить тебя; я предпочитаю смерть подобной блестящей будущности!

Сосновский смотрел на дочь грозным взглядом, его лицо исказилось от злости.

— Не заходи слишком далеко, дерзкая, — воскликнул он хриплым голосом, — я заставлю тебя признать мою власть. Ты хочешь сопротивляться своему отцу и императрице, которой подчиняется весь свет?

— Я буду повиноваться тебе до тех пор, пока это возможно, — ответила Людовика побледнев, — но никогда не продам своей чести. Если императрица насильно потащит меня к алтарю, то и там, пред престолом Всевышнего, я скажу то, что говорю теперь.

— Этого ты не сделаешь, — крикнул Сосновский, яростно схватив её руку, — ты этого не сделаешь, или я прокляну тебя, строптивое дитя! Будь...

— Остановись, отец, остановись! — воскликнула Людовика, — умоляю тебя именем матери!

У ворот города прогремел пушечный залп, от которого задрожали стёкла в окнах. Людовика испустила страдальческий возглас и села на стул.

— Императрица едет! — сказал Сосновский, приходя в себя.

Горничные снова вошли в комнату. Везде слышались громкие голоса; весь Могилёв встрепенулся, услышав сигнал, что приближается русская государыня.

— Подать лошадей! — коротко приказал Сос-

новский. — Идём! — обратился он затем к дочери, сжимая её руку словно железными тисками. — Долой эти слёзы! — прибавил он тише, императрица любит весёлые лица, и я вовсе не желаю, чтобы моя дочь вызвала её неудовольствие.

Дрожащая девушка не могла сопротивляться отцу, когда тот властно почти потащил её к двери и усадил на белого иноходца. Тёмно-синяя амазонка особенно красиво выделялась на белой лошади, шедшей рядом с горячим конём графа. За Сосновским и его дочерью следовала свита, состоявшая из шляхтичей и служителей дома. Вся кавалькада двинулась по улице, которая вела к берегу Днепра и откуда должна была показаться императрица.

Вся жизнь сосредоточилась на этом месте. Казаки гарцевали взад и вперёд по улице, разгоняя толпу, нахлынувшую из соседних сёл и деревень. Пропуск давался лишь польской знати, наполнившей всю улицу. Везде блестели золото и драгоценные камни. Впереди всех ехал граф Феликс Потоцкий на великолепной лошади с развевающейся гривой и длинным хвостом. Седло и сбруя горели от яркого блеска камней. На графе был польский национальный костюм, синий с золотом, а на голове — польская шапочка с сул-

таном и с блестящим бриллиантовым аграфом; сабля была тоже украшена бриллиантами. На груди горел орден Белого Орла. Феликсу Потоцкому очень шёл национальный костюм, который он надел, надеясь доставить удовольствие императрице, так как её величество желала видеть вокруг себя побольше польской знати. Народ, при виде графа в национальном костюме, стал громко выражать своё одобрение, так как объяснил себе, что Потоцкий, отказавшись на этот раз от общеевропейского камзола, хотел доказать русской императрице полную независимость и свою преданность родному народу.

Граф Сосновский, наоборот, возбуждал неудовольствие толпы своим французским нарядом и потому встречал холодный приём. Только его дочь привлекала восхищенные взгляды публики.

Трудно было представить себе что-нибудь более прекрасное, чем эта молодая девушка в тёмно-синей амазонке, гордо сидевшая на чудной белой лошади. Езда на свежем воздухе вызвала краску на её лицо, а глаза блестели от пережитых волнений и горели, как звёзды. Граф Потоцкий раскланялся с Сосновским, низко склонившись пред его дочерью, но не останавливаясь помчался

дальше, вперёд, в сопровождении своей свиты, растянувшейся вслед за ним, наподобие блестящего павлиньего хвоста. Свите Сосновского пришлось посторониться, несмотря на то, что Сосновский старался проникнуть вперёд и ехать впереди всех. Эта неудача вызвала неудовольствие графа и он вполголоса выругался. Он всё ещё пытался пробиться вперёд, но невозможно было рассеять свиту Потоцкого, так что Сосновскому волей-неволей пришлось успокоиться и остаться позади.

Показался и граф Игнатий Потоцкий, в простом польском костюме, с орденом Станислава на груди. Его сопровождали Гуго Колонтай и Заиончек, а сзади ехала небольшая свита. Несмотря на простоту выезда, граф Игнатий Потоцкий возбуждал всеобщее внимание и вызывал возгласы одобрения.

Недалеко от Потоцкого на вороной лошади, богато украшенной пурпуром и золотом, ехала графиня Браницкая, дочь умершего великого гетмана Польши. После смерти Августа Третьего он имел право вступить на польский престол, но последний у него отнял брат жены, Станислав Понятовский, нашедший поддержку в России.

Графине Елене Браницкой было около тридца-

ти лет, но она ещё сохранила необыкновенную красоту; только блеск её тёмных, глубоких глаз выражал ум, свойственный более зрелому возрасту, да губы высокомерного рта складывались в пренебрежительную улыбку, доказывавшую, что их обладательнице уже известны тёмные стороны жизни. Она походила на королеву в своей красной амазонке, отделанной горностаем. Твёрдой рукой управляла она своей горячей лошадью, и её можно было принять за владетельную княгиню времён Ягеллонов, — до такой степени в ней сохранились благородные черты сарматского племени.

Графиня Елена Браницкая отклоняла все предложения, делаемые ей, может быть, потому, что никого не находила достойным себя, а, может быть, её сердце уже тайно принадлежало кому-нибудь; о последнем предположении уже начали носиться кое-какие слухи.

Браницкая жила в своём великолепном замке в Белостоке и никогда не показывалась при варшавском дворе. Она пользовалась каждым удобным случаем, чтобы выказать своё презрение польскому королю, который, пользуясь чужеземным влиянием, отнял корону у её отца. Графиня Браницкая считалась открытым врагом

России и поэтому пользовалась большим уважением среди польских патриотов, хотя была далека от всяких политических дел. Подчиняясь желанию, высказанному князем Репниным, она тоже выехала теперь навстречу русской императрице.

Толпа одобрительно приветствовала её, выражая этим своё восхищение её красотой, а также симпатию к дочери умершего великого гетмана, память которого высоко чтилась до сих пор.

Когда графиня увидела Игнатия Потоцкого, её щёки вспыхнули, а глаза засияли ещё ярче. Она слегка пришпорила лошадь и, поравнявшись с Потоцким и протягивая ему руку, воскликнула:

— Здравствуйте, граф Потоцкий! Собственно говоря, я должна была бы рассердиться на вас. Вы приехали ещё вчера и не зашли ко мне.

— Простите, графиня, — ответил Игнатий Потоцкий, — я вчера очень устал с дороги, а вечером нужно было написать несколько деловых писем. Кроме того я только сегодня узнал, что вы здесь.

Графиня несколько времени смотрела на молодого человека пронизывающим насквозь взглядом, и её брови гневно сдвинулись. Но она быстро овладела собой, и вертя в руках хлыст, весёлым тоном проговорила:

— Очень грустно, что вы не поинтересовались раньше навести справки обо мне. Вы могли бы проявить больше любопытства по отношению старых друзей, к которым я причисляю и себя. Может быть, с моей стороны глупо рассчитывать на вашу дружбу, но, зная, как мой отец относился к вам, несмотря на большую разницу лет между вами, я не могу отделаться от мысли, что его друг должен быть вместе с тем и моим другом.

— Так оно и есть, графиня, — сердечно произнёс граф Потоцкий, — если вам когда-нибудь понадобится дружеская услуга, вы смело можете рассчитывать на меня.

— Никогда не следует испытывать верность друзей, — со смехом заметила графиня и горькие ноты послышались в её голосе, — если не желаешь расстаться с приятными иллюзиями, в особенности, когда дело касается прошлого. Уже целую вечность я вас не видела у себя в Белостоке.

— Я путешествовал, графиня, — возразил Потоцкий, — вернулся всего несколько дней тому назад и собирался навестить вас.

— Опять путешествовали! — недовольным тоном воскликнула графиня. — Когда же окончится для вас жизнь перелётной птицы? Ведь таким

образом вы совершенно отвыкнете от своего отечества! После смерти моего отца вы целый год отсутствовали, и, когда мне действительно нужна была помощь друга, вас не было возле меня. Теперь, после двух коротких наездов в Белосток, вы снова пускаетесь в путешествие, ведёте кочевой образ жизни, позабыв о Белостоке, который раньше считали своей родиной. Право, можно подумать, — прибавила она, улыбаясь, но с грозным блеском в глазах, — что ваше сердце влечёт вас за границу.

Потоцкий потупился и несколько мгновений молчал, а затем несколько смущённо ответил:

— Моё сердце и вдали принадлежит моему отечеству. Познакомившись с прелестью дальнего путешествия, позволяющего видеть всё разнообразие человеческой жизни и воспринимать массу новых впечатлений, трудно отказаться от него; но тем не менее я собираюсь теперь пустить глубокие корни в своём отечестве и жить среди друзей, которые так добры, что замечают моё отсутствие, — прибавил он, кланяясь графине.

По-видимому Браницкой не понравился лёгкий тон графа, её рука вздрогнула, отчего лошадь подалась несколько в сторону, а губы гневно сжались.

— Вы, вероятно, поспешили вернуться ради того, — насмешливо проговорила она, — чтобы выказать своё почтение её величеству самодержице всероссийской?

— Если это и так, то я имею удовольствие видеть в вашем лице единомышленницу, — спокойно возразил Потоцкий, — вы несомненно приехали с той же целью?

— Простите меня, граф Игнатий! — проговорила Елена, — не будем вести в первую же минуту свидания словесную борьбу. Я не думала упрекать вас, так как знаю, что, несмотря на долгую разлуку, вы думаете и чувствуете то же, что и я. Волей-неволей мы должны подчиниться власти, — тихо прибавила она, наклонившись над седлом. — Было бы глупо делать вызов, не имея оружия в руках. Осторожность — своего рода заслуга; не нужно возбуждать никаких подозрений, пока не наступит решительный час.

— А, когда он наступит, я буду здесь, графиня, клянусь вам в этом! Где бы я ни странствовал за границей, мои взоры всегда были обращены сюда, и в момент решительных действий моя родина может смело рассчитывать на меня.

Графиня взглянула на графа Игнатия вспыхнувшими от удовольствия глазами.

— Всё могло бы быть по-другому, — проговорил Колонтай, ехавший с левой стороны графини, — если бы у нас был король, который сумел бы восстановить силы нашего государства и повёл бы народ к освобождению родины; а теперь это дело взяли в свои руки лишь немногие верные сыны своей родины, которым приходится идти тайно и робко к великой цели.

— Не говорите мне, Колонтай, о моём дяде Станиславе Августе! — резко воскликнула Браницкая. — Он считает для себя достойным быть слугой Екатерины, и этим всё сказано. Даже моя мать, его родная сестра, никогда не простит ему, что он прибег к помощи русской императрицы, чтобы отнять корону у моего отца, в тысячу раз более достойного её, чем он. Я не хочу знать своего дядюшку!

Ничего не будет хорошего для нашей родины, пока этот человек, не имеющий и крошки королевского достоинства, будет сидеть на польском престоле.

Разговор был прерван, так как вдали показался поезд императрицы и ехавшие впереди казаки стали торопливо расчищать путь.

Феликс Потоцкий первый бросился навстречу к императрице. Сосновский поскакал вслед за

ним, стараясь обогнать своего соперника, но его лошадь не могла сравняться в быстроте бега с лошадью Потоцкого и потому ему пришлось подъехать к Екатерине Алексеевне значительно позже.

Императрица ехала в открытом экипаже; на ней был русский национальный костюм из тёмно-зелёного бархата. Через плечо была перекинута широкая лента голубого цвета с Андреевской звездой, украшенной крупными бриллиантами. На плечи был наброшен лёгкий шёлковый плащ. Лицо императрицы уже потеряло ту красоту, которым оно отличалось в молодости; прежние прекрасные черты увяли, осунулись. Густой слой румян, покрывавший щёки императрицы, не мог скрыть следы старости, хотя оживлённое выражение и необыкновенное величие делали физиономию государыни и до сих пор в высшей степени интересной. Гордый взор больших ясных глаз с удовольствием и без всякого высокомерия смотрел на густую толпу народа, выехавшую ей навстречу, и довольная, детски беззаботная улыбка играла на губах Екатерины Алексеевны. Казалось, что она принимает оказываемое ей почтение не как представительница могущественной монархии, а как женщина, которой

лично выражают внимание, за что она чувствует большую благодарность и высоко ценит оказываемую ей любезность.

Рядом с государынею сидела графиня Брюс, сестра фельдмаршала Румянцева, красивая женщина; она смотрела ещё более гордо, чем сама императрица, но всё-таки казалась возле неё служанкой.

У дверец кареты, запряжённой шестерней, ехал адъютант императрицы Римский-Корсаков, молодой человек двадцати двух лет в богатом полковничьем мундире, верхом на фыркающем коне золотисто-рыжей масти. Он отличался атлетической фигурой и выдающейся мужской красотою и имел типичное славянское лицо. Этот красивый всадник осматривался кругом с надменным, вызывающим видом, как будто хотел своей миной и осанкой показать, что он, любимец всемогущей императрицы, считает себя выше кого бы то ни было и, не обращая внимания на благосклонность своей повелительницы, имеет право позволять себе всё.

Феликс Потоцкий подскакал к экипажу и с конфедераткой в руке наклонился к шее своей лошади.

— Я очень рада, граф Потоцкий, — сказала Ека-

терина Алексеевна своим ясным, благозвучным голосом, — что вы первый приветствуете меня здесь; я почти могла ожидать этого, так как знаю через князя Репнина, что вы составляете одну из самых твёрдых опор порядка в государстве моего высокого друга, короля Станислава.

— Порядком и миром моё отечество обязано вам, ваше императорское величество, — ответил Потоцкий, проворно оглянувшись назад с целью убедиться, что поблизости пока ещё нет никого другого, — поэтому моя полная любви благодарность принадлежит защитнице моего отечества, как моё восхищение — великой государыне, управляющей судьбами Европы.

Екатерина Алексеевна поблагодарила его с милостивой улыбкой и потом поклонилась маршалу Сосновскому, подъехавшему к экипажу верхом со своей дочерью.

— Вас я также ожидала увидеть между первыми из своих друзей, граф Сосновский, — сказала императрица. — Если я не ошибаюсь, в лице вашей спутницы я приветствую вашу дочь, о красоте и грации которой наслышалась очень много, но конечно, — прибавила она с любезной улыбкой, — действительность превзошла светскую молву.

— Я не мог упустить случай привезти сюда свою

дочь, — ответил Сосновский, — чтобы научить её восхищаться высоким примером и образцом её пола, а вместе с тем повелительницей, превосходящей всех монархов Европы.

Людовика потупила голову, чтобы скрыть краску досады и стыда, залившую её лицо при словах отца.

Императрица снова приветливо кивнула ей, после чего обратилась к прочим польским магнатам, приблизившимся к её экипажу.

Феликс Потоцкий, опередив экипаж императрицы, поскакал обратно к городу, чтобы отправиться в Янчинский дворец в сопровождении своей свиты. Екатерина Алексеевна приветствовала прочих знатных особ лишь несколькими беглыми словами.

Зато графиню Елену Браницкую приняла она с необычайной сердечностью; она протянула ей из экипажа руку и поблагодарила её как нельзя более любезно, с совершенно естественным изъявлением неподдельной радости.

Сосновский объехал экипаж кругом и, почти смиренно поклонившись, заговорил с Римским-Корсаковым; тот обошёлся с ним с высокомерной снисходительностью, но граф сделал вид, будто не замечает этого.

Людовика осталась одна.

Тут к ней подъехал Игнатий Потоцкий и сказал с такой миной, точно собирался вступить в равнодушный разговор:

— Тадеуш Костюшко здесь и поручил мне передать вам поклон.

Людовика вздрогнула, и яркий румянец окрасил её лицо, а потом она смертельно побледнела и с испугом взглянула на графа.

— Не обнаруживайте ни малейшего волнения, панна Людовика, — заметил Потоцкий, — и не считайте меня нескромным. Тадеуш — мой друг, я знаю его сердечные чувства и обещал ему передать вам известие о нём и предоставить себя в ваше распоряжение.

Людовика снова овладела собою; привет любимого человека показался ей светлым солнечным лучом во мраке отчаяния, угнетавшего её душу после разговора с отцом. С счастливой улыбкой посмотрела она на графа и ответила:

— Если вы — друг Костюшко, граф Потоцкий, то должны быть также и моим другом, и, клянусь Богом, — прибавила она, горько вздыхая, — я нуждаюсь в искреннем друге!

Они продолжали потихоньку свой разговор, причём Людовика употребляла все усилия, что-

бы сохранить непринуждённый вид, но тем не менее много раз менялась в лице и смотрела порою испуганно. Однако никто не замечал происходившего с нею, потому что общее внимание было обращено на группы, окружавшие экипаж императрицы.

Только графиня Браницкая, державшаяся немного в стороне, зорко наблюдала за молодыми людьми; она стиснула губы, её глаза метали пламя, а рука, державшая поводья, дрожала.

Императрица поехала дальше, и польские магнаты последовали за её экипажем. Царская свита присоединилась к ним, и весь блестящий поезд двинулся к городу.

Сосновский был окружён многими русскими гостями; граф Игнатий Потоцкий ехал позади него рядом с Людовикой, тихо и с жаром продолжая беседовать с нею.

В некотором отдалении следовала графиня Браницкая. Она не подъезжала к ним, но её взоры не отрывались от них ни на одно мгновение и, когда разговаривавшие близко наклонялись друг к другу, то графиня рассекала воздух своим хлыстиком с такою силой, что её лошадь тревожно взвивалась на дыбы.

У городских ворот стояли представители

города, чтобы по русскому обычаю поднести императрице на серебряном блюде хлеб-соль.

Екатерина Алексеевна благосклонно выслушала их речи, уверила город в своём благоволении и готовности оказать ему защиту, после чего взяла с блюда крошку хлеба в знак внимания к оказанному ей гостеприимству.

Пока поезд стоял на этом месте, к нему быстрой рысью подъехал открытый экипаж. Его сопровождали конные казаки; лакеи в ливреях, богато украшенных галунами, помещались на козлах.

В коляске сидел, небрежно развалившись на подушках, мужчина лет пятидесяти, во французском костюме синего бархата; бриллианты сияли на его камзоле и шляпе; звезда на андреевской ленте блестела на его груди. Резко очерченное лицо со смело изогнутым орлиным носом отличалось правильными, благородными чертами, но носило отпечаток вялости и утомления. Этот вельможа как будто почти не замечал происходившего вокруг него и лишь с неудовольствием поднял взор, когда его экипаж, которому все давали дорогу, остановился почти как раз за экипажем императрицы.

Сосновский подъехал в коляске, поклонился пожалуй так же низко, как незадолго пред тем

самой императрице, и сказал:

— Позвольте, ваше сиятельство, от имени признательной Польши приветствовать благородного князя Потёмкина и просить его о дальнейшей благосклонности к моему отечеству.

Кругом послышался сдержанный ропот, однако все головы обнажились при имени этого всемогущего министра императрицы.

Не меняя своего полулежачего положения, не дотрагиваясь до своей шляпы, Потёмкин повернулся немного в сторону и сказал:

— Ах, Сосновский, это — вы? Ну, моё благоволение будет вполне зависеть от того, как поведут себя ваши соотечественники. Но, чёрт возьми, что происходит впереди? почему остановились мы тут посреди дороги, где так печёт солнце?

— Представители города приветствуют её величество, — почтительно ответил Сосновский, всё ещё держа шляпу в руке.

— Скучная остановка! — брюзгливо проворчал Потёмкин и растянулся ещё удобнее на подушках своего экипажа.

Через несколько секунд императрица тронулась дальше, проезжая по городским улицам. За нею следовало множество экипажей с русскими сановниками и придворными дамами.

Государыня приказывала порою останавливаться, чтобы полюбоваться особенно затейливо украшенными домами, и много раз изъявляла в милостивых словах своё удовольствие по поводу устроенной ей встречи, так что поезд двигался вперёд чрезвычайно медленно.

Потёмкин вскоре приказал кучеру свернуть в сторону и поехал в архиепископский дворец, где ему была приготовлена квартира.

Тем временем в Янчинском дворце всё ожидало прибытия монархов. На ступенях парадной лестницы замка стоял кабинет-министр, князь Безбородко, в полной парадной форме и в андреевской ленте. Это был мужчина за пятьдесят лет, высокого роста, с резко очерченным, полным лицом; его светлые глаза и пухлые губы свидетельствовали столько же об уме и проницательности, сколько и о наклонности к весёлому наслаждению жизнью среди роскоши и неги.

Возле него находится обер-камергер граф Строганов, малорослый человек в летах Безбородко, с изящным, умным лицом, более смахивавший на учёного, чем на царедворца; их окружали дворцовые чиновники и несколько пажей. Конногвардейцы стояли на карауле у входа и в дворцовых коридорах.

Совсем в стороне, между чиновниками придворного штата, стояли, не замечаемые никем, граф фон Фалькенштейн и граф Кобенцль. Последний тщательно держался позади и боязливо избегал, чтобы взгляды Безбородко и Строганова останавливались на нём.

На графе Фалькенштейне было широкое пальто из серой материи, которое совершенно закутывало его и внушало пренебрежение дворцовым слугам, которые, вероятно, находили неслыханным, чтобы кто-нибудь мог присутствовать на приёме императрицы в таком будничном одеянии; но так как оба незнакомца принадлежали к австрийской свите, то никто не осмеливался сделать им замечание; этих людей старались только по возможности оттеснить назад, чтобы замять подобное нарушение этикета.

Граф Феликс Потоцкий въехал во двор и, проворно спрыгнув с лошади, стал возле князя Безбородко и графа Строганова, чтобы рядом с ними принять императрицу в её временной резиденции. Весело и непринуждённо разговаривал он с обоими русскими вельможами, но при этом от времени до времени пристально и тревожно озирался кругом, точно отыскивая что-то. Наконец его зоркий взгляд различил между

поставленной в стороне прислугой графа Фалькенштейна и мимолётная улыбка скользнула по его губам.

Всё ближе раздавались клики, которыми приветствовали императрицу на улицах города. Наконец караульные конногвардейцы у ворот опустили свои палаши.

Экипаж императрицы въехал во двор и остановился пред крыльцом. Все головы обнажились и склонились к земле. Князь Безбородко спустился по немногим ступеням лестницы, чтобы приблизиться к экипажу государыни и отворить дверцу. Но в эту минуту граф Фалькенштейн проворно отстранил окружавших его людей и поспешил к крыльцу.

Его хотели удержать, однако он сбросил своё пальто и под ним увидали простой тёмный костюм с голубою андреевской лентой и звездою.

Все растерянно попятились назад, увидав на груди незнакомца знаки высшего русского ордена. Ему дали дорогу, и прежде чем подоспел Безбородко, он отворил дверцу экипажа и подставил государыне локоть.

Екатерина Алексеевна взглянула на него, оцепенев от изумления. Безбородко стоял, как онемевший.

Между тем загадочный для всего двора незнакомец произнёс среди глубокой тишины:

— Позвольте, ваше величество, графу Фалькенштейну первому приветствовать свою высокую приятельницу в её дворце, где ему суждено счастье лично познакомиться с великой повелительницей русского государства.

Ещё одно мгновение оставалась Екатерина Алексеевна неподвижной от безграничного изумления, пока Иосиф подносил её руку к своим губам; но потом её лицо просияло счастливой радостью. Она проворно поднялась, вышла из экипажа, опираясь на руку императора, и сказала:

— Вы, ваше величество, умеете быть первым; вас невозможно опередить, и почти кажется, что я в моём собственном государстве являюсь вашей гостьей. Но когда же вы прибыли? Надеюсь, всё было готово к вашему приёму?

— Граф фон Фалькенштейн, — улыбаясь, ответил Иосиф, — прибыл только сию минуту, а его представитель отлично выспался сегодня ночью в мансардах этого замка.

— Боже мой, ваше величество, — в испуге воскликнула государыня, — как это возможно! Я неутешна; какой промах! Как это могло случить-

ся, князь Александр Андреевич? — спросила она Безбородко с таким взглядом, пред которым тот потупился, весь дрожа, и пробормотал:

— Никто не знал, что его величество император здесь!

— И было бы почти невежливо заметить моё присутствие! — поспешно вмешался Иосиф. — У меня было пламенное желание сделать сюрприз моему августейшему другу, а это удовольствие было бы мне испорчено, если бы меня узнали.

Безбородко бросил императору благодарный взгляд.

Екатерина Алексеевна улыбнулась, после чего взяла своего августейшего гостя под руку, чтобы вместе с ним подняться на лестницу и проводить его в приготовленное ему помещение.

Граф Кобенцль раскланялся с Безбородко и Строгановым и последовал с ними за обоими монархами, в лице которых здесь, в отдалённом городе на Днепре, соединялось господство над восточной Европой от Ледовитого моря и азиатских степей до Адриатического моря и Альп.

X

Императрица Екатерина Алексеевна провела своего царственного гостя по различным комнатам назначенного ему помещения.

— Надеюсь, что вы, ваше величество, будете чувствовать себя здесь, как дома, — сказала она, входя в кабинет. — С этой целью я старалась пробудить воспоминание о месте ваших умственных трудов в Вене здесь, под моею кровлей.

— Ваше любезное внимание, ваше величество, — ответил Иосиф, целуя руку императрицы, — глубоко тронуло меня; я должен вам сознаться, что секретарь графа Фалькенштейна уже видел эти комнаты вчера вечером и сообщил мне о том; кроме того я в высшей степени благодарен вам, ваше величество, что вы дали здесь место своему портрету, хотя мне нет надобности в этом внешнем напоминании, чтобы обращать мои мысли к высокой повелительнице, которой принадлежит всё моё восхищение. Прошу у вас, ваше величество, позволения взять с собою этот дорогой сувенир; я желал бы дать ему в своём кабинете то же место, которое занимает он здесь;

там ваш портрет будет иметь для меня более высокую ценность, чем тут, так как у себя я не буду иметь счастья видеть вас, ваше величество, собственными глазами.

— И я, со своей стороны, прошу вас, ваше императорское величество, — сказала Екатерина Алексеевна, — соблаговолите прислать мне свой портрет, чтобы он мог занять место в моём кабинете в Эрмитаже рядом с портретом вашей августейшей родительницы, которой принадлежит всё моё восхищение и которой я почти готова завидовать, потому что ей удалось победоносно придавить стопою несчастье, грозившее со всех сторон при её восшествии на престол.

— Моя августейшая мать, — вздыхая, заметил Иосиф, — в настоящее время больна, так больна, — прибавил он тихим голосом, — что прошлой зимою мы уже боялись за её жизнь.

— С сильнейшей горестью услыхала я о болезни императрицы, — ответила Екатерина Алексеевна. — Мой посланник в Вене знает моё глубокое почтение к ней и ежедневно уведомляет меня о состоянии её здоровья. На закат своей жизни она имеет чудное утешение в своих страданиях: она видит возле себя сына, который силён и научился нести тяжёлое бремя правления; поэтому ей не

нужно заботиться о будущем своего государства, — о будущем, которому дай Бог отодвинуться ещё подальше. А теперь я прошу вашего позволения, — продолжала государыня после краткого молчания, — представить вам свою свиту.

Иосиф подставил императрице локоть и повёл её обратно в первый приёмный зал, где тем временем собрался весь двор.

С чрезвычайной учтивостью, но и со всем гордым величием потомка длинного ряда предков, которые в течение многих столетий носили главнейшую корону христианского мира, принимал Иосиф представление русских сановников; он умел сказать каждому что-нибудь любезное и каждый раз в его словах заключалось изъявление лестной признательности и восхищения, относившихся к императрице. Графа Феликса он приветствовал как знакомого, бывавшего при венском дворе, однако ни единым взглядом, ни единым словом, ни малейшей миной не дал понять, что граф стоит к нему ближе остальных или что он уже видел его.

Император австрийский, равно как и Екатерина Алексеевна приняли любезности, которые передал им обоим Потоцкий от лица короля Станислава Августа, с учтивой благодарностью, но с

несколько холодной сдержанностью.

Для дам у Иосифа находились рыцарски-любезные слова, но он говорил их с явной сдержанностью, не оставлявшей сомнения в том, что Екатерина Алексеевна — единственная женщина, завладевшая его вниманием и внушавшая ему восхищение.

Римский-Корсаков занял место непосредственно позади государыни согласно своей должности адъютанта. После всего остального двора государыня представила императору также и его. Молодой человек, стоявший всё время в довольно небрежной позе, поклонился скорее фамильярно, чем почтительно, и сказал, не дожидаясь обращения к нему со стороны монарха:

— Я необычайно рад лично познакомиться с вами, ваше величество. Весь свет говорит о вас и возвещает о вашей славе, мне же вы дороги вдвойне, потому что я вижу, как почитаете вы нашу возлюбленную императрицу.

Император, казалось, был озадачен таким обращением молодого адъютанта, устранявшим всякий церемониал; он поднял голову, любезная улыбка исчезла с его губ, и взор уничтожающего величия упал на нарушителя благопристойности.

Наступило тягостное безмолвие. С беглым румянцем на щеках императрица потупилась.

Однако Иосиф вскоре вернул своё самообладание. Приветливо наклонил он голову и сказал:

— Восхищение вашей высокой повелительницей естественно для всякого, кто имеет счастье приблизиться к ней. Желаю вам, чтобы вы со всем жаром юности оценили преимущество служить такой государыне.

Екатерина Алексеевна бросила Иосифу почти благодарный взгляд и, казалось, обрадованной тем, что тревожное движение у дверей приёмного зала послужило поводом прервать этот разговор.

Присутствующие расступились и дали дорогу князю Григорию Александровичу Потёмкину, который направился к обоим монархам.

Всемогущий министр императрицы, соединявший в своём лице высочайшие звания гражданской и военной службы, был в парадном генеральском мундире с богатым шитьём, с андреевской лентой и звездою. Пуговицы на его платье состояли из крупных бриллиантов; бриллианты горели на аграфе его шляпы, на орденской звезде и рукоятке его шпаги; но самые великолепные драгоценные камни обрамляли портрет императрицы, красовавшийся на его

груди рядом со звездою.

Князь низко поклонился и как будто просил императрицу взглядом, чтобы она представила его своему высокому гостю. Однако, прежде чем это случилось, Иосиф быстро пошёл ему навстречу, ласково пожал его руку и сказал:

— Нет надобности в представлении, чтобы узнать вернейшего слугу императрицы, который так неутомимо и успешно старается осуществлять великие замыслы своей государыни...

— И которого я никогда не буду в состоянии достаточно отблагодарить за его неизменную преданность, который посвятил всю свою жизнь моей службе, то есть, служению России, — вмешалась Екатерина Алексеевна. — Я буду особенно благодарна вам, ваше императорское величество, если вы из дружбы ко мне, которою я так горжусь, окажете своё милостивое расположение также и князю Григорию Александровичу.

— Мне не нужно этого желания, — ответил Иосиф, пожимая ещё раз Потёмкину руку, — верные слуги моего августейшего друга могут быть вполне уверены также и в моём дружеском расположении, и каждый государь должен завидовать вам, ваше величество, в том, что вы обладаете такою опорой трона, как князь Потёмкин.

Потёмкин гордо осмотрелся кругом. Этот приём императора, который обошёлся с ним почти как с равным, был новой и приятнейшей лестью для его почти пресыщенного, но всё ещё ненасытного честолюбия, и князь поклонился ниже, чем кланялся обыкновенно чужеземным государям.

Пока Иосиф ещё разговаривал с ним, в зал вступила опять новая личность, пред которою почтительно расступились вновь группы придворных.

На этот раз это был молодой человек приблизительно двадцати одного года, атлетического сложения, но опять-таки с изящным и гибким станом. На его великолепном костюме тёмно-зелёного бархата сверкали роскошные бриллианты, почти не уступавшие потёмкинским. Его лицо, обрамленное слегка напудренными волосами, было мужественно-прекрасно и имело ясное сходство с благородными, классическими чертами императрицы; но ему совершенно недоставало утончённой грации, придававшей необычайную привлекательность наружности Екатерины Алексеевны. В его глазах сверкала дикая страстность вместе с упорным высокомерием, а на вздёрнутых губах как будто витали вызывающие, оскорбительные слова; на нём были

сапоги для верховой езды с золотыми шпорами, в руках он держал хлыстик, а его дорогое платье было запылено от скачки по большой дороге.

В нескольких беглых словах он извинился пред государыней за то, что опоздал, и отвесил ей далеко не такой почтительный поклон, как Потёмкин. После этого императрица сказала:

— Позвольте, ваше императорское величество, представить вам графа Бобринского, молодого человека, который, надеюсь, оправдает возлагаемые мною на него надежды.

Иосиф учтиво и любезно поклонился также графу Бобринскому, но протянул ему только левую руку, что Потёмкин подметил с довольной улыбкой.

При всей своей надменной самоуверенности Бобринский был так смущён величавым достоинством римского императора, что мог пробормотать лишь несколько несвязных слов, и с несравненно более почтительным поклоном, чем при входе, удалился в ряды остальных придворных.

Иосиф попросил позволение императрицы проводить её в приготовленные ей комнаты. По знаку Екатерины Алексеевны весь двор остался в зале; только Потёмкин последовал за обоими

монархами в помещение императрицы.

Обер-камергер Строганов поспешил выйти для дальнейших распоряжений относительно службы. Князь Безбородко разговорился с графом Кобенцлем и графом Феликсом Потоцким; Сосновский приблизился между тем к молодому Бобринскому и сказал с таким низким поклоном, который едва ли подобал старшему пред значительно младшим:

— Позвольте, уважаемый граф, познакомить вас с моею дочерью, которую я не имел ещё до сих пор случая представить ко двору всемилостивейшей государыни.

Бобринский снисходительно кивнул головой и, когда Сосновский представил ему свою дочь, стал рассматривать молодую девушку таким надменно-испытующим взглядом, что Людовика отвернулась с краской досады на лице.

— Молва о красоте графини Людовики Сосновской в самом деле далеко уступает действительности, — сказал он потом с таким видом, как будто эта похвала из его уст должна была возбудить живейшую радость. — Я прибыл сюда с большими ожиданиями, но они были превзойдены. Надеюсь, графиня, — прибавил молодой вельможа с самодовольством фата, — что с вами

случилось почти то же самое.

Людовика подняла голову и ответила с гордо пылающими взорами:

— Я приехала сюда по приказанию моего отца, и у меня не было никаких ожиданий.

После этого она отвернулась и как будто стала отыскивать кого-то среди присутствующих.

— Чёрт возьми, Сосновский, — подхватил Бобринский с громким смехом, не умея однако вполне скрыть свою злобу, — ваша дочь не особенно вежлива; она похожа на диких кошек в лесах Белоруссии: за ними опасно охотиться, потому что они прыгают охотнику в лицо!

— Простите, дражайший граф, простите! — промолвил испуганный Сосновский, кидая бешеный взгляд на дочь, — она ещё не знает света, её воспитание ещё не закончено. Будущий муж, — вполголоса прибавил он, — может перевоспитать её совершенно по своему вкусу и по своей воле.

— Дикие кошки не поддаются дрессировке, — проворчал про себя Бобринский.

Людовика не обращала больше внимания на этот разговор; она, должно быть, нашла наконец то, чего отыскивали её блуждающие по залу взоры; по крайней мере она быстро направилась к оконной нише, где граф Игнатий Потоцкий разго-

варивал с Колонтаем. Она коснулась руки графа, тот обернулся и отошёл немного в сторону.

— Я решилась, — прошептала она ему; — скажите Тадеушу, что я готова следовать за ним. Моя обязанность здесь кончена. Я могла жертвовать собою, но никогда не позволю продать себя в рабство, которое было бы тошнее смерти.

Её щёки рдели, губы дрожали, глаза горели, как в лихорадочном жару.

Потоцкий смотрел на неё с искренним участием и, наклоняясь к ней, сказал:

— Доверьтесь мне, панна Людовика! — друзья бодрствуют для вашего спасения. Преодолейте однако своё волнение, чтобы никто не заподозрил ваших чувств.

Он произнёс вслух несколько равнодушных, шутливых слов, графиня сделала попытку улыбнуться, и в самом деле вся эта сцена осталась не замеченной остальным обществом, которое исключительно было занято императрицей и императором.

Только графиня Елена Браницкая в разговоре с придворными дамами государыни не теряла из глаз Людовики. Она заметила, как молодая девушка прошла через зал, чтобы приблизиться к Потоцкому; она видела, как они разговаривали

между собою втихомолку, как Людовика краснела, а взоры графа останавливались на ней почти с нежностью.

Графиня Елена побледнела и прижала руку к сердцу, однако с улыбкой продолжала беседовать с придворными дамами.

Гофмейстер доложил, что завтрак подан в маршальском зале. Князь Безбородко предложил руку графине Браницкой, обер-камергер Строганов подошёл к Людовике. Русские вельможи повели других польских дам, Феликс Потоцкий, быстро опередив Сосновского, подал руку графине Брюс, и таким образом всё общество отправилось в столовую, чтобы, весело болтая и смеясь, занять места за роскошно убранным столом, обильно уставленным яствами.

Екатерина Алексеевна привела императора Иосифа в назначенное ей помещение. В её кабинете, где он увидал на стене свой портрет в натуральную величину, стоял столик с двумя приборами, а рядом с ним буфет с серебряными блюдами и хрустальными графинами. Два пажа стояли возле него.

— Надеюсь, что вы, ваше величество, окажете мне честь разделить со мною завтрак, — сказала императрица, подводя императора к одному из

приборов.

— Каждая минута, которую я могу провести в вашем присутствии, ваше императорское величество, составляет для меня неоценимое приобретение, — любезно ответил Иосиф. — Но у меня есть ещё к вам просьба, — прибавил он, оборачиваясь к Потёмкину, который остался стоять позади, — разрешите, ваше императорское величество, графу Фалькенштейн посадить возле себя своего друга князя Потёмкина.

Он подал Потёмкину руку и подвёл его к накрытому столу.

Екатерина Алексеевна нагнула голову с одной из своих грациознейших улыбок. Она кивнула пажам, и в следующий момент был поставлен третий прибор и пододвинут третий стул.

Сияя радостью и гордостью, Потёмкин уселся между обоими монархами. С беспокойным чувством приехал он в Могилёв: он далеко не был уверен, что гордый Габсбург, которому, как римскому императору, принадлежало первое место среди монархов Европы, признает за ним то исключительное положение, которое он, благодаря расположению к нему Екатерины Второй, занимал при петербургском дворе; он даже сомневался, следует ли ему сопровождать

императрицу в её путешествии, так как для него было бы нестерпимо всякое унижение на глазах придворных.

Зато теперь его гордость была вполне удовлетворена: он поднялся так высоко, как никогда не мог даже и надеяться; он находился почти на одной ступени с монархами и далеко оставил за собой всех вельмож. Иосиф в одно мгновение этого могущественного эгоиста превратил в своего преданного поклонника; Екатерина Алексеевна также была в высшей степени благодарна императору, так как своим примером он, так сказать, узаконил за Потёмкиным, до известной степени, то неслыханное положение, которое она предоставила ему.

Завтрак начался очень весело. Пажи подали Екатерине Алексеевне хрустальный бокал с чистой водой и белый хлеб с икрой; пред императором поставили жареную по венскому способу курицу и графин с терпким красным вином — его обычный завтрак в Гофбурге, в Вене.

— Вы, ваше императорское величество, можете заставить меня вообразить, что я действительно нахожусь дома, — воскликнул Иосиф, польщённый новым доказательством внимания к нему, — если бы присутствие моей державной хозяйки

не напоминало мне, что я далёк от моей родины.

Завтрак за столом монархов был почти беден по сравнению с роскошными блюдами на столах придворных, собравшихся в маршальском зале; но как здесь, так и там царило непринуждённое веселье, за которым всюду были скрыты совсем другие мысли.

Екатерина Алексеевна была настроена очень радушно; она говорила обо всём, переходя с одного предмета на другой и постоянно давая императору возможность высказать его оригинальные наполовину философски-либеральные, наполовину абсолютистские взгляды, она всё время, казалось, старалась поучаться у него и задавала ему всё новые и новые вопросы, на которые он отвечал с обычным для него самодовольным педантизмом и безапелляционностью, подражая Жан-Жаку Руссо, который давал направление тому времени и которому усердно подражали тогда высшие классы общества, не помышляя, что таким образом они открывали пути пробивающейся снизу революции.

Потёмкин также слушал с почтительным вниманием и также задавал иногда робкие вопросы. Обыкновенно высокомерный и решительный, он высказал теперь удивительную скромность и

уважение, относившиеся по-видимому больше к человеку, чем к носителю римско-германской короны; как императрица, так и её первый министр выражали в своих словах своему высокому гостю такую тонкую лесть, к которой последний был особенно чувствителен.

Вместе с фруктами пажи поставили на стол на золотом блюде маленький пирог в виде полумесяца с золочёными рогами и удалились затем из кабинета, так как их служба была кончена.

Екатерина Алексеевна воткнула остриё золотого ножа в пирог и со смехом, но испытующе глядя на императора, спросила:

— Не желаете ли вы, ваше величество, разделить со мной этот полумесяц? По одному его рогу для каждого из нас не будет слишком много!

Иосиф сначала с изумлением смотрел на удивительный пирог. Екатерина Алексеевна разрезала его и разделила обе части; тогда на дне блюда под пирогом отчётливо показалась карта Турции с Чёрным и Средиземным морями. Тонкая улыбка появилась на губах Иосифа.

Потёмкин с восхищенным выражением, словно при виде карты ему пришла в голову новая поразившая и воодушевившая его идея, громко воскликнул:

— Полумесяц — эмблема богини охоты, и поистине нет более благородной охоты для ваших величеств, как стремление к владычеству над миром, разделённому между императорскими коронами Рима и Византии!

Иосиф, смеясь, но со вздохом ответил на это:

— Вы забываете, мой милый князь, что римская императорская корона почти уже свалилась с моей головы и что корона Византии лежит поверженной у ног султана. Возвысить римско-германскую империю до былого могущества её было бы так же трудно, как трудно восстановить снова трон Византии.

— Что может быть трудного для серьёзной и решительной воли, — возразила Екатерина Алексеевна, — если эта воля исходит от двух христианских монархов, которые обязаны разрушить власть полумесяца над христианскими землями и народами и которые, раз они исполнили эту свою обязанность, имеют право овладеть наследством отброшенного на Восток султана?

— Это нежное пирожное привело нас в самую средину труднейшего вопроса европейской политики, — сказал Иосиф, отведывая маленький кусочек лёгкого бисквита.

— Может ли быть для двух самых могуществен-

ных и выдающихся монархов более достойный десерт, чем полумесяц? — спросил Потёмкин.

— Гораздо труднее разделить полумесяц на Айя-Софии, чем этот, — серьёзно ответил Иосиф. — Тот полумесяц угрожающе поднялся над вратами Вены и только великий предшественник вашего величества, — обратился он к Екатерине Алексеевне, — смог сломить его могущество.

— Под тяжкими ударами русского меча он содрогался на Дунае и под Чесмой, — с пылающими взорами воскликнула Екатерина Алексеевна, втыкая остриё своего золотого ножа в лежащий пред ней золочёный рог, — и если он ещё продолжает оскорблять весь христианский мир, сверкая на куполе Софийского собора, то это зависит от того, что ещё никогда до сих пор оба его естественных врага не соединялись вместе, чтобы разделить его, как мы это делаем здесь с его подобием. Один рог турецкого полумесяца направлен против вас, ваше величество, другой — против меня, и, клянусь Богом, я вовсе не намерена терпеть такие угрозы! Вы, ваше величество, — я убеждена в этом — должны думать и чувствовать то же самое, а где одинаковые чувства и одинаковые мысли, там союз почти уже заключён! Если каждый из нас возьмёт тот рог, который угрожает

нам, то мы уничтожим врага и угрозу обратим в новый источник нашего могущества!

— А каковы были бы эти рога? — с усмешкой спросил Иосиф, точно так же втыкая остриё своего ножа в лежавший пред ним пирог, так что действительно казалось, что полумесяц разделён между ним и императрицей.

— Вам, ваше величество, Адриатическое море до устьев Дуная; это — жизненная артерия вашего государства, — ответила государыня, — поэтому ему предопределено быть австрийскою рекою; мне, — гордо закинула она голову, — Дарданеллы и Византия. Тогда в наших руках будет мост, соединяющий Европу с Азией. Вы, ваше величество, будете охранять одну сторону, я — другую. Богатства всего мира должны будут направляться по этому мосту и будут платить нам за это пошлину. Сомневаетесь ли вы, ваше величество, что мы станем владыками Европы? Я не жадна до новых земель, — продолжала она, пристально наблюдая за императором, — с меня их достаточно; я стремлюсь к Чёрному морю и Византии, которая со времён падения Византийской империи тяготеет к .России; но я не стану угнетать, как это делают турки. Наоборот, я освобожу от позорного рабства древние рассадники

культуры, в которых и посейчас ещё корни нашего просвещения находят себе пищу. Древняя Греция снова восстанет в своих республиках; вновь из афинского Акрополя воссияет миру свет разума и снова на олимпийских играх народы станут состязаться в благородном соревновании в искусствах и в науках!

В глазах Иосифа сверкнул огонёк.

— Клянусь Богом, — воскликнул он, — это — великая мысль, и я могу позавидовать вам, ваше величество! Только подумать об этом — великое дело, выполнить же его было бы делом божественным!

— А охранителями этой вновь восставшей Греции были бы мы, — сказала Екатерина Алексеевна, — вы, ваше величество, и я. Разве не стоит предпринять борьбу для того, чтобы вплести такие лавры в наши венцы?

Иосиф схватил руку императрицы, пламенно поцеловал её и воскликнул:

— О, если бы это было возможно! Солон и Ликург, Сократ и Платон, все герои и философы древней Греции соединились бы с нашими именами, передались бы так потомству... И всё-таки...

— И всё-таки? — спросила Екатерина Алексе-

евна.

— Что сталось бы с Германией, если бы я все свои силы направил на Восток? — задумчиво произнёс Иосиф. — Если бы удалось осуществить вашу прекрасную мечту, то от этого самого распалась бы вся германская мощь моего дома, а великий человек в Берлине, неутомимый работник, умный политик, которому я завидую, так как мне хочется подражать ему, которого я почти ненавижу, потому что должен удивляться ему, — не дремлет: он на страже, чтобы из развалин римской империи возвести новое здание, в котором не будет уже больше места для дома Габсбургов!

— Разрешите мне, ваше императорское величество, — вмешался в разговор Потёмкин, предупреждая ответ императрицы, — выразить мне моё глубокое убеждение, что та опасность, на которую вы изволили указать, будет именно предотвращена предложенным моей повелительницей разделением полумесяца. Приобретением балканских областей с устьем Дуная, вы, ваше величество, во сто раз увеличите мощь австрийского дома; благодаря адриатическим гаваням, Австрия будет обладать Средиземным морем, где против вас не может появиться ни

одной равной вам морской державы и где вы в соединении с русским флотом будете постоянно угрожать Англии и Франции, вечно враждующим между собою. Италия, окружённая с суши и с моря вашими войсками, будет покорна вам, и, как в древние времена германские императоры переходили Альпы, чтобы покорить Рим, так и вы, ваше величество, опираясь на Италию и свои восточные владения, снова овладеете Германией и восстановите могущественную Римскую империю.

Иосиф слушал внимательно, его большие голубые глаза ярко блестели, но затем он со вздохом пожал плечами и проговорил:

— Восстановить могущественную Римскую империю? Никогда это не удастся по отношению короля Фридриха, по отношению Пруссии; Семилетняя война не может быть вычеркнута из истории.

— Король Фридрих стар! — воскликнул Потёмкин, — и когда его не будет...

Екатерина Алексеевна холодно, почти строго взглянула на него, словно хотела предупредить ложное и опасное направление разговора.

— Если даже этого удивительного человека и не будет больше, — пожимая плечами возразил

Иосиф, — всё же его дух ещё долго будет жить в его потомках и в его народе; короли прусские никогда не станут больше курфюрстами бранденбургскими!

— Вы, ваше величество, правы, — сказала Екатерина Алексеевна, — но этим самым и укрепится, и утвердится германская мощь легче, чем до сих пор. Ни сам Фридрих, ни кто либо из его потомков не будет оспаривать у вас первое место во главе германского союза. Прусскому королю предоставьте влияние в его области, старшинство на севере, тем вернее будет принадлежать вам юг; если же исчезнет соперничество между двумя первыми державами Германии, то вы всегда можете располагать вооружёнными силами против других западноевропейских держав. За Австрией же и Германией воздвигнется Российско-Византийская империя и пред этими союзными державами должны будут преклониться Франция и высокомерная Англия, а нам будет принадлежать весь мир!

Иосиф изумлённо смотрел на императрицу. Судя по выражению его лица, её слова произвели на него глубокое впечатление.

— Вы, ваше величество, умеете замечательно ясно выразить то, что, словно зародыш, кроется в

глубине моей души! — произнёс он. — Я не был бы Габсбургом, если бы не чувствовал болезненно и глубоко, что отнял у моего дома король прусский, но, клянусь Богом, так, как думаете вы, ваше величество, без новой войны против совершившегося факта может при новых условиях образоваться новое государство, где бывший вассал займёт место соправителя. Но для этого конечно необходимо, — при этом он испытующе посмотрел на императрицу, — чтобы я мог так же твёрдо иметь в своих руках южную Германию, как Фридрих — северную, где ему придётся иметь дело с более слабыми и незначительными соседями. Препятствием к выполнению вашей великой мысли является для меня Бавария. Вокруг Баварии соединятся все противники Австрии, и таким образом мне никогда не удастся сговориться с северными державами, которые будут находиться под главенством Пруссии до тех пор, пока Бавария...

— Не будет принадлежать вам, ваше величество, — спокойно докончила Екатерина Алексеевна. — Почему же не может быть выполнен наш план, если только это служит единственным препятствием? — спросила она так наивно, что Иосиф ответил удивлённо и даже обидчиво:

— Когда я хотел захватить Баварию, прусский

король ополчился против меня и я принуждён был отказаться от своего плана, так как вы, ваше величество, — он слегка запнулся, — не встали на мою сторону, — галантно, но с оттенком горечи, добавил он.

— Я тогда мало вникла в это дело, — возразила Екатерина Алексеевна, — часто не сразу видишь истинный смысл политических задач. Тогда, — с ударением прибавила она, — мы ещё не были союзниками, мы не соединялись ещё, чтобы разделить между собой рога полумесяца, а вместе с ними господство над миром.

— А если мы решим этот раздел, — воскликнул Иосиф, — то...

— То мы должны будем выполнять также те условия, на которых мы произведём этот раздел, то есть, мы должны будем предоставить вам, ваше величество, свободу действия в южной Германии, чтобы установить равновесие с прусским севером или даже больше — противопоставить ему более значительные силы.

— И если бы для этой цели я должен был иметь Баварию...

— То вы, ваше величество, были бы безусловно правы.

— Но прусский король станет снова протесто-

вать!

Екатерина Алексеевна высокомерно улыбнулась и пожала плечами, а Потёмкин воскликнул:

— С громадной армией на Висле нетрудно будет заглушить протесты прусского короля. Он также побоится в новой войне поставить ещё раз на карту всё приобретённое!

— Значит, вы, ваше величество, — спросил Иосиф, причём его руки слегка дрожали, хотя наружно он старался казаться спокойным, — ничего не станете возражать, если я попытаюсь овладеть Баварией?

— Наоборот, такое увеличение ваших владений я буду защищать всеми силами против всякого противодействия со стороны прусского короля или какого-нибудь имперского князя, — ответила Екатерина Алексеевна. — В наш договор о разделении полумесяца мы включим этот пункт, и я думаю, что в его проведении нам не встретится никаких трудностей.

— Не для какого-нибудь несправедливого поступка прошу я вашего содействия, — серьёзно сказал Иосиф, — я не хочу покорять, не хочу поднимать вопрос о древнем праве на большую часть Баварии; я хочу произвести обмен, при котором должны выиграть обе части и который

баварскому курфюрсту вместо шляпы курфюрста должен предоставить королевскую корону. Нидерланды, — продолжал он, между тем как Екатерина Алексеевна внимательно слушала его, — до тех пор не будут довольны и счастливы, пока у них не будет такого повелителя, который управлял бы ими согласно их нравам, обычаям и правам. Я не могу быть для нидерландцев тем, чем они хотят видеть меня; свою заботливость я не могу обращать на те отдалённые страны, на которые они имеют виды и которых они требуют. Я хочу предоставить Нидерланды баварскому курфюрсту, а для себя сохранить только графства Намюрь и Люксенбург; пусть он возложит там на свою главу дневнебургундскую корону и, как король бургундский, возведёт Нидерланды до самостоятельной страны. Все беспорядки при моих предках происходили только потому, что этот славный, трудолюбивый и храбрый народ был лишён вождя, а германская империя может выиграть только тогда, когда там, на западной границе, будет стоять на страже государь германского племени!

— Сильное бургундское государство, — восторженно воскликнул Потёмкин, — будет угрожать с моря высокомерным англичанам!

— О, мысль, высказанная вами, ваше величество, прекрасна, велика! Поистине, я уже вижу, как полумесяц падает с Софийского собора и как под двумя орлами Австрии и России молодеет мир! — воскликнула государыня. — Вот видите, хорошая мысль, подобно плодородному зерну, быстро развивает соответствующую деятельность! Едва только семя упало в богатый разум вашего величества, как уже выросло великолепное, громадное дерево. Я принимаю только скромное участие в его корнях, его крона же принадлежит вашему величеству.

— Что было бы с кроной, — галантно возразил Иосиф, — если бы она не черпала своей силы из здоровых корней? Вы, ваше величество, совершенно правы; нам двоим принадлежит мир, если мы соединим наши мысли и с помощью наших сил превратим их в действительность.

— Значит, мы согласны, — промолвила Екатерина Алексеевна, протягивая Иосифу руку, которую тот поднёс к губам, — если вы, ваше величество, согласны, то я поручу князю Безбородко выработать с графом Кобенцлем трактат, который должен будет придать Европе новую форму.

— Кобенцлю точно известны мои мысли, — ответил Иосиф, — я прикажу ему выработать

договор. Но, — после небольшого раздумья продолжал он, — раз мы так счастливо разрешили великие отдалённые вопросы, отчего бы нам не попытаться разрешить и более близкий вопрос?

— Какой же это? — быстро спросила Екатерина Алексеевна.

— Король польский, Станислав Август, — ответил Иосиф, пытливо смотря на императрицу, — является королём только по титулу; может, настал день, когда он потеряет и этот титул; что делать тогда, чтобы предотвратить опасные беспорядки?

— Польша спокойна, — возразила Екатерина Алексеевна.

— Сегодня, да, — сказал Иосиф, — но...

— Мы можем спокойно ожидать будущее, — промолвила императрица.

— Я убеждена, — продолжал Иосиф, — что вы, ваше величество, подумали и об этом вопросе и уже нашли для него в своём высоком уме подходящее решение его; я убеждён, что необходимое для соседей Польши спокойствие может быть сохранено в ней только установлением твёрдой наследственной власти.

— Я не думаю о тех вопросах, — холодно проговорила Екатерина Алексеевна, — которые не

внушают мне никаких опасений; тем не менее я согласна с вашим мнением, что только твёрдая, сильная власть может принести Польше спокойствие и благоденствие. Вообще же, по неоспоримому праву страны, король Станислав Август — носитель короны, и польский престол ещё не свободен.

— Но когда-нибудь он будет свободен, — сказал Иосиф, — настроения Польши не дают никаких гарантий, а будущее...

— Я ручаюсь за будущее Польши, — холодно и гордо прервала Екатерина Алексеевна, бросая решительный, почти угрожающий взгляд.

Иосиф замолчал и тёмным облаком омрачилось его чело.

Потёмкин в замешательстве вертел запонки манжет. Мучительное молчание нарушила императрица; положив свою руку на руку Иосифа, она со смехом сказала:

— Станислав Август — мой друг; я возвела его на польский престол; неужели вы, ваше величество, можете осуждать меня за то, что я хочу удержать его на нём? Когда мы разделим полумесяц и будем в своих руках держать все судьбы Европы, разве нам будет трудно сговориться о польском вопросе, который сегодня — ещё не вопрос?

Почтительно склонив голову, Иосиф произнёс:

— Вы, ваше величество, как всегда, правы; у будущего так много задач и вопросов, что не следует дробить силы; необходимо разрешать только ближайшие и важнейшие. — Тень ещё омрачала его чело, но она быстро исчезла; гордо и радостно засиял его взор, когда он поднялся с места и громко проговорил: — итак, я пью за успех наших планов, за победу над золотым полумесяцем!

Императрица также поднялась, чокнулась своим бокалом с императором и пригубила слегка подкрашенную вином воду, а Потёмкин воскликнул:

— А я осушаю свой бокал за великих властителей Восточно-Римской и Западно-Римской империй; новой славой да воссияют на их главах венцы Византии и Рима!

Император и императрица милостиво кивнули ему головой, затем Иосиф попросил позволения удалиться к себе, чтобы дать возможность императрице отдохнуть и приготовиться к торжественной закладке православного собора, назначенной на этот день.

Екатерина Алексеевна и Потёмкин остались одни.

— Превосходный человек! — воскликнул По-

тёмкин, — настоящий император, который не нуждается в наружном блеске, чтобы превосходить всех так же, как и моя всемилостивейшая повелительница, — добавил он, целуя руку императрицы.

— Значит, мой гордый и дальновидный друг ослеплён словами и обойдён лестью? — рассмеялась в ответ Екатерина Алексеевна. — Он говорит слишком много, чтобы действовать, и его притворство, это искусство по преимуществу правителей, — прозрачная маска, за которой нетрудно узнать его настоящее лицо. Он не мог даже скрыть свой завистливый гнев, так как видит, что я держу Польшу в своих руках. Ну, свой гнев он пока может побороть, так как то, что у меня в руках, я держу крепко. Было бы умнее не высказывать своих мыслей; благодаря этому я стала бы бдительной, если бы ещё не была такой, если бы не знала, что он втихомолку старается посадить на польский престол саксонского принца; но это никогда не случится.

— Всё же он любезен, — сказал Потёмкин.

— Так любезен, — со смехом заметила государыня, — что мы совсем очарованы и не можем найти достаточно слов, чтобы достойно восхвалить его любезность, его ум, его дальновидность.

Он тщеславен, как Вольтер; тот превозносит моё имя до небес, а этот должен мне служить для того, чтобы я на скале могла основать фундамент своего могущества. Он будет мне помогать приобрести Византию; он пошёл на приманку, а самой соблазнительной приманкой для него было создание греческих республик. Среди общего изумления современников и потоков он думает соединить в себе Солона и Ликурга, Кимона и Перикла, а я могу быть довольна, если он в своём тщеславии предоставит мне роль Аспазии! — с громким и сердечным смехом заключила она.

— И всё же, — серьёзно заметил Потёмкин, — вы, ваше величество, пожалуй слишком много обещали ему. Если он захватит Баварию, если действительно образуется германский союз под соединённым главенством Пруссии и Австрии, то это будет такой силой, которой нам будет очень трудно противостоять.

— Германский союз под соединённым главенством Пруссии и Австрии? — пожав плечами, промолвила Екатерина Алексеевна. — Неужели, мой друг, тебя действительно так ослепил этот патетический Иосиф, что ты серьёзно принимаешь то, во что может только поверить фантазия Иосифа? Для нас не могло бы быть ничего более

лучшего, если бы он действительно попытался осуществить эту мысль, которую я внушила ему. Неужели король Фридрих, неужели Пруссия когда-нибудь ограничатся одной северной Германией? Нет, мой друг! Если Австрия попытается провести это разделение, то Германия надолго будет безопаснее для нас, чем теперь, потому что тогда не будет больше ни Австрии, ни Пруссии; ведь, будучи привязаны друг к другу, они были бы только в состоянии взаимно охранять друг друга.

— Но вы, ваше величество, в захвате им Баварии обещали ему свою поддержку и помощь против Пруссии? — спросил Потёмкин.

— Когда будет свергнут полумесяц, когда мне придётся устраивать Византийскую империю, у меня едва ли найдётся время заботиться о незначительных германских делах, — с тонкой усмешкой возразила Екатерина Алексеевна. — Этот Иосиф может быть мне полезен, чтобы покорить Византию; прогнать же меня оттуда ему никогда не удастся!

— Моя всемилостивейшая, возлюбленная государыня, непобедимая монархиня во всём мире! — воскликнул Потёмкин, целуя руку Екатерины Алексеевны, — ваш ум могущественнее, чем ва-

ши армия и флот.

— Кстати, — заметила Екатерина Алексеевна, по-видимому вполне убеждённая в истине слов Потёмкина, — наблюдай за Феликсом Потоцким! Репнин не очень-то доверяет ему. Он слишком силён, а мы ведь не совсем уверены в том, что его сила работает на нас.

— Я подкуплю его камердинера; поляки мало платят своим людям, а чистое золото — верный ключ ко всем их тайнам.

— Средство-то слишком примитивно, — возразила Екатерина Алексеевна. — Но пусть будет так! Смотри только, чтобы мы не были обмануты вдвойне.

Потёмкин ещё раз нагнулся к руке императрицы и пошёл к дверям.

На пороге он встретил Римского-Корсакова, который почтительно посторонился пред ним и вошёл затем в комнату.

— Ты был страшно невежлив, дитя моё, — обратилась к нему Екатерина Алексеевна, стараясь смотреть сердито, между тем как её взоры засветились удовольствием при виде своего красавца-адъютанта. — Так, как говорил ты, никогда не говорят с иностранными монархами, да ещё с его апостолическим величеством римско-гер-

манским императором.

Корсаков опустился на одно колено и воскликнул:

— Я знаю только одного монарха, я знаю только одну императорскую корону, и эта корона сверкает на главе моей возлюбленной повелительницы! Виноват ли я, что блеск римского императора меркнет, когда он вступает в сияние лучей Екатерины, которое слепит очи и ярким пламенем зажигает сердца?

Он прижал руки императрицы к своим пухлым губам и полупросительно, полусмеясь, глядел на неё.

— На тебя нельзя сердиться, — сказала Екатерина Алексеевна, — ты знаешь, как ты прекрасен!

Она склонилась к нему и поцеловала его лоб. Корсаков быстро вскочил на ноги и заключил её в свои объятия.

XI

Через час от дворца по улицам Могилёва потянулся такой блестящий кортеж, какого ещё никогда не приходилось видеть жителям Могилёва.

Во главе поезда ехал отряд конногвардейцев, в богатых мундирах, блестящих серебряных шлемах с двуглавыми орлами; за ними следовали пажи императрицы в нарядных красных камзолах; всё это были необыкновенно красивые мальчики, принадлежавшие к семьям высшей аристократии. За ними следовала Екатерина Алексеевна в русском национальном костюме. На её голове блестела маленькая золотая византийская корона, а платье было разукрашено драгоценными камнями, придававшими её корсажу вид панциря. Через плечо императрицы была протянута широкая лента с андреевской звездой и орденом Екатерины. Она шла под руку с императором Иосифом. Простой тёмно-зелёный костюм императора поражал своей простотой. Если бы не орден св. Андрея Первозванного, красовавшийся на широкой голубой ленте на

его груди, императора можно было бы принять за обыкновенного смертного, хотя, именно благодаря этой простоте, представлявшей резкий контраст с окружающим блеском, ярче выделялись величественная красота лица Иосифа и его благородная, гордая осанка.

Зрители видели пред собой прекрасную пару, вполне достойную держать в своих руках судьбы двух государств. К официальным крикам «ура» примешивались и искренние звуки одобрения толпы, которые не ускользнули от чуткого уха Екатерины Великой и вызвали улыбку удовольствия на её уста. Она приветливо раскланивалась на все стороны, а народ благоговейно опускался на колени при её приближении. Император Иосиф тоже почти всю дорогу держал шляпу в руках, кивая головой направо и налево; но в его скромных поклонах чувствовалось, что он принимает приветствие толпы не на свой счёт, а исключительно насчёт русской императрицы.

По левую сторону Иосифа, отступя на один шаг, шёл Потёмкин, так же блестя дорогими камнями, как и сама государыня.

За Екатериной Алексеевной следовал адъютант Римский Корсаков, окружённый русской и польской знатью и придворными дамами им-

пратрицы. Тут же находился и граф Кобенцль, сменивший свой простой костюм на богатый парадный. Затем тянулся длинный ряд камергеров, шталмейстеров и мелких польских дворян. Шествие замыкала толпа низших придворных служителей.

Под звуки колоколов кортеж направился к большой площади, на которой была назначена закладка православного собора. Вокруг площади стояли конные казаки, которые препятствовали толпе любопытных ворваться на площадь. В самой средине последней, среди камней, приготовленных архитектором для закладки храма, стоял православный архиепископ с золотым крестом в руках, окружённый всем клиром. По другую сторону площади стал римско-католический архиепископ в фиолетовой бархатной сутане, тоже окружённый своим клиром и монахами кармелитского и бенедиктинского орденов. За католиками стояли протестантские священники в чёрных мантиях, а за ними находились еврейские раввины с длинными пейсами, в круглых бархатных ермолках на головах.

Как только монархи показались у входа, украшенного флагами и гирляндами цветов, православный архиепископ, в сопровождении всего

духовенства, двинулся навстречу государыне и, поднеся ей крест для целования, осенил её голову крестным знамением. Император Иосиф также низко наклонил голову пред благословением православного пастыря. Хор запел многолетие царствующим особам, и императрица под звуки пения прошла со своим августейшим гостем к средине площади. Католический архиепископ низко склонился пред Екатериной Алексеевной и благословил императора Иосифа. Затем императрица обратилась с приветствием к протестантским пасторам и еврейским раввинам, поклонившимся ей до самой земли.

— Я хотел бы, чтобы вся Европа видела эту сцену, — воскликнул Иосиф. — Несомненно, что все были бы поражены великим могуществом русской императрицы. Может ли быть что-нибудь выше такого момента? Представители всех религий собрались сюда, чтобы по доброй воле вознести горячие молитвы к престолу Всевышнего о здоровье и долголетии великой императрицы. На каком бы языке они ни молились, как бы ни называли своего Бога, у всех Он — один и тот же, дух света, правды и любви. Я давно мечтаю о таком согласии всех религий; это — мой идеал; но мне не удаётся достигнуть его и вряд

ли удастся даже и тогда, когда скипетр и корона безраздельно перейдут в мои руки, — прибавил Иосиф в глубоком раздумье.

— Никакие законы и приказания не могут осуществить ваш идеал, ваше величество, — заметила Екатерина Алексеевна. — Мир и согласие не являются по первому требованию; для того чтобы достичь желаемого результата, необходим личный пример. Я — верная дочь своей матери, православной церкви, но вместе с тем даю полную свободу каждому подданному верить так, как приказывает ему его совесть, и стараюсь со всеми, без различия вероисповедания, быть одинаково справедливой. Я вполне верю, что все мои верноподданные действительно искренне молятся за меня своему Богу. Только свобода и справедливость рождают мир и согласие; к своему величайшему удовольствию, я вижу теперь это вокруг себя. Уверяю вас, ваше величество, что только таким путём и вам удастся достичь желанной цели.

— О, слова вашего величества должны быть записаны на золотой доске! — воскликнул император Иосиф. — Отправляясь в Россию, я ожидал увидеть много нового, прекрасного и великого, но то, что я вижу теперь, превосходит все мои

ожидания.

Блестящая свита окружила монархов. Императрица и император подписали поданный им акт закладки и заложили его в фундамент; архиепископ прочёл молитву, в которой просил Бога помочь им возвести храм мира и любви. Затем архитектор, опустившись на колена, подал императрице на красной бархатной подушке серебряный молоток.

— Я здесь дома, — сказала Екатерина Алексеевна, — моему августейшему гостю принадлежит первое место.

Иосиф взял молоток и три раза ударил по заделанному камню; то же самое сделала и императрица. За царствующими особами последовали православный архиепископы, затем католический и протестантский пастор. Еврейские раввины не принимали участия в закладке храма и лишь тихо молились за успех дела христианской церкви. Молоток перешёл в руки всей многочисленной свиты, проделавшей ту же самую церемонию закладки, а толпа, окружавшая площадь, нескончаемыми громогласными «ура» продолжала приветствовать русскую императрицу.

Наконец государыня, в сопровождении всего

духовенства, покинула площадь и вернулась во дворец, где должен был состояться обед, на который были приглашены все высшие представители различных религий.

Иосиф был восхищен тем, что происходило пред ним. Он видел осуществление своей гуманной идеи, о которой должен был молчать ввиду строгого отношения к этому вопросу своей матери. Он пришёл в прекрасное расположение духа и поражал всех своим остроумием. Екатерина Алексеевна разделяла взгляды своего гостя и была необыкновенно любезна с ним.

Такое весёлое настроение царствующих особ перешло и на всех присутствующих, и потому за столом господствовало редкое оживление.

Потёмкин, сидевший напротив императрицы, был, сверх обыкновения, вежлив и разговорчив с лицами, которые стояли ниже его по положению и с которыми он до сих пор был всегда груб и заносчив.

Графиня Браницкая, сиявшая красотой и весельем, принимала самое близкое участие в разговоре; казалось, что она вся погружена в остроумную беседу, но тем не менее она зорко следила за каждым движением Людовики Сосновской. Молодая девушка грустно и задумчиво

сидела за столом, еле слушая то, что ей говорили её соседи, и по временам бросала многозначительные взгляды на графа Игнатия Потоцкого, как бы спрашивая его о чём-то.

Феликс Потоцкий занял место рядом с Потёмкиным; он казался весёлым и беззаботным и сиял от счастья, когда императрица обращалась к нему с милостивым словом. Он от имени короля Станислава Августа попросил позволения предложить тост за здоровье государыни императрицы и её августейшего гостя. Все восторженно приняли этот тост, а друзья графа Феликса начали шёпотом прославлять его такт и высокий патриотизм. Даже сидя за столом русской самодержицы, он не позабыл напомнить о том, что Польша имеет своего собственного короля. Таким образом Феликсу Потоцкому удалось одним ударом убить двух зайцев: заслужить милость Екатерины Великой и упрочить свою популярность среди польского народа.

После обеда императрица прошла в парк под руку с Иосифом; в этой прогулке царствующих особ сопровождал лишь один Потёмкин; все другие, гости, весело болтая, разбрелись по аллеям огромного парка.

Как только общество поднялось из-за стола,

граф Игнатий Потоцкий подошёл к Людовике Сосновской и несколько минут о чём-то тихо, но горячо разговаривал с молодой девушкой, которая вся дрожала и робко оглядывалась по сторонам. Затем он вышел и скрылся в уединённой тенистой аллее. Несколько времени он прогуливался один, погруженный в глубокое раздумье, как вдруг услышал за собой лёгкие шаги и почувствовал на своём плече чью-то руку.

Граф быстро оглянулся и увидел графиню Браницкую. Насмешливая улыбка играла на её губах, а глаза сверкали грозным блеском. Встретившись со взглядом Потоцкого, графиня Браницкая поспешила потупить свой взор, как бы боясь, чтобы её глаза не выдали тайных мыслей.

— Однако нельзя сказать, граф Игнатий, чтобы вы спешили доказать мне свою дружбу, — проговорила графиня с улыбкой и непринуждённым тоном, хотя в её голосе слышались резкие ноты. — Мне приходится везде искать вас, чтобы поговорить с вами по душе, как в прежнее славное время.

— У меня ещё не было возможности подойти к вам, графиня Елена, — ответил Потоцкий. — Графиня Браницкая занимает первое место возле коронованных особ и я не дерзал приблизиться

к ним.

— Графу Потоцкому тоже принадлежит не последнее место в Польше, — заметила графиня — Кроме того я до сих пор не считала вас настолько робким, чтобы бояться подойти к чужеземным монархам.

— Даже если они — враги Польши, графиня? — возразил Потоцкий. — Я не хотел быть вблизи них, так как не могу сказать им то, что думаю, и не желаю произносить слова, которые они хотели бы слышать от меня.

— Ну, я думаю, что вы достаточно ловки для того, чтобы скрыть настоящие мысли и уверить другого в том, в чём хотите! — насмешливо заметила графиня Браницкая.

— Чем я заслужил такое мнение? — с грустным удивлением спросил Потоцкий. — Разве я вам дал для этого повод?

— Не знаю, имею ли я право требовать от вас откровенности, — ответила Браницкая, — может быть, это — глупая и странная претензия с моей стороны, но мне казалось, что наша старая дружба позволяет мне ждать от вас полной искренности.

— Разве вам пришлось обмануться в этом, графиня? — спросил Потоцкий, всё более изумляясь

раздражённому тону своей собеседницы. — Неужели в этих нескольких словах, которыми мы еле успели обменяться, вы заметили какую-нибудь неправду?

— Конечно, — почти с ненавистью ответила графиня, — ведь вы мне сказали, что не оставили своего сердца за границей.

Потоцкий широко открытыми глазами смотрел на Браницкую, а затем ответил строгим тоном:

— Я сказал вам сущую правду, графиня. Моё сердце принадлежит моей родине; здесь я надеюсь найти и своё счастье, если мне вообще суждено наслаждаться на земле личным счастьем! — прибавил он с загоревшимся взглядом.

— Я не претендую на полную откровенность, граф Игнатий, — сказала Браницкая, — не говорите мне того, о чём считаете нужным умолчать. Я могу остаться вашим другом и при таких условиях, хотя не понимаю дружбы без доверия, но никогда не говорите мне неправды. Я ненавижу ложь и клянусь честью: если я узнаю, что вы в чём-нибудь обманывали меня, я отмщу вам, отмщу самым беспощадным образом.

— У вас не будет для этого повода, графиня Елена, — ответил Потоцкий с горькой улыбкой. — Клянусь вам, что я надеюсь найти своё личное

счастье только в своём освобождённом и возрождённом отечестве.

— В таком случае вы должны прежде всего отвернуться от врагов нашей Польши, — проговорила графиня Браницкая. — Их здесь собралось сегодня довольно много. Я даже не доверяю вашему брату; но хуже всех конечно Сосновский. Это — такой лицемер! Нет, его даже нельзя назвать лицемером; это — наглый изменник, не стесняющийся открыто выставлять свою измену. Он так уверен в своём успехе, что не считает нужным скрывать свою позорную игру. Этот негодяй даже продаёт собственное дитя, чтобы заслужить милость русской государыни и получить побольше денег.

— Вам это известно, графиня? — испуганно спросил Потоцкий.

— А, я вижу, что и для вас это — не новость, граф Игнатий! — насмешливо ответила Браницкая. — Следовательно вы посвящены в сердечную тайну Людовики Сосновской и знаете, что её предполагают продать графу Бобринскому, которого Екатерина осмеливается открыто показывать всему свету.

— Да, я кое-что слышал об этом! — смущённо пробормотал Потоцкий.

— Впрочем оставим эту печальную историю, — воскликнула графиня Елена, резко освобождая свою руку из-под руки графа и глядя на него таким грозным взглядом, что Потоцкий ужаснулся бы, если бы заметил его. — Не всё ли равно, будет ли одной жертвой больше или меньше? Польша принесла уже так много жертв и сколько их ещё предвидится впереди! Не будем вспоминать ни о чём грустном. Здесь должны царить радость и веселье, по приказанию могущественной императрицы. Не забудьте только, граф Игнатий, что моя дружба приобретается правдой и доверием и что я умею жестоко мстить фальшивым друзьям.

С последними словами графиня Браницкая удалилась и сделала это так поспешно, точно желала круто оборвать разговор.

Потоцкий последовал за нею, настолько погруженный в свои мысли, что даже не обратил внимания на заключительную фразу графини Елены.

Дорожка заканчивалась площадкой, окружённой гротом. Посредине площадки находился фонтан с мраморным бассейном. Капли воды с шумом падали вниз, искрясь и блестя, среди зелени, на солнце, которое уже начало опускаться.

Возле фонтана стояла графиня Брюс с другими

знатными дамами; адъютант императрицы, граф Римский-Корсаков, с сознанием своего достоинства занимал дам разговором и громко смеялся.

Людовика Сосновская, несколько отдалившаяся от общества, задумчиво смотрела на падающую блестящую воду. Увидев графиню Браницкую и графа Потоцкого, показавшихся на круглой площадке, молодая девушка густо покраснела и, желая скрыть свою краску, ниже наклонилась над бассейном, опустив в холодную воду кончики пальцев.

От взора Браницкой не ускользнула эта немая сцена; она еле слышно прошипела что-то и затем с самым непринуждённым видом присоединилась к обществу и приняла участие в оживлённой беседе.

Потоцкий не подошёл к Людовике. Обменявшись несколькими безразличными фразами со знакомыми дамами, он быстро исчез в одной из боковых аллей. Никто не заметил его отсутствия, кроме графини Браницкой, ни на минуту не терявшей его из вида. Поспешно пройдя дворцовый двор, он направился к своей квартире, которую занимал в скромном дворике торговца-еврея. Пред домом Потоцкий встретил Мечислава Бошвина. Охотничий костюм старика с пуговица-

ми, на которых был вытеснен герб архиепископа, давал ему возможность проникнуть, куда бы он ни пожелал, не возбуждая подозрений часовых.

Граф Игнатий сделал знак Мечиславу следовать за ним и, нетерпеливо отвечая на униженные поклоны своих хозяев, провёл старика в свою маленькую комнатку, где его ждали Колонтай и Заионček.

— Графиня Сосновская готова на всё, — воскликнул Потоцкий, входя в комнату, — мне не трудно будет вывести её из зала во время танцев и долго никто не заметит её отсутствия. Если Фортуна пожелает поблагоприятствовать бедному Тадеушу, то его невеста будет спасена.

— Не говорите о Фортуне! — строго и торжественно заметил Мечислав, — Фортуна — старая языческая богиня с завязанными глазами; я видел её изображение в белостокском замке. Нужно просить Бога, чтобы Он послал счастье моему доброму господину. Божьи очи открыты, Он видит все людские страдания на земле и конечно поможет такому хорошему человеку, как пан Тадеуш Костюшко.

— Ты прав, старик, — согласился Потоцкий, пожимая руку Мечислава. — Расскажи нам, куда ты думаешь увезти отсюда графиню Людовику.

— Мы уже всё обдумали с паном Костюшко, — ответил лесничий. — Мы с ним будем стоять с лошадьми по ту сторону городских ворот — знаете, тех самых, через которые вы проезжали, когда были у меня.

— Да, да, знаю. Ну, а дальше? — нетерпеливо спросил Потоцкий.

— Конечно, всем бросилось бы в глаза, если бы дама в бальном костюме прогуливалась по улицам города, — продолжал Мечислав. — Во избежание этого я при помощи одного приятеля из служителей, который умеет молчать, как могила, достал носилки из сарая архиепископа. Двое ваших слуг, на которых вы можете вполне положиться, пусть стоят вместе с этими носилками у подъезда дворца, куда вы и эти два пана проведёте графиню Сосновскую и будете сопровождать её до конца улицы, до самых городских ворот. Важные господа, сопровождающие даму в носилках, не возбудят ничьих подозрений, а за дворцовыми воротами нам мало встретится любопытных, так как весь народ собрался сюда, чтобы поглазеть на придворный бал. Графиня, конечно не успеет переменить бальное платье; поэтому я захватил с собой длинный плащ — такой, как носят горничные и мещанки. Граница

недалеко. Пан Костюшко хорошо знает дорогу, а перейти границу, отделяющую нашу несчастную Польшу от России, совсем не трудно, так как она охраняется очень слабо.

Сейчас же по ту сторону границы находится лесничество светлейшего князя Радзивилла, где лесничим служит мой зять, муж моей родной сестры. Там молодая графиня будет в полной безопасности и может оставаться до тех пор, пока не окончатся все поиски, а затем перебраться дальше за границу. Таков мой план. Я всё приготовил и думаю, что он прекрасно удастся, если вы поставите у носилок двух вполне надёжных служителей.

— Мои слуги готовы отдать свою жизнь за меня, — произнёс Потоцкий. — Итак, ты, Колонтай, и ты, Заионček, держитесь всё время возле меня в танцевальном зале. Я воспользуюсь удобным моментом и сделаю вам условный знак; как только вы увидите его, выходите скорей на улицу и ждите меня там, чтобы вместе со мной проводить носилки до черты города. Возвращайтесь скорее к пану Костюшко, Мечислав, кланяйтесь ему от нас и скажите, что он может рассчитывать на нас и что через несколько часов его Людовика с Божьей помощью будет спасена, — прибавил он,

видя, что старик крестится и шепчет молитву.

Быстрыми шагами прошёл Бошвин через городские улицы в лес. Никто не обращал на него внимания; всем был хорошо знаком лесничий архиепископа и все привыкли видеть старика мрачным и молчаливым.

Потоцкий, Колонтай и Заиончек просидели некоторое время дома, а затем отправились во дворец, где скоро должен был начаться бал. Пред уходом граф Игнатий не забыл распорядиться о том, чтобы двое его лакеев стояли с носилками у заднего входа дворца.

Старый Мечислав принёс в свою хижину радостное известие, что всё готово и следует ожидать полного успеха. Костюшко радостно обнял старика и с лихорадочным нетерпением стал ждать ночи. В ожидании желанного часа он приготовлял оружие и выезжал лошадь для Людовики, которую Мечислав привёл ранним утром из конюшни Потоцкого. Дамское седло тоже нашлось в кладовых архиепископа.

Среди ночной темноты ярко блестели освещённые окна дворца. Многочисленные зрители окружили решётку сада и жадно смотрели на дворец, хотя могли только разглядеть какие-то тени, двигавшиеся по комнатам, и сквозь откры-

тые двери подъезда суетящихся лакеев, бегавших взад и вперёд.

Во дворе не было ни карет, ни лошадей; их отправили обратно по домам во избежание какого-нибудь несчастного случая; только кое-где стояли носилки. Одни из них, как бы случайно, находились у самого входа во дворец, в тёмном углу возле парка, куда можно было спуститься по узкой боковой лестнице. У дверей этой лестницы точно так же, как и у дверей других подъездов, стояли часовые казаки с саблями наголо. Но служба здесь была менее строгой, чем у главного входа; часовые вступали в разговоры с носильщиками носилок и соглашались выпить глоток водки из бутылок, предлагаемых им носильщиками.

Многочисленные свечи ярко освещали большие комнаты дворца, по которым взад и вперёд сновало блестящее общество. Дамы и мужчины надели теперь ещё более богатые туалеты, чем те, которые у них были во время обеда; ещё ослепительнее сверкали при свете огней разноцветные драгоценные камни.

Ждали выхода высочайших особ. Императору Иосифу пришлось открыть своё инкогнито, чтобы не ставить Екатерину Алексеевну в затруднительное положение, какое вызвал бы приём

графа Фалькенштейна.

У одной из стен, по обеим сторонам ломберного стола, стояли два кресла; это были места, приготовленные для монархов. Среди блестящих расшитых золотом мундиров русских вельмож бросались в глаза своей простотой белые костюмы адъютантов императора, графов Пальффи и Подстатского. Их манеры и умение держать себя привлекали к себе особенное внимание русской знати.

Графиня Браницкая, окружённая поклонниками, казалась веселее, оживлённее, чем днём. Игнатий Потоцкий учтиво поддерживал разговор с русскими придворными, а его брат, Феликс, был, как всегда, центром, вокруг которого образовался большой кружок. Граф Феликс Потоцкий и вечером не снял своего национального костюма. Он особенно оживлённо беседовал с князем Безбородко и графом Кобенцлем.

На Людовике Сосновской было белое шёлковое платье, украшенное драгоценными камнями; она была ослепительна хороша. Внутреннее волнение вызвало краску на её щёки и придало блеск глазам. Желая скрыть своё тайное намерение, молодая девушка старалась, по совету графа Игнатия Потоцкого, казаться весёлой. Она весело

смеялась и шутила с многочисленными поклонниками, восхищенными её красотой. Никто не замечал, что смех молодой графини притворен, что её сердце разрывается от беспокойства и страха; она была любезна даже с графом Бобринским, который снова приблизился к ней и нашёптывал ей на ухо тяжеловесные комплименты.

Сосновский видел, что граф Бобринский всё настойчивее ухаживает за его дочерью, и был очень доволен, что Людовика не отвергает любезностей влюблённого кавалера. Он объяснил себе перемену в поведении молодой девушки тем, что она испугалась его отцовского гнева.

Графиня Браницкая тоже не переставала следить за графиней Сосновской. Она как бы случайно становилась и садилась так, чтобы иметь возможность видеть каждое движение молодой девушки.

Через полчаса после того, как общество собралось, из одной из боковых дверей показался Потёмкин и все двинулись навстречу всесильному министру. Но почти сейчас же внимание от него было отвлечено, так как из апартаментов императрицы вышел Римский-Корсаков, который, прошептав что-то церемониймейстеру, графу Строганову, подошёл к креслу, предназна-

ченному для государыни, и стал за ним. Два пажа далеко откинули портьеры; граф Строганов три раза ударил жезлом о пол и на пороге появились их величества.

На Иосифе был тот же простой костюм, что и днём. Императрица, сообразуясь со вкусом своего гостя, тоже надела на этот раз простое белое платье, которое отличалось от платьев других дам только отделкой из настоящих кружев необычайной дороговизны. На ней не было даже драгоценных камней, кроме бриллиантов, украшавших корону, которой она никогда не снимала при парадных выходах. На груди императрицы красовалась голубая лента с орденом св. Андрея Первозванного; точно такая же лента, с таким же орденом, была и на императоре Иосифе. Головы всех присутствующих склонились пред их величествами. Потёмкин поспешил навстречу высочайшим особам и проводил их до кресел. Несколько минут император и императрица разговаривали со знатнейшими дамами и вельможами, а затем поднялись со своих мест. Музыка заиграла менуэт и императрица в паре с императором Иосифом открыла бал. Потёмкин пригласил графиню Браницкую и стал напротив их величеств.

Бобринский танцевал с Людовикой. Он нашёптывал ей страстные речи и молодая девушка, собрав всю силу воли, с улыбкой слушала слова своего поклонника.

Екатерина Алексеевна проявляла необыкновенное одушевление в танцах, а Иосиф обращал на себя всеобщее внимание плавностью своих движений и какой-то особенной грацией. Императорская пара казалась совершенно поглощённой красивым танцем и думала лишь о том, чтобы не спутать какой-нибудь фигуры. Оба монарха вели салонный разговор, пересыпанный остроумными замечаниями и комплиментами, тот разговор, который умели вести лишь в старину.

Бобринский был так увлечён своей дамой, что постоянно путал фигуры и нарушал порядок в танцах. Для каждого другого такое поведение считалось бы непростительным, но любимцу государыни всё сходило с рук. Граф Строганов торопился исправить ошибку молодого человека и следил за тем, чтобы тот снова чего-нибудь не напутал. Бобринский сказал графине о плане императрицы и её отца поженить их и затем сделал молодой девушке форменное предложение, объяснившись ей в любви с таким видом, точно

надеялся осчастливить её своим признанием.

Чувство отвращения вызвало краску на лицо графини Людовики, но она благоразумно удержалась от негодующих слов, которые уже готовы были сорваться с её уст, и лишь молча потупила свой взор.

Бобринский объяснил себе её смущение девичьей скромностью, и ещё жарче полились его признания в любви; он даже осмелился нежно поцеловать руку молодой девушки во время танцев. Графиня Людовика задрожала от гнева, но снова поборола себя и медленно отняла свою руку. Граф Бобринский истолковал и дрожь молодой девушки, и краску, залившую её лицо, в свою пользу.

Когда танец окончился, Бобринский подошёл к графу Сосновскому и, положив руку на его плечо, прошептал:

— Ваша дочь самая красивая, самая обворожительная из всех женщин, каких я до сих пор встречал. Императрица совершенно права, желая сделать меня вашим зятем. Прекрасная Людовика уже любит меня, а я, право, готов ради вашей дочери забыть всех женщин на свете.

— Разве я не говорил вам этого, дорогой граф? — воскликнул Сосновский. — Моя дочь — ещё

новичок в большом свете и очень испугалась при первой встрече. Я знал, что вам удастся разбудить её сердце.

Сияя горделивой радостью, граф пошёл по залу под руку с Бобринским, продолжая оживлённо беседовать.

Император Иосиф отвёл Екатерину Алексеевну к её месту и сел рядом с ней. Потёмкин и графиня Брюс стояли возле высочайших особ, а знатнейшие дамы и вельможи по очереди подходили к обоим монархам, которые взяли карты в руки, как бы собираясь играть. У императора Иосифа был вид скучающего человека; он с большим удовольствием присоединился бы к танцующим, но этикет требовал, чтобы он оставался возле государыни.

Графиня Браницкая тоже приблизилась к карточному столу их величеств, но при первой же возможности незаметно удалилась и направилась в зал, где всё ещё продолжались танцы. Мужчины окружили графиню и она весело и непринуждённо болтала с ними, как бы представляя собой олицетворение жизнерадостности, но вместе с тем ни на минуту не упускала из вида графини Сосновской.

Она заметила, что по окончании кадрили в зал

вошёл Игнатий Потоцкий, скрывавшийся до сих пор в соседних комнатах. Он глазами искал графиню Людовику и, как только молодая девушка перестала танцевать, начал медленно приближаться к ней, по пути обмениваясь несколькими словами со своими знакомыми. Подойдя к Людовике, он завёл с ней весёлый салонный разговор, а затем оба, продолжая беседу, прошли в соседнюю комнату, к которой примыкал ещё целый ряд других комнат, бывших теперь пустыми, так как всё общество сосредоточилось там, где были их величества.

Скрываясь в тени портьер и занавесей, графиня Браницкая незаметно последовала за Потоцким и Людовикой. Она видела, что они быстро прошли всю анфиладу комнат и вместе с Колонтаем и Заионческом, которые ждали их в последней комнате, вышли на лестницу. Графиня Браницкая подождала несколько минут, затем осторожно вышла за ними в коридор и до её уха донёсся шум шагов, уже спускавшихся вниз по лестнице. Она в отчаянии сжала руки и прошептала хриплым голосом:

— Они ускользнут от меня! я не могу идти за ними в этом костюме!

С минуту графиня стояла в беспомощном поло-

жении, но затем с такой силой рванула портьеру с дверей, что та упала на пол. Графиня Елена подняла её и завернулась в неё, как в плащ. Холодный порыв ветра убедил её, что дверь подъезда открылась. Графиня подошла к ней, затаив дыхание, и увидела, что Людовика села на носилки, которые подняли на плечи два носильщика; Игнатий Потоцкий пошёл рядом с ними, сзади следовали Колонтай и Закончен.

Графиня подождала несколько минут, а затем, завернувшись ещё теснее в свой импровизированный плащ, тоже вышла во двор.

Караульный казак с удивлением взглянул на закутанную фигуру и сделал движение, чтобы остановить её.

— Ты не видел, здесь не проходила дама? — властным тоном спросила графиня Елена часового, полуоткрывая своё покрывало.

Казак заметил сверкающие бриллианты и почтительно ответил:

— Только что одна дама села на носилки; вот она у ворот парка.

— Ну, и прекрасно, значит, я ещё могу догнать её! — равнодушным тоном заметила графиня и быстро прошла вперёд.

Двор и парк были ярко освещены. Браницкая

свободно прошла мимо часовых, принявших её за горничную той знатной дамы, которую уносили на носилках. Во всяком случае женщина, уходившая из дворца, не представляла собой для караульных ничего опасного. Так же легко ей удалось пробраться через густую толпу народа, окружавшую решётку двора, и выйти на улицу. Носилки всё ещё виднелись вдали и графиня быстро следовала за ними, скрываясь, как тень, у стен домов и оград парков.

Далеко протянулось предместье города. Дома становились всё реже и реже; чаще встречались пустыри. Несмотря на то, что лакеи Потоцкого шли очень быстро, прошло довольно много времени, пока они вышли на открытое место, за которым начинался молодой лесок, скрывший от взоров графини носилки и людей, сопровождавших их. Браницкая услышала ржание лошадей и сдержанный крик радости; затем до её слуха достигли шепчущиеся голоса, стук удалявшихся лошадиных копыт — и всё смолкло.

— Ах, бессовестный! — прохрипела графиня, прижимая руку к сильно бьющемуся сердцу. — Вот что заставило его приехать сюда! Он так сильно любит эту девчонку, что жертвует для неё своим отечеством, готов пойти в тюрьму и на

каторгу. Ради неё он пренебрёг моим чувством, о котором не мог не знать. Он мог прочесть его в моих глазах; он знал, что я люблю его с самого детства. Я хранила своё чувство к нему, как редкое сокровище, не считая никого, кроме него, достойным моей любви, а он изменил мне!.. Горе, горе изменнику!

Громкий крик страдания вырвался из груди графини Елены. Затем она гордо выпрямилась и, величественно подняв руку, со сверкающими от гнева глазами грозно проговорила:

— Да, горе ему! Он называл меня своим другом и я имела право требовать от него откровенности. Если бы он не знал о моём чувстве к нему, он не скрыл бы от меня — своей подруги детства — любви к этой девчонке. Теперь он будет смеяться надо мной в её объятиях. Если бы он сказал мне правду, я всё простила бы ему; но теперь я не позволю надругаться над собой, иначе буду достойна его презрения. Я поклялась отмстить ему и сделаю это, сдержу свою клятву! Они не посмеют насмехаться надо мной! если я допущу это, то действительно буду достойна презрения.

Вдали послышались шаги и чьи-то голоса.

«Это возвращаются помощники Игнатия, способствовавшие его бегству, — подумала графиня,

— они-то ни в каком случае не должны меня видеть; больше всего я должна скрывать от них свой план, дабы не давать возможности изменнику избежать моей мести. Ничтожна та женщина, которая не умеет отмстить за свою поруганную любовь».

Елена почти побежала по улице, оставляя далеко за собой Потоцкого, его друзей и слуг. Наконец она подошла к воротам дворца, с трудом пробравшись через толпу любопытных.

Часовой остановил её, спрашивая, куда она идёт.

— Я послана к графине Браницкой! — ответила графиня Елена, поспешно проходя мимо солдата, принявшего её за горничную.

Когда она подошла к заднему крыльцу, выходившему в парк, казак, стоявший на часах, тотчас же узнал её и почтительно посторонился. Он никак не мог понять, почему такая важная дама, осыпанная бриллиантами, ходит по чёрной лестнице, предназначенной исключительно для прислуги. Проводив глазами скрывшуюся в дверях подъезда графиню Браницкую, солдат опустился на ступеньки крыльца и не то задумался, не то задремал.

Браницкая быстро взбежала по лестнице, сбро-

сила свой импровизированный плащ и вошла в зал ещё более прекрасная, чем до сих пор, так как волнение освежило её лицо и заставило её глаза блестеть ярче прежнего.

Граф Бобринский, искавший кого-то взором, бросился навстречу ей.

— Простите, графиня, — проговорил он, — не знаете ли вы, где находится графиня Сосновская? Я видел, что и вы вышли, и думал, что она с вами. Надеюсь, что ей не стало дурно? Тут такая жара, что не мудрено и заболеть.

— Я уходила, чтобы поправить свой туалет, — ответила Елена, — может быть, и графиня Сосновская вышла для того же. Возможно также, что ей стало дурно; она, кажется, очень хрупкого здоровья. Очень вероятно, что она даже незаметно уехала домой; там, за этим рядом комнат, находится дверь на лестницу, выходящую в сад. Я думаю, что графиня Сосновская скоро вернётся сюда; но вы всё-таки поищите её, граф. Конечно делайте это осторожно, не возбуждая внимания общества. Никогда не следует громко расспрашивать об отсутствующей женщине.

Браницкая оставила Бобринского и отправилась в гостиную, где их величества всё ещё сидели за карточным столом.

Бобринский о чём-то задумался и самодовольная улыбка заиграла на его губах.

— Ах, понимаю, — прошептал он, — она знает, где находится Людовика, и посылает меня к ней. Очевидно, моя малютка, так стесняющаяся в большом обществе, нарочно осталась в одной из пустых комнат или даже спустилась в сад для того, чтобы наедине поговорить со мной о любви.

Граф Бобринский быстро прошёл ряд комнат, на которые ему указала Браницкая, по дороге тщательно осматривая каждый уютный уголок, полузакрытый широкими листьями цветов. Таким образом он дошёл до коридора и спустился вниз по лестнице, толкнув при этом спящего солдата ногой. Тот испуганно вскочил и отдал честь.

— Так-то ты исполняешь свою обязанность? — строго спросил Бобринский, с трудом удерживаясь от смеха при виде растерянного лица казака.

— Простите, ваше высокоблагородие, — стал оправдываться солдат, — сам не знаю, как это случилось со мной. Пожалейте меня, ваше сиятельство! не говорите никому, что я вздремнул немного!..

— Хорошо, я никому не скажу, если ты ответишь мне правду на мой вопрос, — согласился

Бобринский. — Выходил кто-нибудь недавно из этих дверей? Или, может быть, ты так крепко спал, что можно было перешагнуть через тебя, а ты даже и не почувствовал?

— Никак нет, ваше сиятельство, этого не могло быть, — уверял казак. — Я всё видел, вышла дама...

— В белом платье и бриллиантах? — нетерпеливо перебил Бобринский.

— Точно так, ваше сиятельство. Она села на носилки, которые ожидали её здесь, и лакеи унесли её.

— Унесли на носилках! — разочарованно воскликнул Бобринский. — Чёрт возьми! она, значит, действительно заболела и больше не вернётся сюда!

— Да, ваше сиятельство; дама дрожала и была очень бледна, — подтвердил казак. — Когда понесли носилки, их побежала догонять какая-то женщина, вероятно, горничная. А потом эта самая женщина...

Бобринский не слышал, что говорил дальше солдат.

— Она больна и вернулась домой, — пробормотал граф, — это очень жаль. Мне кажется, что я серьёзно влюбился в малютку. Надо сказать её

отцу; нельзя же оставить бедняжку без всякой помощи!

Он торопливо побежал по лестнице, а казак смотрел ему вслед и с недоумевающим видом покачивал головой.

— Наверно, эту лестницу заколдовали, — проговорил он. — Я был рад, что попал на спокойное место, так как через эту дверь раньше никто не ходил, и вдруг оказывается, что она понадобилась всему свету. Нечего делать, приходится смотреть в оба!

Солдат, тихо ворча, поднялся со ступеней лестницы и начал ходить взад и вперёд равномерными шагами.

Граф Сосновский стоял невдалеке от столика их величеств. Его лицо сияло гордой радостью, так как государыня разговаривала с ним особенно милостиво; Потёмкин снисходительно шутил, а Бобринский не переставал восхищаться красотой его дочери. Сосновскому рисовались блестящие картины будущего, и он не обращал никакого внимания на то, что польские патриоты отворачивались от него, когда он подходил к ним.

Лёгкий удар веера по плечу заставил Сосновского оглянуться. Пред ним стояла графиня Браницкая, которая обыкновенно тщательно

избегала его. В глазах Сосновского мелькнуло насмешливое торжество; он объяснил себе, что графиня Браницкая начинает заискивать в нём, предвидя, какая блестящая будущность ожидает его.

— Граф Бобринский ищет вашу дочь! — проговорила Браницкая.

Сосновский, с улыбкой пожав плечами, довольным тоном заявил:

— Эти дети не могут расстаться ни на минуту!.. Прямо поразительно, что они так быстро привязались друг к другу.

— Да, но граф Бобринский не найдёт вашей дочери! — с горькой, иронической улыбкой прибавила графиня Елена.

— Как не найдёт? — удивлённо спросил Сосновский.

— Не найдёт потому, что её здесь нет! — ответила графиня Браницкая.

— Где же она? Неужели с ней случилось что-нибудь нехорошее? она, может быть, заболела? — испуганно воскликнул Сосновский. — Это было бы очень не кстати. Неужели она осмелилась упорствовать в своём?..

Сосновский внезапно остановился, вспомнив, что это не следует говорить.

— Да, она осмелилась! — спокойно заявила Браницкая. — Вам нужно было лучше охранять свою дочь, — продолжала она, — вы знаете, граф, что не следует заставлять молодую девушку заключать ненавистный для неё брак.

— Ради Бога, графиня, перестаньте говорить загадками! — взволнованно проговорил Сосновский. — Где Людовика?

— Она теперь едет по пути к границе, рядом с человеком, которому очевидно отдаёт предпочтение пред графом Бобринским! — невозмутимо ответила Браницкая.

Сосновский смертельно побледнел; он стоял несколько времени молча, не будучи в состоянии произнести ни слова, затем судорожно схватил руку графини и с трудом произнёс:

— Вы говорите, что она едет рядом с тем человеком? Неужели этот безумец посмел?

— Очевидно, да! — ответила графиня. — Пока мы с вами здесь разговариваем, они на быстрых лошадях мчатся по направлению к границе. Я сама видела, как они поскакали в темноте ночи.

— О, — воскликнул Сосновский, всё ещё не вполне приходя в себя, — это — мальчишеская выходка! Они нанесли мне удар, разрушивший все мои планы. Громы небесные, отмстите этому

дерзкому выскочке!..

— Нужно самому прийти на помощь Божьему правосудию, — заметила графиня. — Ваше дело достойным образом расправиться с подобной дерзостью. Прежде всего нужно задержать беглецов и сохранить в полной тайне поступок вашей дочери, чтобы не наложить пятна на её репутацию. Я думаю, что, как бы ни был влюблён граф Бобринский в вашу дочь, он едва ли решится предложить руку и сердце девушке, которая скачет ночью с посторонним мужчиной по улицам города! — прибавила графиня Елена с глубокой иронией.

— Вы правы, графиня! — заметил Сосновский, — совершенно правы. А могу я рассчитывать на ваше молчание? — робко спросил он.

— Я обещаю вам это, — ответила графиня. — Но что намерены вы делать? Вам надо действовать быстро и прибегнуть к решительным мерам, если вы хотите догнать беглецов. Они поскакали по большой дороге к югу, но я не поручусь за то, что они будут держаться этого направления, даже если бы можно было догнать их быстрых коней. Если они рассудительны, то свернут с проезжего тракта и постараются достичь границы иными путями.

— Боже мой, как мне взяться за дело? — жалобно воскликнул Сосновский. — У меня здесь очень немного лошадей.

— Для этого существует лишь один способ, — сказала графиня, — вы должны обратиться к помощи императрицы; её казаки одни в состоянии преследовать беглецов и отрезать им доступ к границе.

— Мне обратиться к государыне! — в ужасе подхватил Сосновский, робко покосившись на игорный стол их величеств, — о, это невозможно! Императрица не простит подобного аффронта. Она махнёт рукой на планы, на которые я возлагал все свои надежды.

Графиня Елена бросила на него взгляд, полный глубокого презрения, а затем спросила:

— Почему же? Неужели вы думаете, что если императрица хочет сосватать дочь маршала литовского за того графа Бобринского, который так поразительно похож на неё, то она примет во внимание сердечное счастье воркующей влюблённой парочки? Ей как нельзя лучше известно, что любовь и верность несвойственны польскому браку! Об этом деле ещё никому не известно, а императрица отлично умеет окружать молчанием таинственные происшествия. Впрочем

делайте, что хотите; без императрицы вам не достигнуть ничего. Если вы не согласны ей довериться, то предоставьте своей дочери идти своим путём и устроить себе со своим возлюбленным где-нибудь за границей уютное гнёздышко; когда факт совершится, вам можно будет потом прикидываться равнодушным.

Сосновский всё ещё стоял в нерешительности. Тут в комнату вошёл граф Бобринский и поспешно приблизился к нему.

— Вы были правы, графиня, — сказал он, а затем, обращаясь к Сосновскому, продолжал: — как я сожалею, что ваша прелестная дочь покинула праздник! Она почувствовала себя дурно и была отнесена, по её приказанию, в носилках домой, как объяснил мне часовой.

— Видите, — прошептала графиня Елена дрожащему Сосновскому, — всё идёт превосходно: молчание обеспечено, и если беглецов настигнут без всякого шума, то покров тайны будет навсегда наброшен на эту фатальную историю, и ничто не помешает исполнить ваши планы.

— Прошу вас, — убедительно сказал Бобринский, — отправляйтесь домой проведать свою дочь... Я беспокоюсь за неё... ей нужна помощь врача... Вы должны позаботиться о ней... и при-

шлите мне скорей благоприятное известие!

— Да разве это можно? — возразил Сосновский. — Ведь мне пришлось бы отпрашиваться у её величества; а разве мыслимо беспокоить государыню?

— Это я беру на себя! — воскликнул Бобринский и поспешно подошёл к креслу императрицы.

Екатерина Алексеевна заметила его. Она увидела по лицу молодого человека, что он хочет сказать ей что-то, и кивнула ему головой. Он прошептал ей на ухо несколько слов.

Взоры государыни устремились на Сосновского, она подала ему знак подойти и приветливо сказала:

— С глубоким сожалением услышала я, что ваша дочь заболела и была принуждена покинуть бал. Вы конечно встревожены за неё. Прошу вас, не медлите и отправляйтесь домой проведать её.

Сосновский поклонился и, подойдя близко к государыне, прошептал так тихо, что только она могла расслышать его слова:

— Прошу вас, ваше императорское величество, милостиво выслушать меня по одному крайне важному делу, не терпящему отлагательств.

Екатерина Алексеевна была озадачена. Она слегка нагнула голову и затем обратилась через

стол к императору Иосифу, который беседовал в то время с Потёмкиным и графом Феликсом Потоцким.

— Если вам, ваше императорское величество, угодно, — сказала государыня, — то пройдёмтесь по залам, чтобы молодёжь имела честь также быть замеченной моим высоким гостем.

Император вздохнул как будто с облегчением и быстро поднялся.

— Я не хочу налагать никакого стеснения на вас, ваше величество, — продолжала государыня, когда он предложил ей руку; — пожалуй вам будет приятнее свободно разговаривать с обществом. Будем каждый отдельно обходить гостей до ужина.

Иосиф поклонился в знак благодарности и тотчас поспешил в соседние залы.

Екатерина Алексеевна отошла с Сосновским немного в сторону и можно было видеть, как он с жаром объяснял ей что-то, тогда как она внимательно слушала его. Никому не бросилось это в глаза, так как она особенно отличала в то время польских магнатов.

Спустя некоторое время, императрица подозвала кивком головы Римского-Корсакова и отдала ему приказ, что также случалось часто и не уди-

вило никого.

Адъютант тотчас вышел в двери, которые вели в императорские комнаты, а государыня поговорила ещё несколько минут с Сосновским, после чего сказала настолько громко, что её слова могли быть расслышаны в ближайших группах придворных:

— Итак, ступайте домой, граф Сосновский! позаботьтесь о своей дочери и выразите ей моё сердечное сожаление по поводу её нездоровья, которое вероятно пройдёт после ночного отдыха! Передайте ей также, — прибавила она с грациозной улыбкой, — что граф Бобринский безутешен по причине её удаления и жаждет благоприятных известий о ней.

— Безутешен, совершенно безутешен! — подхватил Бобринский, — Праздник потерял для меня свою прелесть с тех пор, как графиня Людовика покинула его.

Императрица протянула Сосновскому руку для поцелуя, и маршал, провожаемый Бобринским до дверей, покинул бальные залы.

В один миг всё общество узнало, что Людовика Сосновская почувствовала себя дурно и что при благосклонной улыбке государыни граф Бобринский высказал её отцу своё живейшее

сожаление о её отсутствии. Таким образом план, который был так близок сердцу Сосновского и о котором поутру разговаривали шёпотом ещё немногие, сделался общим достоянием и предметом всеобщей молвы. Многие польские паны в горьких речах высказывали друг другу своё неудовольствие и своё презрение к Сосновскому, которого они называли предателем отечества; но некоторые втайне завидовали его счастью, ставившему этого вельможу так близко к светлому кругу всемогущей самодержицы.

Графиня Браницкая наблюдала за всем этим, хотя оставалась в группе дам и мужчин и ещё веселее, ещё шаловливее прежнего сыпала искры своего остроумия и своего оживления.

Разговаривая то с тем, то с другим, императрица обходила залы, и праздник достиг своего апогея, так как прохождение обоих монархов по разным комнатам привело в напряжённое ожидание и оживило всех присутствующих.

Графиня Браницкая последовала за блестящим потоком, который тянулся за императором и императрицей, хотя в почтительном отдалении, но так, чтобы каждый был виден высочайшим взорам и мог каждую минуту последовать данному знаку.

Молодая женщина подошла к одному из окон, выходивших на освещённый двор, к решётке которого всё ещё теснилась любопытная толпа. Её пытливый взор блуждал по улице, которая была освещена дворовыми фонарями и лишь в значительном отдалении терялась в ночном мраке. Графиня заметила тревожное движение позади теснившейся вокруг дворовой решётки толпы зевак; одиночные всадники скакали взад и вперёд, потом показались более многочисленные отряды казаков, которые пустились рысью по разным направлениям и затем пропали в темноте. Браницкая прислонилась лбом к оконному стеклу. Её грудь тревожно волновалась и судорожно трепетала.

— Они нагонят его, — тихонько шептала она, — и это я, я расстрою его счастье... Его счастье? — произнесла она, тогда как горячее дыхание с шипением вырывалось из её груди. — Может ли он быть счастлив с этим ребёнком, который не понимает его, не умеет оценить его любовь, неспособен любить его так, как люблю я? Разве я не вправе мстить за то, что он не доверял мне, оттолкнул меня? разве я не вправе бороться за свою любовь и отвести его прочь от безрассудного заблуждения? Ведь он должен любить меня; пла-

менный поток, который стремится к его сердцу, должен иметь неодолимую силу, как волшебные напитки в сказках.

Ещё некоторое время стояла она, прислонившись к окну, и прислушивалась к топоту копыт удалявшихся конных отрядов, а потом повернулась лицом к залу. Она видела, как Римский-Корсаков вошёл и подал императрице с несколькими тихими словами веер, который она взяла, приветливо склонив голову. Никто не заметил, что адъютант промешкал несколько долее, чем было нужно, чтобы принести своей повелительнице новый веер.

Ещё некоторое время оба монарха продолжали обход зал; потом граф Строганов приблизился к императрице, чтобы доложить, что ужин подан.

Екатерина Алексеевна подошла к Иосифу и взяла его под руку. Потёмкин повёл графиню Браницкую, как самую знатную из польских дам, и следовал непосредственно за высочайшими особами, которые направлялись к столовой.

Когда шествие двигалось по боковым залам, графиня Браницкая внезапно вздрогнула, точно поражённая молнией. Её глаза широко раскрылись с выражением ужаса, потому что она увидела графа Игнатия Потоцкого, совершенно

спокойно и непринуждённо разговаривавшего с одною русской дамой, которой он подал руку, чтобы присоединиться к императорскому шествию.

Потёмкин с удивлением обернулся, потому что графиня судорожно ухватилась за его руку, точно нуждаясь в опоре, чтобы не упасть.

— Боже мой! — вымолвил испуганный князь при виде её лица, окаменевшего от ужаса, — что с вами случилось, графиня? уж не захворали ли вы, как панна Сосновская? Право, было бы странно, — прибавил он с недоверчивопристальным взглядом, — если бы праздник императрицы подействовал таким роковым образом на всех польских дам!

Графиня по-прежнему смотрела во все глаза на Потоцкого.

Шествие на минуту остановилось.

С необычайным напряжением заставила она себя улыбнуться и, наконец двинувшись вперёд, сказала:

— Это ничего, князь; приступ слабости, обыкновенно решительно несвойственной мне; верно тому виною жаркий воздух в залах... Это сейчас пройдёт.

Твёрдыми шагами пошла молодая женщина дальше и заняла место за столом.

Она говорила почти с лихорадочной живостью, своим умом приводя в восхищение не особенно любезного Потёмкина.

Император и императрица, напротив которых сидела графиня, также часто заговаривали с нею, и Иосиф, казалось, был очарован её разговором; но в то же время, когда остроумие и веселье оживляли её речь, мучительная тревога сжимала её сердце, потому что она не умела объяснить себе присутствие Потоцкого.

Графиня Елена могла видеть его с своего места; он был спокоен, держал себя непринуждённо и уверенно; в его чертах не обнаруживалось никакого волнения. Возможно ли, что беглецов уже настигли? Но тогда было немыслимо, чтобы один из них снова появился на балу и после потрясающей сцены, которая во всяком случае должна была разыграться, мог надеть на себя настолько непроницаемую маску равнодушия даже под её пытливыми взорами. Или, быть может, чтобы отвлечь всякое подозрение, он распорядился перевезти через границу Людовику одну и спрятать её в надёжном убежище? Но Колонтай и Заионček находились также налицо.

Графиня терпела невыразимые муки и, сыпля во все стороны зажигательные и горящие искры

своих острот, жестоко терзалась в глубине души, стараясь заглушить представшую пред нею страшную задачу.

Ужин прошёл скоро. Императрица, как всегда по вечерам, выпила только стаканчик испанского вина и съела кусочек белого хлеба. Иосиф также ел мало, и таким образом многочисленные перемены блюд подавались с необычайной скоростью, потому что государыня не любила затягивать надолго свои праздники.

Лишь немногим более получаса продолжался застольный пир, и, как только все встали из-за стола, их величества простились с гостями. Приглашённые покинули дворец. Дамы сели в свои носилки. Мужчины по большей части возвращались к себе домой пешком.

Графиня Елена Браницкая почти небрежно оставила Потёмкина, который с несвойственным ему вниманием хотел проводить молодую женщину до её носилок, и опрометью бросилась по комнатам, отыскивая Потоцкого. Ей удалось найти его наконец в одном из последних зал, и она, запыхавшись, подойдя к нему, спросила дрожащим голосом, прижимая руку к сердцу:

— Вы здесь, граф Потоцкий?

Он посмотрел на неё с удивлением и, улыбаясь,

спросил:

— А разве вы только сейчас заметили меня, графиня?

— А где графиня Сосновская? — спросила она суровым тоном.

Потоцкий побледнев ответил:

— Я видел графиню Сосновскую танцующей; вероятно она уже села в свои носилки. Не прикажете ли позвать ваших людей, графиня? — спросил он затем, стараясь замять щекотливый разговор.

— Не отвиливайте пожалуйста! — с досадой перебила его Браницкая. — Разве вы не знаете, что графиня Людовика покинула праздник, потому что захворала? — прибавила она с хриплым смехом.

— Покинула праздник? — дрожа произнёс Потоцкий. — Я не заметил того в тесноте при таком многолюдстве. Разве её отсутствие бросилось кому-нибудь в глаза? — боязливо спросил он.

Графиня Елена коснулась его руки и, близко придвинувшись к нему, сказала:

— Я была вашим другом, граф Потоцкий, и требую от вас правды. Вы обманули меня и продолжаете обманывать меня; это дурно, это — трусость с вашей стороны!

— Трусость? — воскликнул Потоцкий, сверкая глазами.

— Да, трусость, — подтвердила Браницкая, — трусость равнодушно предоставить на произвол судьбы женщину, которую вы любите, не беспокоясь о том, что с нею будет! Так вот я скажу вам правду в глаза: графиня Сосновская находится на пути к границе, но казаки государыни скачут по всем дорогам, чтобы вернуть эту девушку обратно к её отцу.

— Боже мой! — в ужасе воскликнул Потоцкий, — так вы знаете?

— Да, знаю, — с презрительным смехом ответила графиня Елена, — знаю, что этот бедный ребёнок погиб, если Бог не пошлёт ангела для её спасения, погиб ради того человека, который, улыбаясь в себялюбивом спокойствии, выжидает развязки своей преступной игры.

— Вы с ума сошли, графиня! — воскликнул Потоцкий. — О, Создатель! что, если то, что вы говорите, — правда?

— Это и есть правда, — воскликнула графиня. — Вы не найдёте жертвы своей эгоистической любви в потайном убежище, приготовленном вами для неё. О, какой это рыцарский поступок — подвергнуть любящую женщину преследова-

нию, тогда как сам спокойно пируешь за столом императрицы!

Потоцкий, как сражённый ударом, опустил голову на грудь.

— О, Боже мой, Боже мой, — со вздохом произнёс он, — несчастный Тадеуш! Он так твёрдо полагался на меня, он был так счастлив, и вот теперь... предан... погиб!

— Тадеуш? — подхватила графиня. — Какой это Тадеуш? — спросила она суровым голосом, сжимая своей нежной рукой, как железными тисками, кисть руки Потоцкого.

— Так и быть, — ответил тот, — узнайте также и это. Тадеуш Костюшко, самый лучший, самый лучший сын нашей отчизны; он — мой друг, он любит графиню Сосновскую... он... Я хотел спасти её, спасти для него от постыдного торга, заключённого её отцом с императрицей. Ведь граф Сосновский не постыдился продать ради своих честолюбивых целей своё единственное детище! И вот... О, Боже мой, графиня, посоветуйте мне что-нибудь! мой разум совершенно сбит с толка. Подумайте хорошенько, возможна ли ещё здесь помощь. Найдите средство спасти два человеческих сердца от невыразимого горя!

Графиня Браницкая была бледна, как смерть;

с неподвижным, как у призрака, лицом подняла она взор на Потоцкого и глухо промолвила:

— Тадеуш Костюшко? О, Боже мой, что я наделала!

— Наделали? — спросил Потоцкий. — Наделали вы? Говорите, заклинаю вас всеми силами Неба!

— Да, — хрипло прошептала графиня Елена, — я сделала это, я выследила бегство графини Людовики, я видела, как вы вывели молодую девушку отсюда и провожали её носилки до города. Это я выдала Сосновскому бегство его дочери, это по моему совету испросил он помощь у императрицы, сыщики которой рыщут уже по всей стране, чтобы догнать беглецов.

— Ужасно! — воскликнул Потоцкий. — Вы... И зачем же?

Графиня, поднимая на него неописуемый взгляд, воскликнула:

— О, зачем я не последовала за вами ближе, зачем не всматривалась и не вслушивалась внимательнее, зачем не узнала, что Сосновскую любит Тадеуш Костюшко, а не другой, — прибавила она еле слышно, — не Игнатий Потоцкий?

Потоцкий не мог понять её последние слова и произнёс:

— Да простит вам Бог, графиня, то зло, которое

вы причинили двум благородным сердцам!., одному аду может быть известно, с какою целью. Но теперь следует сделать всё, что ещё возможно, чтобы спасти несчастных!

Он бросился опрометью вон.

Графиня хотела удержать его, но её зов бессильно замер в тихом, жалобном стоне.

Парадные залы почти уже совсем опустели. Шатаясь вступила графиня в прихожую. Её слуги ожидали её там. Почти без памяти опустилась она на подушки своих носилок.

Потоцкий разыскал Колонтая и Заиончека, которым наскоро сообщил, что сделалось ему известным.

Единственное средство спасения заключалось в том, чтобы догнать беглецов и увести их в дремучие леса, чтобы переждать там первую погоню. На проезжей дороге их ждала гибель, так как выгаданный ими час, на который они рассчитывали, уже не мог принести им пользу.

Три друга вскочили на коней и поскакали в темноте ночи.

Вернувшись к себе, графиня Елена Браницкая отпустила испуганную её видом горничную, заперлась в своей спальне и, заливаясь слезами, упала на колена, среди рыданий несвязно умоляя

Небо спасти беглецов и разрушить дело её собственного мщения.

XII

Граф Феликс Потоцкий возвратился к себе домой в сопровождении множества польской шляхты, которую он пригласил с собою, чтобы после раннего окончания праздника провести ещё часок в приятной компании. Он был в необычайно весёлом возбуждении, громко говорил о любезной грации императрицы, этого лучшего друга Польши, и нашёптывал при этом то тому, то другому на ухо, что обязанность патриотов убаюкивать врагов и пускать в ход оружие хитрости и притворства — единственное, которое осталось теперь у них в руках против недругов.

Гостям были поданы в приёмных комнатах графа крепкое венгерское вино и горячий пунш. Вместе с тем, как повсюду, где собиралось польское дворянство того времени, был поставлен игорный стол.

Камердинер шепнул графу, что пришёл какой-то незнакомый человек, желающий немедленно поговорить с ним о неотложных делах.

Однако граф с досадой отклонил эту неприятную помеху в такой поздний час и приказал

принести из своей спальни свою дорожную шкатулку. Он поставил её, по-прежнему наполненную червонцами графа Репнина, возле себя и заложил банк, как предписывала ему обязанность хозяина и магната.

Гости начали с маленьких, умеренных ставок, потому что все были не при деньгах. Потоцкий метал банк, обращаясь во все стороны с разговором и почти не замечая карт. Он часто проигрывал, а когда счастье изредка благоприятствовало ему, то почти всегда случалось, что проигравшие как будто нечаянно забывали уплатить хозяину или же пересчитывали свои монеты до тех пор, пока начиналась новая игра; но Потоцкий словно ни разу не заметил этой маленькой забывчивости своих гостей.

Пунш и огневое венгерское всё более и более разгорячали головы; всё крупнее и азартнее становилась игра на выигранные деньги, и вскоре банк очутился пред необычайно крупными ставками из проигранных им самим сумм.

Если от времени до времени ему и везло, то он всё-таки оставался в проигрыше, и одиночные выигранные суммы приносили ему мало пользы, так как против него играли всё азартнее на его же собственные деньги.

Потоцкий сыпал золото полными горстями, смеясь и шутя, точно дело шло о не стоящих предметах, и его шкатулка опустошалась всё заметнее, пока наконец один из наиболее счастливых игроков воспользовался своим выигрышем для последнего капитального удара и захотел сыграть ва-банк.

Потоцкий равнодушно сосчитал ещё оставшуюся в его шкатулке сумму и начал метать: его карта была бита. Но он со смехом придвинул груду золота счастливцу и, перевернув свою шкатулку вверх дном, сказал:

— На сегодня банк сорван и уже слишком поздно, чтобы продолжать игру. Императрица встаёт рано и мы должны быть вовремя готовы. Завтра я дам почтеннейшим панам реванш и надеюсь, что счастье повернётся в мою сторону.

Никто не стал противоречить; действительно можно было остаться довольным прибылью сегодняшнего вечера и не требовать ничего большего даже от щедрого гостеприимства такого важного вельможи, как граф Станислав Феликс Потоцкий.

Ещё раз были наполнены стаканы; все гости выпили за здоровье хозяина. Наиболее счастливые игроки подошли, чтобы поцеловать его

в щёку и уверить в том, что в целом мире нет более безупречного кавалера, чем он, и что все его предки должны взирать на него с гордостью, как на того, кто служит надеждой и утешением отечеству в такие трудные времена.

Радостно возбуждённые вдвойне: винными парами в головах и золотом в карманах, покинули гости графский дом. Некоторые пошли провожать друг друга до квартир, и ещё долго на улицах слышались весёлый смех и громкие разговоры, в которых то и дело звучала похвала графу Станиславу Феликсу, гордости и упованию Польши.

С невольным вздохом бросил Потоцкий взгляд на дно своей опустевшей шкатулки и удалился в свой кабинет.

Здесь он нашёл прекрасную Софию де Витт. На ней уже не было платья пажа; она лежала на диване в греческом костюме из белого шёлка, а её густые волосы рассыпались природными локонами по плечам. Она была дивно хороша при слабом свете спускавшегося с потолка фонарика, и фантазия поэтов едва ли могла бы украсить большею прелестью богинь греческой мифологии, одежду которых носила эта красавица.

Взоры Потоцкого вспыхнули при виде Софии.

Он склонился к её ногам и покрыл её руки пламенными поцелуями.

Но она почти с досадой отстранила его и воскликнула:

— Теперь не время для ребяческих нежностей!.. Мы прибыли сюда, чтобы бодрствовать и бороться с кичливым и коварным врагом. Несмотря на позднюю пору, день для нас ещё не должен кончиться, потому что императрица с императором также не оставались сегодня праздными. Они довольно долгое время провели вдвоём и, на чём бы ни порешили эти лица, их решение, наверно, не клонится к нашей выгоде. Я полагаю, ты забыл, мой друг, что мы прибыли сюда не на одни торжества, но что мы воюем и должны быть вооружены. Между тем ты отбросил от себя своё оружие.

— Моё оружие? — спросил Потоцкий, машинально хватаясь за саблю у себя на боку.

София, пожав плечами, ответила:

— Тут дело не в сабле. Что пользы в рыцарском клинке, когда идёт борьба против превосходной силы, окружающей нас здесь? Наше оружие — деньги, а ты проиграл свои.

Лоб графа Потоцкого омрачился на минуту, и он произнёс:

— Что же было мне делать? Гости пожелали играть, и, если бы счастье даже благоприятствовало мне, я всё-таки не мог бы ничего взять с неимущих бедняков.

— Но ты сохранил бы своё золото, которое нам нужно, — возразила София, — Кто хочет господствовать, тот не должен подчиняться пороку, тем более ещё в неподходящее время. За то, что ты проиграл, тебя не поблагодарит никто; если бы ты раздарил только половину проигранного, то стал бы гораздо богаче людскою благодарностью и признательностью, чем теперь.

Потоцкий закусил губы; тон, которым говорила с ним любимая женщина, казалось, оскорбил его.

Однако она не заметила этого и продолжала:

— Хорошо, что я взяла из твоей шкатулки две тысячи червонцев, чтобы избавить тебя от гнёта низменных забот в этом городе, где нам нужны вся наша сила и весь наш ум.

— Ах, — воскликнул он, совершенно счастливый, — так ты сделала это? Ведь я знаю, что ты — мой добрый гений.

Сказав это, он снова покрыл поцелуями руки Софии. Но она снова отдёрнула их от него и продолжала:

— Я хочу быть твоим добрым гением и потому должна думать и смотреть за тебя; вот я подумала и этим спасла тебе часть твоего оружия. Я смотрела за тебя и потому говорю тебе, что наш день пока не должен кончиться, так как, пожалуй, он ещё может принести нам что-нибудь доброе.

— А что же ты увидела, когда смотрела? — с удивлением спросил граф.

— Я увидела человека, — ответила она, — который пришёл поговорить с тобой о неотложном деле.

— Когда я вернулся домой, то камердинер, действительно, докладывал мне о нём, — сказал Потоцкий, — но как могу я среди ночи принимать ещё просителей?

— Этот человек — не проситель, — возразила София, — он дожидается тебя, и ты должен принять его сегодня же ночью.

— Он дожидается? — спросил Потоцкий почти с досадой.

— Я так приказала, — ответила молодая женщина. — Этот человек прибыл из Берлина; он — агент компании торгового мореплавания.

— Значит, всё-таки проситель, — подхватил Потоцкий, пожимая плечами, — и конечно будет рассчитывать на моё ходатайство в каком-нибудь

предприятии. Пусть подождёт, пока я вернусь обратно в Варшаву; как могу я заниматься здесь подобными вещами?

— Этот человек — не проситель, — повторила София, — я видела его вот из-за той портьеры, пока он разговаривал с камердинером. Я прочла в его чертах, что он носит в себе тайну; проситель не обнаруживает такой твёрдости и уверенности в обращении, с какой действовал он, а всякая тайна теряет частицу своей ценности с каждой минутой промедления, удаляющей нас от овладения ею. Поэтому, мой друг, ты должен безотлагательно принять того приезжего.

Потоцкий ещё колебался, но София уже позвонила в золотой колокольчик, стоявший на столе, и приказала вошедшему камердинеру:

— Введите сюда незнакомца, которому я велела подождать! граф хочет выслушать его сейчас же.

Камердинер удалился, не дожидаясь, чтобы его господин подтвердил данное ему приказание.

София провела рукой по лбу графа и сказала:

— Ты увидишь, мой друг, что я права, и поблагодаришь меня за то, что я заставила тебя узнать тайну, которая представляет собою, пожалуй, новое оружие.

Она проворно юркнула в спальню и только что

успела скрыться за портьерой, как камердинер отворил двери и впустил в кабинет мужчину высокого роста, одетого во всё чёрное и медленно вступившего в круг света, отбрасываемого горевшими лампами.

Потоцкий угрюмо посмотрел на него испытующим взором и отрывисто спросил по-французски:

— Ваше имя, сударь?

— Жан Баптист Серра, — ответил незнакомец.

— А что желаете вы от меня? — осведомился Потоцкий. — Ваше дело, должно быть, не терпит отлагательства, если вы последовали за мною сюда, где мне недосуг заниматься делами и если вы выбрали такую пору, когда деловое время миновало во всех учреждениях.

— Я дожидался, — ответил Серра, — так как мне от вашего имени было приказано подождать. Я вполне понимаю, что вам, пожалуй, недосуг принять меня днём. Впрочем я явился сюда, — продолжал он, между тем как Потоцкий удивлялся про себя его спокойной, почти гордой уверенности, — не с тем, чтобы выражать свои желания и просить, но с тем, чтобы доставить нечто и избавиться от ответственности, которая сильно тяготит меня. Чтобы снять с себя её, я

последовал сюда за вами, ваше сиятельство, и полагаю, что этим оказал услугу вам самим!

— Да кто же вы такой, милостивый государь? — надменно спросил Потоцкий. — Ведь имя, которое вы назвали, мне совершенно незнакомо.

— Кто я такой, о том вы узнаете, ваше сиятельство, из этого письма, — ответил Серра, подавая графу запечатанный конверт.

Потоцкий сломал печать и пробежал глазами бумагу. Его до сих пор мрачное лицо просияло радостью, а надменно-суровая мина сменилась вежливой и любезной, причём он сказал почти с сердечной приветливостью:

— Ах, милейший господин Серра, вы явились от моего уважаемого друга, министра фон Герне? От души рад видеть вас! Если бы вы велели передать мне это письмо, когда мне докладывали о вашем приходе, то я немедленно освободился бы хотя на одну минуту, чтобы принять вас.

Серра стоял спиной к дверям спальни; складки портьеры раздвинулись на один миг и Потоцкий увидел между ними улыбавшееся торжествующей улыбкой лицо Софии, которое тотчас снова скрылось в темноте.

— Я не осмелился доверить моё письмо ни чьим чужим рукам, — возразил Серра. — Да послужить

мне это извинением в том, что я так настаивал на свидании с вашим сиятельством сегодня же вечером.

— Вы были правы, любезный Серра, — ответил Потоцкий, — для поручения господина фон Герне пригоден каждый час дня и ночи. Садитесь, прошу вас, я совершенно в вашем распоряжении.

Он сел на диван, откуда можно было видеть дверь спальни, тогда как Серра по его знаку занял место против него.

— Господин фон Герне пишет мне, — сказал Потоцкий, ещё раз пробегая письмо, которое держал в руке, — что вы уполномочены вести со мною переговоры о задуманной ранее продаже имения «Кроточин», и что я должен верить всему, что вы скажете мне по его поручению. Именно для этих переговоров, — продолжал он с испытующим взором, — здесь конечно не место, потому что тут я могу сообщить вам лишь общие, пожалуй довольно неточные, сведения о состоянии этого поместья.

— Раньше чем приступить к переговорам, — возразил Серра, — я обязан передать вам, ваше сиятельство, ещё одно поручение от господина фон Герне. Министр, — продолжал он, вынимая большой бумажник из своего кармана, — должен

произвести ещё один платёж вам, ваше сиятельство, за прежние покупки имений. По расчёту господина фон Герне, вам надлежит дополучить с него восемьдесят три тысячи талеров.

Взоры Потоцкого вспыхнули, однако он заметил равнодушным тоном:

— Господин фон Герне — великий финансист, я же не могу похвастаться большими познаниями по этой части и вдобавок ужасно беспамятен на цифры, а потому всегда вполне полагаюсь на его расчёты.

Серра развернул свой бумажник и, вынув оттуда пачку бумаг, сказал:

— Итак, если вы, ваше сиятельство, признаете правильной упомянутую сумму в восемьдесят три тысячи талеров, то я имею честь вручить её вам. Это — векселя компании торгового мореплавания в Берлине, которые акцептованы варшавским комитетом и имеют повсюду ценность наличных денег. Мне было бы трудно и опасно везти при себе такую сумму золотом, а между тем я непременно хотел как можно скорее исполнить принятое на себя поручение; но если вы, ваше сиятельство, прикажете, я разменяю эти векселя в Варшаве по курсу и внесу деньги в тамошний банк на ваше имя.

Портьера снова раздвинулась и Потоцкий опять увидел улыбающееся лицо Софии.

Красавица кивнула ему головой, как будто желая напомнить, что она не ошиблась и что незнакомец действительно явился с хорошими вестями.

— С меня совершенно достаточно векселей, — ответил Потоцкий, переглянувшись с Софией, после чего поспешно взял пачку, бегло перелистал бумаги и бросил их на стоявший сбоку письменный стол.

— Ваше сиятельство! Вам не угодно пересчитать?..

— Это — совсем излишняя предосторожность, когда уплата производится господином фон Герне.

— Но мне нужен счёт для моего оправдания, — сказал Серра, вставая.

Он взял векселя и выложил их один за другим пред Потоцким, довольно нетерпеливо следившим за этой операцией, а затем положил пред графом квитанцию, которую тот подписал быстрым росчерком пера.

— Ну, милостивый государь, — произнёс Потоцкий, — что касается продажи «Кроточина», то я готов уступить это имение господину фон Герне.

Не стану скрывать, что хозяйство в нём запущено, а я недостаточно богат, чтобы восстановить его. Для господина же фон Герне или для компании торгового мореплавания будет легко привести это поместье в цветущее состояние и придать ему двойную стоимость против теперешней.

— А его продажная цена? — спросил Серра.

— Я не берусь назначить вам её сегодня, — ответил Потоцкий, пропуская сквозь пальцы полученные им векселя. — Господин фон Герне может быть уверен, что я не запрошу слишком много; однако я надеюсь, что он также примет в соображение личную ценность, представляемую для меня старинным владением моего рода, с которым мне очень больно расстаться.

— Я также не уполномочен ничего решать по этому пункту, — сказал Серра, — потому что должен доставить лишь необходимые сведения. Впрочем нельзя сомневаться, что вы, ваше сиятельство, и господин министр без труда сойдётесь между собой в цене. Моя обязанность состоит лишь в том, чтобы, руководствуясь надёжными сведениями, установить по возможности верный расчёт доходности имения «Кроточин».

— Все счета и бумаги, касающиеся этого, находятся у банкира Капустаса в Варшаве, которому я

поручу представить их вам, — сказал Потоцкий, — а если вы желаете сами отправиться в «Кроточин», то вас отвезёт туда один из моих служащих. Я сожалею, — прибавил он с вопросительным взглядом, — что относительно этих переговоров, которые сильно интересуют также и меня, ваш приезд сюда не может подвинуть дальше это дело.

— Я не рассчитывал на это, ваше сиятельство, — ответил Серра, — я последовал сюда за вами только с целью снять с себя ответственность за уплату переданной мне суммы, а также для того, чтобы исполнить одно поручение господина Герне.

— Поручение господина фон Герне? — воскликнул Потоцкий, причём его несколько утомлённое лицо снова приняло выражение живейшего любопытства, тогда как сверкающие глаза Софии опять появились между складками занавеса на дверях.

— Или скорее, — продолжал Серра, — для того, чтобы передать вам, ваше сиятельство, один разговор, который я имел честь вести с господином фон Герне и о предмете которого господин министр, как я полагаю, был бы очень рад выслушать ваше мнение.

— Господин фон Герне может быть уверен, что всё, что интересует его, встречает во мне живейшее сочувствие. Итак, говорите, сударь, и если для господина фон Герне важно моё мнение, то я не буду скрывать его, потому что ведь вы, — прибавил он с улыбкой, — заслуживаете моего полного доверия в качестве его посланца.

— В Варшаве, — начал Серра, оглядываясь кругом, точно желал убедиться, что в этой комнате никто не подслушивает его, — основан ломбард, чтобы помогать в финансовых затруднениях королю и правительству.

Потоцкий улыбнулся и, пожимая плечами, сказал:

— Этот ломбард, кажется, возбуждает больше интереса за границей, чем у нас самих.

— Я отлично знаю, — продолжал Серра, — что в самой Варшаве обращают очень мало внимания на это финансовое учреждение, которое не имеет ни средств, ни кредита, чтобы приобрести себе влияние и значение; но, ваше сиятельство, это влияние было бы тотчас достигнуто варшавским банком, если бы другие финансовые силы примкнули к нему, дополняя и поддерживая его кредит...

— Как, например, компания торгового море-

плавания в Берлине, — перебил Потоцкий, — и общество торговли князя Кауница в Вене.

Серра с удивлением поднял на него свой взор и сказал:

— Вам, ваше сиятельство, известен план, о котором я имел честь говорить господину фон Герне?

— Допустим на всякий случай, что я его не знаю, — ответил Потоцкий. — Разве не в порядке вещей, что мы должны домогаться того, чтобы существующие могущественные финансовые учреждения согласились примкнуть к нашему банку? разве мы не должны устремлять свой взор именно туда, где подобные учреждения состоят под покровительством держав, для которых важно, чтобы Польша оставалась самостоятельной и не подпала под одностороннее владычество чуждой державы?

— Вы, ваше сиятельство, вполне понимаете меня, — воскликнул Серра, оживлённо кивая головой. — Совершенно ту же идею я нашёл у господина фон Герне...

— И у графа Виельгорского, — перебил Потоцкий.

— Вам, ваше сиятельство, известно также и это? — воскликнул Серра.

— Мне ровно ничего неизвестно, — возразил

граф, — но когда я ставлю себя на место ломбарда, о котором идёт у нас речь, то должен же я постараться выяснить себе, как думают об учреждении, предназначенном доставлять польскому государству средства для его существования и самостоятельности, в Вене и в Берлине; ведь в обоих этих столицах должны быть одинаково заинтересованы тем, чтобы сохранить Польшу самостоятельной и жизнеспособной, не давая третьей державе слишком далеко переступать западные границы. Но варшавский банк и польское правительство, желающее открыть в нём для себя источник финансовой помощи, которая ему нужна, должны стоять также на точке равновесия между Берлином и Веной и тщательно заботиться о том, чтобы гири были распределены поровну на чашке весов. Ведь лишь тогда может Польша, или скорее ломбард — так как мы говорим здесь исключительно о финансовых проектах — сделаться самостоятельным и могущественным. Щедрый союзник легко превращается в покровителя, но два союзника, стоящие в равновесии один к другому, становятся полезными друзьями и поддерживают самостоятельную державу.

— Я удивляюсь вам, ваше сиятельство, — сказал Серра тоном искреннего убеждения. — Целью

моего прихода сюда было подать вам идею и открыть её значение, и вдруг я нахожу эту идею у вас самих в новой, более ясной форме. Если в Вене или Берлине вздумали, пожалуй, воспользоваться вами, граф, как послушным орудием, то теперь я вижу, что, напротив, вы сами властно держите в руках все нити. Но, всё равно, мысль, на которую я напал в Вене и Берлине, осуществится так или иначе. Если Польша не попадёт под опеку обоих соседей на юге и западе, то, может быть, в качестве их свободного союзника она тем твёрже встретит угрозу с востока. Я вижу теперь, граф, что вы будете господствовать над будущим, и отдаю себя в ваше распоряжение для достижения того будущего, которое вы хотите дать своему отечеству, держа политическое равновесие в своих руках.

На этот раз складки дверного занавеса распахнулись шире прежнего. Потоцкий увидел Софию де Витт, которая необычайно радостно кивала головой и неслышно хлопала в ладоши, как будто в знак своего одобрения ему.

— А какую будущность, — спросил он, — имеют в виду в Вене и Берлине для бедной Польши, которою в данный момент все иностранцы интересуются, по-видимому, гораздо сильнее, чем,

к сожалению, многие из её собственных сынов, чем даже тот, которому следовало бы прежде всего быть стражем её свободы и хранителем её достоинства?

— Я убедился, — ответил Серра, — что было бы безрассудным играть с вами, ваше сиятельство, втёмную, так как вы умеете заглядывать в карты даже самому осторожному игроку. Я — человек, пустившийся снова искать счастья, которое отвернулось от меня; поэтому вся моя преданность принадлежит наиболее искусному и наиболее смелому игроку. Таким образом вы, ваше сиятельство, можете положиться на полную правдивость в моих речах, поскольку мне самому удалось открыть правду. Кажется, я могу уверить вас, граф, что в Вене, равно как и в Берлине, одинаково убеждены в невозможности сделать Польшу свободной и самостоятельной в царствование короля Станислава Августа.

Потоцкий наклонил голову, а затем спросил:

— А как следовало бы изменить настоящее положение дел?

— Польской нации, которая поставила себе короля, — ответил Серра, — несомненно принадлежит право отнять корону у неспособного и недостойного государя.

— А где взять силу исполнить .подобное решение? — спросил Потоцкий.

— Русская военная сила незначительна в Польше, — ответил Серра, — и рассеяна на большом пространстве; ей пришлось бы отступить при первом натиске хорошо организованного народного восстания; если же тогда Австрия и Пруссия признали бы право польской нации самостоятельно управлять своими внутренними делами, то мудрая и осторожная Екатерина, разумеется, остереглась бы вызвать столкновение с двумя соседями, в поддержке или по крайней мере в нейтралитете которых она нуждается, чтобы иметь свободный доступ к Константинополю.

— Я вижу, — заметил Потоцкий, — что вы, не будучи дипломатом, умеете заглядывать довольно проницательным взором за кулисы политики.

— Я — купец, ваше сиятельство, — ответил генуэзец, — а купец должен следовать за дипломатом в политических подкопах и иногда даже предшествовать ему, чтобы открывать золотоносные жилы, таящиеся в глубинах и незаметные на поверхности.

— Если допустить, — сказал Потоцкий, — что вы правы, то что, по мнению Вены и Берлина, должно случиться, если бы удалось освободить

трон актом воли польской нации, признанным и охраняемым по крайней мере соседними державами?

— В Вене, — ответил Серра, — держатся того мнения, что слабость Польши коренится в избирательной королевской власти и там полагают, что в лице саксонского принца найдена подходящая особа для основания новой наследственной династии в Польском королевстве.

— Ну, а в Берлине? — спросил опять Потоцкий, зорко вглядываясь в агента, между тем как прекрасная голова Софии высунулась из складок портьеры с видом напряжённого любопытства.

— Должен откровенно сознаться, граф, — ответил Серра, — что я не в состоянии ответить на этот вопрос. Господин фон Герне не обмолвился ни единым словом, ни единым намёком насчёт идеи свободного самоуправления польской нации, которое должно быть охраняемо Австрией и Пруссией. Так как эта идея была представлена ему мною, то вероятно он ещё не успел обдумать её хорошенько и составить соответственные планы; но я убеждён, что господин фон Герне присоединится к мнению австрийских дипломатов, так как обе державы одинаково заинтересованы в том, чтобы из Польши выросло крепкое и ней-

тральное государство.

София де Витт с живостью покачала головой.

— А господин фон Герне действует по поручению короля Фридриха? — спросил Потоцкий.

— Он так говорил, и я принуждён с этим согласиться, — ответил Серра в лёгком замешательстве. — В противном случае, как мог бы он распоряжаться по своему усмотрению королевской компанией торгового мореплавания в таких широких размерах? Для короля невозможно выступить в столь деликатном деле; это я должен признать, а в моём положении неуместно допытываться у прусского министра насчёт полномочия от его короля.

— В Вене проявляют менее сдержанности, — прошептал про себя Потоцкий, а потом сказал вслух: — король Фридрих, пожалуй, имел основание не благоприятствовать кандидатуре саксонского принца. Саксонский дом был союзником Австрии и тяжко страдал вместе с габсбургским во время войны с великим прусским королём. Традиция этого союза и воспоминания об одинаковых потерях и одинаковом озлоблении могли перенестись также и на Польшу. Весьма возможно, что король Фридрих увидал бы в императрице Екатерине лучшего и более надёжного союзника,

чем в польском короле из саксонского дома.

Серра на мгновение задумчиво опустил голову, а затем сказал:

— Вы, ваше сиятельство, я вижу, очень проницательны. Но всё-таки я этого не думаю; воспоминания о Семилетней войне погребены, в Вене искренне желают примирения и при обоих дворах одинаково интересуются Польшей.

— Это была только идея, — возразил Потоцкий, — которую я высказал и от которой я ещё никак не могу освободиться. Если бы я был прусским королём, — продолжал он, бросая острый, проницательный взгляд на своего собеседника, — то я, может быть, заместителем Понятовского на польский трон посадил бы действительного, настоящего польского дворянина, который был бы в состоянии напрячь все народные силы и добиться самостоятельности и независимости.

— Но, как мне кажется, — сказал Серра, — князь Кауниц прав, признавая слабость Польши в существовании именно выборной королевской власти и основанной на этом ненадёжности.

— А разве нельзя было бы так же хорошо установить наследственность престола для какого-либо знатного и славного польского рода, как для саксонского дома, который не имеет ничего общего с

Польшей, кроме бесславного правления Августа Третьего? — живо сказал Потоцкий.

София де Витт недовольно покачала головой и приложила кончик пальца к губам.

Одно мгновение Серра посмотрел на графа, и в его глазах мелькнула искра уразумения. После этого он сказал:

— Я знаю только одного человека в Польше, который был бы способен решить эту задачу, или, сказать вернее, — добавил он, отвешивая низкий поклон графу, — я имел сегодня честь узнать этого человека.

Прекрасная гречанка продолжала качать головой, всё время не отнимая пальца от губ.

— Ну, — небрежно сказал Потоцкий, — мы зашли с вами в область, которая принадлежит будущему, а ведь только оно даст нам разгадку. Поэтому останемся лучше при настоящем. Итак, в одном пункте в Вене и Берлине согласны, а именно, что будущая независимость Польши должна быть основана на финансовом могуществе, которое сделает польскую нацию способной действовать и сражаться, и что мою особу считают способной образовать центр будущей деятельности за освобождение Польши.

— Вы вполне правы, ваше сиятельство, и в этом

отношении я уполномочен уговориться с вами обо всём, чтобы поддержать общество ломбардного банка и дать в ваше распоряжение средства для подготовки к дальнейшим решительным ударам. Если вы, ваше сиятельство, вполне согласны оказать деятельную поддержку планам, только что высказанным мною, то господин фон Герне предпишет варшавской конторе общества торгового мореплавания оплачивать векселя, как ваши, так и варшавского ломбардного банка.

— Хорошо, — сказал Потоцкий, — остановимся пока на этом. Скажите господину фон Герне, что он может рассчитывать на мою поддержку; что касается конечной цели, то об этом потом последует соглашение между Веною и Берлином. Первый шаг состоит в том, чтобы устранить короля Станислава Августа, и я думаю, что могу поручиться за это, а тогда уже дело Австрии и Пруссии предоставить польской нации конституционное право самой решить своё будущее. Итак, мы пришли к соглашению. Я не думаю, что будет целесообразно, если мы будем часто видеться здесь; может быть, за вами уже наблюдают, и я советую вам как можно громче сказать, что вы здесь отыскали меня с целью переговорить со мною о продаже дров из моих имений компании

торгового мореплавания в Берлине, агентом которой вы состоите.

— Совершенно верно, ваше сиятельство, — согласился Серра.

— В Варшаве, — продолжал Потоцкий, — я буду к вашим услугам, как только вы просмотрите бумаги насчёт «Кроточина» у банкира Капустаса, а также устроите то, о чём мы с вами говорили про господина фон Герне.

Серра встал и промолвил:

— Очень благодарю вас, ваше сиятельство, за милостивый приём! Я уношу с собою уверенность, что этот час не пройдёт бесследно и принесёт богатую прибыль как купцу, так и государственному мужу, а может быть, и будущему повелителю гордого, могучего Польского государства.

— До свидания! — сказал Потоцкий. — Позвольте дать вам ещё один совет: будьте осторожны в письменных сообщениях господину фон Герне. Большие дороги не безопасны в Польше, особенно, если ваш визит заинтересовал кого-нибудь здесь и возбудил любопытство узнать, нет ли чего-нибудь между нами.

— Ваше сиятельство! Вы можете быть вполне спокойны, — сказал Серра с осторожной улыб-

кой, — комиссионеры компании торгового мореплавания, служащие посредниками между варшавскими и берлинскими конторами, вполне заслуживают доверия и вне всякого подозрения. Никто не предполагает у них чего-либо, кроме счетов и деловых отчётов.

Он почтительно коснулся руки Потоцкого, которую тот протянул ему, и удалился.

Как только Серра вышел из комнаты, в неё быстро вошла София.

— Ей Богу, — воскликнула она, — счастье — мой соперник возле тебя, и я, мой друг, почти ревную к тебе эту капризную богиню, которая так неразлучно привязалась к тебе. Не успел ты неосторожно растратить золото, это могучее орудие, как неожиданное чудо опять даёт его тебе в руки. Но на этот раз я буду защищать его от тебя самого: я сохраню эти драгоценные бумаги чудодейственной силы, заключающейся в них, мы не предоставим игре случая.

Потоцкий нахмурился; как ни обольстительно хороша была София, стоявшая пред ним, но по его лицу видно было, что его сердило её желание опекать его; она же смотрела на него с самою очаровательной улыбкой и сказала:

— Поверь мне, друг мой, такое разделение труда

будет хорошо: ты обладаешь мужеством и силою, оставь мне неустанную хитрость и медленно действующую волшебную силу золота, которая по каплям уверенно долбит скалы; так мы правильно распределим оружие, и победа будет на нашей стороне.

Она села рядом с Потоцким, и он не мог противостоять волшебным чарам её красоты; он наклонился к её руке, лежавшей на векселях, принесённых Серра, и покрыл эти пальчики и всю стройную руку, открывшуюся из разрезного рукава, горячими поцелуями.

— Ты права, София, — сказал он, — распредели оружие, как хочешь, и не ревнуй меня к счастью; эта богиня с рогом изобилия, наполненным земными благами, будет единственной женщиной, милости которой я буду добиваться наравне с твоей.

— Я была довольна тобою сегодня, мой друг, — улыбаясь, сказала София, — ты очень умно выведал мысли других, но только при этом открыл и свои мысли и тем дал в руки противника орудие. Если другие будут думать, что мы работаем для саксонского принца, то мы тем увереннее можем работать для себя.

— Какому противнику? — спросил Потоцкий.

— Разве ты не слышала, что этот Серра — вовсе не противник, что он с радостью приветствовал мысль о возложении на мою голову той короны, которой все добиваются?

— Ты легковерен, как дитя, — сказала София, проводя рукой по лбу Потоцкого. — Разве ты не знаешь, что лучший способ узнать мысли других — это сделать вид, что соглашаешься с ними? Да если этот Серра и действительно сочувствует нашим планам, то много ли это значит? Ведь он — только орудие в чужих руках! Королю Фридриху Прусскому я не доверяю; Екатерина для него — лучший и более надёжный друг, нежели Иосиф Габсбургский или ты, а такой человек, как Серра, будет охотнее служить господину, который уже является королём, нежели такому, который ещё собирается стать им.

— И который, — прервал Потоцкий, — по-царски наградит того, чьи услуги расчистят ему путь к короне.

София, покачав головой, возразила:

— Такая награда может иногда обойтись очень дорого! Нехорошо, когда король обязан кому-либо. В истории лучше устояли те короли, которые уничтожили своё орудие! Но для этого ещё будет время, — добавила она таким тоном, что Потоц-

кий слегка содрогнулся, — когда они сделают своё дело и цель будет достигнута. Поэтому сегодняшний день можно считать счастливым, и я обещаю тебе не ревновать к тебе той любезной богини, которая так щедро высыпала над тобой свой рог изобилия.

С очаровательной улыбкой София обвила шею графа руками; он страстно прижал к своей груди эту прекрасную женщину и воскликнул:

— Все дары Фортуны никогда не сравняются с высшим подарком моей единственной богини счастья: этот подарок — любовь моей Софии!

XIII

В то время как жители и гости Могилёва сладко спали, набирая сил для празднеств следующего дня, в которых одни участвовали как зрители, другие как действующие лица, Тадеуш Костюшко и Людовика Сосновская ехали всё дальше по большой дороге в ночной тиши. Они редко обменивались словами и пустили коней полным ходом, чтобы прежде всего выиграть наибольшее расстояние и этим затруднить преследование.

Игнатий Потоцкий сказал Костюшке, что он может рассчитывать по крайней мере на два часа, пока заметят исчезновение Людовики, и что ночью ещё пройдёт несколько часов, прежде чем устроят действительно преследование беглецов.

Этим руководствовался Костюшко, составляя план бегства. Он хотел сначала ехать по прямой дороге к югу, чтобы как можно скорее дальше уехать от Могилёва, потом пробраться лесами в Краков, чтобы добраться до укромного места в лесах Радзивилла, или же, если это не удастся, направиться в Тешен или Ольмюц и там переехать австрийскую границу.

При нем был правильный паспорт для того, чтобы удовлетворить чиновников, а если бы ему грозила опасность, то он мог бы незаметно перейти границу, пользуясь лесистыми ущельями и обрывами Карпатов, которые часто и успешно выручают контрабандистов.

Положим, эта дорога была гораздо дальше и труднее той, которая вела к прусской границе, но именно поэтому-то Костюшко и выбрал её, рассчитывая, что преследователи прежде всего направятся по кратчайшему и по-видимому более удобному для бегства пути.

Они пересекли маленькую речку Друть и доехали до Березины, волны которой через тридцать лет стали роковыми для наполеоновской армии и доставили этой, до сих пор неизвестной реке страшную незабвенную известность во всемирной истории.

Хотя в весеннее время Березина не представляла столько страхов и опасностей, как во время зимнего ледохода и вьюги, но всё же её течение было достаточно быстро, чтобы внушать осторожность. Костюшко отлично знал всю эту местность и всё же потребовалось довольно много времени, пока он нашёл брод, по которому мог спокойно перебраться на другой берег.

Когда река была за их спиной, то он перегнулся на своей лошади, крепко заключил Людовику в свои объятья и, глубоко вздохнув, воскликнул:

— Теперь мы спасены, если Небо будет к нам милостиво; теперь мы можем спокойно продолжать свой путь; в этом направлении нас искать не будут!

Графиня, дрожа, оглянулась, как бы боясь увидать в холодном свете едва занимавшейся утренней зари преследующую их погоню.

— О, мой любимый друг, — сказала она, — не будем доверяться счастью, будем всё-таки спешить вперёд! Я не буду спокойна до тех пор, пока мы не переступим границы этой несчастной страны, которая является моей родиной, любимой мною всей душой, и которая теперь грозит мне злейшей, чем смерть, бедою.

Она хотела опять погнать лошадь, но Костюшко остановил её, сказав:

— Успокойся, дорогая, доверься мне! Я серьёзно уверен, что нам здесь уже больше нечего бояться, да к тому же невозможно продолжать путь с прежней быстротой. Пока мы не переедем через границу, мы не можем найти других лошадей, а потому должны беречь силы своих коней, которые уже сильно утомлены; если они падут, мы

погибнем безвозвратно.

Людовика вздохнула. Она сознавала правильность этого замечания, и всё-таки это промедление приводило её в ужас и отчаяние; она часто боязливо озиралась, но на далеко видимой дороге не показывалось ничего подозрительного; всё кругом молчало; вся местность, одетая весеннею зеленью, была залита первыми лучами восходящего из-за горизонта солнца; всё казалось счастливым и мирным; нельзя было бы найти лучшее утро для весёлой прогулки.

Костюшко взял руку любимой девушки, которая, как ему казалось, уже была безвозвратно потеряна для него, и стал горячо и искренне говорить ей о своей любви, о счастливых надеждах, наполнявших его сердце. Он высказал ей свою твёрдую уверенность в том, что её отец уже из гордости даст своё согласие на их союз при виде непоправимого факта. В заключение он, прижимая руку Людовики к своим губам, добавил:

— Мы будем, предавшись судьбе, ждать, будучи по крайней мере спокойны, что силою на тебя не наложат недостойных уз и что для нас всё-таки придёт прекрасная, счастливая будущность. Ведь скоро наступит час святой борьбы за родину. Мы выйдем победителями из этой борьбы, — вос-

кликнул он с вдохновенной уверенностью, — и в освобождённом отечестве будет место и для нашего счастья!

Людовика слушала его сначала дрожа, всё ещё боязливо оглядываясь, но постепенно его слова всё более и более убеждали её. Она была ещё молода, цветущая природа была хороша, солнце светило на них светло и радостно; так почему же и ей было не верить и не надеяться так, как делал это её любимый Тадеуш? Ведь молодость и любовь крайне склонны к вере и надежде и хотя из поколения в поколение суровые жизненные бури часто губят цветы надежды, однако они снова вырастают под тёплыми солнечными лучами любви в молодых сердцах, которые не научаются на примере чужих страданий, но своего горя потом никогда не забывают.

Юная графиня начала понемногу улыбаться; её взор сиял, как утренняя свежая природа, и она счастливо внимала его словам. Только изредка смущала её мысль об опасности, которая ещё витала над их головами тёмною тучей, но солнечный свет получал всё более доступа в её сердце.

Рука в руку ехали они так рядом. Иногда они сходили с коней и, медленно ведя их в гору и под гору, шли под руку и повторяли друг другу всё

те же слова; и им казалось, что они слушают и говорят всё новое и новое.

Блестя на солнце, открылась пред ними широкая река Припять, которая далее на юг впадает в Днепр. Костюшко на мгновение остановился и произнёс:

— Там мы должны переправиться, но река не имеет брода. Там направо должна лежать деревня Петриково, там мы найдём перевозчика, а тогда нам уже будет открыт путь к границе, так как Висла останется от нас к северу.

— О, постараемся избегать деревень и людей, — сказала Людовика, — среди природы я снова нашла надежду, но людей я боюсь; они не знают жалости. Попытаемся как-нибудь хоть вплавь перебраться на другую сторону.

— Неужели нам следует рисковать жизнью, которая сулит нам столько счастья? — воскликнул Костюшко, нежно целуя её руку. — Не бойся ничего, моя радость! Люди, живущие здесь, не опасны нам; они примут нас за гостей одного из здешних помещиков. Я знаю эту местность.

Здесь вблизи дворец князя Сапеги. Да и кони наши нуждаются в корме и питье, а мы здесь наверно найдём немного овса и сена, за стоянку же мы можем заплатить. На отдохнувших лошадях

мы вдвое скорее уедем отсюда.

Они поехали дальше.

Вскоре за небольшим лесистым холмом действительно показалась среди цветущих полей и лугов деревня с приветливой церковью, с колокольни которой доносился утренний звон колокола. Дома были маленькие, бедные, глиняные с соломенными крышами, и всё же деревня казалась более зажиточной и приветливее многих других деревень в Польше. На полях виднелись отдельные рабочие. Весь ландшафт, развернувшийся вдоль серебряной ленты реки, был прелестен.

— Как красиво! — воскликнула Людовика. — Как должны быть счастливы люди, живущие здесь и не знающие всех мучений, на которые нас обрекли гордость и честолюбие!

Она наклонила голову и, тихо шепча молитву, перекрестилась, внимая звону колокола в утреннем воздухе.

Вскоре они въехали в деревушку, жители которой, стоя у дверей, почтительно кланялись.

Костюшко остановился пред трактиром, который можно было узнать по еловой ветке, воткнутой во фронтон; там он велел напоить коней, дать им овса, запасы которого нашлись у

хозяина, и спросил, где находится дворец князя Сапеги.

— Если вы, милостивый пан, переедете со своей супругой через Припеть, то по большой дороге через лес вы увидите на расстоянии одной мили просёлочную дорогу, которая через четверть часа приведёт вас прямо ко дворцу его сиятельства князя Сапеги, — ответил хозяин, удвоивший свою услужливость, когда услыхал, что прибывшие были гостями Сапеги.

При словах хозяина Людовика густо покраснела, а Костюшко пожал ей руку и прошептал:

— Будущность посылает нам луч высшего счастья; пусть это будет для нас хорошим предзнаменованием!

Кони были накормлены. Костюшко подал хозяину червонец, и тот, осчастливленный, перевёз их через реку.

Скоро и река была у беглецов позади.

Дорога, как им сказал хозяин, углублялась в густой еловый лес, в котором лишь изредка попадались одиночные лиственные деревья.

Тадеуш и Людовика оставили этот лес за собой; дорога извивалась большой дугой по равнине, на которой можно было видеть несколько разбросанных деревушек. Непосредственно возле

дороги стояла группа старых буков, под тенью которых расстилался мягкий ковёр мха.

— Посмотри сюда, моя возлюбленная! — сказал Костюшко. — Какое тут великолепное место! Оно подобно храму счастливого покоя. Отдохнём здесь, потому что и мы нуждаемся в подкреплении, а друзья снабдили меня кое-чем, чтобы нам не терпеть нужды.

Людовика испуганно уставилась на равнину.

— Посмотри, что там, мой друг! — сказала она, — посмотри!

Она указала рукой на одно место, которое было ясно видно на дороге, тянувшейся через поля.

Костюшко стал глядеть в указанном ею направлении, заслонив глаза рукою от ослепительных лучей утреннего солнца.

— Ты думаешь о тех всадниках, которые виднеются там на дороге? — спросил он.

— Да, мой друг, — дрожа, сказала Людовика, — это казаки; я узнаю их по их коням и копьям, блестящим на солнце. О, Боже мой, — заплакала она, — как я была права!

— Чего ты их боишься? — улыбаясь, произнёс Костюшко. — Это — один из патрулей, которые часто разъезжают по стране, чтобы перевозить известия от одного гарнизона к другому.

— Нет, это — казаки императрицы, посланные по нашему пути, — возразила Людовика, — О, посмотри же, посмотри же! Кажется, и они заметили нас... ведь они останавливаются...

— Они наверно раздумывают о том, по какой дороге им ехать, — произнёс Костюшко, всё ещё улыбаясь страху своей возлюбленной. — Патрули, спокойно разъезжающие по стране, не пугают меня; то, чего мы должны бояться, лежит позади нас; это — наши преследователи из Могилёва, а мы уже давно свернули с дороги. Нас будут искать по направлению к Пруссии, здесь же нас никто не подозревает. Но если ты боишься встретиться с теми казаками, то тем более нам следует отдохнуть здесь; а тем временем они там свернут на просёлочную дорогу, по направлению к ближайшему городу. Пожалуй, лучше и осторожнее избегать всякой встречи.

Людовика, дрожа, склонила головку и последовала за Костюшко, который свернул с дороги в лес.

Под буками около дороги он соскочил с седла, снял Людовику с коня и разнуздал животных, чтобы дать им попастись на свежей лужайке, предварительно привязав их за поводья к ветвям бука.

Он снял со своей лошади две так называемые лишки — узкие, гладкие корзины, которые в то время употребляли в Польше во время путешествий и которые и теперь польские крестьяне привязывают к сёдлам, когда едут в город на базар. В этих корзинах были несколько бутылок венгерского вина, холодная дичь, хлеб и яйца. Костюшко разложил всё это на траве и принялся весело угощать Людовику этим скромным завтраком.

Молодая девушка была очень утомлена и нуждалась в подкреплении. Глоток крепкого вина и несколько кусков холодной закуски подкрепили её и возвратили ей физические силы, а также мужество и надежды, так что уже вскоре она улыбалась, слушая Костюшко, а он, несмотря на собственное беспокойство, с которым он едва совладал, старался развеселить и успокоить её. Таким образом всё должно было радостно настраивать молодое сердце и наполнять его надеждой. Местечко дышало тишиной и миром под тенью буков, зелёные верхушки которых изредка пропускали золотистые дрожащие и играющие лучи солнца. Здесь, среди этой прекрасной, мирной, неосквернённой природы, молодые люди, сидя вдвоём на нежном, мягком ковре из мха, унес-

лись далеко от всех дел и забот мира; голубое небо отражалось в их горевших счастьем глазах, а уста тихо шептали слова любви, как будто хотели скрыть свою сладкую тайну даже от лесных эльфов.

Но, как ни была очаровательна эта стоянка, Костюшко всё-таки стал понуждать к отъезду; хотя он и знал, что необходимо беречь силы лошадей и их самих, но также признавал необходимость продолжать бегство, не останавливаясь без надобности, чтобы скорее достичь спасительной границы.

— Наши кони подкрепились, — сказал он, — мы можем теперь сделать большое расстояние, прежде чем понадобится снова остановиться для отдыха.

Он тщательно уложил опять весь запас в обе лишки, взнуздал коней и поднял Людовику на седло.

Когда они выехали из лесной тени, молодая девушка вздрогнула и, остановив коня, воскликнула:

— Посмотри, друг мой! те два казака всё ещё там, где мы их сначала увидали; они остановились на большой дороге. Боже мой, что это значит?

— Во всяком случае ничего, что касалось бы нас, — спокойно сказал Костюшко. — Будем спокойно продолжать свой путь; нам надо ехать вперёд. Эти казаки, едущие нам навстречу, право, не опасны для нас. Проедем мимо них, и ты увидишь, что они не обратят на нас и внимания!

Он пустил своего коня лёгкой рысью, — точно так же, наверно поехал бы всякий молодой всадник, беспечно разъезжающий по стране.

Людовика последовала за ним, и её беспокойство стало проходить, когда она увидала, что оба казака, к которым они приближались, спокойно стояли на дороге и, по-видимому, мирно беседовали между собою.

— Они, должно быть, ждут своих товарищей, — сказал Костюшко, — или же назначили на этом месте свидание, чтобы встретиться здесь с другим патрулём и передать какое-либо послание.

Они всё ближе подъезжали к казакам, но те не двигались.

Вот они уже оказались от казаков в нескольких шагах. Костюшко поворотил своего коня в сторону, чтобы сначала объехать их, но в этот момент один из казаков, отдав честь, коротко сказал:

— Стой, барин!

Костюшко вздрогнул. Людовика, ехавшая

вплотную рядом с ним, схватила его руку, как бы ища помощи. Но тотчас же Костюшко спокойно, с гордым взором спросил:

— Чего тебе надо, казак?

— Простите, барин, что я останавливаю вас, — сказал солдат, — но таков приказ!

— Приказ? от кого? — спросил Костюшко.

— От коменданта Минска, который вчера поздно вечером выслал нас, чтобы объехать здесь все окрестности.

— И кого же вы должны здесь искать? — спросил Костюшко, осторожно кладя правую руку на один из своих пистолетов, находившихся в седле.

— Мы должны найти господина и даму, едущих верхами; описание подходит к вам и этой прекрасной даме!

— И всё же вы ошибаетесь! — слегка дрожащим голосом сказал Костюшко, — эта дама и я едем к князю Сапеге, и никто на свете не имеет права или повода преследовать нас.

— Это безразлично, — почтительно, но решительно возразил казак, — не мне это исследовать; мне дан приказ, который я должен выполнить, а потому будьте добры следовать за мной!

— А куда приказано вам отвести меня?

— В Минск к коменданту или в Гродно, — ответил казак, — смотря по тому, ближе к какому городу я встречу вас.

— А если я вам говорю, что вы ошибаетесь? — сказал Костюшко, лёгким пожатием руки Людовики стараясь ободрить её, — если я говорю вам, что я — не тот, кого вы ищете, и не последую за вами?

— Тогда, сударь, — сказал казак, делая знак своему спутнику, — мне приказано задержать вас и живым или мёртвым доставить в Гродно или Минск. Вы видите, что дело серьёзно, и потому прошу вас не принуждать меня прибегнуть к этому приказанию.

— А что будет с этой дамой? — спросил Костюшко.

— У этой дамы мы не смеем и волоска тронуть, — ответил казак, — но должны доставить и её. Если она не последует за нами добровольно, то...

— Ну, мой друг, — сказал Костюшко, делая над собою усилие, чтобы спокойно улыбнуться, — здесь, должно быть, недоразумение, и для вас могут быть большие неприятности, если вы исполните приказание, вовсе не относящееся ко мне. Не столковаться ли нам лучше вот так? Возьмите это, — продолжал он, вынимая из кар-

мана кошелёк и давая казаку гость червонцев, — и отпустите меня своей дорогой.

Казак посмотрел горящими глазами на золото, которое представляло для него целое состояние, поколебался одно мгновение, но потом грустно покачал головой и, вздохнув, сказал:

— Нет, не ладно так будет, барин! Ведь сама матушка царица повелела! Так сказал комендант, а уж тут раздумывать либо уклоняться нельзя!.. К чему мне будет ваше золото, если я должен буду погибнуть в Сибири или истечь кровью под кнутом? — сказал он, содрогаясь. — Поэтому вы уже лучше подчинитесь приказу!.. Вам, наверно, зла не желают, и вам нечего бояться, потому что мне также велено обращаться с вами учтиво и, если вы добровольно последуете за мной, во всём остальном слушаться вас!

Костюшко спокойно спрятал кошелёк и наклонил на минуту голову как бы в раздумье, после чего прошептал Людовике:

— Следуй за мною!

Затем он с быстротою молнии выхватил пистолет из кобуры и в упор выстрелил в казака, так что тот немедленно упал с лошади.

Не успел другой казак сообразить это внезапное нападение, как Костюшко уже выхватил саблю

из ножен и нанёс казаку тяжёлый удар по голове, так что тот качаясь упал на шею своего коня. После этого Костюшко пришпорил коня и, крепко держа свою возлюбленную за руку, помчался изо всех сил по дороге. Но не успели они проехать и маленькое расстояние, как встретили на дороге опять патруль из нескольких казаков, быстро мчавшихся к ним.

— Смотри, Тадеуш, смотри! — воскликнула Людовика, показывая в сторону на мелкие кусты вблизи деревни, откуда тоже неслось через поля несколько казаков.

В то же время с другой стороны лесной опушки появились всадники с блестящими копьями.

Бегство было невозможно. Беглецы были окружены со всех сторон.

Скрежеща зубами, Костюшко остановил свою лошадь, а Людовика, плача, прижалась к нему.

— Это — козни злого демона, — воскликнул Костюшко, — или подлая измена! Но нет, измена невозможна!., мои друзья и старый Мечислав не способны на это! Нет, нет, этого быть не может! Неужели демоны ада находятся в услужении Екатерины? Иначе невозможно! Если бы мы действительно были настолько впереди, как мне это обещал Потоцкий...

— Мы погибли, друг мой! — в отчаянии воскликнула Людовика! — Спасайся! Один ты можешь бежать, можешь пробиться через этих сыщиков... быть может, они не станут преследовать тебя, если мы расстанемся. Беги, друг мой, беги и предоставь меня моей судьбе!

— Никогда! — мрачно сказал Костюшко, обняв за плечи дрожащую девушку.

Вдруг за ними раздались громкие крики, и со всех сторон к ним понеслись казачьи патрули, направляя на них острия своих копий.

— Держите их, держите! — послышалось позади беглецов со стороны поля.

— Это — мой отец! — крикнула Людовика и, внезапно испугавшись, бросилась вперёд.

Но казаки быстро окружили их и остановили.

Костюшко огляделся. Грозящая опасность вернула ему его хладнокровие. В этот момент он был только воином, измеряющим силу своего противника, чтобы, сообразуясь с нею, рассчитать нападение.

Из того леса, где он с Людовикой скромно закусывал в тени буков, теперь выезжал большой отряд казаков, и во главе его находился граф Сосновский, размахивавший блестящей саблей.

Пред Костюшкой стояли теперь сплошной ли-

нией патрули, собравшиеся около обоих раненых казаков. Сзади него, около своей лошади, стоял один из последних, опершись на копьё, другой же лежал на коленах на земле. Для Костюшко ещё была бы возможность бегства в сторону через поля, если бы его лошадь выдержала это состязание в беге; быть может, его даже перестали бы преследовать, если бы Сосновский получил свою дочь в свою власть; но ведь тогда он должен был бы лишиться возлюбленной, а эта мысль не могла иметь место в его рыцарском сердце; поэтому он решился ждать и не подвергать жизнь Людовики и свою опасности в бесполезной борьбе; ему казалось, что самая большая опасность миновала; он был уверен, что после всего случившегося здесь при свидетелях невозможно было бы, чтобы Людовика была продана графу Бобринскому; гордая императрица Екатерина Алексеевна никогда не допустила бы такого союза для своего любимца, которого всюду называли её сыном.

— Мужайся, Людовика! — сказал он своей возлюбленной, — Бог над нами!

После этого, скрестив руки, он стал спокойно глядеть навстречу Сосновскому.

Тот подскакал на своём покрытом пеною коне и, обращаясь к дочери, крикнул:

— Ах, ты, негодное дитя! Ты могла настолько забыть честь своего имени! Теперь ты почувствуешь мою власть!.. А ты, подлый изменник, — крикнул он Костюшке, — ты смел из праха своего ничтожества поднять взор к моей дочери? Ну, ты поплатишься за свою дерзость!.. Похититель подлежит власти закона, вор драгоценностей моей дочери, — прибавил он с громким насмешливым хохотом, — не избежит своей кары. Великая государыня справедлива, и тебя ожидают рудники Сибири!

Костюшко побледнел, как полотно; его глаза зажглись страшным гневом, но громадной силой воли он сдержал его проявление.

— Вы не в полном рассудке, граф Сосновский, — произнёс он, — а потому я не будут взвешивать ваши слова. Вы ведь знаете, что императрица не имеет никакой власти над свободным польским дворянином, кровь которого подобна вашей. Обдумайте то, что вы говорите и делаете!.. Ваша дочь последовала за мной по доброй воле... Подумайте, не лучше ли будет для вашей дочери и для чести вашего имени, если вы всё-таки сделаете то, о чём впоследствии, ей Богу, не пожалеете, и я клянусь быть вам хорошим сыном и всю свою жизнь положить на то, чтобы приобрести вашу

любовь.

— Будь чёртовым сыном, негодяй! — крикнул Сосновский. — Впрочем, к чему слова? Схватите его и отведите обратно в Могилёв; императрица сама произнесёт свой приговор по поводу этого наглого похищения, совершенного в её высочайшем присутствии!

Казачий офицер, находившийся в отряде, сопровождавшем Сосновского, не двигался с места; казаки тоже молча стояли кругом. Эти сыны степей, казалось, сочувствовали преследуемым, и не один сострадательный взгляд упал на смертельно бледную красивую девушку и на рыцарски гордого мужчину. Но затем офицер, начальствовавший над отрядом, сопровождавшим Сосновского, подъехал к нему и сказал:

— Адъютант нашей всемилостивейшей императрицы предоставил меня в распоряжение вашего превосходительства, а потому я прошу вас дать мне решительный приказ арестовать этого господина, я же лично не беру на себя ответственность!

— Я беру на себя всякую ответственность, — воскликнул Сосновский, — я, маршал литовский, приказываю вам арестовать этого дерзкого похитителя девушки и вора драгоценностей и

представить его в Могилёв на суд государыни императрицы. Не медлите! Малейшее неповиновение повлечёт за собою строгое наказание!

Вне себя от бешенства он бросился на Костюшко и схватил его за руку, но тот с быстротою молнии вырвал из седла свой второй пистолет и направил дуло оружия на грудь Сосновского.

— Остановись, Тадеуш! — крикнула Людовика, — ради Бога, остановись!.. Ведь это — мой отец!

Костюшко опустил руку с оружием, и в ту же минуту, по знаку офицера, несколько казаков подскакали к нему сзади; в одно мгновение они вырвали саблю Костюшки из её ножен и пистолет из его рук.

— Отлично! — с насмешкой крикнул Сосновский, — разбойник и негодяй пойман. Теперь обратно в Могилёв! За каждый час, на который мы раньше прибудем, обещаю вам каждому по червонцу! Но смотрите, чтобы он не сбежал!.. вы ответите пред императрицей за его голову!

В этот момент офицер обратился к Костюшке:

— Надеюсь, вы засвидетельствуете, что я действовал только по распоряжению графа Сосновского; это был долг моей службы, согласно повелению государыни императрицы.

Костюшко молча кивнул головой.

Печальное шествие двинулось лёгкою рысью по дороге к Могилёву, после того как несколько казаков было командировано, чтобы позаботиться о раненых и доставить их до ближайшей станции.

Впереди ехал отряд казаков, окружавший Людовику, которая сидела на своём коне в тупом равнодушии и неподвижно глядела вперёд сухими, без слёз глазами. За ними следовал Костюшко со своей охраной. Он был бледен, мрачен и иногда с укором поднимал взор к небу, как бы спрашивая, почему Бог покинул двух людей, единственная вина которых заключалась в их любви. Сосновский следовал сзади, наблюдая за шествием. На его бледном, вялом лице играли зловещие чувства мести и непримиримой ненависти.

Весь поезд приблизился к тому месту, где беглецы недавно отдыхали. Это местечко под буками было по-прежнему тихо и мирно и по-прежнему золотились солнечные лучи сквозь зелёную листву.

Людовика взглянула туда, и поток слёз брызнул из её глаз. На мгновение она, рыдая, опустила голову на грудь, а потом остановила коня.

Весь поезд тоже остановился.

— Что случилось? — крикнул Сосновский подскакивая. — Вперёд, вперёд!

— Остановись, отец! — воскликнула Людовика, — остановись и выслушай меня! Взываю к тебе ради чести твоего имени, прежде чем ты поедешь дальше! Здесь, — продолжала она, возвышая голос, — пред лицом Неба и всех этих людей я признаюсь, что я принадлежу Тадеушу Костюшке теперь и навсегда неразлучно, как только может принадлежать на земле женщина мужчине. Слушай это, отец мой, слушайте это вы, люди, носящие оружие в руке и верное сердце в груди! А теперь подумай, отец; неужели после этого признания, которое я буду повторять везде, ты в состоянии насильно принудить меня к исполнению твоего плана? Нет, нет! Лучше путём примирения спаси сердце своей дочери и честь своего имени!

— Людовика! — в ужасе воскликнул Костюшко, — что ты делаешь? какое обвинение произносишь ты против меня и против себя?

— Ах, негодная! — прорычал Сосновский, поднимая с угрозою кулак, — ты смеешь говорить о чести моего имени! Вперёд! — приказал он, — это — напрасная трата слов.

Но в этот момент из леса послышался топот

лошадей, и, когда поезд снова двинулся в путь, пред ним показался граф Игнатий Потоцкий на покрытом пеною коне; рядом с ним ехали Колонтай и Заионček. Несколько слуг следовали сзади. Все были вооружены с ног до головы.

Сосновский выехал вперёд. Игнатий Потоцкий остановил своего коня непосредственно пред ним.

— Друзья! — прошептал Костюшко, — о, Боже, что привело их сюда? Спасение они не могут принести. Неужели предательство шло от них? — сказал он совсем тихо, с тяжёлым вздохом опуская голову на грудь.

— А, вот и сам граф Сосновский! — проговорил Потоцкий, прикасаясь к шляпе, с угрозою в глазах и с насмешливой холодной улыбкой на устах. — Под каким странным конвоем встречаю я вас! казаки, ваша благородная дочь и мой друг Костюшко, по-видимому, пленник? Вероятно, вы тоже принадлежите к пленным, иначе какую же роль играете вы в этом странном шествии?

— Кто дал вам право задавать такие вопросы, граф Потоцкий? — возразил Сосновский, высокомерно задирая голову и бросая на графа мрачный, угрожающий взгляд, — Идите своею дорогою и не вмешивайтесь в мои дела!

— Когда спрашивает Потоцкий, — ответил граф, — то никто в целой Польше не посмеет не ответить ему, не исключая и вас, граф Сосновский! Итак, я повторяю мой вопрос: куда ведёте вы свою дочь и моего друга Костюшко? Мне кажется, вы играете здесь роль тюремщика, что, на мой взгляд, должен вам сказать, недостойно польского генерала.

— Ах, так? — вспыхивая от бешенства, крикнул Сосновский и, обращаясь к офицеру, произнёс, — скажите этому любопытному господину, что государыня императрица повелела вам во всём повиноваться мне и отвести мою опозоренную дочь и этого похитителя девушек в Могилёв на её суд.

Офицер наклонением головы подтвердил слова Сосновского.

— Польского дворянина на суд в Могилёв? — спросил Потоцкий, — это невозможно! И даже если её величество августейшая императрица Екатерина Алексеевна лично будет судить, — продолжал он, приподнимая на момент свою шляпу, — то и тогда она не имеет права произнести приговор над польским дворянином, которого судить может лишь сеймовая комиссия в Варшаве.

— Вы слышите, сударь? Слышите? — восклик-

нул Сосновский, — ведь это — бунт!

— Вы ошибаетесь, — возразил Потоцкий, — я очень хорошо знаю, что её величество императрица уважает право и никогда не совершит несправедливого деяния.

— Извините, граф, — сказал офицер, — я об этом не могу судить; мне известно лишь данное приказание, а оно состоит в том, что я должен исполнять распоряжения графа Сосновского. Он приказал мне отвести этого господина и эту даму в Могилёв, а о дальнейшем я ничего не знаю. Императрица будет судить, и я уверен, что она рассудит правильно.

— И я в этом уверен, — ответил Потоцкий, вежливо кланяясь офицеру. — Так, значит, это по вашему приказанию, граф Сосновский, вашу собственную дочь и свободного польского дворянина гонят по большой дороге казаки! Так послушайте, что я вам скажу: во имя её величества государыни императрицы, стоящей на страже справедливости в своей империи, и во имя Речи Посполитой, подданным которой вы состоите, я требую от вас немедленной отмены этого вашего распоряжения и, — прибавил он более мягко, — как ваш соотечественник, как сын одного с вами отечества, я прошу вас не проти-

водействовать счастью вашей дочери. Она уже доказала вам, как сильна её любовь к благородному сыну её отечества; не разрывайте же связи со своим единственным детищем! Вы приобретёте сына, лучше которого нельзя найти на земле, а я буду вашим другом на жизнь и смерть.

Сосновский, саркастически рассмеявшись, возразил:

— Здесь не место, граф Потоцкий, разыгрывать мелодраму. Вы слышали, что я действую от имени императрицы и что солдаты находятся в моём распоряжении. Очистите мне путь или вы будете отвечать за свои поступки пред государыней!

Потоцкий на мгновение задумался.

— Оставь его, мой друг, — произнёс Костюшко, — не хлопочи обо мне и оставайся на свободе, чтобы у моей Людовики был хоть один друг на земле.

Он посмотрел кругом, как бы соразмеряя силы.

Рядом с ним стояли его друг и трое слуг, а казаков было больше чуть не в десять раз; поэтому всякая борьба явилась бы только ненужным пролитием крови.

Потоцкий повернулся к офицеру и совершенно спокойно сказал:

— Так вы, сударь, действуете по приказанию

графа Сосновского и захватили в плен этого господина по его распоряжению?

— Так точно, — ответил офицер.

— Послушайте, граф Сосновский, — продолжал Потоцкий, — я не хочу вмешиваться и нарушать ваши отцовские права, а также не хочу переходить границы закона моего отечества; ведите свою дочь! Бог рассудит вас и, я надеюсь, позаботится о её счастье. Но я требую от вас, чтобы вы немедленно дали свободу дворянину Костюшко.

— Вперёд! — воскликнул Сосновский, — вперёд, довольно слов!

Однако в мгновение ока Потоцкий очутился рядом с ним и схватил его за руку. Колонтай и Заионček, следившие за каждым движением графа, схватили поводья лошади Сосновского, и, прежде чем последний успел сообразить, что происходит, Потоцкий выхватил из его седла пистолет и приставил дуло к его виску.

При полной тишине послышался звук взводимого курка. Сосновский поднял руку по направлению к офицеру, раскрыл рот и хотел позвать, но Потоцкий заговорил раньше его:

— Если вы издадите хоть один звук или сделаете хоть одно движение, клянусь Богом и Пресвятою Девою, а также честью моего имени,

вы немедленно превратитесь в труп.

— Пощадите! — крикнула Людовика, — он — мой отец... убейте лучше меня!

Казаки неподвижно смотрели на своего офицера, с нерешительным и испуганным видом сидевшего на лошади, так как выражение лица Потоцкого не оставляло сомнения, что он сдержит свою клятву.

— Слушайте меня внимательно, граф Сосновский! — продолжал Потоцкий, прижимая к его виску дуло пистолета. — Прикажите немедленно отпустить Костюшко; если же вы этого не сделаете, то будете предателем своего отечества и бунтовщиком против законов нашего государства! Ваша жизнь в моих руках; я сосчитаю до трёх, и если вы в это время не дадите приказа отпустить пленника, то предстанете пред Вечным Судьёю. Не пытайтесь помешать мне! — обратился он к офицеру, — первое ваше движение явится смертным приговором графа.

Глубокое молчание царило кругом, слышны были только храп лошадей, дыхание людей и шуршание ветра в листве.

— Раз! — сказал Потоцкий.

Людовика закрыла лицо руками и зарыдала.

— Два!

Лицо Сосновского приняло земляной оттенок, черты лица страшно исказились; он закрыл глаза; его губы дрожали, а грудь колыхалась от прерывистого дыхания.

Губы Потоцкого раскрылись, чтобы произнести слово «три».

В это время Сосновский медленно заговорил:

— Отпустите пленника на свободу!

— Слушайтесь приказа! — сказал офицер, обращаясь к солдатам.

— Слушаем, — отвечали все.

Офицер подал знак. Солдаты отошли от Костюшки. Ему подали его саблю и пистолеты.

Потоцкий всё ещё держал дуло оружия у виска Сосновского.

— Чёрт возьми — проворчал Сосновский, — отпустите же меня!., ведь я исполнил ваше желание.

— Нет ещё, — сказал Потоцкий, — приказ может быть взят и обратно, и так как мы уже раз начали беседу таким не совсем приятным способом, то нужно довести её до конца. Простись, друг мой! — сказал он Костюшке. — Ты вряд ли достиг бы со своей Людовикой границы, так как ваш побег стал известен. Ожидай в безопасном месте, что пошлёт тебе Господь в будущем, о твоей судьбе

позабочусь я, и если что-нибудь против тебя будет предпринято, то я объявлю Сосновского нарушителем данного слова, и всё польское дворянство отречётся от него. Простись, друг, и клянусь тебе честью и Богом, что твою Людовику не станут принуждать ни к чему, пока моя грудь дышит, а рука держит саблю. Я буду всегда подле неё и буду защищать её, может быть, лучше, чем ты.

Костюшко приблизился к Людовике и протянул ей руку.

— Прощай, моя возлюбленная! — сказал он, — может быть, Небо не защитило нас потому, что мы действовали против его велений, так как ведь Господь повелевает повиноваться даже жестоким родителям. Если нам суждено быть разлучёнными на земле, то мы свидимся впоследствии пред престолом Всевышнего, Который охотно прощает вину любви. Не будем однако отчаиваться и сохраним в своих сердцах земную надежду! Мой друг сдержит свою клятву и защитит тебя.

Он прижал руку Людовики к своим губам. Она же обняла его за шею руками, поцеловала в губы и воскликнула:

— Я твоя, мой дорогой, в этом и будущем свете!

Они долго стояли обнявшись, затем Костюшко отвернулся и молча протянул руку своему другу.

Потоцкий подал ему левую, не выпуская из правой пистолета.

— Бог с вами! — сказал растроганный казацкий офицер. — Я сделал то, что был должен сделать.

Костюшко протянул и ему свою руку, сказав при этом:

— Я знаю долг солдата; вы были орудием судьбы. До свиданья! — громко воскликнул он, прощаясь мановением руки и пуская лошадь галопом по дороге.

Потоцкий подождал, пока он не скрылся за ближайшим поворотом дороги, и лишь тогда отнял пистолет от головы Сосновского.

— Это было нападение, — сказал последний, — преступное принуждение, за которое вы ответите, граф Потоцкий!

— Я всегда готов отвечать за свои действия, — ответил Потоцкий. — Но берегитесь нарушить своё слово, так как пистолетная пуля найдёт свою цель и отсюда.

— Я не мог бы, — сказал казацкий офицер, прежде чем успел ответить Сосновский, — исполнить новый приказ его превосходительства; моей службой нельзя играть, как игрушкой.

Сосновский бросил на офицера угрожающий взгляд и сказал:

— Может быть, даже к лучшему, что этот дерзкий похититель избежит теперь наказания; я постараюсь, чтобы ему навсегда были закрыты границы Польши.

— Да, пока такие люди, как вы, будут управлять нашим отечеством, — возразил ему Потоцкий. — До свиданья, графиня Людовика! — продолжал он, протягивая руку плачущей девушке, — я буду наблюдать за вами и буду знать, где вы и что с вами. Положитесь на меня, как сделал это мой друг! Идём, друзья мои, — воскликнул он, — графу Сосновскому было бы не особенно приятно совершать обратный путь в нашем обществе.

Он поклонился офицеру и удалился крупным галопом, сопровождаемый Колонтаем и Заиончеком, в то время как Сосновский и казаки последовали за ним мелкою рысью.

XIV

Императрица Екатерина Алексеевна, по обыкновению, встала рано. Она узнала, что император Иосиф уже около часа как вышел, соблюдая строгое инкогнито, чтобы осмотреть большие кожевни в городе, который являлся центром распространённой торговли, захватывавшей даже Австрию.

Государыня была довольна возможностью остаться на некоторое время одной, освобождённой от того стеснения, которое накладывали на неё обязанности гостеприимства, а также и тем, что она могла начать день обычным порядком.

В великолепном расположении духа она сидела в своём кабинете, куда через открытые двери вливался светлый весенний воздух парка, и завтракала, как всегда, кофе и простым белым хлебом.

При ней находились графиня Брюс, её первая придворная дама, и её адъютант, Римский-Корсаков, на лице которого отражалось хорошее расположение духа его повелительницы.

Императрица, как всегда, когда она находи-

лась в обществе своих наиболее преданных лиц, проявляла почти детскую весёлость, сбросив с себя личину повелительницы, мысли которой одинаково обнимали и далёкие окраины её государства, и политику европейских дворов и которая всегда стояла на страже охранения своего имущества и влияния на недовольные партии и на интриги чужеземных кабинетов.

На столе рядом с золотым кофейным прибором лежал пакет, содержавший в себе сообщения её послов и тайных агентов изо всех европейских столиц, которые дважды в день привозились ей из Петербурга курьерами. Некоторые из этих сообщений были исписаны на полях замечаниями, сделанными рукою Потёмкина, которому эти сообщения доставлялись раньше императрицы, а затем вместе с её распоряжениями передавались им же князю Безбородко для исполнения.

Хотя Екатерина Алексеевна и вполне доверяла князю Потёмкину, отдавая должное его энергии и своеобразному уму, тем не менее она никогда не пропускала чтения политических сообщений, очень хорошо зная, что каждый повелитель становится беспомощным, если, слепо доверяя хотя бы и преданному слуге, перестаёт сам работать и не знает положения дел. Поэтому точное знание

всех дел она считала необходимым для себя и последнее решение всегда оставляла за собою. И часто случалось, что это решение шло как раз вразрез с мнением и желанием всемогущего Потёмкина, который однако всегда подчинялся воле императрицы без всякого противоречия, так как, несмотря на её благоволение к нему, он всегда чтил её как свою повелительницу.

Но сегодня императрица ещё не развернула перевязанного шёлковым шнуром пакета; она по-видимому хотела насладиться прекрасным, мирным утром, вознаградить себя за стеснения последних дней. Время, положенное для завтрака, уже давно миновало, а императрица всё ещё продолжала непринуждённый разговор, нередко подсмеиваясь над странностями своего высокого гостя; его изысканную простоту, его постоянное стремление к прозрачному инкогнито она называла тщеславием и весело вышучивала его педантичную речь, которая нередко казалась набором цитат и сочинений Руссо и напоминала речь присяжного учёного.

— Он говорит необдуманно, — заметила Екатерина Алексеевна, — и поэтому привык и действовать необдуманно. Его мать — совсем другой человек; она была тверда и постоянна в

несчастий. Она была права, удерживая его насколько возможно долее от самостоятельного управления государством; так должна поступать каждая мать, если она видит, что в её руках бразды правления будут натянуты крепче, чем в руках слабовольного сына. Однако он станет скоро совершенно самостоятельным, так как жизнь Марии Терезии быстро клонится к концу; Иосиф причинит много беспокойства и быстро износится душевно, благодаря беспокойной и беспорядочной деятельности; но благодарности он не дождётся; того, к чему он стремится, ему не достичь. Но моим целям он может оказаться полезным.

— Он придаёт себе вид философа, — произнёс Римский-Корсаков, самодовольно оглядывая себя в разные зеркала, — а на самом деле он — больше деспот, чем кто-либо другой, и высокомернее, чем наша всемилостивейшая императрица. Разве он не показал вида, что оскорблён и обижен, когда я позволил себе заговорить с ним? Подобает ли такое высокомерие ученику Руссо, проповедующему равенство всех людей?

— Ты выказал некоторую навязчивость, друг мой, — смеясь, сказала государыня, — и не должен больше позволять себе это, хотя меня всё-таки

позабавило видеть недовольство императора. Почему он постоянно так желает быть только графом Фалькенштейном? И, мне кажется, он не должен был бы удивляться, если иногда с ним и обращаются, как с таковым. Только всё-таки ты не должен себе позволять больше ничего подобного в моём присутствии.

Некоторое время разговор шёл ещё в этом тоне и, лишь после того как императрица истощила весь запас острот по поводу императора Иосифа, она перешла к ещё более безжалостной критике отдельных польских магнатов, явившихся к ней на приём.

Графиня Брюс и Римский-Корсаков приняли в этой критике самое живое участие. Оба они, пока разговор касался императора Иосифа, выказывали большую сдержанность, так как хотя государыня и позволяла себе делать саркастические замечания по поводу коронованных особ, но своим приближённым не разрешала следовать её примеру и выказывать непочтение в её присутствии помазанникам Божиим. Даже дерзкий фаворит Римский-Корсаков редко позволял себе, и то только в минуту особенно хорошего расположения духа повелительницы, выпад подобный тому, какой он накануне сделал по адресу им-

ператора.

С поляками этих церемоний не требовалось, и потому графиня Брюс вместе с Римским-Корсаковым изощряли своё остроумие над «сарматскими варварами», над их остриженными в скобку волосами, над национальными костюмами.

Все эти замечания императрица принимала сегодня особенно благосклонно, и звонкий, весёлый смех не раз вырывался из кабинета в парк, расстилавшийся вокруг дворца и окружённый часовыми на всём протяжении.

Когда наконец Екатерина Алексеевна нерешительно протянула руку, чтобы развязать шнур пакета, что являлось знаком окончания беседы и началом занятий государственными делами, в кабинет вошёл паж, доложивший, что графиня Елена Браницкая просит её императорское величество принять её.

Императрица сначала выказала удивление, а затем на её губах заиграла торжествующая улыбка. Она дала пажу знак впустить графиню и, обращаясь к графине Брюс и своему адъютанту, сказала:

— Ступайте пока в парк, но не слишком удаляйтесь, чтобы я имела вас под рукою, когда придёт граф Фалькенштейн.

Графиня Брюс и Римский-Корсаков, послушные приказанию, исчезли в тенистой аллее, а в комнате появилась графиня Браницкая в простом тёмно-синем утреннем туалете с кружевным платком на голове, который был прикреплён к волосам крупным рубином чудной красоты. Она была бледна; её глаза лихорадочно блестели.

Екатерина Алексеевна поднялась и протянула ей руку. Графиня прикоснулась к ней губами и сказала голосом, в котором ясно звучало внутреннее волнение:

— Прошу у вашего императорского величества прощения в том, что я осмелилась так рано беспокоить вас! Дело у меня очень спешное, и я узнала, что вы, ваше императорское величество, уже встали.

— Графиня Браницкая — всегда мой желанный гость, — возразила императрица с изысканной любезностью, которой владела в совершенстве. — Она умеет, — улыбаясь продолжала она, — затмевать всех женщин при свете свечей в бальном наряде и при утреннем свете соперничать в свежести с весенней природою.

— Ваше императорское величество! Вы слишком милостивы, — нетерпеливо ответила графиня. — Но я пришла не для того, чтобы услыхать

незаслуженную похвалу себе из ваших уст; у меня есть просьба, огромная просьба к вам, как к женщине и как к императрице, и если императрица не захочет внять моей просьбе, то женщина выскажется в мою пользу.

Снова по лицу государыни пробежала улыбка гордого удовлетворения, и она сказала:

— Я буду особенно рада, если буду в состоянии исполнить желание первой дамы Польши, которую, — прибавила она улыбаясь и как бы с упрёком, — я до сих пор не имела причины считать своим другом.

— Я люблю своё отечество, ваше императорское величество, — промолвила графиня, — и столь сильно оплакиваю его распад, что решила пожертвовать своим одиночеством и прибыть сюда, чтобы принести вам, ваше императорское величество, выражения своего почтения и доказать вам, что я надеюсь получить порядок и свободу моего отечества из вашей руки.

Брови императрицы на один момент грозно сдвинулись.

— Но всё это, — продолжала графиня, — не касается того, что привело меня сюда; я имею личную просьбу, совершенно частного характера, которую я хотела бы изложить вам, ваше

императорское величество.

— Я слушаю, графиня, — сказала императрица.

— Ваше императорское величество! — торопливо заговорила графиня, как будто спеша как можно скорее дойти до цели разговора, — вы составили себе определённое намерение относительно дочери графа Сосновского или, — продолжала она, видя, что императрица с видом неприятного удивления подняла голову, — вы покровительствовали планам Сосновского, который стремится возможно больше приблизить свою дочь к вашему двору.

— Ну, что же дальше? — спросила императрица.

— Ваше императорское величество! — сказала графиня, — эти планы не должны быть приведены в исполнение, если вы не хотите отдать в жертву горя и тоски два благородных сердца.

— Не понимаю, — холодно и строго сказала императрица, — почему вы интересуетесь делом, которое я устроила, чтобы защитить отцовские права графа Сосновского?

— Вот именно поэтому-то я и здесь, ваше императорское величество, — воскликнула графиня. — Вы не должны были делать это! Людовика Сосновская любит благородного молодого чело-

века, Костюшко, она не должна быть принесена в жертву! Заклинаю вас, ваше императорское величество, защитите любовь бедной девушки — вот первая просьба, которую я приношу вам, первая, которую я вообще приношу человеку, и она будет последней. Возвратите свободу Людовике Сосновской, не принуждайте её отдать свою руку графу Бобринскому, которого она никогда не будет любить, не может любить, потому что в её сердце горит огонь любви к другому.

Глаза императрицы гневно заблестели.

— Кто стоит на вершинах общества, — сказала она, — тот не должен слушать капризы своего сердца!

— Чужое сердце конечно можно связать с нелюбимым человеком; но сердце, которое любит, будет разбито таким принуждением.

Говоря это, графиня Браницкая была дивно хороша в своём возбуждении.

Один момент императрица пронизывающим взором посмотрела на неё, а затем, по-видимому, какая-то мысль мелькнула у неё в голове и она промолвила:

— Хорошо, графиня, если я исполню вашу просьбу, исполните ли вы мою? Вы обратились ко мне как к женщине, и я склонна внять вашей

просьбе; но императрица во мне требует вознаграждения.

— Приказывайте, ваше императорское величество! — воскликнула графиня, — моя признательность за вашу милость готова на что угодно...

— Так вот, — сказала императрица, — вы были правы, графиня, я была согласна с планами Сосновского; мне хотелось сочетать браком графа Бобринского, который, не солгу, близок моему трону и сердцу, с дамой из высшей польской аристократии и тем пред всем светом открыто доказать мою прямодушную материнскую заботливость о польском королевстве и народе. Вы правы, этот план стал невыполним. Женщина, которую вы пробудили во мне, не может заставить другую женщину совершить пред алтарём клятвопреступление, а императрица тоже не хочет дать графу Бобринскому в жёны девушку, в сердце которой запечатлён другой образ, тем более, что она побегом наложила на свою репутацию пятно, которое я могу простить, но не смыть. Но из-за этого план императрицы не должен быть нарушен. Есть много польских дам, которые именем, красотою, умом и характером далеко превосходят графиню Сосновскую, в чём в данный момент я как нельзя лучше могла

убедиться. Если для подкрепления моих забот и моей любви к Польше граф Бобринский вместо Людовики Сосновской женится на графине Елене Браницкой, самой знатной даме польского дворянства, кузине короля, то всё будет в порядке и цель императрицы будет достигнута.

Графиня побледнела. Она выпрямилась и сверкающим угрозою взором глядела на императрицу; казалось, с её губ сейчас слетит ужасное слово гнева и презрения.

Екатерина Алексеевна закинула назад голову; вся гордость всемогущей самодержицы отразилась на её лице.

Взоры обеих женщин скрестились, как острые клинки шпаг.

— Итак, графиня, — резко проговорила государыня, — женщина готова исполнить вашу просьбу, а императрица выразила своё желание; каков же будет ваш ответ?

Губы графини тряслись, но уничтожающее слово, готовое было уже слететь с них, превратилось во вздох, вырвавшийся из её груди. Всё её тело содрогнулось. Страшная внутренняя борьба потрясла её всю. Она потупилась. Вместе с тем она всё больше и больше приобретала над собою власть и через несколько секунд уже снова бы-

ла спокойна; только мертвенная бледность да неестественный блеск глаз говорили о её внутреннем волнении.

— Выслушайте меня, ваше императорское величество! — начала она. — Я не могу дать ответ императрице, прежде чем снова не обращусь к женщине и не окажу ей доверия, которого не оказываю ни одному человеку в мире. Я взяла на себя большую вину; Бог потребовал от меня, чтобы я возложила на себя это бремя, может быть, тягчайшее изо всех, которые могут быть наложены.

— Я слушаю, — коротко сказала императрица.

— Я пришла, — продолжала графиня, — просить милости у вашего императорского величества, потому что я виновата в том, что за влюблённой парочкой, которую я едва знаю, была устроена погоня.

— Это — ваша вина? — удивилась императрица.

— Да, ваше императорское величество, я узнала об их побеге и уведомила об этом Сосновского. Я виновата в том, что за ними вскоре была начата погоня и таким образом они не успели воспользоваться временем.

— Вы, графиня? — всё более удивлялась импе-

ратрица, — и теперь, погубив влюблённых, вы приходите ко мне просить моей защиты для них же? Объяснитесь! я не в состоянии понять здесь ничего.

Тёмная краска залила лицо графини. Снова вся она точно содрогнулась от внутренней борьбы. Глухим голосом и потупившись она заговорила:

— Я узнала об их побеге, я выдала их Сосновскому, потому что ошиблась: я думала, что графиня Людовика бежала не с Костюшкой.

— Не с ним? — спросила императрица, — а с кем же?

— Костюшки не было; я не знала, что он скрывался тут же; я видела, что графиня Людовика всё время оживлённо беседовала с другим и вместе с ним покинула бал; я последовала за ними, услышала топот удалявшихся коней, и мне показалось, что она бежала с этим другим.

— Кто же он? — спросила государыня, — кто посмел совершить такой шаг на моих глазах?

— Ваше императорское величество! вы не должны гневаться на него, — сказала графиня, — вы должны обещать мне сохранить всё это в тайне.

— Хорошо, я обещаю.

— Это был граф Игнатий Потоцкий, — ответила

графиня так тихо, что государыня едва уловила имя.

Наступила минута молчания. В глазах императрицы промелькнула мысль, и она в задумчивости склонила голову.

Графиня Браницкая сжала на груди руки и заговорила:

— Ваше императорское величество! вы сказали, что граф Бобринский не может отдать свою руку женщине, которая носит в сердце образ другого человека, что императрица, хотя и имея власть, не станет принуждать женщину приносить пред алтарём ложную клятву. Теперь вы, ваше императорское величество, понимаете, почему я, желая спасти влюблённую парочку, не могу принести жертву, которая не может к тому же быть принята ни императрицей, ни женщиной. — Сгорая от стыда, она опустилась к ногам императрицы и схватила руки. — Помилуйте, государыня, не ставьте никаких условий, и моя жизнь будет принадлежать вам!

Екатерина Алексеевна долго смотрела на неё. Эта прелестная, гордая женщина, теперь склонённая у ног императрицы, являла собою трогательную картину. Глаза государыни увлажнились, и она, поцеловав в лоб графиню Елену,

сказала:

— Встаньте, графиня, я умею ценить благородное доверие, вы не разочаруетесь. Я не могу заставить Сосновского исполнить желание его дочери; мне неприлично вмешиваться в отцовские права, но даю слово, что никакого принуждения не будет предпринято по отношению к этой девушке.

— Благодарю вас, ваше императорское величество, благодарю! — воскликнула графиня, покрывая поцелуями руки императрицы.

В то же время последняя промолвила:

— Быть может, впоследствии, когда мои враги будут рисовать меня как тирана Польши, вы вспомните наш сегодняшний разговор и докажете им, что я больше забочусь о справедливости, чем те магнаты, которые сделали из Польши игрушку своего честолюбия.

Лёгкая тень промелькнула по лицу графини.

— Я никогда не забуду, — серьёзно сказала она, — чем обязана вам, ваше императорское величество, и что моё место не может быть среди ваших врагов.

Сказав это, графиня Браницкая поднялась, поцеловав руку императрицы.

Вошёл паж и доложил о приходе графа Сос-

новского.

— Быть может, влюблённые уже скрылись, — промолвила императрица, — может быть... Впрочем, мы сейчас всё узнаем. Останьтесь, графиня, здесь; вам вероятно интересно знать, чем окончится всё дело.

Графиня опустилась на кресло, которое ей было указано.

Сосновский вошёл. Его лицо было бледно и взволнованно.

— Прошу извинить меня, ваше императорское величество, что я являюсь в таком виде к вам. Но я должен сообщить вам отчёт и поблагодарить вас за содействие. Я рад также видеть графиню Браницкую, так как только благодаря ей я мог вовремя захватить свою дочь.

Графиня потупилась, а императрица сурово заговорила:

— Было бы лучше, граф, если бы вы не являлись сюда в таком запылённом платье, так как я не хотела бы предавать огласке это дело. Но раз вы здесь, то рассказывайте!

— Мне удалось захватить дочь, ваше императорское величество, — сказал Сосновский, смущённый таким холодным приёмом.

— А молодого дворянина Костюшко?

— Он теперь спешит достичь границы, — ответил Сосновский. — Я дал ему свободу, чтобы избежать скандала, который был бы вызван его арестом.

— Было бы лучше, — строго сказала Екатерина Алексеевна, — если бы вы привели его сюда, чтобы я лично могла осудить его или помиловать.

Сосновский замолчал. Он не понимал, почему так строга императрица.

— Вы, понимаете, граф, — продолжала государыня, — что теперь не может быть и речи о том плане, который был задуман мною раньше.

— Как? — воскликнул Сосновский, — я думал, вы и граф Бобринский...

— Я никогда не называла имени графа Бобринского, — возразила императрица.

— Но ведь теперь всё обошлось благополучно, — сказал Сосновский.

— Да, но об этом все знают, и потому о браке не может быть речи.

— Благодарю вас, ваше императорское величество, — прошептала графиня Браницкая.

— Так, значит, я напрасно поймал беглянку? — пролепетал граф.

— Нет, не напрасно, — возразила Екатерина Алексеевна, — открытие побега по крайней ме-

ре осведомило о том, что вы скрыли от меня, а именно, что сердце вашей дочери несвободно; это могло навлечь на вас мой гнев. Я согласна простить вас за то, что вы обманули меня, но лишь в том случае, если вы поступите справедливо со своею дочерью и не станете препятствовать её счастью.

— Никогда не отдам я её в руки этому разбойнику, — воскликнул в злобе Сосновский.

— Вы — не мой подданный, граф Сосновский, — холодно сказала Екатерина Алексеевна, — иначе вы не стали бы восставать против моего совета. Но я никогда не вмешиваюсь в семейные дела, я могу только советовать.

— Потребуйте от меня умереть, — воскликнул Сосновский, — но я не могу исполнить желание, которое покроет позором мой дом.

— От позора я уберегла вас, дав вам возможность скрыть побег вашей дочери, — промолвила императрица, — а о моих словах вы подумаете, когда успокоитесь. Но я решила защищать вашу дочь от всякого принуждения; соблюдая и уважая отцовские права, я не хочу, чтобы ими и злоупотребляли. Графиня Браницкая получила от меня обещание этого.

— Графиня? — в недоумении воскликнул

Сосновский, — но она же мне сама дала совет обратиться к вам?

— Поблагодарите её, — сказала императрица, — так как она предотвратила позор, который мог обрушиться на вашу голову! Но она не хочет, чтобы теперь ваша дочь испытывала принуждение с вашей стороны. Ваша дочь найдёт приют в здешнем монастыре кармелиток, и я дам архиепископу приказ охранять её от всякого понуждения с вашей стороны, и малейшая ваша попытка вызовет мой справедливый гнев. В этом монастыре она будет отдыхать от пережитых ею волнений и, спокойно предоставив себя Провидению, ожидать будущего, моля Бога, чтобы Он благоприятно устроил её судьбу.

— Вы хотите, ваше императорское величество, взять у меня моего ребёнка, поддержать и потворствовать его непослушанию? — воскликнул Сосновский.

— Ступайте, граф Сосновский, — холодно проговорила императрица, — постарайтесь научиться владеть собою, тогда вы сумеете лучше подбирать выражения.

Сосновский хотел говорить, но Екатерина Алексеевна сделала повелительный жест рукою; её глаза метали молнии. Граф ещё крепче прижал

свою руку к груди, низко поклонился и неуверенной походкой направился к дверям.

Почти на пороге он встретил графа Бобринского, который хотел было удержать его; но он с едва слышным проклятием на губах вырвался из комнаты.

— Что это с Сосновским? — воскликнул молодой человек, с почтительной преданностью целуя руку императрицы и учтиво кланяясь графине; — у него такой расстроенный вид. Неужели маршала так огорчило нездоровье его дочери? Это мне было бы очень больно; я должен сознаться, что явился сюда с тем, чтобы поговорить с моей всемилостивейшей государыней императрицей о красавице Людовике, образ которой глубоко запал в моё сердце.

— Ты позабудешь об этом, Григорий Григорьевич, — дружелюбно, но твёрдо произнесла Екатерина Алексеевна, — и я думаю, что тебе нетрудно будет возместить утрату, — с улыбкой прибавила она.

— Но я всё же предполагал, — обескураженно робко сказал Бобринский, — что вам, ваше императорское величество, нравилось, когда...

— Здоровье графини Людовики Сосновской сильно потрясено, — прервала его императрица,

— я только что приказала отвезти её в монастырь кармелиток, где вылечат её припадок; она не для тебя; я не желаю, чтобы ты более думал о ней.

Бобринский был совершенно обескуражен. Несмотря на свою дерзкую самонадеянность, по тону императрицы он всё же слышал, что путь для всяких дальнейших возражений отрезан, а он отлично знал границы, которые не смел переступать.

В этот момент паж отворил двери и доложил:

— Его сиятельство граф Фалькенштейн.

Вошёл император Иосиф.

На нём был простой, почти буржуазный костюм без орденской ленты; императрица пошла ему навстречу, и он галантно поцеловал её руку.

На улыбавшемся лице Екатерины Алексеевны никто не мог бы заметить и следа той трогательной сцены, которая только что разыгралась здесь.

— Я возвращаюсь с прогулки по городу, — сказал император, — и очень удивлялся цветущей промышленности среди населения; но ещё более удивляюсь я государыне, остриём своего меча угрожающей султану в Стамбуле и в то же время умеющей своею материнскою рукою извлекать плоды культуры из почвы своего государства.

— Я должна продолжать дело Петра Великого и быстрее, чем другие правители, вести вперёд свой народ, так как Россия отстала на целый век, — улыбаясь заметила Екатерина Алексеевна. — Если вам, ваше величество, будет угодно, — продолжала она, — то совершим прогулку по парку; сегодня прекрасное и свежее утро; ведь вы, ваше величество, хотите, чтобы мы на время позабыли о наших коронах и по-дружески поговорили друг с другом, а это легче всего сделать на чистом, вольном воздухе.

Иосиф подал императрице руку, поклонился графине Елене и Бобринскому, и их величества, весело разговаривая и смеясь, вышли в парк, залитый лучами солнца.

— Скажите мне, графиня, что случилось с Людовикой Сосновской? — спросил Бобринский.

— Не знаю; я очень мало знакома с этой дамой, — почти невежливо коротко ответила графиня и с беглым поклоном удалилась.

— Жаль! — сказал Бобринский, — она была так красива; я уверен, что и в самом деле влюбился бы в неё; государыня, по-видимому, согласна с этим, но она, как и все женщины, капризничает, а так как она — прежде всего императрица, то приходится сносить её капризы.

XV

По возвращении из своей злополучной поездки верхом, Игнатий Потоцкий выбрал самых надёжных и самых преданных своих слуг и приказал наблюдать за домом Сосновского и сообщать ему обо всём, что произойдёт с графиней Людовикой; таким образом он надеялся сдержать своё слово, данное Костюшке, и оградить возлюбленную своего приятеля от всяких принудительных мер. В Могилёве это было нетрудно, так как дом, занимаемый Сосновскими, как и все жилища состоятельных горожан, был расположен посреди сада и со всех сторон было видно, кто входил в дом и выходил оттуда. Потоцкий узнал между прочим, что к дому были принесены закрытые носилки, сопровождаемые самим маршалом. Из них вышла какая-то дама, и Сосновский лично провёл её в комнату дочери; при этом не был вызван никто из слуг, так что нужно было предполагать посещение какой-нибудь окрестной помещицы, желавшей не показываться открыто, чтобы не быть вынужденной таким образом засвидетельствовать своё почтение пред импе-

ратрицей. Таковы были сведения, полученные Потоцким; слуги дома Сосновских придали мало значения всему этому, и графа Игнатия успокоило уже то обстоятельство, что расстроившееся бегство осталось незамеченным и что Людовика до сих пор была в доме своего отца; пока последний оставался в Могилёве, она не могла быть увезена оттуда так, чтобы этого не заметили соглядатаи Потоцкого.

Получив это известие, граф, утомлённый сильной заботой и бешеной ночной скачкой, в продолжение нескольких часов отдыхал, чтобы вернуть своему телу силы, столь нужные ему при всевозможных планах, обуревавших его сердце.

Освежившись сном, граф снова поднялся и услышал, что в доме Сосновских всё спокойно и что никто не покидал его. Поэтому он вышел, чтобы посетить своего брата, которого до сих пор видел лишь мельком и с которым ему нужно было серьёзно переговорить. Граф уже вышел из дома, когда прискакал на взмыленном коне один из его слуг, оставленных им в Варшаве, и передал ему пачку писем, которые пришли к нему и которые граф, как и другие находившиеся в Могилёве важные вельможи, приказал доставлять ему с надёжными нарочными. Он бросил равнодушный

взгляд на большую часть писем и приказал отнести и положить их в его комнату; только одно из них, под печатью комитета прусской компании торгового мореплавания, он вскрыл, взглянул на содержавшуюся в нём бумагу и спрятал её к себе в карман.

— Отлично! — тихо произнёс он про себя. — Герне сдержал своё слово; нетрудно будет приобрести голоса, когда такой важный двигатель, как золото, выкажет свою убедительную силу. Печально, что это так, но ради достижения великой цели пригодны все средства.

Граф передал конверт с печатью слуге, чтобы положить к остальным письмам и эту бумагу, которую он не намерен был бросать. При этом из большого делового конверта выпала ещё маленькая, изящная записка.

Слуга нагнулся и подал её своему господину.

Граф Игнатий взглянул на изящный, несколько неуверенный почерк, которым был написан адрес на записке, и на резко выступавшую красную печать, изображавшую голубя с письмом в клюве.

Серьёзное, почти мрачное пред тем лицо графа сразу осветилось радостным выражением. Он сделал знак слуге, тотчас же понёсшему осталь-

ные письма по направлению к дому, разорвал конверт и пробежал взором письмо, написанное на шёлковой бумаге с золотым обрезом.

— Спасибо, — прошептал он, — спасибо за твой нежный привет, мой прелестный цветочек, обвившийся вокруг покрытого инеем ствола моей жизни, чтобы украсить его новой юной прелестью. Твой милый аромат, издалека доносящийся ко мне, живит и укрепляет меня во всякой борьбе, которая попадается на моём пути и которую мне предстоит ещё перенести, чтобы затем мирно срывать цветы любовного счастья.

Граф окинул взором вокруг, не подглядывает ли кто-либо за ним; но ни на дворе дома, занимаемого им, ни в его окнах не было никого. Тогда он пылко прижал к своим губам маленькую записку, с минуту вдыхал в себя нежный аромат духов, издаваемый бумагой, и затем спрятал последнюю у себя на груди.

Правда, никто из окон дома, никто во дворе не наблюдал за ним, но всё же в этот миг на него был устремлён взор пары пылких глаз.

Оставив Янчинский дворец, графиня Елена Браницкая с минуту колебалась и размышляла на его пороге. Затем она подозвала лакея, стоявшего у дверцы её экипажа, и приказала:

— Поезжайте домой, я хочу прогуляться пешком!

Экипаж уехал, и графиня твёрдою и гордою поступью направилась через двор на улицу.

— Да, — говорила она про себя, не обращая внимания на почтительные поклоны горожан, уже давно стоявших у дворцовой решётки, — да, это необходимо, я обязана дать ему отчёт во всём, что сделала и что он не может понять. Он очевидно ненавидит и презирает меня, так как я предала его друга... он должен знать, что я сделала всё, что была в состоянии сделать; он должен знать, что я преклонилась пред императрицей — врагом моего отечества, возносила ей свою благодарность и преданность, чтобы искупить тем свою измену и оградить Людовику от гнева её отца и от недостойного ига! А если он спросит, — произнесла она ещё тише, замедляя свой шаг, — почему я сперва выдала то бегство, чтобы затем... — Её лицо пылало, дивная улыбка легла на её губы, и она, подобно вырвавшемуся дыханию, робко прошептала: — государыня поняла меня, поймёт меня и он, если... если...

Графиня не окончила, но сияющим взором взглянула в синеву небес и с поднятою головою пошла дальше.

Наконец Браницкая достигла поворота на большую улицу и, быстро осмотревшись, сказала:

— Там, вот в том доме с обвитою зеленью решёткой... о, я отлично знаю, где он живёт!., ведь я должна знать это, чтобы иметь возможность отыскивать его своими мыслями, которыми я так долго принуждена была следить за ним издалека! Смелее, смелее, глупое сердце! высшее счастье жизни стоит минуты смирения, смирения пред ним, так высоко стоящим над всеми, пред ним единственным, на которого я когда-то обратила свой взор!..

Сердце графини усиленно забилось, её щёки пылали; она лёгким шагом перешла улицу и подошла к увитой зеленью решётке, охватывавшей с этой стороны двор пред домом Потоцкого.

Тут Браницкая увидела въехавшего во двор верхового и услышала голос Потоцкого. При звуке этого голоса она вся так и затрепетала и ближе прильнула к решётке, чтобы видеть всё сквозь её ветви; она не хотела теперь встретиться с ним при посторонних; то, что она была намерена сказать ему, касалось лишь её и его одного, только его одного.

Графиня видела, как Потоцкий принял письмо и равнодушно осмотрел его. Она нетерпеливо

топнула ногой о землю. Она ждала, чтобы слуга удалился, а затем намеревалась пойти графу навстречу; ведь должен же он был выслушать её, он должен был вернуться с нею, и когда он выслушает её, то... Её сердце забилось трепетной страстью.

Она уже хотела поспешить вдоль решётки ко входу и вдруг увидела, как граф Потоцкий взял в руки маленькую записку, с каким выражением счастья он прочёл её и как наконец пламенно прижал её к своим губам.

Её горячо бившееся сердце судорожно сжалось, словно схваченное ледяною рукой смерти; её глаза устремили свой неподвижный взор сквозь зелень ветвей, её бледное лицо исказилось судорогой, а рука, ища опоры, ухватилась за прутья решётки.

Так она и осталась стоять, в то время как Потоцкий медленно направлялся к воротам.

Он не заметил, что конверт записки, столь осчастливившей его, остался лежать на земле.

— Бедный Тадеуш, бедная Людовика! — сказал он, поникнув на грудь головою, — каким мрачным кажется мне ваше горе на фоне моего лучезарного счастья! Как могла Елена так скверно поступить по отношению к вам? Я считал её

доброй и благородной, и что же... Тадеуша она вовсе не знала и едва знакома с Людовикой... Что за причина могла подстрекнуть её? Неужели в каждом женском сердце дремлет демон, который пробудясь, творит зло из одной только любви ко всему злому? Нет, нет... если во всех женских сердцах и извивается змея рая, то я знаю одну, которая принадлежит одному небу; в это я буду верить, пока наслаждаюсь ярким солнечным светом!

Разговаривая таким образом с самим собою, граф вышел со двора и направился к центру города.

Графиня Елена не расслышала его слов; ведь она видела, достаточно видела, и её муки не могли бы увеличиться, если бы она даже и услышала.

Она всё ещё стояла прислонясь к решётке, всё ещё устремила свой неподвижный взор на то место, где только что стоял граф.

Вдруг её взгляд упал на лежавшую на земле бумагу.

Мягко крадучись и всё же быстро и смело подвигаясь вперёд, походя своими движениями на тигрицу, графиня направилась ко входу, всё ещё не спуская взора с мелькавшего сквозь прутья

решётки и зелень листвы листа бумаги. Она вошла во двор и одним взглядом охватила все окна; в них не было никого, кто мог бы видеть её. С быстротой молнии она подняла с земли конверт письма и поспешила снова на улицу, а затем медленно пошла по направлению к своему дому, силою воли подавляя в себе снедавшее её нетерпение.

Улицы всё более и более оживлялись. Графиня встретила нескольких знакомых, приветствовавших её и даже заговаривавших с нею, и ей приходилось со спокойной, равнодушной улыбкой на губах подавлять все муки в своём сильно бившемся сердце, ощущая на нём, словно жгучую рану, роковую бумагу.

Наконец она добралась до своего дома, заперлась на ключ в своей спальне и дрожащими руками вытащила листок, который должен был пролить свет в ночной мрак, объявший её разум. Конечно, нельзя было ждать от этого света жизненной теплоты, как от солнечных лучей; напротив того, благодаря ему царивший мрак должен был показаться ещё мрачнее, но он должен был указать пылавшему в ней гневу путь мщения.

Однако конверт мало годился на то, чтобы про-

лить этот демонический свет. На нём ничего не было написано, кроме слов; «Господину Балевскому», а маленькая печать изображала лишь голубя с письмом; последняя была оттиснута, по-видимому, печаткой на драгоценном камне.

Почерк был очевидно женский, а бумага издавала тонкий аромат духов. Графиня с какою-то ревнивою жадностью втягивала его в себя, как бы ища в этом ужаснейшем самоистязании горького удовлетворения своим огромным сердечным мукам. Этот аромат и изящная печать указывали на то, что дама была знатной.

— Но разве мало женщин, — сказала графиня, осматривая бумагу пылающим взором, в который она вложила всю свою душу, — которые так легко постигают эти внешние качества знатного света... в особенности благодаря такому учителю, как граф Игнатий Потоцкий? Разве в Париже можно отличить женщину с театральных подмостков от герцогини? И дама, писавшая это письмо, именно и должна быть таковою, так как она не знает его и пишет ему под фальшивым именем Балевского! О, если бы это было мимолётной связью, без которой не может обойтись такой человек, как Игнатий, и которую я тысячу раз простила бы ему!

На миг в её глазах загорелась ликующая радость, но затем она снова мрачно покачала головой, и горький смех вырвался из её тяжело вздымавшейся груди.

— Нет, нет, — глухим голосом проговорила она, — нет, это — не то. В самом ли деле женщина, писавшая это письмо, не знала настоящего имени Игнатия, или она выбрала это фальшивое имя, чтобы наедине сохранить свою тайну, — одно лишь ясно стоит предо мною в своей разительной непреложности: Игнатий любит эту женщину, горячо и искренне любит её, — он, чьё сердце, как я думала, не знает любви, в чьей груди мне представлялось возможным сильной страстью пробудить дремлющее чувство. Как целовал он это письмо, с каким блаженным восторгом он смотрел на небо, как спрятал у себя на груди этот листок! О, Боже мой, нет сомнения, он любит эту женщину, прислявшую ему это послание... Княгиня ли она, или нищая, — всё равно, но она богаче всех на свете благодаря его любви! И я, — со скрежетом вырвалось из-за её сжатых зубов, и её глаза наполнились слезами, — должна была видеть это... вот этими своими глазами должна была видеть это!

Она вскочила с места, осушила свои слёзы.

— Хорошо, что так, — крикнула она резким голосом, — было бы ужасно, если бы случилось иначе... если бы...

Графиня задрожала, а затем, грозно сверкая глазами, произнесла:

— Ну, теперь я знаю, что он тем не менее обманывал меня; ведь всё же обман — сказанные им мне слова о том, что его сердце свободно и принадлежит одной только родине. Он изменил дружбе, и горе, горе ему, если он изменил и, более того, если он прочёл в моём сердце тайну моей любви.

Графиня закрыла сильно пылавшее лицо руками, словно хотела скрыть от самой себя позорную мысль, вздымавшую её гордую душу.

Затем она снова взглянула на ненавистную бумагу. С внутренней стороны конверта она заметила лёгкий отпечаток букв, оставленный на конверте вложенным в него письмом.

Словно пушинку подбросило графиню и она подняла листок в уровень с лицом, оборотной стороной к окну.

— Ничего, ничего, — вглядываясь, проговорила она, — одни лишь несвязные, непонятные штрихи, холодные, немые и неподвижные, как зимнее бедствие, спустившееся на весенние цветы моей

надежды... Всё же здесь... вот в самом конце... да, да, — воскликнула она, поднося листок к самым глазам, — вот М... вот а... Мария... да, здесь ясно стоит... Мария, вот имя, которое страстно звучит на его губах и наполняет его грёзы, которое он у её ног...

Она с ужасом швырнула на пол скомканное письмо.

— Мария... что это значит? кто среди десятков тысяч женщин, носящих это имя Пречистой Девы, заслуживает его любви и моей мести?

Долго она неподвижно смотрела пред собою, погрузившись в глубокие размышления; затем её взгляд упал в зеркало, отразившее её великолепную фигуру и её лицо с заплаканными и всё же ярко сверкавшими глазами во всей его действительной красоте.

— Разве я недостойна его любви? — воскликнула она. — Разве он слеп и не видит великолепного цветка, благоухающего навстречу ему? почему он ищет где-то вдали, может быть, даже в низших слоях, счастья для своего сердца? О, я могу выступить на бой, чтобы сразиться за него; я должна добиться победы, кто бы ни была моя противница, похитившая у меня его сердце! Я сохранила для него, ослеплённого, неблаго-

дарного, всё то опьяняющее счастье, которое в состоянии лишь доставить моё сердце; так мне ли уступить его без борьбы другой... быть может, недостойной, оставить его той, которая никогда не будет в состоянии дать ему то, что я сумею дать ему?.. Никогда, никогда! Елена Браницкая может любить всего лишь один раз... Я должна уничтожить ту, которая помешала моей любви! Разве я не разбила счастья Людовики Сосновской? Чего же мне щадить женщину, действительно похитившую сердце Игнатия? Орёл не отдаёт без борьбы добычи, намеченной им, а я чувствую себя родственной орлу.

Графиня снова подняла конверт и прошептала:

— Немного здесь, и всё же много, что дают мне боги мщения. Для кардинала Ришелье достаточно было двух слов, написанных на листе бумаги, чтобы возвести человека на эшафот; мне должно быть достаточно этого, чтобы повергнуть похитительницу моей любви и овладеть благороднейшей добычей моей жизни!

Она заперла листок в шкатулку, в которой хранились самые дорогие из её драгоценностей, а затем воскликнула:

— Теперь на борьбу! Уйдите прочь, скройтесь в глубине моего сердца, беспокойно волнующие

меня мысли! С этой минуты пусть окутает меня панцирь мщения; с опущенным забралом я намерена подкарауливать врага, чтобы затем поразить его насмерть!

Графиня осушила свои слёзы, послушные её воле глаза снова загорелись ярким блеском, а губы сложились в прелестную улыбку.

Она открыла дверь спальни и позвала камеристку.

Спустя час, она уже скакала по улицам города на великолепном арабском коне, блиставшем драгоценными камнями, в сопровождении шталмейстера и слуг, делая визиты некоторым дамам из польского общества и русской придворной знати, и, где ни появлялась она, всюду народ восторженными кликами встречал эту знатнейшую, самую гордую и прекраснейшую даму высшей аристократии Речи Посполитой.

Игнатий Потоцкий с сияющими глазами и эластичной походкой направлялся к дому своего брата. Нежное послание, которое он только что получил от прекрасной Марии Герне и которое доставило ему детски-робкий и всё же искреннетёплый любовный привет прелестной девушки, вернуло ему смелую решимость для исполнения его великих планов. Мрачные сомнения,

некоторое время угнетавшие его, исчезли пред великим идеалом его будущности, возрождения его родины, которое для него лично было связано с таким нежным счастьем, и он смело и самоуверенно вошёл в кабинет своего брата, только что вставшего с постели и отдыхавшего на диване, выпуская кольцами в воздух из своего чубука из розового дерева ароматные облачки дыма.

Когда в кабинет вошёл граф Игнатий, портьера, отделявшая спальню, слегка заколыхалась.

Граф Феликс подал ему руку и пригласил сесть рядом на диване.

Граф Игнатий отказался от предложенного чубука и сказал:

— Мы едва виделись с тобой после того, как я возвратился из своего путешествия; здесь, пожалуй, лучше всего представляется возможность спокойно поговорить, потому что здесь никто не заподозрит, что можно заниматься серьёзными делами. Я должен серьёзно поговорить с тобой.

Феликс Потоцкий вопросительно посмотрел на него и, улыбаясь, сказал:

— Я и то удивлялся, что ты прибыл сюда, так как ты ведь постоянно выставляешь напоказ в себе патриота и врага России. Правда, ты был здесь нужен, чтобы защитить любовь Тадеуша

Костюшки и помочь ему бежать с дочерью Сосновского. Прости мне, но это было довольно неосторожно, так как государыня предназначила красавицу Людовику для своего Бобринского, и здесь, в русских владениях, ты подвергался не малой опасности.

Граф Игнатий удивлённо уставился на брата и бледнея спросил:

— Тебе известно это?

— Потёмкин уже ранним утром был у меня и рассказал мне всю историю, — ответил граф Феликс. — Ведь ему постоянно всё известно; комендант и офицеры остерегаются иметь тайны от него, так как от его гнева и мести никогда не оградит и сама императрица.

— Я сделал то, что должен был сделать, как честный человек, — спокойно и твёрдо проговорил граф Игнатий. — Я хотела помочь, к сожалению, безрезультатно, своему другу. Личные обстоятельства не касаются императрицы, я — не её подданный и она не осмелится...

— Я не могу точно определить, на что она осмелится, — прервал его брат, — так как она не привыкла ограничивать свою волю и в её силах осуществлять её. Впрочем, похищение наказуется и польскими законами. Во всяком

случае, клянусь Богом, это было неосторожно с твоей стороны. Но успокойся, это не будет иметь никаких последствий. Потёмкин — мой друг, то есть он хочет использовать меня для своих целей и думает, что может использовать. К тому же он терпеть не может Бобринского и желает, чтобы тот лишился красавицы-невесты. Однако прежде всего его привело в ярость то, что адъютант Римский-Корсаков отдал приказание у него за спиной и послал казаков преследовать беглянку; этот маленький задорный любимчик очень скоро почувствует удар тяжеловесной медвежьей лапы Потёмкина.

— Преследование было устроено по личному повелению императрицы, — сказал граф Игнатий.

— Но Потёмкин не знал об этом, — пожимая плечами, возразил ему брат, — а он не любит этого. Он охотно разрешает государыне её маленькие шалости, но, когда её любимцы начинают желать быть более, чем игрушкою каприза, то он уничтожает их, и эта участь ждёт, конечно, и зазнавшегося Римского-Корсакова. Ты можешь быть вполне спокоен; если сама императрица и выкажет свою немилость, то Потёмкин отвратит её гнев.

— Я думаю, — заметил граф Игнатий, — что ни ты, ни я не привыкли беспокоиться о том, будет ли к нам милостива или немилостива русская императрица.

— Во всяком случае, мы в её власти, — возразил граф Феликс, — и твоё присутствие лучше всего показывает, что и ты убеждён в необходимости считаться с существующими обстоятельствами.

— До тех пор, пока мы не сумеем изменить их! — воскликнул граф Игнатий. — И скоро к этому представится возможность, и вот именно об этом я и пришёл поговорить с тобой.

Граф Феликс мог видеть со своего места портьеру, между тем как граф Игнатий, повернувшийся к брату, сидел в полуоборот от дверей спальни.

Феликс Потоцкий колебался и по-видимому склонен был под каким-либо предлогом избежать серьёзного разговора, но тут он увидел, что складки портьеры слегка раздвинулись и София оживлённо делала из-за неё утвердительные знаки.

— В таком случае говори, — с лёгким вздохом произнёс он.

— Мы постоянно соглашались со всеми патриотами, преданными нашей родине, — начал граф Игнатий, — что Польша может быть только тогда

спасена, когда мы учредим королевство свободное и могущественное во всех отношениях и что подобная свобода и могущество возможны лишь тогда, когда корона, независимо от борьбы партий и честолюбия, будет сделана наследственной в чужеземном царственном роде.

— Это мнение многих, — неуверенно подтвердил Феликс Потоцкий.

— А также и твоё? — с резким ударением спросил граф Игнатий.

Красавица-гречанка снова взяла на себя руководительство разговором из-за складок портьеры, точно так же, как она сделала это и при посещении Серра. Она лишь оживлённо утвердительно закивала головой.

— Да, также и моё, — повторил граф Феликс, повинуясь её знаку.

— Если бы это не было твоим мнением, — пытливо глядя на него, проговорил граф Игнатий, — то продолжение нашего разговора было бы излишним.

— Да, это — моё мнение, — почти нетерпеливо произнёс граф Феликс, — только будет немного тяжело найти державного кандидата, который своей личностью и своим домом представлял бы гарантию того, что цель, к которой мы стре-

мимся, действительно будет достигнута. Ведь тебе известно, что в Петербурге мечтают о соединении польской короны с русской на голове Екатерины.

— И, к сожалению, — горячо воскликнул граф Игнатий, — существуют, к стыду нашей родины, и поляки, в подобных мечтаниях видящие исполнение своих честолюбивых надежд, как, например, этот жалкий Сосновский... Но всё же, слава Богу, их число не велико и нашей задачей должно быть постоянное содействие к его уменьшению.

— В Вене думают о саксонском курпринце[3], — заметил граф Феликс, — по крайней мере я слышал разговор об этом; это по крайней мере вернуло бы нас к традициям Августа.

— К печальным и позорным традициям, — подхватил граф Игнатий. — Никогда ещё Польша не была более беспомощна в своих внешних делах и более беспорядочна в своих внутренних, как в злополучное царствование Августа. Что принесёт нам этот саксонец, который сам по себе — ничто, ничего не имеет и не в состоянии ничего сделать? Ни русская сила, ни австрийские советы не принесут нам благоденствия; мы нуждаемся

---

[3] Примечания: 3
Наследный принц курфюрстского дома.

в спасительной руке, достаточно крепкой, чтобы оградить нас от наших врагов, от наших друзей и от нас самих; нам нужна такая рука, которая принесёт нам могущество вместо того, чтобы требовать от нас пустого блеска и исчерпывать последние соки нашей страны, чтобы украсить нашей короной чужое тщеславие.

— А где нам найти подобную руку? — спросил граф Феликс, в то время как глаза Софии с любопытством поблескивали из-за занавески.

— Она найдена, — ответил граф Игнатий, — это прусский король Фридрих, который может повести нас к благоденствию. Дивная творческая сила Гогенцоллернов, создавшая из Бранденбурга Пруссию, будет в состоянии восстановить и Польшу из её развалин и под чёрным и белым орлами мощно повелевать Европою на Востоке и Западе.

Граф Феликс взглянул по направлению к портьере; София оживлённо кивала головой.

— Ты уже раньше упоминал об этом, — сказал он, — но я не считал возможным серьёзно смотреть на эту мысль... Как исполнить это? Прусское завоевательное движение сделает нашу страну ареной тяжёлой войны и к тому же захочет ли Фридрих Великий пуститься на подобный риск, который неизбежно вовлечёт его на старости лет

в тяжёлые заботы?

Граф Игнатий, покачав головой, произнёс:

— Речь идёт не о завоевательном движении; не в руки завоевателя, не в руки чужеземного деспота я хочу передать своё отечество, нет, пусть польская нация по вольному праву изберёт себе нового короля; пусть он правит страною, так долго пребывавшей в анархии, согласно новой конституции и пусть исцелит и сделает её великой и могущественной. Императрица Екатерина слишком самоуверенна в своём высокомерии и, чтобы сделать её ещё более самоуверенной, я и прибыл сюда. Пусть она думает, что повсюду в нашей стране исчезла надежда на освобождение; тогда легко будет, организовав восстание, в один день смести или взять в плен русские войска, рассеянные и расположенные без всякой связи друг с другом в многочисленных гарнизонах; а так как императрица готовится к новой войне с Турцией, то она не будет в состоянии выставить против нас новую, действительно готовую к бою армию. Если тотчас затем сейм выберет короля Фридриха наследственным королём Польши, то непобедимый герой будет вправе пред всей Европой занять нашу страну — не как чужеземец, а как законный государь, своей испытанной и страшной армией

и никто не осмелится напасть на Польшу, когда её король будет носить имя Фридриха Великого и когда возле белого орла протянет свои могучие когти навстречу неприятелю чёрный орёл.

— А Понятовский? — спросил граф Феликс.

— Ему предложат отречься от престола, — пожимая плечами, ответил граф Игнатий, — и он будет счастлив, что своей подписью под отречением купит себе спокойную старость и хорошую пенсию.

Граф Феликс рассмеялся; он видел, как София ударяла кончиками своих белых пальцев друг о друга, как бы желая рукоплесканием выразить своё одобрение словам его брата.

— Всё-таки главное заключается в том, примет ли Фридрих Великий подобный выбор и удержит ли он своею сильною рукою то право, которое предоставляется ему последним? — заявил он. — И затем далее: возможно ли будет объединить на прусском короле голоса сейма, после того как Понятовский будет устранён, что мне не трудно будет устроить?

— Ответ на оба вопроса у меня при себе, — ответил граф Игнатий, вынимая из кармана пакет с бумагами, который он получил при выходе из дома и в котором заключалась и маленькая за-

писка, столь осчастливившая его и столь тяжело потрясшая графиню Елену Браницкую. В тот же момент София неосторожно далеко высунулась из-за складок портьеры, чтобы окинуть любопытным взором пакет. — Вот здесь, — продолжал он, — заключается перечень важнейших депутатов сейма, благодаря влиянию которых мы почти с безусловной уверенностью будем располагать всеми голосами на нём, а рядом с именами обозначены суммы, необходимые на то, чтобы снова привести в порядок дела некоторых лиц, как ты и сам знаешь, порядочно-таки порасстроенные. Прочти сам, — сказал он, передавая лист брату, — разве с этими именами мы не будем полными господами в сейме и разве не будет принадлежать нам влияние вот этих обозначенных здесь, если мы будем в состоянии предоставить к их услугам проставленные рядом с их именами суммы?

Граф Феликс взял лист и пробежал его взглядом. В некоторых местах он довольно кивал головою.

— Ты прав, — сказал он, — с этими именами сейм будет принадлежать нам и они будут наши, если мы будем в состоянии оказать им помощь, в которой они нуждаются, благодаря своим затруднительным обстоятельствам. Во всяком случае мы будем в таком большинстве, что возьмём

верх над немногочисленной оппозицией или в случае необходимости будем иметь возможность исключить её. Но как достать деньги? Ведь, судя по твоей собственной смете, для этого потребуется полмиллиона.

— Но если мы будем иметь эти полмиллиона, — прервал его граф Игнатий, — если я могу предоставить их в твоё распоряжение, чтобы разделить, то ты согласишься со мною, что вполне возможно наверняка рассчитывать на выбор короля Фридриха в наследственные польские короли.

— Если это в самом деле так, то ты прав, — ответил граф Феликс, — но всё же...

— Мне предстоит теперь ответить на твой второй вопрос, — продолжал граф Игнатий. — Так вот, если суммы, необходимые нам, чтобы подкупить лидеров партий... довольно печально, — со вздохом прервал он самого себя, — что нам приходится покупать их и что мы можем их купить, но мы покупаем ради блага родины, а не с тем, чтобы погубить её, как это было прежде... Итак, если эти суммы будут даны самим королём Фридрихом Великим, то будешь ли ты сомневаться в том, что он примет выбор, предложенный нами ему, и поддержит его своею мощною рукою?

— И это будет возможно? — с возрастающим изумлением спросил граф Феликс.

— Здесь, — сказал граф Игнатий, раскладывая свой пакет на стол, — я кладу тебе готовую сумму, которая выведена на том листе; это всё — векселя прусской компании торгового мореплавания в Берлине, учитываемые варшавской конторой и повсюду принимаемые наравне с наличными деньгами.

— И эти векселя присланы самим прусским королём? — спросил граф Феликс, перебирая руками документы и пытливо осматривая их.

— Разве компания торгового мореплавания — не королевское учреждение? — в свою очередь, спросил граф Игнатий.

— Ты был в Берлине, ты видел короля?

— Я вёл переговоры с его министром Герне. Сам король не может явно выступить, прежде чем всё не созреет, прежде чем не освободится престол и на него не падёт выбор сейма.

— И ты уверен, что он согласен с этим, что ему угодно будет случившееся и он будет поддерживать выборы? — продолжал свой допрос граф Феликс.

— Если бы я даже и хотел сомневаться в Герне, то разве мог бы министр располагать такими

суммами, если бы король не знал и не одобрил преследуемой этим цели? Верь мне, брат, всё вполне подготовлено; необходим только благоприятный момент, чтобы привести в движение отлично подогнанные шестерни машины, и, уловив этот момент, предложить королю вместе с польской короною и рукоять отточенного меча. Это будет нашей задачей и в особенности твоей. Ты ведь пользуешься доверием всех тех лиц, в которых мы нуждаемся; я долго был в отъезде и стал здесь совершенно чужим.

Граф Феликс задумался; его лицо выразило как бы смущение и недовольство; он тщетно оглядывался на портьеру — София исчезла, складки не раздвигались. Затем его взгляд скользнул по разложенным на столе векселям и облако, омрачившее его лицо, исчезло.

— Я удивляюсь тебе, брат, — сказал он, — в то время как другие пробавлялись разговорами, ты уже действовал.

— А теперь время действовать тебе! — произнёс граф Игнатий. — Возьми эти векселя; я уверен, что тебе удастся набрать сторонников.

— Уже здесь я могу многое сделать, — раздумчиво произнёс граф Феликс, — мы приобретём и Сосновского; мне начинает даже казаться, что

ты расстроил его планы из политических видов: так как Бобринский ускользнул от него, он готов будет искать себе возмещения утраты в Берлине. Как только мы вернёмся в Варшаву, я буду действовать дальше. Отречение Понятовского будет устроить легче всего; я рассчитываю на тебя в подготовлении быстрого и своевременного восстания, которое освободит страну от русских и даст нам время заставить сейм приступить к новым выборам.

— Я сделаю всё нужное к этому! Да, впрочем, многое уже сделано, — ответил граф Игнатий, поднимаясь с места. — Теперь нам не следует часто и подолгу говорить друг с другом, иначе могут заподозрить, что у нас здесь есть ещё другое дело, кроме стремления сиять в лучах милости августейшей императрицы Екатерины Алексеевны.

— Ты рассчитывал на Елену Браницкую? — спросил граф Феликс. — Она знает о твоих планах? Вы уже сблизились?

— Я принуждён сомневаться в ней, — мрачно проговорил граф Игнатий. — Судя по её собственным словам, это она раскрыла и расстроила бегство Костюшки; мне даже почти кажется, что она отвернулась от старых знамён и перешла к двуглавому орлу.

— Нет, нет, — воскликнул граф Феликс, — то был, должно быть, каприз, вражда к Сосновскому или Бог знает ещё что; ведь женщины непостижимы и непонятны. Знаешь ли, брат, — с улыбкой продолжал он, — Елена Браницкая была бы отличной партией для тебя... Ведь она так красива, так богата!.. Да и тебе пора бы прекратить свою скитальческую жизнь.

Граф Игнатий энергично покачал головою; его лицо мгновенно покраснело и в то же время он невольно прижал свою руку к груди, где была спрятана записка Марии Берне.

— Елена? — сказал он, принуждённо улыбаясь. — Ты шутишь, брат... Она и я... об этом мы оба никогда и не думали... а если, может быть, такая мысль и зарождалась, всё же сперва благо родины и лишь затем личное счастье!

Он торопливо пожал руку брата и поспешил уйти.

В то время как граф Феликс ещё смотрел ему вслед, изумлённый его замешательством, София, вся так и сияя от радости, вышла из-за портьеры. Она обняла Потоцкого и в избытке шаловливого настроения закружила его вокруг себя.

— Великолепно! великолепно! — восторженно восклицала она. — Твой брат — не человек, а

сокровище, он замыкает кольцо цепи, в которой мы ковали звено за звеном! я расцеловала бы эти прелестные, дивные бумаги, — воскликнула она, разбрасывая кончиками своих розовых пальцев векселя, — эти волшебные листки, дающие нам мощь направлять всё по нашей воле и вместе с этим золотым дождём так же надёжно вторгнуться в совесть этих хвастливых магнатов, как Юпитер когда-то проникал в самые сокровенные подземелья Данайи.

— И ты серьёзно думаешь о прусском короле? — спросил Потоцкий. — Ты хотела бы, чтобы я согласился с планами брата?

София посмотрела на него широко раскрытым взором и воскликнула:

— Разумеется, я хотела этого; разумеется, тебе необходимо было согласиться, потому что в противном случае он не говорил бы далее и спрятал бы к себе в карман эти бумаги, которые, несмотря на свою лёгкость и ничтожность по своему внешнему виду, всё же представят собою ступени для будущего блеска и величия, всё ближе и ближе манящих нас! Ты спрашиваешь, серьёзно ли я думаю о прусском короле? — смеясь воскликнула она. — О нём, клянусь Богом, я думаю менее, чем о ком-либо другом; этот угрюмый скряга превра-

тил бы прекрасную романтическую Польшу в казарму или в канцелярию надутых, обветшалых педантов; даже под властью Екатерины в Польше оставалось бы гордое место для Феликса Потоцкого, но чем был бы ты при этом Фридрихе, не терпящем никого возле себя? Нет, нет, мой друг, я, право, вовсе не думаю о нём; но он должен доставить нам свою дань, чтобы тем легче было нам победить в нашей борьбе. Я думаю лишь о тебе да о себе, и о сияющем венце, всё ближе и ближе опускающемся на наши головы. Пусть всё произойдёт так, как задумано; пусть все их мелкие планы сольются в один наивеликий план!

— А как именно создаётся этот план в неутомимой головке моей прелестной Минервы, так грациозно носящей пояс Афродиты? — спросил он с улыбкой, целуя её сверкающие глаза.

— План прост, как и всё великое, — ответила София, — и сама судьба предоставляет нам камни, чтобы, кладя их друг на друга, соорудить из них стройное здание. Пусть всё будет так, как вы условились; пусть принудят Понятовского отречься от престола, я уже приготовила свои ножницы для головы этого жалкого короля. Ты знаешь это. Русские должны быть изгнаны, сейм соберётся, его голоса будут принадлежать тебе,

благодаря тем деньгам, которые они наперерыв суют в твои руки; но тогда сейм провозгласит наследственным польским королём не бессильного курпринца саксонского, не короля прусского, а Станислава Феликса Потоцкого, — воскликнула она, вытягиваясь на цыпочках и приподнимая над ним свои руки, — ты будешь потрясать мечом своего воинственного народа и заставишь гордо развеваться в воздухе знамёна белого орла, и все подкарауливающие враги будут оттеснены от пределов королевства!

— А что же будет с моим братом? — спросил Феликс.

— С твоим братом? Да разве он не будет гордиться тем, что герб его дома украсится короной Ягеллонов? А если и у него не будет этого чувства, то ведь, когда ты станешь королём согласно воле народной, всякий, кто захочет восстать против тебя, будет мятежником!

Потоцкий бурно прижал её к своей груди. Но София с неудовольствием вырвалась из его объятий и воскликнула:

— Ступай! тебя уже давно не видели. Покажись на улицах, смейся, шути, ухаживай за государыней! Пусть все думают, что Феликс Потоцкий живёт лишь настоящей минутой и в мимолётных

наслаждениях находит счастье и цель жизни; грозное чело заговорщика легче всего скрывается под легко увядающим венком из роз!

Она быстро исчезла, и вскоре Потоцкий уже скакал по улицам города, окружённый своей блестящей свитой.

Граф Игнатий вернулся к себе домой. По дороге туда всё, что занимало и волновало его, отступило назад, как клубящееся облако под солнечным лучом, и все его мысли следовали одному лишь влечению его сердца. Сам хорошо не сознавая того, он вынул из кармана письмо Марии и восторженным взором впивался в слова, доставлявшие ему столь сладостную любовную весточку. Он и теперь снова прижал бы к своим губам бумагу, если бы приветствие знакомого не пробудило его от грёз, благодаря чему он вспомнил о том, что на улице не место заниматься своими прелестными тайнами.

Когда Потоцкий вошёл во двор своего дома, его встретил доверенный слуга и доложил, что паж императрицы только что появлялся в доме литовского маршала и что непосредственно затем Сосновский и его дочь отправились в Янчинский дворец.

Эта весть возвратила Потоцкого от счастливых

картин будущего, реявших вокруг него, к действительности настоящей минуты.

«Я обещал своему другу защищать его возлюбленную, — сказал он про себя, — у счастливых есть один священный долг — не забывать о несчастных».

Он быстро повернулся и поспешно отправился к Янчинскому дворцу.

В его передней Потоцкий нашёл всего лишь одного дежурного пажа, так как приём двора был назначен на более поздний час.

Государыня отдала приказ никого не допускать к ней. Однако Потоцкий настаивал на том, что должен тотчас передать её величеству несколько слов о важном и не терпящем отлагательства деле, и так как императрица повелела выказывать польским магнатам внешние знаки вежливости и почтения, то паж не осмелился противоречить настоятельно и повелительно выраженному желанию одного из первых польских магнатов, бравшему на себя всю ответственность за это, и в конце концов робко и неуверенно направился в кабинет своей повелительницы.

К своему великому удивлению, паж получил приказ сейчас же просить Потоцкого, и вслед за тем граф Игнатий вошёл в кабинет императри-

цы, двери которого стояли настежь открытыми в парк и в котором царили полная тишина и покой, особенно бросавшиеся в глаза после шумного и беспокойного движения на городских улицах.

Екатерина Алексеевна сидела в кресле; у её ног расположилась на маленьком табурете Людовика Сосновская, бледная, в чёрном платье, согбенная, но спокойная и преданная; она подняла на графа Игнатия взор своих заплаканных глаз и, казалось, благодарила его за его появление, не надеясь однако на его результаты.

Возле императрицы стоял католический архиепископ Валерий Симиорский, человек с кротким, умным лицом, в фиолетовой сутане, со сверкающим на груди крестом.

В стороне стоял Сосновский. Ярость и ненависть были написаны на его желтоватом, бледном, вялом лице; он встретил грозным, враждебным взглядом Игнатия Потоцкого, с глубоким поклоном приблизившегося к императрице.

— Я явился сюда, ваше императорское величество, высказать вам своё признание и просьбу, — сказал он.

— Постойте, граф Потоцкий! — серьёзно остановила его Екатерина Алексеевна, но с дружелюбным благорасположением подала ему руку

для поцелуя. — Не говорите дальше, мне заранее известны ваше признание и ваша просьба. Вы хотите сказать мне, что помогали графине Сосновской в её бегстве, путём которого она намеревалась избегнуть принуждения...

— Так как я нахожу здесь маршала литовского, — возразил Игнатий Потоцкий, — то я мог уже ожидать, что он уже принёс свою жалобу, но всё же...

— И вы желаете, — продолжала Екатерина Алексеевна, — просить меня о защите для этой бедняжки Людовики, которая не в состоянии вырвать любовь из своего сердца.

— Вот именно, — подтвердил Потоцкий, — и если вы, ваше императорское величество, возьмёте на себя эту защиту, то лишь исполните священный долг пред слабым родом человеческим, украшением которого вы служите и непреложные права которого вы призваны защищать пред всеми остальными.

— Я сделала больше, граф Потоцкий, — ответила государыня: — я просила графа Сосновского, — так как российская императрица не может приказать маршалу литовскому, она не может и не должна посягать на право отца, — итак, я просила, чтобы он, как отец своего единствен-

ного ребёнка, оберег вожделенное счастье его юного сердца.

Счастливое изумление озарило лицо Потоцкого.

— Благодарю вас, ваше императорское величество, благодарю вас! — воскликнул он. — Клянусь Богом, вы высказали просьбу, в которой вы никогда не раскаетесь, так как нет на земле сердца благороднее, чем у моего друга, которому графиня Людовика подарила свою любовь, нет имени в Польше, которое звучало бы чище, чем имя храброго и верного Тадеуша Костюшки.

Государыня вопросительно взглянула на Сосновского.

Последний весь так и дрожал от внутреннего возбуждения, которое он силою пытался подавить в себе. Его губы вздрагивали, а левая рука судорожно сжимала рукоять сабли.

— Вам, ваше императорское величество, известны наполняющие мою душу удивление и глубокая преданность к вам, как высокой покровительнице моей родины, — проговорил он глухим голосом. — Если вы, ваше императорское величество, потребуете у меня жизни на службе вам, то я ни на минуту не поколеблюсь с радостью пожертвовать ею; но вы, ваше императорское ве-

личество, не пожелаете, — продолжал он, тяжело дыша, — чтобы я сам вознаградил похитителя моей чести, который позорно запятнал бы моё имя, если бы его безбожное предприятие удалось; вы не захотите, чтобы я отплатил непокорному отцовским благословением за его тяжёлую вину.

Людовика с тихим плачем поникла головой.

Екатерина Алексеевна обратилась к архиепископу и спросила:

— А что скажете вы, ваше высокопреосвященство?

— Людовика Сосновская провинилась, — приветливо, кротко и серьёзно ответил иерарх. — Служитель церкви может простить вину любви; он может увещевать отца простить дочь, но не может приказывать; это должно быть свободным решением примирённой любви, если должно принести благословение ребёнку.

Сосновский мрачно покачал головою.

— Время — могучий слуга Божий, чтобы вести людей по их пути к их целям, — продолжал архиепископ. — Время излечивает чёрствые сердца; каждая секунда — это капля, представляющая собой звук гласа Божия. Предоставим и здесь, ваше императорское величество, времени, согласно воле Божией, загладить вину и побороть

суровый гнев.

— Я не желаю ничего более, — тихо всхлипывая, проговорила Людовика, припадая к руке императрицы, — я не должна желать ничего более, как в мирной тишине познать самое себя и в покорном смирении исполнять суровый долг послушания, чтобы искупить свою вину, если это — о, милосердный Бог любви! — была вина.

— Пусть будет так! — сказала императрица. — Вам, ваше преосвященство, я доверяю Людовику. Вы ручаетесь мне за то, что её тяжело надломленная душа будет свободна от всякого гнёта и предоставлена только Богу.

Архиепископ подошёл к Людовике и, благословляя, возложил руку на её голову.

— Я не сержусь на вас, граф Сосновский, — продолжала императрица, — ваше решение должно быть свободно; высокопреосвященный был прав, говоря, что чредою времени Господь действует на суровые сердца. Вы знаете, чем можете доставить мне радость.

Сосновский молча поклонился. Он бросил ещё грозный, враждебный взгляд на Людовику, с рыданием упавшую на колена пред архиепископом, и вышел вон, и паж в передней испуганно услышал, как дикое проклятие прошипело на

его губах.

Государыня обняла Людовику, а архиепископ увёл её, поддерживая под руку, чтобы проводить её в монастырь кармелиток.

— Подождите, граф Потоцкий, — сказала Екатерина Алексеевна, когда граф Игнатий намеревался проститься с нею.

Граф удивлённо остался стоять пред креслом императрицы.

— Знаете ли вы, граф Потоцкий, — спросила Екатерина Алексеевна, — кому эта бедная девушка обязана благодарностью за то, что я взяла её под свою защиту пред гневом её отца?

— Благородному сердцу вашего императорского величества, — ответил Потоцкий, смущённый этим вопросом, цель которого он никак не мог объяснить себе.

— Сострадание моего сердца было пробуждено во мне женщиной, — сказала императрица, пристально смотря на него, — и женщиной, которая и во мне пробудила сердце женщины, — является Елена Браницкая.

— Графиня Елена? — в величайшем изумлении воскликнул Потоцкий. — Да ведь именно она предала моего друга Тадеуша Костюшко и расстроила бегство! — с мрачным взором прибавил

граф Игнатий.

— Да, это сделано ею, я знаю это, — заметила государыня.

— И теперь она является, чтобы просить защиты для своей жертвы? Непонятны капризы женского сердца! — с укоризною воскликнул Потоцкий.

— Мне следовало бы обидеться на эти слова, граф Потоцкий, — улыбаясь, проговорила Екатерина Алексеевна, — но я вынуждена извинить их, так как ведь императрица заботится о том, чтобы люди не держались слишком низкого мнения о женской слабости, — гордо прибавила она.

— Простите, ваше императорское величество, — воскликнул Потоцкий, — не каждая женщина обладает сильным духом и мощною рукою, чтобы подавлять слабости женского сердца под твёрдой державной волей.

— Итак, я должна быть беспристрастна, — продолжала императрица, — но всё же женщина, которая хочет на минуту забыть, что она — императрица, считает возможным открыть вам, граф, что во всех капризах женского сердца, сколь странными и необъяснимыми ни казались бы они, любовь или ненависть всегда являются побудительной причиной.

— А почему бы графине Елене ненавидеть бедняжку Людовику Сосновскую? — спросил Потоцкий. — Она едва знала её пред тем, и если действительно ненавидела её, то почему же она просила у вас, ваше императорское величество, защиты для бедняжки?

— Так вот, граф, если здесь не было ненависти, побуждавшей её, то должна была быть любовь, — ответила Екатерина Алексеевна.

— Любовь?.. Тадеуш?.. Быть не может! Графиня Елена никогда не видела его, — пробормотал Потоцкий.

— Графиня Елена не предполагала, что то был Тадеуш Костюшко, намеревавшийся увезти Людовику, — возразила императрица. — Она заметила подготовления к бегству, стала преследовать и расстроила его, потому что предполагала, что другой любит Людовику, другой, чьё сердце было наградой, ради которой она сочла достаточным для себя вступить в борьбу.

— Другой? я ничего не понимаю.

— О, как часто мужчины не отличаются понятливостью, когда дело идёт о том, чтобы понять женское сердце, которое не произносит вслух своей тайны, а желает быть отгаданным и иметь достаточное право на то, чтобы заставить отга-

дать себя!..

Потоцкий пристально посмотрел на императрицу, а она продолжала:

— Разве Костюшко увёз с моего бала бедную Людовику? Разве он сопровождал её к ожидавшим за городом лошадям? Разве могла знать графиня Елена, что тот, другой оказывает лишь дружескую услугу любви своего друга?

— О, Боже мой, Боже мой! — воскликнул граф Игнатий, закрывая лицо руками.

Императрица, улыбаясь, смотрела на то, как он на несколько секунд как будто лишился языка.

— Вы видите, — сказала она, — как в этой игре дивно переплетаются страданье и счастье человеческих сердец; то, что разлучает одних, может быть, соединяет других... Бог даст, и разлучённые снова счастливо встретятся.

— О, Боже мой! Я не знаю, как мне найти подходящее выражение... И вы, ваше императорское величество, не ошибаетесь? — дрожа спросил Потоцкий.

— То, чего не видит гордый, проницательный взгляд мужчины, ясно открыто для женского взора, — ответила императрица. — Трудно скрыть пред женским взглядом сердечную тайну другой женщины... К тому же графиня Елена вовсе не

хотела закрывать предо мною своё сердце.

Потоцкий неподвижно стоял на месте. Видимо, он был побеждён впечатлением, произведённым на него словами императрицы.

— Ступайте, граф Потоцкий, я понимаю, что вам более нечего сказать мне, — проговорила Екатерина Алексеевна. — Там, где я хотела помочь, я не могла это сделать сегодня... Может быть, мне было суждено принести счастье там, где я и не могла подозревать, что была в состоянии сделать это.

С этими словами она подала графу руку; он склонился, поцеловал её и колеблющейся походкой, как бы во сне, вышел из комнаты.

— Графиня Елена должна быть благодарна мне, — сказала государыня, смотря ему вслед, — по крайней мере она не будет более моим врагом.

Паж отворил дверь и доложил о приходе князя Потёмкина.

XVI

Князь Потёмкин раскланялся у порога комнаты и затем, когда паж закрыл за ним дверь, приблизился к императрице. Екатерина Алексеевна с дружескою сердечностью, но с тем царственным достоинством, которое она умела хранить даже в отношениях со своими высокопоставленными фаворитами, протянула руку Потёмкину и сказала:

— С чем пожаловал ты, Григорий Александрович? Если у тебя есть какое-нибудь желание, то ты пришёл вовремя; я очень довольна собою и светом, так как сделала доброе дело, а именно: освободила из-под ига любящее сердце и открыла пред ним путь, которым оно может в конце концов добиться счастья, — счастья, которого так жаждут все люди, которое достаётся в удел лишь немногим и в котором некоторые и из этих немногих счастливцев раскаиваются.

Потёмкин лишь едва коснулся губами руки государыни; складки на его лбу не разгладились; его взгляд был мрачен и он жёстким, строгим тоном проговорил:

— Вы, ваше императорское величество, очень хорошо поступили, не допустив жалкого отца этой бедной крошки Людовики Сосновской продать её Бобринскому.

— Тебе известно это? — изумлённо, с некоторым неудовольствием спросила Екатерина Алексеевна.

— Разве знать обо всём, что исходит от моей государыни императрицы, не является моим долгом? — твёрдым голосом и почти с угрожающим взором ответил Потёмкин. — Разве же не является моей обязанностью ограждать российский престол от опасности измены и от неосмотрительности и глупости, часто грозящих ещё большею опасностью?

Екатерина Алексеевна, сжав губы, спросила:

— А почему же ты одобряешь мой поступок? Едва ли в тебе есть нежное сострадание к любящему сердцу девушки, да кроме того ты постоянно советовал мне привлекать к своему двору польских магнатов!

— Сосновский не пользуется никаким значением в Польше, — коротко возразил Потёмкин, — и его зять был бы плохим польским наместником, в особенности если бы эта честь выпала на долю Бобринского.

— Ты недолюбливаешь Бобринского, — укоризненно произнесла Екатерина Алексеевна.

— Может быть, я имел бы и право на то, но не хочу говорить об этом, — возразил Потёмкин. — Я не люблю его, потому что он недостоин милости своей императрицы. Осыпьте его, если хотите, золотом и почестями, дайте ему порхать, как глупому, тщеславному мотыльку, в лучах вашей милости, но и не думайте употреблять его на серьёзные цели, влагать в его руки такую тяжёлую ответственность, какою было бы польское наместничество: это повредило бы и вам, и России.

Екатерина Алексеевна вздохнула, но не возразила ни словом.

— А где же найти такого наместника? — спросила она после короткой паузы.

— Существует лишь один человек... это — Феликс Потоцкий.

— Феликс Потоцкий? — воскликнула императрица. — Ты доверяешь ему? Репнин считает его фальшивым человеком и думает, что он ведёт двойную игру!

— Я доверяю ему, — ответил Потёмкин. — Необходимо только, чтобы он определённо знал, что он не может быть и не будет польским королём, и показать ему это, когда наступит для того время,

обязаны именно мы. Он ищет блеска, силы и богатства, и если он не в состоянии добиться их на первой ступени, то возьмёт их и на второй. Народ тяготеет к нему и он будет единственным, кто, пожалуй, сможет сделать популярным русское наместничество в Польше. Я не придаю большого значения популярности, но, при возможности иметь её, весьма умно воспользоваться ею, если имеется желание прибрать к рукам и удержать в повиновении неспокойный народ. Бобринский заставил бы поляков презирать Россию и вскоре был бы изгнан, что навязало бы нам тяжёлую войну против восставшего храброго народа. Жертвовать бедною девушкой ради такого плана было бы и ужасно, и вместе с тем глупо.

— Но так как этот план оставлен, то мы ведь согласны друг с другом, — произнесла Екатерина Алексеевна, чтобы прекратить разговор.

— Не совсем, — возразил Потёмкин. — Вы, ваше императорское величество, предоставили этому жалкому Сосновскому своих казаков, чтобы вернуть эту бедную бегляночку; но вам не следовало делать это.

— Почему именно? — спросила императрица. — Разве я не обязана была прийти на помощь отцу против неповинующейся дочери?

Потёмкин, пожав плечами, ответил:

— Услуга, которую вы, ваше императорское величество, оказали ненавидимому во всей Польше Сосновскому, обращает ненависть лично на вас, тем более, что она была направлена против любимого повсюду юного Костюшки; к тому же ему покровительствует Игнатий Потоцкий и теперь он со всеми своими друзьями будет нашим непримиримым врагом.

Екатерина Алексеевна почти пристыженно потупилась.

— Ну, пожалуй, это ещё поправимо, — сказала она;— я взяла Людовику Сосновскую под своё покровительство, и хотя не могу приказывать отцу в его семейных обстоятельствах, но сделаю всё от меня зависящее, чтобы склонить его к уступчивости.

— Спросите его относительно его цены, — сказал Потёмкин, — это будет проще и надёжнее всего; тем не менее всегда лучше обходиться без ошибок, чем впоследствии с трудом и то лишь наполовину исправлять их. Если бы вы спросили у меня совета, если бы вы отдали мне своё приказание, — почти иронически-насмешливо прибавил он, — то я предостерёг бы вас от такого поспешного шага, который может принести

лишь вред и осложнения. Но, разумеется, так как вы поручили это такому шуту гороховому, как этот Римский-Корсаков, то вы не могли ожидать ничего иного — глупость он постарался исполнить возможно глупее.

— Ты в скверном настроении духа, Григорий Александрович, — сказала императрица улыбаясь, но всё же несколько уязвлённая беспощадными нападками Потёмкина. — Я сочла то преследование настолько простою и естественною мерою, которую была обязана принять по жалобе отца, что поручила её своему адъютанту, не желая обременять тебя этим. Что сделал тебе бедняга Римский-Корсаков, что ты так сердито говоришь о нём?

В последнем вопросе императрицы послышалась почти боязливая робость.

— Против него я имею уже больше, чем против Бобринского, — ответил Потёмкин, окидывая проницательным взором Екатерину Алексеевну. — Бобринский никогда не принесёт своим нелепым шутовством стыда и вреда России, а Римский-Корсаков платит за милости своей императрицы, возвысившей его из праха, неверностью и низким предательством!

— Что ты говоришь? — испуганно воскликнула

императрица. — Нет, нет, этого всё-таки не может быть, тебя обманули, — усмехаясь прибавила она затем, — ведь у бедного юноши так много врагов!

— Но к ним я не принадлежу, — прервал её Потёмкин. — Римский-Корсаков слишком мал для вражды Потёмкина, — гордо прибавил он. — Выслушайте меня, Екатерина, — продолжал он, прижимая к своим губам руку императрицы, на этот раз уже с сердечной теплотою. — Вам известно, что я своею ревностью никогда не препятствовал игре ваших капризов, вашей фантазии — называйте, как хотите! — в которой вы отдыхаете от трудов и забот своих тяжёлых державных обязанностей. Любовь — цветок, который распускается, благоухает и отцветает, который быстро увядает и опадает на землю и лишь в редких случаях приносит плоды. Наша любовь, Екатерина, принесла великолепнейшие на земле плоды — дружбу и доверие! Дари, кому хочешь, мимолётные, однодневные цветы своей любви, я никогда ребяческой ревностью не помешаю лёгкой игре, развлекающей тебя; но твою дружбу и твоё доверие я крепко держу железною рукою и стану защищать против всего света, даже и против тебя самой, Екатерина, если

ты когда-нибудь пожелаешь пожертвовать ими ради минутной прихоти.

Императрица покачала головою и, крепко пожимая его руку, сказала:

— Никогда!

— Я крепко держу твою дружбу и доверие, — продолжал Потёмкин, — потому что знаю, что никто так не достоин её, как я, что никто не может быть для тебя и России тем, чем являюсь я. Только эта рука в состоянии, — воскликнул он, протягивая руку, — удерживать у твоих ног сильное государство, объединять всё растущие силы великанов в одной руководящей точке, лучи воли которой распространяются не только над Европой, но и над Азией; Пётр Великий оставил после себя бесформенную, бродящую массу; в твоей руке лежит скипетр государства, пред которым трепещет Европа и малейшему давлению шестерёнок которого она повинуется. Твой ум и твоя воля, Екатерина, создали это, но моя сила — орудие твоего ума и твоей воли, и ты не найдёшь никого, кто был бы способен на подобный труд. Румянцев мог выигрывать твои сражения; я отлично знаю, что он ненавидит меня и делает всё, чтобы лишить меня твоего доверия; но всё-таки он никогда не был бы в со-

стоянии руководить согласно твоей воле всеми племенами, входящими в состав Российской империи, не мог бы сделать это, по крайней мере так, как могу сделать я, только я один!

— Я знаю это, Григорий Александрович, — совершенно убеждённым тоном произнесла Екатерина Алексеевна.

— И вот, — продолжал Потёмкин, — этот Римский-Корсаков начинает много мнить о себе; он не желает довольствоваться тем, что является игрушкой твоего досуга; он не довольствуется деньгами и почестями, которыми ты осыпаешь его, как из рога изобилия; он хочет приобрести твою дружбу и твоё доверие, дерзает желать стать орудием твоей власти.

— И ты боишься его? — с улыбкой спросила императрица.

— Я никого не боюсь, — воскликнул Потёмкин, — потому что никто не может сравняться со мною! Разве Атлант боится того, что кто-либо придёт отнять у него небо, тяжесть которого раздавит под собою всякого другого? Я не боюсь Римского-Корсакова, так как если бы я боялся кого-либо, то все перестали бы бояться меня. Но, как и Атлант не желает, чтобы рядом с ним становились пигмеи и насмехались над ним,

подражая ему, так и я не хочу, чтобы этот зазнавшийся мальчишка, эта кукла в твоих руках, дерзал ступать на ту почву, которая принадлежит мне. Я не хочу, чтобы он отбрасывал венок цветов, которым должен украсить твою жизнь, и пытался играть скипетром, извергающим разрушительную молнию на всякого не призванного, слабого человека, подобное дерзкое любопытство должно снова повергнуть, его в прах, из которого он поднялся, и Римский-Корсаков тем более, тем неумолимее заслуживает наказания, что позорно забывает о своём первом долге: о благодарности, любви и верности по отношению к своей благодетельнице.

Лицо Екатерины Алексеевны омрачилось и побледнело.

— Когда выступают с обвинением, то необходимо иметь доказательства, Григорий Александрович, — сказала она строгим тоном и её губы задрожали.

— Может быть, тот, кто трудится день и ночь и стоит на страже блага твоего и России, будет избавлен от подобных доказательств и стоит выше подозрений в ложном обвинении.

— Но ведь тебя могли обмануть! — возразила Екатерина Алексеевна, — у всякого имеются вра-

ги, а у тех, кто мне угоден, их более всего.

— Ты желаешь доказательств? Отлично! — сказал Потёмкин. — Прошу вас, ваше величество, — торжествующе прибавил он с глубоким поклоном, — окажите мне милость и совершите прогулку по парку со мною.

— Прогулку по парку? Что это значит? — изумлённо и недовольно спросила Екатерина Алексеевна. — Если у тебя есть доказательства, то почему ты не даёшь мне их здесь?

— Стены имеют уши, — возразил Потёмкин, — и затем... всё же вы, ваше величество, увидите. Идёмте!

Он почти повелительным жестом предложил руку государыне, и она, хотя и несколько неуверенно, последовала за ним.

Снаружи, пред дверями в парк, возле нескольких ступеней, спускавшихся к цветнику, стоял часовой от лейб-гвардии конного полка.

Это был высокого роста, стройный молодой человек, лет двадцати пяти; его ловкая, сильная фигура особенно выгодно выделялась, благодаря богатому мундиру. Его юношески свежее лицо отличалось той нежной бледностью, которая не болезненна и в то же время придаёт внешности аристократическое выражение. Его большие

глаза были почти тёмно-синими, в их глубоком взоре лежала какая-то поэтическая мечтательность, а печальная складка вокруг рта придавала ему какую-то особую прелесть.

При появлении государыни молодой конногвардеец вытянулся по-военному и отсалютовал, опустив свой палаш.

Екатерина Алексеевна не обратила внимания на него; она была неспокойна и взволнована. Её рука дрожала; веер, которым она невольно играла, то раскрывая, то складывая его, выпал из неё.

Конногвардеец быстро подскочил, поднял его с земли и, преклонив колено пред государыней, подал ей его.

Последняя только теперь подняла на молодого человека свой взор и видимо изумилась его благородной осанке, красивому лицу и блестящим тёмным глазам. Она взяла от него веер и, продолжая стоять, сказала:

— Спасибо тебе. Твоё имя?

— Степан Иванович Ланской, — ответил конногвардеец.

— Да, да, я припоминаю! Твой род польского происхождения... Ты ещё недавно служишь в моей гвардии?

— Всего шесть месяцев; его светлость князь

Потёмкин передал меня милости вашего императорского величества.

— Князь был прав, — сказала Екатерина Алексеевна, дружески кивая Потёмкину, — до сих пор я редко видела тебя; я не забуду твоей рыцарской услуги.

Она подала руку конногвардейцу и тот прижал её к своим губам; прошло несколько секунд, прежде чем государыня, всё ещё не спуская взора с лица молодого человека, отняла свою руку.

Он снова поднялся и отсалютовал палашом. Между тем Потёмкин повёл дальше Екатерину Алексеевну. Она ещё раз оглянулась на молодого гвардейца, словно хотела особенно прочно запечатлеть в памяти черты лица человека, которому обещала свою благодарность.

Потёмкин быстро шагал по цветнику и как бы невзначай произнёс:

— Красивый молодой человек — этот Ланской!

— Действительно, — вполголоса, словно погруженная в размышления, ответила Екатерина Алексеевна.

— Он благоразумен и тактичен, он не допустит таких дурачеств, как Римский-Корсаков, — тем же тоном продолжал Потёмкин.

— Ты хотел доставить мне доказательства,

— словно отрываясь от грёз, проговорила Екатерина Алексеевна, — а между тем ведёшь меня в уединённые аллеи парка.

— Доказательство будет здесь, — ответил Потёмкин, — прошу вас, ваше императорское величество, следовать за мною. Опираясь на мою руку, всероссийская императрица ни разу не шла по ложному пути.

Они оставили цветники, непосредственно окружавшие дворец, и вступили в аллею старых буков, окружённых с обеих сторон густым лесом; налево и направо от неё то и дело убегали узенькие боковые дорожки.

У входа в эту аллею работал садовничий ученик, удалявший сухую листву с дороги.

При приближении императрицы мальчик склонился до самой земли и затем, после того как они миновали его, спокойно продолжал своё занятие.

У боковой дорожки повстречался другой садовничий ученик, занятый тем же, что делал и первый; он так же низко поклонился и, после того как императрица миновала его, одинаково спокойно продолжал сгребать листву.

У многочисленных поворотов уединённых, скрывавшихся в глубокой лесной чаще дорожек

повсюду встречались те же садовничьи ученики, все без исключения занятые удалением вялой листвы с дорожек, как то предписывалось садовым этикетом в императорских парках. Всё это было весьма естественно и само собою понятно, но всё же казалось, что эти мальчики были живыми путеводителями для Потёмкина, так как он постоянно поворачивал от одного ученика к другому, уже видневшемуся за ближайшим поворотом.

Государыня не обращала внимания на это; она всё ещё была погружена в свои мечты и молча шла рядом с Потёмкиным.

— Куда ты ведёшь меня? — спросила она, наконец, поднимая свой взор, когда они углубились в ещё большую чащу, образовывавшую здесь искусственно поддерживаемый в диком состоянии парк, в котором одна лишь дорожка, заботливо содержимая и усыпанная мелким золотисто-жёлтым песком, говорила об украшающей руке человека.

Здесь точно так же стоял мальчик и, как и другие, низко поклонился при их появлении; при этом он приподнял свои грабли и как бы указал их концом на мховую хижину, расположенную в стороне, в тени высоких старых дубов, и обвитую

густым плющом. Возле неё журчал холодный лесной родник, катя свои струи по пёстрой гальке. Это было место, какого лишь могут жаждать поэты для своих размышлений или влюблённая парочка — для своего сокровенного счастья.

— Куда ты ведёшь меня? — ещё раз спросила императрица, в то время как мальчик повторил свой знак граблями.

— К моему доказательству, — сдавленным голосом ответил Потёмкин. — Но тише! Ни слово, ни звук, ни дыхание не должны выдавать нас.

Он увлёк императрицу вдоль дорожки, ведшей к мховой хижине, вход в которую за родником был завешан побегами плюща.

Шаги не были слышны на мягком песке.

— Я не понимаю, — проговорила Екатерина Алексеевна, — что тебе нужно в этом уединённом лесу?

Потёмкин ответил лишь жестом, призывавшим императрицу к молчанию.

Они подошли к мховой хижине.

Потёмкин быстро провёл государыню за угол хижины и затем раздвинул плющ, спускавшийся над её входом.

Екатерина Алексеевна побледнела и, как статуя, неподвижно осталась на месте.

В хижине, на мховой скамье лежала графиня Брюс, а у её ног, на деревянной скамеечке, сидел Римский-Корсаков. Он держал руку графини и видимо нашёптывал ей слова любви, в то время как она своей другою рукою нежно гладила его по лицу.

Картина, внезапно представившаяся взору императрицы, была не лишена прелести; графиня была красивой женщиной, походившей на розу в её полном цвету, и в той позе, в которой она отдыхала на мягком ковре под сумеречной зелёной лесной тенью, прислушиваясь к любовным словам молодого блестящего офицера, она могла бы служить заманчиво-прелестной моделью для художника.

Но государыня, по-видимому, не чувствовала всей прелести картины, с которой сбросил пелену пред ней Потёмкин. Она стояла на месте со вздымавшейся грудью, её губы вздрагивали, её глаза метали молнии, между тем как Потёмкин с торжествующей улыбкой отошёл в сторону.

Всего лишь миг господствовала тишина, а затем в хижине раздался пронзительный крик. Графиня подняла взор, узнала императрицу и вскочила, беспомощно теряя всякое присутствие духа. Обе женщины стояли почти непосредственно лицом

к лицу: императрица — грозная, в страшном гневе, графиня — испуганная, как будто сама смерть выросла пред нею из недр земли. Римский-Корсаков стоял рядом с нею, как пойманный на месте преступления школьник, тщетно пытающийся придумать какое-нибудь извинение для своей глупой шалости.

— Вы видите, ваше императорское величество, — насмешливо проговорил Потёмкин, — что ваша личная свита всегда к вашим услугам, даже здесь, в этом лесном уединении.

Графиня окинула его полным дикой ненависти взглядом и затем, нечеловеческим усилием воли стараясь придать своей внешности равнодушно-спокойный вид, сказала:

— Вы, ваше императорское величество, отпустили нас, мы ждали здесь ваших приказаний, и ваш адъютант, обладающий пороком или достоинством честолюбия, просил меня замолвить за него словечко пред вашим императорским величеством о повышении его в чине; ему кажется, что...

— Да, да, — воскликнул Римский-Корсаков, опускаясь на колена пред государыней и пытаясь схватить её руку, которую она поспешно отдёрнула, — да, для вашего адъютанта слишком мал

чин полковника... Я не смел... и графиня...

Екатерина Алексеевна уже вполне овладела собою. Ледяное спокойствие сковало черты её лица, а на её губах заиграла ироническая улыбка.

— Просьба не должна остаться безрезультатной, — сказала она с лёгкой дрожью в голосе, выдававшей её внутреннее волнение. — Римский-Корсаков не должен напрасно молить о ходатайстве у дамы, называющей себя моим другом. Встаньте!.. Вы — генерал.

— Благодарю вас, ваше императорское величество, благодарю вас! — воскликнул совершенно осчастливленный Римский-Корсаков, снова делая попытку поцеловать руку государыни, но последняя вторично отдёрнула её от него.

Графиня в трепетном ожидании не сводила взора с Екатерины Алексеевны; она не обманывалась в её мнимом спокойствии, чувствовала, что над её головой нависла буря, и с ужасом ждала грома.

— Для того, чтобы вы могли подготовиться к тому, чтобы полезно послужить мне и моей империи в своём новом чине, — продолжала государыня, — вы отправитесь за границу и будете изучать там военное искусство; князь Григорий Александрович снабдит вас паспортом; сегодня

же вы уедете в Петербург, чтобы оттуда отправиться в своё путешествие.

Потёмкин поклонился, а Римский-Корсаков остался безмолвно стоять на коленях.

— А вас, графиня, — продолжала Екатерина Алексеевна, — как мне кажется, утомила та служба, которую вы, из дружбы ко мне, с таким самопожертвованием приняли на себя. Я не смею принимать такую жертву; я вижу, что у императрицы не должно быть подруг. Я уверена, что деревенская тишь в ваших поместьях будет благоприятна для вас. В течение часа, князь Потёмкин, должны быть готовы лошади для графини.

— Ваше императорское величество, — вне себя воскликнула графиня, — выслушайте меня!..

— Выслушать? — спросила Екатерина Алексеевна с резкой насмешкой, — я видела, графиня, высказала своё мнение и надеюсь, что вы слышали и не принудите меня повторять то, что я уже раз сказала. Пойдёмте, князь Григорий Александрович.

Она подала руку Потёмкину и быстро направилась ко дворцу.

Графиня Брюс несколько секунд оставалась с прижатыми к груди руками, бледная и неподвижная, затем бросила взгляд глубокого презрения

на Римского-Корсакова, который как разбитый не подымался с колен, и прошептала:

— Ну, разве стоила эта игра той ставки, которую я проиграла?

После этого она медленно пошла к флигелю дворца, в котором жила.

Римский-Корсаков, немного спустя, тоже последовал за нею; он шёл колеблющейся походкой, словно пьяный, тихо бормоча про себя проклятия, связанные с именем графини.

Так прекратилась под взглядом императрицы столь милая любовная картина и ещё недавно пред тем счастливые союзники шли вдали друг от друга, унося в сердцах ненависть и презрение...

— Что же, доставил я своё доказательство? — спросил Потёмкин.

— Благодарю тебя, Григорий Александрович, — ответила Екатерина Алексеевна, — ты бодрствуешь ради меня и у меня нет друга кроме тебя.

— А будет мой царственный друг впредь требовать от меня ещё доказательств?

— Никогда, Григорий Александрович! — воскликнула государыня. — Моё доверие с этих пор вполне принадлежит тебе и в доказательство этого, которое я сейчас же хочу дать тебе, слушай,

что я тебе скажу: София де Витт здесь!

— София де Витт? — вздрагивая воскликнул Потёмкин, — бесстыдная, коварная! Но нет, это невозможно! Как попала она сюда, где она могла скрыться от меня?

— Вот видишь, — весело проговорила Екатерина Алексеевна, — по временам я могу быть прозорливее, чем мой верный страж; впрочем, ведь здесь дело идёт о женщине, которую надёжней проследит взгляд женщины. София де Витт здесь; она свободно и открыто показывается повсюду и уже много раз встречалась и самому тебе.

Потёмкин всё ещё мрачно и недоверчиво покачивал головою.

— Мне бросился в глаза паж графа Феликса Потоцкого, — продолжала Екатерина Алексеевна, становясь всё веселее и веселее, — я тотчас же признала, что этот паж — женщина, и так как я хорошо рассмотрела его, то узнала в нём и Софию де Витт.

— Потоцкий... он? — воскликнул Потёмкин. — О, это бессовестно, это — дерзость, которая не должна пройти безнаказанно!..

— Нет, нет, мой друг, — прервала его Екатерина Алексеевна, — это — счастье, за которое следует

ухватиться. Так как София де Витт здесь, то очевидно она совершенно овладела Потоцким, раз имеет возможность позволять себе такие безумно смелые выходки. Поэтому предоставь мне эту женщину! Она должна стать моим орудием, чтобы привлечь на нашу сторону Потоцкого.

— И я должен терпеть, что она коварно ускользнула от меня, что она пренебрегает мною, смеётся надо мною, здесь, в моём присутствии? — воскликнул Потёмкин.

— Да, мой друг, — сказала Екатерина Алексеевна, — ты должен терпеть это, я требую этого от тебя, так как я требую этой женщины для себя, совершенно для себя, я одна желаю держать её в своих руках. Во всяком случае она не останется безнаказанною... и, может быть, — мрачно продолжала она, — её поразит более тяжёлое наказание, чем наказал бы ты. Обещай же вполне предоставить её мне! Ведь могу же я требовать от тебя жертвы моему капризу?

— Пожалуй, это было более, чем капризом, — мрачно произнёс про себя Потёмкин. — Но пусть будет так! Я обещаю то, чего требует от меня императрица.

— И ты увидишь, что поступил правильно, — весело воскликнула Екатерина Алексеевна, — ты

убедишься, что я всё же делаю лучшую политику, чем ты сам, когда дело касается женщины, женщины, — прибавила она, насмешливо грозя пальцем, — которая, пожалуй, сумела бы владеть тобою, как она владеет Потоцким.

Они возвратились ко дворцу.

Ланской стоял у его дверей и отсалютовал при приближении государыни.

— Римский-Корсаков уволен и вы, ваше императорское величество, без адъютанта, — сказал Потёмкин.

— Ты прав, — с заблестевшим взором ответила императрица и быстро подошла к Ланскому. — Я обещала вспомнить о тебе, Степан Иванович, — сказала она, окидывая благосклонным взглядом вставшего пред нею во фронт гвардейца, — князь хвалит твоё усердие и твою верность.

— Каждая капля моей крови принадлежит моей августейшей государыне императрице! — с выражением искреннего восторга воскликнул Ланской.

— Так вот, я верю тебе и желаю дать тебе возможность выказать свою верность, — продолжала Екатерина Алексеевна. — Ты будешь моим адъютантом!

— Адъютантом вашего императорского ве-

личества?.. я? — воскликнул Ланской. — И это — не сон?

— Это — действительность, Степан Иванович, — улыбаясь, произнесла Екатерина Алексеевна. — Ступай с князем! Он определит тебя к должности и укажет тебе твою квартиру.

Из кабинета государыни поспешно вышел паж и доложил о графе Фалькенштейне.

Екатерина Алексеевна с приветливой улыбкой кивнула головой Ланскому и сказала:

— Возьми его с собою, Григорий Александрович, и позаботься о том, чтобы сегодня вечером, когда соберётся двор, он уже приступил к исполнению своих обязанностей! Я вскоре жду тебя; мы будем обедать в обществе одного лишь графа Фалькенштейна.

Потёмкин пошёл с Ланским через боковой ход во внутренний двор дворца, а Екатерина Алексеевна прошла в кабинет, где её уже встретил император Иосиф в своём сером костюме без ленты и звёзды. Она учтиво и сердечно приветствовала его и её лицо сияло такою чистою радостью, как будто она возвратилась с простой прогулки и только наслаждалась весенней свежестью природы.

Вечером в блестящих залах Янчинского дворца

снова ярко горели свечи. Собрался весь двор, блистая бриллиантами и орденскими звёздами; с улыбкою приветствовали друг друга, с улыбкой разговаривали; ведь спокойная, весёлая улыбка — принадлежность этикета, что бы ни скрывалось под этой улыбкой: любопытство ли, или злорадство, зависть ли, или нерасположение, ненависть или угроза. Улыбка, как расшитое золотом парадное платье, как орденская лента или звезда, принадлежит к предписываемому костюму, к туалету лица, и тот, кто естественнее других умеет удерживать на губах беспечную, детски весёлую улыбку, чувствует себя как дома на скользком придворном паркете.

И сегодня под этой парадной улыбкой, с которой гости императрицы приветствовали друг друга, с которой болтали, сходясь в группы и снова расходясь, как в меняющемся калейдоскопе, скрывалось много любопытства и злорадства, но вместе с тем и немало беспокойного страха и забот. В воздухе носились изумительные слухи, случились из ряда вон выходящие вещи, и никто не мог найти им объяснение.

Графиня Брюс, первая придворная дама, сестра великого, непобедимого Румянцева, долголетняя неразлучная подруга государыни, внезапно

уехала, и все видели, как она была бледна и как прижимала к глазам свой носовой платок, когда выезжала из дворцового двора. Почти в то же время по дороге в Петербург уехал Римский-Корсаков, и в нём заметили ещё более очевидные и явные признаки глубокого потрясения, когда он покидал дворец.

Правда, придворные привыкли к тому, что фавориты императрицы, исполнявшие должность её личного адъютанта, часто внезапным образом исчезали, так же внезапно сменяясь другими, и поэтому отъезд Римского-Корсакова сам по себе не был бы событием значительной важности. Однако очевидная немилость к графине Брюс, положение которой, по общему мнению, считалось непоколебимым, имела уже большее значение, а то обстоятельство, что эта немилость совпала с увольнением Римского-Корсакова, что императрица, постоянно ревностно избегавшая всякого шума, здесь, в Могилёве, в присутствии императора Иосифа, в городе, где собралась вся польская знать, куда были обращены взоры всех европейских правительств, совершила подобную перемену самых близких к себе людей, должно было быть следствием серьёзных, важных событий. И это возбуждало любопытство, которое

тем судорожнее напрягалось, что не произошло ничего явного, что могло бы послужить толчком к этому перевороту. Но, чем глубже и непроницаемее была тайна, окружавшая всё это, тем большую важность приобретало это событие в глазах всего двора. Ко всему присоединилось и то, что в эту ночь там и сям было слышно движение, ординарцы и казачьи отряды карьером неслись по улицам; носились слухи о многочисленных арестах, но никто не мог сказать, кто именно арестован. Но ведь известно, что чем неопределённее слух, тем быстрее он распространяется и тем более веры придают ему. И потому было вполне естественно, что всё общество находилось в трепетном возбуждении, что все разговоры велись вполголоса, что люди не смели расспрашивать и вместе с тем всё же надеялись из какого-либо слова или беглого замечания получить луч света.

Однако всё было напрасно. Как ни хитро подходили к тому, чтобы заставить заговорить статс-дам императрицы, они избегали всяких замечаний, соприкасавшихся с важным вопросом дня, и либо ничего не знали, либо делали вид, что не знают. Поэтому приходилось упражняться в нелёгкой добродетели терпения и страстно ждать появления их величеств. Но во время этого

ожидания каждый старался сделать своё лицо возможно более равнодушным. Ещё не было определённо объявлено о немилости к столь внезапно исчезнувшим с придворного горизонта лицам, и потому никто не смел обнаруживать злорадство, ощущавшееся большей частью общества. Однако эта немилость была настолько вероятна, что и принадлежавшие к друзьям и любимцам графини Брюс и Римского-Корсакова не осмеливались дать заметить в себе выражение сожаления.

Лишь весьма немногие не обращали внимания на то, что так волновало всех остальных.

Во-первых, не интересовался этим маршал литовский Сосновский; мрачный и бледный, он всё смотрел пред собою и почти невежливо отклонял все соболезнующие вопросы относительно состояния здоровья его дочери. Все знали, что графиня Людовика, накануне заболев, покинула бал государыни, знали также и о том, что утром она была у государыни, а затем была отправлена последней ради лучшего ухода во дворец архиепископа; при строгом молчании, которое соблюдалось свитою императрицы, никто ничего не знал о событиях предшествовавшей ночи, и потому находили вполне естественным, что Сосновский особенно

сильно ощущал болезнь дочери, так как она случилась как раз в ту самую минуту, когда её брак с Бобринским должен был осуществить все его желания. Притом же в виду столь важных событий при дворе это частное дело маршала литовского представляло собою мало интереса; однако о нём говорили тем усерднее, чем меньше могли говорить о том, что собственно занимало умы всех; в особенности среди поляков не было недостатка в иронических замечаниях относительно помехи, воспрепятствовавшей антипатриотическому честолюбию Сосновского.

Феликс Потоцкий, казалось, как будто и не знал ничего о том, что волновало общество; он был радостен и, как всегда, весел, шутил со всеми, был полон любезного достоинства по отношению к русским вельможам и так громко и усердно высказал Сосновскому своё соболезнование по поводу нездоровья его дочери, отсрочивавшего осуществление столь прекрасных надежд, что Сосновский со злобным, грозным взглядом и короткой, почти невежливой фразой отвернулся от него.

Графиня Елена Браницкая держалась также вполне непринуждённо. Она блистала красотою, и её взор горел ещё ярче, чем сверкающий блеск

её бриллиантов; для каждого у неё находилось приветливое слово. Она тоже подошла к Сосновскому, но он сердито прошептал ей:

— Вы изменили мне, графиня. Зачем вы помешали бегству, если намеревались затем вымолить покровительство государыни для непокорной? По-видимому, вам доставляет только радость причинение зла другим.

— Это — свойство демонов! — ответила графиня с иронический смехом. — Берегитесь, граф Сосновский, связываться с демонами; кто принимает их услуги, тот навсегда подпадает под их власть!

Взор графини упал на Игнатия Потоцкого, только что вошедшего в зал. Его лицо было бледно и серьёзно. Он также взглянул на неё. Глубокая и вместе с тем печальная задушевность лежала в его взоре, который задумчиво покоился на ней, и, почувствовав который, она вся вздрогнула.

Игнатий, казалось, намеревался подойти к ней; он уже сделал несколько шагов, но затем вдруг остановился и, словно невольно покачав головою, обратился с безразличною фразою к стоявшему близ него придворному.

Лицо графини на миг покрылось густым румянцем, горькая усмешка тронула её губы, затем она быстро перешла через зал и остановилась

пред Игнатием Потоцким; она подала ему свою руку, но лишь едва коснулась при этом кончиками своих пальцев его руки. Он принуждённо ответил на её привет и робко потупил взор пред её горящим взглядом.

— Добрый вечер, граф Игнатий, — между тем дружески, но всё же жёстким, грубым тоном произнесла графиня Елена, — надеюсь, вы более не сердитесь на меня за то, что я выдала бегство вашего друга Костюшки, случайно открытое мною; я опасалась, что крошка Людовика Сосновская решилась на глупую выходку, благодаря детскому легкомыслию, и хотела оградить от позора старинное благородное имя. Я исправила свой несправедливый поступок и выпросила покровительство государыни императрицы для бедняжки Людовики; её свобода обеспечена, и мне думается, что она всё же будет счастлива.

— Я знаю это, графиня Елена, — сказал граф Игнатий, пожимая ей руку, которую она быстро отдёрнула от него.

— Вы знаете это? — спросила она.

— Государыня говорила со мною; и, клянусь Богом, я не сержусь на друга, по недоразумению ошибившегося.

— По недоразумению? — воскликнула Браниц-

кая и пламенный румянец залил её лицо. — Да, — сказала она затем, обмахиваясь веером, — ведь я же не знала, что благородная любовь смутила сердце графини Людовики и что Костюшко достоин её любви. Всё это было лишь недоразумение — увы! — недоразумение роковое!..

Она живо и торопливо проговорила всё это. Взор Потоцкого с искренним соболезнованием покоился на её прекрасном лице. Слово, казалось, уже трепетало на его губах. Но тут раздались три удара жезла графа Строганова.

Все взоры обратились ко входу в покои императрицы.

Два пажа настежь открыли створки дверей и остались стоять по обе стороны её.

Непосредственно за тем в зал вступила Екатерина Алексеевна. На ней было чрезвычайно простое платье французского покроя; единственным украшением её головы служила византийская корона, сверкавшая драгоценными камнями. Её лицо сияло весёлым спокойствием.

Лёгким наклонением головы она приветствовала общество, словно волна колосьев глубоко склонившееся пред ней.

Но сегодня головы поднялись быстрее обыкновенного, и предметом любопытства, которого

искали взоры всех, была не сама императрица.

За государыней вошла в зал княгиня Голицына, первая статс-дама по старшинству после графини Брюс, и рядом с нею увидели молодого человека высокого роста в адъютантском мундире с богатым шитьём и с золотыми аксельбантами; он с благородной осанкой, но несколько робко и принуждённо стоял на пороге. Никто не знал его, но сомнения разрешились: немилость была высказана, графиня Брюс и Римский-Корсаков были смещены и уехали, чтобы более не возвратиться.

Единодушный вздох, казалось, пробежал по блестящему собранию, все почувствовали облегчение; пред всеми был совершившийся факт, и каждый знал, как теперь держаться.

— Это — Ланской... Ланской, конногвардеец, — послышался в одной из групп тихий шёпот, и с быстротою молнии по залу пронеслось шёпотом повторяемое имя нового адъютанта, которого пред тем никто не упоминал и которое теперь повторялось всеми с таким же выражением, как будто молодой, до сих пор никем не замеченный офицер был предметом уважения и дружбы каждого из присутствовавших.

В то время как императрица всё ещё стояла вблизи дверей и обводила своим гордым взором

собравшихся, отворилась вторая дверь и в зал вошёл император Иосиф в сопровождении своих адъютантов. Как и накануне вечером, на нём был простой тёмный костюм, украшенный орденом святого Андрея Первозванного и Золотого Руна. Он поспешил к императрице, с рыцарскою вежливостью поцеловал её руку и произнёс несколько любезных фраз.

Императрица громким голосом, далеко слышным при царившей глубокой тишине, сказала:

— Позвольте мне, ваше величество, представить вам моего нового адъютанта, господина Ланского, офицера моей лейб-гвардии конного полка. Римский-Корсаков сегодня уехал, чтобы подготовиться для службы в армии и загладить некоторые бестактности, которые следует простить его молодости.

Иосиф улыбнулся с выражением удовлетворения. Могло казаться, что увольнение прежнего адъютанта являлось результатом излишней самоуверенности, неприличным образом проявленной Римским-Корсаковым по отношению державного гостя своей государыни.

Император любезно поздоровался с Ланским, и последний со строгой военной выправкой стал коротко и почтительно отвечать на его вопросы.

Потёмкин почти незаметно вошёл вслед за императрицей. Иосиф тотчас же поспешил к нему, подал ему руку и, заговорив с ним, в то же время подал руку императрице, чтобы отвести её к её креслу; этим он естественным образом заставил князя идти среди общества рядом с их величествами.

Из боковой двери появился и Бобринский; он казался удручённым; отсутствие графини Людовики, видимо, огорчило его. Он хотел было подойти к Сосновскому, но тот резко отвернулся и занял место поближе к императрице, чтобы нельзя было заговорить с ним.

Поднявшееся при появлении их величеств движение разделило и графиню Браницкую с Игнатием Потоцким; графиня вскоре была подозвана государыней, и граф Игнатий остался одиноко стоять в стороне, погрузившись в свои мысли и по временам бросая печально-задумчивые взгляды на графиню, которая снова, блистая красотой и грацией и рассыпая перлы остроумия, увлекла всех за собою и некоторое время почти исключительно одна разговаривала с их императорскими величествами.

Танцы в бальном зале ещё не начинались, но музыка уже наигрывала первые звуки менуэта; в

это время у наружных входных дверей парадных покоев стало заметно необычайное движение.

Лакеи разыскали графа Строганова, он вышел и вскоре вернулся, поспешно направившись к императрице; последняя, по-видимому, была приятно удивлена его докладом и, нагибаясь к императору Иосифу, сказала несколько слов своему гостю, которые он выслушал тоже с живою радостью.

Это событие снова в высшей степени возбудило любопытство всех присутствовавших; казалось, что богатый событиями день должен принести что-либо ещё более важное, и взоры всех последовали за графом Строгановым, быстро возвратившимся ко входным дверям.

Сейчас же вслед за тем граф с некоторою торжественностью ввёл молодого, стройного офицера в простом и всё же бывшем к лицу ему синем мундире прусских драгун и провёл его через ряды придворных к императрице.

Молодой прусский офицер шёл с гордой, почти дерзкой самоуверенностью рядом с обер-камергером. Он остановился против государыни, благоговейно склонился и затем, встав навытяжку, сказал по-немецки:

— Барон фон Пирш, лейтенант королевского

прусского драгунского полка, имеет честь явиться пред вашим императорским величеством по повелению его величества короля.

Екатерина Алексеевна благосклонным взором окинула молодого офицера и ответила совершенно бегло по-немецки:

— Я весьма рада возможности приветствовать посланца моего августейшего друга, прусского короля, и его величество император, мой августейший гость, как я уверена, полон того же чувства, — прибавила она, обращаясь к императору Иосифу, пред которым фон Пирш тотчас же раскланялся.

— Всем известны моё благоговение и удивление пред его величеством королём Фридрихом, — сказал Иосиф, приветливо кланяясь прусскому офицеру, — и я счастлив в вашем лице видеть пред собою представителя его армии.

— Так как вы, ваше императорское величество, не соизволили, чтобы послы европейских держав сопровождали вас при этом вашем путешествии, — продолжал фон Пирш уже по-французски, — то мой всемилостивейший повелитель, желая лично приветствовать своего августейшего друга, оказал мне честь, послав меня сюда, чтобы передать вам, ваше императорское величество, это

письмо. — Он вынул из кармана своего мундира письмо с большой печатью и передал его императрице. — Вместе с тем, — прибавил он затем, — я должен просить у вас, ваше императорское величество, разрешения передать это второе письмо моего всемилостивейшего повелителя господину графу фон Фалькенштейну.

Император принял письмо, с глубоким поклоном переданное ему фон Пиршем, и улыбаясь сказал императрице:

— Приходится сознаться, король Фридрих умеет облекать в любезную форму знаки своего внимания.

— Совершенно верно, — ответила императрица, — и я прошу вас, ваше величество, сейчас же прочитать письмо короля.

Император и императрица вскрыли печати своих писем и прочли их содержание.

Императрица несколько раз с улыбкой покачала головою и затем сказала:

— Так как приветствие его величества короля Фридриха касается нас обоих, то я полагаю, что столь любезные его письма также относятся к нам обоим.

Она подала письмо, которое только что читала, императору Иосифу, а последний с обязательной

благодарностью взял его и, в свою очередь, передал своё письмо императрице со словами:

— Король прусский будет убеждён, что вы, ваше величество, и я не имеем друг от друга тайн.

Оба монарха, обменявшись письмами, прочли их с выражением того же удовольствия, как пред тем адресованные им лично. Потёмкин стоял возле и не мог совершенно согнать со своих губ насмешливую улыбку.

Весь двор в продолжение всей этой сцены в благоговейном молчании окружал монархов, все взоры были прикованы к выражению их лиц.

Лишь графиня Елена Браницкая едва обращала внимание на императрицу и императора; всё её внимание было привлечено происшествием, которое осталось незамеченным всеми остальными, исключительно занятыми центральным пунктом общества. Когда прусского офицера проводили к императрице, графиня заметила, что Игнатий Потоцкий, вдруг побледнев, со всеми признаками внезапного страха выступил из рядов, в которых стоял, и устремил свой взор на вошедшего, как на привидение. Когда затем офицер представился и назвал своё имя, граф Игнатий весь вздрогнул и, как бы под тяжестью удара, склонил свою голову. Он отошёл назад,

словно хотел спрятаться за спины других, но не отрывал взора от свежего, смелого лица прусского офицера, которое, по-видимому, казалось ему ужаснее змееволосой головы Медузы.

Графиня Браницкая наблюдала всё это из-за своего веера, который она дрожащею рукою то раскрывала, то снова закрывала; для неё не было сомнения, что граф Игнатий Потоцкий знал этого прусского офицера, а последний очевидно находился в связи с какой-нибудь тайной его жизни, вследствие чего его присутствие здесь и внушило ужас и страх графу. Может быть, здесь ей представлялась путеводная нить к разрешению загадки, так овладевшей всем её существом, и она решила последить за офицером.

Всё ещё пряча своё лицо за веером, графиня наблюдала за каждым изменением в лице графа, за каждым его движением.

Императрица и император прочли письма и снова обменялись ими.

— Не знаешь в самом деле, чему и удивляться больше: перу ли, или мечу короля Фридриха, — сказал Иосиф.

— Разумеется, перу, — быстро ответила Екатерина Алексеевна, — пред пером монарха я могу преклоняться, пред его мечом — никогда!

Иосиф мгновенно покраснел и сжал губы, в то время как Потёмкин одобрительно кивнул императрице.

— На сегодня ваши служебные обязанности окончены, — сказала Екатерина Алексеевна, обращаясь к фон Пиршу, всё время неподвижно стоявшему навытяжку, — так как вы исполнили поручение своего августейшего повелителя. Ещё раз благодарю вас за радостную весть, доставленную мне вами. Теперь вы — только мой гость; надеюсь, что время пребывания при моём дворе не покажется вам продолжительным.

Она кивнула Пиршу головою, в знак того, что отпускает его.

Молодой офицер низко поклонился и, пятясь задом, отошёл от императрицы.

XVII

Отступив назад из блестящего круга, тесным кольцом охватывавшего высочайших особ, барон фон Пирш очутился лицом к лицу с адъютантами императора Иосифа: графом Тальффи и Эрдеди, которые приветствовали его с сердечным радушием; за ними последовали русские и польские сановники, просившие графа Бобринского представить их послу прусского короля, столь благосклонно принятому императрицей. Таким образом юноша оказался в кругу лиц, которые почти сплошь были несравненно старше его годами и рангом, но тем не менее наперерыв старались оказывать ему всевозможные любезности. Из гнетущего, подчинённого положения пажа при уединённом дворе великого монарха он внезапно попал в круговорот светской жизни и здесь, в таком необычайно блестящем обществе, сделался средоточием почтительного уважения и внимания. Хотя ему и удавалось успешно справляться со своей новой ролью, столь лестной для его юношеского самолюбия, однако сердце Пирша кипело восторгом при такой резкой и неожидан-

ной перемене, и, в то время как он держал себя с равнодушным, спокойным достоинством дипломата, вполне сознающего своё значение, в его глазах вспыхивала порою шаловливость пажа.

В танцевальном зале заиграла музыка. Пары танцующих становились на места, чтобы начать первый менуэт, в котором участвовали также император с императрицей.

Бобринский предложил барону фон Пиршу представить его также и дамам, чтобы он мог участвовать в танцах.

Только что молодой человек собирался с жаром принять это предложение, как графиня Елена Браницкая, ни на минуту не терявшая его из вида, поспешно подошла к нему.

— Познакомьте меня с бароном, граф Бобринский, — сказала она, — моё восхищение и почтение к прусскому королю так велики, что я сочту особенной честью протанцевать первый менуэт с его послом.

Фон Пирш был почти ослеплён сиявшей блеском бриллиантов наружностью этой женщины, красота которой соединялась с очаровательной грацией. На один миг он даже утратил свою уверенность и поклонился графине с неловкостью школьника.

— Однако вам везёт счастье! — воскликнул Бобринский, — самым знатным придворным не всегда удаётся получить благосклонный взгляд графини Елены Браницкой, а тут — извольте видеть! — она сама выбирает вас своим кавалером!.. Даже для князя Потёмкина это было бы отличием, которым он стал бы гордиться.

— Посол прусского короля достоин всякого отличия, — заметила графиня, — тем более, что сам он носит на своём челе печать рыцарского духа, который служит нам порукой в том, что он сумеет вполне оценить дамскую благосклонность.

Сильно покраснев, барон фон Пирш почтительно поклонился и пробормотал несколько невнятных слов благодарности, после чего быстро повёл графиню, взявшую его под руку, в танцевальный зал, чтобы занять место среди танцующих менуэт, который, благодаря участию императрицы и её августейшего гостя, служил центром всеобщего внимания.

Игнатий Потоцкий содрогнулся от испуга, когда увидел, что графиня Елена заговорила с прусским офицером. Он последовал за этой парой и выбрал себе место у дверей танцевального зала в толпе зрителей таким образом, чтобы не терять графини из вида, потому что её разговор с

приезжим, казалось, поглощал всё его внимание, причиняя ему в то же время сильную тревогу и беспокойство.

Взор графини, как будто небрежно скользивший по залу, тотчас открыл этого внимательного наблюдателя; она разговаривала со своим кавалером тоном лёгкой салонной беседы и расспрашивала его о жизни великого короля в Сансуси.

Проказливая шаловливость пажа снова пробудилась в молодом офицере в разговоре с его очаровательной дамой, и он пустился описывать комические происшествия из тихой жизни отшельнического двора, чем немало смешил графиню.

— Вам всё должно казаться здесь диким, — сказала она во время перерыва в танце, — так как здешний двор представляет совершенную противоположность тому, к чему вы привыкли в Берлине или Сансуси.

— По своей любезной доброте, графиня, вы заботитесь о том, — ответил фон Пирш, — чтобы я не чувствовал себя здесь чужим; кроме того, граф Бобринский радушно представил меня многим придворным, хотя, правда, я рискую ещё не раз попасть в замешательство, так как мне не было возможности хорошенько запомнить все фами-

лии, быстро следовавшие одна за другой во время представления.

— Я к вашим услугам, когда понадобится прийти на помощь вашей памяти, хотя мне, кажется, что здешнее общество не совсем чуждо вам; по крайней мере, насколько я заметила, граф Потоцкий узнал вас и, по-видимому, удивился вашему появлению здесь.

— Граф Потоцкий? — спросил фон Пирш. — Действительно, я помню, что был представлен ему, это рыцарски весёлый господин, но, насколько помнится, его имя — Станислав Феликс и я не имел чести никогда встречаться с ним раньше.

— Я говорю не о графе Станиславе Феликсе, — возразила графиня, — но о его брате Игнатии, который провёл долгое время в дальних странствованиях и конечно мог встретиться с вами при берлинском дворе, хотя я не знаю наверное, был ли он в прусской столице. Вы можете видеть графа вон там направо, у входных дверей; он как раз смотрит сюда.

Графиня произнесла эти слова, не обращая взора на Игнатия Потоцкого, который действительно смотрел через зал в её сторону и как будто следил с нетерпеливым напряжением за разговором между нею и молодым офицером.

Фон Пирш взглянул по направлению, указанному графиней Еленой, и вдруг вздрогнул, причём густая краска залила ему лицо.

— Действительно, графиня, — сказал он, — там стоит господин, которого я знаю и видел в Берлине. Но это — вовсе не граф Потоцкий; это — некий Балевский, как я слышал, агент одного торгового дома. Я, право, не понимаю, как мог он попасть сюда!

— Вы шутите! — возразила Браницкая, кидая равнодушный взгляд на группу у дверей. — Разве путешествующий представитель торговой фирмы мог бы очутиться при дворе императрицы? Тот господин у порога, в тёмном платье и ленте ордена Станислава...

— Совершенно верно, совершенно верно! — подхватил юный барон, пламенный взор которого принимал всё более и более грозное выражение.

— Это — не кто иной, как граф Игнатий Потоцкий, — договорила графиня, — брат фельдцейхмейстера, один из знатных магнатов высшего польского дворянства.

— А между тем, — возразил Пирш, — я нисколько не ошибаюсь; я видел его в Берлине, и тогда он назывался Балевским.

— Ну, возможно, — заметила графиня равно-

душным тоном, но слегка дрожащими губами, — что граф принимает во время путешествий более простое имя, налагающее на него менее стеснений: во всяком случае он как будто знал вас раньше и, вероятно, будет рад увидеться с вами здесь.

— Он, конечно, мог узнать меня, как и я его, — сказал фон Пирш, — но обрадуется ли граф свиданию со мною, — прибавил молодой человек с горьким смехом, — этого я не знаю; пожалуй, у него будет так же мало поводов к этому, как и у меня самого.

— Ах, — со смехом подхватила графиня, — должно быть, вы не сделались друзьями при вашей встрече? Это удивляет меня, потому что граф — весьма любезный кавалер.

— Я имел мало случаев познакомиться с его любезностью, — ответил барон — но, как бы то ни было, он отличается большой надменностью и самонадеянностью, что мне удалось заметить, а я был в то время ещё пажом.

— Ну, я понимаю, — с улыбкой сказала графиня, — пажеские годы — это время недоверия к зрелым мужчинам; надеюсь, что, поднявшись теперь на одинаковую степень с графом, вы сумеете лучше оценить его, чем при первом знакомстве.

Тут снова наступила их очередь танцевать.

Фон Пирш стал с графиней в ряды танцоров. Она порою шептала ему грациозно-шутливые слова, но на его челе по-прежнему оставалась туча, и он посматривал мрачным взором на графа Игнатия, который, в свою очередь, не спускал взора с этой танцующей пары.

Менуэт скоро кончился. Император и императрица свободно расхаживали по залам, заговаривая то с тем, то с другим из присутствующих.

Поспешно пройдя через танцевальный зал, граф Игнатий Потоцкий приблизился к графине Елене, которая всё ещё опиралась на руку своего кавалера.

— Позвольте мне приветствовать вас, барон фон Пирш, — сказал он, кланяясь молодому офицеру. — Хотя я и не мог рассчитывать встретиться с вами здесь, но поздравляю вас с тем, что выбор короля при таком почётном поручении пал на вас.

Фон Пирш поклонился с холодной сдержанностью и ответил несколько насмешливым тоном:

— Я вижу, что моё имя сохранилось в вашей памяти, хотя в то время, когда я имел честь встречаться с вами в Берлине, оно принадлежало только пажу, которого вы, пожалуй, сочли незна-

чительным мальчиком. Я чуть было не попал впросак, не воздав графу Игнатию Потоцкому подобающей чести и заговорив с ним просто как с господином Балевским, что было бы страшным нарушением приличий по отношению к такому важному лицу, как вы.

Граф подошёл к нему ещё ближе и, понизив голос, сказал:

— Я не могу объяснить вам, барон, те причины, которые заставили меня скрывать своё настоящее имя, но даю вам слово, что тайна, которую я должен хранить, представляет большую важность для короля вашего государства. Я радуюсь, что графиня Елена была первой, открывшей вам моё настоящее имя. Она — моя приятельница и сохранит мою тайну. Вас же я прошу никому не говорить о том, что я носил другое имя; я прошу вашего молчания и обращаюсь к вам не только как кавалер к кавалеру, но уверяю вас, что вы окажете важную услугу своему королю, если умолчите об этом.

Пирш смотрел на графа гордым, враждебно-холодным взором, высоко подняв голову.

— Не знаю, граф, дозволяет ли мой долг дать вам подобное обещание, — нерешительно возразил он.

— Всё-таки дайте его! — вмешалась графиня. — Я сама прошу вас о том, а даме вы не можете отказать в просьбе хранить молчание. Я действительно должна поддержать желание графа Игнатия ввиду того, что он питает такое доверие к моей дружбе, — прибавила молодая женщина с чуть заметным оттенком горечи и насмешки в голосе, тогда как её глаза странно засверкали.

— Благодарю вас, графиня Елена! — задушевным тоном сказал граф Игнатий. — Так, значит, я могу положиться на ваше слово? — прибавил он, протягивая Пиршу руку.

— Даю вам его, — подтвердил молодой офицер, касаясь руки графа, однако не отвечая на его пожатие, — разумеется, в предположении, что вы не способны обмануть благородное доверие.

Графиня чутко насторожилась при этих словах.

Между тем как раз в ту минуту к ней подошёл император Иосиф, и Браницкой поневоле пришлось отвернуться от разговаривавших, чтобы ответить на лестное замечание монарха.

— Господин фон Герне знает, кто я такой, — прошептал граф Игнатий Пиршу.

Тот холодно поклонился и поспешил отвернуться. К нему приблизился Бобринский.

— Пойдёмте, пойдёмте, мой друг! — сказал он, — ведь вы позволите мне называть этим именем королевского посла, которого императрица предоставила моим заботам? Хотя вы познакомились с великолепнейшей розой из цветника присутствующих здесь дам, но и остальные, несомненно, стоят вашего внимания и все будут рады познакомиться с офицером из прогремевшей по всему свету армии великого прусского короля.

Он увёл с собою Пирша и представил его поочерёдно собравшимся дамам этого блестящего круга, которым действительно было интересно посмотреть, умеет ли представитель армии великого Фридриха так же постоять за себя на салонном паркете, как на учебном плацу и на поле битвы.

Хотя молодой барон ещё недавно носил офицерский мундир, однако вполне сделал ему честь в присутствии русского и польского дворов, и пожалуй, при этом задорная бойкость пажа, всё ещё сидевшая в нём, пригодилась ему, хотя он не мог ещё совершенно стряхнуть с себя неудовольствие, вызванное встречей с графом Потоцким и воспоминанием об их первом знакомстве.

Праздник шёл своим чередом. Пирш неутомимо танцевал то с одной, то с другой из числа

самых красивых и знатных дам, бывших на балу. Императрица и император также ещё не раз заговаривали с ним, отличая его особенным вниманием. С легкомыслием юноши он скоро выбросил из головы неприязненные воспоминания и весь отдался удовольствию играть столь лестную для него главную роль в этом блестящем кругу после долгого и горького гнёта своего мальчишески-подчинённого положения.

Игнатий Потоцкий подошёл к графине Браницкой после того, как император Иосиф оставил её, и, подавая ей руку, сказал:

— Благодарю вас, графиня Елена, что вы помогли мне сохранить мою тайну, которая по столь удивительному стечению обстоятельств рисковала подвергнуться роковому разоблачению.

Графиня поспешно отдёрнула свою руку и небрежно сказала:

— Я уважаю всякую тайну, я уважаю её у всякого чужого человека, а тем более у друга, на доверие которого имею право рассчитывать.

Граф Игнатий, серьёзно посмотрев на неё, ответил печальным, почти торжественным тоном:

— Конечно, вы имеете полное право на моё доверие, графиня Елена, — однако и вам, даже вам не могу я ещё сегодня открыть свою тайну,

потому что, клянусь, она касается отечества и его святого дела.

— Святого дела, которому посвящено всё ваше сердце? — подхватила графиня, уставившись на графа Игнатия пристальным взглядом.

Потоцкий потупился пред её взором.

— Да, — твёрдо и спокойно сказал он потом, — всё моё сердце! Скоро настанет миг, когда я буду в состоянии открыть эту тайну также и вам; ведь вы были самой старинной моей приятельницей и — порукой чему служит мне ваше благородное сердце — останетесь ею всегда, даже если бы...

— Ни слова более о том! — поспешно перебила его Браницкая, — здесь, где нас окружают со всех сторон любопытные уши и зоркие глаза, не место говорить о тайнах.

К ним подошёл князь Потёмкин.

Граф Игнатий через несколько секунд удалился: весёлый, шутливый разговор, который завёл русский вельможа с графиней, не подходил к его настроению.

Хотя барон Пирш дал ему слово молчать, однако Потоцкого тяготила мысль, что тайна его пребывания в Берлине, от которой зависели судьба Польши и в то же время счастье его жизни, находилась теперь в руках чужого человека,

почти мальчика, а тот юноша вдобавок, как инстинктивно чувствовал граф, был враждебно настроен против него. Он испытывал потребность остаться одному, чтобы обдумать своё положение, и жаждал опять и опять прочесть письмо Марии, которое носил на своём сердце, хотя знал в нём наизусть каждое слово. Таким образом молодой человек незаметно оставил праздник, чтобы удалиться к себе на квартиру и попеременно предаваться здесь то серьёзным думам, то страстным, счастливым мечтам.

Барон фон Пирш не возвращался более к разговору с графиней; правда, она бросила ему мимоходом беглую шутку, но молодой человек не находил уже случая для более продолжительной беседы, и почти казалось, что он нарочно избегал её.

Пред полуночью императрица Екатерина Алексеевна, в сопровождении императора Иосифа, удалилась в свои покои. Приёмные залы опустели вскоре после того, так как существовало строгое правило, чтобы тотчас после удаления государыни из общества во дворце водворялась глубочайшая тишина.

Носилки дам поочерёдно подвигались к крыльцу, кавалеры сопровождали их, и ещё недавно

тихие улицы снова огласились весёлым говором и оживлённым смехом.

Графиня Елена подошла к Пиршу, для которого граф Строганов, по приказанию императрицы, отвёл в боковом флигеле дворца помещение, уступленное ему одним русским придворным кавалером.

— Прошу извинения, — сказала Браницкая обер-камергеру, только что поручившему одному из пажей проводить молодого офицера в его комнаты, — я должна ещё удержать барона на одну минуту и попросить у него рыцарской услуги проводить меня до дома. Ни один из здешних кавалеров не был настолько любезен, чтобы вызваться быть моим провожатым, и я должна сознаться, что мне интересно воспользоваться охраной и защитой офицера Фридриха Великого.

— Я к вашим услугам, графиня, — произнёс фон Пирш, — и в восхищении от той чести, которую вам угодно мне оказать.

Граф Строганов сказал барону, что при своём возвращении он найдёт на крыльце дежурного дворецкого, который проводит его в назначенные ему комнаты, куда уже был перенесён багаж приезжего.

Тут молодой, офицер подал графине руку и

повёл Браницкую к носилкам, ожидавшим её у подъезда.

Она уселась в них. Пирш пошёл у дверцы рядом с ними, и под лёгкую, весёлую болтовню они достигли домика в саду, где жила графиня.

— Хотя я здесь и не в своём поместье, — сказала графиня Елена, когда выходила из носилок, опираясь на руку Пирша, — но всё-таки я не могу отступить от священного обычая гостеприимства, принятого в моём белостоцком замке, и не желаю отпустить своего рыцарского спутника у дверей. Теперь ещё не поздно, и с моей стороны не будет нескромностью, если я попрошу вас поболтать со мною несколько минут.

Барон Пирш вздрогнул; он, робея, как мальчик, почти испугался ночного свидания с глазу на глаз с такою дивно прекрасной и привлекательной женщиной. Он пробормотал несколько слов благодарности за её любезность, которые графиня едва ли расслышала, так как она уже оперлась на его руку, чтобы войти вместе с ним в сени и подняться по простой, но устланной дорогими коврами лестнице.

Лакеи с канделябрами шли впереди, освещая им дорогу. У входа в верхний этаж ожидали дворецкий во французском платье и камеристки

графини.

— Извините меня на минутку, — сказала Браницкая, — я сейчас буду опять к вашим услугам.

Она скрылась в сопровождении своих служанок в боковую дверь.

Дворецкий ввёл барона в маленькую гостиную, освещённую множеством свечей в массивных серебряных канделябрах. Персидские ковры и дорогие звериные шкуры покрывали пол, свежие цветы благоухали на столах; небольшой огонь трещал в камине; было видно, что здесь, с помощью всех ресурсов богатства и утончённого вкуса, первоначально простое мещанское жилище было устроено для временного пребывания знатной особы. Воздух в комнате был напоен ароматами тонкого восточного благовония.

Фон Пирш почувствовал странное оцепенение, кровь сильнее волновалась в его жилах. Ему припоминались все фантастические рассказы, слышанные им о приключениях знатных дам при русско-польском дворе. Пышная роскошь, к которой юноша не привык во время своей военномонастырской жизни пажа, и удивительное благоухание, вдыхаемое им, произвели на него почти опьяняющее действие, и неопытное сердце Пирша билось всё сильнее в ожидании, когда

вернётся графиня.

Приблизительно через четверть часа графиня Елена вышла в гостиную из внутренней двери, завешанной тяжёлой портьерой. Она сняла свой бальный костюм и свои бриллианты; теперь на ней было широкое платье из тёмно-красного бархата, отороченное горностаем; оно застёгивалось на груди серебряной пряжкой; шнурок с золотыми кистями был слабо повязан вокруг бёдер, а на стройные, прекрасные руки ниспадали широкие рукава. То была удобная и живописная домашняя одежда, подходящая для интимной болтовни, но в то же время похожая на гордое царское одеяние; она придавала высокой фигуре графини Елены особое достоинство, как будто возвышавшее её над всеми прочими женщинами.

Почти ослеплённый этой величавой и вместе с тем соблазнительной красотой, барон издал невольный полуподавленный возглас восхищения и схватил руку графини, чтобы почтительно и в то же время пылко поднести её к губам.

Графиня Елена с улыбкой наблюдала чарующее и опьяняющее действие своей наружности на молодого человека. На одно мгновение она предоставила ему покрывать свою руку поцелуями, а потом отняла её естественным, непринуждён-

ным жестом, села на диван и указала Пиршу движением руки на табурет.

В это время вошедший дворецкий, поставил серебряный поднос с фруктами и бисквитами, с графинами замороженного шампанского и тёмного золотисто-жёлтого токайского на маленький столик, который графиня подвинула совершенно случайным жестом между собою и своим гостем.

Она наполнила два хрустальных бокала смесью этих обоих благородных вин, слегка чокнулась с бароном и омочила в прохладительном напитке губы, сказав:

— За здоровье вашего государя, непобедимого рыцаря-героя, мудрого философа и грациозного поэта!

Молодой офицер опорожнил свой бокал до последней капли, между тем как его восхищенные взоры пожирали красавицу, которая, улыбаясь, так далеко откинулась на подушки дивана, что протянутая рука юноши напрасно старалась дотянуться до её руки.

Потом графиня Елена принялась болтать с ним с той грациозной лёгкостью, которая была свойственна старинному французскому обществу и с его распадом совершенно исчезла в мире;

молодая женщина расспрашивала про Берлин и Сансуси, говорила про Польшу и Варшаву, про свою уединённую жизнь в Белостоке, про пышный русский двор, собравшийся здесь, в отдалённом провинциальном городе, вокруг двух монархов; она пересыпала лёгкие и пикантные шутки мыслями серьёзного направления и словами искреннего горячего чувства в таком удивительно разнообразном сочетании и умела при этом так ловко воодушевлять своего собеседника и расположить его к сообщительности, что ему казалось, будто он стоит на берегу громадной реки, сквозь игриво разбегающиеся волны которой заглядывает в кристально-чистые, но вместе с тем неизведанные глубины. Подвижный, но при этом богатый и обширный ум графини приковывал к себе юношу так сильно, что из-за него он почти забыл своё недавнее восхищение её соблазнительной красотой и думал про себя, что попал в какой-то совершенно новый мир, решительно недоступный ему до той поры.

Графиня Елена после краткого перерыва в разговоре, пытливо всматриваясь в барона Пирша из-под полуопущенных век, сказала:

— Мне очень жаль, что граф Игнатий Потоцкий не дружен с вами.

Лицо молодого человека омрачилось, и он возразил:

— Я слишком мало знаю его для того, чтобы быть с ним в дружбе; мы встречались друг с другом лишь мельком.

— Однако в этой мимолётной встрече, должно быть, лежит зародыш неприязни.

— С какой же это стати! Вы ошибаетесь, графиня, — ответил Пирш, стараясь поскорее отвлечь разговор от этого предмета в другую сторону.

Но графиня как будто решила не уступать.

— Не трудитесь запираться! — сказала она, — женский глаз зорок; я не ошибаюсь и искренне сожалею о вражде между двумя достойными людьми, которые, по-моему, рождены для того, чтобы подружиться.

— Ну, если хотите, то — правда, — произнёс после короткого раздумья Пирш таким тоном, точно решил, во что бы то ни стало, положить конец этому тягостному для него разговору. — Тот граф Потоцкий, или Балевский, как он назывался при нашем первом знакомстве, в самом деле противен мне. Ведь вы знаете, что в жизни существуют антипатии, которые, пожалуй, часто являются совершенно незаслуженными, но от которых всё-таки не можешь отделаться.

Он облегчённо вздохнул и, казалось, ожидал, что теперь предмет разговора будет исчерпан. Однако графиня продолжала с тем же испытующим взором своих полузакрытых глаз:

— Ну, милейший барон, если между двумя мужчинами возникает такая сильная взаимная антипатия — как я заметила, граф Игнатий был также неприятно поражён при виде вас, — то можно с достоверностью предположить, что причиной тому является дама.

Фон Пирш покраснел, а потом сейчас же побледнел, как мертвец. Образ подруги его детства, заслонённый пред ним властной красотою графини, внезапно встал пред его мысленным взором во всём своём обаянии; дрожащею рукою взял он свой бокал и выпил наполнявшую его пенистую влагу до последней капли, после чего со смущённой улыбкой, не поднимая потупленного взора, произнёс:

— Вы говорите — дама? Я не понимаю вас... Насколько мне помнится, у меня не было никакого общего знакомства с графом Потоцким в дамском кругу. Ведь я ещё так недавно произведён в офицеры и мало бывал в свете; я состоял пажом...

— Ах, — перебила графиня, — пажи при дворе Фридриха Великого, должно быть, в самом деле

совсем не похожи на пажей при иных дворах, если центром их помышлений не служит какая-нибудь дама. Нет, вам не отвертеться от меня, барон! Вспомните, что наследственный недостаток моего пола — любопытство; кроме того, я первая хочу оказать вам доверие, значит, не одно любопытство принуждает меня задавать вам вопросы, которые могут показаться вам, пожалуй, искренними. Я расспрашиваю вас из участия к одной особе... Она дружна со мною, и её, как я полагаю, заинтересует, а, может быть, даже и чувствительно заденет известие, что граф Игнатий Потоцкий навлёк на себя в Берлине или где бы то ни было за границей антипатию кавалера из-за дамы, так как у моей приятельницы есть основание думать, что сердце графа Потоцкого не имеет для себя притягательного пункта за пределами отечества.

— А, вот как? — пылко воскликнул Пирш с засверкавшими гневом глазами. — А между тем он осмеливался увлекать на чужбине юное, благородное, доверчивое сердце! Значит, этот человек вдвойне обманул доверие; значит, он заслуживает той ненависти, которою пылает моё сердце. А я был ещё готов упрекать себя за неё!..

Графиня откинулась ещё дальше на подуш-

ки дивана; её грудь волновалась, глаза метали пламя из-под ресниц; тем не менее она сказала равнодушным, спокойным тоном:

— Как странно!.. Ещё вчера мы были совершенно чужды один другому и даже не знали о существовании друг друга на белом свете, а сегодня мы — друзья, поверенные сердечной тайны. Не кажется ли невольно, что нас свело вместе небесное произволение и, как всегда при вмешательстве небес, непременно к добру? Поэтому, как истинные друзья, отложим в сторону всякую скромность, чтобы мы действительно могли сотворить добро и рассеять заблуждения, которые в противном случае угрожают роковым исходом!.. Расскажите мне всё о своей встрече с графом Потоцким, всё о той даме, — прибавила она слегка дрогнувшим голосом, — которая подала повод к отвращению, с первого же взгляда подмеченному мною между вами и графом.

Сирена протянула Пиршу руку, и он поднёс её к губам, но сделал это как будто лишь из обычной любезности, так как его губы лишь мимолётно коснулись этой прекрасной розоватой ручки, которую он целовал так пылко незадолго пред тем.

— Да, — ответил он, — пожалуй, было небесное произволение, что я встретил здесь графа и вме-

сте с тем нашёл такую добрую приятельницу, как вы; да, вы должны всё узнать... А между тем... — перебил сам себя барон, как будто напугавшись, — я обещал ему молчать...

— Только не предо мною! — подхватила графиня. — Разве вы не говорили с ним при мне о его тайне? Разве не слыхали, что он называл меня своею приятельницею?

— Да, да, — согласился фон Пирш, заглядывая в большие пламенные глаза графини Елены доверчивым взором, полным ребяческой преданности. — О, вы не можете себе представить, графиня, как мне отрадно высказать всё, что так долго лежало у меня на сердце! Вы не поверите, как искренне влечёт меня к вам моё сердце, как я желал бы отдать в ваши руки все свои надежды, всё своё счастье!

— Так говорите же! — воскликнула повелительным тоном графиня, нетерпеливо сцепляя между собою концы своих пальцев.

Фон Пирш некоторое время смотрел в пространство, как будто замечтавшись, после чего заговорил мягким, печальным голосом:

— Чтобы объяснить вам всё это, графиня, я должен вернуться к своему детству. Я рано осиротел, и мои первые воспоминания связаны с домом

старинного друга моего отца, который принял меня в свою семью и добросовестно заботился обо мне. У него в доме, который стал для меня родным, росла его племянница, такая же сирота, как и я, и заменяла своему дяде родную дочь. Она была на несколько лет моложе меня, и мои самые ранние детские воспоминания, первые нежные цветы пробуждающейся жизни связаны с нашими детскими забавами.

— Понимаю! — прошептала про себя графиня, — первые побуждения коренятся так глубоко в человеческом сердце, что срастаются со всеми фибрами жизни.

— Ещё в ранней юности я был принят в число пажей короля, — продолжал фон Пирш, — и при каждом отпуске, в каждый свободный час, когда я избавлялся от строгого стеснения службы, я летел в дом, ставший для меня родным. И я, и Мария, как любящие брат и сестра, радовались нашему свиданию. Но она не могла оставаться для меня век сестрою, — вздыхая, прибавил юноша. — Нам приходилось или стать друг другу чужими, или сойтись ещё гораздо ближе; моё сердце привязывалось всё крепче, всё искреннее к ней; я сознавал, что люблю её, и мне казалось, что она разделяет мои чувства и любит меня больше, чем

брата. Мария радостно кидалась мне навстречу, сердечно и ласково здоровалась со мною, когда я приходил, провожала меня грустным-грустным взглядом, когда я удалялся!.. Так мог ли я не поверить, что также любим ею? — простодушно спросил он.

— Да, да, — проговорила графиня, как будто впавшая в задумчивость, — женское сердце крепко держится за юношескую дружбу, которую мужчина забывает несравненно легче.

— Так шло между нами, — продолжал Пирш, между тем как его взоры омрачились, — до той весны, когда я однажды от полноты сердца высказал свои чувства и открыл Марии мою любовь.

— А что же она? — спросила графиня.

— Она испугалась, стала уклоняться, да как раз нам помешали: пришёл её дядя с незнакомым мужчиной, которого я никогда ещё не видел в его доме и которого он представил мне под именем господина Балевского.

— И этот незнакомец был Игнатий Потоцкий?

— Он самый. Мария смутилась при его появлении, и я должен был видеть, что она прислушивалась к его словам, краснела от его взглядов... Любовь видит зорко, графиня, если имеет повод к ревности.

Графиня прижала руку к сердцу и тихонько прошептала про себя:

— Да, любовь видит зорко.

— И я не был в состоянии постичь, — продолжал фон Пирш, — как могла она так забываться пред незначительным иностранцем, который казался мне торговым агентом; ещё менее было мне понятно, с какой стати её дядя позволял этому человеку бывать запросто у себя в доме. Теперь, конечно, я понимаю: граф Потоцкий — блестящая партия для его племянницы, на которую бедный паж даже не смел поднять свои взоры, — заключил молодой человек с горьким смехом.

— Поднять свои взоры? — воскликнула графиня. — Ах, да, ведь вы не назвали имени вашей подруги детских лет и её дяди!

Фон Пирш колебался в смущении.

— Я желаю знать эти имена, — сказала графиня, — половинное доверие есть оскорбление. Да и каким образом, — прибавила она, подавляя своё волнение, — могу я помочь вам, если не узнаю всего?

— Вы правы, — ответил барон. — Мою приятельницу зовут Мария фон Герне, а её дядя — министр прусского короля.

— Фон Герне? — воскликнула графиня, —

министр прусского короля? Но, Боже мой, это — совсем не то, чего я ожидала; я думала, что дело идёт о любовной интрижке, которую граф позволил себе там под вымышленным именем и которой было бы легко помешать, открыв вашей приятельнице глаза на то, что она была жертвою обмана; но это — дело серьёзное, без сомнения серьёзное... Кроме того, — проговорила она, размышляя про себя, — с какой стати появляется там граф Игнатий Потоцкий под чужим именем? ведь не может же он осмелиться обмануть прусского министра!..

— Нет, нет, — воскликнул Пирш, — он и не обманывал его, это невозможно; господин фон Герне знал, кто он такой, и лишь этим в состоянии я объяснить себе его предупредительную любезность, с новым гостем.

— Тут скрывается ещё другая тайна, — сказала графиня. — Не говорил ли он, — прошептала она про себя, — что дело идёт о будущем Польши? Неужели, ослеплённый глупой страстью к племяннице прусского министра, он вздумал продать в Берлине своё отечество? Ведь и благороднейшие сердца склоняются к самым непонятным поступкам, благодаря внезапно вспыхнувшему пламени, которое может зажечь

ребёнок в крови зрелого мужчины.

— Теперь, графиня, — сказал Пирш почти с миною мальчика, желающего оправдаться пред своим наставником, — скажите мне, не вправе ли был я возненавидеть того господина Балевского и почувствовать к нему ещё большую ненависть, когда я открыл в нём здесь графа Потоцкого, который ещё несравненно опаснее для моей любви, чем мнимый иностранец неизвестного звания? Бедняжка Мария — ещё совершенное дитя, выросшее в тихом уединении и только недавно вступившее в свет; человек бывалый, опытный, с громким, знаменитым именем ослепил её; она вообразила, что любит его... О, Мария может только вообразить это себе! разве мыслимо, чтобы она забыла наше детство?

— Вы правы, барон, — ответила графиня, опершись головою на руку в глубоком раздумье. — Пожалуй, эта любовь в самом деле — не больше как фантазия как с его, так и с её стороны. Несозревший ребёнок, — продолжала графиня Елена, разговаривая сама с собою, — может быть только игрушкой, а игрушка не в состоянии приковать ега к себе на всю жизнь; грёзы сна рассеются пред дневным светом действительности. Благодарю вас за ваше доверие, — сказала

она, вставая и протягивая барону руку, — вы оказали его не какой-нибудь недостойной! Как существуют антипатии, так существуют и симпатии, — улыбаясь продолжала она, — и подобная необъяснимая симпатия привлекла меня к вам... Мой внутренний инстинкт не ошибся, наша встреча будет иметь благие последствия для вас, барон, а также для подруги вашего детства и для графа Игнатия Потоцкого. Все эти воспоминания и заблуждения должны рассеяться и объясниться. Обещаю возвратить вам вашу Марию, а графа Потоцкого — моей приятельнице, которая одна способна создать ему счастье, тогда как он никогда не найдёт его с тем ребёнком.

— О, если бы вы захотели этого! — воскликнул совершенно счастливый Пирш. — Если бы вы могли это устроить, графиня, тогда я убедился бы, что меня привело сюда действительно небесное произволение; тогда вы сделались бы благодетельным гением моей жизни, и я питал бы к вам беспредельную благодарность!

Он опустился на колена к ногам Браницкой и поцеловал её руку, тогда как её взоры с сердечным участием покоились на нём.

При виде юного офицера у ног этой дивной красавицы никто не усомнился бы в том, что

здесь, в ночной тиши, их свела любовь; однако их обоюдные помыслы были как нельзя более далеки от неё, а в сердце каждого из них властно царил иной образ.

— Итак, мы с вами — союзники, — сказала графиня. — Что я сделаю, я и сама ещё не знаю; но свет должен засиять, густые туманы должны рассеяться, и, может быть, ваша подруга и граф Игнатий Потоцкий со временем поблагодарят нас, если мы разрушим сообща фантасмагорию глупого ослепления. Я приеду в Берлин и посмотрю сама, как начать действовать. Здесь же мы должны держаться далеко друг от друга, ограничиваясь беглыми встречами в обществе; в противном случае, — прибавила графиня Елена с улыбкою, которая, пожалуй, могла бы пристыдить и унизить юного офицера, если бы его мысли не были всецело поглощены далёкой подругой, — наша дружба рискует получить неправильное толкование. Старайтесь также избегать графа Потоцкого; вы молоды, необдуманное слово может всё испортить!

— Обещаю вам своё безусловное повиновение, графиня! — воскликнул Пирш, снова целуя её руку. — Вы правы, в самом деле я — ещё ребёнок, но под вашим руководством я хочу сделаться

мужчиной. Для меня не составит труда повиноваться вашим требованиям, — продолжал он, поднимаясь с колен, — потому что мне дан приказ возвратиться в Сансуси немедленно после того, как высочайшие особы вручат мне здесь ответ на приветствие короля. Но, — прибавил юноша почти с недоверчивым колебанием, — я должен быть заранее уверен, что вы не позабудете обо мне.

— Само собой разумеется, — успокоила его графиня, — я не потеряю понапрасну ни единого часа, а примусь действовать в вашу пользу... как и в интересах моей приятельницы!

Барон распрощался с графиней самым почтительным образом. Их уединённая беседа, которой он ожидал с тревожно бьющимся сердцем и взволнованной кровью, внезапно приняла совершенно иной оборот. Тем не менее молодой человек возвращался на ночлег уже несравненно более счастливым и обнадеженным, чем пришёл сюда. В Янчинском дворце он был встречен дворецким, который немедленно проводил его в приготовленные ему комнаты.

Дальняя дорога и волнения протёкшего дня заставили Пирша вскоре погрузиться в крепкий сон. В причудливых сновидениях пред ним

явился образ Марии, порою заслоняемый, словно чёрной тенью, важной фигурой графа Игнатия Потоцкого.

Между тем Елена Браницкая ещё долго лежала на диване, погрузившись в глубокую задумчивость, и, лишь когда забрезжило утро, погас свет, лившийся в сад из окон её домика.

На следующий же день после придворного обеда императрица потребовала барона фон Пирша к себе в кабинет, куда она удалилась с императором Иосифом.

— Я весьма сожалею, барон, — сказала она ему, — что не могу удержать вас долее при своём дворе; мне хочется поскорее отблагодарить вашего короля за его любезное приветствие, и я прошу вас сообщить ему при вручении этого письма, как сильно обрадовало меня его внимание.

Государыня подала молодому человеку запечатанный конверт; он почтительно принял его и спрятал в тот же портфель, в котором доставил сюда письмо своего короля.

— А я, — прибавил Иосиф, — прошу вас передать вашему монарху вместе с этим письмом также и благодарность графа Фалькенштейна за любезный привет и уверить его королевское величество в моей неизменной дружбе и глубо-

чайшем почтении.

С этими словами он, в свою очередь, подал фон Пиршу письмо, адресованное королю Иосифу.

Императрица Екатерина Алексеевна присовокупила к этому драгоценный бриллиантовый перстень в знак своего милостивого монаршего благоволения, после чего барон Пирш, отпущенный их величествами, быть принуждён немедленно пуститься в обратный путь.

Ему удалось лишь наскоро проститься с неуспевшим ещё разойтись двором.

Граф Игнатий Потоцкий, которому он в присутствии многих лиц сказал на прощанье несколько холодных любезностей, только долгим, многозначительным взглядом как будто напомнил ему обещание хранить тайну.

Графиня Браницкая пожала юноше руку и осторожно шепнула:

— До свиданья! Надейтесь на меня и доверяйте мне!

Бобринский сел вместе с ним в его лёгкую курьерскую бричку, приказал слуге ехать за ними следом на его лошадях и проводил за город молодого прусского офицера, открытый рыцарский характер которого импонировал ему и привлекал его к себе.

Час спустя, барон фон Пирш мчался во всю прыть на двух сильных почтовых лошадях по пустынной проезжей дороге.

Словно сновидение пролетел час мимолётного блеска, но этот сон принёс ему с собою столько удивительного и в то же время столько касавшегося его лично, что мысли юноши имели вдоволь пищи на его одиноком обратном пути.

XVIII

Вскоре подошли к концу и торжественные дни для Могилёва.

У императора и императрицы состоялось ещё несколько совещаний, происходивших в присутствии Потёмкина и князя Безбородко; различные пункты, относительно которых они пришли к соглашению, были составлены лишь предварительно, и было условлено, что граф Кобенцль и князь Безбородко потом напишут государственный договор и представят его на подпись монархам при их ближайшей встрече в Царском Селе.

Иосиф выразил желание проехать по России и посмотреть древнюю русскую столицу Москву.

Императрица тотчас же выслала гонцов с приказом, чтобы приготовили подставы на всём пути, которым намеревался проследовать Иосиф, и чтобы повсюду на всех станциях постарались принять его с тем очаровательным гостеприимством, которое она сама неподражаемо сумела оказать величайшему из европейских монархов.

И вот императрица и император, заверив друг

друга в самой сердечной и искренней дружбе, расстались. Император Иосиф под именем графа Фалькенштейна уехал в простой коляске в Москву. Императрица возвратилась со своим блестящим павлиньим хвостом придворных в Петербург, и в ослепительном блеске её поезда, пожалуй, было меньше тщеславия, чем в изысканной простоте Иосифа, который, казалось, и не замечал, что все, тем не менее, узнают в графе фон Фалькенштейне римского императора, что все дороги были выравнены для него и что все помещения, в которых он останавливался, обслуживались лакеями императрицы и были снабжены припасами из придворных кухонь и погребов.

Тотчас вслед за отбытием их величеств покинули Могилёв и польские паны, прибывшие сюда, чтобы приветствовать их.

Сосновский почти мгновенно исчез, после того как получил прощальную аудиенцию у государыни; он не желал более видеть свою дочь, столь чувствительным для него образом разрушившую все его надежды и планы, а когда императрица на прощальной аудиенции сказала несколько слов в пользу Костюшки и Людовики, Сосновский мрачно и почти вспылив попросил её разрешить

ему распоряжаться в своём доме по своему собственному разумению.

Екатерина Алексеевна, видимо, была оскорблена подобным отклонением своего ходатайства, к чему она вовсе не привыкла, и, несмотря на изобилие милостивых знаков внимания, доставшихся на долю польских сановников, среди которых Феликс Потоцкий получил один из высших орденов, Сосновский остался ни при чём. Это ещё более огорчило его и укрепило в решении возможно скорее, даже не отдав прощальных визитов, покинуть Могилёв.

Игнатий Потоцкий ещё несколько раз встречался с графиней Браницкой на придворных празднествах; в её присутствии он был серьёзен и держался принуждённо; часто казалось, что на его губах трепещет признание и тем не менее не может вырваться из его груди; может быть, оно и было бы высказано, если бы графиня пошла навстречу тому; но она всегда вела с ним разговор в таком лёгком, насмешливо-задороном тоне, что граф Игнатий постоянно снова уходил в самого себя, оскорблённый её обращением, к которому он собственно не мог дать никакого повода. Однажды граф Игнатий посетил графиню Елену, но нашёл у неё гостей, и она как бы случайно, но

всё же заметным для него образом устраивала так, чтобы не оставаться с ним наедине; в конце концов она пригласила бывших у неё мужчин сопровождать её на её прогулке верхом.

Прощаясь с Потоцким, опять-таки в присутствии многочисленного общества, графиня Елена каким-то шаловливо-сомневающимся тоном пригласила его навестить её в Белостоке; в заключение она сказала, что по тому, примет ли он её приглашение, она желает определить, вспоминает ли он о своём старом друге, или его сердце целиком принадлежит далёкой чужбине; затем она с лёгкой шуткой отвернулась от Потоцкого и он уже более не встречался с нею. После того, посетив ещё раз старого Мечислава Бошвина и поручив ему аккуратно и подробно извещать его относительно Людовики Сосновской, граф Игнатий возвратился со своими друзьями в Варшаву.

Феликс Потоцкий тронулся в путь последним. Он ещё раз собрал у себя на блестящий пир всех польских шляхтичей, примкнувших к нему, и, когда их души подогрелись лившимся рекою дорогим вином и их языки поразвязались, он почти с каждым из них стал вести длинные задушевные разговоры; все обнимали его, целовали в щёки и клялись ему всеми святыми, что во всех вопросах

будут неизменно следовать за ним — гордостью и надеждой отечества.

От игры в карты граф уклонился. Он объявил, что не может взять на себя ответственность за то, что его гости пред самым отъездом будут рисковать деньгами; но зато он провёл в свой кабинет большинство мелких шляхтичей, подходивших к нему, отводивших его в сторону и о чём-то шептавших ему, и там самым обязательным образом совал им в руки туго набитые кошельки или пакеты с кредитными билетами. Совет красавицы Софии де Витт оказался весьма действительным, так как все остались довольны и, как облагодетельствованные, стали ещё более преданы ему, чем были бы в том случае, если бы выиграли эти деньги в карты.

На следующее утро и граф Феликс со шляхтичами своей личной свиты и своей челядью тронулся в путь, чтобы возвратиться в Варшаву.

Большую часть свиты граф выслал вперёд часов на пять пути, чтобы не были слишком тяжелы необходимые при путешествии на лошадях ночёвки, часто в совсем маленьких и убогих городах и местечках, и оставил при себе только свою личную прислугу и немногочисленных шляхтичей своего дома.

София де Витт ехала верхом позади графа, среди его шталмейстеров. Она так ловко и уверенно сидела в мужском седле, так естественно и непринуждённо держалась, так весело шутила и смеялась, что никто и не сомневался в том, что она, как заявлял камердинер при приезде, — и в самом деле вновь поступивший на службу к графу паж из обедневшего дворянского рода, состоявшего в дальней связи с Потоцкими.

У Минска выехали на большую дорогу и намеревались ещё в тот же день достигнуть города Новогрудка, который представлял большие удобства для отдыха, чем маленькие местечки на пути, и где уже было приготовлено высланной вперёд свитой помещение для ночлега.

Всё уже было окутано вечерней мглою, когда небольшая кавалькада из двадцати-двадцати пяти человек миновала довольно узкий мост, перекинутый через реку Неман, пересекающую за деревней Столпей большую дорогу. Направо и налево от дороги раскинулись обширные сосновые леса, среди которых тьма вечера казалась ещё более глубокою.

Граф Феликс ехал впереди и, смеясь и шутя, громко разговаривал со своими спутниками. Едва последние из свиты миновали мост, как из леса

появился отряд всадников, словно по волшебству выросши из-под земли, окружил со всех сторон графа и отделил его от свиты. В то же время сзади надвинулись другие и смешались со свитою, разъединяя её членов друг от друга.

Все эти люди, лица которых в темноте едва можно было разобрать, были в польской одежде. Их было по крайней мере человек пятьдесят-шестьдесят, а из леса показывались всё новые и новые всадники. Это, должно быть, была отлично организованная разбойничья шайка, так как все её движения обнаруживали настоящую воинскую дисциплину и точность и все они повиновались сигналам пронзительного свистка, значение которых быстро понималось ими. Все они были вооружены с ног до головы, со всех сторон блестели направленные на спутников графа дула пистолетов.

Каждый из свиты был окружён несколькими нападавшими и не имел возможности не только заботиться о других, но даже защищаться, так как большинство свиты было вооружено одними лишь лёгкими саблями.

— Что это значит? — воскликнул Потоцкий, хватаясь за саблю. — Засада на проезжей дороге? Мне говорили, что путь безопасен!

Он уже наполовину вытащил саблю из ножен, когда один из нападавших вплотную приблизился к нему и, держа пистолет правою рукою в упор пред грудью графа, левою снял свою меховую шапочку и сказал по-польски с незначительным иностранным акцентом:

— Простите, граф, что мы осмелились на минуту задержать вас здесь на дороге, но нужда и наша нищета служат нам извинением; ведь ваша великодушная щедрость, граф, повсюду известна, и потому мы уверены, что вы не откажете нам в просьбе подарить кое-что соответствующее вашему высокому положению.

— Ах, вот как! — с улыбкой произнёс граф. — Только вы, должно быть, собрали целую деревню, чтобы придать вес своей просьбе о вспомоществовании.

— А если бы это было и так, — возразил всадник, — то это лишь доказывало бы, как высоко мы ценим честь быть вырученными из нужды, благодаря вашему подарку, граф.

— А если бы я ответил вам, — сказал Потоцкий, — что я не везу с собою ничего, что могло бы вознаградить вас за труд? Польский магнат — не банкир. Вам лучше было бы пограбить жидов, когда те возвращаются с ярмарки.

— Мы не поверили бы этому, граф, — всё ещё не выпуская шапки из руки, возразил всадник, — так как у графа Феликса Потоцкого всегда достаточно золота с собою, чтобы полными пригоршнями раздавать его бедным.

Позади в свите послышалось беспокойное движение и прозвучал как бы подавленный крик. Несколько лошадей помчались назад через мост и направились к лесу.

— Тише, тише! — крикнул Потоцкий, обернувшись в сторону шума, — не будьте глупы! Нам ничего не поделать против превосходства в силах, нам нужно прийти к соглашению с этими разбойниками, которые так любезно и в то же время так веско умеют просить. Вот, мой друг, возьмите и разделите между собою, — сказал он, вынимая из кармана кошелёк с золотом. — А теперь давайте дорогу, так как я тороплюсь на ночлег!

Всадник взвесил кошелёк на ладони и затем с прежней учтивой вежливостью сказал:

— Я уверен, что граф Феликс Потоцкий не отправился в путешествие с такой ничтожной суммою и что в тороках его седла найдётся по крайней мере вдвое больше.

— Ага, видимо, вы хорошо осведомлены, — ска-

зал граф с немного принуждённой улыбкой.

— Так хорошо, что так же точно знаю содержимое бумажника, хранящегося на груди .у вас, граф, — ответил всадник. — Только это содержимое принесло бы мало пользы нам, так как нам было бы трудно обратить в деньги векселя компании торгового мореплавания; такие бедные люди, как мы, нуждаются в золоте, имеющем повсюду свою ценность.

— Вы правы, — сказал граф, облегчённо вздохнув, — мои векселя наверно привели бы вас на виселицу. Так как вы скромны, то берите всё, что я везу с собою наличными деньгами, и очистите мне дорогу.

Он открыл клапаны седельных тороков, вытащил из них ещё несколько туго набитых кошельков и передал их предводителю шайки.

Последний с глубоким поклоном принял от графа этот богатый дар и сказал:

— Да вознаградит Господь тысячекратно за вашу милостивую щедрость вас, граф, и весь ваш род!..

— Просите лучше чёрта, вашего господина и учителя, чтобы он оставил меня в покое и не привёл на моём пути кого-либо другого из вашей шайки! — воскликнул граф. — Убирайтесь-ка, так

как, честное слово, мои карманы пусты!

Разбойник ещё раз поклонился. Снова раздался пронзительный звук свистка, и всадники так же быстро, как появились, исчезли во мраке леса.

— Теперь вперёд! — крикнул граф своим людям, — пустите лошадей вовсю, чтобы поскорее добраться до Новогрудка, так как у меня вовсе нет желания ещё раз пережить подобное приключение на этих дорогах!

С этими словами он пустил размашистым галопом своего коня, и громкий лязг лошадиных копыт нарушил тишину леса, в котором стояла такая тишина, как будто ночной ветер унёс сквозь сосновую чащу шайку разбойников.

Вскоре прибыли в Новогрудок.

Для графа и для его спутников была приготовлена лучшая гостиница в городе. Хозяин в праздничном костюме появился в её дверях и с глубокими поклонами стал уверять, что сделал всё, чтобы подготовить свой дом для достойного приёма столь высокого гостя. Граф соскочил с коня и вошёл в дом. Шляхтичи его свиты последовали за ним.

— Позаботьтесь о том, чтобы рядом с моею комнатою была приготовлена комната для моего пажа, — приказал он хозяину, — я нуждаюсь в его

услугах и должен всегда иметь его вблизи себя.

— Такое приказание уже отдано панами, проезжавшими здесь после обеда, — услужливо ответил хозяин, — всё устроено согласно вашему желанию, ваше сиятельство.

— А где же мой паж? — спросил Потоцкий, изумлённо оглядываясь.

Вся свита уже сошла с лошадей и толпилась позади графа. Все стали оглядываться вокруг, но пажа нигде не было.

— Где он, где он? — боязливо воскликнул Потоцкий, озираясь вокруг и ища среди своих людей, как будто должен был открыть среди них пропавшего. — Где он? Неужели никто не видел его, никто не обращал на него внимания?

— Мы неслись за вами, ваше сиятельство, полным карьером, и никто не обращал внимания друг на друга; к тому же было слишком темно, — ответил шталмейстер.

— Боже мой, Боже мой! — вырвалось у Потоцкого, — Куда же он делся? не убили ли его разбойники?

— У них не было причины сделать это, — возразил один из шляхтичей, — ведь им нужны были только ваши деньги, пан граф, а это они получили. Может быть, при приближении разбойников

ваш паж скрылся в лесу и ему удалось ускользнуть от них, а затем он мог сбиться с пути. Ведь в темноте так легко заблудиться, страх мог всё дальше и дальше гнать его от места нападения.

— Страх? — иронически повторил Потоцкий, — страх скорее найдёт себе место в моём сердце, чем в его!.. Но, если, может быть, его здесь и нет, он всё же должен быть здесь, он должен быть разыскан, во что бы то ни стало! Слышите вы? во что бы то ни стало! О, Боже мой, Боже мой, какое несчастье! — тяжело вздыхая, продолжал он про себя. — Это — результат её безумной неосторожности. Что, если Потёмкин тем не менее обнаружил её, если разбойники, отличавшиеся военной выправкой, были подосланы им?.. Не можете ли вы, — уже вслух обратился он к хозяину, — раздобыть в городе свежих коней и вооружённых людей, которые перешарили бы всю окрестность, отыскали бы моего пажа и освободили бы его, если он попал в руки разбойников?

— Я сейчас же позову бургомистра, — сказал хозяин. — Он будет вполне к вашим услугам, ваше сиятельство, и сделает всё, что нужно. Тут нет ничего опасного, — успокаивающе прибавил он. — Если ваш паж и в самом деле попал в руки разбойников, то они не сделают ему ничего дурного;

они отберут у него всё, что у него есть при себе, и отпустят на все четыре стороны или, может быть, задержат его, чтобы вынудить большой выкуп... Так или иначе вы, ваше сиятельство, скоро услышите о своём паже.

— А что, если наша тайна открыта? — прошептал граф Потоцкий. — Ступайте, ступайте, нельзя терять время! — нетерпеливо приказал он.

Хозяин поспешно вышел.

Вскоре появился и бургомистр города Новогрудка. Он был в высшей степени удивлён нападением на графа, так как, по его словам, уже давно ничего не было слышно о разбойниках в окрестностях, в особенности о такой многочисленной шайке. Пока граф и его свита подкреплялись закуской, он уже собрал лошадей и людей.

Спустя час, показавшийся графу вечностью, собралось около сотни вооружённых всадников. С факелами в руках все двинулись из Новогрудка и вскоре достигли места, где было совершено нападение; на песчаной дороге отчётливо виднелись следы подков, но за мостом через Неман они совершенно терялись на глинистой почве леса, и при ненадёжном свете факелов было невозможно проследить то там, то здесь оставшиеся заметными отпечатки подков.

Потоций был вне себя; дикие припадки гнева сменялись в нём горькими сетованиями; казалось, что этот ужасный, неожиданный удар совершенно подкосил его. Он со всей страстностью своей натуры привязался к красавице-гречанке. Если бы внезапная смерть унесла от него любимую женщину, он был бы спокойнее и лучше владел бы собою, чем теперь; но ужасная неизвестность, в которой как раз для неё открывались страшные опасности, так разбередила его нервы и заставила его так забыться в своём необузданном горе, что он несколько раз, напрягая весь свой голос, кричал на весь лес имя Софии. Однако это едва ли было замечено другими, так как каждый из них искал в другом направлении.

— Наши розыски ни к чему не могут привести, ваше сиятельство, — сказал бургомистр, — не стоит искать здесь более; если бы ваш паж был где-нибудь здесь, в окрестности, то мы должны были бы уже найти его или услышали бы его; он или возвратился и вскоре будет снова в Минске, или нашёл дорогу и в таком случае прибудет в Новогрудок, или наконец, если он всё-таки попался в руки разбойников, они вскоре постараются получить выкуп за него, так как убить его, право, было бы для них невыгодно. Прошу вас, ваше

сиятельство, успокоиться и подождать до утра.

Лишь с трудом мог решиться Потоцкий отказаться от поисков пропавшей Софии, но ему пришлось признать справедливость доводов бургомистра и он в конце концов согласился вернуться в Новогрудок, откуда на самом рассвете должны были быть разосланы гонцы в Минск и по всем окрестным местечкам, чтобы объявить повсюду о пропавшем паже и предложить властям приступить к усердным розыскам.

Граф Феликс в течение двух дней оставался в Новогрудке, ожидая результатов организованных поисков, но все гонцы возвращались с неутешительным известием о том, что все труды остались напрасными и что нигде нет и следа пропавшего.

Графу пришлось решиться возвратиться ни с чем в Варшаву, чтобы не возбудить всеобщего внимания своей чрезмерной и для всего света необъяснимой заботой о паже и тем самым не повредить ещё более Софии.

Потоцкий велел оповестить во всех окрестных городах, местечках и деревнях, что обещает десять тысяч дукатов в награду тому, кто доставит ему какое-либо достоверное известие о его пропавшем паже, а затем печальный и убитый

собрался в дальнейший путь.

Этот могучий, сильный человек с жизнерадостным мировоззрением был совершенно надломлен; никогда ещё в своей жизни он не испытывал чувства, пустившего столь глубокие и крепкие корни, что они в состоянии были нарушить его равнодушный эгоизм. Но София де Витт совершенно овладела им не благодаря одной лишь своей красоте, обольстительной и дышавшей всё новою и новою прелестью, а благодаря своему богатому, изобретательному уму, благодаря своей гордости и непреклонной самоуверенности; он привык делиться с нею своими самыми сокровенными мыслями и во всём следовать её испытанным советам. Поэтому граф лишился в ней не только предмета своего страстного чувства, но вместе с тем и сильного, свободного и смелого ума, которому он доверял всё более и более, доверял так, как никогда не доверял ни одному из своих друзей.

Мрачный и убитый ходил граф Феликс; его совершенно изменившийся характер был загадкою для всех, так как никто ведь не знал, чем он обладал и что потерял в лице своей красивой и умной подруги; никто не мог и представить себе, какие муки претерпевал он под гнетом заботы

о её участи.

Вскоре после возвращения домой графа Феликса Вацлав Пулаский известил его, что всё подготовлено для похищения короля Станислава Августа и что оно может быть совершено при первом же удобном случае.

Но Потоцкий попросил отсрочки; он потерял всю свою уверенность, он не рисковал приступить к такому важному, решительному плану без поддержки сильного и тонкого ума своей приятельницы, возвращения которой он со дня на день ждал всё страстнее, хотя его рассудок всё труднее верил в это. Ведь, если бы София была свободна, она уже давно была бы снова у него. Поэтому можно было лишь предполагать, что она убита или находится в плену. Возможность последнего угнетала Потоцкого ещё большею заботою, чем мысль об убийстве Софии. По временам в нём возникало сомнение, не рассталась ли с ним София по своему собственному желанию, не использовала ли она для того случайного нападения, не были ли разбойники в заговоре с нею. Но он отгонял от себя мысль об этом, которая тяжело оскорбила бы его гордость и его собственное чувство любви к Софии; к тому же он не находил повода к такому поступку, так как в

последнее время как раз совершенно подчинился этой смелой красавице и поступал лишь согласно её воле.

Граф Феликс стоял пред загадкой, которая тяжело мучила его и разрешения которой он почти так же страшился, как и неизвестности, так как последняя по крайней мере оставляла ему ещё кое-какую надежду. Князь Репнин пожалуй мог бы оказать ему самую действительную поддержку в отыскании пропавшей, так как к его услугам были далеко распространявшиеся нити русского влияния; но к нему граф не мог ни в коем случае обратиться ввиду того, что ему пришлось бы опасаться тем самым выдать тайну Софии князю Потёмкину, от которого она прежде всего должна была быть скрыта, если только не была уже известна ему и он не был замешан в загадочном исчезновении Софии.

Таким образом графу приходилось замкнуться в своём горе, что при его пылком, нетерпеливом характере было особенно тяжело и доставляло ему невыразимые страдания.

Потоцкий избегал общества; он даже редко появлялся в своём столовом зале, чтобы приветствовать своих друзей. Он почти никого не принимал и только гонцы из Минска и Новогруд-

ка всегда немедленно были проводимы к нему, но ни разу ещё не доставляли утешительных вестей. Несмотря на все старания, ни одному из многочисленных агентов графа не удалось ещё напасть на след исчезнувшей, и все крестьяне окрестных деревень, изо всех сил стремившиеся приобрести право на обещанную награду в десять тысяч дукатов, напрасно пожертвовали своим временем и трудами.

Так граф влачил печальное существование в своём мрачном уединении, не будучи в состоянии побороть удар, поразивший его.

София де Витт, как и все слуги графа Феликса, во время нападения у моста через реку Неман близ Новогрудка, была окружена разбойниками и отделена от прочих. Она менее других потеряла самообладание; её хладнокровие не так-то легко поддавалось страху; она была убеждена, что всё окончится простым грабежом. Хотя она и знала цену золоту, но всё же относительно легко было возместить утрату, которую при этом нападении могла потерпеть касса графа Феликса. Поэтому она крикнула ближайшим от неё людям графской свиты, чтобы они не оказывали сопротивления, так как отлично сознавала всю его бесплодность ввиду превосходных сил нападавших. Вместе

с тем она вытащила туго набитый кошелёк из своего кармана, чтобы передать его разбойнику, схватившему под уздцы её коня, в то время как несколько других охватили её плотным кольцом и направили на неё дула пистолетов.

Разбойник взял кошелёк, подбросил его на руке и спрятал в карман.

Тут София вдруг почувствовала, что кто-то обхватил её сзади и потянул назад. Чьи-то пальцы ловко перехватили ей горло и, прежде чем она успела раскрыть рот, в него так же ловко и уверенно был засунут кляп, так что крик о помощи, готовый вырваться у неё, превратился в едва слышный, подавленный стон.

В тот же момент окружавшая её группа всадников пришла в движение. Двое из них взяли её лошадь под уздцы и повели её между собою. Один ехал впереди, несколько других составляли арьергард.

Таким образом они повернули обратно через мост и направились в путь, предусмотрительно двигаясь среди сосен по мягкой мшистой почве.

Вот именно этот подавленный крик и этот стук копыт скакавших обратно через мост коней и слышал граф Потоцкий во время своих переговоров с атаманом разбойников и именно

благодаря ему он крикнул своим людям держаться поспокойнее и не оказывать ни малейшего сопротивления.

Как ни серьёзно было положение Софии, но она ни на минуту не потеряла хладнокровия и присутствия духа. Она отлично видела, что всякая попытка оказать сопротивление или бежать была бы бесплодна, и потому спокойно, не делая ни малейшего движения, ехала между своими спутниками по лесу, стараясь при этом запечатлеть в своей памяти отдельные приметы дороги, насколько это лишь позволяла царившая темнота.

Спустя короткое время, впереди показался свет; лошади, шедшие по мягкому дёрну, снова были пущены галопом, хотя никто из таинственных всадников не произнёс ни слова, что могло бы послужить сигналом для этого ускорения движения. Проскакав около получаса, молчаливый, призрачный поезд выехал на широкую дорогу.

Несмотря на тьму, София узнала большую столбовую дорогу на Минск, по которой они незадолго пред тем проехали к Новогрудку.

На дороге стояла закрытая почтовая карета, запряжённая четвёркой лошадей. Почтальон сидел в седле, два лакея — на козлах, третий — на

запятках кареты.

Всадник, приведший отряд от моста на Неман, сильный, высокого роста мужчина, в национальном польском костюме, соскочил с лошади и предложил руку Софии, вежливым, но твёрдым, не допускавшим возражений тоном потребовав, чтобы и она также сошла с коня. Она совершенно по-мужски выскочила из седла, не коснувшись даже руки, предложенной ей в виде поддержки. Один из лакеев сошёл с козел и открыл дверцу кареты, а начальник отряда всадников жестом руки пригласил Софию войти в карету.

Она окинула взором вокруг. Её окружали десять-двенадцать человек. Всякое бегство здесь было невозможно, зато, как подумала София, во время предстоявшей поездки в карете скорее мог представиться случай к этому. Невольным движением София прижала руку к левой стороне груди своего костюма, в котором у неё был спрятан кинжал, и быстро вскочила в карету.

Предводитель отряда последовал за нею и сел с нею рядом. Дверца захлопнулась. Карета быстро покатилась к Минску.

Довольно долго царило глубокое молчание. София старалась по возможности лучше ориентироваться.

Большая и удобная почтовая карета была выстлана мягкими подушками и обита тяжёлой шёлковой материей. Окна в дверцах были плотно прикрыты и снабжены крепкими железными решётками. Между этими решётками и оконными стёклами были опущены шёлковые занавески, так что снаружи совершенно не видно было решёток и экипаж, должно быть, имел вид простой почтовой кареты.

Все эти наблюдения были далеко не утешительны; весь этот аппарат не позволял предполагать о похищении разбойников, которые ведь и без того не могли ничего ожидать от простого пажа графа Потоцкого.

Мужественное сердце молодой гречанки начинало боязливо биться, но тем не менее она сохранила присутствие духа, твёрдо решившись наблюдать за всем и с обычной смелостью использовать малейшую возможность к спасению. Склонясь к окну, она прислушивалась к шуму снаружи, желая удостовериться, сопровождает ли карету отряд всадников, но слышала лишь размеренный топот четвёрки почтовых лошадей.

София радостно вздохнула. Всадники остались позади, следовательно ей предстояло иметь дело всего лишь с тремя слугами и с её стражем

в карете.

Всё чаще прижимаясь к решётке, София заметила, что карета загрохотала по каменной мостовой, и в то же время увидела сквозь шёлковые занавески мерцающие огоньки. Следовательно, похитители не избегали городов, что снова представляло возможность к спасению, так как в городах она могла надеяться найти помощь, если ей удастся лишь подать знак из кареты.

София тихо скользнула рукою по дверце и слегка нажала её ручку; но дверь не подалась; должно быть, она была крепко заперта. Следовательно, оставалась открытой только другая дверь, через которую они вошли в карету и возле которой теперь сидел её спутник.

Сделав все эти наблюдения, София откинулась на подушки и углубилась в размышления, стараясь придумать способ для своего освобождения.

Так проехали они около часа, как вдруг её спутник обратился к ней со следующими словами:

— Я знаю, что вы — не то лицо, за которое себя выдаёте; вы — не паж графа Потоцкого, а дама, и я охотно облегчу ваше положение, если вы обещаете мне не делать никаких попыток к своему освобождению, чем вы вынудили бы меня прибегнуть к насильственным мерам. Выразите своё

обещание пожатием руки и тогда я освобожу вас от позорного кляпа, к которому я принуждён был прибегнуть в первый момент.

Он прикоснулся к руке Софии и она, в знак согласия исполнить обещание, крепко пожала его руку своими тонкими пальцами. Он тотчас же ловко нажал пружину грушеобразного кляпа, находившегося в её рту, прибор распался на части, и в один момент София была освобождена от мучительного стеснения.

— Благодарю вас за ваше внимательное отношение, — сказала она почти весёлым тоном. — Если вы знаете, что я — женщина, чего я и не отрицаю, то вы, наверно, не удивитесь, если я по любопытству, свойственному моему полу, спрошу вас, куда собственно меня увозят.

— На этот вопрос я не могу ответить вам, — возразил её спутник, — я не смею сделать это, так как мне запрещено давать вам какие бы то ни было сведения; да мне и самому известен только путь следования, цель же этого путешествия будет сообщена мне по дороге.

— Этого достаточно; я умею ценить должным образом повиновение, так как и сама требую от своих подчинённых беспрекословного повиновения.

— Впрочем мне приказано предоставлять вам как можно больше удобств и стеснять вашу свободу, лишь поскольку это необходимо в целях предупреждения попыток к бегству. Во всём остальном прошу вас вполне располагать мною; все ваши желания будут исполнены с неменьшей готовностью, как бы то сделал ваш личный провожатый.

— Благодарю вас за это сообщение, — сказала София несколько насмешливым тоном. — Другими словами, это значит, что клетка должна быть хороша заперта, но по возможности красиво разукрашена, а пойманную птицу следует кормить сахаром. Всё же это — кое-что!

Через окно стал проникать бледный утренний свет. София с любопытством присматривалась к своему спутнику. По тонким, благородным чертам его лица, по его речи и обращению можно было судить, что, несмотря на простую одежду, этот человек принадлежал к высшему кругу общества. София вполне убедилась, что тут и речи не могло быть о разбойничьем нападении. Впрочем это мало утешило её. Она охотнее была бы во власти разбойников, чем под охраной этого таинственного провожатого с белыми руками и изящными манерами.

— А как будет с занавесками? — спросила она. — Я люблю видеть пробуждение утра; местность незнакома мне, следовательно, я не узнаю дороги. Могу я отдёрнуть занавеску, чтобы полюбоваться небом, зелёными полями и деревьями? Ведь это разрешается птице в клетке.

— К моему искреннему сожалению, я вынужден отказать вам с этом, — последовал ответ, — мне приказано не разрешать вам смотреть в окно и всякой попытке к тому я принуждён был бы воспротивиться всеми мерами.

— Хорошо! — промолвила София, — я не поставлю вас в необходимость употреблять насилие над женщиной; я слишком благодарна вам за то, что вы так любезны ко мне в своей роли тюремщика.

— В роли, которая, клянусь вам, навязана мне долгом повиновения и которую вы сами признали.

— Которую солдат должен исполнять беспрекословно, — заметила София, бросив испытующий взгляд на своего спутника, который, потупясь, опустил голову. — Однако очень затруднительно разговаривать с человеком, не зная его имени, в особенности со столь характерным и милым человеком, как вы. На мой вопрос, кто вы такой,

вы, конечно, не ответите мне правды; но, быть может, вы назовёте мне имя, которым зовут вас друзья и близкие любящие вас люди; тогда наш разговор примет по крайней мере личную форму. Я, со своей стороны, даю вам право называть меня просто Софией; это — моё имя, что, быть может, вам уже известно.

— Нет, этого я не знал да, быть может, и не должен был бы знать, — возразил её спутник. — Что касается меня, то меня зовут Николай; это имя очень распространённое, так что я смело могу назвать вам его; я желал бы только услышать его из ваших уст при более благоприятных обстоятельствах!..

Между тем совершенно рассвело и колёса загрохотали по довольно плохой мостовой; очевидно, проезжали через маленький городок.

София стала прислушиваться и подумала, что если здесь будут менять лошадей, то, наверное, представится возможность выглянуть из кареты.

Однако остановки не последовало. Скоро грохот колёс прекратился, и снова поехали по ровному шоссе.

София откинулась на подушки кареты, делая вид, что заснула, на самом же деле её изобретательный, беспокойный ум усиленно работал над

измышлением способа спасения.

Первым делом нужно было избавиться от тягостного, непосредственного надзора её спутника; если бы удалось обезвредить его, то можно было бы надеяться при проезде через следующий город искать помощи и найти её.

Несмотря на почти закрытые веки, София с истинно женскою ловкостью внимательно .следила за своим спутником; она заметила, что он, убедившись в действительности её сна, упорно смотрел на неё, что его взор становился пламеннее и порою из груди вырывался подавленный вздох. Действительно эта женщина в костюме пажа, с распустившимися локонами, освещённая голубоватым отражением солнечных лучей на шёлковой занавеске, была чудно хороша. Вполне естественно, что молодой человек вздыхал и тяготился своим печальным и щекотливым положением в её обществе.

София чувствовала всю силу своей красоты и на минуту у неё явилась мысль зачаровать своего спутника, увлечь его и тем облегчить себе возможность бегства. Но она сейчас же отвергла эту мысль; на успех этого было мало вероятия, так как едва ли доверили бы её человеку, не испытанному в стойкости; кроме того она не знала,

как долго протянется их путешествие и сколько времени будет в её распоряжении для того, чтобы пустить в ход все чары своей красоты. Поэтому она решила остаться при первом своём плане и выполнить его со свойственными ей отвагой и силой воли.

Бессонная ночь утомила, наконец, и спутника Софии. Он прислонил голову к подушке и закрыл глаза, предварительно загородив дверцу кареты ногами и положив руку на дверную скобку.

София как бы во сне сделала лёгкое движение и при этом засунула правую руку в карман своей куртки; затем она, лёжа неподвижно на подушках, полуоткрыла глаза; из-под длинных ресниц они горели фосфорическим блеском, как у пантеры, выслеживающей всякое движение своей жертвы.

Карета ехала медленно. Не слышно было ни стука колёс, ни удара лошадиных копыт; очевидно, проезжали по песчаной местности. Молодой человек, казалось, погрузился в глубокий сон.

Из-под кружев рукава в руке Софии блеснул трёхгранный клинок венецианского кинжала. Быстрым движением она бросилась на спящего и нанесла сильный удар, намеченный прямо в область сердца.

Радость торжества блеснула в её глазах, но тотчас же сменилась ужасом, так как смертоносная сталь встретила сопротивление и не проникала дальше. Молодой человек болезненно и испуганно вздрогнул, но тотчас же гибким движением вскочил, с силою схватил Софию за руку и в один момент обезоружил её.

С криком гнева и ужаса откинулась она в угол кареты, а он посмотрел на неё грустным взглядом и сказал:

— Как видите, всё предусмотрено, и я вполне снаряжен для охраны такой храброй и отважной женщины, как вы.

— Моя отвага и храбрость не послужили ни к чему, — возразила она со скрежетом, — моя попытка не удалась; делайте теперь со мной, что хотите!..

— Я ничего не могу хотеть, — сказал молодой человек, — я лишь обязан послушно выполнять данное мне приказание. Это происшествие, указывающее, к моему глубокому огорчению, на вашу ненависть и вражду ко мне, не меняет вашего положения; но я по-прежнему готов к вашим услугам, за исключением только того, что касается сообщения с внешним миром.

Она посмотрела на него с удивлением и ска-

зала:

— Не вражда и не ненависть к вам заставила меня так поступить, а лишь естественная необходимость, которую вы, надеюсь, признаете. Я сравнила себя с пойманной птицей, но, чтобы сходство было вернее, причислите меня к хищным птицам — орлам и соколам, с которыми я чувствую сродство. А так как царям воздушного царства свобода дороже самой жизни, то они стремятся уничтожить всё препятствующее их свободе и часто при этом сами погибают. Простите мне мой поступок!..

Она протянула руку своему спутнику. Тот прикоснулся к ней губами и сказал:

— Мне нечего прощать; обстоятельства сделали меня вашим врагом, и я должен нести естественные и необходимые последствия этого положения.

— Я вам раньше обещала не отдёргивать занавески, чтобы выглянуть из окна, — продолжала София, — теперь я вам даю добровольное обещание ничего не предпринимать против вас; даю вам слово, что кинжал, который вы отняли у меня и остриё которого не могло проникнуть через ваш прекрасный панцирь, был единственным моим орудием. Обыщите меня, если хотите

удостовериться, — прибавила она с улыбкой.

— Я не имею права требовать от вас никаких обещаний, равно как не имею права оскорблять женщину; я достаточно вооружён для того, чтобы, исполняя свой долг, защитить собственную жизнь, и не хочу никаким иным способом ограждать себя от вашего нападения.

— Вы можете быть спокойны, нападения с моей стороны не будет, во-первых, потому, что это было бы безуспешно, а во-вторых, — прибавила она почти сердечным тоном, — я прежде всего уважаю гордую самонадеянность, даже если она враждебно направлена против меня. Те, кто приставил вас охранять меня, не могли сделать лучший выбор, и мне остаётся только подчиниться своей судьбе.

Её спутник ответил ей молчаливым поклоном.

— Так как мир снова водворён между нами, — сказала София несколько спустя, — то давайте от скуки болтать, как то подобает благоразумным и отважным людям, невольно попавшим в положение, изменить которое они не в состоянии.

Не дожидаясь его ответа, она завела разговор на самые разнообразные темы и встретила в своём спутнике полное понимание и поддержку всех тем, каких она ни коснулась, даже из области

искусства, наук и высшей философии жизни.

В короткое время между ними завязалась такая оживлённая беседа, как будто они были старыми друзьями и совершали наиприятнейшее в мире путешествие; София, казалось, забыла, что она — пленница, а её охранитель позабыл о своей роли тюремщика; изредка только в её глазах загорался луч торжествующей радости; казалось, она придумала новый план, обещавший ей больше успеха, чем уже испробованный.

Вдруг карета остановилась.

София вздрогнула и побледнела. Если они были уже у цели, то все надежды её должны были рухнуть.

Лакей в изящной ливрее отворил дверцу кареты. Спутник Софии вышел, галантно подал ей руку и сказал:

— Здесь будут менять лошадей, и вы немного отдохните и подкрепитесь.

Она вышла из кареты и стала с любопытством озираться вокруг.

Они находились в лесу, в стороне от дороги, на таком месте, с которого ни в одном направлении ничего не было видно. Четвёрка свежих лошадей стояла наготове. Лакеи занялись устройством маленькой палатки, причём обнаружили чисто

военную ловкость и уверенность. В несколько минут палатка была разбита, туда внесли удобное походное кресло и корзину со всевозможными яствами.

— Не угодно ли вам войти сюда? — обращаясь к своей пленнице, сказал Николай, — эта палатка в полном вашем распоряжении; у нас имеется для отдыха полчаса времени, и никто не войдёт к вам без вашего разрешения.

Он приподнял полог палатки и тотчас же опустил его, после того как София вошла.

Молодая женщина выпила стаканчик мадеры и закусила, так как сознавала потребность поддерживать свои силы и быть готовой на всё, а затем погрузилась в глубокое раздумье и, съёжившись в походном кресле, стала ждать времени отъезда. Порою на её лице мелькала улыбка. Казалось, она была довольна результатами своих соображений, и, когда Николай появился наконец за нею, она весело и охотно взяла его под руку и направилась к карете.

В несколько минут палатка была разобрана, дверцы закрыты, и путешествие продолжалось.

— Моё любопытство будет подвергаться сильному испытанию, — улыбаясь, сказала София, — если каждая остановка будет происходить в

таком же чудном лесу.

— Да, полагаю, что так будет, — возразил Николай, — так как я имею приказание при каждой перепряжке разбивать палатку и предоставлять вам достаточно времени для отдыха и подкрепления.

Довольная улыбка снова скользнула по лицу Софии, затем она возобновила прерванную беседу и пустила в ход все чары своего ума и красоты, чтобы увлечь своего собеседника. По временам он, вздыхая, потуплял свой взор, причём можно было заметить явное сожаление о том, что ему пришлось встретиться с такой красавицей при таких исключительных обстоятельствах.

Время шло незаметно. Карета снова остановилась. Взорам Софии представилась та же картина, что и в первый раз, тот же густой лес без всякого просвета. Снова слуги разбили палатку и внесли обильно нагруженную корзину. Снова Николай помог ей выйти из кареты и проводил в палатку, оставив её одну за спущенным пологом.

На этот раз София ничего не ела, а принялась внимательно перебирать всё в корзине. В её глазах блеснула радость, когда она нашла там несколько различной величины бокалов, предназначенных, очевидно, для различных сортов

вина.

Она поставила два бокала на поднос, находившийся в крышке корзины, достала бутылку великолепной душистой мадеры, затем вынула из-за обшлага своего рукава узенькую бутылочку и накапала в бокал четыре-пять капель бесцветной жидкости, которая осталась совершенно незаметной на дне бокала.

Затем она поднесла бокал к носу и, убедившись, что жидкость совершенно без запаха, с довольным видом поставила бокал на поднос.

— Это усыпит его на несколько часов, — сказала она, — потирая руки, — и даст мне возможность при проезде чрез следующий город открыть дверцы кареты и позвать на помощь или — что ещё лучше — с наступлением ночи самой покинуть карету. Ну, а теперь, силы неба или ада, помогите мне! Мне всё равно, откуда бы ни пришла помощь!

Она спокойно подождала, пока кончился срок отдыха, затем приоткрыла полог и кивнула своему спутнику, который в мечтательном раздумье стоял у кареты и смотрел по направлению палатки.

— Любезный Николай, — сказала она непринуждённым тоном, — я действительно несколько

устала и чувствую потребность выпить стакан чудной душистой мадеры, находящейся в вашей корзине. Испокон веков вино считалось общественным напитком и, чтобы мне ещё сильнее не чувствовать тяжести заключения, я прошу вас составить мне компанию и чокнуться за свободу, которой я не могла добиться и которую вы мне не смеете дать.

Николай подошёл, слегка краснея.

— Или, быть может, — спросила София, дразня его, — вам запрещено выпить глоток вина с вашей пленницей, так как, по обычаю арабов, гость, с которым разделены трапеза и вино, становится неприкосновенным?

— О, вовсе нет! — ответил Николай, — я почту за особое удовольствие составить вам компанию, но лишь на очень короткое время, так как срок нашей остановки почти уже истёк.

— Мне и нужно только очень короткое время, — шепнула она про себя, — чтобы действие не наступило слишком рано, — а затем сказала: — в таком случае зайдите!

После этого София скрылась в палатке, куда за нею последовал её спутник. Тут она достала бутылку, оплетённую соломой, и наполнила оба бокала. Один из них она взяла в руки, а тот, в

который ею предварительно были влиты капли, предоставила Николаю.

— Итак, выпьем за свободу, достигнув которой, я обещаю с благодарностью вспоминать моего любезного тюремщика! — воскликнула молодая женщина, прикоснувшись к его бокалу. — Чтобы желание исполнилось, нужно выпить до дна!

Она зорко следила за Николаем, когда он поднял бокал; но он без малейшего колебания осушил бокал до дна. София принуждена была отвернуться, чтобы скрыть радость, блеснувшую в её глазах.

— Благодарю вас за то, — воскликнула она, — что вы несмотря на свою обязанность держать меня в плену, желаете мне свободы! Теперь я готова продолжать путь, куда бы он ни вёл меня. Срок остановки окончился, пойдёмте! — воскликнула она почти нетерпеливо и, не дожидаясь его предложения, взяла Николая под руку.

Он открыл полог палатки, чтобы отправиться с нею к карете.

В этот момент соскочил с лошади только что прискакавший рослый молодой человек в таком же одеянии, как и спутник красавицы Софии. Он подошёл с вполне военной выправкой к Николаю и подал ему карточку, на которой было написано

несколько строк, непонятных для Софии.

Николай побледнел, бросил на красавицу печальный взгляд и сказал:

— Этот господин будет иметь честь заменить меня при вашем дальнейшем следовании.

Не говоря более ни слова, незнакомец предложил руку ошеломлённой женщине, повёл её к карете, и, как только она вошла в неё, крикнул своему предшественнику:

— Оставляю вам свою лошадь; всё дальнейшее вам известно!

Затем он сам сел в карету, захлопнул дверцу, и карета вскоре выехала из леса и направилась по большой дороге.

— Мой предшественник, — сказал новый провожатый Софии, — сообщил вам условия, при которых вы могли располагать его услугами; мне остаётся только заметить, что я вполне заменяю его и прошу вас располагать мною.

Лицо молодого человека было строго и холодно, а взгляд, которым он смотрел на свою пленницу, спокоен и равнодушен, так как не выражал ни участия к её судьбе, ни восхищения её красотой.

София ответила молчаливым кивком головы, закрыла глаза и откинулась в угол кареты, чтобы как можно меньше обнаруживать своё огорче-

ние и негодование, вызванное такой внезапной переменой обстоятельств. Она не в состоянии была собраться с мыслями. Цель, к которой она, казалось, была уже близка, внезапно отошла в далёкую неизвестность и, не зная продолжительности предстоявшего ей путешествия, она не была уверена, что будет иметь возможность выполнить какой-нибудь новый план.

Молодой человек, назвавший себя Николаем, остался на просеке один с почтарём и лошадьми. Он ещё долгое время печально смотрел вслед карете, затем провёл рукою по лбу и прошептал:

— То был сон! Быть может, и хорошо, что он прервался; могло случиться, что сердце одержало бы верх над волей и сознанием долга.

Он снова провёл рукой по лбу, как бы желая смахнуть какое-то облако; его взор стал блуждать как бы во сне, и он с трудом различал окружающее.

— Угодно вам будет сесть на лошадь? — спросил почтарь, подведя к нему верховую лошадь. — Я получил приказание доставить вас обратно в гарнизон.

— Обратно в гарнизон? — повторил молодой человек машинально, как бы стараясь уяснить себе смысл этих слов, а затем сделал движение,

чтобы вдеть ногу в стремя. Но это не удалось ему, и он пошатнулся. Он присел тут же поблизости на бугорок и пробормотал тихим, замирающим голосом: — я так устал, так устал!

— Садитесь, сударь, — сказал почтарь, — до ближайшего города недалеко, там вы лучше отдохнёте, чем здесь, в лесу; ведь скоро стемнеет.

Ответа не последовало; Николай тяжело опустился на землю, его глаза закрылись, он был неподвижен.

— О, Боже, что это?! — в ужасе воскликнул почтарь, — этот бедный барин, такой прекрасный офицер, такой добрый и ласковый со своими солдатами, умер!.. Ах, должно быть, ему пришлось сопровождать преступницу или злую колдунью, и она отравила его! — Он робко и нерешительно прикоснулся ко лбу лежащего, но лоб был тёпл и влажен. Он приложил руку к сердцу — оно билось спокойно и равномерно; он наклонился ко рту молодого человека, — дыхание было ровное и глубокое. — Он не умер, над его жизнью она не имела власти, но всё же заколдовала его! Что мне делать? Я не могу уничтожить эти чары!

Тщетно старался почтарь разбудить спящего; он тряс его, кричал ему в самое ухо, но всё было безуспешно: капли Софии возымели своё дей-

ствие, и если бы не смена охраны, то Николай очутился бы в полной её власти.

Наконец, почтарь придумал выход. Он плотно привязал друг к другу двух лошадей, с трудом поднял спящего, положил его на спины животных и ремнями привязал его к сбруе. Таким способом он надеялся доставить его в ближайший город, так как нечего было опасаться беспокойных движений от усталых животных. Сам почтарь вскочил на верховую лошадь, прикрепил к седлу двух остальных лошадей, и это необыкновенное шествие направилось по пустынной дороге при надвигающихся сумерках, уводя с собою спящего, которому в будущей жизни суждено было сохранить неразгаданные воспоминания о таинственных, заоблачных высотах, куда может иногда перенестись простой смертный.

София де Витт продолжала своё путешествие прежним порядком, только новый её спутник уклонялся от собеседования вежливыми, но короткими, односложными ответами. Когда же она при смене лошадей, на следующее утро, снова хотела прибегнуть к действию своих усыпительных капель и предложила ему вместе позавтракать, он решительно отказался от этого. Красавице пришлось убедиться, что с этим человеком ей не

совладать ни силою, ни хитростью. В мрачном настроении продолжала она своё насильственное путешествие и решила по возможности поддерживать свои духовные и физические силы, чтобы употребить их с пользою, когда для неё станет ясна цель этого увоза.

С наступлением следующей ночи, около одиннадцати часов вечера, они уже проезжали по длинным мощёным улицам. Сквозь занавеску София видела мелькание огней и наконец услышала звук открывавшихся ворот. Во всё время пути карета впервые остановилась в оживлённом пункте; со всех сторон до Софии доносились звуки близких и дальних голосов.

— Сударыня, я должен попросить разрешение завязать вам глаза, — сказал её спутник.

— Я не могу давать никаких разрешений, — с горечью возразила София, — делайте, что вам приказано!

Он вынул из сумки кареты мягкий шёлковый платок, бережно, но крепко завязал им глаза своей пленницы, чтобы не мог проникнуть ни малейший луч света; затем открыл дверцу кареты, подал Софии руку и осторожно провёл её по нескольким ступенькам вверх, а затем по бесконечным ходам, устланным мягкими ковра-

ми. Наконец молодая женщина услышала, как пред ней открылась дверь. Её спутник ввёл её в помещение, пропитанное тончайшим ароматом, и сказал как бы почтительно сдержанным голосом:

— Мы у цели, сударыня; вы свободны!

XIX

София быстро сбросила с себя платок. Несколько секунд она стояла, как бы ослеплённая ярким светом, а затем испустила крик ужаса и попятилась назад. Она узнала кабинет государыни в Петербурге и увидела Екатерину Алексеевну, сидевшую на кресле у письменного стола, заваленного книгами и бумагами.

— Вот, где я! — пробормотала София. — В чём я провинилась, ваше императорское величество? в чём обвиняют меня? — спросила она.

Императрица сделала офицеру, доставившему арестованную, знак, что он может удалиться, и тот, отдав честь, сейчас же вышел.

— Если прекрасная, умная София де Витт, которой я выказывала особенное расположение, избегает меня, — улыбаясь проговорила Екатерина Алексеевна, — то должна же я была принять исключительные меры для того, чтобы иметь удовольствие беседовать с ней. Под предлогом поездки в Константинополь вы находились в Варшаве и даже в Могилёве тщательно скрывались от меня, между тем как должны были украшать

собой круг моих придворных дам.

София поборола свой первоначальный страх. Немногие слова императрицы дали ей время собраться с мыслями и приготовиться к борьбе. Хотя для неё была не вполне ясна причина ареста, но хорошо уже было и то, что она знала, кто именно — её противник.

— Я прошу прощения, всемилостивейшая государыня, что осмелилась самовольно удалиться, — с притворным смущением ответила София. — Высочайшая милость ко мне вашего императорского величества, переполнявшая меня гордостью и счастьем, и заставила меня так поступить. Я боялась, что вы, ваше императорское величество, не отпустите меня, а между тем я не могла дольше жить у вас, при дворе. Мне не оставалось ничего больше, как скрыться тайно.

— Почему же вы не могли дальше жить при дворе? — спросила Екатерина Алексеевна.

— Ведь вам, ваше величество, всё известно, — ответила София, — а потому вы, конечно, знаете, что князь Потёмкин...

— Любит вас! — закончила императрица. — Да, я знаю и нахожу вполне естественным. Вы созданы для того, чтобы покорять сердца. Но мне казалось, что любовь князя не оставалась без

ответа.

— Да, мне самой казалось, что я люблю Потёмкина, — ответила София, — я была ослеплена, увлечена им, но вскоре убедилась, что ошиблась в своём чувстве и никогда не в состоянии буду отвечать на любовь князя.

— Такое убеждение является лишь тогда, когда любишь кого-нибудь другого, — заметила Екатерина Алексеевна. — А вы любите Феликса Потоцкого.

— Я уже говорила, что вы, ваше императорское величество, всеведущи, — с искусно разыгранным смущением промолвила София.

— Для этого не нужно всеведение, — с лёгкой иронией возразила императрица. — Если бы вы не любили Потоцкого, вам незачем было бы всюду следовать за ним в костюме его пажа.

— Для меня совершенно непонятно, как вы могли узнать об этом, ваше императорское величество? — с искренним удивлением спросила София. — Никто из его слуг не подозревал этого, моя тайна была известна одному единственному человеку, которого я считала безгранично преданным мне. Оказывается, что он изменил моему доверию.

— Не обвиняйте невинного, — остановила Со-

фию государыня. — Мне не нужно было выдавать вашу тайну, вы сами открыли мне её, показавшись в костюме пажа среди свиты Потоцкого.

— Неужели же вы, ваше императорское величество, узнали меня? — с большим удивлением спросила София. — Ведь даже сам Потёмкин...

— Вы должны знать, — прервала её Екатерина Алексеевна, — что у нас, женщин, глаз гораздо острее, чем у мужчин, хотя они и воображают, что гораздо проницательнее нас. При первом взгляде на вас у меня явилось сильнейшее желание поговорить с вами; это желание было так велико, что я решилась даже силой вернуть вас к себе.

— А что скажет Потёмкин? — неуверенно спросила София.

— Вы находитесь под моей защитой, — гордо ответила государыня. — Князь должен быть доволен тем, что и для него существуют недосягаемые вещи.

— О, ваше императорское величество, неужели вы хотите действительно защитить меня? — воскликнула София.

— От Потёмкина безусловно, — ответила императрица, — даже и от всего света, — строго прибавила она, — если вы согласитесь быть моим другом и пожелаете принять моё покровитель-

ство.

— Соглашусь ли я? — воскликнула София, — неужели вы, ваше императорское величество, можете сомневаться в этом?

— Я редко предлагаю дружбу, — продолжала государыня, — но раз я это делаю, то требую серьёзного и честного отношения к моему предложению. Так как я очень ценю свою дружбу, то ставлю моему другу известные условия.

София побледнела. В голосе и взоре императрицы промелькнуло что-то такое, что наполнило смутным страхом сердце молодой женщины, но она совладала с собой и улыбка появилась на её губах.

— Какие же могут быть условия? — возразила она. — Вам, ваше императорское величество, стоит лишь приказать.

— Я приказываю своим врагам или тем лицам, которые для меня безразличны, — ответила Екатерина Алексеевна, — условия же, которые я предлагаю своим друзьям, должны быть приняты добровольно, без всякого принуждения. Вполне от вас зависит, принять ли мои условия и сделаться моим другом или обратиться во врага и подчиниться моему приказанию.

— Разве я могу быть вашим врагом, ваше импе-

раторское величество? — запротестовала София всё с той же улыбкой на губах, но слегка дрожащим голосом.

— Если две женщины, обладающие волей, умом и характером, как мы с вами, желают сделаться друзьями, то между ними прежде всего должна существовать полная откровенность, — заметила государыня. — Единственным прочным основанием для дружбы являются искренность и правдивость. Садитесь рядом со мной и выслушайте меня!

Императрица указала рукой на кресло и София опустилась в него, потупив глаза, чтобы государыня не прочла в них того напряжённого нетерпения и беспокойства, с которыми она ждала продолжения разговора.

— Будем, значит, говорить откровенно, — начала Екатерина Алексеевна. — Вы только что спросили меня, допускаю ли я возможность того, чтобы вы сделались моим врагом. Я не только допускаю это, но даже уверена, что вы — уже и теперь мой враг, самый серьёзный и опасный враг, с которым мне придётся бороться всеми силами моего могущества, если мне не удастся склонить вас к дружбе, чего я искренне желаю.

— Вы пугаете меня, ваше императорское вели-

чество, — воскликнула София.

— В этом я не сомневаюсь! — ответила Екатерина Алексеевна. — Каждый боится, чтобы чужая рука не прикоснулась к его тайне, которую он считает глубоко скрытой в своей душе.

— Я вижу, ваше императорское величество, что кто-то оклеветал меня! — заметила София.

— Ничуть, — ответила государыня, отрицательно качая головой, — никто из окружающих нас людей не настолько проницателен, чтобы проникнуть в вашу тайну; она доступна только женщине, равной вам по уму, какой я считаю себя. Так вот в чём заключается ваша тайна, — продолжала императрица, пронизывающим взглядом смотря на Софию, которая слушала её, затаив дыхание: — вы любите Феликса Потоцкого и надеетесь сделаться королевой Польши.

София вздрогнула, как будто вдруг увидела пред собой ядовитую змею. Она была совершенно сражена тем, что чужие уста произнесли то, что тщательно охранялось от всего мира.

— Я нахожу ваш план вполне естественным, — спокойно продолжала государыня, — это — весьма честолюбивая цель, и Феликс Потоцкий — именно тот человек, который мог бы достичь её при вашей помощи, если бы при этом не бы-

ло меня, — прибавила Екатерина Алексеевна с надменной улыбкой. — Но я никогда не позволю, чтобы чья-нибудь рука протянулась к тому плоду, который я хочу сорвать, в особенности если этот плод — корона.

— Поэтому вы, ваше императорское величество, разлучили меня с Потоцким и велели насильно привести к вам? — с искренним негодованием воскликнула София.

— Я должна была так поступить, чтобы объясниться с вами, — ответила императрица. — Говорю вам откровенно, что боюсь вас, так как только вы одна можете сделать опасным для меня Потоцкого, а кроме него никто не страшен мне. Остальные польские патриоты-идеалисты не имеют для меня никакого значения, так как мало популярны среди народа, один Потоцкий обладает хитростью и другими данными, которые дают ему возможность сгруппировать вокруг себя польское дворянство. Такой человек, как Потоцкий, находящийся под вашим влиянием, под влиянием женщины, вселяющей ему бодрость и мужество, мог бы быть для меня серьёзным противником. Видите; я откровенно высказываю вам свои мысли; это доказывает, как я уважаю вас. Я предлагаю вам перейти на мою сторону,

предлагаю вам свою дружбу, иначе мне придётся уничтожить вас как опасного врага.

— В ваших руках, ваше императорское величество, вся сила и власть, — заметила София, — но, признавая за мной мужество, гордость и волю, вы, конечно, можете быть убеждены, что я не боюсь ни смерти, ни ссылки. Жизнь — игра; только очень большая ставка придаёт ей интерес; но, кто играет в большую игру, тот должен быть готовым и на крупный проигрыш.

— Я не сомневаюсь в том, что вы храбро и с достоинством перенесёте поражение; но, право, не стоит начинать игру, когда заранее известно, что проигрыш неизбежен! — возразила Екатерина Алексеевна.

София молча опустила голову на грудь.

— Слушайте меня дальше, — продолжала императрица. — Всякий человек прикреплён к той почве, на которую попал по воле природы, судьбы или случая. Оставаясь на этой почве, он может достичь страшной высоты, подобно огромному дереву, но не может оторваться от родной земли. Я родилась принцессой; судьба заставила меня сделаться императрицей, а моя воля и характер дали мне возможность неограниченно управлять своим государством и крепко держать в руках

скипетр. Нисколько не колеблясь, я уничтожу каждого соперника, который пожелает стать мне поперёк дороги. Что касается вас, то вы не принадлежите к числу тех, которым судьбой предназначена корона. В ваших жилах нет и капли царской крови! Поэтому вы никогда не можете сделаться королевой; а если бы вам даже и удалось достичь этого, то вы не могли бы долго оставаться ею.

— Господи, ведь он говорил то же самое! — воскликнула София.

— Да, иначе и не может быть, — продолжала Екатерина Алексеевна, — что бы он вам ни обещал, в чём бы ни клялся. Я не думаю упрекать вас вашим происхождением — ведь мы не виноваты в нём; но от него зависит направление нашей жизни. Я хочу и буду королевой Польши, я могу этого достичь, так как я — русская императрица, и сотни тысяч солдат подчинены мне. Может быть, вам это удалось бы быстрее и легче, чем мне, если бы вы были на моём месте, но на своём — это для вас невозможно. Если бы меня даже не было и никто не мог помешать вам в достижении вашей цели, вы всё-таки не могли бы быть польской королевой, так как Потоцкий не примирился бы с женой, которой не признают европейские монар-

хи. То, что сделал Пётр Великий, возможно лишь один раз, да притом Потоцкий ведь — не Пётр Великий. Помимо короны, вы можете занять высокое блестящее положение, если станете моей союзницей и поможете мне достичь польского престола, на который не может прочно усесться Феликс Потоцкий. Я прошу вас сделаться другом русской императрицы и королевы польской и вместе со мной восстановить величие Польши, которую должны будут признать равной себе высокомерные короли Европы. Вы разделите со мной все заботы, но зато и торжество победы. Клянусь вам честью, что, если бы вы были русской императрицей, а я — Софией де Витт, я, ни минуты не колеблясь, согласилась бы сделаться вашей союзницей. Я ограничилась бы тем, что заняла бы самое высокое положение, какое доступно при моём происхождении, и ревностно работала бы рядом со своим другом в созидании величественного здания, которое быстро выросло бы, находясь в руках двух таких женщин, как мы с вами.

София вскочила с места. По-видимому, она переживала сильную внутреннюю борьбу; её грудь высоко вздымалась от волнения, с губ срывались непонятные слова.

— Но ведь было бы недостойно спуститься с высоты, когда уже почти достигнута вершина, — произнесла она. — Не лучше ли совсем погибнуть, чем трусливо отступить?

— Вы ещё не достигли вершины, — возразила Екатерина Алексеевна, — и никогда не добрались бы до неё, так как видите, что я узнала ваши сокровеннейшие планы и вы теперь в моей власти.

— А что будет, если я всё-таки не соглашусь на ваши условия? — воскликнула София, взглянув на императрицу горящими от воодушевления глазами, — если я скажу, что не отступлю от своего плана? Кто мужественно идёт вперёд, тот всё-таки может победить, хотя бы это и было даже чудо, а если придётся потерпеть поражение, то лучше умереть, потому что смерть избавляет от унижения. Что будет, если я скажу: «Да, ваше императорское величество, я — ваш враг и предпочитаю смерть предательству»?

— Я не требую от вас предательства, — возразила императрица, — а только прошу дружбы. Мне кажется, что приобресть мою дружбу — тоже своего рода победа, достойная гордой, отважной души. Но, если даже вы и не согласитесь быть моим другом, вам нечего бояться смерти; за мной

не следует палач, как за Людовиком Одиннадцатым; я могу сделать своего врага безвредным, не проливая крови.

— Что вы хотите сделать со мной, ваше императорское величество? — спросила София дрожащим голосом. — Вечная тюрьма ужаснее смерти, и я не заслужила таких мучений.

— Я не переполняю тюрьм и не заселяю Сибири жертвами своего гнева, как это делали мои предки, — ответила Екатерина Алексеевна, — мне не нужны тюрьмы и эшафоты для выполнения моей воли и устранения препятствий на своём пути. Вы спрашиваете, что бы я сделала с вами? На это ответить очень легко. Я вспомнила, что полковник де Витт требует к себе, в Каменец, свою жену для исполнения обязанностей хозяйки дома. Кто же осудит меня за то, что я сочту своей обязанностью помочь офицеру моей армии в достижении законного требования и пошлю в Каменец строптивую жену, принять меры, чтобы она не отлучалась из дома и исполняла свой долг пред семьёй и обществом?

София смертельно побледнела; она закачалась и закрыла руками лицо.

— О, Господи, — простонала молодая женщина, — это было бы ужасно, гораздо хуже смерти!

— Все оправдали бы меня, — продолжала императрица, — даже поставили бы мне в заслугу, что я вернула коменданту Каменца его жену и приказала ей оставаться там, где ей надлежит быть. Но вместо того, чтобы это сделать, я прошу вас занять место рядом со мной; я хочу поднять вас выше всех других женщин. Выбирайте теперь, что вам больше нравится.

Несколько времени София, вся дрожа, молча стояла пред государыней, а затем бросилась пред ней на колени, умоляюще сложила руки и со слезами взглянула на императрицу.

— Я побеждена, — произнесла она. — Самый гордый и храбрый полководец может быть побеждён, и нет никакого позора покориться Екатерине Великой. Я — ваша раба, ваше императорское величество; повелевайте, приказывайте, что я должна делать!

— Моему другу не место у моих ног, — заметила Екатерина Алексеевна, наклоняясь и обнимая Софию. — Я понимаю ваше тяжёлое состояние, но уверяю вас, что в вашей покорности не будет ничего унизительного. Осушите свои слёзы и доверьтесь мне.

Императрица поцеловала молодую женщину в лоб, подняла её с пола и усадила рядом с собой.

— Я обязана быть вполне откровенной со своей великодушной победительницей, — сказала София. — Но будете ли вы верить мне, ваше императорское величество? Поверите ли вы моей преданности, которую можете приписать лишь чувству страха? Дадите ли вы мне свободу, без которой я не могу действовать, а следовательно и быть вам полезной?

— Если я кому-нибудь предлагаю свою дружбу, то верю ему, — возразила императрица, — к тому же я настолько сильна, что не боюсь измены.

София смущённо потупилась.

— В таком случае скажите, ваше императорское величество, — проговорила она, — что я должна сделать, чтобы доказать вам свою благодарность и преданность?

— Вряд ли вам нужно указывать, что следует делать, — возразила Екатерина Алексеевна, — вы сами найдёте средство подготовить удар, когда наступит момент, чтобы польская корона перешла ко мне. Вам легко отклонить Потоцкого от того пути, по которому он шёл для достижения польского престола и на который попал лишь, благодаря вам. Вы употребите всё своё влияние на него в мою пользу. Потоцкий не будет от этого в убытке: он ищет блеска и удовольствий и полу-

чит их в большом количестве.

Слёзы Софии высохли, глаза ярко заблестели, и она после некоторого раздумья проговорила:

— Для того, чтобы я начала действовать, мне нужно знать ваши намерения, ваше императорское величество. Должна сознаться, что я вас не понимаю. Вам легко было овладеть Польшей в то время, когда вы отделили по большому куску польского государства Пруссии и Австрии. Почему вы тогда не сделали этого? Я думала, что у вас не хватает решимости на смелый поступок и что уверенность в обладании русским престолом заглушила вашу завоевательную силу. Это обстоятельство возбудило во мне тщеславные надежды, — со вздохом прибавила молодая женщина, — безумие которых вы мне сейчас доказали.

— Со временем вы поймёте, что заставило меня воздержаться от притязаний на польский престол, — ответила Екатерина Алексеевна. — Бывают обстоятельства, когда нужно предоставить счастье другим, ожидая, когда наступит и для тебя очередь.

— Но в данном случае счастье само давалось вам в руки, — возразила София, — а вы воспользовались лишь его небольшой частью.

— Я взяла столько, сколько могла взять, — проговорила Екатерина Алексеевна, — иначе мне трудно было бы удержать в своих руках и то, что было взято. Полное присвоение Польши возбудило бы зависть всех европейских держав и вызвало бы их неудовольствие в отношении России; этим же разделом части Польши между двумя царствующими лицами я хотела достичь некоторого изменения в их честолюбивых и враждебных чувствах друг к другу, уже давно внушающих беспокойство владетельным особам Европы. Пруссия видит в расширении владений Австрии средство для Иосифа Второго прижимать владетельных князей. Франция и Англия дрожат пред всем тем, что может усилить власть короля Фридриха. Таким образом внимание Европы было отвлечено в то время от России и она одна осталась в выигрыше. Кроме того я хотела тогда заняться укреплением герцогства Курляндского, которому мои предки придавали мало значения.

— Но вы, ваше императорское высочество, могли всё это сделать и в то же время не выпускать из рук Польши, — заметила София; — большая часть польского дворянства была тогда на вашей стороне, что нельзя сказать теперь.

— Об этом вы должны позаботиться через

Феликса Потоцкого, — улыбаясь, ответила императрица. — Наступит момент, когда вся Польша, как созревший фрукт, упадёт к моим ногам. Даже то, что взято прусским королём и австрийским императором, не навсегда потеряно для меня.

— Как? — Вы, ваше императорское величество, думаете, что это возможно? — воскликнула София.

— Кто хочет господствовать, тот должен обо всём думать, — сказала Екатерина Алексеевна, — как о счастливых, так и о несчастных исходах в будущем. Король Фридрих стар, а его наследник живо спустит всё то, что приобретено и скоплено им; дисциплина и военные упражнения, сделавшие Пруссию таким сильным государством, тоже исчезнут. Император предпримет войну, которая, подобно разрушительной болезни, уничтожит по крайней мере половину его силы. Война с Турцией ослабит власть султана в отношении России, а вместе с тем отнимет у императора Иосифа силы подавлять восстания в своих наследственных землях; он потеряет Нидерланды, а, может быть, и Венгрию. Наступит момент, когда Пруссия и Австрия окажутся бессильны, а тут ещё им придётся бороться с революционным движением, идущим со стороны Франции и вызванным слабостью

Людовика Шестнадцатого. Тогда для меня придёт время беспрепятственно овладеть польской короной и, может быть, вернуть и те владения, которые я раньше предоставила Пруссии и Австрии. Может быть, мне даже удастся выполнить свою последнюю мечту и овладеть византийской короной, которую я ношу и теперь на голове, как символ будущего.

— Я с изумлением смотрю на великие замыслы моей всемилостивейшей государыни, — воскликнула София с искренним восхищением. — Клянусь Богом, я не жалею, что отказалась от своего честолюбивого плана и променяла его на дружбу вашего императорского величества. Гораздо лучше стоять рядом с Екатериной Великой и помогать ей властвовать над всем светом, чем сидеть на польском престоле и всё время бороться с завистью, злобой и, может быть, даже изменой.

— Я очень рада, что вы понимаете меня, — сказала Екатерина Алексеевна, протягивая руку молодой женщине. — Я действительно думаю, что могу предложить вам нечто большее, чем то, что взяла у вас.

София поцеловала руку государыни и произнесла:

— Позвольте мне предложить вам ещё один вопрос, ваше императорское величество. Я хочу знать как можно больше, чтобы быть полезной союзницей своей всемилостивейшей государыни.

— Спрашивайте, — ответила императрица, — я тоже хочу, чтобы вы знали все мои мысли.

— Вы, ваше императорское величество, говорили сейчас о развитии во Франции революционного духа; не думаете ли вы, что революция, всё выше поднимающая свою голову, опасна всем монархам Европы? Не наступит ли такой момент, когда всем царствующим особам Европы придётся соединиться, чтобы сообща бороться с революционным духом?

— Это будет ещё не скоро! — возразила Екатерина Алексеевна, — до России ещё не скоро дойдёт очередь, а другие монархи не интересуют меня в этом отношении.

Чем менее прочно они сидят на своих престолах, тем безопаснее они для нас. Революция до сих пор для меня была очень полезной, она вызвала беспощадную вражду между Англией и Францией; она разъединила Францию, Австрию и Пруссию и, надеюсь, приведёт к войне между Францией, с одной стороны, и Австрией и Прус-

сией — с другой стороны. Пока внимание Европы будет устремлено на Запад, я могу распоряжаться беспрепятственно на Востоке и расширить свои владения. Революционный дух для России не страшен; народ не понимает его и ненавидит всё то, что исходит от Франции.

— А между тем вы, ваше императорское величество, состоите в дружбе с французскими философами, подготовившими революцию во Франции, — заметила София, — вы покровительствуете тем, которые своей критикой расшатали монархический строй Европы.

Екатерина Алексеевна пожала плечами и, улыбаясь, ответила:

— Я покровительствую философам, но не их идеям; эти люди нужны мне, так как распространяют по свету мою славу, а слава — могучее оружие. Разве вы не видите, что они прославляют меня, несмотря на то, что я поступаю совершенно противоположно тому, что они высказывают?

За небольшую пенсию Дидро признал меня первой женщиной в мире, а Вольтер за дорогую шубу и несколько льстивых фраз окрестил меня «Северной Семирамидой»; однако этих философов никто в России не знает, их учения мой народ не понял бы, а если бы понял, то отрёкся

бы от него, как от дьявольского наваждения. Я держала Дидро при своём дворе, но не позволяла ему сделать шаг из пределов дворца, и если бы господа философы попробовали распространять свои теории среди моего народа, то они быстро познакомились бы с Сибирью или очутились бы по ту сторону русской границы. Могут быть только два препятствия для осуществления намеченного плана будущности России. Одно из них — это союз между Францией и Англией, что совершенно невозможно при теперешнем развитии истории, чего я добилась благодаря искусству своих дипломатов. Я помню, что сделал Шуазель, чтобы ослабить силу успеха моего флота в Архипелаге; я знаю, что тайно и явно сделала Англия, чтобы восстановить против меня Турцию. Самым опасным врагом России будет тот английский или французский дипломат, которому удастся составить союз между Францией и Англией и двинуть сообща их флот в Константинополь. Но этого никогда не будет! — прибавила императрица.

— А какое же второе препятствие? — спросила София.

— Второе ещё более невероятное, — ответила Екатерина Алексеевна, — и относится к миру фантазии. Это препятствие явилось бы тогда,

если бы Германия могла объединиться в одно сильное государство. Такое государство явилось бы непроницаемой стеной на русской границе и преградило бы ей путь к дальнейшим завоеваниям в Европе. Но нам нечего бояться этой опасности. Как бы дом Габсбургов ни стремился к объединению, ему никогда не удастся сломить противодействие Пруссии и, наоборот, наследникам Фридриха никогда не удастся занять место Габсбургов. Бывший бранденбургский курфюрст, теперешний король Пруссии, мечтающий сделаться императором, и сам император ни в чём не уступят друг другу и будут держать Германию в прежнем бессилии, а потому Россия всегда будет могущественнее их. Как видите, я предлагаю вам принять участие в создании всеобъемлющей власти, а это, клянусь вам, гораздо выше, чем возложить на себя корону, потерявшую все свои украшения, которая к тому же может удержаться лишь на моей голове.

— Вы правы, ваше императорское величество, — воскликнула София, — я была ослеплена; прекрасная вершина, которую вы показали мне сегодня, была скрыта от моих глаз. Ещё раз клянусь вам, что я ваша душой и телом.

Она снова опустилась на колени и прижала

руку к сердцу.

В эту минуту открылась дверь и в комнату вошёл Ланской, адъютант императрицы. Он смертельно побледнел, увидав у ног своей повелительницы какого-то пажа, к которому государыня нежно наклонилась.

Екатерина Алексеевна взглянула на вошедшего с приветливой улыбкой и сказала:

— Подойди сюда, дитя моё, и поклонись этой даме. Она — твой друг и даже имеет особенное право рассчитывать на твою преданность!

— Ах, так это — дама! — воскликнула Ланской и быстро подошёл, с изумлением глядя на Софию, поднявшуюся с пола.

— Да, дама, — сказала императрица, — и даже очень красивая дама, лучезарных глаз которой ты должен остерегаться, — прибавила она, с шутливой угрозой поднимая палец.

— Ваше императорское величество! — возразил Ланской, вскидывая на императрицу полный воодушевления взор своих мечтательных глаз. — Вы знаете, что ни одна женщина в мире не может подчинить меня своей власти, потому что моё сердце безраздельно принадлежит высокой благодетельнице, поднявшей меня до себя из праха.

— Знаю, — произнесла государыня с счастли-

вой улыбкой, подавая ему руку, которую он с чувством прижал к своим губам, — знаю! Ты — доброе дитя, в тебе нет фальши, ты мне предан и не разлюбил бы меня, если бы даже корона упала с моей головы.

— О, Боже! — с волнением воскликнул Ланской. — Этими словами, ваше императорское величество, вы высказываете или слишком много, или слишком мало. Я не могу представить себе мою высокую повелительницу без короны, да, полагаю, и никто на свете не может этого. Царский венец создан для Екатерины, а Екатерина рождена для царского венца!

— Ты прав, ты прав! — задумчиво сказала императрица, — удар молнии, который сорвал бы корону с моей головы, должен был бы сразить также и меня. Слушай однако хорошенько! — продолжала она потом, — не говори никому про эту даму, но ступай и позаботься, чтобы ей приготовили в непосредственной близости от меня отдельное помещение, куда должна иметь доступ только одна Анна Семёновна, моя доверенная камеристка. Вы останетесь здесь несколько дней, — прибавила государыня, обращаясь к Софии, — прежде чем вернётесь в Варшаву уже не в виде пажа, а как самая блестящая дама высшего

общества, как моя приятельница, в распоряжение которой должен поступить князь Репнин. Я позабочусь о том, чтобы вы не имели больше надобности носить фамилию бедного коменданта Каменца и чтобы вскоре пред светом появилась графиня Потоцкая.

Ланской поспешил выйти, чтобы исполнить приказ императрицы.

— Как вы счастливы, ваше императорское величество! — сказала София; — вы находите истинную любовь, хотя вы — императрица; ведь тот молодой человек действительно любит вас; я вижу это, так как в подобных вещах взор женщины не может ошибиться. И при всём том вы остаётесь повелительницею тех, которые вас любят.

— Моё сердце остаётся молодым, — с мечтательным видом произнесла Екатерина Алексеевна, — хотя, к сожалению, уже слишком много лет пронеслось над моей головой. Находить любовь — для меня счастье, но, — продолжала она с холодным, гордым взором, — у императрицы нет сердца, моя любовь не оказывает никакого влияния на мои обязанности правительницы, и, хотя я щедро осыпаю знаками моего благоволения тех, кому дарю свою благосклонность и

которые облегчают мне тягости жизненных трудов приятными часами, всё же эти люди никогда не оказывают ни малейшего давления на мою политику и ход государственных дел; я никогда не забуду несчастия, которое навлекла на Россию слабость императрицы Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны.

— А если вы, ваше императорское величество, до такой степени можете властвовать над своей любовью, — воскликнула София, с восхищением взглядывая на императрицу, — то в состоянии ли вы в той же мере подавлять и свою ненависть?

— Вы были в Могилёве, — ответила государыня, — и видели моё обращение с императором Иосифом; так вот его я ненавижу всеми силами души!

— Императора? — воскликнула София, — того, кто выказывает столько восхищения вами?

— Выказывает? — пожимая плечами, произнесла Екатерина Алексеевна. — Да если бы даже он действительно питал ко мне чувство восхищения, если бы на самом деле был моим другом, как он лицемерно притворяется, то и тогда я была бы не в силах примириться с ним. Свет называет его прямо императором, и он вообразил себя наследником римских цезарей, которые владычествовали над миром, а этого я никогда

не прощу ему. По этой причине я ненавижу его, по этой причине я не успокоюсь до тех пор, пока последняя тень мнимого мирового владычества этих римско-немецких императоров не померкнет пред блеском восточной короны. Но, — с улыбкой прибавила государыня, — Иосиф Австрийский не подозревает о том, и даже если бы ему сказали это, то он не поверил бы от избытка своего тщеславия. А тем временем император как нельзя лучше устраивает мои дела, ослабляя себя в борьбе с турецким султаном, как только я могу того желать. Что может быть лучше, как заставлять трудиться в нашу пользу ненавистных нам людей? Но теперь, мой друг, — ласково прибавила императрица, — вы достаточно утомились дальней дорогой, чтобы пожелать конца нашему разговору.

— Разве можно когда-нибудь утомиться, слушая вас, ваше императорское величество? — спросила София.

— Тело заявляет свои права, — заметила государыня, — и даже самый сильный ум становится беспомощным, когда ему отказывается служить орудие его работы. Отдохните, графиня, отдохните и не сердитесь на меня за то, что я заставила вас совершить такое утомительное путешествие;

вы видите отсюда, как ценю я вашу дружбу.

Она позвонила в колокольчик. В комнату вошла её доверенная камеристка Анна Семёновна.

— Отведи эту даму в её покои! — приказала Екатерина Алексеевна.

Не выказывая ни малейшего удивления по поводу мужской одежды на приезжей гостье, камеристка повела Софию в богато и уютно обставленное помещение, выходившее в коридор, который непосредственно сообщался с покоями самой императрицы и куда имела доступ только царская прислуга.

В самом деле утомление в полной мере дало почувствовать себя красавице-гречанке и, несмотря на поток мыслей, вызванных разговором с императрицей, она скоро погрузилась в глубокий сон без сновидений, от которого проснулась только довольно поздно на следующее утро.

Несколько дней провела София пред всеми, кроме адъютанта Ланского, в качестве гостьи императрицы в Петербурге, и Екатерина Алексеевна сумела в этот недолгий срок до такой степени очаровать своею добротою бывшую неприятельницу, указать её честолюбию такие блестящие цели и вместе с тем так ловко внушить ей собственные идеи, что когда наконец

София в ночной тиши пустилась назад в Варшаву с блестящим поездом в сопровождении казаков, то императрица могла похвастаться про себя, что совершенно привлекла к себе эту мужественную, хитрую женщину, не останавливавшуюся ни пред каким препятствием.

XX

Вацлав Пулаский всеми мерами пытался рассеять унылую задумчивость графа Станислава Феликса Потоцкого, чтобы снова привлечь его к деятельности в интересах Польши, так как обстоятельства всё более и более требовали энергичного вмешательства, которое могло удаться лишь графу Станиславу Феликсу Потоцкому.

Ненависть против русского притеснения, раздуваемая ловкими агентами, достигла крайних пределов, и если бы не представился в скором времени случай к взрыву народных страстей, то при изменчивости характера польской нации можно было опасаться, что волнение умов снова уступит место вялости и равнодушию. Кроме того по всей стране были сделаны приготовления, чтобы с помощью внезапного и всеобщего восстания изгнать русские гарнизоны из всех укреплений и прочих мест их стояки. С исполнением этого плана не следовало также долго медлить, потому что даже без всякого предательства, которое могло быть вызвано каждою случайностью, подготовленные мероприятия

могли быть чрезвычайно затруднены простою дислокацией русских войск.

Поэтому Вацлав Пулаский напомнил графу Потоцкому, что пора нанести решительный удар и арестовать короля Станислава Августа. Если бы это удалось, то, прежде чем весть о его низложении успела бы распространиться, должно было последовать изгнание русских войск, чтобы после насильственного отречения короля немедленно выбрать диктатора в лице Станислава Феликса Потоцкого и вооружить весь народ, восстание которого было бы тогда признано законным в силу решения сейма, причём рассчитывали на поддержку или по крайней мере на благосклонное покровительство Пруссии и Австрии.

Весь план был хорошо рассчитан, правильно организован и самым тщательным образом держался в тайне между заговорщиками, состоявшими под предводительством Пулаского, так что даже патриоты иных партий, как Игнатий Потоцкий и Костюшко со своими друзьями, не знали ничего о нём. Главные условия были направлены на арест короля и изгнание русских гарнизонов, и согласно этим распоряжениям были последовательно и обстоятельно сделаны необходимые приготовления по всем местам

стоянок русских войск. Но заговорщики — старые ветераны — не подумали завязать какие-нибудь дипломатические нити, чтобы хотя до известной степени удостовериться заранее в том, как отнесутся соседние державы к их замыслу; равным образом мало внимания было обращено и на то, чтобы после задуманного переворота сосредоточить военные силы нации и подготовить их к войне с Россией, которая неминуемо должна была вспыхнуть. Рассчитывали, что России понадобится некоторое время, чтобы двинуть новую армию к польской границе, и что в этот срок польская нация благодаря вновь завоёванной свободе организуется своими собственными силами для боевой готовности. Всех так называемых осторожных и нерешительных, к которым одним из первых причисляли Игнатия Потоцкого, нарочно держали в стороне; решительное дело должно было предшествовать всему, а там обещали найтись сами собою средства и пути для дальнейшего использования успеха, достигнутого бурным натиском.

Многие исторические примеры как будто подтверждали мнение Пулаского, но тем необходимее было быстро и беспощадно схватить удобный момент, и таким образом Пулаский уже

много раз являлся к графу Феликсу Потоцкому напоминать об исполнении давно подготовленного плана.

Лукавский доложил, что отряд надёжных старо-польских солдат, собранных под видом рабочих на лугах графа Потоцкого, готов и совершенно обучен на всякий случай и что было бы неосторожностью ещё долгое время держать там этих людей в бездействии, так как их сборище может слишком легко возбудить внимание и подозрение. Вместе с тем празднества польских магнатов в их загородных замках, на которые король часто принимал приглашения и с которых он возвращался потом с немногочисленной свитой и почти всегда без военного прикрытия, представляли удобный случай для исполнения плана заговорщиков; такое благоприятное стечение обстоятельств не могло повториться в позднее время года.

Однако Потоцкий всё как-то нерешительно откладывал дело; он слишком привык полагаться на руководство Софии и теперь невольно робел, когда ему приходилось без предварительного совета с ней ринуться в столь рискованное предприятие, последствия которого было так трудно предвидеть. Вдобавок его характер был более

склонен к внезапной вспышке, чем к спокойной деятельности и последовательно производимой работе, а врождённая леность также удерживала его от начинания, которое при неудачном исходе могло лишить его спокойного наслаждения жизнью. Между тем Потоцкий дорожил им и без побуждающего влияния Софии ставил его выше соблазнов высокопарного честолюбия. Но всё настоятельнее приставал к нему Пулаский, снова приобретший в отсутствие красавицы-гречанки прежнее влияние на графа, которое усиливалось с каждым днём; он дал ему заметить, что при дальнейшем колебании Потоцкий заставил усомниться в своей преданности делу спасения отечества и что заговорщики будут принуждены смотреть на него как на врага, если он не захочет присоединиться к ним для энергичного содействия.

Таким образом Потоцкому пришлось решиться дать своё согласие на исполнение плана, к чему представлялся удобный случай, так как князь Чарторыжский, канцлер Литвы и дядя короля, давал роскошный праздник. Стравенскому, Косинскому и Лукавскому тотчас дано было знать, чтобы они держались наготове.

Пред исполнением плана Косинский потре-

бовал себе трёхдневный срок для необходимой поездки. Она не могла служить помехой предстоящему делу, потому что праздник во дворце князя Чарторыжского был назначен ещё не в ближайшие дни, тем не менее Лукавский с мрачной миной спросил о цели этого путешествия; по-видимому оно показалось ему подозрительным ввиду того, что затевалось пред самым исполнением такого опасного замысла.

Косинский отказался дать эти сведения и возразил, что он вправе требовать отпуска ради устройства своих личных дел, так как рискует своей жизнью в интересах отечества.

Лукавский ещё раз пришёл к Пуласкому за его решением; но тот сказал ему:

— Отпусти его! Хотя он — сомневающийся и мечтатель, но у него благородное сердце. Он нас не предаст, а если бы и захотел отступить от нашего дела, то мы сами достаточно сильны, чтобы осуществить и без него наш план, а впоследствии мы ещё успеем напомнить ему его клятву.

— Как хотите, пан, — ответил Лукавский, — вы — наш главарь и вам подобает ответственность; но, кто мешкает и колеблется, тот — нам не товарищ и не годится для смелого подвига. Всё-таки я буду смотреть в оба, потому что тут дело идёт

также и о моей жизни, которую я охотно отдаю отечеству, но не хочу губить понапрасну.

Переменив крестьянскую одежду на простую «литевку», какие носят шляхтичи, Косинский с наступлением ночи выехал верхом из графского лугового имения на берегу Вислы и повернул на восток, по дороге к Вельску. Он скакал короткой, равномерной рысью на маленькой польской лошадке под звёздным небом, решительно не замечая, что на определённом расстоянии за ним следовал другой всадник на совершенно такой же лошади и в совершенно такой же одежде.

Этот верховой в точности согласовал свои движения с движениями Косинского и старался постоянно держаться от него в одинаковом отдалении, причём неизменно выбирал мягкий травянистый грунт дороги, заглушавший стук копыт его лошади, и в то же время пользовался каждым кустом, чтобы скрыться в его тени.

Такая осторожность едва ли была необходима, потому что Косинский до того углубился в свои думы, что ни разу не оборачивался назад; да он едва ли заметил бы одинокого путника на довольно людной дороге.

К утру он достиг местечка Грана, где отдохнул часок в шинке предместья, тогда как его лошади

задали корму. Следовавший за ним всадник сделал то же самое в другой корчме, которых было здесь очень много. Он присел к окну в комнате для посетителей, откуда можно было видеть дверь шинка, где расположился Косинский.

Если бы тот был так же осторожен, то, может быть, выглядывая из глубины комнаты на своего преследователя, он узнал бы в нём, несмотря на нахлобученную на лоб меховую шапку, Лукавского, не спускавшего взора с дверей шинка; но Косинский был беспечен и до того занят собственными делами, что едва ли замечал происходившее вокруг него, бормоча про себя отрывочные слова, и только благодаря хозяину вспомнил о заказанном им незатейливом завтраке, о котором совсем позабыл, несмотря на ночную езду.

Час спустя Косинский оставил шинок, и Лукавский мог заметить, что на спину его лошади положили мешок с овсом. Тогда он поспешно приказал навьючить на своего коня запас корма приблизительно на один день и последовал за Косинским, причём на этот раз держался к нему ближе прежнего, так как счёл возможным рискнуть на это скорее на городских улицах, чем на открытом проезжем тракте.

По выезде из предместья Косинский свернул с большой дороги, которая вела в Вельск, на просёлок, простиравшийся к северу, к Мазовии. Лукавскому приходилось следовать за ним довольно близко, чтобы не потерять его из вида. Он ещё больше нахлобучил на лоб свою шапку и свесил голову на грудь, чтобы скрыть лицо; но и здесь, где на узком безлюдном просёлке одинокий всадник легче мог броситься в глаза, Косинский ни разу не оглянулся назад, а дорога между тем вскоре свернула в лес, где Лукавскому было удобнее прятаться, так что после того оба всадника ехали целый день на почти одинаковом расстоянии друг от друга.

На закате солнца они достигли густой буковой рощи, зеленевшей на отлогом скате холма. Тут Косинский спрыгнул с седла, накормил и напоил свою лошадь, после чего привязал усталое животное к свесившемуся вниз крепкому суку большого дерева, в тени которого оно тотчас легло отдыхать. Сам он также растянулся на мягком мху, закрыл глаза и как будто заснул.

Лукавский отвёл своего коня шагов на пятьсот дальше в лес, позаботился о подкреплении его сил, нашёл ему удобное местечко, а сам подкрался, под прикрытием кустарника; как можно

ближе к Косинскому.

Ночные тени стали спускаться наконец всё ниже и ниже. Тусклое сияние звёзд едва освещало темноту леса.

Тут Косинский поднялся и стал пробираться между кустарниками с уверенностью человека, хорошо знакомого с местностью.

Лукавский с трудом следовал за ним, так как ему приходилось двигаться с большою осторожностью, чтобы не выдать своего присутствия треском хрустнувшей ветви. Однако лес скоро поредел. Широкие аллеи, как и поставленные там и сям скамейки, указывали на то, что здесь начинался уже старательно содержимый господский парк.

Всё реже становились группы деревьев; вскоре послышались громкие человеческие голоса и за парком открылся большой ярко освещённый замок с множеством хозяйственных построек кругом. Дорога вела к растворенным настежь решетчатым воротам парадного двора, где сновала туда и сюда многочисленная прислуга, тогда как в ярко освещённых окнах первого этажа мелькали фигуры гостей, в большом количестве съехавшихся в дворянскую усадьбу.

Косинский вошёл во двор. Никто не обратил на

него внимания. Польские магнаты всегда были окружены таким множеством мелкой шляхты в своей свите, что эти служащие при многочисленном собрании своих господ едва знали друг друга в лицо.

Лукавский осторожно остался в тени леса, но так, чтобы быть в состоянии видеть сквозь решётку всё происходившее.

Долгое время дожидался во дворе Косинский, пока, наконец, поспешно двинулся навстречу вышедшему из дома слуге; тот при виде его, казалось, удивился; приезжий, как ясно мог рассмотреть Лукавский, сунул ему в руку сложенную бумажку. Скрипя зубами, Лукавский тихо произнёс проклятие и погрозил издали стиснутым кулаком. В эту минуту он услыхал за собою шаги и почувствовал, как чья-то рука легла на его плечо. Он машинально схватился за кинжал, бывший у него за поясом, но через миг весь его страх пред неожиданным нападением совершенно рассеялся. Быстро обернувшись, Лукавский увидал бородатого мужчину, который говорил заплетавшимся языком:

— Не правда ли, пан, староста Лубенский — превосходный человек и радушный хозяин, который не считает бутылок, выпитых его гостя-

ми? Пойдём, осушим ещё бокал токайского за его здоровье!

— Ах, — сказал Лукавский, — так этот замок старосты Лубенского?

— Чёрт возьми, — пробормотал подвыпивший гость, — должно быть, ты сломал шею полудюжине бутылок больше, чем я, если даже не понимаешь, где находишься. Да, да, молодёжь становится всё изнеженнее и не может ничего больше переносить! Разве мы не пировали здесь три дня подряд, так что наверно опустошили половину погребов Лубенского? А ты ещё спрашиваешь, куда ты попал! — Он громко захохотал и так сильно хлопнул по плечу Лукавского, что сам потерял равновесие и, пошатнувшись, должен был ухватиться за решётку. — Пойдём однако, — воскликнул болтливый кутила. — Я научу тебя, как надо пить по-старинному польскому способу, чтобы не сделаться посмешищем служащих при погребе.

Он хотел потащить с собою Лукавского, но тот не терял Косинского из вида и увидал, что последний, снова пошептавшись с слугою, вернувшимся из замка, опять оставил двор и углубился в парк.

Сильным толчком Лукавский отшвырнул пьяного прочь от себя и поспешил за Косинским в лес,

тогда как пожилой гость, зашатавшись на слабых ногах, послал ему вдогонку несколько крепких и без сомнения откровенных ругательств.

— Ах, ты, несчастный! — прошептал про себя Лукавский, спеша по следам Косинского. — Значит, я не ошибся! Этот Лубенский — креатура Понятовского и, как тот, наёмник России. Косинский поспешил к нему, чтобы выдать наш план пред самым его исполнением. Но, клянусь Богом, если из-за него не удастся спасение отечества, он не избегнет своей кары!

Косинский вернулся к месту, где привязал свою лошадь. Лукавский держался совсем поблизости. Он ожидал, что Косинский пустится в обратный путь, и держал наготове свой кинжал, чтобы кинуться на него и отмстить ему за предательство. Но Косинский не отвязал лошади; он отстегнул только ремни, которыми был притянут к седлу его плащ, закутался в него и растянулся на мягком лесном мху. Через несколько времени Лукавский услыхал глубокое и спокойное дыхание спящего.

— Что это значит? — прошептал он. — Неужели тёмное дело ещё не совершилось? Я должен посмотреть, что произойдёт далее, потому что, только узнавши всё, будет возможно помешать предательскому замыслу.

Он улёгся на землю в нескольких шагах от товарища под прикрытием густого кустарника и чутко прислушивался к каждому движению спящего. Злоба и напряжение не давали ему забыться сном, хотя ночные часы тянулись бесконечно для его нетерпения.

Утро давно уже наступило, но Косинский всё ещё отдыхал на своём ложе. Наконец, он поднялся, но и тут не стал собираться в обратную дорогу; напротив, он вытащил из сделанной сумки походную флягу, развернул кое-какую холодную закуску и позавтракал так спокойно, точно был на охоте и ожидал на этом месте прилёта дичи. Потом он покормил лошадь и ещё подождал около часа. Наконец, он снова повернул к замку и пошёл по той же дороге, по которой ходил накануне, причём опять так сильно погруженный в свои думы, что Лукавскому не составляло труда следовать за ним, прячась в кустарниках.

У входа в лес, на границе между ним и парком, стоял шалаш из мха, полуприкрытый плакучим ясенем и окружённый молодой буковой порослью. В этот шалаш вошёл Косинский. Лукавский спрятался как раз позади него и мог явственно расслышать каждое движение, каждый вздох Косинского сквозь тонкую мшистую стену.

Прошло ещё полчаса и вдруг раздались лёгкие шаги по дороге от замка. Выглядывая из-за шалаша, Лукавский увидал молодую девушку, показавшуюся на ближайшем повороте. Ей было лет семнадцать; её туалет состоял из простого утреннего платья тёмной материи и широкополой соломенной шляпы. Тёмно-русые волосы обрамляли густыми локонами её нежное, словно выточенное лицо с благородными чертами, на котором сияли большие блестящие глаза. Она шла медленно, точно совершая утреннюю прогулку, но её взоры с тревожным ожиданием устремились на мшистую беседку. Чем ближе она подходила к ней, тем больше ускоряла свой шаг, словно побуждаемая внутренним нетерпением. Поравнявшись с шалашом, молодая девушка остановилась и вошла в него, после чего Лукавский услыхал ликующий возглас, а потом наступило краткое молчание.

— Чёрт возьми, — пробормотал он, — неужели я был не прав пред Косинским? Неужели всё это было только любовной чепухой?

Он припал ухом к мшистой стене.

— Тебя привёл сюда Господь, мой любимый друг, — говорил в шалаше женский голос, — я считала себя покинутой всеми и самим Небом,

а теперь, когда ты находишься со мною, ко мне вернулись мужество и сила. Теперь я снова надеюсь, что Бог всё-таки хочет спасти меня от угрожающей опасности.

— А какая же опасность угрожает тебе, Юзефа? — спросил Косинский. — Дай Бог, чтобы она не была слишком близкой, потому что я приехал, чтобы почерпнуть у тебя мужество и силы для важного дела, которое должно дать мне свободу бороться за тебя.

— Ты знаешь, мой возлюбленный, — ответила Юзефа, — что твой двоюродный брат сватается ко мне.

Дрожащим от гнева голосом Косинский воскликнул:

— Как, он, похитивший мою честь, моё имя, хочет теперь отнять у меня всё, что составляет моё счастье и надежду в мире?

— Всеми силами противилась я этому сватовству, но отец остаётся глух к моим мольбам, — продолжала Юзефа, — многочисленные гости из соседних поместьев собрались у нас, и вчера он объявил, чтр моя помолвка с ненавистным человеком должна состояться. Я решилась идти наперекор своему отцу пред целым светом и прибегнуть к защите церкви — единственному

убежищу, которое оставалось мне, но которое потом, конечно, разлучило бы меня с тобою навеки.

— Ужасно! — воскликнул Косинский.

— Тут верный Бобрик принёс мне твою записку, — продолжала Юзефа, — и мужество и надежда вернулись в мою душу; ты был тут, я чувствовала твою близость. Когда отец объявил о моей помолвке, когда тот Косинский, которого я ненавижу тем глубже, что он носит твоё имя, поцеловал мне руку, а гости обступили меня с наполненными бокалами, чтобы пожелать мне счастья и выпить за моё здоровье, у меня хватило духу промолчать и беспрекословно подчиниться всему этому. Ведь я знала, что ты поблизости меня, что ты найдёшь путь к спасению, что всё это — лишь мучительный сон, за которым должны последовать прекрасное пробуждение, счастье и свобода!

Косинский слушал с мрачным видом.

— Как странно и неравномерно раздаёт свои блага судьба! — сказал он, — тот человек, который отнял от меня имущество и имя моего отца, хочет также отнять мою любовь, за которую я охотно отдам все земные сокровища, и если бы ты была слабее волею, то я потерял бы и это величайшее

сокровище.

— Никогда, мой Казимир, никогда, — воскликнула Юзефа. — Я принадлежу тебе, и если враждебные силы разлучат нас, то я под защитой святой церкви, у которой меня не может вырвать даже власть короля, останусь тебе верна.

— Короля? — воскликнул в волнении Косинский. — Ты была права, полагаясь на защиту Бога, так как действительно Он Своей десницей возвышает униженных и уничтожает тех, которые на высоте. Выслушай меня! Я пришёл сюда отягощённый сомнениями; я стою пред началом великого подвига, который должен освободить отечество от постыдных оков, и, если он мне удастся, я получу возможность в награду завоевать твою любовь. Твой отец полагается на милость и покровительство короля, а, когда мне удастся моё дело, эта милость ничего не будет стоить, твой отец станет одним из бесславных людей во всей стране и сочтёт, может быть, за счастье, если я протяну ему руку, чтобы спасти его от погибели.

— Боже мой! — воскликнула испуганная Юзефа, — что ты предпринимаешь? Какая опасность грозит тебе?

— Опасность? — воскликнул Косинский. —

Разве могу я считаться с опасностью, когда дело идёт о счастье жизни? Меня не пугает опасность; подвиг, который я клялся совершить, тяготит мою совесть. Ты, чистая, должна решить! Ради этого пришёл я сюда. Что это именно такое, я не могу сказать тебе, меня связывает клятва даже по отношению к тебе. Но дело состоит в том, чтобы сломить тираническую власть короля, который служит иноземцам, тогда как он — мой повелитель, возведённый на трон священным законом страны. Только сейм может судить его, отдельные же лица не смеют поднять руки на него.

— Я ничего не понимаю в этом, возлюбленный мой, — сказала Юзефа, — но хорошо знаю, что наше отечество несчастно вследствие иноземного правления и что король — лишь слуга русской императрицы. Сердце подсказывает мне, что обязанность каждого человека направить все свои силы к спасению отечества, и, будь я мужчиной, я вряд ли стала бы колебаться ввиду столь высокой цели. Но не спрашивай меня об этом; не подобает женщинам давать мужчинам советы в подобных делах, и, — продолжала она повышенным голосом, — помни обо мне, помни о нашей любви, о том, что нам грозит разлука. Ты можешь найти себе забвение, так как тебе открыт весь мир, мне

же, бедной, представляется только выбор между одиночеством монастыря, который станет для меня могилой, так как я не могу найти самоотречение в своём сердце, которое стремится к радости, счастью и любви, и между браком с ненавистным мне человеком. Помни обо мне, друг мой! Существует ли обязанность выше обязанности любви? Нет такой отваги, которая показалась бы слишком большой, чтобы спасти меня, у которой нет на земле никого, кроме тебя, которую собственный отец приносит в жертву и отдаёт во власть злому року! Разве не перст Провидения, что именно теперь, когда нужда заставляет меня принять ужасное решение, тебе открывается дорога упрочить наше счастье благодаря великому и смелому подвигу. Не знаю и не хочу знать, что это такое, но не медли и не колеблись, мой друг, любовь принадлежит нам, и мы должны бороться за неё! Свет равнодушно пройдёт мимо нас. Что нам до света, что нам до королей всего мира? Если мы будем побеждены, то у нас ещё хватит времени снести все неприятности. Но без борьбы мы не должны сдаваться. Любовь, верующая в себя, непреодолима. Поэтому я умоляю тебя: не сомневайся, не колеблись, спаси меня!

Юзефа бросилась на грудь Косинскому и со

слезами на глазах смотрела на него.

— Довольно, Юзефа, — сказал он, крепко обнимая её, — у меня нет больше сомнений. Всё для любви! С новым мужеством я примусь за дело. Но есть ли ещё время? не заставят ли тебя прибегнуть к крайности?

— Будь покоен, мой друг! — ответила молодая девушка, — я слышала, как мой отец и тот Косинский говорили, что мой брак должен состояться осенью.

— Осенью? — воскликнул Косинский. — О, тогда ещё есть надежда, так как через несколько дней решится, даст ли Бог победу нашей любви, или мы должны расстаться с тобою навеки.

— И ты известишь меня? — спросила Юзефа, всё ещё покоясь в его объятиях. — Ты не оставишь меня в неведении так же долго, как теперь?

— Ты услышишь обо мне, моя дорогая, — сказал Косинский торжественным голосом, — судьба приведёт меня к счастью или несчастью! Прощай! Я должен уходить. То, что я пришёл искать, я нашёл: ясность и новое мужество! Прощай, моя дорогая! Молись, чтобы Бог дал победу нашей любви! Только о нашей любви буду я помнить, только ради неё буду я бороться! Прощай! Прощай! Ни одно слово не должно сорваться с наших

уст после священного прощального поцелуя!

Косинский заключил любимую девушку в объятия. В долгом поцелуе их души, казалось, переливались одна в другую, затем Косинский вырвался и, не оглядываясь, отправился к лесу.

Один момент Юзефа стояла со сложенными руками в дверях хижины, потом сорвала маленький цветок, выросший вблизи хижины, спрятала его на груди на память об этом часе и медленно пошла к замку.

«Он слабовольный, он — дамский угодник, — сказал Лукавский, — но он принадлежит нам и сделает, что нужно. Лучше так, чем если бы я был принуждён отмстить ему за его измену».

Он снова нашёл свою лошадь, а когда выехал на дорогу, то увидел Косинского далеко впереди себя.

В следующую ночь оба встретились на берегу Вислы, никто из других, кроме Стравенского, не заметил их отсутствия.

XXI

Блестящие экипажи, сопровождаемые форейторами и гайдуками, направлялись в солнечный вечер к великолепной даче князя Чарторыжского, находившейся в одном из предместий Варшавы.

Король Станислав Август принял приглашение князя, и избранное варшавское общество спешило на бал с тою роялистическою ревностью, которая напоминала теперь версальский двор и которую польское дворянство выказывало во всех вопросах личного почитания короля, хотя само только тем и было занято, что низводило политическое могущество коронованного президента республики к нулю.

Дача князя Чарторыжского была произведением той оригинальной фантазии, которую могло осуществлять несметное богатство Чарторыжских. На покатой возвышенности была видна небольшая деревня, отдельные дома которой во всём походили на дома польских крестьян. Это были простые избы, выстроенные из обтёсанных древесных стволов, которые были соединены между собою смесью, составленной из соломы и

глины; большое строение посредине составляло жилище князя и княгини, а кругом находились маленькие домики с пристройками для каждого княжеского ребёнка с его воспитателями и прислугою; всё было окружено садами и по внешности вполне напоминало деревню. Весь парк кругом был разбит в том же вкусе, только в основу была положена идея, что польская деревня выросла на развалинах римского поселения. Повсюду рядом с извилистыми дорогами, проложенными в чаще, виднелись маленькие павильоны в форме деревенских хижин, являвшиеся местом отдохновения; там находились маленькие, искусно украшенные буфеты, где можно было получить освежающие напитки; через ручьи и потоки были перекинуты фантастические мосты, а в некоторых местах среди леса были видны искусно воспроизведённые руины античных зданий; в одном полуразрушенном амфитеатре были устроены конюшни для княжеских лошадей, и так повсюду природа была соединена с искусством.

Пред средней деревенской избой князь Чарторыжский и его жена ожидали гостей. Число последних было незначительно; только представители самых знатных фамилий получили

приглашение. Как всегда, верхом на коне приехал граф Феликс Потоцкий, в польском национальном костюме, в сопровождении многочисленной свиты, которую он оставил у входа в парк. Он дружески поздоровался с князем и княгинею и постарался завязать весёлую, лёгкую беседу, которая была ему столь присуща, но мрачное настроение, овладевшее им после исчезновения прелестной гречанки, проступало наружу и придавало ему вид какого-то неестественного, принуждённого спокойствия. Видно было, что им вполне овладела какая-то тяжёлая, мучительная мысль. Во время своей беседы он нередко давал совершенно неуместные ответы или задавал вопросы не тем лицам, кому их следовало задать, чем вызывал в обществе лёгкое удивление.

По приглашению князя, приехала и графиня Браницкая, возвратившись из Могилёва, хотя уже довольно давно не появлялась при варшавском дворе.

Пред главным домом были расставлены скамьи и столы грубой деревенской работы, и прибывшим гостям предлагали здесь разные освежающие напитки, которыми славился погреб князей Чарторыжских, но кружки были простые глиняные, а тарелки деревянные, прислуга тоже была

наряжена крестьянами.

Едва успели собраться все гости, как доложили о приезде короля.

Для его экипажа были раскрыты огромные деревянные ворота, тогда как остальные гости должны были выходить пред въездом в парк. Пред открытым фаэтоном короля ехали только два гайдука; король сидел вместе со своим адъютантом, позади стояли два лейб-егеря.

Станислав Август, предпочитавший вообще светлые, нежные краски, был одет в светло-серый французский камзол с серебряным шитьём, с голубою лентою через плечо и звездою ордена Белого Орла. С юношескою лёгкостью выпрыгнул он из экипажа, отклонив помощь лейб-егеря, и галантно прикоснулся к руке княгини Чарторыжской.

— Когда приезжаешь к вам на дачу, дорогая моя кузина, — сказал он, — то будто переносишься в старую Польшу, когда помещики все жили среди своих крестьян и вели простой сельский образ жизни. Правда, — продолжал он со свойственною ему слабою улыбкою, — теперь эта простота исчезла, а вместе с ней исчезли и старая сила и верность.

— Не совсем, ваше величество, — возразила

княгиня, — польские сердца ещё преданы своей родине, и там, где её знамя поддерживается твёрдою рукой, пробуждается и старый дух к новым подвигам.

— Дай-то Бог! — тихо проговорил король, печально покачивая головою. — Ах, — воскликнул он с радостным огоньком в глазах, — для меня является неожиданным счастьем, что я имею удовольствие видеть мою прелестную кузину Елену, которая обыкновенно так старательно держится вдали от моего двора, что я начинаю думать, что она гневается на меня.

— Такое предположение вашего величества совершенно неправильно, — ответила графиня Браницкая, у которой король вежливо поцеловал руку. — Я просто люблю уединение; кроме того совершенно естественно, что я после смерти своего отца не чувствую склонности бывать в свете.

— И он тоже избегал мой двор, — со вздохом проговорил король, а между тем, — тихо добавил он, — Бог знает, с каким удовольствием возложил бы я на его голову бремя короны, которое ему легче было бы нести, чем мне! Но вы переходите к воспоминаниям, — продолжал он с галантной улыбкою, — а воспоминания всегда печальны, так как напоминают нам, что меркнет свет на-

шей жизни; здесь же мы обязаны откинуть всё печальное от нас, так как весёлость гостя является лучшею благодарностью, которую можно выразить хозяину и прежде всего столь любезной хозяйке, как наша кузина Чарторыжская.

После того как он поздоровался с другими гостями, княгиня взяла его под руку, чтобы ввести в дом, так как в этот момент появился слуга в польском костюме, доложивший, что на кухне всё готово.

Растворились грубые дубовые двери с тяжёлыми железными скобками. За ними находились бархатные портьеры, отдернутые слугами в тот момент, когда король с княгиней перешагнул через порог.

Станислав Август остановился изумлённый. Ему впервые приходилось быть в этом доме, созданном фантазией княгини, и то, что представилось его глазам, действительно могло изумить. Видя повсюду подражание древней польской деревне, можно было предположить, что это подражание встретишь и внутри дома. Вместо этого в комнатах дома было столько роскоши и изысканного вкуса, что их можно было только встретить в княжеской резиденции какой-нибудь большой столицы. Великолепные ковры

покрывали паркеты, драгоценные гобелены и картины лучших художников украшали стены; художественные произведения из бронзы и мрамора в огромном числе стояли повсюду в комнатах, а с лепных потолков свешивались люстры из горного хрусталя.

По просьбе короля княгиня провела его по всем комнатам этого великолепного дворца, и у Станислава Августа невольно вырвалось восклицание удивления и восторга, когда его ввели в ванную комнату, где искусственная простота соединилась с невероятною расточительностью. Вся огромная комната, в средине которой находился мраморный бассейн с художественными украшениями, изображавшими тритонов и нереид, была выложена великолепным мейссенским фарфором, причём каждая отдельная плитка фарфора была украшена живописью — разнообразными цветочными гирляндами, вследствие чего эта ванная комната благодаря тому, что мейссенский фарфор ценится почти на вес золота, стоила таких бешеных денег, какие вряд ли кем-нибудь затрачивались на подобные цели.

С такою же роскошью были обставлены и другие комнаты, а в столовой находился богато убранный стол, украшенный великолепными

цветами.

Внутри этого дома, напоминавшего собою сказки из «Тысячи и одной ночи», слуг в национальных костюмах уже не было видно; гостям прислуживали дворецкий в чёрном французском камзоле и лакеи в богатых ливреях дома Чарторыжских.

Станислав Август сел за стол между княгиней Чарторыжской и графиней Еленой. Его беседа с последней сначала была несколько принуждённой, так как её отец и сама она своею холодною сдержанностью достаточно ясно доказали ему враждебное к нему отношение. Сегодня же графиня была сама любезность, а она умела быть любезной, когда хотела.

Король чувствовал себя совершенно довольным вследствие этой перемены в её поведении. По своему характеру он был другом мира и покоя, и натянутые отношения со своею родственницею ему были неприятны. Поэтому он радовался примирению с ней и выказывал ей чрезвычайную внимательность.

Как бы мимоходом графиня заметила ему, что имеет намерение, после своего уединения в Белостоке, вновь завязать сношения со светом и в ближайшем будущем поедет за границу — сперт-

ва в Германию на воды, затем в Париж, чтобы, как шутя сказала она, сначала снова освоиться со светскою жизнью, прежде чем появиться в Варшаве при дворе своего кузена.

Беседа велась громко. Но в тот момент, когда княгиня Чарторыжская отвлекла внимание общества каким-то замечанием, графиня Браницкая тихо обратилась к королю:

— Относительно моего путешествия у меня есть особая просьба к вашему величеству.

— Пожалуйста, прелестная кузина, приказывайте! — произнёс король, — власть польского короля в вашем распоряжении, насколько она простирается. Этого впрочем немного, — прибавил он с горькою улыбкой.

— Для меня она достаточна, — сказала графиня. — Моя просьба невелика. Имя, подобное моему, является лишним бременем в путешествии, особенно когда хочешь без какого-либо стеснения наблюдать мир во всей его красоте. Я хотела бы остаться неузнанной и потому прошу вас, ваше величество, выдать мне паспорт на имя госпожи Воринской. Я беру это имя по названию одного из своих имений и, значит, до некоторой степени имею на него право, но вы должны сохранить всё в полной тайне, чтобы я не боялась разоблачения

моего инкогнито.

— Завтра паспорт будет у вас, — ответил король, довольный, что графиня не выразила другого более трудного желания, которое могло бы выходить за границы его королевской власти.

— Благодарю вас, ваше величество, — сказала графиня. — А теперь больше ни слова. Никто не должен заметить, что у нас есть секреты; не следует возбуждать любопытство других.

Разговор снова стал общим. Король, обладавший тактом и отличавшийся общительностью, умел поддерживать общую беседу и наводить разговор на самые животрепещущие темы. Таким образом обед прошёл чрезвычайно весело, заставив опять невольно вспомнить версальский двор во время его наибольшего расцвета. Так хорошо умел Станислав Август поддерживать внешнее достоинство короля, не будучи в то же время в состоянии держать в своих слабых руках бразды правления.

Обед длился не долее одного часа; так любил король, а все его желания в вопросах этикета исполнялись беспрекословно; затем общество отправилось на прогулку в парк, а король пошёл осматривать отдельные домики детей князя Чарторыжского, где тоже было немало роскоши

и вкуса.

На одном из холмов, около амфитеатра, в котором находились конюшни и откуда расстилался чудный вид на всё поместье, был разбит шатёр, взятый на войне у великого визиря. Пол был устлан персидскими коврами. Здесь гостям, расположившимся на мягких оттоманках, слуги в костюмах турецких рабов предлагали фрукты и восточный шербет.

Солнце садилось, но княгиня Чарторыжская оживлённою беседою сумела удержать гостей, пока на землю не спустилась ночь. Она упросила короля вернуться в дом и провела его по тёмной лесной дороге к озеру. Вдруг берега последнего осветились точно по мановению волшебного жезла. Как раз напротив гости увидали высокий, перекинутый через воду мост, освещённый бесчисленными разноцветными лампионами. Все эти огни отражались в водной поверхности. Дальше стоял тёмный лес, откуда в различных направлениях взлетали ракеты, освещая своим ослепительным светом небеса.

Зрелище было столь же своеобразно, как и неожиданно. Всё общество громкими восклицаниями выражало своё удовольствие и восхищение, а король в сердечных словах благодарил

хозяйку. Княгиня дальше повела своего гостя, и они вдруг очутились в освещённом здании, украшенном цветочными гирляндами, где опять были предложены прохладительные напитки; бесчисленные лампочки, свешивавшиеся с купола, освещали всё общество, как днём. В тот момент, когда король сел на приготовленное для него кресло, из глубины леса раздались звуки мелодичной музыки, исполнившей одну из композиций короля.

Мало-помалу всё дороги парка стали освещаться и, когда первое музыкальное произведение было окончено, скрытые в лесу другие оркестры начали исполнять новые музыкальные произведения, и вскоре всё превратилось в волшебное царство света и музыки.

В то время вошли двое старших сыновей и двое старших дочерей Чарторыжских, одетые в древне-польские национальные костюмы, и исполнили танец, отличавшийся чрезвычайной красотой и живостью. До самой полуночи княгиня Чарторыжская предлагала своим гостям всё новые развлечения, заставив их забыть о времени.

Очарованный этим великолепным праздником король, наконец, поднялся и стал прощаться.

Княгиня со всем обществом провожала его до ворот парка, где ждал его фаэтон. Станислав Август ещё раз поблагодарил хозяйку; он распрощался с каждым гостем отдельно. Когда он пожимал руку Феликсу Потоцкому, он мог бы заметить, что рука графа дрожит в его. Но он не обратил на это внимания; было так естественно, что кровь в жилах участников этого возбуждающего праздника текла быстрее обыкновенного.

Король уехал. Остальные гости ещё некоторое время продолжали веселиться. Этикет не допускал, чтобы их экипажи отъехали одновременно с экипажем короля, а при варшавском дворе этикет соблюдался особенно строго; кроме того среди собравшегося общества чувствовалось желание некоторое время поболтать без стеснения.

Феликс Потоцкий поддерживал теперь с каким-то лихорадочным оживлением общую беседу, заставляя всё дольше откладывать отъезд гостей.

Улицы предместья, по которым проезжал король, были погружены во мрак, так как только в самом городе существовало некоторое подобие освещения при помощи масляных ламп; однако и они служили лишь для того, чтобы ещё больше увеличивать окружающий мрак.

Гайдуки, уехавшие впереди экипажа, указывали факелами направление кучеру. Король, откинувшись на подушки открытой коляски, некоторое время сидел погруженный в грёзы.

— Разве это — не изображение нашего времени и моей жизни? — проговорил он, обращаясь скорей к самому себе, чем к сидевшему рядом адъютанту. — Ложный блеск, тени без света, показной мир, полный королевского величия, но, едва я выйду из волшебного царства иллюзий, я вступаю в густую тьму, где едва различаешь дорогу, которой к тому же я совершенно не знаю!

Адъютант не нашёлся, что ответить на эту жалобу, и Станислав Август опять погрузился в мрачное молчание. Правда, он сознавал своё печальное и тяжёлое положение, но у него никогда не было сил принять решение, чтобы выйти из этого положения; поэтому он постоянно находился в мрачной меланхолии, когда оставался один без блестящего придворного общества.

Вдали уже были видны отдельные огоньки в первых домах предместья, в которых продолжали бодрствовать работники или больные. Гайдуки щёлкали своими короткими бичами для предупреждения изредка попадавшихся прохожих.

Вдруг одна из лошадей форейтора поднялась

на дыбы и слуга испустил крик ужаса. В тот же момент испуганно попятилась вторая лошадь и кучер поспешил остановить экипаж.

— Что случилось? — воскликнул король, выходя из задумчивости, но, прежде чем получил ответ, из темноты вырисовалось несколько силуэтов.

Оба форейтора были окружены, а в тот же момент несколько всадников приблизились к лошадям и схватили под уздцы фыркающих животных. Король поднялся в экипаже и схватился за шпагу, но игрушечное оружие на его парадном костюме не могло принести ему пользу в серьёзной борьбе; прежде чем он успел обнажить клинок, к дверцам экипажа приблизилось несколько человек; они кратко и повелительно приказали ему выйти из коляски.

Адъютант выскочил на землю и хотел обнажить шпагу, но на него направились дула нескольких пистолетов. Адъютанта охватил панический страх; он быстро повернул и, не обращая внимания на тьму, пустился бежать в сторону по полям. Никто из нападающих не преследовал его. Оба егеря соскочили со своих мест, один из них выхватил охотничий нож и хотел ударить им всадника, который собирался схватить за руку короля, но в тот же момент раздался

выстрел. Егерь со стоном упал на землю возле фаэтона. Его товарищ, охваченный страхом, бежал по следам адъютанта.

Теперь король тоже выскочил из экипажа и хотел воспользоваться темнотою, чтобы спастись бегством, но его светлый костюм, а также то, что на него было обращено всё внимание нападавших, не дали ему возможности скрыться. Всадник схватил его за руку, а когда король поднял шпагу, то получил сабельный удар по голове, вследствие чего кровь залила ему лицо.

— Теперь ты в наших руках, — крикнул дикий голос, — пришёл твой час!

В тот же момент пред лицом короля кто-то выстрелил из пистолета настолько близко, что он почувствовал огонь; однако пуля пролетела над его головой.

Другой голос повелительно сказал:

— Стой! Не нужно убийства, жизнь короля священна, она принадлежит судьям, которые вынесут ему приговор.

— Было бы лучше покончить теперь, — проворчал первый голос. — Но во всяком случае мы должны бежать; адъютант и егерь бежали и скоро за нами устроят погоню.

Последнее требование тотчас же возымело своё

действие. Гайдуки были отпущены и бешено помчались в город. Группа всадников пришла в движение. Короля, которого держали за волосы и за ворот, заставили бежать между двумя лошадьми. Ехали по дороге, ведшей к лесу, где беглецы могли укрыться.

Когда они проехали шагов сто, король, потерявший свои башмаки, воскликнул:

— Стойте, я дальше не могу! Если вам нужна моя жизнь, то возьмите её!

— Поверьте мне, будет лучше, если мы сейчас покончим с ним, — сказал один из всадников.

— Нет, — ответил другой, — его жизнь принадлежит не нам, и я защищаю её своею собственною. Никто не должен упрекнуть нас в трусливом убийстве.

После короткого разговора вполголоса была приведена лошадь, и короля заставили сесть на неё.

Косинский и Стравенский встали рядом с ним, Лукавский ехал впереди, остальные следовали сзади, и в таком порядке все двинулись через поле к лесу. На пути им попался широкий ров. Лошадь короля, связанная в своих движениях, сделала неверный прыжок, и Станислав Август упал головой в грязную воду. Двое всадников

соскочили с своих лошадей и вытащили его. Едва живой, с окровавленным лицом, насквозь промокший в тинистой воде, король должен был опять сесть на лошадь и скакать дальше.

В это время со стороны дороги послышался стук подков.

— Вот они, — воскликнули отдельные голоса, — мы пропали.

Большое число всадников пересекало поле.

— Стой! — воскликнул Стравенский, — это — маленькие патрули, которые ночью обходят город; это — не погоня. Стойте же! Сейчас мы будем в лесу, а с ним живо расправимся, если он действительно помешает нам.

Но беглецы не слушали; ими овладел панический страх, и они понеслись через поле. С уст Стравенского сорвалось проклятие, и он крикнул:

— Держите его крепче, я же должен догнать этих безумных трусов, чтобы они не предали нас.

Лукавский и Косинский, а также трое или четверо всадников остались при короле.

— Вперёд, к лесу! — воскликнул Лукавский, — мы и так потеряли слишком много времени!

Вся маленькая группа направилась вперёд

галопом, но, так как дорога была негладкая, под Лукавским упала лошадь. На один момент он был оглушён падением, когда же он поднялся, остальные всадники вместе с королём ускакали уже далеко и достигли почти опушки леса.

— Проклятие! — воскликнул Лукавский, — этому Понятовскому помогают силы ада; теперь он остался один с Косинским, которому я не доверяю. Я должен догнать их.

Он поднял лошадь, но животное стояло и дрожало; оно разбило себе колена и не в состоянии было двигаться вперёд.

Довольно близко послышалась барабанная дробь и явственно донёсся шум шагов марширующих солдат.

С проклятием Лукавский оставил свою лошадь и пошёл пешком к лесу, но темнота мешала ему распознавать дорогу; он заблудился и сильно удалился от маленькой группы людей, с которой был король.

Между тем эти всадники достигли леса, который давал им возможность скрыться от преследований, но в то же время принуждал их двигаться медленно вследствие неровности почвы и близко стоявших близко друг от друга деревьев. Пришлось сойти с лошадей и вести их

за повод. Тьма была так велика, что нельзя было разглядеть свою протянутую руку.

Косинский крепко держал короля за руку, стараясь по возможности держаться южного направления и перекликаясь всё время со своими товарищами, чтобы они могли следовать за ним.

Так шли они в продолжение часа, пока, наконец, не стало рассветать. Теперь стало возможно двигаться быстрее через лес. Вскоре они вышли из леса. Косинский, оглянувшись кругом, заметил на краю дороги небольшую деревушку с церковной колокольней.

— Мне незнакома эта местность, придётся идти в деревню, чтобы узнать, где мы и как найти дорогу в Ченстохов.

— Ради Бога, — сказал король, которого Косинский продолжал держать за руку, — это невозможно, вы не сделаете этого.

— А почему нет? — с угрожающим взором спросил Косинский, — нам необходимо в Ченстохов.

После краткого раздумья король сказал:

— Я знаю эту местность, так как некогда часто охотился здесь; мы находимся в Белянском лесу, на расстоянии одной мили от Варшавы, а вот то место называется Бураковым; в нём помещается русский гарнизон. Если мы попадём туда, мы

пропали, чего вы собственно и заслуживаете, но чего я всё же не могу вам желать. По примеру Христа, завещавшего нам прощать своих врагов, я тоже прощаю вас.

Косинский вопросительно и недоверчиво посмотрел на него, после чего спросил:

— Почему же вы не советуете мне направиться в то местечко? по вашим словам, там можно будет найти русских — ваших друзей?

— Русские не должны быть друзьями каждого истинного поляка, — возразил король, — и довольно грустно, что поляки бросили своего короля, вследствие чего он принуждён терпеть в своей стране чужие войска.

— Всё равно, если бы мы их встретили, — с угрозой воскликнул Косинский, — они не спасли бы вас. Я убил бы вас, прежде чем выдать им!

— Поэтому я и советую вам не идти туда, — произнёс король. — Я не боюсь смерти, — продолжал он, высоко поднимая свою окровавленную голову, — но мне страшно, что вы, такой молодой и, очевидно, обманутый, станете убийцей и должны будете вечно нести на себе божеское наказание за такое страшное преступление.

Спокойно произнесённые слова короля, казалось, произвели глубокое впечатление на

Косинского; он беспокойно прислушался; тишина, царившая в лесу, нарушалась только ветром, шелестевшими листьями да чириканьем проснувшихся птиц.

— Ах, если бы Стравенский и Лукавский были здесь! — промолвил он. — Господи, и почему на мою долю должна была выпасть такая тяжёлая ответственность? Мне необходимо ехать в Ченстохов.

— Тем не менее это почти невозможно, — ответил король; — моя рана страшно болит, потеря крови окончательно обессилила меня, и я не могу ехать дальше.

— Вы должны, вы должны, — воскликнул Косинский, — даже если мне придётся нести вас на своих руках. Если бы мне только знать дорогу!

— Дорогу я охотно показал бы вам, — сказал король. — Если мы станем подвигаться по опушке, закрытые деревьями, то вскоре выйдем на большую дорогу в Краков, откуда можно, свернув в сторону, попасть в Ченстохов.

— Совершенно верно, — сказал Косинский, — дорога в Краков; нам надо было добраться до неё, прежде чем преследователи успели настичь нас; но теперь потеряно слишком много времени.

В глазах короля засветилась надежда.

— Я уже говорил вам, что смерти я не боюсь, — произнёс он, — но обязанность каждого человека беречь свою жизнь и вместе с тем охранить своего ближнего от преступления. Поэтому я хочу отдаться своей судьбе и предать себя на волю Божию. Но идти или ехать верхом дальше я не могу; разыщите где-нибудь какой-либо экипаж, и я покажу вам дорогу в Ченстохов. А там Господь сохранит меня.

— У Могельнича, по дороге в Краков, нас ожидает коляска! — воскликнул Косинский.

— Могельнич! — сказал король. — Идя этим лесом, мы доберёмся туда часа через два; попробую, хватит ли у меня настолько сил.

— Итак, вперёд! — воскликнул Косинский. — Но если мы не можем подвигаться по дороге, то нельзя брать с собой лошадей; поэтому оставим их здесь и пойдёмте пешком, — приказал он бывшим с ним всадникам.

Последние при виде деревни Бураково и при упоминании о русских стояли понурившись и тихо перешёптывались между собою. Когда же Косинский, поддерживая ослабевшего короля, зашагал по лесу, они медленно двинулись вслед за ним и оставляли всё большее расстояние между собою и своим предводителем, а затем они

вдруг повернули в сторону, бросились в кусты и исчезли в лесу.

Услышав треск ломающихся сучьев, Косинский обернулся и воскликнул:

— Ах, изменники! они также бросили меня. Боже мой, какая у меня судьба! На меня возложена вся ответственность, в моих руках находится судьба отечества и судьба моей любви, — тихо прибавил он, — один же я слишком слаб, чтобы только своими руками одержать победу над несчастьем!

Когда король увидел, что он остался с Косинским один, смелая мысль, казалось, на миг блеснула в его голове. Борьба один на один могла доставить ему свободу, а личной храбрости ему было не занимать стать. Его положение было таково, что надо было попытаться пойти на всё. Но он был безоружен и истощён потерей крови, а у его противника были сабля и два пистолета сбоку; поэтому уже первая попытка к сопротивлению должна была принести ему верную смерть.

Но, несмотря на то, что он ясно сознавал это, луч надежды не потух в его глазах; он испытующе посмотрел на молодого человека с детскими чертами лица, с горестной мольбою поднявшего к небу глаза, и мягко сказал ему:

— Видите, само Небо против вашего преступного предприятия и охраняет голову своего помазанника. Оставьте своё намерение!., у вас не осталось даже помощников для него, а ответственность и наказание за него падут только на вас.

Косинский молча остановился. Его грудь высоко вздымалась, а губы тихо шептали:

— Юзефа! Ты надеешься на меня, я должен или победить, или отказаться от тебя! Смелей, смелей! Господь не может покинуть меня, всё ещё может измениться! Вперёд! — громко сказал он королю, — нам необходимо добраться до Ченстохова; если вам дорога жизнь, ведите меня туда!

Станислав Август со вздохом опустил голову и молча зашагал рядом с Косинским. Он ясно видел, что в молодом человеке происходила жестокая внутренняя борьба, и порешил предоставить его пока самому себе и, пока хватит сил, дождаться какого-либо удобного случая, так как всё равно его положение не могло ухудшиться.

Спустя немного невдалеке от леса они заметили каменное строение с куполами и башнями, окружённое могучими липами.

— Это — монастырь Беляны, — сказал король, — здесь наше спасение. Дайте мне зайти туда! я

найду там помощь у монахов и получу возможность послать о себе весть в Варшаву. У вас же достанет времени бежать и скрыться от наказания за своё преступление.

Разнородные чувства волновали Косинского. Король внимательно следил за ним, между тем как он с мольбою сложил руки и, подняв взор к небу, прошептал:

— Юзефа! неужели я должен отказаться от тебя? Неужели в малодушном страхе я должен отказаться от своей добычи? навсегда покинуть тебя? Нет, нет! — громко и страстно воскликнул он. — Нет, я поклялся!.. Идёмте дальше!

Он быстро пошёл вперёд, увлекая за собой короля, следовавшего за ним неверными шагами.

Всё ещё скрытые деревьями, они прошли с полчаса; наконец в некотором отдалении показался замок Мариемон, издавна принадлежавший саксонскому дому и находившийся приблизительно в полумиле от Варшавы. Король не ошибся в своих расчётах и всё больше приближался к столице, чего совсем не замечал его спутник. Станислав Август остановился и промолвил:

— Я больше не могу идти, мои силы иссякли... Вы можете убить меня, но я не могу шага сделать дальше, если вы мне не дадите времени отдох-

нуть и затем попытаться продолжать путь.

Косинский взглянул в мертвенно-бледное лицо короля, прислонившегося к стволу дерева, и понял, что этот раненый и в высшей степени измученный человек действительно не мог продолжать такой утомительный путь. Он бросил угрожающий взгляд, полный упрёка, на небо и глухо произнёс:

— Тогда отдохните, но предупреждаю вас, что мы вскоре должны отправиться дальше, так как мне надобно быть в Ченстохове.

Король опустился на землю, тяжело дыша лёг на мягкий мох и закрыл глаза. Его губы дрожали, по-видимому, он потерял сознание. Косинский с состраданием взглянул на него, вытащил из-за пазухи фляжку с водкой и приложил её к губам короля.

— Выпейте, — сказал он, когда король открыл глаза, — это — единственное, что я могу предложить вам, но это освежит и подкрепит вас.

Король с дружеской улыбкой кивнул ему головой, взял фляжку и сделал из неё порядочный глоток.

— Благодарю вас, — сказал он таким искренним, сердечным тоном, протягивая Косинскому руку, что молодой человек с боязливой почти-

тельностью прикоснулся к королевской руке.

Затем Станислав Август вынул свой носовой платок и попробовал отереть запёкшуюся кровь, покрывавшую его лицо. Не говоря ни слова, Косинский взял у него платок, сделал несколько шагов в сторону, где журчал маленький лесной ручеёк, и свежей водой обмыл лоб и щёки короля. Тот поднялся, облокотился головою о ствол бука, под которым он лежал, и сказал:

— Благодарю, ещё раз благодарю! Благодеяние, оказанное вами бедному раненому, погашает всё то зло, которое вы нанесли королю. Я прощаю вас и снова прошу вас: оставьте своё преступное намерение, так как едва ли у вас есть шансы на успех.

Казалось, что Косинский ощущал какой-то невольный страх пред благородным, бледным лицом короля, только что обмытым от крови. Он склонил голову, как будто не имея силы вынести его взгляд, и медленно промолвил:

— Я не могу, я не могу, я поклялся!

— В чём вы поклялись? — спросил его Станислав Август, приподнимаясь ещё больше. — В чём вы поклялись и кому?

— Пред распятием и пред чудотворной иконой Ченстоховской Божией Матери поклялся я, что

живым или мёртвым доставлю вас в монастырь, но мои спутники бежали, предоставив мне одному выполнение страшной клятвы.

— Вы согрешили, молодой человек, — серьёзно и торжественно заговорил король, — образом нашего Божественного Спасителя, на милосердие Которого вы надеетесь, вы злоупотребили для клятвы, которая обязывает вас изменить своему королю и убить его, если не найдётся иного пути к выполнению вашего преступного предприятия.

Косинский закрыл лицо руками и глухо промолвил:

— Всё это я знал! совесть не давала мне ни минуты покоя; эта клятва ужасным пламенем жгла мою душу!

От слуха короля не укрылись эти едва слышно произнесённые слова, и он быстро заметил:

— А выполнение этой клятвы ввергнет вашу душу в геенну огненную, так как силы небесные не прощают той клятвы, где их имя призывается на преступление. Вернитесь, молодой человек, вернитесь со своей греховной стези! Поистине, я говорю это больше для вас, чем для себя; моя судьба в руке Божией, моя жизнь склоняется к своему закату, и внезапная болезнь или небесная молния точно так же могут прекратить её, как

и ваше убийственное оружие. Но вы молоды, жизнь может принести вам ещё много счастья; вы благородны и добры, я читаю это в чертах вашего лица, где ещё не исчезла окончательно печать детского простодушия. Мне жаль вас, если вы утратите ваше земное счастье и вместе с ним небесное блаженство.

— Да разве я не потерял уже всего? — воскликнул с болезненным стоном Косинский. — О, если бы вы знали! — заключил он, ломая руки.

— Выслушайте меня, мой юный друг! — помолчав немного, начал король. — Чудесным образом Господь свёл нас вместе и, может быть, на вас Он хочет показать, что даже грех чрез раскаяние ведёт к блаженству. Я не помню вашего преступления и хочу дать вам возможность искупить его. Зайдёмте со мной в один из ближайших домов, откуда я дам знать в Варшаву, и я прощу вам всё то зло, которое вы хотели причинить мне, и Господь Бог простит вам вашу преступную клятву, которой вы осквернили Его святое имя.

— А если бы я поступил так, — сказал тронутый Косинский, — то ведь моим уделом были бы заточение и смерть!

— Нет, мой друг, — возразил король, — вам нечего бояться! Я забуду, что вы хотели захватить

меня, что одно время даже думали умертвить меня. Я буду помнить только о том, что вы спасли меня! Вас опутали, обманули для того, чтобы нанести мне вред, моё же спасение будет всецело делом рук ваших.

Волнение Косинского росло.

— О, государь! — воскликнул он, — вы, несомненно, правы! Да, внутренний голос говорит мне, что вы правы, и всё-таки... О, Господи!.. Я не могу, вы не знаете всего: для меня нет больше ни счастья, ни надежды не земле, я должен умереть, если моё предприятие не удастся!

— Да почему же? — спросил король. — Говорите откровенно, молодой человек! По совести говоря, я чувствую к вам участие и дружбу. Быть может, на ваше счастье вы и встретились со мной. Говорите! Почему вы потеряли надежду? почему хотите вы умереть, когда Господь даёт вам удобный случай искупить ваше преступление, если вы спасёте короля, а я обещаю всё предать забвению? Говорите откровенно! представьте что я — ваш друг.

— Я готов верить, что это так, — произнёс Косинский. — Поверьте, всё моё сердце обливается кровью потому, что я хотел причинить вам зло; но от этого зависело всё моё счастье, а я так страстно

люблю мою Юзефу!.. О, когда я только подумаю, что должен отказаться от неё, отдать её другому — ненавистному врагу, похитителю моей чести и моего счастья, тогда, ей Богу, я готов отдать всё блаженство загробной жизни, готов потерять веру в Бога, который допускает свалиться столько несчастья на голову бедняка, не совершившего ничего дурного.

— Так говорите же, говорите! — с нетерпением воскликнул король. — Что это за несчастье, в котором вы упрекаете Бога и которое вы думаете осилить изменой своему королю? Неужели награда за доброе дело из рук короля не выше выгоды от вашего преступления?

— О, если бы это было возможно! — воскликнул Косинский, — если бы вы могли простить меня, если бы Господь был милостив ко мне!

— Отчего же нет? Говорите только скорей, мой юный друг, говорите!.. Но скажите сначала, как вас зовут, так как для того, чтобы помочь вам, я должен знать, кто вы такой?

— И вы обещаете мне не засадить меня в тюрьму, не выдать палачам? — спросил Косинский.

— Если вы сомневаетесь в моём слове, тогда не говорите, — ответил король.

— Да нет, я не сомневаюсь, наоборот — я хочу

верить. О, это — рука Господня, ведущая меня, может быть, к счастью. Так слушайте! Меня зовут Косинский.

— Косинский! — переспросил король. — Мне сдаётся, что я уже слышал где-то эту фамилию. Не говорил ли мне о каком-то Косинском староста Дубенский?

— Да, это верно! — воскликнул Косинский. — Юзефа Дубенская, дочь старосты, вот та, которую я люблю! Она любит меня взаимно, а тот Косинский, о котором вам говорил староста, и похитил моё счастье, и заставил меня пойти на преступление и на убийство. Вы должны знать всё, — горячо продолжал он, — так как только вы один можете помочь мне, если вообще ещё может быть для меня помощь на земле. Моя мать была крепостная; когда умер мой отец, этот Косинский стал оспаривать моё имя, мои права. Я был осуждён, меня приговорили стать крепостным, как и моя мать, и по её имени назвали меня Куцым. Имения моего отца были переданы тому Косинскому, а староста Лубенский выгнал меня из своего дома, чтобы мою Юзефу, за которую я охотно отдал бы все сокровища мира, отдать похитителю моего имени и моей чести.

— Это жестоко, мой юный друг, поистине очень

жестоко, — промолвил король, сочувственно глядя на взволнованного Косинского.

— Видите, государь, — продолжал Косинский, — я потерял всё, что у меня было самого дорогого. Разве я не должен был ненавидеть свет, где я столько испытал? Разве я не должен был проклинать короля, под чьей державой могла быть совершена такая жестокая несправедливость? Потому-то я предложил свои услуги низвергнуть вас с престола, так как наградой за это мне была обещана моя Юзефа. И она сама побудила меня пойти на всё в борьбе за нашу любовь, так как и её счастье, надежда всей её жизни были поставлены на карту. Так посудите же сами, разве я не был бы трусом, если бы хоть на одно мгновение задумался отдать свою жизнь за честь моей родины и за мою любовь?

— Я так и знал, что вас обошли, — сказал король. — Господи, какое подлое преступление, — печально прибавил он, — дьявольской хитростью из-за ненависти или честолюбия заставить юное сердце пойти на убийство!.. Ну, мой друг, что должно было вознаградить вас за преступление и что едва ли досталось бы ещё вам, то может быть наградой за службу, которую вы сослужите своему королю. Я могу возвратить вам ваше имя;

Лубенский — мой друг и, если я потребую у него в награду за своё спасение его же дочь, он не откажет мне.

— О, если бы это было возможно! — воскликнул Косинский, — это было бы слишком много счастья! Так Господь не может вознаградить преступление, которое я совершил пред вами.

Он опустился на колени и поднёс руку короля к своим устам.

— Господь вознаграждает раскаяние и искупление, — поднимаясь, произнёс Станислав Август, — и доставляет мне высшее счастье земных королей — прощать и счастливить людей. Дайте мне свою саблю!

Косинский, не сводивший взора с короля, вынул саблю из ножен и подал её рукояткой королю. Тот коснулся остриём клинка плеча коленопреклонённого и торжественно произнёс:

— Сим прикосновением меча нашей королевской рукой освобождаем мы вас от крепостного состояния вашей матери и даём вам право под сенью польского орла носить фамилию Косинского по имени вашего отца. Всё то, что здесь, в лесной чаще, мы заявляем пред лицом Всевышнего Бога, ручаемся мы нашим королевским словом подтвердить на ступенях трона и во вся-

кое время и пред всеми будем защищать ваши права. Кроме того нашим королевским словом мы обещаем вам ходатайствовать за вас пред старостой Лубенским, нашим верным другом и слугой, чтобы он принял ваше предложение и отдал вам руку своей дочери Юзефы Лубенской в награду за ту службу, которую вы сослужили нам. Возвратить вам имения вашего отца мы не в состоянии, потому что они отошли от вас по приговору государственного суда, но по мере наших сил мы позаботимся о том, чтобы у вас, согласно вашему положению, не было недостатка в средствах. — После этого он отдал Косинскому назад саблю и прибавил: — если вы ещё сомневаетесь, что я исполню своё слово, то предоставьте мне одному добраться до Варшавы, вы же бежите и в надёжном месте ждите, пока я исполню своё обещание.

— Нет, нет, — воскликнул Косинский, — я верю вам. Чудесною стезёю Господь привёл меня к моему счастью и несправедливость, причинённую мне, обратил во благо. Благодаря вам, государь, Господь сохранил меня от преступления, которое я поклялся исполнить, осквернив Его святое Имя. А теперь, — с воодушевлением продолжал он, высоко поднимая оружие, — теперь я призываю

Небо в свидетели, что вся моя жизнь должна быть посвящена на служение вам, что всеми силами, до последней капли крови буду защищать вас против всех ваших врагов. Я не хочу оставить вас одного, так как вы всё-таки можете попасть в руки заговорщиков. Не скрываясь трусливо от всех, я намереваюсь ждать исполнения вашего милостивого королевского слова. Идёмте, мой высокий повелитель, идёмте! постараемся отыскать такое место, где бы вы могли отдохнуть и послать о себе весть в Варшаву.

Он быстро поднялся с земли, почтительно предложил королю опереться на свою руку, и оба вышли из леса в открытое поле.

Недалеко от опушки стояла небольшая мельница, принадлежавшая к замку Мариемон. Король пошёл по тропинке, которая вела к мельнице. Заря между тем занималась, и вскоре солнце должно было подняться над горизонтом. На мельнице всё ещё спали. После продолжительного стука рядом с дверью открылось окно, и мельник с любопытством выглянул в него.

— Отворите! — воскликнул король, — отворите!., мы должны отдохнуть и подкрепиться у вас в доме!

Мельник, увидев пред своими дверями челове-

ка в разорванном и запачканном грязью платье, с большою раной на лбу и вооружённого спутника с ним, в испуге откинулся назад.

— Убирайтесь! — закричал он, закрывая своё окно. — Здесь вовсе не приют для людей вашего сорта, у меня не разбойничья гостиница.

Вместе с этим он стал звать к себе на помощь, и вскоре сзади него появились его полусонная жена и двое работников.

— Чёрт вас возьми! — воскликнул Косинский, — придержите свои языки! Вы не знаете, с кем вы говорите! это...

Король схватил Косинского за руку и произнёс:

— Молчите, ещё не время открывать нашу тайну! Выслушайте меня, добрый человек, — обратился он к мельнику, — мы — вовсе не разбойники, как это вам кажется. Если бы это было так, то нам нетрудно было бы взломать двери и силой ворваться к вам. Наоборот, мы сами — жертвы разбойников, напавших на нас в лесу. Мы еле-еле спаслись от них. Итак, откройте нам двери своего дома, окажите нам гостеприимство и вы щедро будете награждены за это!

Мельник недоверчиво оглядывал путников; тем не менее спокойный и благородный вид короля, по-видимому, внушил ему доверие.

Предусмотрительно прикрыв окно, он несколько времени совещался с женой и с рабочими и наконец заявил путникам, что впустит их, если они предварительно отдадут оружие. По приказанию короля Косинский передал в окно свои пистолеты и саблю. Мельник взвёл курки, открыл дверь и, пока путники входили в комнату, держал оружие наготове.

Король в изнеможении опустился на деревянный стул и произнёс:

— Теперь необходимо отправить уведомление в Варшаву.

Он вынул из своего разорванного камзола записную книжку, вырвал из неё листок и, написав на нём несколько слов, передал его Косинскому.

Тот прочитал следующее:

«Я чудом спасся от рук убийцы и сейчас нахожусь в маленькой мельнице у Мариемона. Приезжайте немедленно за мной. Я ранен, но не опасно».

Эта записка была подписана только литерами «Ст. А.».

— Это поймут, — сказал король; — лучше быть осторожнее. Ну, мой друг, — обратился он к мельнику, — отправьте кого-нибудь в Варшаву, кто бы доставил эту записку генералу Коччеи, коман-

диру пешей гвардии. Через час один из молодцов будет уже на месте, а вы тем временем дайте нам закусить, что у вас есть!

— Поесть-то я вам дам, — ответил мельник, — могу вам предложить яйца, молоко, хлеб, водку, больше у нас у самих ничего нет, а вот отослать записку невозможно. Разбойники, от которых, как вы говорите, вы спаслись, наверное бродят где-нибудь поблизости. Так с посланным-то может случиться беда.

— Тогда я пойду! — воскликнул Косинский.

— Нет, вам нельзя, — сказал король. — Подумайте, — тихо прибавил он, — как необходимо для вас оставаться при мне. — При этом он опустил руку в свой полуразорванный карман, вытащил оттуда кошелёк с золотом и сказал: — счастье, что разбойники оставили мне это. Смотрите, это будет наградой тому, кто отправится в Варшаву, и я дам вдвое больше, если он передаст письмо генералу Коччеи!

Мельник был ещё в нерешимости, но один из работников, соблазнённый богатою платой, даже никогда и не снившейся ему, объявил, что он готов отправиться в Варшаву.

После небольшого колебания мельник согласился, и посланный отправился в путь.

Вскоре мельничиха принесла варёных яиц, молока, хлеба и водки, и король весело объявил, что никогда он не приветствовал с большим удовольствием самые роскошные угощения, чем этот скромный завтрак. Тем не менее он не мог заставить Косинского сесть с собой рядом за простой деревянный стол, и только после строгого приказания короля молодой человек стоя съел яйцо и сделал небольшой глоток водки. Затем из соломы и нескольких грубых одеял приготовили постель, на которой король растянулся с наслаждением и скоро заснул сладким сном.

Косинский взял свою саблю, заставил мельника с женой выйти из комнаты, чтобы они не мешали королю спать, а сам с саблей наголо стал на часах у дверей.

Работники вышли из замка на поля и принялись за свой ежедневный труд. Мельник открыл запруду и пустил мельницу в ход. Мирно и спокойно вступил в свои права день, и в этих тихих полях никто не предполагал, что польский король, которого бедные деревенские люди привыкли видеть издали, не иначе как в сопровождении блестящей охотничьей свиты, спокойно спит, раненый, одинокий и беспомощный, под гостеприимной кровлей маленькой

мельницы.

XXII

Вся Варшава находилась в небывалом замешательстве и волнении. Тотчас вслед за адъютантом во дворец явились пикеры, кучер королевского фаэтона и один из егерей, который спасся, и своими довольно-таки сбивчивыми рассказами о совершенном нападении ещё увеличили всеобщую панику.

Отряд королевских уланов, нёсших караульную службу во дворце, тотчас же поспешил, под начальством адъютанта, на место происшествия; но здесь не нашли ничего, кроме окровавленной королевской шляпы, порезанной сабельным ударом, и локона королевских волос, отсечённого по-видимому таким же ударом. На самом месте преступления земля была взрыта, но невозможно было с уверенностью восстановить следы на дороге, так как по ней вообще было большое движение.

Генерал Коччеи, командир всей гвардии, глубоко преданный королю человек, немедленно последовал за дворцовой стражей.

— Король убит! — встретили его криками сол-

даты, показывая окровавленную шляпу.

Коччеи приостановился, словно разбитый параличом от ужаса, но затем воскликнул:

— Нет, нет, не убит! Слава Богу, этого не может быть. Если бы злоумышляли на жизнь короля, то это случилось бы здесь, и мы нашли бы его труп... Нет, нет, его увезли!.. То не были разбойники, это были заговорщики... это — государственная измена или... или насилие врагов Польши, полагающих, что наступило время осмелиться на всё. — Он несколько минут стоял, задумавшись, и затем сказал: — мы недостаточно многочисленны, чтобы начать преследование, которое нужно предпринять во все стороны и, конечно, с значительным числом людей; притом каждый шаг требует величайшей предусмотрительности, так как если преступники увидят, что они настигнуты, то они тем не менее, пожалуй, решатся на убийство, чего до сих пор, уповая на Бога, ещё не случилось. Бедный, бедный государь!.. Но прежде всего теперь нужно обезвредить для бедной Польши удар, который мы не в состоянии более предотвратить от его головы, и рассеять мрачные козни внутренних и внешних врагов отечества... Останьтесь здесь!.. — приказал он солдатам, — четверо из вас пусть охраняют место нападения,

чтобы ничто не было загажено, ничто не унесено, что может как-либо вести к раскрытию преступления; остальные пусть займутся осторожным и ловким розыском следов, чтобы, если к тому имеется хоть малейшая возможность, раскрыть направление, избранное преступниками! Если то были заговорщики, то нам прежде всего следует отыскать их убежище; если же эти люди были подосланы иностранной державой, — со вздохом прибавил он, — то, конечно, всё будет тщетно и, прежде чем мы настигнем их, они уже минуют границу.

Отдав это приказание, Коччеи возвратился во дворец, чтобы послать гонцов к министрам и стянуть имевшиеся в распоряжении войска. Вскоре на улицах загремели звуки генерального марша. Правившее министерство и много командиров отдельных частей собрались во дворце. Вскоре появились и иностранные дипломаты и приступили к совещанию относительно того, как поступить в столь необыкновенном и непредвиденном случае.

Прежде всего все присоединились к мнению генерала Коччеи, что розыски и преследование во всех окрестностях города следует производить с крайней осторожностью, чтобы не подвергнуть

опасности жизнь короля; но затем пришлось решать, что делать дальше, так как законный центр правительства благодаря похищению короля исчез. Министры желали продолжать управлять от имени отсутствовавшего короля, другие подавали голос за избрание диктатора, наконец, многие требовали немедленного созыва сейма. Последние два мнения столкнулись и были в большинстве высказаны друзьями Феликса Потоцкого, стремившимися прежде всего помешать тому, чтобы управление королевством продолжало идти спокойным, законным путём.

Итак, при этом совершенно неожиданном событии, прежде всего требовавшем единодушного напряжения всех сил, снова обнаружился раскол мнений, издавна уже мучивший польскую нацию и сделавший её игрушкою иностранных дворов.

Графа Феликса Потоцкого не было в кругу сановников, собравшихся на ночное совещание в осиротевшем королевском дворце. К нему был отправлен гонец, но последний принёс ответ, что при первом известии об исчезновении короля граф бросился на коня и в сопровождении нескольких слуг поехал по следам пропавшего. Даже и его друзья спорили между собою, так

как лично его здесь не было, и, как в настоящем парламенте, здесь высказывалось почти столько же мнений, сколько было присутствовавших, благодаря чему не было места ни для твёрдого решения, ни для энергичного образа действий.

Во время совещания появился князь Репнин и своим обычным высокомерным тоном объявил, что считает покушение на особу короля признаком бессилия польского правительства. При глубоком молчании всех присутствовавших он сказал, что это печальное событие возлагает на него как на представителя августейшей покровительницы Польши обязанность заботиться о безопасности, спокойствии и порядке в государстве; он заявил, что принимает на себя дальнейшее начальство в столице и, насколько это будет необходимо, также и во всём остальном государстве; таким образом он намеревался представить своей повелительнице гарантии того, что если с исчезнувшим королём и в самом деле приключится беда, то согласно благу Польши и в интересах европейского мира всё же будет существовать правительство, созданное на основании государственных законов.

При этом заявлении Репнина все присутствовавшие исполнились чувством гнева и

возмущения; министры попытались было высказать некоторые возражения, но князь коротко обрезал их, и никто не посмел возражать далее — настолько властен был русский протекторат над распадавшимся государством, приманивая силы одних в нём заманчивыми обещаниями и действуя на других страхом.

Князь Репнин объявил заседание совета министров под своим председательством непрерывным; большинство сановников также остались во дворце, чтобы получать все известия из первых рук.

Царило необычайное движение, как будто в резиденции исчезнувшего короля происходили блестящие придворные празднества. Ежеминутно являлись офицеры и солдаты с рапортами. Отдан был приказ окружить весь город патрулями, которые повсюду с величайшей осторожностью продвигались бы вперёд. Но проходил час за часом, а известий об исчезнувшем короле ниоткуда не поступало.

Весь город пребывал в необычайном волнении. Весть о злодейском нападении распространилась повсюду с быстротою электрической искры, и, как ни мало был любим всеми король Станислав Август, всё же сразу почувствовали, что направ-

ленный против него удар угрожает тяжёлыми потрясениями миру и порядку в государстве.

Вообще были склонны приписывать это покушение русским, и в народной толпе, быстро собиравшейся на улицах, послышались проклятия императрице Екатерине и князю Репнину.

В то время как вся Варшава находилась в страхе и волнении, все усиливавшихся и возраставших, граф Феликс Потоцкий, которого напрасно ждали во дворце, большими шагами ходил взад и вперёд по своему турецкому кабинету. Выходы в сад из последнего были крепко закрыты и замаскированы плотными портьерами, так что кабинет освещался одним лишь фонарём, спускавшимся с потолка. Граф был бледен, его руки нервно дрожали, и он ежеминутно вытирал носовым платком свой влажный лоб.

Пред ним стоял Вацлав Пулаский; за поясом у него торчали пистолеты, сбоку у него была привешена сабля и он ободрял графа.

— Наступило время действовать, всякие дальнейшие отсрочки немыслимы, — оживлённо говорил он, — если мы теперь не воспользуемся долгожданными плодами, то они навеки будут потеряны для нас. Друзья с захваченным в плен Понятовским теперь уже должны быть близ Чен-

стохова. Итак, если он находится в их надёжных руках, то, благодаря везде стоящим наготове гонцам, по всей стране распространится лозунг восстания, русские гарнизоны повсюду будут уничтожены и завтрашний день увидит родину свободною от русского ига. Но затем нам необходимо тотчас крепко захватить в свои руки бразды правления, чтобы борьба партий снова не открыла границ для иноземного влияния. Вам следует отправиться в Ченстохов; после того как Понятовский будет вынужден подписать отречение, вы должны там, пред алтарём чудотворной Божьей Матери, объявить себя диктатором государства. Весь народ поверит тому, что вы посланы самим Небом для его спасения, и охотно подчинится вашей воле.

— Отлично, отлично, — сказал граф, останавливаясь пред Пуласким и смотря на него беспокойным взором, — но если тем не менее расчёты окажутся ложными, если какой-нибудь случай расстроит весь план, если бегство не удастся?

— Это едва ли возможно, — возразил Пулаский, — так как если бы это случилось, то нас уже известили бы об этом. Но ничего ещё неизвестно, повсюду ещё тщетно разыскивают пропавшего, а это — лучшее доказательство того, что он нахо-

дится в надёжных руках друзей...

— И если бы это всё же было так, — настаивал граф, — в таком важном деле, как это, от исхода которого едва ли не зависит судьба всей Польши, нельзя слепо доверяться счастью, нужно рассчитывать на самые дурные случайности. Если удар не удастся, если Понятовский будет освобождён, что будет со мною? не слишком ли рано сбрасывать маску? — Он потупился пред пронзительным взором Пулаского. — Это — не страх, волнующий меня, — сказал он, — не забота об одном себе, хотя и безумно глупо ставить на карту всю свою жизнь ради сомнительного успеха; но ты и сам знаешь, что на мне покоятся все надежды отечества, в моих руках сосредоточены все нити... Мои друзья, с трудом и путём жертв приобретённые мною, имеют власть над постановлениями сейма, я сам могу, когда наступит время, получить власть над народом, образовать армию и повести её к победам. Могу ли я ставить всё это на сомнительную карту? Если этот план не удастся, если в настоящий момент всё здесь останется по-старому, то мы всё же не должны оставить свой труд и надежду; я должен сохранить себя для будущего родины; но если я буду скомпрометирован, прежде чем успех станет

несомненным, то мне не останется ничего более, как спасаться бегством за границу. И кто захочет тогда заменить меня? Ты видишь, пан Вацлав, что в своей боязливой осторожности я, право, не думаю об одной лишь личной безопасности, но на моей особе, как ни незначительна, быть может, она, покоятся теперь надежды Польши.

— Вы может быть, и правы, ваше сиятельство, — после короткого размышления сказал Пулаский, — хотя история и учит, что смелым предприятиям даётся победа. В таком случае ждите, пока мы не удостоверимся в успехе. Но я должен поехать в Ченстохов, я не вытерплю здесь более... я должен знать, как всё произошло, и к тому же наши друзья нуждаются в вожде!

— Проберёшься ли ты? — беспокойно спросил граф, — весь город оцеплен патрулями.

— Кто посмеет задержать управителя графа Потоцкого, относительно которого все ведь уверены, что он сам отправился верхом в поиски за королём? — возразил Пулаский. — Позвольте мне отправиться туда, где необходимо присутствие одного из нас; через несколько часов я уже буду там и пришлю вам гонца, если к вам ещё раньше не придёт весть о том, что все русские гарнизоны уничтожены. Берегитесь лишь, — серьёзно

закончил он, — чтобы вам не преградили пути, так как именно здесь, в Варшаве, ещё много слуг и приспешников России.

— Обо мне не беспокойтесь, — ответил граф; — с первым же известием об истреблении гарнизонов русская власть здесь будет сломлена; тогда я здесь буду таким же господином положения, как и там.

Пулаский пытливо посмотрел на него.

— Не в такой мере, как там, ваше сиятельство, — возразил он. — Я знаю польский народ... Диктатор, принявший власть пред алтарём Ченстоховской Богоматери, будет орудием и посланцем Неба для всего народа... Пройдёт всего лишь несколько часов, и вы уже будете окружены там тысячами воинов... Ничья завистливая интрига не в состоянии будет коснуться вас и ваша власть подобно лаве распространится по всему государству. Остерегайтесь излишней безопасности, нерешительной медлительности и тотчас же, как получите известие, что наш план удался, следуйте за мною.

— Успокойтесь, друг мой! — ответил Потоцкий, пожимая его руку. — Я знаю всё, что вы говорите. Если счастье будет благоприятствовать нам, то мы вскоре снова свидимся и в моей руке будет

высоко реять в воздухе знамя белого орла пред борцами за свободу родины.

Пулаский поклонился и вышел. Потоцкий мрачно посмотрел ему вслед.

— Вот я стою пред решительным часом жизни, будущность которой зависит от настоящего момента, — глухим голосом проговорил он. — Грозовые тучи собрались надо мною, в их лоне покоится молния; поразит ли она моих врагов, а мне откроет путь к блестящему величию жизни, или она низвергнет на меня своё пламя и, раздробив меня, швырнёт во прах? Вот здесь предо мной лежит корона во всём её сверкающем блеске, а рядом с ней бездна мрачно колышет свои грозные пучины! Пожалуй Пулаский прав, говоря, что счастье благоволит слепому риску, но если риск не удастся, то мне останется лишь бегство... изгнание... нищета... лишения! Король или нищий — вот вопрос, к разрешению которого брошен жребий. Клянусь Богом, как ни великолепен выигрыш, всё же ставка слишком высока, чтобы безумно рисковать ею. Слишком прекрасно то, что предлагает мне жизнь что я держу в своих руках, чтобы бросить всё это ради выигрыша, зависящего от случайного промаха. О, если бы была со мною, — горько вздыхая, произнёс он,

— она, доставлявшая ясность моим мыслям и вливавшая бодрость в мою душу, о, тогда я, может быть, и нашёл бы решительный выход! Но ведь она потеряна для меня... потеряна навсегда... её уже нет в живых или...

Граф закрыл лицо руками и, болезненно вздрагивая, опустился на диван. Он не слышал, как раздвинулась портьера и лёгкие шаги заскользили по ковру. И, когда лишь чья-то мягкая рука коснулась его руки, он испуганно вздрогнул. Он поднял взор и увидел пред собою Софию де Витт.

На ней был дорожный костюм из синего бархата; кружевной платок окутывал её голову; она была так свежа и красива, как могла лишь когда-то грезиться ему.

Потоцкий вскочил и с ужасом протянул руки, как бы защищаясь от неё.

— София! София! — воскликнул он, — не игра ли воображения, что я снова вижу твой образ живым пред собою? или твоя душа поднялась из царства смерти?

— Я — не игра фантазии, мой друг, — смеясь сказала София, — и ещё менее того — душа из царства теней, сойти в которое у меня ещё долго не явится охоты. Я — твоя София со всею плотью и кровью, и если ты не хочешь верить своим

глазам, то поверь поцелую моих губ.

Она притянула его за плечи и поцеловала его своими полными, тёплыми губами прямо в рот.

Потоцкий заключил её в свои объятия и, всё ещё колеблясь, лишь с боязливым страхом прижал её к своей груди, как бы опасаясь, что она как воздушное виденье может растаять; но, когда её губы стали всё горячее прижиматься к его губам, когда он почувствовал биение её сердца у себя на груди, из его груди вырвался восторженный крик дикой радости. Со страшной силой он прижал красавицу к себе и воскликнул:

— Это — ты, ведь это действительно — ты, моя София... О, это — слишком большое счастье... Само Небо возвращает мне тебя в эту минуту, когда жгучая тоска по тебе грозила разорвать моё сердце, так как я тосковал не только по возлюбленной... о, нет, в этот миг моя душа более жаждала друга, который доставит ясность моему рассудку! Но прежде всего расскажи мне, что приключилось с тобою. В самом ли деле тебя похитили разбойники, или ты попала во власть того ненавистного человека, — мрачно продолжал он, — которым, по-твоему, ты могла так безумно-смело пренебречь, отправляясь в Могилёв?

— Почему ты жаждешь своей подруги и её

совета? — спросила София, освобождаясь из его объятий, — что случилось? Я заметила необычайное движение на улицах.

— Случилось то, что мы уже давно подготовляли, — ответил Потоцкий на её вопрос, произнесённый почти повелительным тоном. — Понятовский захвачен в эту ночь; теперь он уже должен находиться в твердыне Ченстоховского монастыря; как только он прибудет туда, все русские гарнизоны подвергнутся поголовному истреблению. Настаивают на том, чтобы я отправился туда и провозгласил себя диктатором; тем не менее я колебался преждевременно скомпрометировать себя, но, несколько часов спустя, наступит решительный момент.

— Ты колебался? — воскликнула София. — Благодари за это небеса, благодари за то, что я как раз теперь явилась! Вот слушай, что произошло, — продолжала она, — но не задавай вопросов! Обо всём остальном ты узнаешь впоследствии, а теперь некогда произносить лишние фразы, нельзя терять ни секунды драгоценного времени... Не разбойники захватили меня в плен; не Потёмкин увёз меня...

— Не Потёмкин... так кто же? — воскликнул Потоцкий. — Кто обладает силой и смелостью на

подобную дерзость? Кто, кроме его, мог осмелиться кинуть подобный вызов мне?

— Та, кто соединяет всю мощь в себе, в чьих руках даже Потёмкин является слепым орудием её всемогущей державной воли, — императрица Екатерина! — воскликнула София.

— Императрица? — с невыразимым изумлением повторил Потоцкий. — Почему?

— Потому что она уважает и боится меня, — с горделиво заблестевшим взором ответила София, — как равную себе противницу, потому что она хотела предоставить мне выбор между её дружбою и... гибелью, — с лёгкой дрожью прибавила она.

— Я не вполне понимаю тебя... И что же ты выбрала? — с живостью спросил Потоцкий.

— Я узнала, что в её власти погубить меня, — ответила София, — ей известны все наши планы...

— Ужасно! — бледнея, воскликнул Потоцкий. — Следовательно, мы погибли, следовательно, она угрожала тебе смертью или темницей? Каким образом ускользнула ты?

— Она не грозила мне ни темницей, ни смертью, её оружие было ужаснее: она приказала бы доставить меня в Каменец, чтобы я стала там исполнять свои обязанности в качестве хозяйки

дома полковника де Витт.

Потоцкий вздрогнул.

— И императрица Екатерина властна сделать это, — продолжала София. — Темница и смерть пожалуй и не устрашили бы меня... Поэтому я избрала её дружбу! Я — приятельница, союзница императрицы... Я предпочла пользоваться властью вместе с нею и возле неё, вместо того, чтобы быть брошенной в такое существование, которое было бы горше смерти.

— И ты уверена в её дружбе? — спросил Потоцкий. — Ты уверена, что не Потёмкин...

— Доказательством тебе будет то, что я прибыла сюда по большому тракту в своей почтовой карете на императорских подставах, — прервала его София, — что я не буду более скрываться в твоём доме, что я вскоре освобожусь от недостойных цепей и выступлю пред светом в качестве графини Потоцкой. Нам приходится отказаться от короны, к которой я стремилась для тебя и для себя, так как она недостижима и для тебя, и для меня.

Потоцкий облегчённо вздохнул, как бы почувствовав избавление от тяжёлого бремени, и всё же черты его лица выражали печальное сожаление: великая цель, реявшая пред ним и представленная ему Софией в таком блеске,

должна была остаться одной лишь грёзой! Однако в его характере не было силы воли, чтобы смелой рукой держаться цели; он был доволен, что избавился от риска, и тем не менее только с болью отказался от надежды на корону.

— Мы теряем всего лишь то, что никогда не могли бы приобресть, — продолжала София, — но зато мы будем первыми на ступенях трона императрицы Екатерины, будем её союзниками, друзьями! Однако прежде всего я теперь должна исполнить свой долг по отношению к своему великому державному другу, и всё то, что здесь случилось, направить так, как это выгодно для неё и для нас.

Она села к письменному столу графа Феликса, набросала несколько строк на листе бумаги и вложила его вместе с вынутым из своего портфеля письмом в один конверт, запечатав последний печатью графа Феликса.

— Вот это нужно сейчас же отправить к князю Репнину, оно должно прийти туда вовремя! Не задавай вопросов, — продолжала София, видя изумлённое лицо графа, — не время для объяснений, нужно действовать... каждая секунда драгоценна. Я удалюсь на несколько минут в своё старое убежище, завтра ты приготовишь для

меня один из своих загородных особняков. Как только будет здесь князь, прикажи позвать меня.

С этими словами молодая женщина быстро исчезла за портьерой, маскировавшей вход в спальню графа Феликса.

— Кто она, демон или ангел? — произнёс Потоцкий, смотря ей вслед. — Всё равно... одно несомненно, что она пользуется сверхъестественною властью над моею душою.

Он поспешно вышел, чтобы послать своего пажа с письмом Софии к князю Репнину.

Волнение и беспокойство во дворце всё возрастали; с наступлением утра возросло народное движение и на улицах. Взгляды мужчин становились грознее и мрачнее, они собирались в тесные группы и всё громче раздавались среди них проклятия русским, которым приписывалось похищение короля.

Князь Репнин приказал увеличить все караульные посты, удвоив число русских гренадеров, и кроме того двинуть в Варшаву все квартировавшие в предместьях города и в его ближайших окрестностях полки. Польские гвардейцы были собраны во дворе дворца и несли патрульную службу. Командиров и старших офицеров князь не отпускал от себя, равно как и министров,

под тем предлогом, чтобы дождаться известий о результатах розысков и в зависимости от них принять соответствующие меры.

Репнин принял все меры к тому, чтобы распоряжаться в Варшаве как в осаждённом городе и при необходимости подкрепить свою власть вооружённой силой.

Народное движение на улицах постепенно становилось всё грознее. Весьма возможно, что всего через несколько часов могла вспыхнуть серьёзная борьба, и князь посылал всё новых надёжных гонцов с приказаниями стягивать к столице возможно больше войск из окрестных гарнизонов, так как он решил, во что бы то ни стало, укрепиться в Варшаве и удержать в своей власти, в качестве заложников, находившихся в ней магнатов.

Его беспокоило лишь отсутствие графа Феликса Потоцкого; ему было известно влияние последнего, распространившееся по всей стране, и хотя граф постоянно выказывал себя преданным другом русской императрицы, Репнин всё же питал к нему недоверие и как раз в настоящую минуту особенно желал бы иметь его в своей власти.

Несколько гонцов, отправленных им один за другим во дворец Потоцкого, принесли все один

и тот же ответ, что граф ещё не возвратился, а между тем ни один из высланных за город патрулей не встретился с ним. Подозрение Репнина всё крепло и крепло, а вместе с тем росло и беспокойство, так как если Потоцкий принимал участие в этом таинственном, необъяснимом событии, то тем самым приобрёл для князя ещё большее, зловещее значение. Тут поступил рапорт о том, что один из высланных патрулей обнаружил подозрительную личность, скрывавшуюся в лесу, и два улана, по приказу князя Репнина, ввели пойманного Лукавского.

Его одежда была разорвана, а руки связаны верёвкой. Солдаты доложили, что при их приближении он отбросил от себя саблю и два пистолета и пытался скрыться в кустах.

Тотчас же было начато дознание, и Лукавский показал, что находился в пути на свою далёкую родину, в Литву, и лишь из страха при приближении патруля откинул от себя оружие, взятое им с собою в дорогу для самозащиты.

В то время как арестованный на все поставленные ему вопросы давал всё то же показание, вошёл ординарец с новым донесением и вдруг удивлённо взглянул на арестованного.

— Ты знаешь его? — быстро спросил Репнин.

— Да, знаю, — ответил тот, — он находится на службе у графа Феликса Потоцкого и управляет луговым поместьем графа на Висле.

— Вы смешиваете меня с кем-нибудь другим, — воскликнул Лукавский, бросая мрачно угрожающий взгляд на солдата, — я вовсе не знаю графа Потоцкого и требую свободы, так как не совершил ничего противузаконного.

Присутствовавшие испуганно переглянулись.

Но после непродолжительного молчания князь Репнин сказал:

— Тяжесть совершенного здесь преступления требует серьёзных и беспощадных мер. Показание этого солдата ставит имя благородного графа Потоцкого в связь с этим человеком, пойманным при такой подозрительной обстановке. Сам граф исчез; весьма возможно, что заговорщики злоупотребляют его именем, прикрываясь им, чтобы подготовить своё мрачное злодеяние, и что он сам так же, как и король, сделался жертвой их преступного плана. Мы обязаны следовать каждой нити, представляющейся нам, и во что бы то ни стало пролить свет в эту тьму. Поэтому я тотчас же прикажу окружить дворец Потоцкого и обыскать все его помещения. Эту меру мы обязаны предпринять ради безопасности находя-

щегося под покровительством моей августейшей государыни императрицы государства, а также и ради самого графа, чтобы оградить его от возможного недостойного и, несомненно, ни на чём не основанного подозрения.

Никто не посмел возражать, положение было серьёзно и возражения против мероприятия, вызванного самими обстоятельствами, могли повлечь за собою роковые последствия и тяжёлую ответственность.

Князь Репнин стал писать приказ командующему русскими войсками, так как одному лишь ему он мог доверить производство обыска во дворце Потоцкого.

Он ещё был занят составлением приказа, когда вошёл дежурный офицер и доложил, что прибыл шталмейстер графа Потоцкого с письмом от своего господина. Этот доклад возбудил новый взрыв удивления. Шталмейстер был введён к князю и молча передал ему пакет. Князь Репнин вскрыл его. Всем бросилось в глаза, что в нём заключалось ещё другое письмо, которое князь также прочёл. Затем Репнин сразу смутился, изменился в лице и после короткого размышления сказал шталмейстеру:

— Доложите его сиятельству, что я тотчас же

буду у него! — Затем он постарался принять возможно непринуждённое выражение лица и неуверенным голосом продолжал, обращаясь к присутствующим: — граф возвратился, я сам поговорю с ним, а пока всё должно быть приостановлено. Арестованного пусть поместят под надёжную охрану... дознание впоследствии будет продолжено мною.

При известии о письме Потоцкого Лукавский заскрежетал зубами и поднял сжатые кулаки, но затем тотчас же овладел собою и снова принял прежнее спокойное, мрачное и безразличное выражение. Без дальних слов и возражений он позволил увести себя в находившуюся рядом комнату, к дверям которой изнутри и снаружи были приставлены часовые.

Князь Репнин приказал подать карету и немедленно поехал во дворец Потоцкого. На всех улицах, где узнавали карету князя, слышался глухой ропот. Вслед ей по временам неслись громкие проклятия. Но князь не обращал на это внимания и в продолжение всего пути не выпускал из рук присланного ему письма, перечитывая его всё снова и снова и время от времени недоумевающе покачивая головой.

Князь был почтительно встречен челядью

графа Потоцкого и прошёл в его кабинет. В выражении его лица и осанке уже не было прежней гордости и высокомерия; напротив, он почти с боязливой робостью поклонился Софии де Витт, которую увидел у графа одетою в длинное домашнее платье из тёмно-красного шёлка с дорогой меховой отделкой.

— Я последовал вашему призыву, мадам, — сказал он, — и, согласно повелению государыни императрицы, предоставляю себя в ваше полное распоряжение, причём позволю себе лишь выразить своё удивление тому обстоятельству, что нахожу вас здесь, в доме графа, так как мне сообщили из Петербурга, что вы уехали в Константинополь и что уже давно тщетно ждут вашего возвращения оттуда.

София подала руку князю, галантно поднесённую им к своим губам, и, улыбаясь, сказала:

— Вы видите, дорогой князь, что женщина, которая не может иметь большие притязания на ум, также слегка обладает мощью вездесущности и в состоянии задавать загадки даже таким проницательным дипломатам, как князь Репнин. Если я и была в Константинополе, то во всяком случае сумела ловко появиться здесь в чрезвычайно важный и решительный момент и

прийти на помощь вам в защите интересов моего августейшего друга, великой императрицы Екатерины Алексеевны. И я убеждена, что вы будете благодарны мне за это, так как уверена, что в этот момент вы находитесь в немалом затруднении.

— Согласно письму моей всемилостивейшей государыни, — ответил князь, с мастерской ловкостью дипломата скрывая своё недовольство, — было бы глупо, если бы я пытался что-либо утаить от вас. Я знаю, что я не в состоянии ничего сообщить вам, но могу лишь просить вашего совета... ваших приказаний, — поправился он.

— Моего совета, дорогой князь! — быстро перебила его София. — Отдавать приказания может только её императорское величество, наша августейшая повелительница. Итак, я знаю, как вы и сами предположили, в чём в данный момент заключается дело: Станислав Понятовский, возведённый на польский королевский престол великой Екатериной, необъяснимым образом исчез, и вы стоите пред загадкой, от разрешения которой зависят вся ваша дипломатическая слава и будущее Польши, в судьбе которой, как вам известно, особенно заинтересована государыня императрица. И вот мы — мой друг граф Потоцкий и я — пригласили вас сюда, дорогой князь,

чтобы разрешить вам эту загадку; затем, как я убеждена, вы тотчас согласитесь с нами в том, что надо предпринять.

— Говорите, ради Бога говорите! — воскликнул князь Репнин.

— Дело просто, — продолжала София; — король Станислав Август увезён заговорщиками в Ченстоховский монастырь. В тот самый момент, когда он прибудет туда — и этот момент недалёк, — по всей стране отправятся гонцы, чтобы повсюду поднять восстание против русских гарнизонов, уже подготовленное. Вы сами понимаете, что это восстание имеет большую надежду на успех, так как русские гарнизоны малы и рассеяны по всей стране. Затем в Ченстохове будет созван сейм и будет приступлено к выборам нового короля. Граф Потоцкий и я — мы знали об этом заговоре, мы дали назреть ему, чтобы в решительный момент выдать его императрице.

— Боже мой, — вне себя воскликнул князь Репнин, — что делать? Опасность велика, она чудовищна... Какую ответственность вы взяли на себя, допустив до этого?

— Ответственность, которую я понесу пред государыней императрицей, — самоуверенно ответила София. — Опасность велика, но она будет

разрушена одним ударом.

— Но что же делать? что делать, чтобы помешать мятежному взрыву?

— Как я уже сказала вам, король будет доставлен в Ченстохов; монастырь обладает лишь небольшим гарнизоном из наёмных солдат, который по старому праву могут содержать на свой счёт монахи... Спешите в Ченстохов! У вас имеется под рукою кавалерия?

— Полк казаков, — ответил князь Репнин, — остальные войска, имеющиеся здесь в моём распоряжении, состоят из гренадеров.

— Этого достаточно. Соберите столько повозок, чтобы захватить с собою два батальона гренадер. Осадите монастырь; там не посмеют выказать сопротивление, которое всё равно было бы безуспешно. Как только король будет в вашей власти, будет положен конец и восстанию; никто не рискнёт поднимать в стране восстание, которое было бы и бесцельно, и безнадёжно.

— Вы возвращаете мне жизнь, — воскликнул князь Репнин, — я тотчас поспешу освободить короля и привезти его сюда обратно.

— Последним-то не очень спешите, дорогой князь, — сказала София, удерживая Репнина, — главное заключается в том, чтобы захватить

в свои руки Понятовского и удержать его в монастыре... Как только это случится, пошлите курьера к государыне императрице; ведь весьма возможно, — с тонкой усмешкой прибавила она, — что её императорскому величеству угодно будет предпринять решения и дать приказания, которые нам не следует предупреждать.

Князь Репнин удивлённо посмотрел на неё.

— Я дивлюсь вам! — сказал он затем. — Я — старый дипломат, долголетний слуга императрицы и полагал, что понимаю мнения и намерения её императорского величества... но пред вами я прямо преклоняюсь... Вы — моя учительница...

Князь поцеловал руку Софии, мимоходом попрощался с графом Потоцким, молча слушавшим весь этот разговор, и поспешно вышел из кабинета.

Потоцкий опустился на колена пред Софией, гордо выпрямившейся пред ним во всём блеске своей красоты.

— Он дивится тебе, — страстно воскликнул он, — он называет тебя своей учительницей, но я молюсь тебе, моя повелительница, моя королева!

Граф Феликс бурно заключил её в свои объятия. Красавица склонилась к нему, их губы встретились в жарком поцелуе, и, в то время как по

улицам Варшавы носились адъютанты, чтобы собрать казаков и усадить гренадеров на быстро заготовленные повозки, в то время как народ со страхом и ропотом смотрел на эти военные приготовления, Потоцкий, утопая в блаженстве в объятиях прекрасной приятельницы императрицы Екатерины, забыл и судьбы Польши, и корону, заманчивый блеск которой он только что видел над своею головою.

XXIII

На гористом берегу Варты возвышался Ченстоховский монастырь, принадлежащий ордену св. Павла Отшельника; этот монастырь был основан ещё королём Владиславом Ягелло и получил в дар от своего основателя икону Богоматери, вероятно старовизантийского письма. Икона неказиста по внешнему виду, но ей издавна приписывали чудотворную силу и Ягелло вывез её из Бельца, в Галиции. Эта икона называлась в народе «Черной Мадонной», потому что она совершенно потемнела от времени. Благодаря всё возраставшей вере в её чудотворную силу, с течением времени она приобретала всё больше и больше почитателей и Ченстоховский монастырь стал значительнейшим местом паломничества, куда ежегодно тянулись армии пилигримов из Польши, Силезии, Восточной Пруссии и Галиции.

У подножья монастыря со временем выросли города Старый и Новый Ченстохов с предместьем св. Варвары; их многочисленное, со дня на день возраставшее население добывало себе средства к существованию частью от пилигримов, частью

от торговли скотом и суконными и льняными изделиями; оно поддерживало торговые сношения с Петербургом и Москвою и потому достигло высокой степени благосостояния.

Благодаря пилигримам, монастырь был так богат, что в пятнадцатом веке ему принадлежала почти пятнадцатая часть всех поместий в королевстве польском и настоятель Ченстохова занимал важнейшее, после митрополита, положение среди польских прелатов.

После того как в 1430 г. монастырь подвергся нападению гусситов и был разграблен ими, он стал пользоваться привилегией иметь укрепления и содержать военный гарнизон, состоящий под начальством одного из монахов.

Укрепления были так сильны, что уже в 1657 г. король Ян Казимир спасся бегством под защиту ченстоховских монахов, а в 1704 г. монастырь безуспешно осаждали шведы.

В 1765 г. сейм постановил, чтобы комендант монастыря назначался королём и был обязан ему подчинением. Однако монахи запротестовали и вследствие того в 1773 г. монастырь был взят русскими войсками и монахи были вынуждены признать постановление сейма. Но всё же монастырь сохранил и впредь свои укрепления и

право на содержание гарнизона и гордо стоял, окружённый могучими бастионами, далеко виднеясь своими куполами и башнями.

Хотя в монастыре и находился назначенный королём комендант, но его власть и авторитет были весьма ничтожны и в сущности лишь фиктивны, так как при недостатке постоянного войска правительство вовсе и не думало или, вернее, не могло содержать в монастыре гарнизон из регулярных войск; поэтому монастырский гарнизон большею частью вербовался из самих монахов. Благодаря высокой наёмной плате и отличному содержанию служба в монастырской дружине считалась очень завидной, и монахи заботились о том, чтобы вербовать в монастырский гарнизон вполне преданных им людей из вполне обеспеченных и едва чувствовавших крепостной гнёт крестьян; таким образом воинская сила монастырских укреплений смотрела на настоятеля как на исключительного своего начальника и повелителя, и ни минуты не поколебалась бы по его приказу арестовать королевского коменданта и закрыть крепостные ворота пред каждым, кому настоятель отказал бы в доступе в них.

Монахи были предусмотрительно сдержанны, никогда явно не вмешивались в политику,

и, как казалось, жили только своими духовными обязанностями, а потому независимость их гарнизона обращала мало внимания на себя; королевский же комендант, преклонных лет офицер, смотрел на свой пост, связанный с богатым содержанием и удобствами жизни в монастыре, как на приятное времяпрепровождение и менее всего был склонен заговаривать об этом, тем более, что в повседневной службе гарнизон выказывал пунктуальное повиновение и отличался своим образцовым поведением.

В ту ночь, когда Варшава с лихорадочным беспокойством разыскивала исчезнувшего короля и красавица София так неожиданно возвратилась к графу Феликсу Потоцкому, ченстоховские монахи до позднего часа находились в сборе в великолепно разукрашенной капелле, на главном алтаре которой, освещённом бесчисленным множеством свечей, был выставлен чудотворный образ в золотой раме, сиявшей драгоценными камнями.

Вечером этого дня комендант ужинал у настоятеля и старое бургундское и токайское из монастырских погребов доставили ему благодетельный, глубокий, безмятежный сон. После того настоятель совершил обход монастыря, долго и

обстоятельно говорил с офицером, начальствовавшим над монастырским караулом, и затем направился в капеллу, где по его приказу уже собрались все монахи.

На лицах всех участников духовного собрания, цель которого, по-видимому, не была молитвенною, отражалось беспокойное ожидание; монахи тихо, но горячо перешёптывались друг с другом.

Настоятель сидел в своём пурпурном кресле возле стола, поставленного рядом с алтарём; пред ним был золотой письменный прибор. Он внимательно перечитывал большой пергамент с привешенной к нему восковою печатью. Это было отречение от престола, составленное по всем формам тогдашнего государственного права и нуждавшееся лишь в подписи короля Станислава Августа для того, чтобы сделать свободным польский престол. Окончив чтение этого акта, настоятель положил его на стол и, одобрительно кивнув головою, сказал:

— Никто не усомнится в том, что Понятовский добровольно подписал это отречение, так как его будут окружать лишь беззащитные монахи и он будет находиться в крепости, состоящей под начальством его собственного коменданта, — улыбаясь, прибавил он. — Никто во всей

стране не посмеет противостоять воле диктатора, который примет на себя полномочия здесь, под покровительством Пречистой Божьей Матери.

— Безусловно, ваше высокопреподобие, — подтвердил вблизи стоявший монах, — а равным образом не посмеет восставать против сейма, который здесь, под чудотворным покровительством Богоматери, изберёт короля.

— Нового короля, — с резким ударением прибавил настоятель, — короля, который, в благодарность за защиту Пречистой Девы, будет обязан вырвать с корнем еретиков-диссидентов и приложит все силы королевства к тому, чтобы выгнать из нашей страны неверных чужеземцев, который будет королём только благодаря могуществу и покровительству церкви, представляемой нами. Всё подготовлено и близок час великой победы; да предоставит её нам Господь над внутренними и внешними врагами святой церкви и отечества! Принесём же нашей Высокой Покровительнице жертву нашего благоговения и будем молить о Её помощи тому великому делу, которое мы начинаем!

Настоятель подошёл к алтарю. Монахи опустились на колена, старшие духовники монастыря стали совершать богослужение под тихий рокот

голосов, не сопровождаемый звуками органа. Но вот богослужение окончилось, и ночное собрание на время погрузилось в напряжённое ожидание.

Настоятель спокойно сидел в своём кресле, но монахи шептались, горячо обсуждая великое событие, которое подготовлялось и которое должно было придать новый блеск и новую мощь монастырю.

Наконец, забрезжил и свет сквозь пестро расписанные окна капеллы. Настоятель поднял голову; в его чертах обнаружилось лёгкое нетерпение.

— Те, кого мы ждём, должны были бы быть уже здесь, — сказал он, — пожалуй время посмотреть с башни на равнину, не видать ли кого.

Отец вратарь поспешно вышел, но вскоре возвратился и доложил, что на равнине не видать и следа ожидаемых.

Проходил час за часом; даже и сам настоятель, отлично умевший сдерживать всякое душевное волнение, начал обнаруживать самое живое беспокойство; что касается монахов, то они едва владели собою. Эта длительная задержка почти наверняка указывала на то, что возникло какое-то препятствие столь хорошо подготовленному плану, а если бы теперь не удалось осуществление его, то пришлось бы отложить все гордые

надежды, зиждившиеся на нём.

День всё надвигался; служаки и замковые батраки пробудились от сна, началась и военная жизнь и в конце концов, хотя и позже обыкновенного, поднялся и комендант, чтобы проверить и отпустить стражу. Несмотря на то, что настоятель был уверен в своих солдатах и в низших офицерах, всё же эта отсрочка была для него очень мучительна и могла быть чревата последствиями, если бы заговорщики запоздали ещё далее. Он всё ещё не отпускал монахов из капеллы, но всё это вовсе не бросалось в глаза, так как случалось, что духовное подвижничество удерживало монахов и более продолжительное время на молитве; он послал лишь несколько самых надёжных из числа братии на все караульные посты с инструкцией, чтобы солдаты не поднимали шума оружием, если заметят что-либо необычайное. Кроме того настоятель велел передать караульному офицеру у главных ворот тайный приказ, чтобы в случае прибытия группы всадников тотчас, без представления по начальству, впустить их и немедленно известить об этом его, настоятеля.

Прошло ещё несколько времени; комендант уже успел проверить караулы и снова возвратил-

ся к себе, чтобы предаться приятному утреннему сну.

Настоятель вместе с монахами, которых он не хотел отпустить от себя во избежание того, чтобы кто-либо случайно не проговорился, отправился в трапезную, так как все после проведённой в беспокойстве и волнении бессонной ночи нуждались в подкреплении.

Монастырь и крепость лежали в глубокой тишине под лучами восходящего утреннего солнца. Но вот на дороге от города к монастырю показался верхом князь Репнин, скакавший во главе отряда казаков. Он со стремительной поспешностью совершил с войсками свой путь от Варшавы; благодаря смене лошадей по дороге ему удалось и повозки с гренадерами привести так же быстро, как и всадников.

Увидев пред собою монастырь на горе, князь Репнин стал испытывать сильное нетерпение и, чтобы достигнуть поскорее его, поскакал вперёд с небольшим отрядом казаков; остальные же казаки стали строиться в ряды в город, где и гренадеры сошли с повозок, чтобы в сомкнутых колоннах подняться в гору.

Князь Репнин, насколько было возможно, хотел избежать сражения, исход которого мог стать

для него роковым, так как в его распоряжении не было достаточных сил, чтобы овладеть доступом в сильную крепость; но он надеялся добиться впуска в неё посредством переговоров и затем уже, угрожая русской мощью, вынудить выдачу короля. Он прискакал впереди своих казаков на вершину горы и постучал в закрытые ворота. К его изумлению, они тотчас же раскрылись пред ним.

Вышедший офицер вежливо поклонился князю, приказал без дальних слов настежь открыть обе половинки ворот и предложил Репнину, которого он не знал в лицо, провести его к настоятелю, причём сказал, что тот уже давно ждёт его.

Репнин дал знак казакам, и они тотчас же въехали под своды ворот и стали в них так, что могли помешать закрыть их снова; затем он последовал за офицером через двор к жилищу настоятеля и на пути туда уже услышал вдали барабанный бой своих гренадеров, выступавших из города по направлению к монастырю.

Князя провели в приёмную настоятеля. Спустя несколько секунд появился и последний; его лицо выражало все признаки нетерпеливого ожидания, и он воскликнул:

— Что это? Что случилось?., почему...

Слова замерли у него на губах, когда он увидел пред собою совершенно незнакомого человека, окинувшего его гордым и строгим взглядом.

— Простите, ваше высокопреподобие, что я вынужден обеспокоить вас, — сказал князь вежливо, но тоном, звучавшим словно приказание. — У меня есть достоверные сведения, что подготовляется преступный замысел против безопасности государства и что, по плану заговорщиков, он должен скрываться под сенью вашего монастыря; поэтому я вынужден просить вашего разрешения обыскать ваш монастырь.

— А кто вы такой? — спросил настоятель.

Репнин удивлённо взглянул на монаха; ему казалось почти невероятным, что человек, занимавший высокое положение в Польше, не знал его.

— Я — князь Николай Васильевич Репнин, посол её величества императрицы всероссийской, облечённой польским правительством полномочиями принимать все необходимые меры, требуемые безопасностью государства, поручительство за которую взяла на себя августейшая императрица и повелительница.

Настоятель вздрогнул, его тонкая белая рука крепко оперлась о спинку кресла, возле которого

он стоял; но он сохранил на своём лице спокойное выражение и холодно и гордо ответил:

— Если вы, как я должен предположить, знаете основные законы государства, на охрану которых вы притязаете, то вам, князь, должно быть известно, что этот монастырь неприкосновенен и что комендант укрепления моего ордена должен повиноваться только приказам короля!

— Я знаю это, ваше высокопреподобие, — нетерпеливо воскликнул князь Репнин, — я не намерен нарушать права вашего монастыря, но настоящий момент требует быстрых и решительных мер. Правительству в Варшаве стало известно, что изменники престолу избрали своим убежищем ваш монастырь; с согласия правительства я намерен обыскать монастырь; это бесспорно будет и в ваших интересах, чтобы оградить вас от всяких подозрений в тайном соглашении с заговорщиками.

— А если я откажу вам, князь, в этом обыске, как повелевают мне моё право и мой долг? — ответил настоятель.

— Прошу вас не делать этого, — сказал Репнин, — так как в таком случае я буду принуждён употребить силу.

— Силу? — гордо воскликнул настоятель, — то

есть осаду?

В эту самую минуту в коридорах и на дворе монастыря послышался беспокойный шум, раздались звуки команды, загремело оружие, с башен зазвучали сигналы труб. Но в то же время на дворе загрохотала барабанная дробь, по звукам которой князь узнал своих гренадеров.

— Нет, не осаду, ваше высокопреподобие, — сказал он. — Ваши ворота уже заняты моими войсками и ваш гарнизон внутри укреплений не в силах противостоять моим казакам и гренадерам.

Князь Репнин подошёл к окну, и настоятель последовал за ним.

Пред их взором развернулся фронт русских гренадеров, ощетинивших свои штыки; на их фланге стояли казаки; во двор вступали всё новые и новые войска, в то время как гарнизонные солдаты с испуганными лицами строились вдоль противоположной стены двора.

— Вы видите, что будет лучше всего, если вы добровольно согласитесь, — с улыбкой проговорил Репнин. — Я ещё раз повторяю вам, что вовсе не намерен нарушать права вашего монастыря.

Вошёл комендант, который воскликнул:

— Ваше высокопреподобие, монастырь занят

русскими войсками, всякая борьба будет безнадёжна, если они уже нашли доступ... А-а, сам князь Репнин? — произнёс он, почтительно пятясь к двери.

Настоятель на минуту погрузился в размышления, а затем сказал:

— Я вынужден уступить силе; я предполагаю, что вы сдержите своё слово и ничего не предпримете против монастыря; я думаю также, что вы не станете препятствовать свободному пропуску моих монахов за монастырские стены, так как мне необходимо послать в город некоторых из них по делам нашей обители.

— Нет, препятствий вы не встретите, — ответил князь Репнин, — но всё же я должен просить представлять мне тех из ваших монахов, которые будут уходить из монастыря, так как без моего личного разрешения никто не должен проходить через монастырские ворота.

Настоятель кивком головы выразил своё согласие и приказал служке позвать отца вратаря.

— У меня есть поручение для вас, брат мой, — сказал он по приходе последнего, — князь даст вам пропуск.

Монах поклонился, не обнаруживая своей миной и следа боязливых тревог, обуревавших его.

Князь окинул его проницательным взором, а затем сказал:

— Вы можете идти! А теперь я не желаю мешать вам, ваше высокопреподобие, своим присутствием; я позабочусь о том, чтобы мои войска возможно меньше обременяли ваш монастырь и сохранили добрые отношения с вашим гарнизоном.

— Поспешите в город, — приказал настоятель отцу вратарю, после того как князь Репнин удалился, — и разошлите гонцов по всем направлениям, чтобы они предупредили наших друзей, если последние немного запоздали. Пусть скажут им, чтобы они отвезли пленника в какое-нибудь надёжное место и переждали там дальнейших событий. Я принуждён опасаться, — мрачно сказал он, — что совершена измена; в противном случае это русское нападение не могло бы иметь место. Теперь главное в том, чтобы замести следы и сохранить для нас свободу действий.

Монах поспешно удалился.

Настоятель послал ко всем членам братии приказ собраться в капелле только к вечерней мессе. Вместе с тем он предписал всем строгое молчание до тех пор, пока он сам не позволит им говорить, а затем возвратился в свои покои.

Между тем князь Репнин, в сопровождении коменданта и отряда своих гренадеров, обыскал все помещения монастыря, осмотрел все погреба и обошёл также все кельи братии. Монахи с готовностью открывали помещения, не дали ответа ни на один из его вопросов и лишь письменно сообщили, что повелением настоятеля на них наложен обет молчания.

Князь, вежливо извинившись, обыскал и жилище настоятеля, но нигде не нашёл ничего подозрительного; он не нашёл и короля, чьё присутствие в монастыре подозревал. Он понял, что заговорщики, должно быть, ещё не прибыли, и потому решился дождаться их прибытия, так как ему всего важнее было завладеть нитями заговора и особою короля, чтобы предоставить в руки императрицы решение участи Польши, которая — весьма возможно — зависела от этого часа.

Князь занял монастырские ворота своими гренадерами, но при этом строго приказал им не показываться наружу и пропускать в ворота каждого, кто захочет проникнуть в монастырь. Он надеялся обратить монастырь в мышеловку, как позднее стала выражаться сыскная полиция, и стал нетерпеливо ожидать наступления ночи, от которой он ждал, что она доставит ему его

добычу.

XXIV

У Игнатия Потоцкого, проживавшего в небольшом родовом дворце в предместье Праги, эта роковая ночь тоже прошла далеко не спокойно.

Граф Игнатий Потоцкий до поздней ночи сидел в своей комнате; пред ним лежало письма Марии Герне, и он писал ответ своей возлюбленной, выраставший из-под его руки в целые листы бумаги. Такое длинное послание казалось ему почти смешным, да он и самому себе представлялся каким-то школьником, который заносит на бумагу свой бред и этим вызывает у предмета своего поклонения лишь насмешливую или сострадательную улыбку. Он снова и снова перечитывал то, что написал; хладнокровному критику всё это могло показаться пустыми фразами, которые сотни, даже тысячи раз уже были написаны и так же часто будут повторяться. Но всё же эти фразы были отзвуком истинного, столь глубокого и столь искреннего чувства, что граф Игнатий не в состоянии был решиться заменить это письмо, так же живо выражавшее его ощущения, другим, которое показалось бы ему пустым и ничего не

говорящим.

Во время этого занятия, отдалившего графа Игнатия в ночной тишине от всего, что окружало его, он вдруг был испуган громкими голосами в передней, и, прежде чем успел схватиться за колокольчик, чтобы разбудить слугу, в его кабинет стремительно вошли Колонтай и Заионček, видимо сильно взволнованные.

— Всё будет потеряно, — воскликнул Колонтай в ответ на испуганный вопрос графа Игнатия, — если мы не успеем смелым шагом поправить дело. Король исчез, самым необъяснимым образом увезённый неизвестными всадниками; до сих пор не нашли никаких следов; министры собрались во дворце, и Репнин, — с иронической усмешкой прибавил он, — принял на себя охрану государства с полномочиями, которые он сам себе вручил и против которых не осмелились протестовать представители правительства.

Граф Игнатий, испуганно вскочив с кресла, сказал:

— Это — тяжёлый, роковой удар, осложняющий осуществление нашего плана и, может быть, оттягивающий его на долгое время.

— Или это — счастье, вынуждающее нас к быстрому образу действий, — перебил его Колонтай.

— Ведь благодаря таким вынужденным обстоятельствам великие вещи часто доводились до счастливого конца.

Граф Игнатий с сомнением покачал головой и сказал:

— Прежде всего необходимо знать, кем был направлен этот удар. Если это — патриоты, действующие с нами заодно, хотя и вне нашего ведома, то пожалуй мы можем спокойно ждать дальнейшего хода событий и остаётся лишь пожалеть, что мы не совсем готовы к тому, чтобы обеспечить на сейме избрание прусского короля и провозглашение престола наследственным.

— А если это — не патриоты, если это — дело русских рук? — спросил Заионček. — Я почти опасаюсь, что это именно так. Репнин взял на себя заботу о безопасности столицы и никто не рискует протестовать; если же эта «забота» распространится на всю страну, если король исчезнет где-нибудь в русском плену, разве тем самым не будет осуществлено присоединение Польши к России, разве она не обратится в русскую провинцию и посол императрицы самым естественным образом и без малейшего признака насилия не станет губернатором этой провинции?

Граф Игнатий большими шагами ходил взад и вперёд по комнате. Все его любовные грёзы были забыты, забота о внезапной тяжёлой угрозе его отечеству заняла все его помыслы.

— Нет, нет, — воскликнул он, — этого не может быть, это невозможно, на это Екатерина не рискнёт!

Спокойное лицо Заионичека приняло совершенно чуждое ему выражение горькой насмешки.

— Она не рискнёт? — спросил он. — На что не рискнёт эта русская Екатерина в своём великом безумии, заставляющем её протягивать руку за всесветным владычеством? И оно будет удовлетворено лишь тогда, когда её форпосты будут в Варшаве и в Константинополе. И кто помешает ей осуществить её смелые планы? Если король исчезнет и сейм снова будет поддержан князем Репниным и русскими штыками, почему же тогда русской императрице и не быть выбранной наследственною королевой Польши, как мы намеревались сделать с королём прусским, возложив на него корону? Кто знает? быть может, русские агенты подготовлены лучше, чем мы? Кто знает, что они не уверены в голосовании за императрицу? Ведь у них имеются штыки, чтобы устранить нерешительных, достаточно золота

для алчных до него и достаточно блеска, чтобы переманить на свою сторону честолюбивых.

— Клянусь Богом, вы правы, Заионček, — воскликнул граф Игнатий, — это был бы чертовски смелый план, вполне достойный той Екатерины, которую её царедворцы зовут «Северной Семирамидой» и которая так же жадна, хитра и смела, как и древняя Семирамида!.. Но что же предпринять, чтобы отвратить такое несчастье?

— Единственно, что может спасти нашу родину, — сказал Колонтай, мрачно прислушивавшийся к их разговору, — это — действия, которые так же смело и так же быстро расстроили бы роковой замысел этой ночи и отдали бы в наши руки плоды, уже мысленно срываемые нашей неприятельницей.

— Что же мы можем сделать, чтобы достичь великих результатов? — спросил граф Игнатий. — Разве мы не в руках нашей неприятельницы? Разве не властвует в Варшаве Репнин, окружённый русскими штыками?

— Вы, граф Потоцкий, забываете о том, что до сих пор, к несчастью Польши, всё ещё забыто в нашем отечестве, — возразил Колонтай. — Это — народ, тот бедный народ, который более всех заинтересован в вопросе о будущности Польши

и которого до сих пор не допускали высказать своё мнение, не говоря уже о решительном слове. Где будут те пресловутые, проклятые предатели, которые бесчестят имя польского шляхетства, если сам народ выступит на арену и бросит свой меч на чашу весов, решающих его судьбу? Теперь этот момент наступил; если мы возымеем мужество использовать его, если народ быстро и дружно восстанет и устремится к Варшаве, если мы возьмём на себя предводительство им, то, я не сомневаюсь, гвардейская пехота и уланы примкнут к нему, из предместьев и окружных деревень стекутся тысячи, десятки тысяч крестьян, и что будут значить тогда русские солдаты? Прежде чем враги опомнятся, Варшава уже будет в наших руках. Репнин, который уже мнит себя господином страны, станет нашим пленником, победа восставших в Варшаве будет сигналом к восстанию во всей стране, и русские войска, словно сметённые бурей, исчезнут под натиском народного гнева.

— Это же будет революция, — дрожа, воскликнул граф Игнатий, — это — водоворот, кровавый пожар, разнуздание стихийных сил... Кто их остановит потом?

— Господь Бог, Который управляет всем миром

и является Отцом всех народов, как и каждого человека в отдельности, — сказал Колонтай. — И мы будем орудием Божиим, если будем иметь силу, мужество и веру в своё дело, если созовём вместо теперешнего сейма национальное собрание и на последнее не будут влиять, как на сейм, ни угроза силою, ни приманка золотом; может быть, это национальное собрание выберет польским королём не прусского короля Фридриха, но зато одно надёжно возрастёт на его лоне, а именно свобода, свобода и величие польского народа, столь долго пребывавшего разбитым и порабощённым.

Заионček сердечно пожал руку Колонтая и вопросительно посмотрел на графа Игнатия.

— Может быть, вы и правы, Колонтай, — сказал последний, — может быть, в настоящий момент и легко будет воспламенить народ, и гвардия встанет на сторону народа; я допускаю, что и оружие найдётся в арсеналах, пожалуй удастся и изгнать русских, пожалуй революция выйдет победительницею... Но, ради Бога, подумайте о том, что значит такая революция! Подумайте 6 крестьянской войне в Германии, подумайте об ужасах наших гражданских войн! Кто смеет взять на себя ответственность за это? Кто посмеет снять оковы с тех страшных элементов, которые

погребут под развалинами государства и общества вместе с врагами и друзей, и всех нас?

— Я рискну на это, — с торжественной серьёзностью ответил Колонтай; — в великие минуты нельзя из-за боязливой осторожности останавливать то, что признается необходимым как единственное средство от спасения. Господство наших врагов, будучи раз повержено, уже никогда не поднимется, но народ не погибнет и оправится от временной болезни; в нём самом зиждется залог выздоровления, так как он бессмертен... Я наблюдал народ на улицах, видел его мрачные взгляды, слышал его речи... Искра тлеет; достаточно лёгкого дуновения, чтобы обратить её в яркое пламя. И пусть это дуновение изойдёт из моих уст! Я наполню его всей той бешеной ненавистью, которая горит в моей груди против притеснителей моего народа и моей родины!

— Да, Колонтай, да, ты прав, — воскликнул Заионček, — и я принадлежу тебе, я последую за тобой по твоему пути. Бог защитит Польшу, и если гнев волнующегося народа, пожалуй, и обратит её в развалины, то прилежный труд свободной нации воздвигнет всё снова!

— Я не намерен ни возражать вам, ни противодействовать, — серьёзно сказал Игнатий

Потоцкий; — в таком святом деле, как свобода родины, каждый должен следовать своему собственному убеждению, так как он ведь несёт ответственность за свои поступки и даст отчёт пред нынешним и будущим потомством своего народа, равно как и пред мировой историей в том, что совершил и в чём провинился. Я знаю, что вы действуете согласно глубокому и честному убеждению; я уверен, что в настоящий момент в вашем плане заключается возможный успех, но боюсь, что вы не сумеете справиться с дикими элементами, с которых вы должны снять оковы; эти элементы будут ужасны в своих действиях, -*подобно наваждению, которое после своей разрушительной работы, конечно, снова спадёт, но относительно которого никхо не знает, оставит ли оно за собою плодородные поля, или пустыню. Я не могу брать на себя ответственность за подобный риск, так как не чувствую себя достаточно сильным, чтобы стать господином над революционными силами или воссоздать то, что они неизбежно уничтожат в своём диком волнении. Наш народ не настолько созрел, чтобы уметь владеть собою; я вижу благо страны только в прочной конституционной монархии, и вы сами знаете, что, согласно своим убеждениям, я

обязан предоставить эту монархическую власть великому прусскому королю.

— Следовательно вы — наш противник? — мрачно спросил Колонтай.

— Нет, я — не противник ваш, — возразил граф Игнатий; — в настоящий момент я не могу сделать на благо моей родины ничего того, что хотел бы, и я покоряюсь судьбе. Может быть, это — перст Провидения, связывающего мне руки. Вы можете действовать так, как подсказывает вам ум, я не хочу мешать, не намереваюсь становиться поперёк дороги; может быть, наши пути снова сойдутся, если вам удастся овладеть бурным потоком; как бы то ни было, мои лучшие пожелания всегда будут с вами, я склоняюсь пред предопределением силы, управляющей миром, если в моём отечестве даже и не останется места для моей работы.

— В такие моменты, как настоящий, все те, кто не могут идти заодно, часто должны становиться врагами, — сказал Колонтай. — Я знаю вас, граф Потоцкий, и потому уверен, что вы, как я надеюсь и желаю, снова перейдёте к нам. Теперь не время для слов, но я всё же хочу предостеречь вас: будьте осмотрительны и осторожны!., берегитесь, чтобы вас не сбили с пути! остерегайтесь тех,

у кого отечество лишь на языке, так как не все носят его в своём сердце... Берегись своего брата! Я не доверяю ему и теперь верю ему менее, чем когда бы то ни было; чего он хочет — ни для кого не ясно, его путь окружён тайной, а теперь, в этот миг, когда все патриоты должны быть на своих местах, его здесь нет. Его делом было бы протестовать против протектората России; он должен был бы сбить спесь с Репнина, а между тем его здесь нет! Правда, весьма удобно и осторожно исчезать в решительный момент, чтобы затем делить плоды с победителем! Я хотел бы заблуждаться, я знаю, как легко можно обмануться внешним видом, но едва ли я смею надеяться, что моё чувство обманывает меня.

— Благодарю вас, Колонтай, за ваше предостережение, — произнёс Игнатий Потоцкий, — я не могу сказать, что считаю их излишними, — с горечью прибавил он. — Я буду осмотрителен и осторожен; ведь это — единственное, что мне остаётся делать.

Они ещё раз серьёзно и взволнованно пожали друг другу руку, затем Колонтай и Заионček поспешно удалились, чтобы приступить к действиям, которые лишь в том случае могли бы окончиться успешно, если бы к ним приступили

смело, решительно и без проволочек.

— Что значат мысли и надежды человека! — произнёс граф Игнатий, со вздохом бросая взгляд на своё письмо к Марии. — Только что я мечтал о милом родном уголке в своём свободном и счастливом отечестве, под мудрым и кротким правлением великого державного рода, которому нет равного в истории; но вот роковая судьба врывается в мечтания моей души, в которых объединились чистейшее честолюбие и любовные надежды сердца, — и будущность моей родины снова окутывается тёмными тучами. Но всё же любовь остаётся, — воскликнул он, и его печальный взгляд снова загорелся ярким блеском, — в своей любви я вновь найду юную радость бытия и свежие силы к великим стремлениям. Разве всё человечество не ближе нам, чем отечество, тесные границы которого образовались лишь благодаря случайностям? Разве любовь и забота не принадлежат к тем неисповедимым силам, которые властвуют над миром и призывают народы к борьбе друг с другом, рождают зависть и ненависть во всём человечестве, без различия их языка и расы? Пусть не будет мне места в своём отечестве, предопределённом мне случаем; я всё же отыщу себе место, где буду в состоянии тру-

диться для человечества под покровительством того великого монарха, который, трудясь для своей страны, не забывает, что он стал человеком раньше, чем прусским королём, который, будучи на престоле, не оставляет своего места в великой плеяде благородных умов всех времён и народов! Что бы я ни потерял в бурном стремлении земной, преходящей суеты, я всё же приобрёл великолепнейшую, вечно незабвенную драгоценность — любовь благородного, чистого сердца!

Не успел граф Игнатий запечатать письмо печатью, как вошёл его камердинер и подал ему записку, только что переданную ему каким-то иностранцем, который настоятельно просил графа немедленно прочесть её.

Между тем уже наступил день. Улицы в предместье стали оживляться, и глухой шум голосов волновавшегося народа доносился теперь и сюда. .

Граф Игнатий пробежал содержание короткой записки. Он видимо был поражён неожиданностью и приказал тотчас просить иностранца.

Вслед за тем в кабинет вошёл Акст, личный секретарь министра фон Герне.

— Что вас привело сюда? — воскликнул Игнатий Потоцкий, сердечно приветствуя этого

неказистого, серого человека, так как последний напоминал ему о доме, в котором находился предмет всех его стремлений и надежд и к которому только что были обращены все его помыслы. — Надеюсь, что у вас нет ничего печального с собою? — прибавил он, окидывая серьёзным, озабоченным взглядом строгое лицо секретаря.

— То, что мне предстоит передать вам, менее важно и менее печально, чем то, что я узнал! — ответил Акст. — Ваш король увезён, весь город в волнении, народ в грозном состоянии... это — опасные явления, о которых мой патрон, к сожалению, может узнать лишь тогда, когда непоправимые события уже будут совершившимся фактом.

— Действительно, это довольно печально, — нетерпеливо произнёс граф Игнатий. — Но всё-таки прежде всего сообщите мне о цели вашего приезда; может быть, то и другое находится в связи.

— Не непосредственно, — возразил Акст, — но всё же в великие, решительные моменты часто приводятся в роковую связь весьма различные вещи. Я прибежал сюда по поводу некоего Серры, которого его превосходительство господин министр отправил с поручением к вашему брату,

графу Феликсу Потоцкому.

— Я знаю, — ответил граф Игнатий, — господин фон Герне говорил мне об этом; суть дела в продаже имения «Кроточин». Я просил министра не ставить меня в связь с этим Серра, чтобы оградить себя от обременительного надзора в том случае, если он, может быть, привлечёт к себе усиленное внимание русских агентов. Ну, что же с ним случилось?

— Этот Серра возбудил к себе недоверие господина фон Герне; он побывал в Могилёве, якобы с целью посетить там вашего брата, графа Феликса Потоцкого.

— Он? — воскликнул граф Игнатий. — Я не слышал об этом.

— Правда, у него был предлог для такой поездки, — продолжал Акст, — так как, по его словам, он должен был немедленно видеть графа Феликса. Между тем он не мог не знать, что именно относительно покупки «Кроточина» граф не в состоянии был дать там никаких сведений и точных разъяснений; последний тогда указал на банкира Капустаса и поручил последнему дать выписки из хозяйственных книг по имению. Так как Серра уже в Вене поддерживал сношения с графом Виельгорским, доверенным государ-

ственного канцлера, то сразу бросается в глаза и заставляет призадуматься то обстоятельство, что он теперь под таким ничтожным, как покупка «Кроточина», предлогом был в Могилёве, и как раз в тот момент, когда там находился император Иосиф, без сомнения ведший важные переговоры с императрицей; последние же едва ли были рассчитаны на выгоды Пруссии и на осуществление плана, относительно которого господин фон Герне пришёл к известному соглашению с вами, ваше сиятельство.

— А Серре известен этот план? — испуганно спросил граф Игнатий.

— Он не знает его, — ответил Акст, — но, и не зная его, он может противодействовать ему, если связывает финансовые интересы польского правительства и польских магнатов с венской торговой компанией так прочно, что наша компания торгового мореплавания будет оттеснена на второй план; кроме того всё же весьма возможно, что он проник в те планы или по крайней мере подозревает их. Он хитрый и опытный авантюрист, умеющий схватывать с полуслова и сопоставлять отдельные обстоятельства, о которых ему не сообщают. Я с первого же мгновения не доверял ему, и живо сожалею, что господин министр во-

обще связался с ним. Господин фон Герне только теперь стал разделять моё недоверие, так как обнаружилось, что Серра с чрезвычайным усердием трудится над тем, чтобы перенести в Вену центр тяжести всей финансовой комбинации, которая должна быть лишь подготовлением к осуществлению известного вам плана; Серра стремится сделать варшавскую контору компании торгового мореплавания филиальным отделением венской компании, а это вовсе не соответствует надеждам и пожеланиям господина министра. Даже и в деле покупки имения «Кроточин» Серра действовал далеко не так, как хотел министр, который покупкой этого имения намеревался оказать услугу вашему брату и, благодаря его влиянию, обеспечить себе осуществление своего плана. По осмотре книг банкира Капустаса этот авантюрист составил доклад, столь неблагоприятный для состояния хозяйства в «Кроточине», что теперь министру будет очень трудно добиться у компании торгового мореплавания согласия на покупку этого имения.

— Следовательно, король ничего не знает об этом? — испуганно спросил граф Игнатий.

— Король не должен знать ничего пред светом, — поспешил ответить Акст, — да и пред своими

собственными подчинёнными. Всё это нужно сперва исполнить и представить королю уже готовым, чтобы на его величество не падало и тени подозрения в подготовлении этого. Поэтому и покупка имения «Кроточин» компанией торгового мореплавания должна иметь вид чисто коммерческой сделки этого общества.

— Итак министр покупает «Кроточин» не для себя, а для компании торгового мореплавания? — спросил граф Игнатий.

— Для господина фон Герне нисколько не интересно сделаться польским помещиком, — возразил Акст, — его имя лишь прикрывает подобные покупки, которые в противном случае возбудили бы всеобщее внимание и нежелательные толки. Ведь они производятся исключительно с политическими целями, чтобы теперь приобрести сильное влияние, воспользоваться им для наших планов и впоследствии доставить будущему польскому королю поддержку в значительном комплекте недвижимостей. Но Серра затрудняет необходимость содержать втайне операцию господина министра и таким образом — может быть, бессознательно, а то и сознательно — противодействует нашему плану. Не исключена и та возможность, — продолжал он, пронизывая

взглядом графа Игнатия, — что он пожалуй старается привлечь вашего брата к совершенно иному, маня самого его польской короной, которую граф Феликс мог бы приобрести под протекторатом императора Иосифа и императрицы Екатерины. Господин фон Герне думает, что граф Феликс не был бы прочь от подобной приманки.

— Клянусь Богом, возможно, что он и прав! — воскликнул граф Игнатий. — Не здесь ли таится причина таинственного похищения Понятовского?

— Вы, ваше сиятельство, высказываете мысль, тотчас же появившуюся у меня, когда я при своём прибытии сюда узнал о роковом событии, в одно мгновение разрушившем все наши планы и, пожалуй, сделавшем их навсегда неосуществимыми, — сказал Акст. — В настоящую минуту, конечно, ничего не сделать, игральная кость ещё катится, нам необходимо выжидать, как упадёт она; во всяком случае теперь необходимо проследить двуличную деятельность Серры и, если возможно, обезвредить её. Я прошу вашей поддержки в этом. Господин фон Герне желает, чтобы Серра возможно скорее возвратился в Берлин; мне предстоит передать ему, что министр намерен дать ему устные инструкции относи-

тельно покупки «Кроточина», но я боюсь, что если он и в самом деле ведёт фальшивую игру, то он не последует на зов министра, по крайней мере в том случае, если ему удалось подействовать на вашего брата в высказанном мною смысле и приобрести его покровительство.

— Конечно, конечно, — отозвался граф Игнатий. — Но, Боже мой, что же делать? Моё влияние ничтожно, а в эту минуту я совершенно бессилен; князь Репнин властвует в Варшаве, и мой брат — о, я лично говорил ему о наших планах — по-видимому серьёзно и усердно ухватился за него; если он только последовал другим путём, то, вероятно, всё потеряно! — Он мучительно сжал голову. — Вы видите, — продолжал он затем, — что в те минуты, когда дело касается отечества, я не колеблясь отношусь к своему брату как к чужому, даже как к врагу.

— Я вижу, ваше сиятельство, — ответил Акст, и его холодное, строгое лицо осветилось тёплым чувством сострадания, — и это доставляет мне надежду, что план, относительно которого вы пришли к тайному соглашению с министром, тем не менее, пожалуй, удастся. Господин фон Герне ставит на карту всё для своего великого короля, — вы — для своего отечества и для своего

народа; неужели двое людей с великими и благоразумными стремлениями не победят мрачной интриги эгоистического честолюбия?

— В мировой истории, — печально произнёс граф Игнатий, — погибло уже множество благородных стремлений и часто народное благо приносилось в жертву честолюбивому эгоизму. Но всё же, — продолжал он после короткого размышления, — есть средство исполнить желание господина фон Герне или во всяком случае с этой стороны сделать всё ясным. Отправляйтесь к моему брату, я дам записку, которая, я надеюсь, откроет вам его двери; скажите ему, что ваш патрон желает возвращения Серры; чтобы не возбудить его удивления, прибавьте, что министр подозревает Серру в том, что он действует в интересах Австрии; попросите моего брата, чтобы он послал Серру со спешным письмом к господину фон Герне в Берлин. Если он исполнит ваше желание, то это будет надёжным доказательством того, что подозрение, питаемое вами, неосновательно, что Серре не удалось поймать на удочку моего брата приманкою в виде вассальной короны, что мы, как и прежде, можем рассчитывать на него... И, Бог даст, это будет именно так, — глубоко вздохнув, прибавил он.

— А если это не будет так? — спросил Акст.

— Тогда нам придётся предоставить судьбе течь своим руслом, — с болезненным вздохом ответил граф Игнатий, — и ждать, не предоставит ли нам благоприятный момент новой возможности схватиться за катящееся колесо.

— Вы правы, ваше сиятельство, — сказал Акст, — я буду действовать согласно вашему приказанию и уверен, что таким образом лучше всего послужу господину министру.

Граф Игнатий написал записку своему брату, в которой просил тотчас же принять её подателя, имеющего доставить ему важные сообщения от господина фон Герне.

— А как обстоит всё в доме господина министра? — спросил он неуверенным тоном и быстро краснея. — Как здоровье мадемуазель Марии, его любезной племянницы?

— Его превосходительство, — ответил Акст, — пред моим отъездом чувствовал себя очень хорошо, несмотря на заботы об этом Серре. Что касается мадемуазель Марии, то относительно неё вы, ваше сиятельство, лучше всего узнаете из этого письма, которое мне поручено передать вам.

Он вынул из кармана маленькую благоухаю-

щую записочку, запечатанную миниатюрной печатью с гербом, и подал её графу. Тот дрожащею рукою поспешно схватил письмецо и воскликнул тоном упрёка:

— И такое поручение исполняете вы только теперь?

— Нам требовалось обсудить важное дело, граф, — возразил Акст, причём по его лицу мелькнула тонкая усмешка, — и потому я полагал, что будет лучше заняться частными делами после.

Граф улыбнулся в свою очередь и сказал:

— Действительно, вы были правы: пожалуй и лучше, что мы предварительно покончили с важными делами; ведь всякое промедление могло быть здесь роковым.

Как бы в приливе благодарности за переданное им послание он с чувством пожал руку Акста. Тот почтительно поклонился, после чего поспешно вышел вон.

После его ухода граф Игнатий, прижав к губам письмецо, некоторое время с глубоким волнением рассматривал маленькую печать и тонкий почерк, причём произнёс:

— Мне грозит опасность лишиться отечества и, пожалуй, родного брата, но у меня в руках самое чудное и самое щедрое вознаграждение за всякую

утрату на земле. Что не в силах я перенести, если мне останется любовь, под тёплыми солнечными лучами которой жизнь должна приносить всё новые цветы?!

Он взломал печать. Забыто было всё, что сию минуту огорчало Потоцкого; он не думал более о похищенном короле; он не слыхал уже возраставшего беспокойства на улицах; с блестящими глазами перечитывал он по нескольку раз милые строки, приносящие желанную весть его любви.

Между тем Акст немедленно отправился во дворец графа Станислава Феликса Потоцкого, во дворах которого происходило необычайное движение; вся шляхта, принадлежавшая к графской свите, собралась здесь и, сидя за токайским своего покровителя, подаваемым, как всегда, в щедром изобилии, ожидала новых известий и держалась наготове на случай приказаний всевельможного пана.

Граф находился в своём турецком кабинете. Завтрак был подан. Прекрасная София лежала в объятиях Потоцкого, и он, подобно своему брату, позабыл ради своей любви всё, что волновало окружающий мир; только эта любовь была не нежным бутоном, распускавшимся в благородной чистоте в утреннем свете жизни, а пышно

расцветшею розой, издававшей упоительное благоухание в жгучий полдневный зной. Его брата увлекала в высь над горькими заботами настоящей минуты пылкая надежда на высочайшее идеальное счастье, а граф Феликс, отдаваясь минутному наслаждению, гнал от себя далеко всякую мысль как о своей будущности, так и о грядущей судьбе отечества.

Он испугался, когда ему подали письмо графа Игнатия, и, по обыкновению, спросил совета Софии, как ему поступить, потому что при изменившихся обстоятельствах всякие сношения с прусским министром могли оказаться опасными, и возбудить подозрения против него.

— Прежде всего, мой друг, — ответила молодая женщина, — ты должен выслушать пришедшего к тебе человека; опасно лишь то, что мы не держим в своих руках, а возбудить против себя подозрения не рискует никто, если не ведёт двойной игры, чего мы с тобою станем остерегаться. Я останусь тут, чтобы указывать тебе настоящую дорогу.

С этими словами гречанка скрылась за портьерой, как делала каждый раз, когда граф давал важные аудиенции, и камердинер ввёл Акста.

Коротко и ясно описал тот положение дел и

объяснил причины, заставлявшие фон Герне желать наискорейшего удаления Серры в Берлин.

Не выжидая одобрительного знака со стороны Софии, граф Феликс с жаром воскликнул:

— Господин фон Герне совершенно прав: пребывание здесь этого человека может в данный момент сделаться опасным для меня, для вашего патрона, даже для прусского короля! Я сейчас напишу письмо господину фон Герне, в котором должна идти речь только о продаже поместья «Кроточин», и поручу господину Серре немедленно отвезти его в Берлин. Побывайте у него сами, но не говорите ему, что виделись со мною; пусть предлогом для вашего посещения послужит какой-нибудь совет относительно финансовых дел, который будто бы понадобился вашему патрону; тогда вы сейчас подметите, колеблется ли исполнить Серра моё поручение; если он поедет, пускайтесь в путь вместе с ним да позаботьтесь, чтобы он не ускользнул от вас; но, если бы Серра стал отговариваться от поездки, безотлагательно дайте мне знать о том; тогда уж я найду средство сделать его безвредным и переправить через границу.

Акст был немало удивлён и обрадован такою сговорчивостью Потоцкого, которая как будто

доказывала ему, что возникшее в нём и не вполне опровергнутое самим графом Игнатием подозрение было неосновательным. Он торопливо откланялся, чтоб расспросить о Серре в конторе компании торгового мореплавания и узнать его адрес.

Тут София, весёлая и радостная, вышла из своего укромного уголка и воскликнула:

— Всё устраивается как нельзя более счастливо! Если тот прусский министр, хотевший выторговать королевскую корону Польши для своего повелителя, отзывает теперь обратно своего агента, выбранного им, по-видимому, весьма неудачно, так тем лучше для нас. По крайней мере нам нет надобности резко порывать те отношения; всегда бывает умнее и выгоднее развязывать нити, вместо того, чтобы разрывать их. Чем осторожнее будем мы следовать по нашему пути, тем благодарнее будет нам императрица.

Гречанка снова заняла место возле графа, и они, как ни в чём не бывало, принялись вдвоём за прерванный завтрак, не обращая внимания на тревогу на улицах.

Серра занимал простую комнату в гостинице «Белый олень» в центре города. Он выдал себя за торгового агента из Берлина; его паспорт был в по-

рядке, он имел сношения с служащими в конторе торгового мореплавания, а также с различными торговыми домами в Варшаве и благодаря тому, что в остальных отношениях вёл тихую и уединённую жизнь, он не возбуждал к себе внимания ни в самой гостинице, ни со стороны польской и русской полиции. Писал он много; на столе в его комнате лежали бумаги, испещрённые цифрами, и никто не подглядывал за тихим постояльцем, беспрерывно погруженным в усердные занятия.

Он и теперь сидел за своим столом и прилежно писал, от времени до времени отрываясь от работы с видом задумчивости и прислушиваясь к шуму на улице, откуда доносились всё более и более громкие голоса встревоженного народа.

— Я не доверяю обоим этим Потоцким, — сказал про себя Серра, — один из них слишком пристально поглядывает отсюда в сторону Берлина, а другой — в сторону Петербурга. Польша — это мутный пруд, в котором каждый хочет ловить свою собственную рыбу, а таинственное похищение короля разрушает все осторожные приготовления и заставляет действовать быстро. Пожалуй было бы хорошо, если бы я сам поехал в Вену с целью уведомить графа Виельгорского, чтобы он принудил государственного канцлера к

быстрым мероприятиям, так как это настоятельно необходимо. Но тогда никого не осталось бы здесь для зоркого наблюдения за текущими событиями; Россия и Пруссия могли бы столковаться и поделить между собою добычу; точно так же могло бы удаться одной или другой из них забрать всю эту добычу целиком на свою долю. Фон Герне не был откровенен со мною, он таил про себя заднюю мысль; все его финансовые манипуляции прикрывают какую-то загадочную тайну, потому что они не способствуют финансовой комбинации, о которой я с ним говорил; я вижу всё это насквозь, меня он не может обмануть, и это внезапное исчезновение короля приведёт к быстрой развязке всего, что творилось втайне. Моё донесение настолько откроет глаза графу Вильгорскому, насколько я в силах сделать это; тем временем я успею подготовить всё с тою целью, чтобы, когда соберётся сейм, партия саксонского принца могла действовать скрытно во избежание, по крайней мере, слишком поспешного решения. Я приобрёл достаточно друзей; маршал Сосновский вернулся из Могилёва в сильнейшем ожесточении; он пустит в ход своё влияние и всё ещё может быть поправлено, если мы будем опять и опять сорить деньгами; государственный

канцлер должен доставлять нам в изобилии средства, в которых мы нуждаемся; ещё сегодня же необходимо отправить надёжного агента к венской торговой компании с моим донесением.

И Серра вновь принялся усердно писать. Тут после краткого стука отворилась дверь. Лакей гостиницы сказал:

— Господин Серра у себя дома; войдите, милостивый государь.

Серра поднял свой взор от работы. Он казался раздосадованным тем, что его побеспокоили; ему, как видно, пришло в голову, что посетитель явился по делу, как это часто случалось в течение дня. Но он побледнел, и перо выпало из его дрожащей руки, когда он узнал Акста, вошедшего в комнату со своим спокойным, непроницаемым лицом.

— Я очень рад, что тотчас застал вас дома, — сказал посетитель, подходя к столу и церемонно кланяясь Серре, — я почти боялся, что вы отправились в Вену с целью установить те деловые сношения, которые мы обсуждали с вами в Берлине, ввиду необходимости лично сообщаться с торговой компанией.

От Серры не ускользнуло, что острые глаза Акста с быстротою молнии скользнули зорким взглядом по бумагам на столе. Как будто

случайным движением генуэзец сунул только что исписанный им листок в лежавший возле него кожаный портфель, причём в то же время незаметно согнулся и придал своему лицу страдальческое выражение.

— Я радуюсь не меньше вас, что вижу вас у себя, — сказал он потом, поднимаясь и раскланиваясь с гостем так же принуждённо, — действительно, поездка в Вену для полного выяснения и устройства взаимных отношений между компанией торгового мореплавания и венской торговой компанией была бы весьма полезна; к сожалению, я не могу предпринять эту поездку, потому что уже давно серьёзно нездоров и едва ли в силах пуститься в дорогу. Я собираюсь отправить отчёт графу Виельгорскому об обстоятельствах, которые требуют ещё разъяснения и регулирования, потому что граф особенно живо интересовался союзом обоих финансовых учреждений в Берлине и Вене и хотел послать копию этого отчёта господину министру фон Герне, чтобы тот мог предпринять со своей стороны необходимые меры. По этой причине ваш приход особенно желателен для меня, почтеннейший господин Акст. Без сомнения, вы пришли сюда с поручениями своего патрона по тому же делу; мы

можем обсудить здесь всё, что требуется, после чего вы можете тотчас передать вашему патрону предложения, насчёт которых мы столкуемся, и ходатайствовать за них.

Он глубоко вздохнул, прижал руку к груди и сгорбился ещё немного больше, точно под влиянием нестерпимых внутренних болей.

— Ваша болезнь внушает мне искреннее сожаление, — сказал Акст, причём его лицо оставалось однако совершенно безучастным. — Но я пришёл сюда вовсе не по делу компании торгового мореплавания и венской торговой компании. Поручение, полученное мною от моего патрона, касается скорее покупки имения «Кроточин» у графа Феликса Потоцкого; ваше донесение насчёт этой покупки было неблагоприятно, так что господин фон Герне призадумался. Между тем ему ужасно хочется приобрести эту усадьбу, так что он приказал мне ехать сюда и хорошенько вникнуть в дело с вами сообща, чтобы по возможности найти путь к приобретению графского поместья, если бы его владелец выказал больше уступчивости и согласия на предложенные ему условия. Я поселюсь в этой гостинице, где надеюсь получить комнату рядом с вашей, как обещал мне хозяин; тогда мы можем сообща самым спокойным обра-

зом вникнуть в дело, обсудить его и, может быть, найдём ещё способ устроить покупку.

Серра потупил голову и сильно закашлялся, чтобы скрыть свои замешательство и досаду. Не успел он ещё подыскать ловкий ответ, как дверь была снова отворена лакеем. В комнату вошёл конюший в ливрее графа Потоцкого и подал генуэзцу письмо. Тот вскрыл конверт, откуда выпали другое запечатанное письмо и листок с несколькими строчками, написанными рукою графа. Серра прочёл их и казался неприятно поражённым.

— Передайте ясновельможному пану, — сказал он потом, — что я нездоров и не в силах пуститься в настоящее время в дальнюю дорогу. Мы исполним приказание, как только будет возможно, или найдём верный путь для его послания, — прибавил он, причём в его глазах как будто вспыхнула какая-то мысль.

Конюший удалился.

Серра подал неподвижно стоявшему Аксту бумагу и сказал:

— Прочтите, это меняет обстоятельства.

Акст спокойно деловым тоном прочёл:

«Любезный Серра, в данную минуту, под гнетом столь серьёзных событий, я не в силах заниматься

вопросом об уступке «Кроточина», тем не менее я близко принимаю к сердцу эту продажу и желаю сделать его превосходительству господину фон Герне безотлагательное и важное сообщение, которое, пожалуй, окажет решительное влияние на его образ действий. Поэтому я прошу Вас немедленно отправиться в Берлин, чтобы передать господину фон Берне прилагаемое письмо; чем скорее исполните Вы моё поручение, тем более буду я Вам благодарен за эту услугу. Станислав Феликс Потоцкий».

— Мне кажется, — сказал Серра, когда Акст без малейшей перемены в лице возвратил ему записку, — что при данных обстоятельствах наше совещание здесь было бы бесцельным. Прежде всего нужно, чтобы господин фон Герне безотлагательно получил сообщение графа Потоцкого, в которое он по какой-то причине не хочет меня посвящать; только тогда господин министр примет дальнейшие решения и будет в состоянии дать дальнейшие инструкции.

— Так вы думаете, что ваше недоверие всё-таки позволит вам пуститься в дорогу? — спросил Акст.

— Мне? Ни в каком случае! это невозможно! — возразил Серра, фактически подкрепляя свои

слова новым приступом жестокого кашля. — Но дело, конечно, получает счастливый оборот, благодаря тому, что вы пришли сюда как раз в эту минуту. Почтеннейший господин Акст! Мне кажется, было бы лучше всего, если бы вы сами тотчас отвезли это письмо графа Потоцкого в Берлин, чтобы, вручив его господину министру, вернуться сюда обратно и заняться со мною дальнейшим обсуждением дела, а, пожалуй, и привести его к благополучному концу, если между обоими высокопоставленными лицами может быть достигнуто согласие. А к вашему возвращению, — прибавил он, снова кашляя, — я поправлюсь настолько, что буду в состоянии с большим усердием и успехом приняться за работу, чем теперь.

— Нет, я не разделяю вашего мнения, — спокойно и решительно возразил Акст. — Результат нашего совещания служит предварительным условием для всякого решения господина министра, и потому мне кажется необходимым, чтобы мы прежде всего достигли этого результата, а как только он будет достигнут, наступит пора передать министру письмо графа Потоцкого вместе с нашими предложениями. Будем надеяться, что к тому времени вы поправитесь настолько, чтобы

иметь возможность пуститься в дорогу, — прибавил он с едва заметным подёргиваньем в уголках рта. — Кроме того, — продолжал секретарь, — в случае, если бы ваша болезнь затянулась на более долгий срок, я нахожу нужным для себя выждать здесь дальнейшего развития необычайно тяжёлых обстоятельств, вызванных похищением короля, которое я застал к моему величайшему смущению, чтобы иметь тогда возможность дать вам отчёт в своих собственных наблюдениях. Наконец, — заключил Акст, причём его холодное, строгое лицо приняло совершенно особенное выражение приветливой благосклонности, — я считаю своим долгом по отношению к вам не покидать вас в болезни. Не говоря уже о христианской любви к ближнему, я обязан не оставлять одного в болезненном состоянии и без надлежащего ухода такого человека, который, подобно мне, состоит на службе у министра фон Герне и так усердно содействует его великим планам.

Серра закусил губы, чтобы подавить проклятие, рвавшееся у него из груди.

— Мне, собственно, нужен покой, — возразил он, — и я прошу вас не налагать на себя никаких стеснений ради меня.

— Какие же тут стеснения? Что вы, почтен-

нейший господин Серра! Ведь я вам сказал, что весьма важные интересы моего патрона соединяются здесь с моею человеческою обязанностью и убеждают меня в необходимости остаться до поры до времени в Варшаве и выждать дальнейшего развития политических событий. Это кажется мне важнее для моего патрона, чем быстрая доставка письма графа Потоцкого, содержание которого, пожалуй, может оказаться преждевременным ввиду совершающихся здесь событий. Однако теперь я оставляю вас, чтобы устроиться в соседней с вами комнате, которую, надеюсь, хозяин гостиницы уже освободил для меня.

Акст вышел вон. Вскочивший с места Серра погрозил ему вслед кулаком и воскликнул:

— Проклятый проныра! Несомненно, его прислали сюда шпионить за мною. Хотя это ему, конечно, и не удастся, но он всё же будет парализовать мою деятельность, потому что наверно сумеет устроить так, чтобы я не оставался ни минуты без надзора. А этот Феликс Потоцкий!.. О, моё подозрение против него было основательным! Он старается удалить меня, чтобы о его фальшивой игре не узнали в Вене и не помешали ей! Прежде всего нужно закончить моё донесение

графу Виельгорскому, а также скорее довести до его сведения последние события. Агент торговой компании явится ко мне, и я могу даже в присутствии Акста вручить ему моё письмо для отправки.

Серра принялся усердно писать дальше. Тут до него донеслись громкие крики с улицы.

— Что это значит? — произнёс он, прислушиваясь, — неужели покров уже спал? Неужели народ осмелился восстать? О, тогда выяснилось бы, кто затеял это похищение и чья рука готова поднять корону, упавшую с головы Понятовского! Но нет, — продолжал он, по-прежнему, прислушиваясь, — это — не революционные крики; это — клик радости... так не возвещают восстания!

Серра приотворил немного своё окно.

— Да здравствует Станислав Август! Король снова нашёлся! Да здравствует король! Долой изменников!

Эти крики выделялись из беспорядочного гама и все массы народа, наполнявшие до сих пор густыми толпами улицы, кинулись бегом по направлению к дворцу.

Пока Серра, с величайшим удивлением и чутко насторожившись, прислушивался к этим возгласам, к нему опять вошёл Акст и сказал:

— Всё устроено, теперь я — ваш сосед. Но что это значит? Какой дикий гам поднимается снова на улице? Вы слышите? — спросил он, раскрывая больше приотворенное окно. — Прямо не верится!.. Народ ликует; кричат, что король нашёлся! Какой новый удивительный оборот! Должно быть, похитители — ужасно неловкие люди, или их противники далеко превзошли в ловкости заговорщиков, если сумели отбить у них добычу. Но, действительно, это очень важно... Нам надо узнать правду. Я спущусь на улицу, чтобы расспросить, что случилось, и скоро принесу вам известие!

— В такие минуты, как эта, — сказал Серра, быстро поднимаясь, — даже и больное тело должно повиноваться нашей воле. Я пойду с вами... Тревога ожидания повредила бы моему здоровью хуже телесного напряжения.

Оба спустились вместе на улицу с весьма различными помыслами каждый, но с единодушным желанием, чтобы доходившие до них клики народа возвещали правду, потому что обоим этим людям было нужно время для подготовки к осуществлению своих планов, которые грозило разрушить такое неожиданное событие, как похищение короля.

XXV

Тем временем Колонтай и Заионček не оставались в бездействии; они быстро соединились с несколькими единомышленниками и, переходя от одной кучки народа к другой, с жаром и одушевлением говорили о немедленном восстании и убедительно доказывали, как легко удастся в данный момент изгнание русских из Варшавы, потому что русские во всяком случае виновны в похищении короля, если же не вырвать у них из рук плодов их преступления, то польская нация должна безвозвратно подпасть под чужеземную тиранию. Эти люди поджигали везде разбивать арсеналы для вооружения народа. Тогда было бы достаточно одного часа, чтобы отвоевать себе свободу, и вся страна должна была последовать примеру столицы.

Некоторые граждане незаметно скрывались при подобных речах, чтобы предусмотрительно уклониться от участия в таком опасном замысле; но в умах большинства подстрекательства Колонтая и его друзей находили восприимчивую почву, и всё сильнее становилось волнение

между кучками народа, так как Колонтай умел искусно пользоваться именами обоих графов Потоцких, чтобы привлечь на свою сторону последователей различных партий.

Пока таким образом брожение было в полном ходу, к всеобщему удивлению, ко дворцу внезапно подошли казаки в походной форме; в то же время подъехали фуры; в них были посажены гренадеры; затем на глазах всех князь Репнин сел на лошадь и во главе почти всех русских военных сил выступил из города.

В первый момент народ был поражён этим передвижением войск, улицы опустели и каждый старался скрыться от какой-то неведомой опасности, угрожавшей населению. Но неутомимый Колонтай поспевал повсюду и кричал колеблющимся:

— Разве вы не видите? русские отступают. Поселяне предупредили нас. Они восстали, и русский военачальник спешит на помощь своим гарнизонам, а может быть, пускается в поспешное бегство, чтобы достигнуть границы, прежде чем на него обрушится приговор суда! Не допускайте такого позора столицы, чтобы она оказалась последней, сбросившей с себя чужеземное ярмо! Соединяйтесь вместе в различных кварталах

города и спешите избрать себе предводителей. Каждый неси с собою оружие, кто сколько может захватить; займите дороги к арсеналу, чтобы в случае надобности мы могли прибегнуть к силе. Потом пойдёмте к дворцу, потребуем от министров вооружения народа; они не посмеют отказать нам в нашем требовании, потому что их не связывает больше страх пред силой, а если они всё-таки воспротивятся... ну, тогда они будут изменниками чести Польши, мы отрешим их от должности и выберем из среды народа новое правительство, которое должно изгладить долгий позор и возвратить отечеству свободу!

Это предложение было принято с ликованием и многие из нерешительных примкнули теперь к общему движению после ухода русских. Живо были провозглашены в отдельных группах имена вожаков, впереди которых стояли Колонтай и Заионček.

Вскоре значительная часть народа была вооружена саблями и пистолетами, а густые толпы запрудили улицы, которые вели к арсеналу, и не успели ещё во дворце догадаться о том, что происходит в городе, как провозглашённые там и сям собравшимся народом вожаки под председательством Колонтая собрались в пригородном

шинке на совет, который решил немедленно отправить во дворец депутацию, чтобы требовать от правительства немедленного созыва сейма при участии избранных народных представителей, до созыва же этого сейма правительство должно было действовать при участии вожаков народа. Если бы это требование было отвергнуто, то теперешнее правительство следовало тотчас объявить низвергнутым от имени народа, арсенал же взять приступом, чтобы организовать вооружённую силу революции. Руководители восстания не сомневались в том, что даже преданные королю гвардейцы, возмущённые его похищением, примкнут к народному движению, пылая жаждой мести.

В сопровождении нескольких других вожаков они тотчас отправились к дворцу, тогда как прочие остались на месте, чтобы организовать народ, занять пути к арсеналам и собрать многочисленные толпы у дворца, с целью тотчас двинуться на приступ, если посланные депутации не вернутся назад через час.

Провожаемый многочисленной массою народа, возбуждавшей себя к всё возраставшему одушевлению, Колонтай со своими товарищами достиг дворцового двора. Королевские уланы стояли на

карауле; они спросили, что нужно пришедшим.

— Мы требуем, чтобы министры выслушали нас, — последовал ответ Колонтая, — мы хотим узнать от имени народа, что решило предпринять правительство, чтобы защитить народ от большой беды при угрожающей всем опасности.

— Значит, вы — друзья короля? — спросил тогда улан, карауливший ворота.

— Друзья короля, который избран народом и защищает право и честь народа, — ответил Колонтай.

Улан как будто удовлетворился его ответом.

— Входите, — сказал он, — если вы — друзья короля, то господа там во дворце сделают хорошо, если выслушают ваш совет и последуют ему.

Когда Колонтай, сопровождаемый кликами народа, теснившегося кругом, входил в ворота, какой-то молодой парень, судя по запачканной мукою куртке, батрак с мельницы, точно так же был пропущен во двор стражею, которая приняла его за дворцового служителя. В руках у него была сложенная бумага; робко и боязливо оглянувшись во все стороны, он подошёл к Колонтаю и сказал:

— Прошу прощения, пан, я не знаю, куда мне здесь обратиться. Не можете ли вы мне сообщить,

где сыскать тут пана, чьё имя выставлено на письме? Я спрашивал на улицах, мне велели идти во дворец, но я всё-таки не знаю, как мне его найти, говорят, что он — командир гвардейцев.

Колонтай, поглощённый собственными мыслями, кинул беглый взгляд на бумагу, которую держал пред ним парень, и, пожимая плечами с видом сожаления, ответил:

— Это — генерал Коччеи. Только ты пришёл не вовремя: генералу будет не до того, чтобы читать прошение и сделать что-нибудь для просителя.

— О, милостивый пан, — возразил работник, — бедняга действительно нуждается в помощи, и если бы только тот генерал знал, как ему приходится плохо...

— Ну, — нетерпеливо перебил Колонтай, — тогда ступай в караульную, оттуда тебя проводят к генералу; но говорю тебе заранее, что сегодня ты едва ли добьёшься чего-нибудь от него.

Парень последовал полученному указанию и подошёл к дверям караульни, где снова показал солдатам свою бумагу.

Колонтай направился к внутреннему входу, чтобы велеть доложить о себе министрам, которые всё ещё находились в полном своём составе во дворце; однако внутренний караул и толпив-

шиеся в сенях лакеи оказались менее сговорчивы, чем стража у наружных ворот: они вздумали ставить различные затруднения непрошеному посетителю. Во всём дворце господствовало страшное недоверие к каждому новому лицу. Колонтая принялись подробно расспрашивать о том, что ему надо от министров, и, чем неохотнее, чем спесивее отвечал он на эти расспросы, тем недоверчивее относились к нему. Наконец он вспылил и собирался уже отправить одного из своих провожатых назад, чтобы сообщить собравшемуся на площади народу, какой неблагосклонный приём встретили здесь его желания, что бесспорно должно было послужить знаком для атаки дворца.

Но тут весь дворцовый двор внезапно огласился громким криком радости.

Колонтай оглянулся назад; дворцовая прислуга и караульные в сенях также высыпали на крыльцо, чтобы узнать причину такого ликования, поразительного при настоящих обстоятельствах.

Виновником поднятого шума был генерал Коччеи, который только что вышел из подъезда, где солдаты подвели к нему молодого парня в куртке, выпачканной мукою. Генерал — высокий, стройный мужчина лет пятидесяти, с благородным,

резко очерченным лицом — взял бумагу из рук батрака, который так усердно разыскивал его, и, познакомившись с её содержанием, издал тот громкий радостный крик, который раздался по всему дворцовому двору. Сбегавшиеся со всех сторон любопытные увидали к своему удивлению, как обыкновенно гордый и неприступный генерал обнял работника с мельницы и нежно прижал к груди, после чего сложил руки и взглянул на небо, точно хотел произнести благодарственную молитву. Но потом он широко расставил руки и воскликнул громким голосом на весь двор:

— Слава Богу!.. Король нашёлся, он жив, он спасён!

В одну минуту весь дворцовый двор наполнился людьми, даже во всех окнах показались любопытные лица. Народ валил сюда извне. Караульные не думали больше удерживать его, и, пока генерал Коччеи кинулся наверх в зал заседания министров, чтобы сообщить там полученные известия, торжествующие клики уже гремели вокруг всё громче и громче.

Колонтай оцепенел на один миг при таком известии, которое было так же неожиданно и поразительно для него и для всех прочих, как и

похищение короля пред тем. Его спутники, поражённые слышанным, вопросительно смотрели на него, и он воскликнул:

— Мы должны пробраться вперёд, теперь мы тем менее не смеем отступать. Народ выступил наконец на сцену, он поднял руку, чтобы заняться устройством собственной судьбы. Он не должен допускать, чтобы его опять оттеснили назад. Вперёд, друзья мои, вперёд! Пойдёмте наверх к министрам. Народ стоит за нами. Если король действительно отыскался, то при своём возвращении он найдёт в своём правительстве народных представителей.

С этими словами зачинщик бунта выступил вперёд, чтобы подняться на лестницу, но это оказалось невозможным. Слуги, гвардейцы, придворные и государственные чиновники теснились на ступенях беспорядочной толпой и каждую минуту Колонтаю с его спутниками приходилось выносить новые объятия, выслушивать новые изъявления радости и новые вопросы.

Генерал Кончен поспешно спустился обратно вниз и приказал, чтобы эскадрон улан сел на лошадей, а также потребовал, чтобы ему подвели его собственную верховую лошадь.

Теперь не было возможности двинуться даль-

ше. Целый людской поток катился из внутренних помещений дворца во двор, так как многие сановники также хотели разыскать своих лошадей, чтобы присоединиться к генералу.

Колонтая увлекали всё дальше; на дворцовом дворе он встретился с несколькими прочими вожаками, которые проникли сюда из своих кучек народа на площади.

— Мы не должны упускать случай, который, пожалуй, никогда больше не подвернётся, — воскликнул Колонтай. — Теперь, когда ничто в городе не может сопротивляться народу, нам нужно вытребовать новую конституцию, способную дать отечеству здоровую внутреннюю силу. Если король при своём возвращении увидит, что город и правительство в наших руках, если народ окружит его, будучи вооружён, то, конечно, ему придётся волей-неволей согласиться с тем, что он застанет здесь в виде совершившегося факта, и плоды заговора, устроенного другими, достанутся нам. Спешите, спешите, друзья мои! Велите вашим людям открыть нам вход, остальные же должны вооружиться; им следует немедленно открыть арсеналы, занять дворец и ворота, чтобы город был в нашей власти, когда вернётся король!

Вожаки, разумеется, пытались столковаться с окружавшими их толпами народа, но это было невозможно; опьянение, казалось, овладело всеми, на каждое слово следовал ответ:

— Да здравствует король! Смерть изменникам!

Народное движение во вкусе Колонтая стало невозможным; народ не понимал, с какой стати теперь, после того как король отыскался, он всё-таки должен подниматься, когда причиной его восстания было именно похищение короля.

Король Станислав Август, который долгие годы был безразличен для всех своих подданных и ненавистен патриотам всех политических партий, внезапно стал предметом поклонения, а его имя тысячекратно повторялось в ликующих кликах народа.

Эскадрон улан выстроился. Генерал Коччеи сел на лошадь и двинулся из ворот дворца.

Теснившимся к нему ближе всех он отвечал на их вопросы, где нашёлся король, только следующее:

— В Мариемоне. Через час его величество будет здесь!

После того он пустил свою лошадь крупной рысью вскоре исчез из вида в сопровождении многочисленных всадников и своего эскадрона

улан.

Часть народа кинулась за ним следом, чтоб у въезда в город выстроиться возле дороги и таким образом занять самое удобное место для первого приветствия возвращавшегося короля; другие же остались стоять на дворцовом дворе, чтобы быть поближе к источнику всех новых известий об удивительных событиях, которые совершились с такой быстрой сменой.

Тем временем городские улицы стали украшаться по праздничному. Из окон вывесили ковры и флаги, цветочные гирлянды перекидывались через улицу и повсюду шла суета всеобщего народного праздника.

Колонтай вскоре отказался от последней попытки направить народ по-своему. В данный момент Варшава была более монархической, чем всякая другая столица в Европе.

Единственным движением, способным увлечь взволнованный и воодушевлённый народ, было бы восстание против русских, и, бесспорно, оно удалось бы тогда в Варшаве. Но князь Репнин удалился с большею частью русского гарнизона, немногие оставшиеся русские войска сидели взаперти, словно притаившись, и ожесточению против иноземцев не доставало видимого объек-

та, против которого оно могло бы направиться.

Колонтай наконец признал гибель своего плана и вместе с Заиончеком вернулся к графу Игнатию Потоцкому, чтобы известить последнего о безуспешности своих трудов.

До графа уже достигла весть о том, что король найден и он, с весёлым настроением лица выслушав сообщение Колонтая, воскликнул:

— Слава Богу, что всё так обошлось! слава Богу, что дикие революционные элементы не пробудились и не вызвали страшного пожара, которого мы никогда не потушили бы! Теперь будущее принадлежит нам, теперь вместо мятежа мы принесём своему отечеству свободу, теперь наше будущее счастье пышно расцветёт.

Колонтаю и Заиончеку непонятен был горячий порыв этого обычно спокойного человека. Они не знали, что на груди у него спрятано письмо Марии и что недавно пред тем он был готов отказаться от всего на свете и вознаградить себя за всё её любовью, и что теперь у него снова явилась надежда соединить благородный труд на пользу своему отечеству со сладким счастьем любви.

Акст и Серра также пришли на дворцовую площадь, явившись туда немного спустя после того, как генералом Коччеи через работника с

мельницы Мариемона было получено известие о том, что король нашёлся. Они видели генерала, ехавшего верхом на лошади во главе гвардии, которая выступила для встречи короля, и не могли более сомневаться в том, что известие, возбудившее такое ликование в народе, было истиной. Поэтому и тот, и другой, несмотря на различные планы, лелеемые ими, были одинаково обрадованы случившимся.

— Вы были правы, многоуважаемый господин Акст, — сказал Серра, — свежий воздух и движение благотворно подействовали на меня, а свалившаяся с плеч забота, в которую повергла меня угрожавшая королевству опасность, отлично повлияла на мои силы и здоровье. Я чувствую себя значительно лучше и почти готов испытать свои силы и тотчас же отвезти господину Герне письмо графа Потоцкого, если вы, конечно, не освободите меня от этого труда и не разрешите передать письмо через вас.

— Ни в коем случае, дорогой Серра, — ответил Акст. — Граф передал письмо вам и я не имею права принять его от вас, да и не хочу брать на себя ответственность за него. Но, со своей стороны, я не вижу причины оставаться здесь и, если вы ничего не имеете против, мы можем вместе

отправиться в путь.

— Я думаю, что так будет лучше всего, — сказал Серра, которому главным образом необходимо было как можно скорее удалить из Варшавы Акста и который, после такого оборота событий, не считал рискованным своё отсутствие в столице польского королевства. — Только я полагаю, — прибавил он, — что будет целесообразнее, если мы подождём фактического подтверждения поступившего известия и своими собственными глазами убедимся в том, что король Станислав Август действительно нашёлся и возвратился в свою резиденцию. У меня будет пока время закончить свой доклад графу Виельгорскому, содержание которого я могу устно сообщить вам и господину министру фон Герне, что избавит меня от труда снимать с него копию.

— Отлично, отлично! — заметил Акст. — Пока вы будете заканчивать доклад, я немного отдохну и затем мы снова выйдем вместе, чтобы взглянуть на въезд короля и убедиться, что увезённый во мраке ночи государь в самом деле при свете дня вступил в свою столицу и что поэтому нечего опасаться неожиданного переворота в Польше... Моя почтовая карета стоит наготове, и если вы хотите занять в ней место, то с наступлением ноч-

ной прохлады мы можем отправиться в Берлин.

Серра утвердительно кивнул головой и они рука об руку, как два искренних друга, возвратились в гостиницу «Белый олень». В глубине сердца Серра посылал ко всем чертям своего спутника. А то, что думал Акст относительно итальянца, едва ли кто-либо мог бы прочесть на его лице, черты которого в этот день казались значительно менее строгими, чем обыкновенно; можно было даже принять за улыбку то лёгкое подёргиванье, которое время от времени поводило его губы.

Между тем король Станислав Август безмятежно и спокойно спал на мельнице в Мариемоне, на соломенном ложе в столовой мельника. Последний вместе с женою беспокойно ожидал возвращения посланца и по временам боязливо посматривал по направлению леса, не приближаются ли к мельнице подозрительные фигуры. Он всё ещё боялся мести разбойников за то, что принял преследуемого ими; притом же он ещё не мог совершенно избавиться от подозрения, что двое людей, которым он оказал гостеприимство, пожалуй, и сами принадлежат к шайке разбойников и только для вида отослали работника в Варшаву, чтобы тем временем совершить где-либо нападение или ускользнуть от преследования.

Косинский бледный, с обнажённой саблею в руке, стоял пред дверями мельницы; он медленно двигался взад и вперёд, делая всего лишь по несколько шагов в ту и другую сторону, и, уронив голову на грудь, видимо, погрузился в глубокие размышления; время для него проходило почти так же незаметно, как и для спящего короля. По временам лишь он, как бы молясь и прося чего-то, посматривал на небо и с его губ срывался лёгкий, как дуновение ветерка, шёпот:

— Юзефа... Юзефа, да смилуется над нами Господь Бог!

Мельник встал у окна в верхнем этаже и не спускал взора с туманной дали. Немногочисленные работники, бывшие в поле, не успокоили его; в близлежащем мариемонском замке находились лишь старый кастелян и несколько слуг; они не могли оказать ему защиту в случае нападения вооружённых разбойников, со времени диссидентской войны всё ещё колесивших по стране. Поэтому страшен был его испуг, когда он заметил на опушке леса, из-за поворота дороги высоко вздымавшееся облако пыли; такое облако могло быть поднято лишь копытами коней большого отряда всадников. Облако пыли всё приближалось и приближалось. Мельник рассмотрел в нём

блеск оружия. Нёсшиеся с бешеной быстротой всадники уже были недалеко от мельницы и можно было ясно видеть их мундиры; при виде их мельник испуганно воскликнул:

— Боже всемогущий, это — солдаты!.. Значит, всё же разбойники проникли к нам? Вот явились и солдаты искать их! Но вы сами должны подтвердить, — продолжал он, обращаясь к стоявшим позади него служанкам, — что эти разбойники лишь угрозами и силой заставили меня впустить их сюда!.. О, Господи, нас сочтут за их соучастников и вместе с ними бросят в тюрьму!

Мельник опустился на колена; его жена, служанки и оставшиеся на мельнице работники последовали его примеру и все, дрожа от страха, стали молиться, трепещущими руками делая крестные знамения.

Между тем отряд прискакал к мельнице. Генерал Кончен на своём взмыленном коне опередил всех остальных. Он соскочил с седла и бросился в дом мельника. Там его встретил Косинский.

— Где король? — спросил генерал.

Косинский с печальным взором опустил саблю перед Коччеи и провёл его в столовую, где спал король.

Мельник трусливо и нерешительно спустил-

ся по узкой лестнице, ведшей в нижний этаж; остановившись посреди её, он с любопытством заглянул через открытую дверь внутрь маленькой комнаты, в которой до сих пор разыгрывались лишь однообразные сцены его тихой семейной жизни и которая теперь стала ареной для столь беспокойного происшествия.

Король ещё не поднялся со своего ложа. Он пробудился от сна и испуганно вскочил при шуме неосторожно отворенной двери, словно с его пробуждением пред ним снова предстали как живые грозные картины минувшей ночи.

— Ваше величество, мой августейший повелитель! — воскликнул генерал Коччеи. — Мор ли я думать, что мне придётся найти вас при такой обстановке! Да будут прокляты изменники, замыслившие подобное злодейство против вашей священной особы!.. Слава Богу, покровительствующему вам! Вы, ваше величество, спасены; вас окружает преданная вам гвардия!

Не будучи в силах превозмочь своё волнение, генерал упал на колена и стал целовать руки короля; на его глазах показались слёзы.

Большая часть улан также соскочила с коней. Некоторые из них вошли в сени, чтобы собственными глазами убедиться в том, что король и в

самом деле находится в этом невзрачном домике; другие окружили Косинского и засыпали его вопросами; но он отвечал на них мрачным молчанием.

Мельник тоже пробрался чрез ряды солдат; позабыв обо всём, он поспешил в маленькую комнату и бросился рядом с Коччеи в ноги королю; его жена, служанки и работники опустились на колена рядом с ним. Все наперерыв целовали ноги короля и полу его одежды, призывали на него благословение Божие и выражали своё счастье по поводу того, что их дому было предназначено дать приют помазаннику Божию.

Странное, почти комичное зрелище представляли эти люди, стоявшие на коленах рядом с блестящим, важным генералом пред бледным, истомлённым королём в разорванном, забрызганном грязью платье; но все присутствовавшие в этот миг ощущали только трогательную сторону этой картины, выражавшей всю радость подданных, нашедших короля, и у многих из присутствовавших глаза наполнились слезами.

— Дорогой генерал, — сказал Станислав Август, взволнованный до глубины души доказательством столь горячей приверженности к нему, что ему редко представлялось испытывать;— вот

эти славные люди доставили мне приют и пищу, когда я раненый и смертельно усталый пришёл к их порогу, и они заслуживают поистине королевской награды; напомните мне о них! Король более, чем кто-либо другой, не должен позабывать оказанные ему услуги.

Генерал вскочил на ноги, опустил руку в карман и передал мельнику свой кошелёк.

Слова короля были расслышаны близстоявшими, и каждый солдат отдал мельнику всё, что у него было при себе. Вошли и офицеры и к мельнику полетели золотые монеты и набитые деньгами кошельки; хотя этот спаситель короля на самом деле лишь невольно и почти насильно оказался в своей роли, но он вдруг был вознаграждён таким богатством, какое не мог представить себе и во сне. От радости мельник даже заплакал и обнял жену. Они снова стали креститься, их губы снова молитвенно зашевелились, но на этот раз была благодарственная молитва за чудесное счастье, принесённое к их порогу бежавшим раненым королём.

Комната мало-помалу наполнялась офицерами, подобно генералу почтительно приветствовавшими короля и серьёзно выражавшими свою радость по поводу его спасения.

По просьбе Коччеи король рассказал всю историю его похищения и почти чудесного спасения.

— Следовательно, человек, которого я нашёл пред дверью дома, — государственный изменник? — воскликнул генерал. — Схватите его! — приказал он уланам.

В один миг Косинский был окружён, с него сорвали оружие и со связанными руками ввели в комнату. Станислав Август положил руку на плечо мрачно потупившегося молодого человека.

— Остановитесь, мои друзья, остановитесь! Зло не должно коснуться его... Я поручился своим королевским честным словом за его жизнь и свободу... Подумайте, что за судьба постигла бы меня, если бы Господь не просветил его ума, внушив ему познать свой злодейский замысел и раскаяться в нём.

— Слово вашего королевского величества должно быть сдержано, — сказал Коччеи, в то время как уланы окидывали враждебными взорами Косинского;— право помилования покоится в ваших королевских руках; но всё же этот преступник перед королём и пред родиной не должен избегнуть коронного суда... Мрачное злодеяние должно быть выведено на свет Божий, его цель и его зачинщики должны быть обнаружены;

он должен дать показания относительно своего преступления и своих соучастников, когда будет вынесен приговор, вы, ваше величество, можете помиловать его.

— Вы слышите, — сказал король, дружески-серьёзно обращаясь к Косинскому, — генерал прав... Ваш поступок, направленный не только против моей особы, но и против общественной безопасности, подлежит суду республики. Будьте смелы и бесстрашно показывайте всю правду — клянусь Богом, что я сдержу своё слово.

Косинский, поникши головою, сказал:

— Это — воля Божья, я сделаю всё, что мне повелевает долг, чтобы искупить своё преступление... Предоставляю свою судьбу милосердию вашего величества. Вам, ваше величество, известно, — уже тише прибавил он, — что побудило меня на преступление и что может придать цену моей жизни, если милосердие вашего величества защитит меня от руки палача.

— И я прошу вас, генерал, а также и всех вас, мои друзья, не обходиться с ним сурово! — сказал король. — Забудьте о преступлении, которое он намеревался совершить, и помните лишь о том, что он спас жизнь вашему королю.

Станислав Август ещё раз коснулся рукою пле-

ча Косинского. Затем молодого человека увели и под усиленным конвоем посадили на коня с тем, чтобы отвезти его вместе с королевским поездом в Варшаву.

Повинуясь словам короля, уланы воздерживались от всяких угроз и оскорблений и в мрачном молчании окружили государственного изменника, осмелившегося поднять руку на помазанника, но боязливо избегали прикасаться к нему.

Генерал Коччеи велел подать закрытый экипаж, взятый им с собою, и выслал вперёд гонца, приказав ему привезти одежду для короля.

Станислав Август, провожаемый благословениями мельника и сбежавшихся с полей работников, вошёл в карету и блестящий поезд двинулся в путь.

В четверти часа езды от предместья с королевским поездом встретился возвращавшийся гонец, привёзший новую одежду для короля. Станислав Август переоделся в карете и, несмотря на то, что был ещё утомлён и изнурён, сел на коня, чтобы при своём въезде в столицу явиться на свободе пред взорами народа.

Пред городскими воротами короля уже ожидали густые толпы народа; при приближении Станислава Августа к небу понеслись шумные

клики ликования; чем дальше подвигался по разукрашенным цветами и флагами улицам королевский поезд, тем гуще становилась толпа, тем восторженнее раздавались её приветственные клики.

Король держал шляпу в руке и раскланивался направо и налево. Все видели его бледное лицо с кровавым шрамом на лбу, и это ещё более разгорячило восторги так легко поддающегося своим чувствам польского народа; в лице поруганного короля каждый как бы чувствовал личную обиду и оскорбление, и к громким приветственным кликам вскоре примешались угрозы и проклятия по адресу преступников.

Косинский молча ехал среди улан, оцепивших его плотным кольцом. Если бы народ увидел его, пожалуй, было бы невозможно оградить его от ярости возбуждённой толпы.

Близ самых городских ворот навстречу королевскому поезду прискакал граф Феликс Потоцкий, окружённый многочисленной свитой. Обнажив голову, он подъехал к королю и поднёс к губам руку, поданную ему Станиславом Августом. Народ встретил его восторженными криками. Во всё время пути по улицам старого города, где народ толпился гуще, чем где-либо, граф Феликс

не покидал своего места возле короля, так что могло показаться, как будто он вводил спасённого короля в его столицу; восторженная радость народа обратилась также и на него и вместе с приветствиями по адресу короля часто раздавались и такого рода восклицания:

— Да здравствует граф Феликс Потоцкий, друг короля... гордость и защита отчества!

Колонтай с Заиончеком и графом Игнатием Потоцким также находились среди толпившихся зрителей.

— Ваш брат умеет выбрать себе место, — с горечью произнёс Колонтай, обращаясь к графу Игнатию. — Когда король исчез, он отсутствовал среди сановников во дворце и предоставил русскому проконсулу распоряжаться по своему усмотрению; теперь же он вступает рядом со спасённым королём в Варшаву и принимает благодарность, которую он мог бы лучше заслужить мужественным словом в минуту опасности.

Граф Игнатий поник головою. Он не ответил ни слова; он думал о том, что сказал ему Акст относительно графа Феликса. Горькое, болезненное чувство заполонило его сердце. В то же время в голове Колонтая пробегали следующие мысли:

«Если бы этот Понятовский был истинным

королём, то в нём хватило бы мужества и силы уразуметь то, в чём нуждается отечество, возложившее на его голову королевскую корону, и он завершил бы то, что нам не удалось. Великие государи умели уловить момент, и этот момент принадлежит теперь Понятовскому. Если бы он теперь произнёс решительное слово, если бы он теперь, сегодня же, созвал сейм и предоставил народным представителям их законное место в государственном совете, — сегодня никто не осмелился бы возразить ему, а если бы кто-нибудь и осмелился, то был бы обращён во прах народным гневом. Сегодня в воле Понятовского стать истинным, действительным государем Божьей милостью и вероятно я сам поднёс бы ему наследственную корону, если бы он смело произнёс решительное слово, от чего зависело бы возрождение нашей родины. Но он и не помышляет об этом; он доволен уже тем, что возвращается в раззолоченную клетку своего призрачного королевского сана, чтобы милостию Екатерины влачить своё печальное существование. Но мы должны продолжать свой незаметный, неустанный труд и всеми силами стремиться к цели, которой он мог бы достичь одним мановением руки».

Поезд, на минуту приостановленный густою толпою, двинулся дальше и вскоре достиг дворца. Здесь уже собрался весь двор. Все придворные дамы и кавалеры спустились на дворцовый двор; туда же протеснился и народ, так как стража никому не преграждала пути, и король въехал на дворцовый подъезд среди густой толпы народа. Здесь восторженные крики «виват» стали почти оглушительны. В то же время загремели фанфары и загрохотали орудийные выстрелы с валов, так что утомлённый Станислав Август чуть не оглох от дикого шума и едва был в состоянии держать в своей дрожащей руке поводья коня.

Тем не менее Станислав Август счастливо улыбался и беспрестанно кланялся направо и налево. Это народное воодушевление при виде его особы, в котором не прокрадывалось ни малейшего диссонанса, было настолько же ново для него, как и благотворно; но в его уме не появилось и следа той мысли, которую внушал ему Колонтай; он ощущал лишь счастливое чувство от того, что после таких тревог и опасности снова очутился в спокойном и безопасном положении, и чувствовал какое-то опьянение от ослепительного блеска королевской власти и великолепия, окружавшего его, вовсе и не думая о том, что этот

блеск, подобно мимолётному солнечному лучу, снова быстро скроется среди тяжёлых грозовых туч, окружавших со всех сторон его престол.

Граф Феликс Потоцкий быстро соскочил с коня и, предупредив генерала Коччеи, подошёл к королю, чтобы придержать его стремя, когда он будет сходить с лошади; Станислав Август оперся о его плечо и затем взял его за руку, чтобы при помощи его подняться на несколько ступеней подъезда.

Поднявшись на них, Станислав Август обернулся и ещё раз поклонился народу, ответившему на это приветствие короля новым взрывом восторженных кликов; затем он исчез в подъезде, сопровождаемый всем двором, — а вместе с тем исчез и тот момент, которым он мог воспользоваться, чтобы превратить призрак в действительность и на самом деле стать королём этого ликующего народа; в своём воодушевлении народ пролил бы за него последнюю каплю крови, если бы только у него хватило духа произнести решительное слово, которое жаждал услышать от него Колонтай.

Среди столпившихся на дворцовом дворе стояли рука об руку и Серра с Акстом.

— Действительно, — сказал Акст, — это — в самом деле король, трагедия обратилась в комедию и всё обстоит по-прежнему.

— Не совсем-то по-прежнему, — возразил Серра, — Репнин со своими солдатами уехал и гоняется за тенью или за блуждающим огоньком, который пожалуй заманит его в роковую трясину.

— Не думаю, — пожимая плечами, сказал Акст, — Репнин не из тех, чтобы застрять в болоте. Будьте уверены, он вскоре будет снова здесь, и так как здесь не рискнули смело сорвать столь быстро созревшие, благодаря случайности, плоды, то снова разгорится борьба; с оружием в руках и не покидая своего поста мы будем зорко следить за нею, — прибавил он, окинув быстрым и проницательным взглядом своего спутника.

— Мы приобрели по крайней мере могучее оружие, которое часто доставляет перевес и в большинстве битв обеспечивает победу, — спокойно произнёс Серра, — это — ни более, ни менее, как время. Часто превратности судьбы зависят от момента, дарованного случаем, но ещё чаще удача следует за осторожным, строго обдуманным и подготовленным планом.

— Как бы то ни было, ничто уже не мешает нашему отъезду в Берлин, — сказал Акст, — так как мы можем быть уверены, что здесь уже ничто внезапно и неожиданно не станет поперёк нашим планам. Следовательно вернёмся в нашу

великолепную гостиницу «Белый олень» и подкрепимся немного, пока приготовят лошадей для нашего путешествия.

Всё ещё рука об руку, они стали пробираться через волнующиеся народные массы к гостинице, и, пока Серра торопливо заканчивал свой доклад графу Виельгорскому, сообщая о неожиданном спасении и возвращении короля, Акст, обыкновенно очень мало интересовавшийся эпикурейскими жизненными наслаждениями, заказал отличный обед, за которым они затем просидели до позднего вечера, оживляя обед весёлым разговором; разумеется, ни тот, ни другой не высказывали в нём своих мыслей.

Король прошёл в аудиенц-зал, где его окружил весь двор. Генерал Коччеи и его братья настаивали на том, чтобы он тотчас удалился и дал лейб-медикам осмотреть его раны. Но Станислав Август отказал им в этом, сказав, что его раны незначительны и что вид всеобщей радости по поводу его возвращения будет самым лучшим и самым действительным лекарством для него. Он вступал в разговор с каждым из присутствовавших, принимал их поздравления и в сердечных, тёплых выражениях благодарил за выказанное участие.

Появилась и графиня Елена Браницкая.

— Кто мог бы подумать, ваше величество, — взволнованно произнесла она, — что случится столь возмутительное происшествие? Только вчера вечером мы расстались с вами после прелестного бала у княгини Чарторыжской! Слава Богу, что всё так счастливо обошлось! Мне кажется, как будто между сегодня и вчера протекли целые года.

Станислав Август учтиво поцеловал её руку и сказал:

— И всё же, моя дорогая кузина, я не забыл того, о чём вы просили меня и что я вам обещал. Вы должны убедиться в том, что вы всегда можете рассчитывать на преданного вам брата, и ещё сегодня вечером, — прибавил он, заглушая голос и нагибаясь к ней, — мой секретарь передаст вам паспорт, необходимый вам для сохранения инкогнито в своём путешествии.

— Благодарю, тысячу раз благодарю вас, ваше величество! — ответила графиня. — Если бы я была мужчиной, я предоставила бы к услугам вашим свой меч и свою силу... для слабой женщины остаются лишь её молитвы, и последние повсюду и всегда будут возноситься к Господу Богу за моего державного брата.

— Я придаю высокое значение вашей молитве, графиня, — сердечно, но всё же не без лёгкой иронии ответил Станислав Август, — но вместе с тем знаю, что знамя дома Браницких имеет великую силу в Польше и что этого знамени часто недостаёт в рядах моих друзей.

Прежде чем графиня могла ответить, он поцеловал её руку и отвернулся, чтобы продолжать свой обход. Покончив с ним, Станислав Август удалился к себе в спальню. Врачи осмотрели его раны и объявили, что они не представляют опасности; но всё же королю было предписано несколько дней абсолютного покоя, необходимого для его выздоровления и подкрепления его сил.

Станислав Август добросовестно исполнил это предписание; ведь он так хорошо чувствовал себя, вновь сознавая свою безопасность и так явно выказанные ему всеобщую любовь и благоговение, в которые пред тем он едва ли верил.

Но в то время, пока король уединялся, миновало воодушевление быстро возбуждающегося и так же быстро позабывающего народа, и бразды судеб его королевства, которые он несколько мгновений, вовсе не подозревая, держал в своих руках, снова упали на землю, становясь добычей для всякого честолюбца, который отважно и ис-

кусно сумел бы ухватиться за них.

С наступлением ночи со двора гостиницы «Белый олень» выехала простая почтовая карета, запряжённая парою выносливых почтовых лошадей, и направилась к прусской границе. В ней сидели Акст и Серра. Каждый из них откинулся в свой угол кареты; и тот, и другой были довольны тем, что под предлогом усталости могли избегнуть разговора, который для обоих был бы упражнением в нелёгком искусстве под фразами скрывать свои мысли.

Серра, пожалуй, был бы менее спокоен, проезжая по погруженным в ночную тьму улицам, если бы видел улыбку, вздрагивавшую на тонких губах Акста, по уши закутавшегося в свой плащ, и если бы был в состоянии прочесть мысли, вызывавшие эту улыбку. Ведь и у него были свои мысли, совершенно занявшие его. Поэтому они едва заметили, что в получасе езды от города мимо них проскакали пикеры с факелами в руках.

В ответ на их окрик почтальон свернул с дороги и через несколько секунд мимо них стрелою пронеслась карета, запряжённая шестёркой лошадей. Каретные огни ослепительно блеснули по скромной повозке. Множество слуг следовало верхом за каретой. Вскоре всё это снова исчезло

во тьме ночи. Стук лошадиных подков и шум колёс кареты прозвучали вдали, и почтальон снова повернул на середину дороги.

Это была графиня Браницкая, выехавшая тою же самою дорогою, которая вела и к прусской границе, и к белостокскому замку Браницкой. Своим слугам, оставшимся в её дворце в Варшаве, она указала на этот замок как на цель своего путешествия и как на своё местопребывание в ближайшем будущем.

Граф Игнатий Потоцкий через несколько дней явился с визитом к графине; он чувствовал необходимость объясниться с ней и всё-таки робел пред этим объяснением; поэтому-то он и отложил на такой долгий срок своё посещение. Во дворце Браницкой он узнал, что графиня уехала в Белосток. Тут он вспомнил о её неоднократном приглашении навестить её в Белостоке.

Хотя граф Игнатий и решил поехать туда к графине Браницкой, но он со дня на день всё откладывал эту поездку, причём страх пред встречей с графиней старался оправдать необходимостью остаться в Варшаве, чтобы наблюдать там за ходом событий и быть осведомлённым обо всём, что касалось осуществления условленного с Герне плана, к которому примкнули теперь и

Колонтай с Заионческом.

София де Витте испугалась, услышав о возвращении короля, которое легко могло поставить графа Феликса Потоцкого в двусмысленное и опасное положение. Но, после короткого размышления, она уже примирилась с этим оборотом событий; она знала, с каким нерасположением относилась Екатерина Алексеевна ко всяким неожиданным событиям, ставившим её в необходимость принимать внезапные и неожиданные решения; она знала, с каким далёким расчётом создавала императрица свои планы на приобретение Польши, и понимала, что следовало опасаться неудовольствия Екатерины Алексеевны по поводу исчезновения короля, который к тому же был когда-то её фаворитом. Таким образом ей представлялся верный путь извлечь себе выгоду и из этого события и воспользоваться им для удаления князя Репнина, так как его своевластный и самостоятельный характер бесспорно являлся препятствием для того положения, которое она надеялась занять в Варшаве в качестве приятельницы русской императрицы.

София посоветовала графу Феликсу, слепо повиновавшемуся ей, при возвращении короля встать на первый план в глазах народа и, благодаря

тому, не только сохранить свою популярность, но и по возможности увеличить её. Вместе с тем, как только распространилась весть, что король нашёлся, она послала курьера в Петербург к императрице с обстоятельным докладом относительно всего, что произошло в Варшаве, и только через шесть часов отправила второго гонца, которому не велела особенно спешить, в Ченстохове к выжидавшему там князю Репнину. Вслед за новым курьером она послала в Петербург ещё несколько других, которым предстояло подробно сообщить императрице о всех событиях в Варшаве и сообщаемые факты осветить её личными наблюдениями и выводами. Вследствие этого, когда поступило донесение князя Репнина из Ченстохова, Екатерина Алексеевна уже давно была осведомлена обо всём.

Уже на другой день по своём прибытии София перебралась в загородный дом графа Феликса Потоцкого, расположенный в предместье Варшавы, и графу предстояло ввести её в общество в качестве своей знакомой по петербургскому дворцу.

Возвратившись из Ченстохова, Репнин нашёл прекрасную гречанку уже на её новом пепелище, окружённую самой изысканной роскошью. Репнин очень недовольный вернулся уже в со-

вершенно успокоившийся город; он отлично сознавал, что роль, разыгранная им в эти богатые событиями дни, почти переходила границы смешного и что его поспешному выступлению в Ченстохове легко можно было придать вид боязливого бегства, что могло серьёзно повредить русскому влиянию в Варшаве.

Репнин с неудовольствием стал упрекать Софию за тот совет, который она дала ему; но она полусмеясь, полувысокомерно отклонила его упрёки, указав на то, что, напротив, она заслужила его благодарность, так как предоставила ему возможность овладеть особою короля; к этому же она добавила, что если это и не удалось ему, то вина за то лежит на нём самом, так как совершенно непонятно, что русские патрули не могли открыть местопребывание короля, несмотря на то, что последний находился почти в непосредственной близости от города.

Репнин пытался принять прежний высокомерный и повелительный тон в отношении польских министров и сановников, но почувствовал повсюду заметную и чрезвычайно мучительную для него перемену. Граф Феликс Потоцкий, прежде так льстиво угождавший ему, особенно гордо и надменно противоречил ему при всяком удобном

случае, и когда Репнин выразил желание получить аудиенцию у короля, надеясь, что сумеет, как и раньше, устрашить своими грозными речами Станислава Августа, то гофмаршал объявил ему, что по предписанию врачей король ещё не принимает никого, за исключением самых близких себе лиц.

Неудовольствие Репнина росло со дня на день. Он отослал в Петербург подробный отчёт о своих действиях, причём вместе с тем жаловался на многих польских придворных и государственных сановников, и в особенности на графа Феликса Потоцкого, как на своего рода крамольников; в нём же он просил полномочий на сконцентрирование более сильных отрядов войск на беспощадный, энергичный образ действий, что возвратило бы ему его прежнюю власть.

Но, прежде чем этот доклад мог попасть в Петербург, оттуда прибыл курьер, доставивший Репнину в высшей степени милостивое собственноручное письмо Екатерины Алексеевны. Императрица написала, что она вспомнила о важных военных заслугах князя, а вследствие этого намеревается передать в его командование армию и желает лично переговорить с ним по этому поводу, почему и просит его тотчас

прибыть к ней в Царское Село. К этой собственноручной записке императрицы были приложены отзывные грамоты князя Потёмкина. Ни императрица, ни князь ни словом не упоминали о польских делах.

Несмотря на лестную форму письма, Репнин почувствовал всю оскорбительную горечь подобного отозвания, тем более, что не были изложены даже причины к тому. Так как король был всё ещё болен, то он передал свои отзывные грамоты с сопроводительным письмом гофмаршалу и, не простившись ни с двором, ни с польскою знатью, втихомолку ночью покинул Варшаву.

Феликс Потоцкий принёс Софии известие об этом неожиданном событии, возбудившем самые оживлённые толки во всей Варшаве.

— Ну, мой друг! — воскликнула она с сияющим взором, — мы отказались от короны, но власть принадлежит нам; отныне мы повелеваем в Польше. Кого ни пришлёт сюда Екатерина вместо Репнина, всяк будет послушен моей воле, и королевская власть этого Станислава Понятовского исчезнет как призрачная тень.

XXVI

По настоятельному желанию короля Косинский был помещён в отдельную тюрьму, устроенную во флигеле самого дворца и снабжённую необходимейшими удобствами. Отпустить его на свободу было невозможно, как уличённого в государственной измене королю и государству. Для разбора тяжкого преступления был наряжен чрезвычайный суд, в состав которого, кроме членов судебной палаты, были призваны также и высшие сановники государства. Графу Феликсу Потоцкому в качестве фельдцейхмейстера артиллерии в числе прочих магнатов пришлось занять место между судьями похитителей короля, и он подчинился этому обязательству беспрекословно, хотя с тревожной робостью помышлял о том, какой оборот могли придать делу показания виновных.

София де Витте смеялась над его озабоченностью.

— Чего тебе бояться, мой друг, — сказала она, — раз мы совершенно ясно видим, по какому пути нам нужно следовать и к какой цели стремиться?

Государыня знает, что ты держал в руках нити заговора и сделал всё, чтобы вручить эти нити ей и отдать в её власть Понятовского. Значит, с её стороны тебе нечего опасаться никакого неправильного толкования, никакого подозрения. Так называемые польские патриоты едва ли вменят тебе в вину участие в деле, плодами которого они охотно воспользовались бы сами. Народ и большинство шляхты стоят на твоей стороне. Каким же образом может повредить тебе судебный процесс? Разве у пойманных заговорщиков есть доказательства? Разве ты когда-либо сносился лично с кем-нибудь из них? А если бы тот или другой из числа подсудимых дал показания, способные набросить тень на чужое доброе имя, то неужели кто-нибудь в Польше осмелится взвести подозрение на графа Феликса Потоцкого? Весь народ восстал бы против этого, и русская военная сила пришла бы тебе на помощь.

Потоцкий, стоявший с мрачным видом пред Софией, которая лежала на диване в его турецком кабинете, произнёс:

— Действительно заговорщики никогда не сообщались со мною и предположения, которые могут быть высказаны ими, не будут иметь значения. Они состояли у меня на службе, но разве я

могу помешать кому-нибудь злоупотребить моим именем для прикрытия преступления? Однако, — продолжал он с мрачным видом, — Вацлав Пулаский держит в руках ключ этой роковой тайны, а Пулаский не вернулся назад! Он отправился в Ченстохов, чтобы ожидать там пленного короля и подготовить мою диктатуру; что будет, если его схватили, если он скомпрометировал себя или — ещё того хуже — меня? Пулаский стоял ко мне слишком близко, всякому известно, что он служил у меня и пользовался моим безусловным доверием; я не могу отречься от него, как от других.

— Видишь, мой друг, как безрассудно и опасно облекать кого-нибудь своим полным доверием и слишком приближать к себе! — по кратком размышлении сказала София. — Тебе совсем не следовало это делать; надо пользоваться людьми, не отдаваясь однако им во власть. Удила, конечно, должны сдерживать коня, но всаднику надо иметь возможность править им, распуская или натягивая поводья, а также бросить его по своему произволу; мы должны управлять людьми, но они сами ни в коем случае не должны знать, куда их ведут. Ты сделал промах, которого тебе нужно остерегаться на будущее время; тем не менее

твоя ошибка поправима; единственною силой, действительно опасной и грозной для тебя, была императрица, а её тебе нечего бояться с той поры, как я сделалась её союзницей.

— А здешний суд? — спросил Потоцкий. — Что мне сказать, если Пулаский схвачен, если он скомпрометировал меня своими словами или действиями, а, может быть, даже сознался в том, что мои друзья поспешат предать самой широкой гласности? Я трепещу при мысли, что Пулаского где-нибудь поймали и могут выставить на суд свидетелем против меня.

— Надо всегда рассчитывать на худшее, — отвечала гречанка. — Моё правило непременно предусматривать самый неблагоприятный случай, чтобы иметь возможность радоваться более благоприятному, как особенному и неожиданному счастью. Итак, допустим, что произойдёт именно то, чего ты боишься. Но какое значение имело бы это обстоятельство? Ведь обнаружилось бы только, что твой доверенный злоупотребил твоим положением, чтобы под прикрытием твоего имени составить заговор... Твоё участие в последнем известно лишь ему одному, а что значило бы его показание против твоего? Найдётся ли в Польше такой человек, который усомнился

бы в слове графа Потоцкого против доноса его слуги, или такой, который осмелился бы высказать подобное сомнение?

— И мне пришлось бы смотреть ему в лицо, — с ужасом воскликнул граф Потоцкий, — уличать его во лжи, когда я знаю, что он говорит правду? Как мог бы я вынести его взгляд!

София громко расхохоталась и насмешливо произнесла:

— Надо привыкать ко многому на свете, мой друг, а в особенности к людским взглядам. Ведь человеческий взгляд — не кинжал, мой друг, да и кинжалов не следует бояться. Поверь мне, если бы взоры людей были их единственным оружием, то я, пожалуй, стала бы бороться с императрицей Екатериной за господство вместо того, чтобы стать её союзницей. Я принадлежу к полу, который называют слабым, но я, право, не в состоянии удержаться от смеха, когда мужчина трепещет чужих взоров!

— А между тем, — полушутя заметил Потоцкий, всё ещё волнуемый мрачными мыслями, — женщинам, в особенности же самой тебе, следовало бы знать силу взоров, которую они так часто дают нам чувствовать.

Он наклонился к Софии и нежно поцеловал

её руку, тогда как взоры красавицы-гречанки остановились на нём с такою гордостью и торжеством, что им действительно можно было приписать всёпокоряющее могущество.

Медленно и неслышно откинулась портьера у входных дверей. Пулаский бледный и мрачный стоял на пороге. София первая заметила его и вскочила. Граф содрогнулся; он как будто в самом деле не мог вынести грозный взор этого бледного человека, потому что потупился. Потом нерешительными шагами он приблизился к вошедшему и протянул ему руку. Пулаский точно не заметил этого.

— Вот наконец и вы, — промолвил граф Феликс, — я давно вас ждал и беспокоился на ваш счёт; счастье, что вы тут. Теперь вы видите, что я был прав с моею осторожностью и что недаром одолевала меня забота; вопреки всем приготовлениям, план не удался.

— И самый лучший план постигнет неудача, если в дело вмешается измена, — возразил Пулаский.

— Измена? — дрожащим голосом пробормотал Потоцкий. — Действительно... Косинский...

— Косинский, — перебил Пулаский, — малодушный человек, мальчишка, но он — не

сознательный предатель. Со стороны Лукавского и Стравенского было неосторожностью оставить одного этого юношу, который больше думал о своей любви, чем об отечестве, и которого я отдал под их строгий надзор. Уговоры и обещания Понятовского сделали своё дело. Он не устоял пред соблазном, и теперь те двое должны тяжко поплатиться за свою оплошность. Но случилось кое-что и похуже, освобождение короля — ещё полбеды.

Он мрачно посмотрел на Софию.

— Говорите, мой друг, — заметил Потоцкий, — да, говорите смело! Эта особа — моя приятельница, у меня нет от неё тайн.

— Никто не имеет права, — возразил Пулаский, — открывать женщинам тайны, от которых зависят судьба отечества и жизнь друзей. Но всё пропало; то, о чём мы на Святых Дарах поклялись молчать, чирикают теперь скворцы с кровель; план не удался, и потому я могу толковать о своей тайне со всеми бабами на свете.

София гордо выпрямилась. Один миг казалось, что с её уст готово сорваться резкое, язвительное слово, но она удержала его и оперлась на руку графа, холодно и высокомерно посматривая на Пулаского.

— Не только король освобождён, — продолжал последний, — глядя в упор на своего патрона, — но и весь заговор раскрыт. Репнин поспешил в Ченстохов, чтобы занять монастырь, прежде чем кто-нибудь успел догадаться, что там находится средоточие всего предприятия, а малодушие Косинского послужило к нашему счастью, потому что, не вырвись, благодаря ему, на свободу Понятовский, он попал бы в руки русских, и императрица Екатерина пожала бы плоды наших трудов. Впрочем, в моих рассказах для вас нет ничего нового, — насмешливо и горько прибавил он, — здесь вы находитесь в центре всех событий, вы знаете, что произошло, и конечно будете лучше меня знать, как это могло произойти!

— Тут вмешалась судьба, — заметил Потоцкий нетвёрдым голосом и с потупленным взором, — против этого бессилен всякий человеческий расчёт. Но, — продолжал он, быстро переменяя разговор и тревожно оглядываясь, — я боялся, как бы вас не схватили.

— Это чуть-чуть не случилось, — произнёс Пулаский, — а тогда, пожалуй, никто и не узнал бы, в каком захолустье Сибири окончилась бы моя жизнь. В ту ночь робкого ожидания я ехал верхом в Ченстохов, чтобы подготовить там ваш

приезд; в своём нетерпении я загнал лошадь и, чтобы иметь возможность на другой день ехать дальше, мне пришлось сделать остановку в одной деревушке. Пока усталое животное собиралось с силами, а я старался забыть свою досаду в мимолётном сне, по деревенской улице скакали всадники, и разбуженный крестьянином, давшим мне приют у себя в хижине, я, к своему испугу, узнал казаков и русских гренадер на телегах. Весь этот поезд нёсся что есть духа по дороге, по которой предстояло мне ехать, чтобы попасть в Ченстохов. Осторожно пустился я дальше, скрываясь как можно искуснее, чтобы не попасть в руки арьергарда, который мог следовать за главным отрядом. В каждом селении, которое я проезжал, мне говорили, что русские проехали раньше меня и брали повсюду свежих лошадей, чтобы не отстать со своими телегами от казацких скакунов. Всё озабоченнее продолжал я свой путь. В городе Ченстохове всё население было невероятно взволновано. Мне рассказали, что русские после кратких переговоров вступили в монастырь, что у ворот они не показываются и что отец вратарь вышел из обители с целью дать строгий приказ по всей окрестности, чтобы никто не приближался к монастырю. Я понял, что

всё пропало, но только не мог понять, как могло это произойти! Особенно тревожило меня то, что Понятовский, пожалуй, попал в руки русских. Я осторожно разведывал о том, однако никто в окрестностях не заметил поезда всадников, прибывшего к монастырю в ночную пору или утром. Я укрылся в городе Ченстохове и обрыскал следующей ночью всю прилегающую местность, но не добыл никаких верных сведений. Наконец пришло известие из Варшавы, что Понятовский спасён и прибыл сюда обратно. Получались всё более и более подробные сообщения. Я узнал о поступке Косинского и приветствовал его как благополучие, потому что если план наш не удался, зато желанные плоды его ускользнули от русских, которые так часто пытались и раньше унизить сынов нашей родины, сделав их своими сознательными или бессознательными орудиями. Всё осталось по-старому, всё могло быть ещё поправлено в будущем, но, — продолжал Пулаский суровым, грозным голосом, — одно было тяжело и горько, одно было хуже трусливого малодушия Косинского; то была ужасная истина, что между сынами Польши, соединившимися для спасения отечества, оказался изменник, потому что без такой измены русские не могли прибыть

в Ченстохов. Я всё ещё мешкал в своём укромном убежище, чтобы посмотреть, что будет дальше, потому что изменивший делу мог изменить и лицам. Я узнал о том, что наряжен суд, узнал, что граф Феликс Потоцкий восседает между судьями; я узнал также, что моё имя не было названо, и вздумал вернуться восвояси.

— А вас видели? — поспешно спросил Потоцкий. — Неужели вы хотите оставаться здесь, где не можете рассчитывать на безопасность?

— Судье над Лукавским и Стравенским следовало бы иметь власть поручиться за мою безопасность, — с горечью сказал Пулаский. — Однако не беспокойтесь, я не намерен пренебрегать опасностью и рисковать своей жизнью в игре, которая не сулит мне чести, а моему отечеству выгоды; я хочу сохранить свою жизнь для будущего, которое, как я надеюсь и верю, всё-таки должно принести свободу и... мщение!

— Что же вы намерены делать? — с беспокойством спросил Потоцкий.

— Не бойтесь ничего, граф Потоцкий, — с холодной улыбкой ответил Пулаский, — моё присутствие здесь не подвергнет вас никакой опасности, не поставит вас в неловкое положение! Я хочу махнуть далеко, за море, чтобы под

знамёнами великого Вашингтона вступить в священную борьбу благородной нации за её независимость. Если я сложу там голову, то Вечная Справедливость зачтёт пролитую мною кровь как жертву за свободу моего польского народа; если же моя жизнь будет сохранена, то я научусь на чужбине как надо сокрушать чужеземную тиранию. От вас, граф Потоцкий, требую я последней услуги.

— Говорите, мой друг, говорите! — с живостью подхватил граф, — ведь вы знаете: всё, что я имею, состоит в распоряжении моих друзей, между которыми вы занимаете первое место.

— Я не требую ничего из вашего достояния, граф Потоцкий, — возразил Пулаский, — я не разбогател, управляя вашими поместьями, но на проезд в Америку у меня хватит средств; а там для борца за свободу конечно найдётся лишний кусок хлеба! Только путь должны вы мне открыть, чтобы я не попал в руки сыщиков тирании.

— Но каким же образом я могу сделать это? — спросил в испуге граф Потоцкий. — Ведь вы знаете, что я должен быть осторожен, чтобы не повредить своему положению, чтобы сохранить себя для будущности отечества.

Пулаский, бросив на него неописуемый взгляд,

сказал:

— Я был вашим домоправителем да состою им и теперь и часто совершал по вашему поручению путешествия, между прочим и за границу; так вот дайте мне поручение в Париж для закупки каких-нибудь предметов или для чего вам угодно и выправьте мне паспорт, чтобы я мог беспрепятственно перебраться через границу и достигнуть Франции. После того, обещаю вам, вы никогда не услышите больше обо мне.

Потоцкий, потупившись, задумчиво смотрел пред собою.

— Вы колеблетесь, граф Феликс, спасти вашего друга от опасности? — сказала София. — То, чего требует Пулаский, действительно разумно, справедливо, и вы обязаны исполнить его желание.

— Слышите, граф Потоцкий? — насмешливо произнёс Пулаский. — То, что эта дама находит справедливым, должно быть справедливо. Не бойтесь, я привык к осторожности; ваш управляющий благополучно доберётся до Парижа и не наделает вам хлопот. Я знаю не хуже вас, как необходимо сохранить вас для будущего ради свободы отечества и... ради мщения за отечество, — тихо прибавил он.

— Через час паспорт будет готов, — торопливо

сказал Потоцкий. — Однако я убеждён, что вы нуждаетесь в деньгах; прошу вас, примите их от друга, который обязан вам так много, что не в силах никогда с вами расквитаться.

— Я уже сказал вам, граф Потоцкий, что моих наличных средств вполне достаточно, — коротко и холодно отвечал Пулаский: — может быть, я найду смерть на поле сражения, тогда как мои друзья попадут в руки палача; но, может быть, я уцелею, чтобы со временем отомстить за них.

— Это должно было случиться, Вацлав, — произнёс взволнованный Потоцкий, — никто не может идти против судьбы. Прощайте, да хранит вас Небо!

Он протянул ему руку, в первый раз подняв на него взор как бы с мольбой.

— Да, — мрачно произнёс Пулаский, — так должно было случиться. Лев беззащитен против змеи, а человек — против измены!

Он не взял руки, протянутой Потоцким, повернулся без поклона и оставил кабинет.

Граф, лицо которого вспыхнуло ярким румянцем, когда Пулаский вышел вон, заметил:

— А ведь, пожалуй, с моей стороны неосторожно отпускать этого человека с его тайной, которую он, обернувшись назад, может метнуть

в меня, как отравленную стрелу.

— Оставь его, — сказала София, — пускай себе убирается как можно дальше! Люди его сорта неудобны вблизи, их поступки нельзя предусмотреть заранее, ими слишком мудрёно управлять, так как у нас нет возможности обуздывать их. Вдали Пулаский будет безвреден, его бегство послужит ему осуждением; каждое обвинение, которое он мог бы взвести на тебя издалека, должно обрушиться на него же самого. Он был бы ещё страшен, если бы когда-нибудь вернулся назад, чтобы отомстить за себя, но мы и императрица Екатерина позаботимся о том, чтобы этого не случилось.

Час спустя у боковых ворот дворца графа Потоцкого Вацлав Пулаский усаживался в простую дорожную бричку, которою он пользовался всегда для своих поездок по делам. Она была запряжена парою почтовых лошадей. Его слуга, которого он на этот раз не брал с собою, вынес чемоданчик с самой необходимой дорожной поклажей. Прежде чем сесть в экипаж, Пулаский обернулся ещё раз; пока лакей прилаживал на место его чемодан, он, тихо шевеля губами, отряхнул пыль от своих подошв. Бричка покатила по оживлённым улицами города и вскоре выехала на большую дорогу,

которая вела к прусской границе.

Граф Феликс Потоцкий отправился в суд и с гордой, уверенной осанкой вступил в зал заседаний, где совещалось собрание высших судей и сановников государства.

Судебный процесс ещё мало подвинулся вперёд. Кроме Лукавского, был схвачен рыскавшими кругом патрулями также и Стравенский, равно как и ещё некоторые из подчинённых заговорщиков. В Лукавском и Стравенском узнали управителей из лугового имения графа Потоцкого, но сами они по-прежнему упорствовали в своём запирательстве и отказывались отвечать на задаваемые им вопросы.

Графу Потоцкому было предложено удостоверить личность арестованных; он ответил с надменно-равнодушной миной, что управители его мелких имений незнакомы ему в лицо, а его доверенный, который один и самостоятельно ведёт все хозяйственные дела, находится теперь в отъезде.

Эти сведения были достаточны конечно лишь на время, почему именно граф и беспокоился так сильно о Пуласком, отсутствие которого страшно заботило его. Однако его внезапное возвращение и отъезд освободили Потоцкого от этого тяжёлого

гнёта, потому что теперь пропала всякая возможность доказать какую-либо связь между ним и заговорщиками. Ввиду этого он с ещё более, чем когда-либо, гордым и победоносным видом вступил в зал заседаний, отвечая с вызывающей надменностью на мрачные взгляды, обращённые на него кое-кем из присутствующих. Лукавский и Стравенский не слыхали ничего о том, что происходило за стенами их тюрьмы; до них не достигла весть о спасении и возвращении короля. Само собою разумеется, они не сомневались в том, что заговор не удался, благодаря какому-то несчастному обороту дела, но находились ещё в недоумении, не зависел ли состав суда, пред которым они предстали, от русского влияния; они всё ещё считали возможным народное восстание и потому держались безусловного запирательства как в своих собственных интересах, так и ради пользы прочих участников заговора.

По просьбе Косинского, король изъявил желание выделить его совершенно из судебного процесса, чтобы не сделать невозможною будущность, обещанную им своему спасителю, и суд уважил желание короля ради заслуги Косинского в деле спасения монарха; тем не менее было наконец решено привести Косинского на очную

ставку с прочими заговорщиками. С тяжёлым сердцем пришлось королю согласиться на это, так как он не имел власти противиться распоряжению суда. Но он настойчиво потребовал, чтобы ему было предоставлено решение участи Косинского и чтобы все члены суда поручились своим словом в том, что его спаситель не будет лишён ни жизни, ни свободы.

Суд собрался. Обвиняемые Стравенский, Лукавский и четверо других также арестованных заговорщиков были введены в зал.

Заточение положило свою печать на заключённых: Лукавский и Стравенский поражали своей бледностью и истощённым видом, но мрачная решимость читалась в чертах этих людей и почти насмешливая улыбка мелькала по их губам, когда они по-прежнему отказывались отвечать на все предлагаемые им вопросы.

Государственный канцлер, занимавший председательское место, подал знак, и непосредственно вслед за тем стража ввела в зал Косинского. Он был бледен, держался неуверенно и нерешительно. При виде Стравенского и Лукавского его лицо покрылось яркой краской, а в глазах блеснула молния гнева.

Его сообщники с удивлением переглянулись

между собою; они не могли объяснить себе это позднее появление своего товарища, оставленного ими напоследок при короле.

Государственный канцлер поочерёдно спросил их обоих, знаком ли им Косинский. Оба отвечали по своему обыкновению: «Нет!».

— Ваше запирательство не приведёт ни к чему, — торжественно произнёс канцлер, — вам придётся признать, что Сам Господь простёр Свою десницу, чтобы помешать вашему преступлению. Говорите, Казимир Косинский! расскажите, как произошло преступное дело и как случилось, что коварный план был разрушен.

Косинский с глубоким волнением рассказал всё происшедшее; он сообщил о том, как был сначала вовлечён прочими заговорщиками в их заговор, как поклялся на чудотворной иконе Богоматери, как потом всё было подготовлено и как, пока всё это происходило, на него часто нападали сомнение и недоумение. Вслед за тем он перешёл к событиям роковой ночи, когда был отделён от остальных и наконец остался один с королём в лесу при Мариемоне. Присутствующие были потрясены, когда он передавал свой разговор с королём в безмолвии уединённого леса и описывал впечатление, произведённое на него

словами короля, который разъяснил ему недействительность его богохульной клятвы. Многие из заседавших на суде склонили головы, чтобы скрыть слёзы, выступившие у них на глаза.

Взволнованным сильнее всех казался Потоцкий. Он проводил носовым платком по глазам и не раз, тяжело вздыхая, поднимал взоры кверху, как будто хотел возблагодарить Небо, помешавшее такому гнусному преступлению.

Косинский рассказывал всё просто, ясно и понятно; лишь своей любви не коснулся он и умолчал о согласии короля поддержать его сердечные желания. Он упомянул только про обещание Станислава Августа милостиво зачесть ему его раскаяние и спасительную помощь.

Когда он кончил, канцлер спросил:

— Ну, Казимир Косинский, признаете ли вы вот в тех двоих своих товарищей, с которыми вы подготовляли и исполняли преступный план?

Косинский посмотрел в сторону Лукавского и Стравенского, мрачно глядевших на него в упор. Один миг он как будто колебался, но потом сказал ясным, твёрдым голосом:

— Да, я узнаю их; это они представили мне свой замысел в виде священного долга пред отечеством, это они взяли с меня ту страшную

клятву, которая так долго жгла мою душу; это они покинули меня наконец, чтобы взвалить на мои плечи всю ответственность за чудовищность дела. — Он подошёл, не удерживаемый стражею, к Лукавскому и Стравенскому и сказал: — покайтесь, как это сделал я! Господь Бог помешал преступлению, значит, прощение и искупление возможны! Король, которого вы учили меня ненавидеть, милостив; обратитесь к его милосердию, он не откажет вам в помиловании.

В порыве душевного волнения он как бы с мольбою хотел схватить руку Лукавского. Но тот так резко отдёрнул её, что загремел цепями, и воскликнул суровым голосом:

— Назад, бесчестный, клятвопреступный изменник! Твоё прикосновение — зараза! О, я был вполне прав, когда предостерегал против твоей измены, и я был глуп, что удержал кинжал, уже направленный в твою грудь, когда ты в Маловицком парке выдал свою тайну дочери холопского старосты Лубенского!

— А-а, — дрожащим голосом воскликнул смертельно бледный Косинский, тогда как всё собрание с ужасом услыхало из уст Лукавского имя старосты Лубенского, — так, значит, ты коварно шпионил за мною, когда увлекал меня на путь

гибели? Да будет проклято всякое сожаление к тебе, шевельнувшееся в моей груди! Пусть праведное Небо обрушит на твою голову наказание за твоё преступление!

При этих словах он с угрозой поднял кулак. Стража стала между ним и Лукавским, который стоял, скрестив руки.

Некоторое время члены суда тихо совещались между собою, а после того государственный канцлер произнёс:

— Что скажете вы теперь, Лукавский и Стравенский, в виду сознания своего сообщника? Осмелитесь ли вы ещё запираться, когда вас обличает такое ясное и неопровержимое свидетельство?

Оба обвиняемых молча смотрели некоторое время друг на друга, как будто сговариваясь взглядами. Стравенский точно в знак согласия опустил голову. Тогда Лукавский выступил на один шаг вперёд и заговорил:

— Когда измена с медным лбом нарушает священную клятву, а мстительная молния с небес не поражает клятвопреступника на месте, то, значит, дело, которому мы посвятили себя, погибло в настоящем и надо предоставить Вечной Справедливости вести его к отмщающему и

освободительному будущему. Моя жизнь принадлежит отечеству. Я надеялся, что мне удастся пожертвовать ею священному делу в открытой борьбе, но судьба хочет иначе! Так пускай же моя кровь прольётся на эшафоте, чтобы призвать мщение на моих судей! Деяние бесчестит, а не кара. Произносите ваш приговор, господа, и прежде всех, вы, граф Феликс Потоцкий! — прибавил он с язвительной насмешкой, — в Петербурге вам будут благодарны за то, что вы уменьшите на несколько голов число польских патриотов. Мы же, как мученики свободы, покажем своим примером, как умирают храбрые поляки за отчизну, и наша кровь будет пролита всё-таки не даром, если победа и ускользнула от нас теперь.

Он подошёл к Стравенскому. Они пожали друг другу руки. Звон цепей раздался в мёртвой тишине зала.

— Лукавский, — воскликнул Косинский, — вы жестоко оскорбили меня; вы вовлекли меня в преступную игру, тем не менее я умоляю вас, не доводите до такого конца! Призовите милость короля, он не откажет вам в ней!

Лукавский сделал отстраняющий жест своей скованной правой рукою и, повернувшись к Косинскому спиной, обратился к Стравенскому. Но

прочие заговорщики, казалось, были подавлены ужасом и страхом; они теснились к решётке пред судейским местом, где упали на колена и жалобно воскликнули:

— Смилуйтесь! Смилуйтесь! Мы были соблазнены теми людьми, мы не знали, что делали! Сжальтесь над нами, высокие господа! Пощадите! Пощадите!

Мрачно и с глубоким презрением смотрел Лукавский на этих жалобно плакавших людей, а потом стал спокойно совещаться со Стравенским. Никто не препятствовал его свободным движениям. Стража сострадательно смотрела на обоих подсудимых.

В то время как показание Лукавского заносилось в протокол, граф Феликс Потоцкий поднялся с места.

— Согласно объяснениям этого преступника, — сказал он с бледным лицом, но с гордой осанкой и твёрдым голосом, — местом заговора послужило моё имение на берегу Вислы, там было и подготовлено дело государственной измены. Поэтому у меня естественно возникает неопровержимое подозрение, что мой доверенный Вацлав Пулаский, заведовавший моими поместьями, надзиравший за моею прислугой и пользовавшийся моим

неограниченным доверием, также принимал участие в преступлении; следовательно, я должен требовать, чтобы он, в свою очередь, был предан суду. В данное время Вацлав Пулаский находится в отъезде по моим делам; я тотчас постараюсь разыскать его местопребывание, и, когда оно будет открыто, суд получит уведомление о том.

Лукавский язвительно засмеялся. Между тем государственный канцлер сказал:

— Подозрение графа Потоцкого кажется мне совершенно основательным, и я не замедлю предать Вацлава Пулаского суду и арестовать его, где он попадётся. Конечно, его было бы легче изловить, если бы граф не высказал здесь во всеуслышание своего подозрения против него, но предпринял розыски втайне.

— Я сделал то, что было моим долгом после показания преступника, выслушанного мною здесь, — надменно и почти грозно возразил Потоцкий, — и мне особенно не следовало мешкать с исполнением этого долга хотя бы на одну минуту; ведь подозреваемый состоял у меня на службе и под моею защитой. Я — член суда, а не полицейский чиновник, обязанный ловить подозрительных людей.

Ледяное молчание последовало за этой речью

графа. Потом суд удалился на совещание; обвиняемые также были уведены в их тюрьму. Им не пришлось долго ожидать. Через полчаса они были вызваны обратно в зал, чтобы выслушать свой приговор.

Сначала к решётке подвели Лукавского и Стравенского. Канцлер по единодушному решению суда признал их виновными в государственной измене и покушении на цареубийство и объявил им, что они присуждены к смертной казни посредством растерзания в куски четырьмя лошадьми и колесования их членов.

Оба протянули друг другу руки, и, когда канцлер переломил саблю над их головами, Лукавский громко воскликнул:

— Да упадёт наша кровь пятном на совесть судей, которые в качестве верных слуг иноземного деспотизма убивают верных сыновей Польши.

Тут же стоял Косинский, со сложенными руками; казалось, что его бледные губы шепчут молитву о спасении приговорённых. Остальные арестованные опустились на колена, и их мольбы о помиловании раздавались по всему залу. Наконец был прочитан и им приговор, гласивший, что ввиду раскаяния обвиняемых смертная казнь заменяется для них пожизненной

каторгой. Это наказание, хотя и страшное само по себе, всё же переполнило сердца несчастных, ожидавших, что их постигнет участь Лукавского и Стравенского, несказанной радостью, и они горячо благодарили суд за милостивый приговор.

Наступила очередь Косинского. Его тоже обвинили в государственной измене, но признали жертвой заблуждения; поэтому, имея в виду, что он искренне раскаялся и доказал это на деле, спасши жизнь королю, суд постановил даровать ему жизнь и свободу, согласно желанию его королевского величества.

— Мы исполняем слово короля, которое его величество великодушно дал вам, — проговорил канцлер, обращаясь к растроганному до слёз Косинскому, — но, как блюстители закона, мы не можем позволить преступнику, осмелившемуся замыслить покушение на священную особу короля и совершившему злодеяние в отношении своего отечества, оставаться в пределах Польши. Вы навсегда изгоняетесь отсюда, и предупреждаем вас, что если вы когда-нибудь отважитесь перешагнуть границу нашего государства, то вам будет грозить смертная казнь.

— О, Боже, — воскликнул Косинский, — зачем мне жизнь, если я должен уехать?! — Он опустил

голову на грудь, тяжело вздохнул и несколько времени не был в состоянии ничего сказать. — Неужели мне даже нельзя проститься с близкими людьми? — спросил он затем со слезами в голосе. — Неужели я не могу ещё хоть раз увидеть людей, которых я люблю, чтобы унести их образ в изгнание, как воспоминание о потерянном отечестве, о потерянном честном имени?

— Напишите прошение и назовите тех лиц, с которыми желаете проститься; тогда мы посмотрим, можно ли вам разрешить свидание! — произнёс канцлер и сделал знак часовым, чтобы они увели заключённых.

Косинский, шатаясь, прошёл по коридору и, добравшись до своей комнаты, которая служила для него местом заключения, в полном изнеможении опустился в кресло. Все его надежды были разрушены; любовь, переполнявшая всё его существо, бессознательно руководившая всеми его действиями, погибла навсегда. Не могло быть сомнения, что гордый Лубенский ни за что не согласится на брак дочери с сосланным государственным преступником. Косинский был убеждён, что Юзефа охотно последовала бы за ним и разделила бы с ним его изгнание, но не было никакой возможности увезти её с собой.

Все мысли Косинского спутались. Он долго сидел, как бы совершенно парализованный; какое-то тупое чувство боли охватило его. Он считал себя не в праве быть недовольным королём, жаловаться на свою участь. Он шёл на то же преступление, как и его товарищи, но заслуживал ещё большего, чем они, наказания, так как Лукавский и Стравенский считали необходимым совершить это преступление, думали, что приносят этим пользу, а он, Косинский, наоборот, всё время колебался. Между тем ему была дарована жизнь и возвращена свобода, а его товарищей приговорили к позорной мучительной казни. Нет, он не имел права жаловаться на свою судьбу. Его товарищи с гордым спокойствием выслушали страшный приговор, и с его стороны было бы недостойной трусостью оплакивать свою участь.

Косинский уже решил было твёрдо и равнодушно подчиниться неизбежному, но пред ним предстал образ Юзефы и напомнил ему, что он не один, что молодая девушка возлагает на него все свои надежды и что он обязан спасти её от ненавистного брака, к которому её принудил бы отец, или ей пришлось бы похоронить свою любовь в уединённом монастыре в случае отказа повенчаться с тем, кого выбрал бы ей Лубенский.

Косинский должен был действовать ради Юзефы, чего бы это ему ни стоило! Какое ему было дело до бывших товарищей, которые избрали его орудием своего тщеславия и теперь называют изменником за то, что у него не хватило духа убить безоружного человека? Он отбросил все недавние сомнения и видел пред собой лишь прекрасный образ Юзефы, со слезами на глазах простиравшей к нему руки.

В комнате стояла чернильница и лежала бумага. Косинский сел к столу и начал писать прошение канцлеру, но вдруг остановился: он подумал, что не имеет права называть имя Юзефы; ведь и так уже Лукавский неосторожно произнёс его пред судом. Канцлер узнал бы о его любви к молодой девушке, об этом заговорил бы весь свет, и Лубенский никогда не простил бы этого Косинскому, если бы даже впоследствии его судьба изменилась бы к лучшему. Косинский схватил лист бумаги, уже наполовину исписанный, и быстро разорвал его.

Нет, лучше обратиться к королю, знавшему о его любви к Юзефе, и просить у него разрешения на свидание с ней.

Косинский не решался ходатайствовать пред королём о полном прощении с того момента, как

была сломана шпага над головой Лукавского. Да он и не мог бы дольше оставаться на родине. Обвинение в позорной измене, брошенное ему Лукавским, было бы признано всеми, если бы ему было разрешено жить в Польше, в то время как его товарищи подверглись наказанию по всей строгости законов. Косинскому хотелось лишь один раз повидаться с Юзефой, чтобы узнать от неё, согласится ли она разделить с ним его изгнание. Если она ответит утвердительно, то он, рискуя жизнью, вернётся на родину и увезёт её с собой.

Он начал писать королю, но его мысли путались; надежды сменялись сомнением. То он видел пред собой тоскующий образ Юзефы, то его место занимала мрачная фигура Лукавского с угрожающе протянутой рукой, со словами проклятия на устах. Косинский писал листок за листком, но всё время рвал их на клочки, и его душу снова охватили тревога и смутный страх.

Наступил вечер. Перо выпало из рук Косинского; его силы истощились, и он в изнеможении закрыл глаза. Ослепительный свет заставил его поднять голову. В комнату вошёл часовой и по обыкновению принёс зажжённые свечи, но не удалился из комнаты молча, поставив под-

свечник на стол, как делал раньше, а пригласил молодого человека следовать за ним. Он ничего не ответил на тревожные вопросы Косинского и строго повторил приказание идти с ним.

Косинский последовал за часовым через ряд слабо освещённых комнат, мимо нескольких караульных постов. Наконец они остановились пред маленькой дверью, закрытой портьерой. Часовой открыл дверь и велел Косинскому войти в комнату. Молодой человек никак не мог понять, куда его ведут. Неопределённый страх охватил его. Неужели за маленькой дверью ему грозила смерть? Может быть, его освободили от публичной смертной казни, чтобы здесь, в тиши, покончить с ним все счёты? Он знал, что в старину такие случаи бывали очень часто. Весь дрожа, он почти уже не сомневался в верности своего предположения и робко вошёл в дверь, сейчас же затворившуюся за ним.

Комната, в которой он очутился, была ярко освещена. Вдоль стен стояли полки с книгами; портреты в тёмных рамах украшали комнату, посредине которой стоял большой стол, заваленный брошюрами и раскрытыми книгами. У стола сидел король Станислав Август, откинув голову на спинку кресла.

Поверх белых шёлковых панталон, шитых серебром, на короле был длинный домашний камзол из чёрного бархата. Станислав Август с улыбкой смотрел на Косинского, с величайшим изумлением остановившегося пред ним, а затем, как бы только что сообразив, кто сидит пред ним, опустившегося на колена и поцеловавшего руку короля.

— Довольны вы мной, мой молодой друг? — приветливо спросил Станислав Август. — Ведь я исполнил своё слово, которое дал вам. Вы свободны, и вашей жизни не угрожает опасность.

— О, мой всемилостивейший государь, — воскликнул Косинский, к которому, при виде кроткого, благородного лица короля, вернулось всё его мужество, — вы сделали для меня больше, в тысячу раз больше того, что я заслуживаю. Вы, ваше величество, простили мне преступление, которое уже было близко к выполнению, и тем не менее, тем не менее...

Косинский остановился, и тяжёлый вздох заглушил его последние слова.

— Тем не менее вы не чувствуете себя счастливым, — закончил за него король. — У вас есть горе, вы имеете какое-нибудь желание? — спросил он затем.

— Разве я имею право желать чего-нибудь? — возразил Косинский. — А побороть горе не в человеческой власти, в особенности если это горе — потерянная любовь.

— Я не хочу, чтобы мой спаситель был несчастлив, — проговорил король. — Вы, несомненно, имеете полное право рассчитывать на мою помощь; поэтому скажите мне откровенно, что мучит вас. Впрочем, я лучше раньше сообщу вам, что я сделал и собирался сделать для выполнения своего слова, которое дал вам в Мариемонском лесу, когда моя жизнь была в ваших руках.

— Вы, ваше величество, сделали уже так много для меня, — воскликнул Косинский, — ваша милость ко мне необыкновенно велика. Моё сердце сжимается от боли, когда я думаю о Лукавском и Стравенском, а также и о тех несчастных, которым предназначены пожизненная каторга и тюрьма.

Лицо короля омрачилось.

— Будем говорить только о вас, — возразил он, проводя рукой по лбу, точно отгоняя от себя печальные мысли, — будем говорить только о моём спасителе, с которым я связан своим королевским словом. Я вам обещал сохранить жизнь и даровать свободу — это сделано; но избавить

вас от изгнания было не в моих силах. Канцлер был непреклонен в этом отношении и находил, что оставить вас в Польше — значит нарушить основные государственные законы и подать дурной пример.

— Он прав, он конечно совершенно прав, — воскликнул Косинский, — но так тяжело уехать даже не простившись, оставить в полной неизвестности любящее сердце. Канцлер прав, но я всё же решаюсь просить вас, ваше величество...

— Выслушайте меня до конца, мой друг, — прервал молодого человека король. — Помимо жизни и свободы, я обещал вам покровительствовать вашей любви; я хотел просить у своего друга Лубенского руки его дочери Юзефы...

— Я был ослеплён, милостивый государь мой, — воскликнул с глубоким вздохом Косинский, — Как я мог рассчитывать на подобное дело? Нет, о таком счастье я не смею и думать... Я хотел просить вас, ваше величество, разрешить мне лишь одно...

— Я исполнил своё слово, — снова прервал Косинского король, — и надеюсь, что мне удастся расквитаться со спасителем моей жизни.

Косинский с недоумевающим видом смотрел на Станислава Августа, не понимая смысла его

слов, не допуская и тени надежды в свою душу.

Король хлопнул в ладоши. Портьера над боковой дверью приподнялась, и на пороге показался Лубенский — высокий, сурового вида господин, смотревший на молодого человека мрачными, пронизывающими насквозь глазами. За ним следовала дрожащая и сконфуженная Юзефа.

Косинский вскочил, протянул вперёд руки и, шатаясь, отступил на несколько шагов.

— Юзефа, Юзефа! — прошептал он неуверенным голосом.

Ему казалось, что он видит пред собой призрак.

— Я просил у своего друга руку его дочери для вас, — с весёлой улыбкой продолжал король, обращаясь к нему, — я рассказал ему, как вы спасли меня, и той руке, которая уберегла его короля от смерти, он доверяет судьбу своей дочери, тем более что она призналась отцу, что может быть счастлива лишь с вами.

Косинский прижал руки ко лбу; он не мог всё ещё прийти в себя от этого неожиданного перехода от безнадёжного отчаянья к великому счастью. Он продолжал повторять дрожащими губами имя своей возлюбленной, которая улыбалась ему сквозь слёзы.

— Да, дело обстоит так, как изволит говорить его величество, — строго проговорил Лубенский. — Король возвращает вам честное имя вашего отца, уже было потерянное вами, в награду за то, что вы спасли его от опасности, в которую сами же и вовлекли. Его величество обещал вам своё покровительство в ваших сердечных делах... от меня зависит, чтобы королевское слово было выполнено, и я, как верноподданный своего короля, считаю своей обязанностью облегчить его величеству его задачу. Сознаюсь, что считаю эту обязанность очень тяжёлой для себя; но что делать? Моя дочь любит вас. Сделайте её счастливой! Замените ей отечество, которое она оставляет ради вас! Окажитесь достойным милости короля, не посрамите моего и своего имени!..

Станислав Август дружески пожал руку Дубенского, а Юзефа со слезами обняла своего отца. Затем она подошла к Косинскому, который, совершенно позабыв о том, что находится в присутствии короля, заключил в объятия свою невесту.

— Это уж слишком, — радостным голосом произнёс он, — слишком много милости и счастья!..

Молодая чета опустилась на колена пред королём и поцеловала его руки; взоры молодых

людей красноречивее, чем слова, благодарили Станислава Августа за дарованное счастье.

— Я не могу вернуть вам ваши именья, — сказал король, — но мой друг Лубенский не потерпит, чтобы его дочь нуждалась, а вот это примите от вашего короля на чёрный день, — прибавил он, подавая Косинскому портфель с деньгами, лежавший на столе. — Вот я вам приготовил письмо, — быстро продолжал король, стараясь отклонить благодарность Косинского, — от здешнего папского нунция к секретарю папы в Риме; он окажет вам протекцию и доставит место при его святейшестве. А затем, — заключил Станислав Август, поднимаясь с места, — следуйте за мной, чтобы дать мне возможность вполне расплатиться с вами.

Король слегка облокотился на руку Дубенского и прошёл через большой приёмный зал и ряд примыкавших к нему комнат к маленькой часовне, находившейся в конце дворца. Юзефа и Косинский следовали за ним. Молодому человеку всё ещё казалось, что он видит сон, и только горячее пожатие руки его невесты напоминало ему о действительности. Все комнаты, через которые проходило общество, были пусты, только один самый преданный камердинер короля шествовал

впереди и открывал двери.

В часовне горели свечи. Духовник Станислава Августа стоял у алтаря. Он сделал знак молодым людям опуститься на колена и после краткой молитвы начал обряд венчания, навеки соединявшего глубоко растроганных жениха и невесту.

— Теперь поезжайте с Богом, — проговорил король, когда венчание окончилось, — я буду молиться Господу, чтобы Он дал вам возможность со временем вернуться на родину и своими заслугами загладить свою вину пред государствам.

Косинский склонился к руке короля, и горячая слеза скатилась по его щеке.

— А что будет с Лукавским и Стравенским? — робко спросил он.

— Они не пощадили бы меня, — мрачно ответил король, — да и вас совершенно хладнокровно принесли в жертву своей безумной идее или тщеславию. Я не могу спасти их, но избавлю их от позорной казни; они умрут от удара меча, как честные дворяне.

Лубенский поцеловал свою дочь в лоб и, положив руку на её голову, благословил её.

Больше не сказано было ни слова. Камердинер короля провёл новобрачных во двор замка. Здесь стояла дорожная карета, запряжённая четвёр-

кой лошадей. У подножек кареты находились два солдата в форме гвардейских улан, а сзади экипажа были привязаны большие дорожные сундуки. Король обо всём позаботился. Молодые люди призывали Божье благословение на голову Станислава Августа и не переставали говорить о нём в продолжение всего пути. Хотя они отправлялись в изгнание, но чувствовали себя счастливыми и впереди им представлялось светлое будущее.

XXVII

Среди берлинских гостиниц первое место занимал отель Винценти. Здесь останавливались богатые купцы, приезжавшие по делам в Берлин, а также и знатные иностранцы, желавшие видеть прусского короля, слава которого распространялась по всей Европе. Гостиница Винценти конечно значительно отличалась от современных гостиниц; она помещалась в старом здании и состояла из ряда маленьких комнат, какие встречаются теперь редко даже в частных домах, но уютно обставленных. Кухня гостиницы могла удовлетворить как простому, так и изысканному вкусу, а погреб был наполнен рейнскими и французскими винами.

В эту гостиницу однажды вечером въехала скромная карета Акста. Личный секретарь фон Герне не мог отказать себе в удовольствии проводить уважаемого коллегу, как он называл Серра, в гостиницу и убедиться, что тот помещается в хорошей и уютной комнате. Только устроив Серру в просторном, удобном помещении, Акст простился с ним, обещав на другой день предста-

вить его министру.

Винценти провожал секретаря министра до самых дверей. Пред тем как сесть в карету, Акст обратился к хозяину гостиницы, открывавшему пред ним дверцы кареты, со следующими словами:

— Послушайте, любезный Винценти, я надеюсь, что вы готовы оказать мне и министру некоторую услугу?

— Прошу вас вполне рассчитывать на меня, господин Акст, — ответил Винценти, в голосе которого слышалось лёгкое иностранное произношение. — Вы знаете, что можете положиться как на моё старание угодить вам, так и на умение молчать.

— Да, я знаю это, любезнейший Винценти, — поспешил заявить Акст. — Так вот в чём дело. Господин Серра, которого я только что привёз к вам и который уже раньше останавливался у вас, — агент большого торгового дома в Варшаве; он приехал сюда, чтобы заключить важное дело с компанией торгового мореплавания. Ведь вам известно, что эта компания находится под ведомством его высокопревосходительства.

— Совершенно верно, совершенно верно, господин Акст, — ответил Винценти, — у меня самого

имеются акции этой компании, приносящие мне, благодаря министру, большой процент.

— Следовательно, вы понимаете, — продолжал Акст, — что для министра большое значение имеет возможность выиграть время для спокойного размышления о том деле, ради которого прибыл господин Серра. А нужно сказать, что люди, приславшие его, настаивают на скорейшем разрешении вопроса, что очевидно в их интересах.

— Понимаю, понимаю, господин Акст, — воскликнул Винценти, причём в его чёрных глазах сверкнул хитрый огонёк, — понимаю. Всё дело в конкуренции!.. О, она важна, как в маленьких, так и в больших делах.

— В таком случае вам нечего и говорить, мой милейший Винценти, что нам очень интересно знать, что предпримет господин Серра, — продолжал Акст, дружески хлопая хозяина гостиницы по плечу. — Я буду вам очень благодарен, если вы меня будете извещать о том, кто бывает у господина Серра и куда он ходит сам. Я думаю, что у вас в гостинице найдётся достаточное количество мальчишек для посылок и можно поручить кому-нибудь из них следить за каждым шагом иностранца.

— Не беспокойтесь об этом, господин Акст,

пожалуйста, не беспокойтесь! — с предупредительной улыбкой сказал Винценти. — Я считаю, что хозяин гостиницы почти обязан следить за своими гостями; он должен всегда знать, что они делают, так как до известной степени отвечает за их участь.

— В особенности мне важно знать, — проговорил Акст, — не вздумает ли господин Серра вдруг уехать, если ему покажется, что переговоры затягиваются надолго, и не передаст ли он все его дела другому конкуренту. Нужно предупредить возможность его отъезда до того времени, пока торговое условие не будет заключено. Поэтому, как только вы заметите, что со стороны господина Серры начинаются какие-нибудь приготовления к отъезду, вы немедленно сообщите мне, конечно так, чтобы он этого не заметил, а сами постарайтесь задержать его под каким-нибудь предлогом, вроде того, что трудно достать лошадей или счёт гостиницы ещё не готов, и так далее.

— Понимаю, понимаю, господин Акст; будьте покойны!.. Господни Серра отсюда не уедет ранее того, как вы будете своевременно предупреждены, — ответил Винценти. — Во всяком случае у вас будет достаточно времени для соответствующих распоряжений.

— Итак, мы с вами поняли друг друга, милейший Винценти, — сказал Акст, — уверяю вас, что вы не останетесь в убытке, если точно исполните моё желание.

Акст поклонился хозяину гостиницы и велел кучеру ехать в правление компании торгового мореплавания.

Винценти задумчиво смотрел вслед удалявшемуся экипажу.

— Я понимаю, понимаю, — бормотал он, — они оба хотят перехитрить друг друга. У господ такие же обычаи, и у мелких купцов. Этот Акст — скряга, страшнейший скряга, а тот иностранец кажется мне таким человеком, который хорошо платит за услугу. Может быть, для меня было бы выгоднее открыть иностранцу просьбу Акста, по-видимому расставляющего ему западню. Нет, нет, это не следует делать! Такой поступок был бы очень неосторожным. Неизвестно, что перевесит: деньги ли чужестранца, или дружба или вражда личного секретаря министра.

Винценти вернулся в дом и направился к господину Серре, который уже успел освоиться в номере и раскладывал на столе кое-какие бумаги. Хозяин гостиницы услужливо спросил приезжего, не прикажет ли тот чего-нибудь.

Серра, собиравшийся писать письмо, ответил, что ему ничего не нужно, но, когда Винценти подошёл к дверям, он вдруг остановил его.

— Послушайте, не можете ли вы мне оказать услугу, любезный хозяин? — спросил он.

— Что прикажете, милостивейший господин? — услужливо ответил Винценти, быстро подходя к столу. — Я считаю своей обязанностью исполнять желания гостей.

— Не называйте меня «милостивейшим господином»; зовите прямо господином Серра, так как я — простой купец, хотя и приехал сюда по важным делам. Вы знаете конечно, какое важное значение имеет конкуренция в торговых делах.

— Конечно, конечно, господин Серра, — поспешил согласиться Винценти, ещё ближе подходя к столу и несколько понижая голос, — конкуренция может погубить самое верное дело, если только не будешь очень осторожным.

— Я именно нахожусь в таком положении, любезный хозяин, — заметил Серра. — Я собираюсь устроить крупное дело, а мой конкурент не останавливается ни пред чем, чтобы проникнуть в мою тайну. Вам известно, что абсолютная тайна в предполагаемом деле — единственное оружие в руках купца.

— Конечно, конечно, господин Серра! Это — то же, что ружьё у солдата; если солдата обезоружить, он будет беззащитен; я это хорошо знаю; содержатель гостиницы должен быть одновременно и купцом.

— Я знаю случаи, — продолжал Серра, — когда почта являлась плохой хранительницей тайн; я конечно имею в виду не Пруссию, но другие страны. Я нисколько не сомневаюсь, что ради достижения своей цели мои конкуренты не постоят ни пред чем. Весьма возможно, что они знают мой почерк и легко смогут перехватить мои письма.

— Понимаю, понимаю, — заметил Винценти с усмешкой. — Но если бы какой-нибудь почтовый чиновник оказался настолько услужливым в отношении ваших конкурентов, то всё же едва ли возможно вскрывать все письма, чтобы разыскать среди них именно ваши.

— Вот поэтому я и попрошу вас оказать мне услугу, — сказал Серра, закончив письмо и кладя его в конверт. — Позвольте мне воспользоваться вашим почерком для адреса моей корреспонденции; попрошу вас только об одном: надпишите адрес на этом конверте.

Он написал на листе бумаги адрес одной

торговой фирмы, положил его пред хозяином гостиницы и всунул ему в руку перо.

— С удовольствием, с удовольствием, — сказал Винценти, после чего пододвинул стул, сел и стал старательно выводить каждую букву положенного пред ним адреса.

— Каждое одолжение должно быть вознаграждено по заслугам, — сказал Серра, вынимая из кошелька золотой и подавая его хозяину гостиницы. — Вот вам за труды, которыми, быть может, мне придётся пользоваться и впредь. Как только я узнаю, что письмо дошло по назначению, вы получите ещё такую же сумму.

— Этого слишком много, слишком много, — воскликнул Винценти, — услуга очень ничтожна, и я во всякое время готов служить такому превосходному гостю, как вы.

Однако, несмотря на протест, он с довольной улыбкой быстро спрятал золотой и удалился, ещё раз уверяя в готовности служить наиусерднейшим образом.

Придя в свою контору, он тотчас же записал на листе бумаги адрес, который только что писал и всё время повторял про себя, идя по коридору, затем прибавил несколько слов от себя, после чего запечатал пакет и отправил его со своим

рассыльным в канцелярию компании торгового мореплавания, поручив передать эту записку лично секретарю Аксту.

На следующее утро Акст явился в гостиницу. Провожая его по коридору, Винценти сообщил ему, что Серра ещё не выходил из дома и никого не принимал у себя. Акст похвалил хозяина за внимательность, затем вошёл в комнату итальянца, занятого, по-видимому, деловыми бумагами, касавшимися имения Кроточин. После, краткого обмена вежливостями они вместе вышли и вскоре Серра был введён в кабинет министра.

Фон Герне принял итальянца чрезвычайно любезно и попросил его сесть к своему письменному столу, после чего начал:

— Я очень рад, любезный господин Серра, что имею возможность лично говорить с вами о деле, которым вы были заняты в Варшаве; мне желательно было бы получить некоторые разъяснения и дополнения по данному вопросу. По словам моего секретаря, вы привезли письмо от графа Феликса Потоцкого?

— Точно так, ваше превосходительство, — произнёс Серра, — на этом основании я явился сюда и получил возможность сделать личный доклад вашему превосходительству.

Он передал министру письмо графа Потоцкого. Под пытливым взглядом Серры, фон Герне пробежал краткое послание и сказал затем:

— Граф ещё раз предлагает мне заключить торг, выгодный для нас обоих, и убеждает ещё раз обсудить все условия продажи.

— И это всё содержание письма, с которым граф Потоцкий так спешно прислал меня сюда? — с удивлением спросил Серра.

— Граф прибавляет ещё, — заметил министр вскользь, — что приобретение поместья Кроточин очень выгодно для наших финансовых планов, так как обширный земельный участок может послужить ипотечной основой для различных предприятий.

— Такой основой это имение едва ли могло бы послужить в своём нынешнем состоянии, — заметил Серра, — во всяком случае оно могло бы служить таковым, продолжая пребывать во владении графа Потоцкого, так как в этом деле интересы вашего превосходительства и графа совершенно одинаковы.

На лице министра отразилось лёгкое нетерпение, и он воскликнул:

— Итак, вы находите, что покупка поместья Кроточин представляет совершенно невыгодное

дело?

— Совершенно верно, ваше превосходительство, — сказал Серра. — Имение находится в таком плохом состоянии, что если судить по его доходности за последние годы, то оно стоит едва ли четвёртой части той суммы, которую назначил за него граф Потоцкий; вместе с тем, судя по результатам ведения хозяйства, доходы будут уменьшатся с каждым годом. Граф Потоцкий извлекает оттуда всё, что только возможно, и всякий, кто согласится купить имение при данных условиях, неизбежно потерпит тяжёлые убытки.

— Граф ещё уступит, — заметил фон Герне.

— Никогда он не уступит столько, чтобы продажная цена равнялась действительной стоимости, — возразил Серра.

— Граф уже писал мне, — продолжал министр, — что Кроточин он продаёт главным образом потому, что не имеет средств привести хозяйство в должный порядок; когда будут произведены необходимые улучшения, имение достигнет прежней доходности, и тогда наша покупка окажется чрезвычайно выгодной.

Серра, покачав головой, сказал:

— Имение совершенно разорено; я считаю возможным поднять его ценность лишь при затрате

огромных капиталов и при условии отсутствия доходов на долгий ряд лет. Но это конечно я не могу советовать, если...

— Что именно? — спросил фон Герне.

После некоторого колебания Серра сказал:

— Я не осведомлён, совершается ли порученная мне покупка имения Кроточин собственно для вас, ваше превосходительство, или для компании торгового мореплавания.

При этом вопросе, сделанном вполне деловым тоном, фон Герне поднял голову и, смерив Серру высокомерным, проницательным взглядом, сказал:

— Милостивый государь, я поручил вам эту покупку и дал полномочие.

— Точно так, ваше превосходительство, — сказал Серра непринуждённым деловым тоном, — но, не будучи посвящён в этот вопрос, представляющий значение для моих суждений, я не мог уяснить себе всё. Ведь вы, ваше превосходительство, изволите управлять компанией торгового мореплавания, неограниченно заведуете её деятельностью и ваши векселя акцептированы в варшавской конторе компании.

Лицо фон Герне передёрнулось, кончики пальцев беспокойно зашевелились. После краткого

молчания он ответил:

— Такое огромное финансовое учреждение, как компания торгового мореплавания, являющаяся представительницей интересов большого государства, обладает иногда тайнами, требующими тщательного хранения за личною ответственностью министра.

— Совершенно верно, ваше превосходительство, — сказал Серра, — несомненно такие тайны существуют даже в крупном частном торговом деле. Но я, — быстро прибавил он, внимательно взглянув на министра, — имею честь быть посвящённым в такую тайну между вами, ваше превосходительство, и графом Виельгорским. Всё же я считаю этот вопрос чрезвычайно важным именно в отношении покупки имения Кроточин. Мне известно имущественное положение вашего превосходительства, и я далёк от намерения предлагать какие бы то ни было вопросы об этом; но я уверен, что не найдётся ни одного частного лица ни в Германии, ни даже во всей Европе, которое могло бы затратить на восстановление Кроточина необходимый капитал, не пользуясь никакими процентами в течение многих лет. Поэтому если вы, ваше превосходительство, желаете приобрести это имение в свою собствен-

ность, то, по моему личному убеждению, я обязан настоятельно отсоветовать вам делать это.

Фон Герне несколько времени думал, опустив голову на грудь, а затем сказал:

— Любезный господин Серра, считайте, что имение Кроточин я покупаю лично для себя, а средства, несомненно значительные, необходимые для его восстановления, даст компания торгового мореплавания под ипотечный залог имения и его доходов.

— В таком случае, ваше превосходительство, — заметил Серра, — прежде всего понадобится вся покупная сумма сполна, затем значительный капитал на улучшение имения, причём доходность на многие годы будет равняться нулю. Если даже покупная сумма будет дана вашей компанией, — прибавил он, несколько резко подчёркивая, — то получится такая финансовая операция, ответственность за которую едва ли может взять на себя это учреждение.

— Даже компания? — спросил фон Герне, вспылив, — как могло вам это прийти в голову?

— Вспомните, ваше превосходительство, следующее: когда вы мне поручили доставить графу Феликсу Потоцкому восемьдесят три тысячи талеров, как плату за имения Вышек и Белое

Слево, то, по приказанию вашего превосходительства, векселя на вышеупомянутую сумму были оплачены в Варшаве в конторе компании торгового мореплавания. На этом основании у меня и явилось сомнение, покупаете ли вы, ваше превосходительство, имения для себя лично, или для вашей компании.

Фон Герне побледнел. Его глаза грозно сверкнули, но он тотчас же овладел собою и сказал спокойным, холодным тоном:

— Компания торгового мореплавания — государственное учреждение, и вы хорошо понимаете, что важные торговые интересы, равно как и политические условия, заставляют придавать огромное значение земельным владениям в Польше; вы также понимаете, что политические условия заставляют хранить строжайшую тайну пред низшими инстанциями, руководящимися лишь соображениями торговли и прибыли. Мне очень неприятно, что вы так решительно отклонили покупку имения Кроточин. Это создаст затруднение и неудовольствие именно в тех кругах, где мне не хотелось бы излагать мои истинные и основные причины.

— А его величество король? — спросил Серра, глядя странным, испытующим взглядом, — ведь

от него зависит решение, он знает основные причины и...

— Его величество король не желает и не должен ничего знать о тех политических мотивах, которые находятся в связи с этим вопросом; поэтому очень важно, — прибавил он, понижая голос и как бы доверчиво склоняясь к Серра, — чтобы ваш доклад не представлял этой покупки делом невыгодным. Как видите, я выражаю вам полное доверие.

— Я понимаю, ваше превосходительство! — сказал Серра. — Вы знаете, что я пользуюсь доверием графа Виельгорского и государственного канцлера князя Кауница; я посвящён в их планы и мысли, которым и вы сочувствуете. Я понимаю, что в Берлине и Вене преследуется один и тот же интерес, а именно исключить всякое постороннее влияние в Польше и восстановить там самостоятельность и обеспечить порядок. Я понимаю, что такое влияние должно выразиться во внешней форме, но не политической, а таковою может явиться обладание крупными недвижимостями. Ваше превосходительство! Вы были, пожалуй, не правы, не вполне доверяясь мне; если покупка Кроточина связана именно с этим важным вопросом, то дело обстоит совершенно иначе и нет

такой жертвы, которая была бы слишком велика ради достижения твёрдой опоры и ради упрочения могущественного влияния графа Потоцкого и его единомышленников. Я предложил бы вам, ваше превосходительство, приобрести поместье Кроточин на совместные средства компании торгового мореплавания и венского торгового общества. Каждое из этих предприятий возьмёт на себя половину расходов, что значительно облегчит финансовую сторону. Чтобы сохранить это дело в тайне, что я также признаю необходимым, было бы желательно, чтобы вы, ваше превосходительство, выступили пред польским правительством и, если нужно, даже пред графом Потоцким как самостоятельный покупатель и будущий владелец имения Кроточин. Со стороны венского торгового общества выступил бы представителем граф Виельгорский, а для того, чтобы такое обширное финансовое дело привести в связь с конечной политической целью, сохраняя при этом строжайшую тайну, было бы, пожалуй, целесообразно поручить ведение и управление делом мне, вашему покорному слуге, совместно от имени вашего превосходительства и графа Виельгорского. Половина капитала, данного венским торговым обществом, могла бы быть

записана на графа Виельгорского; а я, состоя на службе вашего превосходительства, был бы представителем ваших обоюдных интересов. Я уверен, что граф Виельгорский окажет мне своё доверие, и льщу себя надеждой, что и вы, ваше превосходительство, признаете меня достойным такого доверия, после того как посвятили меня во все важные и секретные обстоятельства дела. К тому же, мне кажется, что я вполне подхожу для такого положения в Польше. Я — иностранец и лучше сумею сохранить внешний вид управляющего частной собственностью, чем то мог бы сделать прусский или австрийский чиновник. Что касается лично меня, то после всех несчастий, выпавших на мою долю, это создало бы мне честное и полезное поприще для деятельности. Если я верно понял мысль вашего превосходительства, — продолжал он с ударением, — то риск для компании торгового мореплавания уменьшается при такой комбинации дела наполовину и с финансовой стороны может быть так обоснован, что и среди низшего элемента с его расчётливыми и бюрократическими воззрениями не будет возбуждено никаких опасений.

В то время как Серра деловым тоном развивал свою мысль, излагая её не в виде просьбы, а как бы

ставя условия, как представитель равноправной власти, фон Герне сидел, склонив голову на руку так, что на его лице нельзя было прочесть впечатление от слов Серры, и только подёргивание белых, тонких пальцев, закрывавших лоб министра, выдавало его внутреннее волнение. Когда Серра кончил, он некоторое время ещё сохранял своё неподвижное положение, затем встал и со спокойной, весёлой улыбкой заговорил:

— Я поистине удивляюсь вашей способности удачно комбинировать, любезный Серра; вы подтверждаете положение, что купец должен быть хорошим купцом. Вашу мысль я нахожу прекрасной, и несомненно положение, на которое вы претендуете, подходит к вам, как нельзя более.

— Я не претендую, ваше превосходительство, — заметил Серра, — это слово не соответствует скромному положению преданного, послушного слуги, у которого нет другого желания, как посвятить свои скромные силы делу, интересующему двух высокопоставленных особ.

— Человеку таких ума и способностей, как вы, не подобает быть слишком скромным, — заметил фон Герне любезным тоном. — Будьте уверены, любезный господин Серра, что я сумею оценить вас по достоинству; не сомневаюсь, что то же сде-

лает граф Виельгорский и князь государственный канцлер. Теперь дело в том, чтобы мысль, которую вы мне так ясно изложили, облечь в деловую форму, для того чтобы можно было познакомить с проектом и тех лиц, от которых скрыта конечная цель. Я попрошу вас взять эту работу на себя. При вашем знании обстоятельств дела и вашей ловкости, я не сомневаюсь, вы скоро справитесь с этой задачей.

Серра, обрадованный такой готовностью и полным согласием министра с его планом, на что он никак не рассчитывал, заявил:

— Я обещаю вам, ваше превосходительство, что завтра или — самое позднее — послезавтра я представлю мотивированный доклад, на основании которого покупка поместья Кроточин, при содействии королевской компании торгового мореплавания даже осторожным бюрократам покажется делом вполне допустимым.

— Поспешите с этой работой! — сказал фон Герне поднимаясь. — Как только вы окончите её, вам было бы целесообразно отправиться в Вену и лично сообщить свой план графу Виельгорскому. Я не советовал бы вам писать об этом, подвергая необходимую тайну этого дела случайностям почтовой пересылки.

Серра почтительно поклонился и вышел из кабинета.

При его появлении в приёмной Акст встал из-за письменного стол.

— Ваш патрон — человек великого ума, — сказал Серра. — И какое счастье для нашего брата найти высокопоставленного вельможу, который понимает все наши мысли! Откровенно сознаюсь, я несколько боялся этой встречи, теперь же я поздравляю себя и желаю вместе с вами долго поработать для такого просвещённого человека, как господин министр. Я всецело посвящу себя работе, и отныне нам о многом придётся совместно совещаться.

Он пожал Аксту руку и поспешно вышел. Секретарь посмотрел ему вслед долгим взглядом. По его бледным, тонким губам скользнула странная улыбка, а затем он направился в кабинет министра.

— Вы правы, Акст, совершенно правы, — воскликнул фон Герне, — этот Серра — очень опасный человек, и мне никогда не следовало связываться с ним.

— Надеюсь, ваше превосходительство, вы довольны тем, что я его не выпустил, а благополучно доставил сюда из Варшавы?

— Вы поступили, как нельзя лучше! — ответил фон Герне, — этот человек может быть чрезвычайно опасным. По счастию, он был настолько наивен, что изложил собственный план, по которому я являюсь не более как агентом графа Виельгорского или австрийского правительства. Этот человек обладает необычайной прозорливостью, и я опасаюсь, любезный Акст, что он заглянул глубже и пристальнее, чем следовало.

— А вы, ваше превосходительство, дадите ему возможность продолжать эту опасную игру? — спросил Акст.

— Действительно, это — очень опасная игра, — сказал фон Герне про себя, — его вопрос о том, осведомлён ли король о делах компании торгового мореплавания, звучал как бы угрозой. Быть может, это было бы лучше, — сказал он, обращаясь к Аксту, — если бы вы только предостерегли графа Виельгорского, а затем отпустили этого человека на все четыре стороны.

— Для того, чтобы он по всему свету разнёс всё, что слышал и видел здесь? — спросил Акст, — Нет, ваше превосходительство, опасных людей нужно держать при себе и выпускать их только после того, как они вполне обезврежены.

— А как это сделать? — спросил фон Герне, — я

не имею власти над ним.

— Как так? — спросил Акст. — Разве у него имеется какой-нибудь письменный документ вашего превосходительства?

— Ничего, кроме полномочия на покупку поместья Кроточин у графа Потоцкого, — отвечал фон Герне.

— В этом нет ничего подозрительного, — сказал Акст, — поручить покупку можно кому угодно, и вы, ваше превосходительство, остановились на нём как на ловком дельце, рекомендованном вам посланником в Турине. Естественно, что вы, ваше превосходительство, внимательно следите за человеком, которому поручили своё частное дело. Он сам заявил, что имеет поручение от князя государственного канцлера в Вене и от его приближённых; я уверен, что при обыске его бумаг можно было бы открыть много интересного и неожиданного.

— Вы, может быть, правы, Акст. Но как можно это выполнить?

— У вас, ваше превосходительство, могло явиться подозрение, даже уверенность, что этот Серра, рекомендованный вам посланником в Турине и ведший ваши частные дела, а также бывший посредником в делах компании торгового

мореплавания, находится в подозрительных сношениях с иностранными дворами; я по крайней мере уверен в этом и считаю своей обязанностью донести об этом полиции. Быть может, она сделает там хороший улов, — прибавил он с язвительной улыбкой, — а так как среди бумаг у Серры ничего не может быть, что желали бы скрыть вы, ваше превосходительство...

— Ничего решительно, — сказал фон Герне, постепенно теряя свой мрачный вид.

— В таком случае, — сказал Акст, потирая руки, — проще всего было бы познакомить итальянца с полицией.

— Но его должны будут освободить, — сказал фон Герне, — и тогда он станет ещё опаснее.

— Ни в коем случае, ваше превосходительство! — возразил Акст. — Не думаю, чтобы наша полиция слишком поспешила выпустить на свободу иностранного проходимца; во всяком случае его сейчас же отправят за границу. Что бы он потом ни рассказывал, всё будет принято за клевету и низкую месть жалкого авантюриста. Сам граф Виельгорский откажется от этого Серры: он наверное не захочет иметь в услужении агента, который был так неловок, что дал себя поймать и разоблачить. Таким образом Серра станет вполне

безвредным и вы, ваше превосходительство, исправите ту неосторожность, которую — простите мою смелость! — вы никогда не должны были сделать.

— Вы правы, Акст, совершенно правы, — сказал фон Герне, — впредь я буду больше руководствоваться вашими предостережениями. Вы — преданный слуга, один из тех, каких немного. Игра, которую я затеял, слишком высока для того, чтобы я мог колебаться пред устранением авантюриста, преграждающего мне дорогу. Пойдите, Акст, и пригласите ко мне начальника полиции Филиппи!

Он протянул Аксту руку. Тот почтительно поцеловал её и сказал:

— Так и следует, ваше превосходительство, сделанную ошибку нужно постараться исправить и обратить себе на пользу.

Серра вернулся к себе в гостиницу; к нему тотчас же явился его услужливый хозяин и осведомился, не пожелает ли он чего. Но у Серры не было новых поручений для него и он тотчас же сел за работу, чтобы составить, по желанию министра, новый доклад относительно имения Кроточин. Он желал как можно скорее покончить с работой и затем, по совету министра,

отправиться в Вену и лично доложить о своих планах и предложениях. За своей работой он часто тихо улыбался, будущее рисовало его честолюбию самые заманчивые и блестящие картины той комбинации, на которую, к его радостному изумлению, с такой готовностью согласился фон Герне; пред ним открывалось в высшей степени важное положение: в качестве управляющего Кроточином ему предстояло иметь за собой финансовую силу берлинской компании торгового мореплавания и венского торгового общества и вместе с тем держать в своих руках важнейшие политические тайны обоих кабинетов — и венского, и берлинского.

Положение Польши было всё ближе и ближе к кризису; Серра знал, что венское правительство имеет в виду провозглашение наследным польским королём курпринца саксонского. Если бы этот план удался, какое положение занял бы в отношении нового короля и его дома он, посредник всего этого! Разве не было естественным возложить на него заведывание финансами королевства? Мысленно он уже видел себя возле польского престола, ворочающим миллионами и окружённым всеми почестями и всем блеском своего высокого, влиятельного положения. А если

даже и не удастся этот план, если высочайшая цель его честолюбия останется недостижимой для него, то во всяком случае ему обеспечены признательность и благодарность обоих правительств и вместе с тем, если и не такое блестящее, то во всяком случае почти столь же влиятельное и выгодное положение!

Рука генуэзца скользила по бумаге. Он группировал цифры и производил свои расчёты с таким искусством, что покупка Кроточина даже и при самом кропотливом подсчёте должна была показаться выгодным предприятием, благодаря которому, не говоря уже о политических планах, получался чрезвычайный финансовый выигрыш и которое вместе с тем могло предоставить компании торгового мореплавания прочную опору для её польских торговых отношений. Серра был в высшей степени доволен тем, что его работа быстро продвигалась вперёд, позволил себе лишь короткий перерыв для того, чтобы перекусить и затем усердно продолжать писать до самого вечера.

Серра приказал зажечь свечи в своей комнате и решил употребить всю свою работоспособность, чтобы, если удастся, приготовить к следующему утру свой доклад министру фон Герне, а затем

тотчас же уехать в Вену и там, не теряя времени, обеспечить себе осуществление своих блестящих планов.

В то время как он при свете свечей подводил итоги цифр в своих расчётах, к воротам гостиницы подъехала закрытая карета. Из неё вышли два просто одетых во всё чёрное человека; в то же время из тёмной улицы появились несколько полицейских и стали по обеим сторонам ворот.

На шум экипажа выбежал хозяин гостиницы в сопровождении нескольких слуг. При виде одного из прибывших в карете, которые тотчас же вошли в гостиницу, хозяин испуганно вздрогнул, сделал знак слугам удалиться и с низким поклоном спросил:

— Что изволите приказать, ваше высокородие?

— У вас в гостинице остановился некий господин Серра? — коротко и строго произнёс прибывший, в котором хозяин тотчас же узнал полицеймейстера.

— Совершенно верно, ваше высокородие, — ответил хозяин, — он предъявил австрийский паспорт, надлежащим порядком визированный и, согласно предписанию, представленный мною в полицию.

— Проведите меня к нему! — приказал поли-

цеймейстер.

Хозяин гостиницы повиновался, и вскоре полицеймейстер уже входил в комнату Серры. При виде совершенно незнакомого человека последний встал, с неудовольствием отрываясь от работы, и сделал несколько шагов навстречу вошедшим.

— Вы — господин Серра? — коротко спросил полицеймейстер.

— Да, я, — ответил изумлённый Серра, — что вам угодно?

— Вы прибыли из Варшавы?

— Позвольте мне заметить, что спрашивать надлежит мне и что я уже позволил спросить у вас, что вам угодно! — нетерпеливо проговорил .Серра.

— Мне поручено отвести вас к моему начальнику, господину президенту берлинской полиции, — последовал ответ.

— На каком основании? — бледнея, произнёс Серра.

— Мой начальник не объяснял мне оснований, — коротко ответил полицеймейстер, — он сам произведёт допрос, и тогда вам ясно станет, в чём дело.

— Допрос? — спросил Серра, — но в чём же

обвиняют меня?

— Прошу вас следовать за мною! моя служба не дозволяет мне терять время в бесцельных разговорах.

— Но это — посягательство на мою свободу, на что вы не имеете права по отношению к иностранному подданному, — воскликнул Серра. — Впрочем, я нахожусь здесь по делам его превосходительства министра фон Герне, который даст все сведения обо мне и конечно поручится за мою невиновность, если против меня возникнет какое-либо непонятное мне обвинение!

— Расскажите всё это господину начальнику полиции, теперь же я настоятельно прошу вас следовать за мною; я позабочусь о том, чтобы все ваши документы и бумаги равным образом были доставлены господину начальнику, и вы будете так добры точно указать мне, где таковые находятся, чтобы не терять времени на производство обыска в вашей комнате. Всякая попытка скрыть что-либо будет безуспешна.

— Мои бумаги? — воскликнул Серра, — по какому праву?

Он протянул руку к большой маппе, разложенной на столе.

Полицейский чиновник быстро очутился

между ним и письменным столом и оттолкнул Серру.

— Остановитесь, сударь, — воскликнул он, — не пытайтесь скрыть что-либо от нас, в противном случае вы значительно ухудшите своё положение! — Он собрал все разложенные на столе бумаги, вместе с начатым докладом вложил в маппу и затем сказал: — пожалуйте, сударь, за мной!

Серра всё ещё стоял, погруженный в мрачные размышления.

— Вы разрешите мне переодеться? — наконец произнёс он, — я не так одет, чтобы можно было выйти в этом.

— Поторопитесь! — коротко произнёс полицеймейстер, — даю вам пять минут времени, но затем вы должны быть готовы.

Серра прошёл в альков, находившийся рядом с его комнатою. Полицейский чиновник вошёл туда же и убедился, что в этом алькове нет другого выхода. Затем он снова возвратился в комнату, выдвинул все ящики письменного стола и конфисковал находившиеся в них бумаги.

Серра быстро переоделся, затем отошёл в угол алькова, вырвал листочек из своей записной книжки, поспешно набросал на нём несколько

фраз и затем сложил его и сунул под умывальный стол.

— Я готов, — сказал он, снова возвращаясь в комнату.

Полицеймейстер направился к двери, Серра последовал за ним. За дверью стоял полицейский офицер, и между обоими полицейскими Серра спустился по лестнице.

Пока всё это происходило в верхнем этаже гостиницы, к её воротам подъехала большая и для того времени чрезвычайно элегантная карета, запряжённая четвёркою выносливых почтовых лошадей. Два лакея в дорожных ливреях соскочили с облучка кареты и открыли её дверцу.

Хозяин гостиницы поспешил к карете. Высокая, стройная дама нагнулась из неё и сказала по-французски:

— Мне хвалили вашу гостиницу. Я предполагаю на некоторое время остановиться в Берлине. В вашем доме найдётся удобное помещение для меня?

— Половина первого этажа в распоряжении вашего сиятельства, — ответил Винценти, — и в моём доме будут приложены все усилия к тому, чтоб вы остались довольны.

— Отлично, мы остановимся здесь, — сказала

дама.

Она легко оперлась на руку хозяина, почтительно предложенную им, и вышла из кареты. Горничная с ручным багажом последовала за ней. Как раз в тот момент, когда приезжая вошла в большие ворота гостиницы, на лестнице показался Серра. Полицейские солдаты приказали, чтобы дорожная карета чужестранки проехала вперёд и очистила место для закрытого экипажа их начальника.

Между тем произошла задержка; Серра воспользовался ею, подошёл к хозяину и шепнул ему что-то на ухо по-итальянски. Полицеймейстер, стоявший уже на пороге и ожидавший своей кареты, не обратил на это внимания; но иностранка, которая при виде шедшего между полицейскими человека остановилась возле хозяина, вся как-то вздрогнула и перегнулась, как бы прислушиваясь. Между тем подали карету. Полицеймейстер сделал Серре знак войти в неё, и сам сел рядом с ним. Полицейская карета отъехала, и к воротам снова подъехал дорожный экипаж иностранки, и слуги принялись вынимать бесчисленное множество багажа.

Приезжая дама, в сопровождении хозяина, поднялась в первый этаж. Винценти приказал

открыть ей ряд лучших комнат. Она мельком посмотрела последние и объявила, что оставляет их все за собою.

Хозяин довольно осклабился и поклонился, намереваясь поспешить вон, чтобы помочь слугам вносить багаж приезжей. Но последняя удержала его. Она откинула свой вуаль, и Винценти увидел пред собою необыкновенно прекрасное, благородное и гордое лицо с пламенным взором глаз.

— Вам придётся сообщить обо мне полиции, — сказала она, — покончите сейчас же с этою формальностью. Я — Ворринская и намереваюсь пробыть здесь некоторое время, чтобы осмотреть столицу великого короля, слава о котором распространилась по всему свету. Вот вам мой паспорт! Надеюсь, что ваша полиция, строгость которой я только что видела на примере, найдёт в полном порядке этот документ. — Она вынула из роскошно вышитого ридикюля большую вчетверо сложенную бумагу и подала её хозяину, с низким поклоном принявшему её. — Кто этот бедняк, только что оставивший ваш дом при столь печальных обстоятельствах? — спросила она затем.

— Полагаю, что купец, — ответил хозяин. — Его имя — Серра. Его документы в порядке, но он,

должно быть, находится под подозрением, так как после весьма непродолжительного пребывания здесь был арестован, как вы изволили сами видеть, ваше сиятельство. Мне ничего неизвестно более. Хозяин гостиницы должен ничего не видеть и ничего не слышать, — добавил он, пожимая плечами.

— И всё же мне кажется, что вам известно много больше об этом Серре! — сказал дама. — У меня острый слух, и я отлично знаю итальянский язык. Поэтому я слышала и поняла всё, что он сказал вам, а так как я немного любопытна, то мне хотелось бы побольше узнать об этом.

— Боже мой! Вы, ваше сиятельство, изволили слышать? — бледнея и с дрожью в голосе воскликнул Винценти. — Нет, нет, вы, должно быть, ошиблись, — улыбаясь, сказал он, — он лишь попрощался со мною и поручил мне багаж, оставленный им здесь.

— Нет, сударь, я не ошиблась, — холодно и строго произнесла приезжая, — я отлично слышала, что этот человек сказал вам: «Под умывальным столом в моей спальне найдёте записку; если вы доставите её графу Феликсу Потоцкому в Варшаву, то можете рассчитывать на вознаграждение, которым останетесь довольны».

— Нет, нет, вы ошиблись, ваше сиятельство!., я не знаю никакого графа Потоцкого, — старался уверить приезжую хозяин.

— Весьма возможно, — согласилась дама, — но это нисколько не мешает доставить ему письмо, а я уверяю вас, что весьма ясно слышала. Так вот, я знаю графа Потоцкого, он — даже мой друг. Поэтому мне нужно точно знать, чем вызван арест этого господина. Итак, я желаю, чтобы вы отдали мне записку, которая несомненно всё ещё лежит на указанном месте.

Хозяин колебался.

— Послушайте, — почти угрожающим тоном продолжала приезжая, — если вы откажетесь исполнить моё желание, то я немедленно сообщу начальнику полиции, что вы состоите в связи с арестованным в вашем доме иностранцем. Если же вы немедленно принесёте мне эту записку, то вот что будет вам в награду. — Она вынула из ридикюля туго набитый кошелёк, сквозь петли которого поблескивали золотые монеты. — Далее я буду так же щедра по отношению к вам, — продолжала она, — если вы будете ежедневно и подробно сообщать обо всём, что касается этого Серры.

Хозяин жадно посмотрел на кошелёк и, пожи-

мая плечами, произнёс:

— Я не знаю этого человека; какое же мне дело до его тайн? А так как вы, ваше сиятельство, состоите в дружбе с графом Потоцким, о котором он упомянул, то, исполнив ваше желание, я не поступлю несправедливо и против него. Я сейчас же принесу ту записку, если она находится на указанном месте. — Он быстро встал, и спустя короткое время, вернулся обратно. — Вот эта записка, — сказал он, — она написана на языке, которого я не понимаю.

Он передал своей постоялице сложенную бумагу. Она отдала ему кошелёк и сказала:

— Хорошо, я вами довольна; теперь ступайте и позаботьтесь о моих слугах. Через час вы прикажете подать мне ужин. — Оставшись одна, она продолжала: — какое странное совпадение! При первых же шагах в этом доме судьба даёт мне в руки нити интриги, пожалуй даже весьма важной. — А-а, — протянула она, — он умеет писать по-польски, хотя не совсем правильно, но всё же совершенно понятно.

«Меня арестуют, — прочла она. — Я подозреваю, что причина тому — министр фон Г. и что я попал в ловушку. Постарайтесь освободить меня, требуйте моей выдачи непосредственно у короля,

если другие пути останутся безуспешны».

— Министр фон Г.? — бледнея, сказала дама, — какое странное совпадение! Кажется, что эта нить, данная мне в руки судьбою, в действительности ещё более значительна, чем я подозревала; как бы то ни было, у меня в руках драгоценный талисман и теперь только нужно ловко и умно использовать его силу и сделать его действительным.

Она позвонила. Вошла горничная.

— Комнаты убраны? — спросила дама.

— Так точно, ваше сиятельство.

— Как ты неосторожна! Ты не должна даже и тогда, когда мы наедине, называть меня вашим сиятельством; здесь, в Берлине, не существует графини Браницкой... Понимаешь? Ты ещё раз вдолби лакеям, что это имя никогда не должно появляться у них на губах; здесь существует лишь госпожа Ворринская... Слышишь?

Горничная испуганно стала уверять, что она впредь будет осторожнее и будет строжайшим образом хранить тайну своей госпожи.

— А теперь позови сюда хозяина! — приказала графиня.

Спустя несколько минут, появился Винценти. Он уже успел сосчитать содержимое кошелька, и

царский подарок, которым иностранка заплатила за своё минутное, как он думал, любопытство, внушил ему безграничное благоговение к ней и ни пред чем не останавливающееся рвение услужить ей.

— У меня есть здесь знакомый, которого я хотела бы видеть, — сказала графиня. — Не знаете ли вы офицера, барона фон Пирша?

— Конечно знаю, ваше превосходительство; барон фон Пирш состоит в драгунском полку фон Зальдерна. Он вместе с другими офицерами часто делает честь моему дому своим посещением; ведь им всем известно, что ни один погреб в Берлине не превзойдёт погреба Джиакомо Винценти.

— В таком случае, — сказала графиня, — известите барона фон Пирша, что одна дама, его старая знакомая, остановилась у вас, что она желает видеть его и приказала просить его как можно скорее навестить её.

— Слушаю-с, слушаю-с, ваше сиятельство! — ответил хозяин. — Ваше приказание будет тотчас же исполнено, и я уверен, что барон фон Пирш явится ещё сегодня.

— Когда он придёт, вы должны, не говоря ни слова, провести его ко мне, и, если это будет во время ужина, прикажите приготовить прибор

и для него.

Винценти с низким поклоном торопливо удалился.

Графиня между тем направилась в приготовленную её горничной туалетную комнату.

XXVIII

По своём возвращении из Могилёва, поручик фон Пирш стал бывать в доме фон Герне чаще, чем в то время, когда он ещё был пажом и лишь с трудом и редко получал отпуск из Сансуси; но он не находил случая в прежнем дружеском тоне поговорить с Марией; и он, и она как бы по молчаливому соглашению скорее избегали такого случая, чем искали его.

После своего последнего разговора со своей подругой детства и после открытия, сделанного им в Могилёве относительно особы ненавистного ему иностранца, молодой офицер стал питать непобедимый страх касаться предмета, принявшего столь мучительный оборот, а после того как он уже однажды коснулся в разговоре своих чувств, он считал невозможным говорить лишь о безразличных вещах.

Со своей стороны, и Мария, как мало ни была она склонна серьёзно и трагически смотреть на страсть своего друга детства, легкомыслие которого она отлично знала, всё же ощущала то прискорбное замешательство, которого никогда

не избегнет благородное женское сердце, если оно не в состоянии ответить взаимностью на любовь. Поэтому она с искусством, исключавшим и тень преднамеренности, старалась избегать интимных встреч, а в большом обществе им обоим отлично удавалось снова найти и сохранить непринуждённый тон их детства. Сидя рядом за столом или находясь в салоне среди многочисленного общества, они доверчиво разговаривали, смеялись и шутили друг с другом, и всякий, видевший их вместе, мог думать, что старая детская дружба может повести или даже уже и повела к более тёплому чувству.

Некоторые дамы уже несколько раз намекали Марии на её отношения к молодому барону фон Пиршу, и проникнутое недовольством замешательство, с которым она то бледнея, то краснея отвергала подобные замечания, привело к тому, что высказываемые предположения ещё более окрепли.

Но, если бы кто-нибудь внимательно понаблюдал за ними, тот конечно заметил бы, что молодой Пирш постоянно являлся к званым обедам и ужинам в доме фон Герне в такое именно время, когда уже мог наверное застать там собравшееся общество, и что он уходил, прежде

чем разъезжались все другие гости; точно так же он никогда не делал тех интимных визитов, на которые имел право вследствие своих родственных отношений.

Правда, он не оставил ещё надежды вытеснить из сердца Марии ненавистного иностранца; чувство, которое он заметил у неё к Балевскому, он считал не более и не менее, как заблуждением, которое со временем должно было исчезнуть; вместе с тем должна была сгладиться и разница, временно создавшаяся между ним и его подругой детства, благодаря тому, что она стала светской барышней, а он всё ещё оставался пажом.

Разумеется, его надежды поуменьшились благодаря открытию, что под авантюристом торговым агентом Балевским скрывается знатнейший польский магнат, на которого министр мог смотреть как на достойную, даже блестящую партию для своей племянницы и в сравнении с которым он сам, бедный офицер, не мог не отступить на задний план. Но ведь он познакомился с графиней Еленой Браницкой и она обещала ему своё содействие; от неё он слышал, что она смотрела на любовь графа Игнатия Потоцкого к Марии как на заблуждение и, видимо, как на измену. Таким образом он надеялся при поддержке

этой союзницы, найденной им в Могилёве, на благоприятный оборот и с нетерпением ожидал её появления в Берлине.

Сам фон Герне постоянно относился с родственной сердечностью к Пиршу; он обращался с поручиком, как с членом своей семьи, и никогда не обходил его приглашением к столу, если за последний садилось даже очень немного гостей. Со своей стороны и Пирш всегда принимал эти приглашения, так как не желал предать забвению свои надежды, явно и резко прервав свои дружеские отношения с домом фон Герне; к тому же, несмотря на его разочарование и злобу, его всё же влекла к Марии какая-то таинственная, магическая сила, которой он не в состоянии был сопротивляться. Таким образом, в тот день, когда Серра, по приказанию начальника полиции, был арестован в гостинице Винцента, Пирш по обыкновению был у министра Герне.

Несмотря на то что и на этот раз Пирш пришёл незадолго пред обедом, он застал Марию одну в салоне, так как сегодняшними гостями были члены совета министра и он задержался с ними на продолжительной и важной конференции.

И Пирш, и Мария густо покраснели, впервые после продолжительного времени встретившись

наедине. Они неуверенным тоном повели разговор, касавшийся общих мест и состоявший из отрывочных фраз, чего ни тот, ни другая вовсе и не замечали. К их великому удовольствию, это мучительное положение не было продолжительным, так как вскоре появился фон Герне и его гости и сели за стол.

Разговор был довольно односложен. Сам Герне казался очень рассеянным, и его подчинённые в большинстве отвечали лишь на задаваемые им вопросы довольно безразличного содержания.

Мария, как только собралось вокруг неё общество, видимо снова овладела своей естественной непринуждённостью; она искренне смеялась и непринуждённо шутила с Пиршем, что было весьма естественно между друзьями детских игр. Молодой офицер, возбуждённый старым бургундским из погребов Герне, также всё более и более впадал в весёлый и сердечный тон былого времени; по временам ему даже казалось, что вернулось счастливое прошлое; и он позабывал о мучениях и заботах, угнетавших его сердце в настоящее время.

Тем не менее Пирш очень испугался, когда фон Герне, после десерта, поднялся из-за стола и пригласил гостей к себе в кабинет для окончания

начатого совещания.

Пиршу невозможно было тотчас же ехать. Во-первых, это было бы явной и ничем не оправдываемой неучтивостью, а, во-вторых, возвратившаяся старая искренность в его отношениях с Марией увлекла его своею неотразимой прелестью и у него недоставало мужества удалиться, как часто не хватает сил оторвать от губ бокал с опасным и опьяняющим напитком.

Когда фон Герне с беглым извинением пожал Пиршу на прощание руку и оставил его в обществе своей племянницы, молодому поручику не оставалось ничего более, как предложить руку Марии и отвести её из столовой в её гостиную, куда лакеи тотчас же подали кофе, оставив их затем наедине.

Всё здесь оставалось по-прежнему, как и в тот весенний день, когда Пирш рискнул признаться Марии в своей любви к ней. Большие стеклянные двери, выходившие в сад, стояли настежь открытыми, солнечные лучи падали сквозь тёмную и густую листву высоких деревьев; Лорито сидел на своём шесте и весёлым хлопаньем крыльев радостно приветствовал свою госпожу. Мария нежно погладила по голове птицу и опустилась на своё место возле неё, чтобы снова приняться

за своё вышивание.

Она начала безразличный, непринуждённый разговор. Вся её весёлость снова исчезла, и она так усердно следила взором за своей работой, как будто от равномерности стежков её вышивки зависели все её жизненные интересы.

Пирш стоял пред нею со скрещёнными руками. Мрачный огонёк горел в его взорах, устремлённых на личико молодой девушки, которое под золотисто-зелёными лучами солнца казалось ещё прекраснее обыкновенного, чему немало способствовало полусмущённое, полуупрямое выражение, под которым она напрасно старалась скрыть своё внутреннее замешательство.

Некоторое время Пирш молча слушал её общепринятые, безразличные замечания, нисколько не выражавшие её мыслей.

— Нет, нет, — воскликнул он затем, отвечая на свои собственные мысли, — так не может, так не должно оставаться! Трусливо и низко ждать чужого содействия. У кого недостаёт духа собственной рукой сорвать цветок своего счастья, для того он вечно будет напрасно цвести!

Мария испуганно вздрогнула при этой неожиданной тираде, не имевшей никакой связи с тем, что она только что сказала. Она вопросительно

взглянула на молодого офицера и тотчас снова потупилась под его не то умолявшим, не то угрожавшим взором.

— Я не понимаю тебя, — сказала она, — что не должно так оставаться? что должно измениться? У тебя неприятности по службе? Обратись тогда к своему дяде, переговори с ним откровенно; он конечно охотно походатайствует за тебя.

— По службе? — пробудившись из своей задумчивости, воскликнул Пирш. — Какое мне дело до службы, когда на карте высшее счастье всей моей жизни? Нет, нет, так не может, так не должно оставаться, ты сама знаешь это, Мария, ты должна отлично знать, что я не могу дольше жить!

— Эрнст, — с дрожью в голосе произнесла Мария, — прошу тебя!

Она запнулась, не будучи в состоянии выразить то, что волновало её.

В этот момент попугай, внимательно смотревший на неё, ласковым тоном, словно желая успокоить её, произнёс:

— Игнатий!

Яркий румянец залил лицо Марии, и, чтобы скрыть его, она склонила голову на грудь.

Но Пирш погрозил сжатым кулаком птице и, подойдя ещё ближе к молодой девушке, вос-

кликнул:

— Вот оно, Мария, вот оно! Вот это трижды проклятое имя, ненавистный звук которого встаёт между нами и отделяет меня от всего, что было счастьем и надеждой в моей жизни.

Робкое замешательство Марии сразу, словно под ударом магической палочки, исчезло. Она быстро поднялась и, гордо выпрямившись, подошла к Пиршу.

— Я не знаю, что ты хочешь сказать этим, Эрнст, — проговорила она, устремив на него гордый, ясный взор своих больших глаз, — я не знаю, по какому праву говоришь ты это, но я знаю, что лучше, если мы не будем продолжать этот разговор, на который я никогда не давала и никогда не дам тебе права.

— Игнатий, Игнатий, — скрежеща зубами, повторял Пирш, — вот имя, под которым он прокрался сюда и вражески вторгся в мою жизнь. Это имя, может быть, и настоящее, но зато другое имя этого господина Балевского, сумевшего коварным волшебством опутать твоё сердце, фальшиво, фальшиво так же, как и его душа.

Мария побледнела и прижала руку к сердцу.

— Фальшиво, говоришь ты? — гордо и грозно спросила она, — почему?

— Потому что его не зовут так, — воскликнул Пирш, — потому что он приблизился к тебе под маскою заимствованного имени, чтобы впоследствии тем легче снова бесследно исчезнуть, когда игра, которую он под влиянием мимолётного каприза вёл с твоим сердцем, уже не будет развлекать его.

Мария ещё более выпрямилась. Хрупкая, худощавая девушка, казалось, выросла и окрепла, когда с загоревшимся взором твёрдым и ясным голосом проговорила:

— Неблагородно обвинять отсутствующего, который не может защищаться, в особенности тогда, когда нельзя доказать обвинение.

— Доказать! — горячо воскликнул Пирш. — Ты говоришь — доказать!.. Мои глаза видели это доказательство, и в этом нет никаких сомнений. Когда король послал меня в Могилёв, то я, к своему удивлению, увидел при дворе императрицы Екатерины Второй того самого Балевского, который являлся сюда ради торговых дел с компанией торгового мореплавания.

— При дворе императрицы Екатерины? он... поляк? — недоверчиво спросила Мария.

— О, эти польские магнаты все были там, — ответил Пирш. — Как планеты окружают солнце,

так они окружили императорский престол, соревнуя с русскими царедворцами в низкопоклонстве пред самодержавной императрицей, и среди самых гордых имён польских царедворцев Екатерины звучало имя графа Игнатия Потоцкого; и в нём я, к своему удивлению, узнал того господина Балевского, который явился сюда и ослепил твоё сердце.

Мария подняла свой гордо засверкавший взор, и счастливая улыбка заиграла на её губах.

— Граф Игнатий Потоцкий! — прошептала она, — это имя гордо звучит среди первых имён польской шляхты! Хотя я и знала, что он — не тот, за кого выдавал себя, но всё же я не грезила о таком высоком положении!

Пирш мрачным взором удивлённо взглянул на девушку; по-видимому, он ожидал другого результата от своих слов. Гордая радость девушки, вызванная этим громко звучащим именем, заставила его почти раскаяться в своём сообщении.

— Да, — с горечью продолжал он, — этот гордый господин смущённо и робко стоял предо мною, простым, бедным офицером; он говорил о какой-то тайне, принудившей его появиться здесь под вымышленным именем; он просил у меня обещания сохранить эту тайну, и я обещал ему

по просьбе его приятельницы.

— Его приятельницы? — бледнея и делая шаг вперёд, воскликнула Мария.

— Да, его приятельницы! — подтвердил Пирш, — его приятельницы, сострадательно улыбавшейся при сообщении об этой мнимой тайне! Эта приятельница — одна из самых гордых красавиц при польском дворе; её сердце принадлежит графу Игнатию Потоцкому, и, в свою очередь, его сердце принадлежит ей. И эта дама, — прибавил он с иронической усмешкой, чуждой его свежему, доброму и открытому лицу, — по-видимому, мало беспокоится о его маленьких тайнах, так как уверена, что они не имеют ничего общего с его сердцем; притом же она достаточно уверена в своём собственном владычестве над ним.

Под этим ударом Мария на миг поникла головою. Тихая дрожь пробежала по всему её телу; но затем она снова быстро выпрямилась, её губы снова улыбнулись и она с холодным спокойствием проговорила:

— Это — неправда!

Блаженная уверенность засверкала в её взоре. Она прижала руку к груди и нащупала спрятанное под кружевной косынкой письмо возлюбленного, так тепло, так правдиво и так искренне

говорившее ей о его любви; если его слова были ложью, то уже не существовало более правды на белом свете.

— Ты говоришь, что это — неправда? — вне себя воскликнул Пирш. — Неужели твоё сердце так сильно охвачено злосчастными чарами, которыми этот человек сумел околдовать тебя? О, Мария, Мария, послушай меня, выслушай слова своего друга, к которому твоё сердце так доверчиво относилось в детстве; послушай и берегись вражеской силы, которая повергнет тебя в бездну горьких, бедственных разочарований. — Он бросился к ней, упал пред нею на колена, крепко сжал её сопротивлявшиеся руки и покрывал их бесчисленными поцелуями. — Мария, Мария, — воскликнул он, — никто в мире не в состоянии любить тебя так, как я!.. И я ведь знаю, что ты была хороша ко мне, пока между нами не встал этот злосчастный чужеземец! Подумай о тех счастливых днях, когда ты не могла отвергнуть прекрасные и сладкие надежды, которые ты должна была читать в моих глазах и должна была слышать в моих словах! Я не могу предложить тебе ни золота, ни имени гордого магната, но на всём белом свете ты не сыщешь сердца, которое сравняется с моим в любви и верности! О, Мария,

Мария! отбрось безумное тщеславие, вернись к своему старому другу детства, который лучше знает тебя и оценит выше, чем кто-либо другой!

Глаза Пирша наполнились слезами. Он обвил любимую девушку руками и скорбно устремил на неё свой страстно-пламенный взор. Мария силою вырвалась от него и, возмущённая, отступила на несколько шагов. Попугай закрякал, забил крыльями и грозно протянул к молодому офицеру свой клюв.

Мария уже было протянула руку за золотым колокольчиком, находившимся на её рабочем столике, но затем быстро успокоилась и её лицо приняло выражение искреннего сострадания. Она подошла к Пиршу, подала ему свою руку и сказала с дружеской сердечностью:

— Эрнст, выслушай меня! Ещё будучи ребёнком, ты выслушивал меня, когда даже и готов был вспылить в припадке дикой горячности; выслушай меня и сегодня и не заставь нас расстаться по-дурному.

— Расстаться? — глубоко опечаленным тоном повторил Пирш, а затем поднялся, провёл рукой по глазам и сказал: — хорошо, говори!

— Эрнст, — продолжала Мария, с детской сердечностью глядя на него, — ты ведь знаешь, что

во всё время нашего детства я всем сердцем была привязана к тебе.

— Я знаю, что так было в детстве, — ответил он, делая ударение на последнем слове.

— Это было и это есть так, — сказала Мария, — ничто во мне не изменилось, я относилась к тебе так хорошо, как может относиться лишь сестра к брату; такой же я остаюсь по отношению к тебе и сейчас, и, может быть, если бы всё оставалось по-старому и если бы ты говорил со мною так, как делал это недавно и даже сегодня, я согласилась бы, что не поняла тогда своего сердца, и дала бы тебе ответ, который могу дать тебе сегодня.

Пирш сжал кулаки. С его губ сорвалось тихое проклятие.

— Нет, нет, — умоляюще проговорила Мария, — если всё так и случится, я уверена, это не будет счастьем ни для меня, ни для тебя... Мы оба разочаруемся, и, когда впоследствии наступит это разочарование, будет слишком поздно; ведь ты, Эрнст, ошибаешься; ты так ещё молод, так чужд свету! Простую детскую дружбу ты принимаешь за другое чувство. А когда то чувство, которое ты, как говоришь, испытываешь ко мне, действительно закрадётся в твоё сердце, на тебе будут тяготеть оковы и ты, пожалуй, станешь

негодовать на меня за то, что я не предупредила и не отвергла тебя.

— Никогда, никогда, Мария! — с пламенным взором воскликнул Пирш.

— Однако припомни, Эрнст, как часто и быстро менялись твои привязанности уже в былое время, в пору нашего детства, — сказала Мария, почти со страхом успокаивая его страстное возбуждение, — как ты сердился, когда и прежде я говорила тебе об этом, и как ты всё же часто с презрением швырял в угол игрушку, которая всего лишь накануне казалась тебе драгоценностью.

— Игрушку! — воскликнул Пирш. — Ты — игрушка, Мария!

— О, этим сравнением я, право, нисколько не унижаю себя, — с печальной улыбкой сказала Мария. — Разве ты постоянно не радовался всему тому, с чем связано всё великое и благородное? Но тем не менее всё то, к чему тяготело твоё сердце, было только игрушкой. Так же и теперь всё, что ты находишь во мне, есть только игрушка, так как ты ещё не вырос из игрушек. Всем ведь известно, что мальчики дольше, чем мы, остаются детьми и забавляются игрушками, — почти не по летам наивно добавила она, так что и Пирш наверное рассмеялся бы, если бы не был

так глубоко взволнован. — Ну, вот ты видишь, — оживлённо продолжала она, — наша любовь и, как её следствие, брак будет нашим несчастьем, так как впоследствии вместо детской игры к тебе подступит серьёзная действительность и ты недовольно отбросишь игрушку, в достоинстве которой разочаруешься. Вот потому-то и хорошо, что это не случилось и не могло случиться с тех пор... — Мария запнулась и краснея потупилась, но тотчас же снова подняла голову, открыто взглянула Пиршу в глаза и сказала: — нет, Эрнст, это не могло случиться, так как и тогда, когда ты говорил здесь со мною, я узнала, что моё чувство далеко не то, чего ты требовал от меня и существование чего ты, под влиянием страстного заблуждения, предполагал в самом тебе. Я знала, Эрнст, что моя любовь к тебе как сестры, выросшая в сердце ребёнка, готова была принести всякую жертву твоему счастью, но вместе с тем я знала и то, что её недостаточно к тому, чтобы создать прочный союз на всю жизнь. И как раз в тот день мне суждено было испытать во всём его непобедимом всемогуществе то чувство, которое не могло существовать между нами.

— Я знал это, — заскрежетав сказал Пирш, — я отлично видел это!

— Вот видишь, Эрнст, — продолжала Мария, протягивая ему руку, — я правдива и откровенна с тобою, как и всегда была по отношению к своему другу детства, и всё между нами будет обстоять по-прежнему хорошо, если мы останемся, как и были, друзьями; а то, что под влиянием заблуждения ты искал во мне, ты ещё найдёшь там, где это не приведёт тебя ни к разочарованиям, ни к раскаянию.

Пирш, казалось, не заметил протянутой ему руки.

— Нет, Мария, я не ошибся, — сказал он, — то, что наполняет моё сердце, — не заблуждение; моя любовь к тебе выросла во мне и стала единственным содержанием моей жизни. Но ты, Мария, ошибаешься или ошибёшься, так как Игнатий Потоцкий, притворившийся любящим тебя, принадлежит другой, которая имеет более прав на него, и если он будет верен тебе, то ему придётся погубить ту — другую!

На этот раз Мария не побледнела и не потупилась, но ясным, спокойным, почти весёлым взглядом окинула его и сказала:

— В этом я не верю тебе, Эрнст, и если тебе говорили это, то тебя обманули, чтобы разлучить два сердца, принадлежащих друг другу и связанных

святым доверием. Я верю ему, — в восторженном порыве продолжала она, — его слово — скала, на которой покоится моя душа; его взор — светлый луч, пред которым исчезают все тучи! Нет, нет, у него не существует другой привязанности, и, если бы он носил в своём сердце образ другой или даже только воспоминание о нём, он не был бы в состоянии найти те слова, которые пишет мне.

Мария вынула из-за складок косынки письмо Потоцкого и пылко прижала его к губам.

Пирш побледнел, закусил губы и глухим голосом произнёс:

— Так вот как далеко зашло? Неужели твой дядя знает об этой переписке?

— Его секретарь доставил мне это письмо из Варшавы! — ответила девушка.

— Тогда мне нечего говорить, — сказал Пирш, — и остаётся лишь молить Бога, чтобы Он оградил тебя от горьких разочарований и возместил тебе моё сердце; оно полно любви и верности к тебе, но ты его потеряла!

— Эрнст, — умоляюще произнесла Мария, — неужели ты со злобою уходишь от меня? Разве я не должна была быть правдивою с тобой? Разве я не доказала тебе, что считаю тебя своим лучшим и своим верным другом?

— Истина горька, — ответил Пирш, — говорят, что она может быть лекарством, но она может быть и ядом, приносящим смерть! Разумеется, ужасно больно, когда вырвут жизнь из корневых мочек её существования, и тяжело пускать ростки в новой почве, а ещё тяжелее искать цветов в новой жизни... Будь счастлива, Мария!

— Эрнст, Эрнст! — испуганно воскликнула она, — что ты хочешь этим сказать? Что ты предпримешь? Меня страшат твои слова!

— Успокойся! — с горькой усмешкой ответил молодой офицер, — успокойся, моя жизнь в безопасности, до подобного малодушия Эрнст фон Пирш ещё не снизошёл. Но мне приходится искать нового мира и тебя, Мария, я уже никогда не увижу!

— Так ты — уже не друг мне, Эрнст? — печально спросила девушка.

— Я — твой друг и навсегда останусь им; если я буду нужен тебе, ты не будешь тщетно призывать меня: при несчастье — да отвратит его от тебя Господь! — я буду здесь; но твоё счастье я не в силах видеть! — Он почти до боли сжал её руку, пристально посмотрел ей в глаза и слегка всхлипывающим голосом воскликнул: — прощай, Мария, прощай, прощай!

Молодая девушка хотела ещё что-то сказать ему, но Пирш уже исчез из комнаты. Её глаза также наполнились слезами, и она с печальным вздохом опустилась в кресло. Машинально взяла она в руки работу, а Лорито между тем радостно захлопал крыльями и самым ласковым тоном воскликнул:

— Игнатий! Игнатий!

По-видимому, эти возгласы птицы с волшебной силой отогнали мрачные мысли Марии.

— Он позабудет, — прошептала она, — как когда-то ребёнком часто позабывал свои фантазии, совершенно овладевавшие им под влиянием мимолётного каприза.

Мария прижала платок к глазам. Затем она вынула письмо Игнатия Потоцкого и стала перечитывать слова его любви; всё снова и снова перечитывала она его привет, и её губы с блаженной улыбкой шептали слова, находившие отзвук в глубине её сердца.

Пирш с поникшей головою молча шагал вдоль улицы; он не обращал внимания ни на дорогу, ни на поклоны некоторых встречных; он был потрясён до глубины души и едва ли мог дать отчёт: погрузился ли он из яркого дневного света в тупую дремоту с тяжёлыми снами, или, наоборот,

был пробуждён от светлых, приятных сновидений к холодной ужасной действительности.

Вся его жизнь бессознательно развивалась в нём вместе с его любовью к Марии Герне. С этой любовью были связаны все его мысли о будущем, и в конце концов, после первого появления графа Игнатия Потоцкого, он с присущим своей натуре гордым упрямством ухватился за эту любовь, показавшуюся ему драгоценной собственностью, которую он должен защищать от нападений чужеземца. И вот эта любовь внезапно была изъята из его жизни; это лишило его всей опоры, всех воспоминаний и надежд, тем более что Мария лишь дружески, словно сестра, говорила с ним. После этого в его сердце уже не оставалось надежды; он был уверен, что её привязанность к чужеземцу, столь роковым образом ворвавшемуся в его жизнь, не была ни мимолётной игрою её воображения, ни плодом тщеславия; теперь Пирш был убеждён, что если Мария и обманется в своей любви, то лучше умрёт, чем обратится к нему; для него она была потеряна навеки. И это сознание жгло его душу, наполняло её глубокой печалью и вместе с тем бешеным гневом на весь свет и прежде всего на того, кто похитил у него сердце Марии. Если бы в эту минуту он встретил

графа Игнатия, едва ли кто-либо из них сохранил бы жизнь. Но вместе с тем он почти ненавидел и презирал также и самого себя. Разве он не был глупцом и малодушным трусом, посвятив все свои помыслы любви к девушке, детской грёзе? И это при вступлении в жизнь, обещавшей его юному мужеству столько заманчивых прелестей!

«Нет, прочь от себя такое безумие!» — воскликнуло что-то в глубине его души, и им овладело непреодолимое желание устремиться в жизнь, как в огненное море, и в тысячах наслаждений найти себе забвение. Он чувствовал необходимость покинуть обстановку, окружавшую его до сих пор, так как ясно сознавал, что никогда не излечится от своих страданий, не найдёт душевного покоя, если всё вокруг будет, постоянно напоминать ему о потерянных юных грёзах у о его любви. Охотнее всего он сел бы сейчас на коня и, подобно странствующему рыцарю былых времён, пустился бы по белу свету искать битв и приключений и в быстрой смене впечатлений черпать себе душевные силы.

Погруженный в такие размышления, Пирш шёл всё дальше и дальше. Наступил вечер. Как и всегда бывает при больших душевных потрясениях, привычка взяла верх над телом. Сам не сознавая

того, Пирш направился на Брудерштрассе, где он часто в этот вечерний час собирался вместе с товарищами в погребке гостиницы Винценти.

Тут он вдруг почувствовал, что кто-то коснулся локтя его руки; он поднял веки, словно пробуждаясь от глубокого сна, и увидел пред собою слугу. Последний почтительно поклонился ему и доложил, что в гостиницу прибыла знатная дама из Варшавы, желающая возможно скорее переговорить с ним. Он также сообщил Пиршу, что уже напрасно искал его в его квартире, и прибавил, что счастлив, встретив его здесь, потому что таким образом знатной и прекрасной даме не придётся более тщетно ожидать его.

Пирш молча уставился взором на слугу, но затем в его глазах вдруг вспыхнул огонёк и он сказал:

— Я иду... сейчас буду там.

Слуга поспешил обратно, чтобы сообщить о выполнении поручения.

— Это — она, — сказал про себя Пирш, — должно быть, она; кому же другому из Варшавы спрашивать обо мне? Не знак ли это, не привет ли бьющей ключом жизни, вознаграждающей меня за мои детские грёзы?

Молодой человек быстро последовал за слу-

гой и вскоре уже был под воротами гостиницы. Винценти уже ожидал там и с почтительным поклоном принял молодого офицера, сразу выросшего в его глазах, так как столь блестящая и столь царски щедрая иностранка приказала пригласить его как её старого знакомого.

Доложив о приходе Пирша, Винценти провёл его в салон графини Браницкой, в котором уже был накрыт стол к ужину; следуя полученному распоряжению, слуга поставил второй прибор для Пирша.

Молодому человеку недолго пришлось ждать; вошла графиня Елена Браницкая в домашнем платье из пурпурного бархата, схожем с тем, в каком Пирш видел её в Могилёве, и с искренней сердечностью пожала ему руку.

Графиня была дивно прекрасна при неровном свете свечей; обаяние грации и нежной прелести окутывало её и пробудило в Пирше воспоминание об опьянении, которое охватило его в ту ночь в Могилёве и так быстро исчезло тогда пред образом его любимой подруги детства.

Молодой офицер поднёс руку графини к губам и дольше, чем требовала того форма рыцарской вежливости, продержал их прижатыми к этой красивой и тёплой руке.

Графиня, по-видимому, была удивлена его пылающим лицом и беспокойно горевшим взором. Она отдёрнула руку и сказала:

— Добро пожаловать, господин Пирш! Вы видите, я сдержала слово; я — надёжная союзница, не правда ли?

— Вы — великолепнейшая из женщин! — пылко воскликнул Пирш. — Нет в мире женщины, которая могла бы соперничать с вами; нет взора, который мог бы открыть подле вас другую прелесть.

Вошли лакеи графини и стали подавать ужин. Они брали блюда от слуг, приносивших их с кухни гостиницы, и сами прислуживали с тою молчаливою быстротою и уверенностью, которые сразу отличают слуг важных домов. Графиня угощала гостя с такою милою грацией, на которую она была большая мастерица, словно была в своей столовой в Варшаве или Белостоке. При этом она легко и свободно поддерживала разговор и умела коснуться тысячи вещей, не сказав ничего такого, что не должны были слышать лакеи, так что Пирш, несмотря на печальное состояние духа, в котором находился, был совершенно пленён этой очаровательной беседой, которая в совокупности с благородными винами из погребов Винценти

взволновала его ум и сердце.

В обществе этой дивной женщины Пирш казался себе совершенно унёсшимся из круга повседневной жизни и ему самому было почти смешно, что он так тяготел к своему прошлому, которое в этот миг в сравнении с увлекательным настоящим казалось ему столь малоценным.

Его разговор становился всё оживлённее и непринуждённее, и графиню не мало удивляла та горькая ирония по отношению к каждому идеалистическому мировоззрению, которая часто звучала в его словах и совершенно противоречила тому, что она видела в нём раньше.

По обыкновению графини с ужином было быстро покончено. Поставив на стол фрукты и испанские вина, лакеи исчезли. Графиня откинулась на спинку стула и сказала:

— Вот, мой юный друг, я и приехала, чтобы помочь вам согласно своему обещанию; в любовных историях содействие женщины имеет большое значение, и я надеюсь, что вы будете мною довольны. Итак, расскажите мне, как обстоит дело; ведь врач должен точно знать болезнь, которую ему предстоит излечить.

Пирш осушил бокал малаги и с мрачным взором сказал:

— Вы прибыли, графиня, слишком поздно, и вам уже нечего делать. Искусство даже лучшего врача ничего не значит для трупа; ведь моя любовь, которой вы желаете помочь, мертва!

Графиня улыбаясь покачала головой и воскликнула:

— Как легко унывают и приходят в отчаяние молодые сердца, как они видят смерть там, где, может быть, всего только лёгкое недоразумение, где лишь лёгкое расстройство естественного кровообращения!.. Плоха же та любовь, которая так скоро умирает!

— Моя любовь не так легко умирает, графиня, — сказал Пирш, — и, может быть, даже глупо, что я с таким трудом и горем вырываю её из моего сердца; право, избранный мною цветок не стоит таких больших страданий, когда кругом цветёт так много других и притом ещё более прекрасных.

Графиня нетерпеливо перебирала кончики своих пальцев.

— Говорите без образов, — строго и коротко произнесла она, — что случилось?

— Та, которую я любил, графиня, — ответил Пирш, — моя подруга детства, о которой я говорил вам и которой с самого детства всецело принад-

лежит моё пылкое сердце, которая, как я думал, была ослеплена лишь мимолётным заблуждением, теперь навсегда, навеки потеряна для меня! Она всеми силами своего юного сердца любит того графа Игнатия Потоцкого, который под чужим именем пробрался сюда. Если когда-нибудь и рассеются чары, пленившие её, то её сердце будет разбито, но она всё же никогда не обратится ко мне, да и я, графиня, не желаю знаться с сердцем, с которым ради собственного удовольствия поиграл в любовь другой человек.

Графиня побледнела и прижала руку к сердцу.

— Она так любит его? — беззвучно произнесла она, недоверчиво качая головою. — Ведь она — ещё совсем дитя, это невозможно!

— Я очень любил эту девушку, — ответил Пирш, — так любил, что даже глупо так любить; да, да, это была глупость, но я делал эту глупость, а любовь изощряет взор: верьте мне, графиня, она околдована; она принадлежит ему на всю жизнь, она умрёт, если он обманет её. Кто может помешать им? — с иронической улыбкой воскликнул Пирш. — Если они принимают обманчивое пламя за чистый небесный огонь, то пусть они и погибнут в нём!

— Успокойтесь, мой друг, успокойтесь! — оста-

новила его графиня, кладя руку ему на локоть, — огорчение омрачает взор; никогда не следует считать что-либо потерянным, даже и любовь.

— Нужно считать потерянным то, чего не ценишь, — возразил Пирш, — или будешь глупцом, не заслуживающим награды в жизни.

— Сила чар, ослепившая сердце девушки, таится в самом этом сердце, — сказала графиня. — Нам нужно попытаться как можно скорее уничтожить чары и тем освободить ослабленное сердце.

— Нет, нет, графиня! — воскликнул Пирш. — Я покончил с тем глупым юношеским безумием, которое словно покровом окутало мой ум; цепи, приковавшие меня к воспоминаниям моего детства и удерживавшие от смелого жизненного полёта, порваны. Я горем купил себе свободу и теперь хочу использовать её. Долой то сладкое детское обаяние робкой страсти! Разве предо мною не полный кубок жизни, льющий в мою молодую кровь вместо мальчишеского томления кипучую силу?

Его взор с пламенным возбуждением покоился на прекрасной графине.

Она испугалась этого взора и неуверенным голосом произнесла:

— Вы видите всё в слишком мрачном свете, дорогой барон; вы, прежде чем нужно, предаёте забвению свои надежды.

— Напротив, — воскликнул Пирш, — я постигаю надежду, как живое существо из плоти и крови, между тем как до сих пор я вздыхал по бледной тени, манившей меня в пропасть. Если этот бесплотный призрак уже вырвал однажды из моих рук кубок наслаждений, то во второй раз я не хочу быть глупцом и жертвовать обманчивой грёзе кратковременным счастьем молодости. Вы предложили мне, графиня, спасти любовь, низводящую меня до жалкого детского прозябания; я не желаю более такой помощи! Неужели солнце должно показывать нам путь к печальному сумеречному лунному свету? Теперь моё сердце открыто для солнечного света тёплого, ясного дня. Не помощи я прошу у вас, графиня!.. Возместите мужчине печальную детскую любовь мальчика, и я в тысячу раз больше выиграю, чем потерял!

Взор графини блеснул гневом; её губы гордо и высокомерно сжались.

— Вы с ума сошли, господин Пирш! — произнесла она. — Но я готова объяснить себе безумием то, к чему прежде отнеслась бы как к оскорбитель-

ной дерзости!

Она поднялась и хотела отойти от стола. Но Пирш вскочил. Дикая страсть пылала в его взоре, из груди вырывалось горячее дыхание.

Он обвил графиню руками, прижал её к груди и воскликнул:

— Только пред безумной смелостью, пред дерзостью преклоняется счастье, и пусть оно преклонится предо мною в наслаждениях бьющей ключом жизни! Лишь тебя я люблю, прекрасная, роскошная женщина! Пусть исчезнет призрак грёз пред дивным, ярким солнечным блеском действительности!

Графиня побледнела, как смерть; с крайним напряжением сил она вырвалась из его объятий, быстро схватила со стола колокольчик и громко позвонила. Пирш вздрогнул. Он сдавил голову руками и стал озираться вокруг, как лунатик, с диким ужасом пробуждающийся от мучительного сна.

Он долго стоял в такой позе, пока из внутренних комнат не появилась горничная; в то же время швейцар открыл дверь из коридора и спросил, не прикажет ли чего-нибудь графиня.

Графиня совершенно овладела собою; она была ещё бледна, рука, в которой она держала

колокольчик, ещё слегка дрожала, но губы уже улыбались, взор был холоден и спокоен.

— Благодарю вас, барон Пирш, что вы так любезно составили мне общество, — произнесла она обычным тоном беседы, — приятно найти в чужом городе старых знакомых, и я надеюсь, что вы будете моим проводником в знаменитой резиденции вашего великого короля. Итак, до завтра, до свиданья! Вы утомились, и я должна быть особенно признательна вам, что, после долгого служебного дня, особенно строгого в вашей великолепной армии, вы так долго пробыли со мною.

Всё это было произнесено так спокойно, легко и естественно, что ни горничная, ни слуга, с любопытством стоявшие в дверях, не могли заметить ничего необыкновенного в этом прощании.

Пиршу было тяжелее овладеть собою; в его глазах горел мрачный огонёк, а вздрагивавшие черты его лица указывали на внутреннюю борьбу; но он стоял полуотвернувшись от дверей, свет свечей не падал на его лицо, и таким образом вся эта сцена на постороннего наблюдателя могла произвести впечатление спокойного дружеского прощания до следующего утра между старыми добрыми знакомыми.

Графиня подала руку Пиршу, но эта рука была

холодна, как мрамор.

Он поднёс её к своим губам, но едва коснулся её и вышел из комнаты.

В нижнем коридоре Пирш встретил Винценти, и последний сообщил ему, что несколько его товарищей ещё сидят в буфетной комнате гостиницы. Пирш запретил хозяину говорить о его присутствии, отговорившись усталостью, и с поникшей головой вышел на улицу из ворот гостиницы, освещённых фонарями.

— Грёзы потеряны, — сказал он, устремляя взор к звёздам, — потеряна и пламенная, опьянительная действительность, за которой я в детском порыве протянул было руку, чтобы вознаградить себя за грёзы! Здесь не найти мне счастья, покоя и сил! Вон отсюда в широкое море жизни! быть может, на далёких берегах мне удастся начать новое существование и испытать новые стремления и надежды!

Ещё долго ходил Пирш по погруженным в ночную тишину улицам, то глядя на звёздное небо, то бормоча про себя тихие фразы; когда он наконец вернулся к себе домой, то уже успокоился, но это было спокойствие могилы, и одному Богу, прозревающему глубины человеческой души и туманной дали будущего, было известно,

расцветут ли новые цветы на могиле прошлого этого юноши.

Графиня, по уходе Пирша, прошла к себе в спальню. Она, как и всегда, спокойно и весело разговаривала со своей горничной и отдавала ей приказания на следующий день. Оставшись одна, она ещё долго в раздумье расхаживала по комнате.

— Игра принимает более серьёзный оборот, чем я думала, — наконец проговорила она, опускаясь за маленький письменный стол, который был прибран её горничной так, как она привыкла, — борьба будет ожесточённее, чем я думала. Предположим, что молодой человек сгустил краски, тем не менее его былая юношеская любовь уже не может быть орудием в моих руках. Неужели прекратить борьбу? Пожалуй, на одиноком жизненном пути было бы приятно руководить и владеть юным кипучим сердцем? Нет, нет, — воскликнула она, — нет!.. У меня лишь одна любовь! За неё я готова бороться до последнего вздоха, и если я и не буду в состоянии одержать победу, то пусть по крайней мере не достаётся и другой то, в чём отказано мне. Я ещё не знаю, какова будет борьба, но хочу собрать оружие всюду, где оно предоставится мне, и не выпущу его из рук!

Графиня ещё раз внимательно прочла записку Серра, переданную ей хозяином гостиницы.

— Эта бумага может явиться орудием, — сказала она затем, — здесь скрывается тайна, касающаяся министра Герне и связанная с личностью арестованного здесь иностранца. Но тайна почти всегда предоставляет оружие, грозным остриём которого можно покорять своей воле людей.

Она написала письмо графу Феликсу Потоцкому, в котором сообщала о том, что произошло, и предлагала ему свои услуги, если она может быть как-нибудь полезна в этом деле, детали которого ей были неизвестны; она просила его, если он доверяет её скромности, написать, что она может сделать для арестованного, обращающегося к его защите.

Графиня вложила это письмо вместе с запиской Серра в конверт, заботливо запечатала его печатью без герба и решила на следующее утро отправить его с лакеем в Варшаву.

Лишь тогда она успокоилась, и, несмотря на волновавшие её мысли и ощущения, усталость после продолжительного путешествия принесла ей благодатный сон.

XXIX

На следующий день графиня Браницкая приехала к министру Герне и приказала доложить о себе как о госпоже Ворринской, желающей передать ему поклон от графа Феликса Потоцкого.

Хотя Герне было совершенно незнакомо имя польки, но при том исключительном внимании, которое министр оказывал всему, что исходило из Польши, и допуская возможность того, что граф Потоцкий выбрал как раз этот путь для интимных и секретных сношений, он ни минуты не колебался принять иностранку, ссылавшуюся на графа. Герне был восхищен красотою и грацией Ворринской и с первого взгляда понял, что не имеет дела с просительницей или искательницей приключений и что иностранка, сообщившая ему, что, предприняв большое путешествие, она желает осмотреть резиденцию великого короля, принадлежит конечно к самым сливкам польского общества. С первых же слов Герне попытался узнать у графини, есть ли у неё какие-либо политические поручения от графа Феликса Потоцкого.

Однако графиня ловко увёртывалась и, в свою очередь, различными мелкими и как бы случайно заданными вопросами пыталась проникнуть в отношения, связывавшие министра с графом Феликсом Потоцким и в особенности с его братом графом Игнатием. Маленькое дипломатическое сражение, возникшее между ними при этом, ещё более укрепило его во мнении, что её присутствие в Берлине вызвано каким-нибудь особенным, исключительным обстоятельством.

Поэтому Герне решил понаблюдать за ней и с этой целью выбрал самый верный и самый достойный в отношении дамы путь, раскрыв пред нею двери своего дома. Он сам провёл её к своей племяннице, просил её постоянно обедать с ними.

Входя рядом с Герне в гостиную его племянницы, графиня с трудом справлялась с своим сильно бившимся сердцем. Она вложила всю свою душу во взор, устремлённый на Марию, которая слегка смущённо и робко встретила незнакомую даму. Министр представил её как приятельницу графа Потоцкого. При этом имени Мария покраснела, смущённо потупила свой взор и произнесла несколько малопонятных слов в виде приветствия. Графиня облегчённо вздохнула, как будто

с её груди свалилось непомерное бремя.

«Нет, — воскликнул в ней внутренний голос, — нет, это может быть лишь мимолётным заблуждением, фантазией момента. Человек, привыкший свысока смотреть на жизнь и на людей, не может любить это робкое дитя, и, как бы ни была ослеплена она им, ей никогда не подняться до него, столь бесконечно выше стоящего... Я одержу победу, так как предо мной неравная противница!»

Министр оставил дам наедине, и своей лёгкой, остроумной беседой графиня вскоре сумела рассеять замешательство Марии и приобрести её доверие.

Графиня Браницкая и Мария катались вместе по городу и возвратились к обеду. Графиня своим живым и богатым умом снова привела в восхищение министра и немногочисленных гостей, появившихся у него за столом; она обращалась с Марией почти с материнским дружелюбием и внушила молодой девушке такое доверие и такую беспечность, что она время от времени как бы случайно осмеливалась спрашивать о графе Игнатии Потоцком.

Последующие дни ещё более сблизили их друг с другом. Графиня приходила ежедневно. Мария

выезжала с нею и показывала ей все достопримечательности Берлина, которые, по приказанию министра, тотчас же раскрывались пред ними. Графиня ежедневно обедала в доме Герне и появлялась в ложе министра в театре.

Герне не раз пытался разузнать причины её присутствия в Берлине, а также и характер её отношений к графу Потоцкому; однако графиня всегда ловко избегала его вопросов, но зато и, в свою очередь, тщетно пыталась проникнуть в тайну отношений министра к итальянцу и к его аресту.

Однако графиня приобретала всё больше доверия у Марии и в то же время всё твёрже убеждалась, что, благодаря влиянию, приобретённому ею над молодой девушкой, ей удастся снова вернуть её сердце товарищу её детских игр. Конечно при её планах её тревожило исчезновение Пирша, вовсе не показывавшегося ни у неё, ни в доме Герне.

Герне тоже не раз справлялся о продолжительном отсутствии молодого офицера.

Мария небрежно отвечала, что не видала барона и не знает причины его отсутствия. Графиня находила вполне естественной сдержанность молодого человека после той вспышки, на кото-

рую увлекло его возбуждённое состояние, но не отчаивалась в том, что он также скоро вернётся к своей старой любви, если ей только удастся вернуть ему сердце Марии. Ведь в таком случае всё должно было разрешиться самым благоприятным образом. Игнатий Потоцкий безусловно излечится от своей фантастической любви к этой юной девушке, которая так мало в состоянии предложить ему.

Слуга графини вернулся из Варшавы и вместе с устной благодарностью графа Фекликса Потоцкого за её сообщение доставил записку, содержавшую лишь следующее:

«Если подруге удастся освободить арестованного и вырвать его из-под власти того, кто похитил его свободу, то она окажет услугу своему другу, за которую он будет обязан ей вечною благодарностью».

Из этой записки графиня только могла видеть, что в интересах Герне держать Серра под арестом, в то время как граф Феликс, напротив, был заинтересован скорее выручить итальянца из-под власти министра. Поэтому она решила следовать той нити, которая всё более собиралась в её руке, тем более, что это казалось ей необходимым для достижения её единственной личной цели.

Однажды, после продолжительной прогулки с Марией, графиня осталась обедать у министра, в обществе его и его дочери. Герне с некоторым волнением рассказал, что поручик Пирш подал в отставку.

— Это — сын моего старого друга, почти выросший у меня в доме, — пояснил он графине. — Он был пажом у короля, очень благоволившего ему, и мог рассчитывать на блестящую карьеру; теперь он упорно требует отставки.

— Почему? — спросила графиня, искоса поглядывая на Марию, которая побледнела и наклонилась, чтобы скрыть волнение, заметное на её лице.

— Он объясняет это болезнью, — сказал Герне, — но я совершенно не понимаю, так как он никогда не заботился о своём здоровье, да и не было повода к тому. Король отклонил его прошение об отставке, но генерал Зальдерн рассказывает мне, что Пирш часто кашлял кровью на учениях. Генерал был вынужден доложить об этом и поддержать ходатайство молодого офицера об отставке. Указ об отставке уже готов и в один из ближайших дней будет вручён Пиршу, который намерен отправиться в своё маленькое родовое имение.

Разговор перешёл на другие предметы, и графиня почти одна вела его в продолжение всей остальной части обеда, так как министр не скрывал своего печального настроения, а Мария, впрочем незаметно для графини, с трудом удерживалась от слёз.

После обеда Герне по обыкновению ушёл, чтобы сесть за прерванную работу. Графиня Браницкая и Мария направились в гостиную, где молодая девушка быстро подошла к окну, чтобы незаметно приложить платок к глазам и осушить слёзы, которые она не в состоянии была превозмочь. Графиня подошла к ней и, взяв её за руку, сказала:

— Вам не обмануть меня, мой юный друг! Вы ещё не достаточно долго жили в этом мире горя и страданий и ещё не достаточно подавляли слёзы, чтобы скрыть от людских взоров своё горе.

— Моё горе? — почти недовольно произнесла Мария. — Какое?.. Я не знала причины горевать...

— Бедное дитя! — сострадательно сказала графиня, — как молодость упряма! как она доверяет своим собственным слабым силам! как мало она знает благодеяние, которое доставляет страждущему сердцу сострадательная дружба! Разве ваш дядя только что не сказал мне, что барон Пирш,

подавший в отставку, вырос в вашем доме? Разве он — не друг вашего детства? Разве ваше участие к его судьбе не естественно и не само собою понятно?

Мария хотела ответить уклончиво, но не в состоянии была побороть своё волнение; слёзы хлынули у неё неудержимым потоком.

— Плачьте, дитя моё, плачьте! Слёзы — дар Божий, и, кто может подавлять их, тот похищает у самого себя сладчайшее утешение в своей печали. Слёзы и дружеское сердце, пред которым можно излить свои страдания, — лучшие и благороднейшие небесные дары, которых столь многим несчастным не хватает на земле. Вам дано и то, и другое, и благодарите Бога за это. Вы не хотите довериться мне, — продолжала она, в то время как Мария всё ещё тщетно старалась овладеть собою, — так я сама пойду вам навстречу, и скажу вам, что знаю обо всём, что волнует ваше сердце... знаю всё, что знают ваши слёзы.

Мария вздрогнула и устремила свой удивлённый взгляд на графиню.

— Вы знаете? — с дрожью в голосе спросила она, — вы знаете обо всём?.. О, это невозможно!

— Мне всё известно, — продолжала графиня, — всё, и тем не менее я — не волшебница, кото-

рая, благодаря своему демоническому искусству, проникает в сердечные тайны людей, — с печальной улыбкой прибавила она. — Я знаю господина Пирша, вашего друга детства... Я знаю его сердечные чувства и причину его болезни, знаю, что он ищет предлога покинуть родину, не имеющую более для него своей прелести.

— Как же это возможно? — спросила Мария, в страхе отступая пред графиней. — Ведь вы же сами говорили, что никогда не бывали здесь...

— Барон Пирш был в Могилёве...

— Совершенно верно, король посылал его туда к императрице Екатерине, — перебила графиню девушка.

— Вот и я также была там, — продолжала графиня. — Случай свёл нас, барон приобрёл доверие ко мне, он познакомил меня со своей тайной, он жаловался на своё горе, и я обещала ему своё содействие.

Влажные от слёз глаза Марии приняли мрачное выражение. Она отступила от графини и спросила:

— Вы обещали ему своё содействие?

— Я говорила ему о своём путешествии в Берлин, — ответила графиня, — и взяла с него слово ждать и не предаваться тому отчаянию, к которо-

му его побудила там одна встреча.

— Встреча? — повторила Мария, затаив дыхание.

— Встреча с одним лицом, которое он видел здесь под другим именем.

— О, Боже мой! — воскликнула Мария, — как должна я страдать, не будучи виновна в том!

— Не будучи виновны? — строго повторила графиня. — Разве вы не оттолкнули от себя благородного и преданного сердца, с самых юных лет принадлежавшего вам, и не последовали за призрачным образом, созданным глупою игрой фантазии? Разве этот молодой человек, с такими надеждами вступивший в жизнь, не гибнет в самом начале жизни, потому что вы, вырвав из его сердца надежды любви, отняли от него и мужество, и силу жизни? Впрочем, он ещё не окончательно погиб, вы ещё можете вернуть ему силу и мужество, вашу вину ещё можно загладить... Но вы не должны колебаться... Послушайте совета, просьбы своего друга, искренне преданного вам! — Графиня подошла к Марии, схватила её руку и искренним тоном закончила: — последуйте моим словам, последуйте им, милая, ради своего друга детства, ради себя самой!

Мария уже не плакала, а только серьёзным и

печальным взглядом смотрела на графиню и сказала:

— Если вам всё известно, то вы должны знать и то, что для меня невозможно сделать требуемое вами.

Взор графини воспламенился.

— Вы говорите, как глупое дитя, — воскликнула она. — Безумие света быстро развеется и оставит по себе только горькое разочарование. В сердце же вашего друга детства цветёт любовь к вам. Не отталкивайте её от себя ради призрака, который увлечёт вас в бездну!

— Призрак! — воскликнула Мария. — Моё сердце знает, где кроется безумие и где истина... моя любовь — истина, огромная, святая истина!

Графиня смертельно побледнела. Из её груди вырвалось прерывистое дыхание. С ироническим смехом графиня воскликнула:

— Ваша любовь — истина, говорите вы, глупое дитя? Разве в вашем возрасте, в котором едва ли понимают своё сердце, знают об истинной любви? А если бы я и хотела верить, что ваше чувство — действительность, разве вам известно что-либо относительно его сердца? Человек, находящийся на высоте жизни, не может любить незрелое дитя... он не любит вас, и если он вам и

говорил о любви, то был увлечён глупым заблуждением, которое он не имеет права допускать, чтобы не обманывать вашего сердца. Он не любит вас, — продолжала она угрожающе повышенным тоном, — так как принадлежит другой.

Мария содрогнулась. Вторично слышала она это ужасное слово, которое Эрнст фон Пирш бросил ей уже в лицо, и ледяной холод проник вглубь её сердца.

— Это — неправда!

Графиня Браницкая съёжилась, точно змея, которая готовится к прыжку, а потом подошла вплотную к Марии; её взоры подобно острым кинжалам впились в глаза соперницы, когда она заговорила шипящим тоном:

— И вы осмеливаетесь говорить это мне, безрассудное, самонадеянное дитя? Так знайте, что это я сама, лично, не уступлю своего права на него ради сумасбродной прихоти, что это я сама говорю вам: отстранитесь прочь от моей собственности и моего права! Слышите, это я сама! Осмелитесь ли вы вступить со мною в борьбу?

Мария снова побледнела, снова поникла на одно мгновение головой, но, опять выпрямившись, холодно взглянула на графиню и гордо сказала:

— Я осмелюсь сделать это; я не изменю своему

другу, не нарушу доверия к нему по навету чужой женщины. Что он фальшив и неверен, что он будто бы преступно забавлялся моим доверчивым сердцем, этому я поверю, лишь услышав подобные вещи от него самого! Лишь от его руки приму я смертельный удар, но, поверьте мне, так же верно, как то, что надо мною есть Бог, он никогда не произнесёт этого слова, никогда не направит против меня этого ужасного удара.

Графиня стояла словно онемев. Всё её оружие разбивалось о простодушное, непоколебимое доверие этого ребёнка; только крик без слов вырвался из её груди; она как будто с угрозой и проклятием протянула к Марии руку.

В этот момент вошёл министр фон Герне. При виде представившегося ему зрелища он остановился в испуге у дверей. Слова учтивости замерли у него на устах.

Мария поспешила к нему и прильнула к его груди, точно ища защиты от стоявшей пред нею с угрозой разгневанной графини.

Та скрестила руки на груди и, вызывающе глядя на министра, сказала:

— Вы пришли кстати, сударь, чтобы рассеять безумство вот этого ребёнка.

— Безумство? — спросил министр. — Я не пони-

маю вас, я не могу постичь...

— Вы поймёте! — подхватила гостья. — Ваша племянница увлеклась безрассудной любовью к человеку, который преступно играл её сердцем и втёрся к вам в дом под вымышленным именем.

— Я всё ещё не понимаю, — строго произнёс министр.

— Я говорю про того господина Балевского, — перебила графиня, — который обворожил глупенькое сердечко этого ребёнка, который — совсем не то, чем он себя выдаёт, потому что он называется вовсе не Балевским, а графом Игнатием Потоцким.

— Мне это известно, — гордо произнёс фон Герне.

— Известно? — воскликнула молодая женщина. — Значит, вы были сообщником этой забавы?

— Сообщником? — сурово промолвил сановник, — это слово, по-моему, выбрано неудачно.

— Напротив того, оно приходится кстати, — возразила его гостья, — потому что граф Игнатий Потоцкий, увлёкший сердце вашей племянницы, не должен и никогда не будет ей принадлежать, никогда не протянет ей своей руки, как она воображает в своём безумном ослеплении! Он не сделает этого — слышите? — потому что я этого

не хочу, потому что я не отпущу его на свободу!

— Не тратьте понапрасну слов! — холодно сказал министр. — Я не могу признать за вами право говорить о вещах, касающихся только одного меня, и отвечать таким образом на учтивость, которую я оказал вам, принимая вас как знакомую моего друга.

— О, не верьте ей, дядя, не верьте; она обвиняет в коварной измене друга, — воскликнула Мария, — в любви к которому я сознаюсь пред вами и целым светом; но это — неправда; нет, то, что она говорит, — неправда, или правый Бог не управлял бы больше миром.

— Успокойся, дитя моё, успокойся! — сказал министр, ласково проводя рукою по волосам племянницы. — Пожалуй, я был не прав, что скрыл от тебя, кто такой тот незнакомец, которому дозволил приблизиться к тебе, чтобы ухаживать за тобою. Теперь ты узнала это; знай также, что твоя любовь давно уже не была для меня тайной и что ты свободно можешь признаться в ней пред целым светом! Вы конечно поймёте, — продолжал он, обращаясь к графине, — что после необъяснимой для меня сцены, только что разыгравшейся здесь, гостеприимство, которое я охотно оказал вам, становится неуместным и нежелательным

как для меня, так и для вас.

Дикий гнев вспыхнул в пламенных взорах графини Браницкой, и она воскликнула:

— Вы не знаете, с кем говорите.

— Я говорю с дамою, — произнёс фон Герне, — и уверен, что вы не заставите меня забыть о том.

Графиня замолчала, но по её губам мелькнула улыбка, полная страшной угрозы. Она бросила на Марию, по-прежнему прятавшую лицо на груди своего дяди, взор, проникнутый смертельной ненавистью, и опрометью кинулась вон из гостеприимного дома.

Министр подвёл молодую девушку к креслу, поцеловал её в лоб и сказал:

— Не бойся этой женщины! Вероятно, в её безумии замешана ревность... Я проникну в загадку её личности... Может быть, всё это — политическая интрига. Она сослалась на графа Феликса Потоцкого, а мне сообщили, что эти братья не дружны между собою. Но граф Игнатий благороден, верен, правдив; я доверяю ему, милое дитя моё, точно так же, как доверяю тебе.

Он сердечно пожал ей руку и расцеловал её в щёки. Мария тихо поплакала, но потом со счастливой улыбкой подняла взор, раскинула руки и воскликнула:

— Да если бы даже поднялся на землю весь ад из преисподней, я и тогда верила бы тебе, полагалась бы на тебя, мой Игнатий!

А Лорито, радостно хлопая крыльями и весело двигаясь по жёрдочке своей клетки, подхватил:

— Игнатий!.. Игнатий!

С трудом сохраняя притворное спокойствие пред лакеями, графиня Браницкая села в экипаж, ожидавший её во дворе дома фон Герне, чтобы вернуться в гостиницу на Брудерштрассе. Тут она бросилась на кушетку и закрыла глаза. Полученный удар почти ошеломил её. Она чувствовала себя побеждённой этим простодушным ребёнком, оружием которого были правда и доверие; она поняла, что ей никогда не удастся разлучить эти два сердца, соединившиеся так крепко между собою. В её благородной по существу душе невольно шевельнулось уважение к этой простосердечной девушке, непоколебимо и стойко защищавшей свою любовь.

Но в то же время в ней вспыхнула дикая ненависть к бедной Марии, хотевшей покинуть предмет её собственной любви, которая с самой юности была сутью и средоточием её жизни. Её оружие было разбито; графиня не видела больше средств продолжать борьбу, но даже и теперь не

соглашалась отказаться от неё. По самой природе она не была создана для самоотречения; только эту любовь испытала она в жизни, и злобный гнев бушевал в ней при мысли, что незрелое дитя, в котором она едва могла видеть соперницу, отнимет у неё награду любви, казавшуюся такою близкой.

Вдруг графиня услыхала тихий стук в дверь. С досадой вскочила она, чтобы позвать свою горничную, но дверь уже потихоньку отворилась. Винценти осторожно заглянул в комнату и затем вошёл с низким поклоном, приблизился к графине и шёпотом заговорил:

— Ваше превосходительство! вы изволили выказать столько участия к судьбе арестованного у меня в доме итальянца, что я считаю долгом сообщить вам новое и без сомнения интересное для вас сведение о нём.

Графиня мрачно и грозно взглянула на содержателя гостиницы. С её губ был готов сорваться сердитый выговор за непрошеное появление, но, когда он обратился к ней, она стала чутко вслушиваться и наконец сказала:

— Вы правы! Всё, касающееся того человека, интересует меня... Итак говорите, что с ним?

Винценти боязливо оглянулся, после чего вы-

нул из кармана письмо и зашептал опять:

— Тот Серра нашёл средство с помощью подкупа тюремного сторожа доставить мне вот это письмо; ведь у него куча денег при себе, а служащим при тюрьме платят самое скудное жалованье.

— Дальше, дальше! Прошу скорее к сущности дела! — торопила графиня.

— При этом он велел передать мне ещё на словах, чтобы я позаботился немедленно доставить это письмо по адресу, за что я должен получить крупную награду, когда арестованный будет выпущен на волю.

— Какой же это адрес? — с очевидным нетерпением воскликнула графиня.

— Тот же самый, — ответил Винценти, — который был на той записке: «Его сиятельству графу Феликсу Потоцкому в Варшаву». Не знаю, — продолжал он, — в чём провинился этот Серра и за что его арестовали, но у меня, право, нет никакой охоты подвергать себя из-за него опасности. По долгу следовало бы представить это письмо в полицию, да не хочется мне губить беднягу тюремного сторожа! Вот я и подумал, что так как вы, ваше превосходительство, интересовались тем делом, то, пожалуй, будет лучше всего принести

вам полученное из тюрьмы письмо, чтобы вы изволили распорядиться им как вам угодно, по вашему собственному усмотрению.

— Вы поступили правильно, вполне правильно! — подхватила Браницкая, глаза которой сверкнули счастливой радостью. — Подайте мне сюда письмо, а вот это возьмите в знак того, что я довольна вашей услугой.

Она Открыла шкатулку, взяла оттуда горсть червонцев и подала их блаженно улыбавшемуся хозяину, который удалился с низкими поклонами.

Оставшись одна, графиня поспешно вскрыла написанное карандашом и искусно перевязанное шнурком письмо. Она пробежала его содержание, и торжествующая радость загорелась в её глазах.

— А, любезнейший господин фон Герне! — воскликнула эта мстительная женщина, — вы воображаете с высоты своей гордости, что можете столкнуть меня с вашей дороги, и вот сама судьба предаёт вас в мои руки, и я намерена пустить в ход оружие, которое она доставила мне!

Медленно прочитала графиня следующие слова, написанные на польском языке:

«Господин фон Герне вёл частные финансовые операции в свою пользу на деньги компании тор-

гового мореплавания; кроме того, он относится враждебно к планам, которые преследуете Вы в интересах Вашего отечества, и сделает всё от него зависящее, чтобы разрушить их. Он знает, что я разгадал его. Из-за этого я сижу в тюрьме и, пожалуй, никогда не выйду из неё, если Вы не придёте мне на помощь. Вы можете спасти меня и уничтожить своего врага, если доведёте до сведения прусского короля о том, что случилось со мною, и потребуете строгого расследования. Умоляю Вас сделать для меня, что Вы только можете, когда это письмо попадёт к Вам в руки. Моя свобода и успех Ваших великих планов зависят от Вас!».

Долго сидела Браницкая в задумчивости.

Наконец она разорвала конверт с адресом графа Потоцкого и написала на листе бумаги:

«Ваше Величество! Неужели возможно в государстве великого Фридриха, чтобы невинный томился в тюрьме ради сокрытия вины продажного министра? Одного этого вопроса будет достаточно, чтобы склонить Вас, Ваше Величество, дознаться правды и оказать справедливость».

Графиня вложила листок вместе с письмом Серра в новый конверт и надписала на нём:

«Его Величеству Королю в Сан-Суси!»

Потом она долго сидела в раздумье, опершись

головою на руки.

— Нет, нет! — воскликнула она, вскакивая с места, — прочь все сомнения! Жалость есть трусость, когда дело идёт о счастье целой жизни. Ведь сражаются же между собою государи и народы ради золота, чести и славы, не беспокоясь о тысячах людей, проливающих при этом свою кровь!.. С какой же стати мешкать и колебаться мне в борьбе за свою любовь, когда судьба — значит, Сам Бог — подаёт мне оружие для неё?

Браницкая взяла свой плащ, шляпу и сама отнесла на почту написанное ею письмо.

На утро она сообщила Винценти о своём отъезде. Он весьма сожалел об этом, но остался доволен барышом, полученным от своей щедрой постоялицы.

В тот же вечер графиня оставила далеко за собою Берлин и покатила на четвёрке ретивых почтовых лошадей по дороге в Польшу.

XXX

Дневная работа великого короля в Сан-Суси началась. Фридрих, стоя в своём голубом шлафроке, богато расшитом серебром, пред топившимся камином, громко крикнул одно слово: «Здесь!», которое послужило знаком для камер-лакеев в прихожей подать ему письма, присланные старшим государственным секретарём.

Государь сел к своему письменному столу.

Его маленькая левретка Арсиноя прыгнула к нему на колена и ласково прижималась к королю, пока он поочерёдно распечатывал письма. Он то отодвигал их в сторону, пожимая плечами, то снабжал краткой пометкой.

— Ты — счастливица, Арсиноя, — сказал король, откидываясь на минуту с тяжёлым вздохом на спинку кресла, — ты — счастливица. Что сказала бы ты, если бы тебя в один прекрасный день обрекли на то, чтобы разбираться во всём непонимании, злобе, жадности и лжи, которые обнаруживает род, так гордо именующий себя владыкою творения? Конечно, ты не захотела бы поменяться своим жребием с твоим господином,

который вдобавок ещё и король.

Он кротко погладил голову собачки, которая прижалась к нему ещё крепче и нежно поглядывала на него своими светлыми, умными глазами.

— Я начинаю уставать, сильно уставать! — произнёс потом король, горько вздыхая. — Машина останавливается и прежняя сила готова изменить мне, футляр духа износился. Скоро я буду ближе вон к тому свету, — продолжал он, взглядывая на солнечные лучи, — и какой ничтожной, пожалуй, покажется моему бессмертному духу вся эта суета, занимающая меня теперь. Но нет, нет! — воскликнул он вслед затем, — ничто не может назваться мелким из того, что способствует исполнению законов вечной мудрости. Поэтому надо выдержать до конца и радостно нести бремя, как бы ни тяготило оно усталые плечи.

Фридрих снова наклонился над своим письменным столом и продолжал прерванное чтение.

Он уже успел распечатать несколько писем и вдруг по просмотре маленькой записки, набросанной как будто женским почерком, так сильно хлопнул ладонью по столу, что маленькая Арсиноя пугливо вздрогнула.

— Что это значит? — воскликнул король. — До-

нос, заключающий в себе тяжкое обвинение, если он справедлив, а этот донос задевает пункт, уже давно внушавший мне подозрение, потому что здесь сгущаются темнота и неясность, которых мне до сих пор не удавалось рассеять. Серра? Серра?.. — задумчиво твердил государь. — Я припоминаю полицейское донесение о человеке с этой фамилией. Ведь я приказал тогда строго допросить его; неужели кто-нибудь осмелился не исполнить моего приказа?

В его глазах вспыхнула грозная молния, пред которой склонялись в трепете даже самые неустрашимые генералы, его соратники, делившие с ним военные труды и победы. Он встал и позвонил в колокольчик.

— Государственный советник Штельтер здесь? — спросил Фридрих камер-лакея.

— Точно так, ваше величество!

Вслед затем в комнату вошёл государственный советник в чёрном придворном костюме, тщательно выбритый и напудренный, с большим портфелем под мышкой.

Король не выждал низкого, церемониального поклона. Он воскликнул:

— Находится ли между поступившими сегодня бумагами донесение президента полиции

Филиппи об одном итальянце по имени Серра, арестованном по подозрению в политическом шпионстве?

— Нет, — ответил государственный советник, — такого донесения к нам не поступало.

— Тогда пошли с верховым денщиком приказ президенту полиции тотчас явиться сюда, не мешкая ни минуты!

Штельтер удалился. Взволнованный король ходил взад и вперёд по комнате с такою эластичностью и лёгкостью, что почти вовсе не опирался на свою трость.

— Неужели возможно, — воскликнул он, — чтобы в моё царствование случилось то, что бывало во Франции при Людовике XV? Невинный томится в тюрьме ради прикрытия проделок министра, которому я дал в руки власть, чтобы он поддерживал право и оказывал справедливость, как я делаю сам и требую, чтобы точно так же поступали и мои слуги? Значит, мне оказывают явное неповиновение? Неужели подданные уже замечают, что я становлюсь стар, что моя рука уже не достаточно сильна, чтобы держать бразды правления и вести государственную колесницу по пути, который я предначертал самому себе при священной клятве в первый день своего

царствования? Ну, так они должны убедиться, что ошиблись.

Фридрих поднял свою трость и стоял выпрямившись, причём, несмотря на тщедушную, разбитую годами и болезнью согбенную фигуру, он походил со своим пламенным взором на разгневанного Юпитера, который потрясает молнией в своей деснице, чтобы метнуть её с высот Олимпа на головы идущих на приступ титанов.

Штельтер вошёл опять и доложил, что вестовой поскакал в Берлин.

— Тут ли донесение о торговле в Польше, производимой компанией торгового мореплавания? — спросил Фридрих, опускаясь как бы в изнеможении на стул.

— Его превосходительство господин фон Герне всё ещё не прислал донесения, — ответил Штельтер.

— Ещё не прислал? — воскликнул король. — Ну, это — плохие порядки! Напиши-ка Герне, чтобы он составил донесение и прислал его сюда. Понимаешь? Сию же минуту и без всякой проволочки!

Стоя перед конторкой, Штельтер бегло записывал слова короля, чтобы с возможною точностью занести их в официальную бумагу.

С минуту король что-то обдумывал, потом подал Штельтеру письмо, полученное им раньше и приведшее его в гневное раздражение, и приказал:

— Читай и выскажи мне своё мнение! Тебе я доверяю, ты не солжёшь. Пожалуй, ты знаешь даже больше моего об этом деле. Иногда снизу бывает видно яснее, чем сверху. Ведь тебе известно, что я уже давно питал порядочное недоверие к легкомысленным проектам Герне.

Штельтер был, видимо, озадачен запиской и приложенным к нему письмом Серры. Листок дрожал в его руке.

— У такого человека, как Герне, много врагов, ваше величество, — сказал он; — не следует придавать никакого значения безымянным доносам. Я не думаю, чтобы человек, подобный господину фон Герне, мог оказаться виновным в таких предосудительных вещах.

— Конечно, так тому и следовало быть, — возразил Фридрих, — и ты знаешь, как я почитаю хорошее старинное дворянство; но, к сожалению, часто бывает, что и дворяне попадаются в гадких проделках, а тогда они тем более заслуживают наказания. Письмо действительно безымённое, но в приложенной к нему записке Серры заклю-

чается явное обвинение. Я наряжу следствие и суд, и те, которые окажутся виновными, пускай удивятся и увидят, что я ещё не слишком устарел, как они полагают. Ну, что у тебя следует дальше?

Штельтер открыл свой портфель и стал докладывать поочерёдно о поступивших к нему делах. Король слушал внимательно, постановлял своё решение с обычной проницательностью и ясностью и, казалось, забыл происшедшее. Но, отпуская Штельтера, особенно настоятельно подтвердил вторично свой приказ относительно напоминания министру фон Герне.

После того Фридрих обычным порядком стал работать с государственным секретарём Менкеном; тот докладывал ему донесения иностранных посланников, которые король отсылал потом со своими пометками в виде вопросов или приказаний к министру фон Герцбергу.

По уходе Менкена тотчас явился генерал-адъютант фон Гетц. Сделав несколько сообщений и докладов по различным предметам, он с некоторою нерешительностью сказал:

— Генерал фон Зальдерн, ваше величество, снова докладывает насчёт просьбы об увольнении от службы поручика фон Пирша.

— Что такое? — спросил король, причём выра-

жение мимолётной весёлости мелькнуло у него по лицу, — неужели Пирш всё ещё не угомонился? Что же ему надо?

— Он настаивает на своём желании выйти в отставку, ваше величество, ссылаясь на болезнь, которая мешает ему нести военную службу. Генерал поддерживает его просьбу и заявляет, что Пирш действительно серьёзно болен; недавно на ученье у него пошла горлом кровь и он упал в обморок, так что решительно невозможно принуждать его к службе.

Король засмеялся, после чего весело сказал:

— Зальдерн слишком добродушен, если верить таким небылицам. Я знаю Пирша лучше и мне известно, что он совсем не так серьёзно хворает; но этот малый — искусный комедьянт и способен так ловко прикинуться больным, что ничего не поделаешь с ним, а держать его под караулом для меня также нет прока. Так пускай себе идёт на все четыре стороны!

Генерал-адъютант записал резолюцию короля на докладе Зальдерна.

— Я желал Пиршу добра, — сказал Фридрих. — В нём крылись задатки дельного офицера, и я надеялся, что со временем он займёт место между теми, которых я желаю оставить моему наследни-

ку. Я скажу тебе, что затевает Пирш: он поступит на иностранную службу, чтобы скорее сделать карьеру; этот юноша думает о себе слишком много для поручика и хочет быстро подвинуться по службе; в чужой армии это ему, конечно, удастся. Во Франции и России моих поручиков ценят, как штаб-офицеров; ведь там думают, — продолжал государь особенным добродушно-саркастическим тоном, — будто я обладаю тайными чарами, с помощью которых выиграл свои сражения; ведь хотели же лишить меня этих чар посредством освящённой шляпы и шпаги! А теперь воображают, будто каждый из моих поручиков выучил частицу моих заклинательных формул, совершенно забывая при этом, — серьёзно прибавил король, — что мой талисман заключается только в работе, в исполнении долга, в бдительности и самоотречении. Но такого талисмана им не нужно. Так пускай производят опыты с моими поручиками! Французов мне и без того нечего больше опасаться, и я пожелаю им, чтобы они образовали армию в моём духе; она может в скором времени понадобиться добрейшему Людовику Шестнадцатому для защиты его трона, который осаждают все с большим ожесточением. Конечно, ему от этого будет мало прока; французские

короли совершают ошибку за ошибкой! — Жалко мне Пирша, — сказал он некоторое время спустя, — но таков уж порядок вещей, что люди неблагодарны, когда им желают добра.

Король выговорил последние слова мрачно, глухим тоном и так ударил своей палкою о пол, что фон Гетц в испуге поднял взор, не будучи в состоянии объяснить себе гнев, так явно кипевший в маститом государе.

— Итак, Пирша надо отпустить, — подтвердил Фридрих. — Но ты увидишь, что я был прав; напиши это между прочим и Зальдерну. Почтенный генерал убедится со временем, что Пирш сумел перехитрить его.

Доклад был окончен.

К обеду явилось несколько его приближённых, однако и за столом он не нашёл обычной лёгкости и свободы и раньше положенного времени прекратил застольную беседу. Ему доложили, согласно его приказанию, что президент полиции сейчас приехал и ждёт высочайшего распоряжения.

Король наскоро простился с обедавшими гостями, которые были страшно озадачены его явным расстройством, и велел ввести президента полиции Филиппи в свой кабинет.

Глава полицейского ведомства был мужчина за сорок лет, крепкий и статный; его умное лицо наряду с острою наблюдательностью обнаруживало открытое чистосердие, а в его осанке сказывались твёрдость и прямота военного.

Филиппи пользовался доверием короля в необычайной степени, а потому удивился и был крайне поражён, когда Фридрих быстро пошёл ему навстречу, остановился прямо пред ним и устремил на него свои пламенные взоры.

— Что я слышу? — сурово и строго сказал он, — в моём государстве сажают людей в тюрьму без суда и следствия? Неужели пройдёт молва, что у меня существуют те же самые порядки, какие были при Людовике Пятнадцатом во Франции? Уж не выстроить ли мне Бастилии в Берлине, а моим господам чиновникам не выдавать ли lettres de cachet, чтобы они могли по своему произволу принуждать к молчанию неугодных им лиц?

Лицо полицейского чиновника покрылось густою краской. Рука, в которой он держал шляпу, слегка дрожала, однако он не потупил взора своих честных, правдивых глаз, а спокойно выдержал взор короля.

— Вопрос, который задаёте вы мне, ваше величество, — с удивлением, но твёрдо и без всякого

замешательства возразил Филиппи, — заключает в себе тяжкое обвинение, которое, если бы оно оказалось справедливым, сделало бы меня неспособным к вверенной мне и весьма ответственной службе. Но прежде, чем я смогу ответить на него, я должен всенижайше просить ваше величество сказать мне, на чём основано подобное обвинение, чтобы я был в состоянии опровергнуть взведённую на меня клевету.

При этих словах лицо короля прояснилось. Он благосклонно взглянул в открытое, честное лицо президента полиции, в котором не было ни малейшего следа страха и смущения, и сказал более мягким тоном:

— Разве ты не держишь под замком итальянца по имени Серра? Он жалуется на то, что сделался невинною жертвой чужих козней.

— Мне не понятно, ваше величество, — произнёс Филиппи, — каким образом этот человек может жаловаться вашему величеству без того, чтобы его жалоба прошла через мои руки.

— Это безразлично, — поспешно сказал король. — Отвечай мне, как было дело!

— Его дело, ваше величество, хорошо известно мне и в полном порядке. На этого Серру было указано мне его превосходительством министром

фон Герне, как на подозрительного человека, который под видом порученных ему коммерческих операций с компанией торгового мореплавания занимается политическим шпионством и состоит агентом австрийского правительства. Моею обязанностью было арестовать его по такому заявлению. Я донёс о том вам, ваше величество, по долгу службы и вы высочайше соизволили мне приказать поместить Серру в крепости Шпандау и там подробно допросить его.

— Совершенно верно, — сказал король, — я помню это; но почему же не было исполнено моё распоряжение? Отчего не допросил ты Серры по моему приказу и не донёс мне о том?

— Я допросил его, ваше величество, — ответил Филиппи, — и по желанию министра фон Герне именно в его присутствии; господин министр отметил сам пункты допроса, между которыми выдающееся место занимали сношения Серры с графом Вьельгорским в Вене. Господин министр сказал мне, что он хочет соединить весь материал по обвинениям против Серры, чтобы при дальнейшем допросе иметь возможность в точности обозначить вопросы, которые следует задавать Серре. Я не получил ещё пока обещанного изложения от господина министра и потому не мог

произвести вторичный допрос.

Король задумчиво прошёлся несколько раз взад и вперёд, а потом снова остановился перед Филиппи и сказал:

— Мои министры — не полицейские чиновники; фон Герне заведует акцизом и торговыми делами, он управляет компанией торгового мореплавания, но с какой стати вмешиваться ему в допрос Серры?

— Я не счёл себя в праве, ваше величество, — спокойно и твёрдо ответил Филиппи, — осмелиться удалить министра вашей высочайшей особы от допроса человека, который, по слухам, пользовался поручениями именно в собственном ведомстве этого министра для политической пропаганды и опасных политических интриг.

— Ну, ну, — успокоительным тоном заметил король, — я не стану упрекать тебя; кого я поставил на такой высокий и ответственный пост, тому ты, конечно, не смеешь выказывать недоверие. Но слушай хорошенько! Оставь министра фон Герне совсем в стороне; я поручу государственному канцлеру фон Фюрсту расследовать это дело. Государственный канцлер должен выслушать Серру, а ты сам — слышишь? — должен при этом вести протокол и хранить предо всеми неруши-

мое молчание обо всём, что бы ни всплыло тут наружу! Обо всём, что ни сказал бы или ни поручил бы тебе по этому делу фон Герне, ты обязан немедленно доносить мне и ничего из этого не приводить в исполнение, пока ты не получишь моего собственноручного приказа или указания, относительно дальнейшего образа действий.

— Приказания вашего величества будут в точности исполнены, — сказал Филиппи, — и я могу лишь сожалеть, что вам, ваше величество, не угодно было уже раньше дать эти повеления, чтобы я был в состоянии оградить себя от подозрения в произвольном посягательстве на свободу личности.

Король дружески похлопал его по плечу и, улыбаясь, сказал:

— Ну, не сердись, я вижу, что ты не заслуживаешь упрёка, и я знаю, что ты — честный человек. Следовательно, тебе известна теперь моя воля, действуй согласно ей!

— Я боюсь на белом свете всего лишь одного, ваше величество, — ответил Филиппи, — а именно заслуженной немилости моего великого короля, так как незаслуженная немилость не может постигнуть меня; для этого вы, ваше величество, слишком справедливы, в чём я, к своей великой

радости, только что снова убедился.

— Оставайся при этом убеждении и не допускай вводить себя в заблуждение! — чрезвычайно милостиво произнёс король. — А теперь ступай и поскорее пролей мне свет на всю эту историю с Серрой.

Король сделал благосклонный жест рукою, и начальник полиции с низким поклоном удалился.

Мария Герне была тяжело потрясена событиями последних дней. Ей было больно потерять своего друга детства Эрнста Пирша. И из-за чего! Из-за любви к ней, которую молодая девушка считала глупым безумием, одной из своенравных фантазий, каковые он уже и в детстве преследовал с внезапными страстными порывами, а затем так же быстро и так же ревностно переходил к другим фантазиям. Её дядя сообщил ей, что Пирш получил отставку и уехал из Берлина; он написал министру письмо, в котором благодарил за добро, оказанное ему во время его детства, но ни словом не намекнул на то, куда намеревается ехать и как предполагает устроиться в будущем.

— Бедный Эрнст, — сказал Герне, рассказав об этом за обедом, — я так охотно сделал бы для него всё, что только возможно; король благоволит к

нему, что имеет ещё более значения, и, конечно, ему предстояла отличная карьера; теперь же непонятное честолюбие увлекло его на неизвестную дорогу, и если он даже достигнет того, на что надеется, то всё же никогда не найдёт удовлетворения вне родины. Но кто может помочь молодому человеку, который не хочет и слышать о том, чтобы принять чей-либо совет? Разумеется, он добьётся своего, так как никому не уступит в гордости и мужестве, и мы, конечно, никогда не услышим о чём-нибудь низком или недостойном с его стороны, что могло бы опозорить его имя.

Мария поникла головою; она подавила слёзы, но тем не менее при всём дивном воспоминании, которое у неё сохранялось о друге детства, в её сердце не нашлось места для пожелания, чтобы всё было по-другому; она чувствовала, что в её сердце никогда не будет другой любви, кроме той, которая овладела всем её существом.

Некоторые из гостей сделали безразличные сожалеющие или укоризненные замечания об офицере, оставившем славную службу королю, и таким образом и в доме Герне кануло в лету забвения воспоминание о юном офицере.

Бурная сцена с графиней Браницкой, настоящего имени которой не узнали ни министр,

ни его племянница, также сильно взволновала Марию; она чувствовала, что вступила в серьёзную борьбу на жизнь и на смерть за сокровище своей любви, которой она до сих пор радовалась с детской безмятежностью, и что неприятельница, которая внезапно подобно извивающейся змее преградила ей дорогу, не перестанет отыскивать всё новые и новые орудия против её любви. Она боязливо содрогалась в предвидении этой борьбы, угрожавшей чем-то новым и незнакомым. Мария почувствовала себя вдруг созревшею и равной по силам той гордой и ослепительной женщине, на которую до сих пор она смотрела как на недосягаемый для себя образец.

Она, конечно, не поверила злым наветам графини относительно неверности и недостойной игры, которую граф Игнатий был намерен вести с её сердцем, но вместе с тем не могла и позабыть их, и насмешливые, грозные слова часто находили мучительный отзвук в её сердце.

В порыве страха и горя её первым намерением было написать своему возлюбленному, сообщить ему обвинение графини. Но она тотчас же отбросила эту мысль. Если она потребует оправдания, то уже одно это будет признанием справедливости обвинения. Что сказала бы она, если бы её

самое оклеветали пред Игнатием Потоцким и он обратился к ней с требованием опровергнуть эту клевету и тем доказать свою невиновность или хотя разуверить в ней? Разве не оскорбило бы её до глубины души подобное сомнение, разве не увидела бы она в этом преступления против её любви? Нет, нет, ведь она требует глубокой веры от Игнатия; неужели же, благодаря обвинению чужой женщины, известной ей лишь в качестве соперницы в его любви, она выкажет недоверие к нему?

Мария покраснела пред своими собственными мыслями, доказавшими ей, что злые семена всё-таки дали ростки в её сердце и начали пускать корни. Где же была бы её гордая самоуверенность, с которой она отшвырнула от себя обвинение той женщины, если бы она снизошла до того, что потребовала бы от него оправдаться пред нею и чем бы то ни было утвердить в ней свободную веру в него? Она думала об Игнатии Потоцком, она вызывала из глубины своих воспоминаний его образ и он как живой вставал пред её ясным взором.

— Я верю тебе, мой Игнатий, я верю в твою любовь и верность! Клевете не достигнуть высоты моей веры и преданности!

И в тишине ночной она написала длинное письмо, в котором передала своему возлюбленному все помыслы и чувства. Она сообщила ему о происшествии с Пиршем, излила пред ним всю горечь утраты друга детства. Она высказала опасение, что в порыве отчаяния Пирш может искать встречи с графом Игнатием, чтобы отмстить ему за утраченные надежды, которые в своём диком упрямстве он считал принадлежащими ему по праву и которые она никогда не внушала ему. Затем Мария заклинала своего возлюбленного ради неё простить её другу детства его заблуждение и избегать роковой встречи с ним.

Она шаг за шагом описывала свою жизнь, сообщила графу Игнатию о посещениях Ворринской, которая должна была быть его хорошей знакомой, так как неоднократно довольно подробно говорила о нём.

Она уже готова была признаться во всём случившемся и хотела дать слово, что глубоко верит ему, но удержалась от этого, так как чувствовала, что и одно признание в том, что ей пришлось побороть хотя на миг возникшее в ней сомнение, должно было огорчить её возлюбленного и со своей стороны заставить его усомниться в глубине и искренности её любви.

Уже было далеко за полночь, когда Мария окончила своё письмо; физически она была утомлена, но её душе вернулось мирное спокойствие; ей казалось, как будто тёмный призрак, на миг выросший между нею и её возлюбленным, прогнан небесными светочами веры и преданности, и она заснула с нежным приветом своему возлюбленному на счастливо улыбавшихся губах.

Спокойно протекали следующие дни. По обыкновению в доме министра к обеду и ужину появлялись иногда довольно многочисленные гости.

Мария непринуждённо принимала их за столом и в салоне, с самообладанием отвечала на все вопросы относительно красавицы-иностранки, которую уже привыкли заставать у неё, и высказывала сожаление о внезапном отъезде своей приятельницы, вызванном неожиданными семейными обстоятельствами.

Всё, по-видимому, было позабыто: Мария почти была благодарна Провидению за случившееся; по её мнению, её любовь всё же была драгоценным сокровищем, за обладание которым она должна бороться, чтобы стать достойным его и чтобы оно было тем надёжнее, после того как она выйдет победительницею из борьбы.

Мария томительно считала дни, отделявшие её от того момента, когда она получит ответ от графа Игнатия на своё письмо, когда из его слов она надёжнее всего почерпнёт счастливую уверенность, что всё сказанное ей было ложью, которою старалась уязвить её сердце злобная змея клеветы.

Уже давно Мария не смотрела таким ясным и сияющим счастьем взором на золотисто-зелёную осеннюю листву парка пред окнами её кабинета, и когда попугай врывался в её грёзы, печальным тоном произнося имя Игнатия, то ей казалось, что вкруг неё витают мысли её возлюбленного и что ей вскоре предстоит блаженный, давно ожидаемый миг свидания с ним.

Уже давно в ней не было такого душевного спокойствия и вместе с тем уже давно её не волновала столь радостная надежда; как в эти дни; ни одним фибром своей души она не подозревала о роковом событии, уже грозно подступавшем к дому её дяди. Так покоится тихое море под ласковыми лучами солнца и по его поверхности пробегает лишь лёгкая рябь от дуновений приятного ветра, а тёмные тучи между тем уже подступают к самому солнцу, облегают его и несут в своём лоне бурю, которая вот-вот вздует

едва колышащуюся поверхность моря и превратит её рябь в бешеные волны.

У министра Герне собралось немногочисленное интимное общество к обеду. Беседа была в высшей степени оживлена. Герне был в настроении и воодушевлял всех своим остроумием и шутками. Мария также была особенно весела и радостна, ожидая в близком будущем ответа от возлюбленного. Она отослала своё письмо с курьером, отправленным по делам комитета компании торгового мореплавания в Варшаву, и теперь со дня на день ожидала его возвращения и ответа от любимого человека.

Министр также ожидал, что курьер прибудет с добрыми вестями. После ареста Серры он приказал доставить себе все те бумаги, которые касались отношений итальянца к компании торгового мореплавания, и начальник полиции нисколько не задумался над тем, чтобы исполнить требование министра. Затем Герне просмотрел почти законченный доклад Серры, составленный им относительно приобретения имения «Кроточин» согласно желаниям министра, и решил воспользоваться им, чтобы представить эту покупку выгодною с финансовой точки зрения и целесообразной для торговых отношений. В

докладе Серры он не нашёл противоречий в исчислениях на этот счёт и предполагал, что чисто коммерческую сторону этого дела можно будет поставить так, что при сдаче отчёта против него ничего не возразит и король.

Его агент в Варшаве между тем известил через курьера, что дело почти покончено и что граф Феликс Потоцкий, который более, чем когда-либо, пользуется могуществом и влиянием в Польше, велел передать министру свою благодарность.

Герне считал графа Феликса Потоцкого вполне солидарным с его планами на будущее Польши и не сомневался, что после покупки имения он предоставить в распоряжение министра всё своё влияние.

Итак, едва ли что-либо мешало осуществлению великого и смелого плана Герне и мысленно он уже видел близость того момента, когда он достигнет высшей цели своего честолюбия и, не обнажая меча, без жертв людьми и благосостоянием страны, преподнесёт своему королю корону, приобретённую им для своего повелителя благодаря лишь уму и холодному расчёту. Изумление короля по поводу этого великого результата будет высшей и лучшей наградой за его труды и мучительные заботы; его имя будет вне-

сено в историю рядом с боевыми сподвижниками великого Фридриха и, пожалуй, будет поставлено впереди других, так как он доставит Гогенцоллернам и Прусскому королевству много более, чем можно было бы достигнуть целым рядом выигранных сражений и массою человеческой крови, пролитой в боях.

Эти блестящие картины будущего наполняли Герне гордой радостью и, пожалуй, никогда ещё пред тем не собиралось более весёлого общества за его столом, на котором красовались самые редкие лакомства всех стран, доставленные далеко распространившей свои торговые сношения компанией торгового мореплавания.

Во время десерта, состоявшего из редких экзотических фруктов, в столовую вошёл Акст, чего он никогда не делал, если не было в высшей степени настоятельного повода.

При виде секретаря глаза Герне радостно засияли; он предположил, что вернулся курьер из Варшавы с добрыми вестями, и гордые картины его смелого честолюбия предстали пред ним в ещё более, чем до тех пор, ярком и красочном виде. Он не заметил, что серый цвет, которым всегда отличалось лицо Акста, сегодня казался почти землистым и что обычно острый и сарка-

стический взор казался взволнованным от страха и беспокойства.

По знаку министра Акст приблизился к нему и, став за спинкою его стула, шёпотом проговорил:

— Сейчас прибыл господин канцлер и желает переговорить с вашим превосходительством о крайне неотложном деле.

Герне нисколько не удивился этому сообщению; ведь министры часто совещались друг с другом, и если канцлер и был выше его рангом и имел бы право пригласить его к себе на совещание, то всё же его визит, когда дело касалось спешного обстоятельства, не бросался в глаза. Он извинился пред гостями, попросил не стесняться его и направился в кабинет в сопровождении Акста. Последний весь так и дрожал и казался как бы надломленным. Но министр не заметил этого, равно как не замечал и того, что лакеи в коридоре с расстроенными лицами перешёптывались о чём-то. Он быстро распахнул дверь в кабинет и вошёл туда; Акст между тем, поникнув головой и с огорчением вздыхая, остался стоять в коридоре.

Посреди кабинета стоял канцлер, возле него — начальник полиции Филиппи.

Оба казались серьёзными и печальными и

канцлер, по-видимому, не заметил, что Герне протянул ему руку в виде приветствия.

Герне был смущён этим, но прежде чем он успел задать пришедшим вопрос, канцлер печальным тоном сказал:

— Мучительный долг привёл меня сюда и принуждает сообщить вашему превосходительству, моему бывшему коллеге неприятную новость.

— Бывшему коллеге? — пробормотал Герне, и его лицо покрылось смертельной бледностью, — вы должны сообщить мне неприятную новость?..

— По приказу его величества нашего всемилостивейшего повелителя, — продолжал канцлер, — я обязан сообщить вам о вашем увольнении от должности министра и вместе с тем арестовать и передать вас в руки начальника полиции. Вам будет отведено приличное помещение в главном полицейском управлении и вы будете иметь там пребывание, пока его величество не постановит относительно вас своего решения.

Герне принуждён был опереться о спинку рядом стоявшего кресла; весь он покачивался и дрожал, подобно дереву, поражённому молнией до самой сердцевины. Чудовищная боль пронизала все его нервы, он вдруг увидел себя

ниспровергнутым с высоты своих смелых надежд в пропасть, из которой уже не было выхода, так как если король самым необъяснимым образом был осведомлён обо всём том, что он сделал, прежде чем он, со своей стороны, мог бросить на другую чашку весов блестящие результаты своих расчётов, то его осуждение было несомненно, а без неопровержимых доказательств всегда осторожно действовавший король Фридрих не решился бы на такой крайний шаг, как арест министра.

Герне был как бы мгновенно оглушён этим ужасным ударом и, будучи подавлен этим, не трогался с места; канцлер и начальник полиции между тем с состраданием смотрели на него. Но затем Герне снова выпрямился, поняв, что ему нужно собраться со всеми силами на предстоявшую борьбу, как бы безнадёжной ни казалась она в настоящий момент.

— В чём же обвиняют меня? — спокойным и твёрдым голосом спросил он. — Только тяжкая клевета могла побудить его величество так сурово поступить со своим долголетним верным слугою.

— Я надеюсь, — ответил канцлер, — вашему превосходительству удастся доказать, что взве-

дённое на вас обвинение — злостная клевета, и блестяще опровергнуть показания итальянца Серры!

— Серры? — воскликнул Герне. — Позвольте, господин начальник полиции, я не понимаю, как это удалось арестованному взвести против меня обвинения, о которых мне ничего неизвестно.

— Для вас, ваше превосходительство, это не должно оставаться тайною, — ответил канцлер, быстро предупреждая резкий ответ со стороны начальника полиции, — так как его величеству угодно, чтобы вас ничем не затрудняли и не отнимали средств к защите. Вот это письмо попало в руки его величества... каким образом — безразлично и не подлежит расследованию. Это дало его величеству повод произвести через меня допрос Серры, и результатом этого допроса явилось переданное мне приказание его величества о вашем аресте.

С этими словами он передал Герне письмо, попавшее королю. Бывший министр долго не спускал с него взора.

— Моим обвинителем мог бы быть граф Потоцкий, — произнёс он затем, — но это — не его почерк; всё это — позорная интрига; тот, кто подделал письмо, может взвести и фальшивое

обвинение! Я прошу у его величества милостивой аудиенции; ему одному я могу объяснить то, что может быть искажено и использовано в таком виде для фальшивого обвинения; я надеюсь, его величество не откажет слуге, в течение долгих лет удостоивавшемуся его доверия, в возможности лично оправдаться пред ним.

— Я не премину передать о вашем желании его величеству, но приказание, приведшее меня сегодня сюда, уже нельзя изменить, и я прошу вас, ваше превосходительство, последовать за господином начальником полиции. Я имею приказ опечатать ваши бумаги и в том состоянии, в котором я их сейчас найду, безотлагательно доставить их его величеству в Сан-Суси.

Герне с бешено-грозным взглядом двинулся было вперёд, словно намереваясь броситься к своему письменному столу и собственным телом защитить его; но в ближайший миг он уже молча поник головою.

— Я готов, — сказал министр. — Только пред королём всё кажущееся и мнимое может отделиться от действительности. Но у меня есть ещё одна просьба к вашему превосходительству.

— Говорите! — благосклонно произнёс государственный канцлер, — всё, что в моих силах, будет

сделано, чтобы облегчить вашу участь.

— Я покидаю свою племянницу в печальном положении, — продолжал фон Герне, — и прошу позволить ей оставаться в этом доме, пока она отыщет новую квартиру; кроме того я желал бы проститься с нею.

— Я беру на себя заботу о вашей племяннице, — ответил канцлер, — и тотчас велю пригласить её сюда для прощания с вашим превосходительством.

Он подал знак президенту полиции, который немедленно вышел, чтобы послать за молодой девушкой.

Тем временем гости, сидевшие за столом, смутно догадываясь о каком-то необычайном происшествии, становились всё тише и молчаливее. Когда появился ещё другой лакей, который с расстроенным и перепуганным видом отозвал и племянницу министра, то присутствующие поспешно поднялись с своих мест, все до единого человека, и узнали от дрожавшей в страхе прислуги, что дом занят сильным караулом, что у подъезда возле кареты государственного канцлера стоит закрытый экипаж под эскортом драгун и, судя по всему, дело идёт не о чём ином, как о неожиданном аресте министра.

Общество в ужасе рассеялось. Действительно пред домом стояли стражники и зловещая тюремная карета. Никто не встречал задержки при выходе из дома, но, когда несколько посланных от торговых фирм, пришедшие по делам в правление торгового мореплавания, приблизились к воротам, сторожа не пустили их и потребовали, чтоб они удалились. Таким образом не могло быть сомнения, что здесь приняты крайне серьёзные меры, и гости, присутствовавшие на обеде, который начался так весело и оживлённо, поспешили прочь и, конечно, немедленно разнесли неслыханную весть по всему городу.

Мария беспечно вошла в кабинет дяди. Слуги не посмели сообщить ей ни о чём, а их встревоженных лиц она не заметила. Молодая девушка поздоровалась с государственным канцлером, как с знакомым из их круга, и обратилась к дяде.

Последний сказал ей с глубоким волнением:

— Не пугайся, дитя моё! большое несчастие поразило меня; по недоразумению, по ложному доносу я арестован и должен покинуть тебя одну. Его превосходительство господин государственный канцлер поможет тебе найти другую квартиру. Будь покойна, не падай духом!., всё должно вскоре устроиться благополучно.

Мария стояла пред ним, словно мраморное изваяние; в самом разгаре блаженных надежд на неё обрушился страшный удар, который только что едва не свалил с ног её дядю, а теперь поразил её — нежное, слабое дитя — ещё сильнее, чем крепкого мужчину. Она не могла собрать и привести в порядок свои мысли; ей показалось, что всё кругом неё внезапно рушится. Мария привыкла видеть в своём дяде повелевающее средоточие окружавшего мира; всё, что к нему приближалось, спешило почтительно склониться пред ним, так что молодая девушка смотрела на него всегда, как на недосягаемую высоту, и вдруг этот всемогущий человек, представлявшийся ей воплощением силы и господства, превратился в узника, в преступника!

Это было непостижимо для Марии. Её мысли спутались. Вопросительно смотрела она на государственного канцлера и президента полиции, точно ожидала от них разрешения страшной загадки. Фон Герне, казалось, обуревали волнующие помыслы. Он устремил на племянницу такой взгляд, точно хотел проникнуть им в её душу и силою своей воли рассеять то, что она думала. Потом, подойдя к молодой девушке, он заговорил быстро и торопливо, с резким ударени-

ем на каждом слове:

— Феликс Потоцкий — мой обвинитель... Нашему другу ты должна...

Не успел он произнести следующее слово, как государственный канцлер встал между ним и его племянницей, коснулся его руки и сказал:

— Я должен просить ваше превосходительство говорить лишь о том, что касается ваших домашних дел; только при этом условии могу я взять на себя смелость разрешить вам разговор на прощанье.

При словах дяди Мария издала крик, прозвучавший предсмертным воплем отчаяния: дядя назвал фамилию Потоцкого, как своего обвинителя, имени же последнего она не расслышала. Ведь для неё существовал только один Потоцкий на свете, только один, от которого она только что страстно ждала счастливой и желанной вести, и вдруг это имя было произнесено, как имя врага, толкнувшего её дядю на гибель!

О, значит, тогда всё, сказанное о нём тою женщиной, — правда; тогда он должен быть изменником, который явился сюда лишь с целью повергнуть в несчастие её дядю, тогда как она сама действительно послужила для него лишь орудием, чтобы погубить её покровителя, отече-

ски любившего сироту!

Мария не постигала, как и почему всё это могло случиться; переплетающиеся между собою вопросы политики были ей совершенно непонятны, однако же она знала и часто слышала о том, что эта злополучная политика порождает ненависть и смертельную вражду, заставляющие людей безжалостно уничтожать друг друга; и жертвою такой смертельной вражды, такой политической ненависти, не знающей милосердия, должно было пасть её любящее и доверчивое сердце.

Все эти мысли мелькнули у неё в голове с мгновенной яркостью молнии, которая часто освещает вдруг на одну секунду до ничтожных мелочей всё кругом на далёкое расстояние и неизгладимо запечатлевает в испуганной душе картину, облитую ярким, блестящим сиянием этой фосфорической вспышки.

Молодая девушка опустилась на стул, прижала руку к сердцу и пугливо озиралась, точно боясь, что пред ней возникнет ещё какой-нибудь новый ужас.

Фон Герне подошёл к несчастной, положил руку на её голову и, заглядывая ей в глаза проницательным, настойчивым взором, произнёс:

— Значит, ты меня поняла, не так ли? На меня

пожаловались, и я арестован; помни друзей, у которых ты найдёшь защиту и помощь.

Мария как будто почти не слышала его слов; её взоры по-прежнему боязливо блуждали, словно отыскивая что-то; губы девушки дрожали, а из её груди вырывалось точно тихое рыдание.

Взволнованный канцлер, подойдя к ней, успокаивающе произнёс:

— Я позабочусь о том, чтобы у вас не было ни в чём недостатка; живите в этом доме, сколько вам угодно, а при всякой надобности с полным доверием обращайтесь ко мне!.. Идите, господин фон Герне, идите! Думайте только о своей защите, для которой вам понадобится вся ваша сила! Предоставьте мне заботу о вашей племяннице! Поверьте, я сделаю всё необходимое для неё. Идите, идите! Лучше не длить горького прощания!

Фон Герне крепко сжал руками поникшую голову Марии и, наклонившись над нею, воскликнул:

— Прощай, дитя моё, прощай! Ведь ты поняла, не правда ли? Не забудь друзей!

Государственный канцлер взял под руку жестоко взволнованного министра и повёл его к дверям. Президент полиции заступил его место.

Когда двери отворились, в комнату кинулся

Акст и расцеловал руки своего патрона.

Бледные и дрожащие теснились в коридоре лакеи. При виде их к фон Герне вернулись вся его сдержанность и всё самообладание. Гордо прошёл он, высоко подняв голову, через площадку на парадную лестницу. С достоинством и в то же время сердечно простился опальный вельможа мягким жестом руки со своими людьми, которые низко кланялись ему, и в то же самое время среди них там и сям слышалось тихое рыдание.

У подножия лестницы министр ещё раз обернулся назад и бросил последний взгляд во внутренность ярко освещённого, убранного с царскою роскошью дома, где он вкладывал всю свою силу и весь свой труд в достижение почти сверхчеловеческой цели, которая склонилась теперь разбитая в прах к его ногам. Его глаза также увлажнились слезами при этом прощальном взгляде, и он, поспешно отвернувшись, вышел из ярко освещённых сеней на крыльцо, окутанное ночною мглой, распространявшейся по улице. Тут фон Герне сел в проворно подкативший закрытый экипаж президента полиции. Тот присоединился к нему и, сопровождаемые небольшим отрядом драгун с обнажённым оружием, они покатили бойкой рысью в полицейское управление.

По уходе министра государственный канцлер с ласковой сердечностью старался ободрить Марию. Молодая девушка спокойно слушала, иногда кивая головой, точно соглашалась с его доводами, но по взорам её глаз, неподвижно устремлённым вдаль, было заметно, что она едва ли понимает слышанное, и не один раз её рука хваталась за сердце, точно под влиянием острой боли.

Наконец канцлер велел позвать её горничную, которая пришла вся в слезах и повела свою госпожу в её комнату.

Мария следовала за нею безучастно и машинально, тогда как государственный канцлер потребовал к себе ожидавших внизу своих секретарей, чтобы они опечатали при нем кабинет и канцелярию.

Когда Мария, опираясь на руку горничной, проходила через свою гостиную, направляясь в спальню, «Лорито» при виде её радостно захлопал крыльями и, рванувшись к ней, громко крикнул, словно уверенный, что так он скорее всего обратит на себя внимание:

— Игнатий!.. Игнатий!

Мария остановилась при этом возгласе, точно испугавшись, и вздрогнула всем телом; огневой румянец разлился по её лицу; в её глазах вспых-

нула точно молния воспоминания и сознания, и сначала тихо, едва внятно, потом всё громче она стала повторять, в свою очередь, имя, произнесённое птицей, как будто отыскивая при помощи этих звуков что-то в тайниках своей души.

Наконец в ней точно проснулось полное воспоминание; её взоры приняли выражение ужаса, и ещё жарче разгорелся румянец на её щеках. Потом Мария внезапно побледнела, как смерть, пронзительный вопль вырвался из её уст и, прижав обе руки к сердцу, она рухнула на ковёр, причём красноватая пена окрасила её губы.

С громким плачем позвала горничная ещё нескольких служанок; потерявшую сознание молодую девушку отнесли в её спальню и уложили в постель.

Опрометью кинулись за домашним врачом. Тот объявил, что у больной необычайно сильная, опасная для жизни нервная горячка, при которой не остаётся ничего иного, как поддерживать организм лёгкими смягчающими средствами и выжидать, выдержат ли силы пациентки этот внезапно наступивший тяжёлый кризис.

Блестящий и гостеприимный дом фон Герне скоро опустел и стоял покинутым; слуги были отпущены, жуткая тишина господствовала в

коридорах и залах, и никто из всех тех, которые с удовольствием пользовались радушием хозяина, не приближался к поражённому неожиданною бедою жилищу.

Все кредиторы министра — а их было немало — лезли сюда; на всё его наличное имущество было наложено запрещение, был открыт конкурс и всё опечатано и заперто; только государственный канцлер фон Фюрст, согласно своему обещанию, заезжал в пустынный дом справляться о состоянии здоровья Марии.

Он строго распорядился, чтобы комнаты больной оставались неприкосновенными и в стороне от всего, происходившего в прочих помещениях дома; однако получаемые им здесь вести были неутешительны; положение молодой девушки не изменялось; лихорадочный жар не спадал, а все целебные средства, употребляемые врачом, не приносили решительно никакой пользы.

Срок, назначенный для кризиса, миновал, не принеся ни малейшей перемены в состоянии больной, силы которой постепенно падали, так что доктор все сомнительнее покачивал головой.

Целыми часами лежала Мария, неподвижная и оцепеневшая, словно в летаргическом сне,

и только жаркие вздохи её тревожно взволнованной груди показывали, что в этом нежном теле ещё теплится жизнь. Потом она внезапно поднималась с подушек с страдальческим воплем, её впалые глаза широко раскрывались и смотрели с призрачной неподвижностью, резко выделяясь на страшно исхудавшем, осунувшемся лице. Больная принималась жалобно звать любимого человека. Она разговаривала с ним, как будто слышала его ответы, она улыбалась с тем удивительно трогательным выражением, которое свойственно горячечным и помешанным, простирала руки, точно стараясь схватить и привлечь к себе представившееся ей видение; но вскоре опять больная жалобно вскрикивала в порыве жестокого горя, обвиняла Небо за то, что человек, которому она отдала всю свою душу, которого считала подобием божества, мог сделаться врагом, предателем, пока наконец, когда её силы истощались в болезненных содроганиях, несчастная снова не впадала в своё летаргическое состояние.

Попугай находился у постели больной. Птицу хотели удалить, но она принялась сопротивляться с пронзительным криком.

Мария тоже как будто почувствовала её при-

сутствие, потому что тотчас очнулась от своего беспамятства, когда «Лорито» собирались унести, и потребовала, чтобы его оставили при ней; и даже в бессознательном состоянии подобие приветливой улыбки мелькало по её лицу, когда птица начинала издавать свои ласковые возгласы.

Так печально и однообразно проходили дни в обширном доме опального министра. Прохожие робко поглядывали вверх на завешанные окна министерской квартиры и только во флигеле, где помещались конторы компании торгового мореплавания, по-прежнему кипела оживлённая деятельность, вследствие чего мёртвая тишина, вдруг установившаяся в другом флигеле, производила на всех ещё более жуткое и тягостное впечатление.

Граф Игнатий Потоцкий получил письмо, которое написала ему Мария после роковой сцены с графиней Браницкой. Он был обрадован желанной вестью, но тем удивительным инстинктом, который устанавливает между двумя любящими сердцами почти магнетическое общение, влюблённый почуял в некоторых местах письма, как что-то чужое и холодное, подобно враждебно грозящей тени, становится между ним и образом

Марии; он смутно угадывал, что она скрывает от него нечто такое, что сильно взволновало и потрясло её. Ему бросилось в глаза равнодушное, беглое упоминание о Ворринской; он не знал никакой дамы с такою фамилией, а между тем эта особа отрекомендовалась Марии в качестве его приятельницы. Здесь очевидно крылась какая-то тайна, и Потоцким овладела мучительная тревога, необъяснимое, но всё усиливавшееся чувство, которое постепенно подчиняло его себе, смутно внушая ему, что Мария как будто нуждается в его защите от какой-то неведомой опасности. Всё неотступнее осаждала графа эта мысль, как ни вооружался против неё его критический разум, и он часто вскакивал даже по ночам, внезапно пробуждаясь от сна, так как ему чудился голос его любимой Марии, жалобно и тоскливо звавший его по имени.

После переговоров с фон Герне он избегал поездок в Берлин, чтобы его присутствие там не было замечено и не возбудило преждевременных подозрений, способных повредить великим планам, которые обещали доставить его отечеству свободу и могущество, а ему самому — прекраснейшее счастье. Но теперь преждевременное похищение Понятовского надолго исключило

всякую возможность сделать что-нибудь для осуществления тех планов. Благодаря опасности, которой он благополучно избег, Станислав Август стал пользоваться у народа большей популярностью, чем это можно было когда-либо ожидать; удаление князя Репнина и благоразумная сдержанность императрицы Екатерины усыпили ненависть поляков к России, а своего старшего брата граф Игнатий находил поразительно сдержанным в последнее время; всё это твёрдо убедило его в том, что до наступления благоприятных обстоятельств, которые, пожалуй, могли заставить ещё долго ждать себя, нельзя было ничем содействовать его планам на будущее. Но если осуществление их отодвигалось ещё на долгий и неопределённый срок, то почему должен был он ставить в зависимость от такого туманного будущего своё личное счастье, которого томительно жаждала его душа? Юность графа Игнатия осталась у него далеко позади; то, чего он хотел достичь, чем пылко мечтал насладиться, ему следовало схватить скорее, и каждый день отсрочки так поздно явившегося и так странно желанного счастья любви казался ему каким-то обворовыванием самого себя, которое он никогда не мог бы себе простить.

Едва только эти мысли успели совершенно выясниться в голове графа Игнатия, как он удивился собственной мешкотности до сих пор и принял решение немедленно отправиться в Берлин, чтобы твёрдою рукою схватить высочайшее счастье своей жизни и упрочить его за собой.

Он распорядился немедленно приготовить свой дом в Варшаве и свою загородную резиденцию к приёму его новобрачной супруги и в сопровождении одного камердинера помчался на курьерских лошадях в Берлин, останавливаясь на станциях лишь для перемены лошадей.

С тревожно бившимся сердцем ожидал граф Игнатий свидания, за которым должен был последовать прочный союз с любимой девушкой, и ни один юноша, наслаждающийся впервые весенним расцветом любви, не мог таить в сердце более нетерпеливое желание, как этот человек, созревший в серьёзном опыте жизни.

Словно удар молнии поразило графа известие, сообщённое ему при первом его вопросе о фон Герне юрким Винценти, в гостинице которого он остановился снова под именем Балевского, не желая открывать своё инкогнито без согласия министра. Хозяин гостиницы боязливо и робко рассказал, что фон Герне находится под арестом и

над ним наряжено строжайшее следствие. Щедро расточая золото, производившее неотразимое действие на хитрого итальянца, граф Игнатий разузнал обо всём, происшедшем у него в гостинице: об аресте Серры, о прибытии знатной дамы, которая принимала у себя поручика Пирша, а потом часто бывала в доме министра фон Герне и наконец внезапно уехала обратно в своё имение.

Ловкому Винценти не было надобности намекать своему постояльцу на то, что всё это должно иметь какую-то связь с несчастьем, поразившим министра. Граф Игнатий потребовал, чтобы он подробно описал ему наружность Ворринской, и тотчас узнал по его описанию в таинственной даме графиню Елену Браницкую. Хотя всё хитросплетение так удивительно перепутанных здесь нитей не выяснилось ещё пред ним вполне, всё же у него не оставалось больше никакого сомнения в том, что графиня в соучастии с фон Пиршем преследовала в данном случае какой-то план, целью которого было разлучить его с Марией.

На тревожные расспросы Потоцкого о молодой девушке Винценти ответил ему, что он слышал, будто бы Мария фон Герне, благодаря заступничеству государственного канцлера, пользуется пока, по королевской милости, квартирою мини-

стра. Едва получив это сведение, граф Игнатий тотчас собрался идти, чтобы, правда, при совершенно иных обстоятельствах, шедших вразрез с его недавними мечтами, посетить дом, с которым для него связывались самые сладостные воспоминания и вместе с тем прекраснейшие надежды, так как, несмотря ни на что случившееся, он твёрдо решился не покидать Марии, а идти ради неё наперекор мнению целого света и вознаградить её за всё, что она потеряла и могла потерять ещё.

Весь дрожа, шёл Потоцкий по хорошо знакомому пути и с невольной нерешительностью замедлил шаг, когда приблизился к жилищу, которое надеялся увидеть вновь при совершенно иных условиях. В нескольких шагах от главных ворот он внезапно почувствовал прикосновение чьей-то руки и, подняв свой взор, узнал Акста, который, с печальным лицом, пугливо оглянувшись по сторонам, дрожащим голосом поздоровался с ним.

Некогда столь могущественный и влиятельный секретарь министра состоял теперь простым конторщиком по примеру прочих низших служащих в правлении компании торгового мореплавания.

Государственный канцлер не потребовал от Акста показания против бывшего патрона и устроил

его на место, соответственное его старшинству по службе; однако новые товарищи боязливо сторонились от него, и теперь он чувствовал себя глубоко несчастным. Каждая сфера жизни имеет своё честолюбие, а честолюбие до сих пор столь могущественного личного секретаря министра было действительно жестоко уязвлено низведением его в круг заурядных конторщиков.

— Господин Акст, — воскликнул граф Игнатий, — какую ужасную весть довелось мне получить! Как это могло произойти? Что случилось?

— О, ваше сиятельство, — тихо ответил Акст, по-прежнему робко озираясь по сторонам, — Бог привёл вас сюда и послал меня вам навстречу; вы одни можете спасти господина фон Герне, если спасение ещё возможно. Вам известны, я знаю, великие обширные планы моего бедного патрона, которых он никогда не открывал даже мне, но о которых я мог догадываться, как верный слуга должен всегда догадываться о том, что занимает и волнует его господина. Вы можете снять с него подозрение в низком и предосудительном корыстолюбии; оно взведено на него злыми людьми и не заслужено им; это так же верно, как то, что на Небе есть правосудный Бог. Господина фон Герне оклеветали пред королём, и нет никого,

кто мог бы и захотел бы вступиться за него. Ведь улики против министра! Но вы, ваше сиятельство, можете спасти его с его преимуществом и несчастной племянницей, которая лежит при смерти с горя и печали!

— При смерти?.. Мария?.. О, Боже мой! — воскликнул граф Игнатий. — Что могу я сделать?

— Единственно следующее, — ответил Акст: — опровергнуть обвинение в том месте, где оно возникло, то есть у короля, свидетельствовать в пользу господина фон Герне и доказать там, что он неспособен был запятнать себя ради жалкого золота, которым он вполне пренебрегает.

— А Мария? — вне себя воскликнул граф Игнатий, — где она? Как мне увидеть её?

— Вы найдёте её там в доме, в её старом помещении. Но я сомневаюсь, ваше сиятельство, можете ли вы видеть её; говорят, она очень сильно больна и лежит в тяжёлом лихорадочном бреду.

— Всё равно, всё равно, я должен видеть её! Кто посмеет не допустить меня к ней, к той, которая принадлежит мне теперь более, чем когда-либо, у которой нет никого другого на свете, кто мог бы защитить её в этой тяжёлой беде и спасти её?

— Господь вознаградит вас, ваше сиятельство, за то, что вы намереваетесь сделать, — с чувством

произнёс Акст, — в несчастье друзья редки. До свиданья, нас не должны видеть вместе, а я уверен, что за мною следят. До свиданья, я, может быть, как-нибудь приду к вам в гостиницу, под покровом ночи, чтобы увидеть, что вы можете сделать для несчастной барышни и моего бывшего патрона.

Акст быстро исчез за ближайшим углом улицы. Граф Игнатий почти не смотрел ему вслед, вся его душа была полна одним лишь чувством тоски. Он чуть ли не бегом направился к подъезду квартиры министра. Большие двери были закрыты. Граф дёрнул за ручку звонка рядом с ними. Резкий звонок очень неприятно зазвучал по всему опустевшему дому.

Только после того, как граф, немного спустя, вторично позвонил, старый привратник открыл и удивлённо взглянул на иностранца, с беспокойной поспешностью спросившего о мадемуазель фон Герне.

— Барышня больна, очень больна, — ответил привратник, грустно покачивая головою, — и не в состоянии принимать гостей...

— Но мне необходимо видеть её, — воскликнул граф Игнатий и сквозь полуотворенную дверь ворвался в переднюю, — мне необходимо ви-

деть её!

Старик ещё изумлённее взглянул на графа Игнатия и, по-видимому, намеревался задержать его.

— А-а, — сказал он затем, — вы, должно быть, — новый доктор, о котором недавно говорил его превосходительство господин канцлер и который желает испробовать своё искусство на бедной барышне?

— Да, да! — нетерпеливо воскликнул граф Игнатий. — Не трудитесь, я знаю дорогу.

Он оставил старика, долго смотревшего ему вслед и сомнительно покачивавшего головою, и по знакомой лестнице торопливо поднялся наверх.

Необитаемы и пусты были коридоры, в которых раньше стояли лакеи, готовые принять гостей. Граф Игнатий открыл двери, прошёл несколько приёмных зал, в которых вся мебель, как будто в мебельном магазине, была составлена в одно место, и наконец достиг салона Марии, в котором, благодаря внимательному распоряжению канцлера, ничего не подверглось изменению.

Солнце, как и прежде, лило свой свет через огромные стеклянные двери балкона, но в саду уже не царил приветливый зелёный полумрак,

только последние жёлтые листья повисли на ветвях огромных деревьев; их раскачивал осенний ветер, чтобы вскоре похитить и этот убогий наряд, ещё напоминавший о лете.

Дверь в спальню Марии была открыта.

При звуке громко раздававшихся, поспешных шагов графа на пороге спальни появилась горничная.

Она испугалась, увидев чужого, и, протягивая руки вперёд, сказала:

— Барышня спит; ведь господин канцлер запретил входить сюда.

Граф Игнатий не обратил внимания на заявление испуганной женщины. Он почти резко оттолкнул её в сторону и, войдя в спальню, окна которой были завешены синими шторами, остановился у самого порога. Прошла минута, прежде чем его глаза привыкли к темноте, и только тогда он увидел на белоснежной постели хрупкую фигуру Марии, со впалыми, прозрачно-белыми щеками и с опущенными веками, лежавшую как труп.

Граф весь так и затрепетал. Он неподвижно стоял на месте и стиснул руки. Будучи серьёзным, крепким человеком, он едва ли мог бы припомнить, что когда-либо плакал, но теперь жгучие

слёзы текли по его щекам и из его груди стало вырываться всхлипывание.

— О, сударь, вы, должно быть, родственник или друг? — сказала горничная. — О, не правда ли, это печально, очень печально? До сих пор никто ещё не приходил взглянуть на бедную барышню, и, право, неизвестно, следует ли молить Господа Бога о её спасении, так как подумайте сами, какое горе ожидает её, когда она снова, после этой болезни, придёт в сознание!

Граф Игнатий почти нежно пожал руку старухи, которой до сих пор ни разу не видел; но её преданность и искреннее участие к Марии сделали эту чужую для него старуху его другом.

— Мы спасём её, — сказал он, — спасём для новой счастливой жизни.

Медленным, но твёрдым шагом, не спуская взора с больной, он приблизился к её постели.

— Игнатий, Игнатий! — громко закричал попугай и радостно захлопал крыльями.

Узнал ли он графа Потоцкого по его прежним посещениям, или чудным инстинктом животного почувствовал, что он — друг его госпожи, только «Лорито» всё громче повторял свои восклицания, пока граф не подошёл совсем близко к кровати и не схватил руки Марии.

Веки больной вздрогнули, её губы тихо зашевелились, как будто она хотела повторить имя, прозвучавшее ей во сне. Выше стала вздыматься её грудь. Наконец она подняла веки. Дивным смыслом засветился её взор, как будто она видела графа, склонившегося над нею и с бесконечною любовью прошептавшего:

— Мария, единственно любимая Мария! Не бойся, я с тобою!

— Игнатий, мой Игнатий! — воскликнула девушка, крепче сжимая его руку в своей. — Ведь я знала, что ты придёшь... ведь я знала, что ты не будешь моим врагом, что ты не можешь изменить мне... О, скажи мне, что это была ложь, когда та женщина с грозно сверкавшими глазами, которые до сих пор ещё горят в моём сердце, говорила мне, что ты лишь играл мною, что только ей одной принадлежит твоё сердце... Скажи мне, Игнатий, что мой бедный дядя ошибался, считая тебя виновником своего несчастья... что ты не был обвинителем, навлёкшим на него беду!

Лицо графа Игнатия повело судорогой от гнева и боли при этих словах, произнесённых трогательно умоляющим тоном. Он опустился на колена рядом с постелью, прижал к губам руку Марии и глубоко прочувственным голосом про-

говорил:

— Да, моя возлюбленная, это была ложь; лживым коварством хотели отравить твою душу! злополучное заблуждение заставило твоего дядю предположить, что я мог быть его врагом, его обвинителем. Клянусь тебе святым Именем Искупителя, что я люблю одну тебя на земле, что в моём сердце нет места для другого образа рядом с твоим; клянусь тебе, что у твоего дяди нет в мире более верного друга, чем я, и что с моих губ никогда не срывалось ни слова измены или обвинения; клянусь тебе милостью Божиего отныне и во веки веков!

— Я верю тебе, мой верный друг, — воскликнула Мария, — я верю тебе! Прости, что я хоть миг могла сомневаться в тебе; моя душа была надломлена ужасным несчастьем, которое словно ударом молнии внезапно поразило меня, но ведь теперь всё будет снова хорошо. Ведь ты со мною, теперь я уже не одна со своим горем и змеёй сомнения, под покровом тьмы снова обвившей меня своими кольцами.

Мария сделала движение, как бы намереваясь привстать, но не в состоянии была сделать это. Граф Игнатий обнял её за плечи и привлёк к себе. Мария с блаженной улыбкой склонилась на его

грудь.

— Слава Богу, к барышне вернулся рассудок! — сказала горничная, сжимая руки, и из её глаз хлынули слёзы. — Теперь я понимаю, о чём она думала в своём бреду. О, как коварно было со стороны той госпожи Ворринской причинить такую боль бедняжке и заронить злое семя в её сердце! А она казалась доброй и приветливой! Но я всегда опасалась её, как будто злой дух проглядывал из её огненных глаз.

— Да, — сказал Игнатий, слегка касаясь губами лба Марии, — здесь было рассеяно злое семя, адское семя! Но теперь я здесь, и Бог поможет мне уничтожить ядовитый посев.

Ещё несколько мгновений Мария со счастливой улыбкой покоилась на его груди; но вскоре горничная сказала:

— О, сударь — простите, что я не называю вас настоящим именем и титулом! — мне кажется, нельзя продолжать разговор; барышня и без того была сильно взволнована, это может быть чрезмерным для её слабых сил.

— О, нет, нет, Игнатий, — тихим, почти замирающим голосом произнесла Мария, — останься со мной... из тебя я черпаю жизнь... на твоей груди я выздоровею.

— Эта женщина права, моя любимая, — сказал граф Игнатий, — я снова увидел тебя, я знаю, что ты ещё любишь меня, я разрушил дьявольские оковы коварства, которыми намеревались разлучить нас... теперь позволь мне идти, мне предстоит исполнить священный долг — спасти твоего дядю.

— Моего дядю? Да, да, мой дядя! — повторяла Мария, как бы роясь в воспоминаниях, — теперь он снова приходит на ум мне! Он так несчастлив, король немилостив к нему...

— Наши враги ударили по нём, чтобы попасть в нас, — перебил её Игнатий. — Успокойся, дорогая, я один могу спасти его, и я сделаю всё, что в моих силах.

— О, спаси его, Игнатий, спаси его! — воскликнула Мария, — ведь он, столь добрый и благородный, не может быть виновен!.. И затем вот ещё что! — прибавила она дрогнувшим голосом, и яркий румянец залил её лицо. — Обещай мне... видишь ли, бедный Эрнст... знаешь, мой друг детства... о, я очень боюсь, что он пересечёт твой путь!., прошу тебя, пощади его ради меня! Он забудет своё заблуждение, он найдёт своё счастье, о чём я буду от всей души молить Господа Бога!

Игнатий Потоцкий коснулся губами лба девуш-

ки и с нежной искренностью сказал:

— Не бойся, моя рука не причинит ему зла, если он даже будет вынуждать меня скрестить с ним шпаги из-за чести; клянусь тебе, что он будет для меня так же свят и неприкосновенен, как и ты сама. А теперь до свиданья! Я возвращусь снова к тебе, когда у меня будет добрая весточка для тебя; Бог даст, мне удастся спасти твоего дядю. Как бы то ни было, наихудшее мы превозмогли: любовь победила, мы снова принадлежим друг другу. Будь здорова и мечтай обо мне!

Граф нежно положил Марию на подушки. Она ещё раз с улыбкой взглянула на него; затем её веки устало упали, её силы были утомлены, и она снова впала в полудремоту, из которой граф разбудил её; однако в её лице отражалось блаженное спокойствие; её грудь, так тяжело вздымавшаяся пред тем, теперь дышала легко и едва заметно.

— Позаботьтесь о барышне, — сказал граф Игнатий, подавая руку старой горничной, которая, всхлипывая, почтительно поцеловала её.

Граф Игнатий долгим взором окинул дремавшую больную, а затем повернулся к двери и быстрым твёрдым шагом вышел из спальни Марии. Привратнику у выходных дверей особняка Герне он сунул в руку золотой и затем возвратил-

ся в гостиницу Винценти.

С робким страхом граф Игнатий вышел отсюда и с гордой уверенностью вернулся домой. Теперь предстояла борьба с судьбою, и ему ясно было, что ему нужно делать. Он написал короткое письмо к дежурному флигель-адъютанту, в котором просил аудиенции у короля, говоря, что имеет сообщить его величеству в высшей степени важное дело, не терпящее отлагательства.

Уже поздним вечером того самого дня граф Игнатий получил извещение, что король примет его на следующее утро в Сан-Суси. Затем граф вышел из гостиницы и до глубокой ночи ходил по уединённым улицам Берлина, смотря на звезды, которые когда-то светили здесь его юному счастью и которым он теперь задавал печальный вопрос, победит ли их ясный блеск грозно вздымающуюся тучу.

XXXI

Король Фридрих II был один в своём рабочем кабинете в Сань-Суси; он сидел за своим письменным столом и усердно читал составленный канцлером фон Фюрстом доклад относительно исправления должности и управления финансами государственным министром фон Герне; этот доклад сопровождался бесчисленным множеством актов и документов, и король с одинаковым усердием изучал их, когда в докладе попадалось место, дополняемое и освещаемое приложенными документами. В это утро король принял только краткий рапорт своего генерал-адъютанта и совершенно отказался от приёма членов кабинета министров — так сильно заинтересовало его это дело, относительно которого он не допустил устного доклада и пожелал лично прочесть обо всём и вникнуть в каждую мелочь.

Наконец король провёл рукою по глазам, утомлённым продолжительным чтением, встал из-за стола и подошёл к стеклянной двери, выходившей на террасу.

— Какая пропасть загадок и необъяснимых зло-

употреблений! — сказал он скорее печальным, чем гневным голосом, — почему никогда нельзя обратиться к доверию, которое столь необходимо для душевного спокойствия и без которого исполнение державных обязанностей лишается всякого радостного порыва? Животным я могу доверять, они любят меня, они благодарны, они кажутся такими, каковы они и на самом деле. Почему же мне приходится не доверять людям, созданным по тому же закону природы, как и я? Я почти вынужден терять веру и в самого себя; я почти принуждён предполагать, что и я в их положении действовал бы так же, а не иначе. Ведь было бы чрезмерно думать, что я представляю собою исключение из всех правил рода человеческого, столь высокомерно объявившего себя царём мироздания... Печально... печально... печально!.. Как утомляет державная власть, посредством которой всегда так мало удаётся удовлетворить народ и для проявления которой так мало находится орудий... Нет, нет... я не могу быть неблагодарным! — продолжал он, устремляя засиявший взор к небу. — Разве я не достаточно много орудий нашёл для исполнения своего державного долга в мире и на поле битвы в моём Винтерфельде, в моём Зейдлице, Цитене и

Коччеи, Фюрсте и Герцберге и во многих других, сохранивших верность и преданность мне? Нет, нет, я не могу быть неблагодарным в отношении всех их, если один изменил мне! И всё же меня глубоко огорчает эта измена. Я вывел фон Герне в люди, потому что распознал в нём твёрдый и ясный ум. Я считал его смелым и безупречным человеком, и теперь ему пришлось так низко пасть ради жалких денег!.. Он не был беден, нужда не угнетала его; здесь только корыстолюбие, печальнейший из пороков. Факты слишком определённо говорят, чтобы можно было сомневаться. Но ещё печальнее потери денег то, что осуществление великих планов, связанных с компанией торгового мореплавания, стало невыполнимо, по крайней мере в ближайшем будущем. Мне не хочется верить, когда я вспоминаю о Герне, на которого я возлагал так много надежд, и всё же это — правда, неопровержимая, печальная правда; я охотнее примирился бы с тем, что фон Герне вёл игру, совершил фальшивую спекуляцию или глупый шаг; но ведь он вполне хладнокровно и спокойно лишал меня и государство огромных сумм. Что значит, что он отказывается от всяких дальнейших объяснений Фюрсту и желает изложить только лично мне причины растраты?

— продолжал король, задумчиво расхаживая по кабинету. — Что он может ещё сказать? Нет, нет... он рассчитывает воздействовать на мягкосердие, на мою добрую память о нём; он думает, что с глазу на глаз я буду милостив к нему... Но нет, он не имеет права на это, я не желаю видеть его... Если у него есть что сказать в своё оправдание, он может сделать это через канцлера.

Король позвонил.

— Канцлер фон Фюрст и начальник полиции Филиппи здесь? — спросил он у появившегося в дверях флигель-адъютанта.

— Так точно, ваше величество, — ответил последний.

— Пусть войдут!

Канцлер и начальник полиции появились в кабинете.

Король ещё раз подробно расспросил обоих относительно допроса, снятого с арестованного министра фон Герне и Серры.

Ясные и определённые ответы того и другого вполне согласовались с докладом, который только что читал король, или дополняли его в тех пунктах, относительно которых король желал дальнейших разъяснений.

Между тем появился дежурный флигель-адъ-

ютант, один имевший право во всякое время входить к королю, если того требовали необходимые обстоятельства.

— Что там такое? — спросил король, недовольный тем, что ему помешали. — Я вовсе не желаю, чтобы мне мешали.

— Я не посмел бы беспокоить вас, ваше величество, — ответил флигель-адъютант, — если бы не был убеждён, что этого требуют настоятельные и, может быть, весьма важные обстоятельства.

— Что же именно? — спросил король уже приветливее, но всё ещё нетерпеливо.

— Прибыл вице-маршал литовский граф Игнатий Потоцкий, — ответил флигель-адъютант, — и просит милостивой аудиенции у вашего величества, причём он своё желание объясняет обстоятельствами, которые он считает в высшей степени настоятельными и важными для вашего величества.

— Что говоришь ты? — спросил Фридрих. — Вице-маршал литовский? Это — брат фельдцейхмейстера.

— Так точно, ваше величество! — ответил флигель-адъютант.

— Я вспоминаю, я раз видел его... год тому назад он был здесь... он был у меня за столом... умный

человек и очень понравился мне.

— Его вид, ваше величество, чрезвычайно важен, — продолжал флигель-адъютант, — хотя он и показался мне очень взволнованным, как будто из ряда вон выходящее событие привело сюда вице-маршала.

Король опустил взор, затем сразу поднял его и обратился к начальнику полиции.

— Тебе известно, что Потоцкий здесь? — спросил он.

— Так точно, ваше величество, — спокойно ответил Филиппи. — Он остановился в гостинице Винценти.

— Так, так, следовательно тебе известно все? Что же привело сюда вице-маршала?

— Что собственно является целью его пребывания здесь, я не знаю, ваше величество, так как не имею права беспокоить или допрашивать сановника польского королевства; но то, что он делает здесь, я могу сообщить вам, ваше величество. Он совершил продолжительный визит в дом арестованного министра фон Герне и беседовал с его племянницей. Это самое и обратило на него моё внимание — я не знал, кто он, так как он прибыл сюда под чужим именем. По своему возвращении от мадемуазель фон Герне он прописался в гости-

нице под своим настоящим именем и оставил инкогнито.

— Так, так! — сказал король, — он был у Герне?.. Мне припоминается, что я когда-то слыхал о намерениях Герне, связанных с каким-то польским магнатом; я не знаю, кто рассказывал мне об этом... да, да, припоминаю, этот каналья фон Пирш. Так, так; может быть, здесь найдётся ключ к необъяснимой растрате Герне? Всё равно, мы увидим. Я едва ли могу отказать вице-маршалу в настоятельно просимой им аудиенции, пусть он войдёт! Вы, господа, подождите там, пожалуй, вы ещё понадобитесь мне.

Канцлер и начальник полиции вышли. Король прицепил шпагу и, немного спустя флигель-адъютант ввёл графа Игнатия Потоцкого.

На графе был богатый костюм польского магната с лентой и звездою ордена св. Станислава.

В ответ на низкий поклон графа, Фридрих слегка коснулся шляпы и с любезною учтивостью, которую в отношении знатных иностранцев он отлично умел объединять со своим королевским достоинством, сказал:

— Я рад случаю снова видеть вас, дорогой граф, в Берлине, и мне очень интересно узнать, чем я могу быть полезен столь превосходному слуге

польского королевства и моего друга, короля Станислава Августа.

— Ваше величество! Прошу извинить, что я осмелился так настоятельно желать быть выслушанным, — взволнованным голосом ответил граф Игнатий. — Я знаю, что каждый миг принадлежит обязанностям вашего высокого положения, и никогда не посмел бы претендовать на ваши драгоценные минуты; но дело идёт о справедливости по отношению к одному из ваших подданных, пожалуй самому лучшему и самому верному из всех.

Лицо Фридриха омрачилось, его глаза заметали молнии, и он гордо возразил:

— С моего ведома, граф, ещё ни одному из моих подданных ни разу не было отказано в справедливости.

— Отказано? — повторил граф. — Ваше величество! Вы не умеете отказывать в воздаянии справедливости, но, чтобы соблюсти справедливость, необходимо точно знать все факты и все намерения. И вот я явился сюда затем, чтобы своим показанием спасти благородного человека.

Взор короля вопросительно устремился на графа.

— Я подразумеваю государственного министра

фон Герне, — продолжал тот, — который, как я только что, к сожалению и прискорбию, узнал, обвиняется в тяжком преступлении и находится под арестом.

— Да, вы правы, граф, — ответил король, — и мне приходится сознаться, что я плохо понимаю, что можно сказать в пользу человека, столь грубым образом нарушившего долг государственного деятеля и дворянина. Так как вам известно о его аресте, то вы знаете, а если нет, то можете сейчас узнать, в чём обвиняется министр фон Герне и что почти доказано вот всеми этими документами, разложенными предо мною. Он обвиняется в том, что растратил суммы государства, обратив их на личную покупку огромного имения в Польше, в вашем отечестве, граф, причём сделал это не только без моего ведома, но и против моей ясно выраженной воли. Я спрашиваю вас, как дворянина и как слугу своего короля и своего отечества, как назовёте вы подобный поступок? найдёте ли вы хотя слово оправдания ему?

Граф Потоцкий побледнел как полотно.

— Неужели же правда, ваше величество, действительно правда, что вы, ваше величество, не были осведомлены обо всём этом и об употреблении министром фон Герне государственных

денег?

Глаза короля вспыхнули страшным гневом, и он воскликнул:

— Я? я был осведомлён об этом? Неужели вы считаете меня соучастником министра-грабителя? Мы живём не при французском дворе, и мне приходится составить странное мнение о положении вашего отечества, если в голове польского магната могут зародиться подобные мысли.

Потоцкого, по-видимому, не тронул гнев короля; он печально поник головою, но затем посмотрел на Фридриха широко раскрытыми глазами и сказал:

— Как дивно велик тот человек, который жертвует честью и, пожалуй, даже жизнью за своего короля!

Эти слова были так неожиданны и столь поразительны, что Фридрих лишь покачал головою, как бы сомневаясь в здравом рассудке графа.

— Вот что, граф, — сказал он затем, — ваше суждение о министре Герне звучит так странно, в особенности после того, как вы узнали, в чём его обвиняют, что мне и в самом деле интересно услышать ваше разъяснение.

— Это разъяснение, — ответил граф Игнатий, — я могу дать вам, ваше величество, пожалуй

лучше, чем кто-либо другой, и я прошу у вас, ваше величество, позволения заверить своим честным словом дворянина, что всё, что я скажу вам, — сущая правда. А каждый поляк подтвердит вам, ваше величество, что граф Игнатий Потоцкий никогда не нарушал своего слова и ещё ни разу не запятнал себя трусливой ложью.

Король кивнул головой; его взор благосклонно покоился на красивом, благородном лице графа Игнатия.

— Затем у меня есть ещё одна просьба, — продолжал последний. — От того, о чём я буду говорить вам, зависят свобода существования и, пожалуй, жизнь многих из моих соотечественников и друзей; от этого зависят благоденствие и будущность моего отечества. Поэтому я прошу вас, ваше величество, сохранить в тайне всё то, что я вам говорю.

— Хорошо! — согласился король, — говорите, ваше доверие не будет обмануто.

— Вам, ваше величество, — воскликнул Потоцкий, — известно положение моей родины, вы знаете, что король Станислав Август является только игрушкою в руках русских, вассалом Екатерины, сделавшей его королём и удерживающей его в виде призрака на престоле до тех пор, пока

созреют её плоды, пока моё бедное, изнурённое отечество окончательно подпадёт под русское господство.

— А кто же виновен в этом? — строго спросил король, сверкая взором, — разве это — не вина вашего собственного сейма, который делает короля бессильным, который отчуждает его от нации и отнимает от него средства сделать Польшу мощной и самостоятельной, который вынуждает его искать за пределами страны поддержки для своего мнимого королевского достоинства, являющегося для него таким бременем, что он, конечно, охотно сложил бы его с себя? Разве не виноваты ваши магнаты в том, что они охотнее пресмыкаются пред императрицей Екатериной, чем подчиняются своему королю, хотя бы и во благо своей родины? Вы видите, граф, что я откровенен, и в этой откровенности можете ясно почувствовать доказательство моего внимания. Разве всё не было бы иначе, — продолжал он, — если бы у вас был наследственный король, который кровью, заботами о будущности своего дома был бы связан с народом, который объединил бы в себе силы своей нации и был бы в состоянии сделать Польшу тем, чем ей предназначено быть в Европе, то есть прочною стеною между Западом

и Востоком, буфером для азиатского нашествия на западно-европейскую культуру?

— Всё, что вы говорите, ваше величество, — правда, — ответил граф Игнатий, — но прошу вас верить, что и в моём отечестве достаточно людей, сознающих эту истину, серьёзно мыслящих и стремящихся спасти свою родину при помощи настоящего короля, который в состоянии сорганизовать Польшу, укрепить её и освободить из-под русской власти. Король Станислав не может быть таким королём; фаворит Екатерины никогда не будет государем, которому поляки выкажут почтительное повиновение и преданность. Ему придётся отступить не пред революцией, направленной против него лично, а пред новым принципом, сменяющим настоящую форму правления, пред принципом самостоятельного, сильного, независимого королевского достоинства.

— Ах, вот о чём вы думаете? — удивлённо произнёс король, и в выражении его лица отразилось, как сильно заинтересовали его слова графа. — Мысль, может быть, и хорошая, но как вы намерены осуществить её? Как мне кажется, для этого слишком поздно; пятьдесят лет тому назад, пожалуй, возможно было это, но теперь

Польша слишком поддалась своему бессилию и русскому господству.

— К сожалению, вы, ваше величество, и в этом правы, — ответил Потоцкий; — к сожалению, польской нации невозможно более достигнуть своими собственными силами освобождения. Но ведь возможно пробудить народ, заставить его подтянуться и окрепнуть, благодаря мощному королю, рука которого была бы достаточно сильна, чтобы защитить страну извне и обеспечить ей внутренний порядок.

— Где же вы намерены найти его? — спросил Фридрих. — Я знаю ваших магнатов. Вы найдёте вполне понятным, что в качестве соседа я зорко слежу за состоянием Польши. Я не знаю никого, кто был бы способен стать таким орудием, и если бы я имел в виду даже вас, граф, столь ясно провидящего условия жизни своего отечества, — с любезной учтивостью прибавил он, — то всё же я должен сказать, что нигде не вижу опоры, которая при этом могла бы быть к вашим услугам.

— О, Боже мой, ваше величество! — воскликнул Потоцкий. — Я думал не о себе, клянусь Богом, не о себе! Я не претендую ни на что, кроме усерднейшей, преданнейшей и верной службы монарху, которому моя родина доверит свою будущность.

А этим монархом, этим спасителем несчастной Польши, этим основателем той будущей перегородки между Востоком и Западом, этим государем не может быть никто иной, кроме повелителя, пред мечом которого трепещет вся Европа, пред справедливостью которого преклоняются все народы, на мудрость которого они удивлённо взирают... Да, им не может быть никто иной, кроме великого короля прусского Фридриха!

Король оперся обеими руками о трость и долго не спускал с графа безгранично удивлённого взора. Мысль, только что высказанная графом Потоцким, казалось, ошеломила его своею неожиданностью и на несколько минут лишила великого короля его обычного самообладания. По крайней мере он долго не произносил ни слова и как бы собирался с мыслями.

— Я? — спросил он затем. — Я? Такая идея могла зародиться в вашей голове? Мне вы желали предложить последовать примеру Августа Саксонского, почти погибшего из-за польской короны?

— Саксония — не Пруссия, ваше величество, — возразил Потоцкий, — и Август не был Фридрихом Великим... Король прусский, повелитель сильного, способного защищаться народа, будет

и мощным королём польским, будет достаточно силён, чтобы осуществить гигантскую задачу, предстоящую ему там.

Фридрих сострадательно усмехнулся, потом сказал:

— Это — новый род лести, граф, которая, может быть, и оказала бы воздействие на двадцатилетнего короля. Но не забывайте, что вы разговариваете со стариком, который одною ногою уже стоит в гробу и часто от души жаждет склонить на вечный покой свою усталую голову.

— Такие монархи, как вы, ваше величество, не старятся, — возразил Потоцкий, — они завершают в один миг то, что в мировой истории созревает веками; ваш ум и ваши силы останутся живы в прусском народе и в ваших преемниках. Прусский король на польском престоле сумеет подчинить себе и разбудить силы польского народа; он остриём своей шпаги спугнёт со своих границ жадные русские аппетиты.

Король всё ещё улыбался.

— Странный бред! — сказал он; — но я всё-таки благодарен вам за ваше мнение обо мне. Однако мы зашли в область фантазий, которые далеко отвлекли нас от нашего первоначального разговора.

— Мы не уклонялись далеко от него, — возразил Потоцкий. — То, что я имел честь говорить вам, ваше величество, — далеко не фантазия; это — строго продуманный, заботливо подготовленный к осуществлению план.

— Что вы говорите? — сказал Фридрих. — Неужели кроме вас ещё существуют лица, которые носятся с подобными мыслями, которые считают такого рода фантастические планы возможными?

— Об этом говорили...

— Это в самом деле ново! — перебил его Фридрих, громко смеясь, но с очевидным неудовольствием, — дебатируют о новом короле, а он и сам ровно ничего не знает об этом.

— Как я уже имел честь говорить вам, ваше величество, план совершенно подготовлен, — продолжал граф Игнатий; — мой брат, фельдцейхмейстер, принадлежит к числу посвящённых, которые желали бы видеть своё отечество великим и могущественным. Даже те, кто на стороне республиканской формы правления, признали, что Польша может быть спасена таким наследственным монархом, как вы, ваше величество. Всё устроено. При первом удобном случае король Станислав Август будет низложен и будет

провозглашена наследственная монархия. Тогда сейм единогласным решением провозгласит вас первым наследственным королём польским. Немногочисленные противники этого не посмеют громко выразить своё несогласие, если вы, ваше величество, в этот момент прикажете своим войскам двинуться в пределы Польши, которая тогда ведь будет вашим законным владением. Императрица Екатерина попризадумается, прежде чем начнёт войну с королём прусским и польским, повелевающим всеми прочно организованными силами прусского государства и воодушевлённой польской нацией, которая под его предводительством сделается непобедимой. Всё это подготовлено и всё это свершится, как только вы, ваше величество, подадите знак к тому. И, чем скорее это случится, тем вернее будет успех и тем более блестящей будет славная будущность моего отечества под скипетром Гогенцоллернов.

Фридрих провёл рукою по лбу и несколько минут ходил взад и вперёд по комнате, стуча тростью по паркету.

Затем король остановился пред графом Потоцким и, проницательным взором посмотрев ему прямо в глаза, строго спросил:

— Вы говорите, что всё это готово? И вы считаете возможным, что я мог бы согласиться на подобный план и принять на себя роль в его осуществлении?

— Мы должны были считать это непреложным, исходя из отзывов министра фон Герне, который, пожалуй, только в этом пункте был неправ, обманув нас относительно осведомлённости и единомыслия вашего величества.

— Герне, — вспыльчиво воскликнул Фридрих, — Герне знал об этом? Герне в связи со всем этим? он, может быть, — даже зачинщик всего этого?

— Господин фон Герне является центром и душою всего этого плана, — ответил граф Потоцкий, — в его руках сходятся все руководящие нити. Огромные суммы, издержанные в Польше, служили к тому, чтобы обеспечить голоса в сейме. К сожалению, истина, что таким путём можно приобрести голоса в сейме, но, когда желают достигнуть великого, приходится принимать обстоятельства таковыми, каковы они суть, и употреблять те средства, которые имеются в распоряжении заинтересованных лиц. В эту минуту я вынужден быть совершенно откровенным с вами, ваше величество. Не без определённой цели господин фон Герне спас также и моего брата

из финансовых затруднений, возросших у него с покупкою поместья «Кроточин» и угрожавших ему подчинением русскому влиянию. Компания торгового мореплавания под управлением господина фон Герне обратилась в могучую армию, и министр вашего величества во главе этой армии, не обнажая меча и не пролив капли крови, завоюет королевство Ягеллонов.

— Всё это — правда, сущая правда? — воскликнул король. — Это — не продукт больного воображения?

— Ваше величество, я ручаюсь вам честью своего имени за подлинность каждого моего слова, — ответил граф Потоцкий. — Господин фон Герне невиновен в том недостойном преступлении, в котором обвиняют его. Заклинаю вас, ваше величество, избавить его от этого обвинения и возвратить ему свободу, чтобы он мог завершить своё великое дело! Во имя моей родины, во имя польской нации, во имя всей Европы умоляю вас, ваше величество, согласиться на наш план и всемилостивейше принять корону, которую намереваются положить к вашим ногам!

Граф почти умоляюще смотрел на великого короля и с трепетом ждал его ответа. Однако то, что он услышал, поразило его своею неожидан-

ностью и заставило содрогнуться от ужаса.

— А знаете ли, граф, ведь я нахожу дело фон Герне очень дурным? — воскликнул король, и его глаза заметали молнии. — Его обвиняют в том, что он нарушил свой долг министра; это — проступок, для которого находят оправдание или приговор над которым можно смягчить при известных обстоятельствах. Судя же по тому, что вы рассказали мне, он — государственный изменник по отношению к своей стране и к своему королю, вступивший в преступные сношения с иноземной державой. Этому уже нет оправдания, для этого нет извиняющих обстоятельств. За это нет другого наказания, как снять голову с плеч!

— Государственный изменник? — ужаснувшись, воскликнул граф Потоцкий. — Государственную измену совершил тот, кто действовал во имя славы и величия вашего величества, кто с радостью готов пролить последнюю каплю крови для своего короля?

— Преследовать такие планы у меня за спиной, — продолжал Фридрих, — привести в замешательство всю мою политику, вызвать европейскую войну, пожалуй, поставить на карту труды всей моей жизни!.. О, это непростительно!

— Простите, ваше величество, — возразил

Потоцкий, твёрдо и спокойно выдерживая грозный взгляд короля, — я вынужден назвать это великим подвигом, я принуждён преклониться пред слугою, который в мужественном самоотречении берёт на себя всякую опасность, всякую ответственность за неуспех, чтобы в один прекрасный день подойти к своему королю и сказать: «Вот, мой августейший повелитель, блестящая корона могущественного государства, мирно завоёванного мною, без пролития крови и без человеческих жертв, одним лишь оружием — моим умом». Протяните свою королевскую руку и милостиво примите подарок, какого никогда ещё не предлагал слуга своему повелителю и который достоин великого короля Фридриха и благородного, славного дома Гогенцоллернов!

— Странно... странно! — сказал король, удивлённо глядя на графа. — Рассказывают о мании величия, овладевавшей римскими цезарями, затемнявшей их рассудок и заставлявшей их воображать себя повелителями мира и добиваться всемогущества богов; это ещё могло иметь объяснение в человеческой натуре. Но непонятно, если такая мания величия овладеет министром, у которого нет другого дела, как исполнять различные обязанности своей должности по воле

своего короля...

— И по мнению которого, — перебил граф Потоцкий твёрдым голосом, — его высшая, священнейшая обязанность преподнести в подарок своему королю корону.

— Разве король принимает корону от своего слуги? — воскликнул Фридрих и гордо выпрямился, так что его маленькая, худощавая, согбенная фигура стала казаться больше и даже выше, чем стройная, рослая фигура статного польского шляхтича.

— Я не смею ответить на этот вопрос, — ответил граф Потоцкий, — так как не могу думать и чувствовать подобно королю; однако то, что предлагают любовь и преданность, если это даже и переходит строго замкнутые границы величества, пожалуй, заслуживает мягкого приговора. Но ведь не один ваш министр, ваше величество, намеревался предложить вам ту корону; к вам явятся лучшие представители польской шляхты, которые, несмотря на все заблуждения, готовы подчинить благородную польскую нацию славному скипетру Гогенцоллернов. Здесь выразится и народная воля, предлагающая вашему величеству свою корону. Польский народ имеет право, признаваемое всей Европой, выбирать себе ко-

роля; у него есть также право признать за этим королём наследственность престола. Если народ употребляет подобное право, если он избирает вас, ваше величество, своим наследственным королём и желает видеть блеск своей короны на столь благородной голове, возможно ли сомневаться в законности подобного избрания! Из рук польского народа вы, ваше величество, можете и с высоты вашей королевской гордости принять корону. Клянусь Богом, это — благородный, королевский дар, который я прошу принять во имя моего отечества; и ради этого дара, ваше величество, достоинство которого удваивается в ваших руках, простите вашего министра, который под влиянием искренней любви и преданности на миг позабыл, сколь неизмеримо выше стоите вы над ним!

Фридрих, казалось, был поколеблен в своей суровости, но царственное величие не покинуло его.

— Дорогой граф, — сказал король, хотя и приветливее, чем раньше, но всё ещё с серьёзностью в голосе, — я мог бы спросить у вас доказательств того, что вы действительно обращаетесь ко мне от имени вашего отечества, от имени всей польской шляхты; но я оставлю в стороне этот вопрос;

я желаю верить вам, так как в самом деле не имею основания сомневаться в слове графа Потоцкого.

— Мне было бы очень легко, ваше величество, — перебил его граф Потоцкий, — дать доказательства и представить множество депутаций к вашему величеству, которые, должно быть, появились бы здесь и раньше, если бы мы не считали необходимым соблюдать глубочайшую тайну и не были принуждены предполагать, что вы, ваше величество, осведомлены обо всём и согласны с этим.

— Следовательно, довольно об этом! — сказал король. — Вы своею просьбою выказали доверие мне, и я намерен ответить на это доверие; я желаю откровенно говорить с вами, как того заслуживает человек, относительно которого я убеждён, что он пожертвует всеми своими силами ради благоденствия своего отечества. Вы говорите, что предлагаете мне корону от имени польской нации; но вы также говорили мне, что голоса представителей нации были куплены или должны быть куплены деньгами компании торгового мореплавания.

— «Куплены» — это слишком жестокое выражение, ваше величество, — вставил граф Потоцкий.

— Когда желают серьёзно относиться к серьёз-

ным вещам, то необходимо назвать всё своими собственными именами, дорогой граф, — продолжал король. — Так вот, следовательно, мои деньги, раздаваемые рукою моего министра, играют роль в подготовлениях к возведению меня на ваш престол; этими подготовлениями руководят польские шляхтичи, обязанные повиновением теперешнему правительству своего короля; и между тем они, как тёмные заговорщики, куют оковы против правительства, признаваемого Европой, а также и мною — поймите это хорошенько! — и мною; и если правительство будет в силах раскрыть заговор, то все участники последнего будут осуждены, как государственные изменники, и на самом законном основании.

— Это правительство бессильно! — воскликнул граф Потоцкий. — Это правительство предаёт народ России, императрице Екатерине.

— А не будет ли это правительство вправе сказать как раз наоборот: «Вы, граф Потоцкий, и ваши единомышленники, предаёте своё отечество Пруссии, королю Фридриху!»? — спросил король, а затем повелительным жестом отклонил возражения графа и продолжал: — так вот что, граф, таким путём может стремиться к престолу какой-нибудь авантюрист, пожалуй, младший

принц царского дома, глава которого не побоится идти тёмными путями; но истинный король стоит на исторической почве и твёрдо держится унаследованного от предков права, а я — именно такой король и желаю остаться таким... Я иду прямым и открытым путём, не боящимся дневного света. Всё, что моё, я защищаю, что принадлежит мне по праву рождения, беру остриём шпаги; но я никогда не протяну своей руки за тем, чего могу достигнуть только тёмным путём заговора. Монарх из дома Гогенцоллернов не идёт тем путём, которым могли идти Лещинский и Понятовский. Они хотели стать королями, я же есть король. Если вы законным образом, как допускает ваша конституция, лишите короля Станислава Августа его достоинства, если вы затем свободно и открыто изберёте меня своим королём и отправите ко мне депутацию от сейма, чтобы известить меня о вашем выборе, то я выслушаю её, рассмотрю её поручение и дам свой ответ.

— И это может случиться! — воскликнул Потоцкий. — Суть не в форме, а в деле. Не забывайте, ваше величество, что я, единственный шляхтич, говорил вам о желании всей Польши, и ждите голоса страны чрез её законных представителей на сейме.

— Слушайте же дальше, — прервал его Фридрих. — Я уже сегодня могу сказать вам ответ, который дам вашим представителям, если последние когда-либо и обратятся ко мне в законной форме; я могу сказать вам, что при каких бы то ни было обстоятельствах, этим ответом будет решительный отказ.

— Отказ? — воскликнул граф Потоцкий. — Почему? Неужели вы, ваше величество, совершенно сомневаетесь в будущности моего отечества?

— На этот вопрос, пожалуй, мне пришлось бы дать вам печальный ответ, — ответил король, — пожалуй, мне пришлось бы сказать, что народ, так глубоко погрязший во внутренних раздорах и бессилии, народ, который не в состоянии освободиться своими собственными силами, хотя и достаточно богат вспомогательными средствами, такой народ не будет в состоянии подняться и благодаря чуждому королю, не связанному с ним ни кровью, ни историей. Но я не желаю ставить свой приговор относительно этого; я хочу лишь сказать вам, что если бы я был храбрым и честолюбивым юным принцем, которому ничего не принадлежало бы, кроме шпаги и имени, то я, пожалуй, последовал бы почётному призыву когда-то великой и могущественной нации и при-

ложил бы все силы к тому, чтобы поднять её на её прежнюю высоту. Но теперь, граф, я — не принц, имеющий право и необходимость пускаться в поиски приключений; я — король прусский; также и все принцы моего дома должны быть наготове занять прусский престол, когда будут призваны к тому судьбою. Прусские же короли, собственною рукою возлагающие корону на свою голову, не принимают короны из рук народа, которому к тому же нужно низложить короля, чтобы иметь возможность предложить её другому. Самым фактом принятия такого престола я признал бы право своего будущего низложения, а Гогенцоллерны не созданы править народом, возводящим на престол и низлагающим своих королей.

— Ваше величество, ведь наследственность престола будет объявлена в Польше на вечные времена! — сказал граф Потоцкий.

— Всё равно, — возразил Фридрих, — факты не согласуются со словами... Обратите внимание на Англию! Стюарты были реставрированы, а затем их снова низложили. Разве они остались там? Ведь теперь там царствует родственный мне Ганноверский дом; народ возвёл его представителя на престол, как дважды низложил Стюартов! Уверены ли вы, что англичане хоть на минуту

призадумаются низложить Ганноверский дом, если монарху из этого дома когда-нибудь взбредёт на ум стать истинным королём согласно своим взглядам и воле? Но Гогенцоллерны не созданы быть бутафорскими королями, расхаживать по раззолоченным подмосткам с короною на голове и в пурпуровой мантии и играть роль под диктовку других! Если вы действительно хотели сделать меня польским королём, то ваши расчёты не оправдаются; я прямо говорю вам, что Польша перестала бы существовать, что возникшее бы тогда государство было бы неделимым как во внутренних, так и во внешних делах; я остался бы прусским королём, полным одних взглядов и одной воли, и вашей Польше пришлось бы слиться с Пруссией, как слилась с ней и Силезия. Большинство населения Силезии — немцы, и потому слияние было легче; поляки же — славяне, и потому это было бы тяжелее и привело бы к жестокой борьбе. Но если бы я взялся за борьбу, то провёл бы её всеми средствами, присущими моей королевской власти, и я уверен, что каждый мой преемник сделал бы то же самое.

— А если бы это было и так, — воскликнул граф Потоцкий, — то всё-таки мы должны были бы стать пруссаками, чтобы иметь честь во что бы то

ни стало быть подданными Фридриха Великого! Это для моего отечества в тысячу раз лучше, чем погибнуть под владычеством России. Мы возродимся к новой жизни и новым формам. Ведь и феникс погибает под пеплом, чтобы в новой оболочке вновь воспрянуть из праха к свету.

— Я сказал вам, граф, — продолжал Фридрих, — что было бы так, если бы я мог когда-либо решиться принять ваше предложение; но я никогда не приму подобного решения, так как не думаю, что мне когда-либо удастся превратить Польшу в Пруссию. Если бы я имел право на ваш престол, право моего дома или моей страны, то моим долгом было бы всеми силами защищать это право; тогда я мог бы и даже должен был бы употребить на это все силы народа. Но теперь я не имею этого права, так как тут дело идёт о чрезмерной игре чисто личного честолюбия. Я сделал свою Пруссию великою, сильною и счастливою, насколько мог; я не могу ставить на карту величие и благоденствие своего народа, который страдал и трудился со мною; я не могу под своей властью обречь на вечную бесплодную борьбу две столь существенно различные расы. И если бы, несмотря на это, я готов был стать королём польским, как вы мечтаете, то я создал бы на севе-

ре коалицию против себя; возник бы союз между Францией и Австрией, как ни слаба последняя; Англия также вооружилась бы против меня; Россию же и Австрию я мог бы примирить только в том случае, если бы пожелал дать каждой из них определённую часть в добыче. Разве это соответствовало бы вашим желаниям? Конечно, столь же мало, как и моей чести. К тому же, пока дело не коснулось защиты ясного и неоспоримого права, моя совесть не позволяет мне снова втягивать в европейскую войну свой народ, раны которого едва лишь зажили.

— Это — ваше твёрдое и непоколебимое решение, ваше величество? — спросил граф Потоцкий, печально поникнув головой. — Это — ваше последнее слово?

— То обстоятельство, что я так откровенно и пространно говорил с вами, может служить доказательством твёрдости и непоколебимости моего мнения, — ответил Фридрих, приветливо взглянув на опечаленное лицо Потоцкого. — Даю вам своё слово короля, что ни вы, ни представители вашего народа никогда не получат от меня другого ответа.

— В таком случае погребены великие, прекрасные надежды! — огорчённо произнёс граф

Потоцкий. — Что же будет с моей бедной Польшей?

— Ещё многое, — ответил Фридрих, — если вы согласно будете искать на верном пути того, к чему стремились по ложной дороге, желая сделать меня своим королём. Только своими собственными силами может снова возвыситься пришедший в упадок народ. Если вы, дорогой граф, верите во внутренние здоровые силы своего народа, который вы всё же должны знать, то трудитесь над добрым развитием этих сил, старайтесь, чтобы сейм перестал быть игрушкой жалких, мелких интриг и чтобы он позаботился прежде всего об упорядочении ваших финансов и о внесении дисциплины в вашу армию. Низложите короля Станислава Августа, если вы считаете его неспособным исполнить свою задачу, но не избирайте тогда чужеземца; изберите лучшего из своей среды, сделайте его наследственным на престоле, а затем позаботьтесь о том, чтобы авторитет нового короля пользовался сильной поддержкой всего народа, всех его сословий. Освободите крепостных, создайте деятельное, здоровое крестьянское сословие и предпримите сильную борьбу против чужеземных влияний и против всех чужеземных интриг! Обещаю вам, что я буду добрым соседом

такой Польши, может быть, даже союзником; но если всё останется по-старому, то знайте, вы не будете в силах помешать императрице Екатерине снова отобрать кусок вашей страны, на что у неё, право, немало желания; в таком случае, уверяю вас, и я позабочусь о том, чтобы не уйти с пустыми руками и чтобы моя чаша весов на пути между мною и Россией не слишком легко вздымалась.

— Благодарю вас, ваше величество, — ответил граф Потоцкий, — за милостивое доверие, выказанное мне, и за столь определённый и ясный ответ, как он ни опечаливает меня в настоящий момент. Ставши, насколько могу, на вашу точку зрения, я, разумеется, не могу признать вас, ваше величество, не правым. Это — лишь новое доказательство того, что свет и условия жизни, когда рассматривают их сверху вниз, кажутся совершенно иными, чем снизу, и что короли думают и чувствуют иначе, чем подданные. Но теперь позвольте мне, ваше величество, после того как с вопросом о будущности моего отечества покончено, перейти к вопросу моего сердца. Позвольте мне, ваше величество, просить о милости для вашего верного, до гробовой доски преданного вам слуги — министра фон Берне, который

по-своему желал только лучшего и совершил ошибку лишь потому, что не был в состоянии воплотить в себе возвышенный ум своего короля и судить о событиях с высоты королевского престола. Ваше всемилостивейшее доверие возлагает на меня обязанность, в свою очередь, быть вполне откровенным. Кроме долга дворянина, призывающего меня вступиться за товарища по великому делу, я имею ещё личный, сердечный интерес в судьбе господина фон Берне. Сознаюсь пред вами, ваше величество, я люблю мадемуазель фон Герне, племянницу министра! Она глубоко потрясена жестокою судьбою своего дяди и защитника, её здоровье в тяжёлом положении, да к тому же между нею и мной стала коварная интрига, заставившая её предположить, что я фальшив и неверен ей. Вы, ваше величество, можете помочь своей могучею рукою; вы, ваше величество, можете вернуть счастье и жизнь двум любящим сердцам, которые будут биться вечною благодарностью к вам. Сохраните так тяжело обвинённому министру, если не его должность, то хотя бы его семью; не отягощайте главы невинного ребёнка суровым приговором над благородным и верным человеком, который ведь всё-таки невиновен. Простите господину

фон Герне то, что он страдал благородной манией величия и пожелал завоевать королевство для своего августейшего повелителя и поразить его неожиданным подарком в виде короны.

Король мрачно нахмурился; он скорее печально, чем гневно и грозно, взглянул на графа и сказал:

— Вот именно то, что вы, граф, приводите в защиту фон Герне, делает невозможным для меня прощение его. Я мог бы быть снисходительным по отношению к слуге, который из слабости либо из заблуждения, или из ложного честолюбия нарушил бы свой долг и причинил бы мне вред; я мог бы, положив на одну чашку весов его проступок, бросить на другую его прежние заслуги предо мною и пред государством; и я, пожалуй, сделал бы это, чтобы выказать своё уважение и расположение к такому ходатаю, как граф Потоцкий.

— О, благодарю вас, благодарю вас, ваше величество! — воскликнул граф с радостно засиявшим взором. — Благодарю вас за такую милость!..

Король остановил его твёрдым жестом руки, сказав при этом:

— Подождите, граф, подождите! Я не могу принять вашу благодарность; выслушайте меня до

конца! Я сказал, что мог бы простить нарушение долга; все люди слабы и не следует слишком сурово осуждать чужую слабость, прежде всего не подумав о своём собственном несовершенстве. Но король не должен терпеть, и я не могу простить высокомерие слуги, который намерен дерзко вторгнуться в сферу королевских обязанностей и готов разрушить плоды трудов всей моей жизни и загнать на опасные скалы государство, кормило правления которого находится в моих руках. Что будет с монархией, если подобное высокомерие обратится в правило, если король не будет уверен, что его слуги являются его послушным орудием, если они приложат все силы своего ума и воли к тому, чтобы идти своим собственным путём, если они будут преследовать свои планы и составлять заговоры, роковые результаты которых всё же свалятся на голову короля? Как мне нести ответственность пред мировой историей и пред своим народом за державу, находящуюся в моих руках, если почва под моими ногами будет изрыта, если мне придётся ежеминутно дрожать за то, что здание, возводимое мною с тяжёлым трудом и с заботливыми расчётами всех жизненных условий, вдруг рухнет предо мною и, пожалуй, погребёт меня самого под своими

развалинами? Подобное предприятие, граф, является государственной изменой, непростительной государственной изменой!

— Но намерения, ваше величество... добрые намерения... — попытался было возразить граф Потоцкий.

Но Фридрих не дал ему кончить и почти резко сказал:

— Господь Бог, высшее Существо, управляющее миром, пусть судит людей согласно их намерениям, король же должен судить их поступки; если он будет терпеть возле себя волю или планы другого, то это будет равносильно тому, что он снимет с головы корону и швырнёт её в прах или сделает свой скипетр игрушкой случая... Я, граф, не терплю подобной воли ни подо мною, ни рядом с собой; мания величия слуги должна разбиться о непоколебимую скалу королевского достоинства; дерзкая мысль подданного подарить корону своему королю и в качестве даятеля стать выше того, кто примет её, должна быть уничтожена до атома, так как в подобной мысли кроется гибель монархии!

— Боже мой, — воскликнул граф Потоцкий, — вы, ваше величество, может быть, и правы, но я тем не менее умоляю вас, сжальтесь!

Взор короля был глубоко печален и сострадателен.

— Король может простить всякое преступление, — сказал он, качая головою, — но только не посягательство на величие его короны. Вспомните легенду о ковчеге завета в иерусалимском храме. Кто дерзко касался его, того поражал смертельный удар молнии, вырывавшийся из святая святых Израиля, а ведь в том ковчеге завета, по верованиям Ветхого Завета, обитал Сам Бог, Который самодержавнее всех королей, Который никому, кроме Самого Себя, не даёт отчёта, в то время как я обязан отчётом своему народу и мировой истории.

Граф Потоцкий огорчённо вздохнул и поник головою на грудь.

— Не думайте, — продолжал Фридрих и его большие глаза заметали пламя, — что я суров только к другим там, где это требуют достоинство и право моей короны! Посмотрите на меня самого! Я без всякого сожаления подавил в своём сердце всё, что волнует и делает счастливыми людей в их земной жизни, что представляет собою центр их существования, чтобы всеми своими силами, всеми помыслами и желаниями принадлежать только моему королевскому долгу.

Как солдат на своём посту, я живу лишь своею службою и только в немногие минуты, которые я улучаю при своих обязанностях, я позволяю себе мимолётный отдых, становясь лишь на самое непродолжительное время человеком. Теми, кто ближе всех моему сердцу, я пожертвовал безжалостному королевскому долгу, который покоится на моей голове, как покоится на голове каждого члена моего королевского дома... Подобный долг суров! — прибавил он таким нежным и мягким тоном, какой редко можно было услышать от него. — Я без колебаний, без жалоб исполнял его по отношению к самому себе и к своим близким; потому-то я и могу и должен исполнить его по отношению к своему слуге!

Граф молчал.

Он понял, что все слова будут напрасны пред такою непоколебимою волею, пред таким высоким достоинством монарха.

Король приблизился к нему, положил руку на его плечо и сказал:

— Откровенно говорю вам, граф, мне очень приятно убедиться, что человек, которого я уважал, заслуги которого я ставил очень высоко, не был способен на низкий поступок из-за корыстных побуждений, и я благодарен вам за то, что вы

убедили меня в этом; но то преступление, которое он совершил против моей короны и государства, помешав моей политике и раскрыв под моими ногами опасную бездну, я не могу простить ему и не прощу. Он осмелился на дерзкую поездку Фаэтона в солнечной колеснице и не должен избежать карающей молнии, которая поразит его, чтобы избавить мир от опустошительного пожара, который он было зажёг своею легкомысленной игрою.

— Я не вправе просит далее, — сказал граф Потоцкий, — признаюсь, что вы, ваше величество, правы. Эта минута велика, как мир, и будет жить во мне воспоминанием о страшном потрясении, но это воспоминание будет священным. Эта минута открыла моему взору блестящее величие истинного королевского достоинства, которое неизмеримо возвышается над низким миром, в своём вечно чистом блеске, но вместе с тем и в вечном ледяном покрове, как и вершины гор. В трепетном изумлении я преклоняюсь пред самым тяжёлым и суровым долгом короля, который едва ли доступен для сердца обыкновенного человека, пред долгом отказывать в милосердии. Но я, ваше величество, последую голосу своего сердца; я точно так же исполню свой долг; я люблю маде-

муазель фон Герне, я предложил ей свою руку ещё тогда, когда её дядя находился на высоте своего положения, когда его озаряло почётное доверие величайшего из монархов нашего века. Теперь я не возьму назад своей руки; я гордо поведу в свет мадемуазель Герне в качестве своей супруги и буду убеждён, что ни одна женщина в мире не будет достойнее её носить имя моего рода.

При последних словах графа Потоцкого взор короля загорелся искренней радостью.

— Вы нравы, граф Потоцкий, — сказал он. — Вы поступаете, как смелый человек и как истый дворянин; будьте уверены, что мадемуазель фон Герне будет всегда пользоваться моим расположением. Я с удовольствием буду принимать графиню Потоцкую и никто не посмеет огорчить её хотя бы только взором. Всё то, что сделал для меня её дядя, все услуги, оказанные мне им, будут зачтены ей; его же вина никогда не будет бременем для имени Герне и на представителя этого имени никогда не падёт и тень упрёка в Прусском королевстве. Будьте счастливы, дорогой граф! желаю, чтобы добрый гений Польши сохранил вас для вашего отечества и в будущем подарил ему побольше людей, подобных вам.

Фридрих протянул руку графу. Последний на-

клонился и прежде чем король мог помешать тому, поцеловал её. Затем он медленно направился к двери, на пороге ещё раз поклонился и вышел.

— Благородный человек, — произнёс вслед ему король, — и, к сожалению, я должен причинить ему горе. Но долг прежде всего... разве и я также не испытал горя? Когда родишься королём, не имеешь права на счастье обыкновенного человека! — Он позвонил и приказал снова позвать канцлера и начальника полиции. — Дорогой Филиппи, — сказал он последнему. — Позаботься о том, чтобы твоя полиция никоим образом не беспокоила графа Потоцкого; мне известно всё, что касается его, и я впредь не желаю иметь какие бы то ни было рапорты о нём.

Филиппи молча поклонился.

— А ты, дорогой канцлер, — продолжал король, обращаясь к фон Фюрсту, — после окончания следствия по делу министра фон Герне, отошли всё делопроизводство в уголовное отделение сената в Берлине, с приказанием дать отзыв относительно степени наказания министра; затем я уже лично постановлю приговор. А теперь позаботься о том, чтобы мадемуазель фон Герне, племянницы министра, ничем не беспокоили в

её квартире; в отношении этой дамы пусть соблюдают величайшие знаки внимания, и, если у неё будет недостаток в деньгах, уведоми об этом меня; забота о ней является моим личным делом.

— Я поступил вполне согласно вашему приказанию, ваше величество, — ответил фон Фюрст; — господин фон Герне был мне другом, он поручил моему попечению свою племянницу и, как бы он ни был виновен, я считал себя обязанным и вправе оказать ему эту последнюю дружескую услугу.

— Ты был прав, — приветливо сказал король. — Теперь ступай и позаботиться о том, чтобы сенат составил свой доклад вполне беспартийно и нелицеприятно. Не следует ничего прощать Герне и прикрывать его, но также не следует предполагать, что с ним нужно поступить строже, чем он заслуживает того, потому что находится теперь в немилости у меня.

Затем король попрощался с ними, слегка прикоснувшись рукою к шляпе. Оба они удалились. Затем Фридрих приказал позвать своего государственного секретаря и с ясным и спокойным сознанием принялся за свою ежедневную работу, сделавшую его при его строгом, неотступном исполнении обязанностей беспрерывно дви-

жущимся зубцом в сложной системе шестерён государственной машины.

Граф Игнатий Потоцкий ехал так быстро, насколько позволяли лошади его наёмной кареты, обратно в Берлин. Хотя он и был огорчён и взволнован отказом, который встретили его великий план будущности его отечества и его ходатайства у короля об участи фон Герне, но вместе с тем он был преисполнен чувством глубокого удивления пред великим монархом, так ясно представлявшим себе свой королевский долг и твёрдо, безошибочно шедшим прямым путём, которым он следовал в течение всей своей жизни и который привёл его на его недосягаемо гордую высоту. Ясная уверенность овладела также и графом; он знал, что ему делать; он ни минуты не колебался в своём решении, которое, несмотря на его печаль, сулило ему так много счастья; он знал, что если всё и будет иначе, если его планы, которые он так долго лелеял и подготовлял, даже разрушились, всё-таки ему предстоял великий, благородный труд на пользу своего отечества.

С ясным и радостным сердцем граф взбежал по ступеням лестницы уединённого дома фон Герне. Тихо миновал он приёмные комнаты и ступил на порог спальни, в которой старая горничная си-

дела возле постели своей госпожи. Сумеречный свет падал из-под полуопущенных шёлковых занавесей на окнах.

Мария лежала, ровно дыша, с опущенными веками; тихий сон, казалось, опустился на неё, её щёки слегка покраснели, на губах играла мирная улыбка.

При виде графа горничная приподняла палец к своим губам и тихо прошептала:

— Она спит!

Граф остановился со сложенными руками, любуясь прекрасным образом, в котором заключалась вся его жизнь, всё его счастье.

Попугай спокойно сидел на своём шесточке. Узнав графа, он ласковым тоном крикнул:

— Игнатий!

При звуке ли этого имени, или под влиянием взора возлюбленного, с искренней теплотою направленного на неё, Мария проснулась; она медленно подняла веки и счастливо протянула свою нежную руку, как бы желая поманить к себе графа.

Он быстро подошёл к постели девушки, опустился на колена возле её постели и пламенно прижал к губам её руки.

— Ты здесь, мой Игнатий, — прошептала она;

— о, я чувствовала твою близость даже во сне, рисовавшем мне прекрасные картины — милые поля с роскошными цветами, каких я ещё не видала на земле, и чисто голубое небо с светлыми, золотыми звёздами, ярко и прекрасно смотревшими на этот мир печали и горя. Я шла рядом с тобою, и нас окружали светлые ангелы; затем они подали мне руки и стали подниматься со мною всё выше и выше... Ты смотрел мне вслед, хотел удержать меня, но я подымалась всё выше в светлую даль, и ты всё же оставался близок мне, я всё-таки чувствовала себя нераздельно с тобою в своей душе, освобождённой от всякого горя и страдания.

Взор Марии засиял тихим светом, как будто она уже в действительности видела пред собою картины, нарисованные её воображением.

— И пусть будет так, — воскликнул Игнатий, — пусть твой сон превратится в действительность!.. Я наполню твою жизнь цветами, ты вознесёшься к светлому счастью, ни на минуту не разлучаясь со мною. Как только тебе позволят твои силы — а это будет очень скоро, так как счастье и любовь доставляют телу силы и здоровье, — ты подашь мне руку пред алтарём на вечный святой союз. Я увезу тебя к себе на родину, подальше отсюда, где

ты так много выстрадала; на руках понесу тебя по жизненному пути; я уготовлю тебе место в своём сердце, где тебя, нежный цветок моей жизни, не коснётся ни один суровый ветерок!

Мария приподнялась и положила голову на плечо графа Игнатия.

— Где ты, Игнатий, там и моё счастье, — сказала она. — Да, да, уедем отсюда, я так много выстрадала здесь!.. Здесь поразила меня та коварная стрела, яд сомнения которой я носила в своём сердце. — Она минуту покоилась в объятиях графа и, по-видимому, вполне отдалась в этот миг своему счастью. — А мой дядя? — спросила она, испуганно вздрогнув и устремив на графа вопрошающий взгляд. — Что с моим дядей? Ты хотел доставить мне добрые вести... ты хотел спасти его... Ведь ты же не веришь в его вину? Мой бедный дядя... Говори же, говори, Игнатий! Удалось ли тебе спасти его?

— Удастся, — ответил Игнатий, потупясь под проницательным взором Марии.

— О, тогда пусть он тотчас непременно едет вместе с нами, — сказала Мария, ещё крепче обвивая своими руками плечи возлюбленного. — Если король милостиво позволит ему удалиться на покой, то пусть он отряхнёт прах от ног своих

и никогда не дышит воздухом этой страны, где могли возвести столь тяжкие обвинения на его благородную, честную голову!

Она живо сказала всё это; суровый, хриплый звук заключил её слова и она беспомощно уронила голову на плечо Потоцкого.

— Пусть будет так! — воскликнул граф Игнатий. — В своём отечестве я создам твоему дяде, который был тебе защитником и отцом, убежище, достойное его. Наша любовь, радость нашему счастью заставят его позабыть о том, что его собственная родина так неблагодарно и жестоко поступила с ним.

Граф заключил в объятия хрупкий стран Марии, судорожно вздрагивавший от волнения; он нагнулся поцеловать её лоб, но испуганно отпрянул — её лицо было покрыто смертельной бледностью, её помутневшие глаза были не подвижны.

— Мария, Мария, что с тобой? Ради Бога отзовись! воскликнул граф Игнатий, но голова девушки тяжело упала к нему на руки, протянутые им, чтобы поддержать её. — Мария, — вырвался у него отчаянный крик, — Мария, послушай меня! ответь что-нибудь!..

По телу девушки снова пробежала дрожь, её

взор ожил, как будто озарённый неземным светом.

— Будь счастлив, Игнатий, — сказала она. — Ангелы несут меня туда, в светлую даль, всё дальше и дальше; только моя душа останется с тобою, близ твоего сердца, пока мы не соединимся в вечности. Для меня это недалеко... тебе ещё долго... До свиданья, Игнатий!

Её глаза снова помутились и голова снова тяжело упала, тело вздрогнуло и вытянулось.

Горничная поспешила к постели.

— Господи Боже мой, — воскликнула она, — она умирает! Иначе и не могло быть — она слишком много страдала... Но всё-таки я надеялась. Ведь она снова была так счастлива, в конце, а счастье творит чудеса. О, Боже мой! теперь уже нет надежды — она мертва.

Она закрыла помутневшие глаза Марии, положила усталую голову на подушки и, сжав руки, опустилась на колена и погрузилась в молитву, хотя молилась скорее в душе, чем губами.

— Это невозможно, нет, это не может, это не должно быть! Врача, ради Бога, врача... где мне найти его? — крикнул граф.

Черты лица Марии уже заметно изменились, её лицо стало неподвижным и как бы восковым,

но на губах застыла мирная улыбка счастья.

Домашний врач, быстро прибывший по зову горничной, ощупал пульс, приложил руку к сердцу; ему не оставалось ничего более, как подтвердить наступившую смерть.

— Нет, нет, — с отчаянием воскликнул граф Потоцкий, — это невозможно, это не может быть... она не должна умереть!.. Как можно умереть в этот миг, когда я намеревался унести её в своих объятиях от всех забот и печалей!

Вместо ответа врач взял руку графа и приложил её ко лбу девушки.

Потоцкий с ужасом вздрогнул, ощутив ледяной холод смерти, казалось, проникший от кончиков пальцев до глубины его сердца. С печальным стоном он упал на колена рядом с горничной. Врач также сложил руки и глубокая торжественная тишина воцарилась у смертного ложа чистого юного существа, которое, казалось, было рождено для светлой радости и должно было познать высшее счастье жизни лишь для того, чтобы вновь потерять его.

Тут попугай зашевелил крыльями и печальным тоном воскликнул:

— Игнатий, Игнатий!

Граф вскочил, быстро подошёл к «Лорито» и

стал гладить его по голове; в то же время крупная слеза скатилась по его щеке.

— Бедное животное! — сказал он, — ты — мой друг по несчастью; ты тоже теряешь всё, что было дорого тебе на белом свете... Твоё маленькое сердце глубоко чувствует любовь и горе, равно как и благодарность; ты будешь служить мне верной, священной памятью о твоей госпоже; ведь твой голос первый раскрыл предо мною тайну её любви. Ты должен отправиться со мною, с тобою я буду говорить о той, которая была для нас всем на свете.

Попугай нежно пригнулся к графу и ласкающе-трогательным тоном повторил:

— Игнатий, Игнатий!

Граф приказал горничной заботливо ухаживать за умной птицей, затем обсудил с врачом всё необходимое для погребения его отошедшей в вечность возлюбленной и распорядился приготовить для себя помещение в доме фон Герне, так как не хотел ни на минуту покинуть дорогие останки, пока они будут ещё находиться над землёю.

После этого граф известил короля о смерти мадемуазель фон Герне.

В день похорон прибыл королевский флигель-

адъютант, чтобы оказать последнюю почесть усопшей.

Прибыл и канцлер фон Фюрст. Вместе с тем на пороге комнаты, украшенной роскошными цветами и задрапированной чёрным крепом, появился секретарь Акст, весь бледный, дрожащий, с печально-взволнованным лицом и заплаканными глазами. Увидев канцлера, он не посмел войти, но Игнатий Потоцкий, в полной парадной форме вице-маршала литовского, с затянутым крепом шитьём, подал ему руку и подвёл его к гробу.

— Верный слуга имеет право на что моего, скачал он, и фон Фюрст утвердительно кивнул головой.

Только это маленькое общество и проводило до места последнего упокоения племянницу могущественного министра, пред которой когда-то восторженно преклонялось всё берлинское общество.

Граф Потоцкий велел наскоро устроить склеп, над которым впоследствии по его распоряжению должен был быть воздвигнут великолепный памятник. Он оставался у могилы до тех пор, пока склеп не был совершенно замурован, затем наклонился, поцеловал землю, насыпанную поверх

склепа, взял горсть её в свой носовой платок и спрятал у себя на груди.

Акст также остался с ним, после того как канцлер и флигель-адъютант уже удалились.

— Теперь вон, — вскочив, воскликнул граф, — вон отсюда! Ежегодно в памятный день этой ужасной утраты я буду появляться и молиться здесь; однако мои воспоминания будут прикованы не к могиле, отнявшей земную, бренную оболочку, но к просветлённому духу, вознёсшемуся к чистым высотам светлого неба; я вновь обрету его, когда покончу свой жизненный путь достойным этого светлого ангела образом.

— Да благословит вас Бог! — всхлипывая произнёс Акст. — Хотя вы много потеряли и потерпели много горя, но всё же я считаю вас счастливцем, так как вы можете умчаться из этих мест горя и найти силы в новой жизни, в то время как я... о, Боже мой...

Он закрыл лицо руками и горько заплакал.

Глубоко взволнованный Потоцкий пожал его руку.

— Бедный! — сказал он. — То, что вы называете счастьем и что, пожалуй, и впрямь — счастье, должно достаться и на вашу долю. Сопровождайте меня! мой дом пусть будет для вас родным.

— Боже мой, — воскликнул Акст, — такая милость была бы для меня величайшим благодеянием; но я не могу принять её, я на службе.

Граф подумал и сказал:

— Я намеревался сегодня уехать, но ради вас останусь до завтра; приходите завтра утром ко мне в гостиницу.

Он быстро повернулся и удалился отсюда, а Акст опустился на колена возле могилы и стал тихо молиться.

Граф Игнатий тотчас же написал письмо королю и отослал его с нарочным к дежурному флигель-адъютанту.

Поздно вечером он получил ответ, содержавший отставку Акста и разрешение поступить на службу к Потоцкому.

В избытке благодарности и умиления верный слуга павшего министра, узнав об этом, поцеловал руку графа, и через час они уже покинули Берлин.

Горничная не пожелала расстаться со своей родиной. Граф назначил ей щедрую пожизненную пенсию. Клетка же «Лорито» стояла на заднем сиденье дорожной кареты. Граф вынул из неё преданное животное и держал его у себя на пальце. Птица нежно ласкалась к нему и время от

времени повторяла, подражая плачущим голосам, которые она так часто слышала в последние дни:

— Игнатий, Игнатий!

ЭПИЛОГ

Графиня Елена Браницкая уехала в свой белостокский замок и с лихорадочным нетерпением ждала там известий из Берлина, но, прежде чем она получила их, ей подали письмо с чёрною печатью с гербом графа Потоцкого. Дрожащими руками она вскрыла его. Письмо содержало следующее:

«Убивают ядом и кинжалом, но ещё позорнее убийство ложью и клеветою. Мария фон Герне, которой принадлежало моё сердце и будет принадлежать вечно, умерла. Господь воздаст должное убийце. Если она желает добиться прощения, то пусть путём церковного покаяния станет достойною того, чтобы милость Божия простила её — я не в состоянии. Игнатий Потоцкий».

Графиня с громким криком бессильно упала на землю. Долго лежала она в нервной горячке, и, когда снова встала на ноги, её волосы поседели и она казалась на много лет состарившейся. Она редко покидала своё белостокское имение и после того никто не видел её улыбающейся.

Уголовное отделение берлинского сената пред-

ставило свой отзыв о государственном министре фон Герне. Мнение сената заключалось в том, что фон Герне за многочисленные тяжкие преступления должен быть лишён чинов и уволен от должности, а затем наказан пожизненным заключением в крепости. Когда канцлер фон Фюрст представил этот приговор королю, Фридрих утвердил его. Всё состояние опального министра было конфисковано компанией торгового мореплавания.

Комиссия, занимавшаяся выяснением дел фон Герне, сообщила королю, что ссуды, данные министру компанией торгового мореплавания и превышавшие миллион талеров, могут быть покрыты имуществом фон Герне, если при конкурсе воспользоваться законным фискальным преимущественным правом.

Король написал на этом докладе:

«Нет. Убытки должен нести я, так как моя вина, что я сделал скверный выбор».

1-го марта 1782 г. министр фон Герне был перевезён в Шпандау и помещён хотя в тесном, но всё же не плохом каземате. После смерти Фридриха Великого фон Герне просил о пересмотре своего процесса и в основание своей просьбы главным образом ссылался на то, что при конкурсе его

недвижимого имущества, которое должно было бы быть обращено на удовлетворение его кредиторов, не были как следует реализованы его недвижимость в Польше.

Эта просьба и судебные акты ещё долго лежали в кабинете короля Фридриха Вильгельма II. Наконец вышло и решение: пересмотр процесса и производства конкурса не был одобрен, но фон Герне получил свободу и ему была назначена пожизненная пенсия в тысячу талеров в год — значительная по тому времени сумма, если он навсегда откажется от всяких притязаний к государству.

Нравственно и физически надломленный оставил своё крепостное заточение когда-то столь могущественный и энергичный министр; в печальном уединении окончил свой век этот человек, в гордой самоуверенности осмелившийся возыметь желание подарить своему королю корону, но, как когда-то Фаэтон, повергнутый в прах молнией разгневанного олимпийца.

Граф Станислав Феликс Потоцкий стал усерднейшим приверженцем императрицы Екатерины Алексеевны; когда король вместе с сеймом принял новую либеральную конституцию, Потоцкий создал Тарговицкую конфедерацию,

которая вызвала вмешательство России и предрешила падение Польши. После смерти полковника де Вите он вступил в брак с супругою последнего, красавицей-гречанкой Софией Любенской (дочерью константинопольского сапожника), и во время русской оккупации Польши сам сражался против своего отечества. Во время польской революции 1794 г. он был осуждён верховным республиканским судом как государственный изменник, но императрица Екатерина Вторая назначила его генерал-фельдмаршалом и он умер в 1805 г., удалясь на покой в свои поместья в Тульчине.

Граф Игнатий посвятил свои силы спасению своего отечества, но не мог бороться против злополучного рока, предопределившего падение Польши. После того как его смелые планы рушились, он стал поддерживать короля Станислава Августа, видя в нём единственный центр, вокруг которого могли объединиться силы Полыни. Чтобы достигнуть этого, граф убедил короля Станислава принять конституцию 3-го мая 1791 г. и лично отправился в Берзин, чтобы склонить Пруссию к признанию этой конституции. Это и удалось бы ему, если бы был жив Фридрих Великий, но правительство Фридриха Вильгельма II

отклонило попытку поддержать и подкрепить Польшу и злой док ускорил падение этой несчастной страны. Графу Игнатию пришлось бежать и его имения были конфискованы.

Костюшко счастливо перебрался в Америку и там сражался во время войны за независимость. По ту сторону океана он получил потрясающую весть о том, что его возлюбленная постриглась в монахини и вскоре затем умерла, так как печаль и тоска по утерянном счастье жизни подорвали её здоровье. Он поклялся, что с этих пор его любовь будет принадлежать одной только родине, и в 1794 г. предпринял великую и смелую попытку освободить Польшу посредством подготовленного его друзьями восстания.

Граф Игнатий тотчас поспешил к нему и, будучи друзьями по сходству печальной судьбы, они вложили все свои силы в великое дело, в котором оба искали утешения потерянной любви. Граф Игнатий был министром иностранных дел во временном правительстве, но, по взятии Варшавы, был арестован и отвезён в Шлиссельбург, как государственный преступник. В 1796 г. он был освобождён и поселился в Галиции, где жил под строгим надзором полиции. Когда в 1805 г. к австрийским границам двинулась французская

армия, граф был снова арестован и водворён в Краков, но затем, после побед Наполеона, был освобождён и посвятил свои силы вновь образованному великому герцогству Варшавскому, в котором он видел начало возрождения польского государства.

В 1809 г. граф Игнатий отправился во главе депутации от великого герцогства Варшавского к Наполеону в Вену, рассчитывая выпросить там у французского всемирного владыки слова: «Que la Pologne existe»[4]. И он нашёл лишь проволочки и двусмысленные замечания; Наполеон не желал портить отношения ни с Австрией, ни с Россией и пожертвовал Польшей, которая возлагала на него столько надежд и сыны которой проливали свою кровь в его битвах, вызванных его политикой. Печаль по этой последней утерянной надежде, в Вене, уложила графа Игнатия в постель и ускорила его смерть. Он сдержал свою клятву верности отечеству, сохранив её до последнего вздоха.

Старый Акст плакал на могиле своего патрона. «Лорито», никогда не расстававшийся с графом, ещё раз печально крикнул: «Игнатий, Игнатий!», когда подняли гроб с останками графа, и упал

---

[4] Примечания: 4
Пусть Польша существует.

мёртвым со своего шестка.

Барон Пирш отправился в Париж, поступил там в военную службу и тотчас был произведён в подполковники. Он должен был ввести во французской армии прусскую тактику и положил успешное начало этому в некоторых немецких полках. Но зависть и недовольство помешали ему, и он нашёл чувствительнейшие препятствия.

Напротив, Гессен-Дармштадтский полк, которым он командовал, относился к нему с большою любовью и преданностью. Он повёл этот полк в Испанию и умер там. Ему как протестанту было отказано в погребении на католическом кладбище; полк похоронил его посреди лагеря и воздвиг над ним памятник с надписью:

«Seus cette tombe git Jean Ernest Baron de Pirch, Colonel Commandant du Régiment royal de Hesse-Darmstadt, Chevalier de l'ordre du mérite et de Saint Sebastian, Chanoine de Magdebourg, mort le vingt Fevrier 1783 r. Ne'en Prusse, il apprit l'art de la guerre sous Frédéric. Passé en France, il fut par ses talents et par ses vertus l'exemple de l'armee. Ce simple monument fut élévé à la postérité en marque de reconnaissance et de regrets par son régiment»*.

Любовь изгнала его из его отечества, как та же

любовь искренне привязала к своему отечеству графа Игнатия и Тадеуша Костюшко и они, конечно бесплодно, положили свои силы на него. Но и Пирш на чужбине сделал многое своему отечеству и поддержал славу великого короля, который был так милостив к нему; он своим примером доставил этой славе новые лавры в далёких странах.

До сих пор существуют носители имени Герне. Последние могут не отвёртываться от памяти о своём предке, которому пришлось пасть, потому что он предпринял дело, слишком великое для сил простого смертного, и потому что его гордое честолюбие увлекло его за пределы, которые великий Фридрих считал своим долгом ограничивать для своих слуг. Он перенёс трагическое столкновение, в котором ему пришлось погибнуть, но время искупило его заблуждение, и Герне достоин того, чтобы потомство увидело его фигуру в чистом свете.

